

Д.Л. МОРДОВЦЕВ





Д.Л. МОРДОВЦЕВ



Собрание сочинений

в четырнадцать
томах



МОСКВА
«ТЕРРА» — «TERRA»
1995

Д.Л. МОРДОВЦЕВ



Собрание сочинений

Том
ПЯТЫЙ



МОСКВА
«ТЕРРА» — «TERRA»
1995

ББК 84Р1
М79

Оформление художника
Б. ЛАВРОВА

Мордовцев Д. Л.
М79 Собрание сочинений: В 14 т. Т. 5. — М.: ТЕРРА,
1995. — 495 с. — (Библиотека исторической прозы).
ISBN 5-300-00205-4 (т. 5)
ISBN 5-300-00170-8

В пятый том Собрания сочинений включены: историческая монография «Самозванцы и понизовая вольница» и исторические очерки «Чума в Москве», «Ванька Каин», «Один из Лже-Константинов».


М 4702010100-247 Подписное
А30(03)-95

ББК 84Р1

ISBN 5-300-00205-4 (т. 5)

ISBN 5-300-00170-8

© Издательский центр «ТЕРРА», 1995



Самозванцы
и понизовая
вольница

ИСТОРИЧЕСКАЯ
МОНОГРАФИЯ
В ДВУХ ЧАСТЯХ

Часть первая

САМОЗВАНЕЦ

САМОЗВАНЕЦ СТЕПАН МАЛЫЙ

Явление Пугачева как самозванца и претендента на все-российский трон подготовлено было целым рядом одинаково смелых и решительных, но и одинаково несчастных искателей русского престола, из которых один, солдат Кремнев, появившийся много лет раньше Пугачева, целые годы высидел в воронежском остроге и пережил знаменитого Емельяна, другой — Богомолов, схваченный в волжском казацком войске за год до Пугачева, умер на дороге в Нерчинск в то самое время, когда Пугачев имел уже свое войско, артиллерию и крепости и успел наполнить ужасом целую треть населения европейской и азиатской России. Но в то время, когда Кремнев сидел в тюрьме в ожидании казни, а Пугачев был еще не больше, как новопроизведенный казацкий офицер (хорунжий), но уже мечтавший о многом, третий самозванец, никогда не бывший в России и не русский по происхождению, но славянин, вдали от России, но именем давно умершего русского императора Петра III приводил в трепет и разбивал огромные турецкие армии, уничтожал все планы и распоряжения сената Венецианской республики, обращал в бегство ее войска и не боялся ее флота, еще страшного в то время. Судьба этого самозванца замечательна в высшей степени, слава о нем прошла по всем государствам, и целая Европа говорила о его победах, как о чем-то необыкновенном, его именем взволнована была большая часть Турецкой Албании, Адриатическое поморье, несколько городов и селений территории Венецианской республики и вся Черногория: черногорцы, албанцы и венециане неудержимо шли под его знамена, поднятые во имя свободы.

Личность этого замечательного человека принадлежит не столько нам, сколько Черногории, однако она должна быть занесена на страницы русской истории, потому что черногор-

ский самозванец действовал именем России и, по-видимому, за Россию, приводя в исполнение, быть может, ложно и необдуманно, но, может быть, и искренно те идеи, которым давно сочувствовали лучшие люди славянского мира. Не его вина, если средства, которыми он располагал, были ничтожны, а соседи и те, которые должны были быть его друзьями, боялись его и не задумались в выборе средств погубить опасного для них человека.

Еще до разрыва дружественных сношений между Россией и Оттоманской Портой, в конце 1767 года, когда даже в России, не только за границей, пять лет громкого царствования императрицы Екатерины II давно могли заставить забыть покойного императора Петра Федоровича, недолго царствовавшего и не успевшего оставить по себе памяти, — по Черногории мгновенно прошла весть, что он жив и явился у Адриатического поморья, чтобы, соединив славянские народы, томившиеся под ярмом турецкого покровительства и составлявшие часть владений вольной Венеции, образовать вместе с Россией и Черногорией одно великое славянское государство, с господствующей греческой религией. Не знаем, могли ли понимать идею этого смело задуманного или просто нечаянно создавшегося плана юнаки-горцы и забытые славянские племена Адриатического побережья, воодушевляла ли их идея соединения с Россией настолько, как может нам это казаться, или круг их юнацких понятий единственно ограничивался мечтой о близкой возможности подраться с притеснителями — «са турцима и с вером латинском», — только весть о появлении между ними русского царя встретила горячее сочувствие в бедных славянах.

Виновником этого движения был юноша, по-видимому, лет осмнадцать, появившийся в Черногории вскоре после обнародования в России манифеста о смерти императора Петра III и поступивший в услужение к одному богатому черногорцу, хотя благородная наружность и горделивые приемы не соответствовали его низкому званию. Никто не знал, кто он и откуда: знали или, напротив, говорили только, что он пришел из Крайны. Пришлец был, по-видимому, богат, но никто не знал, откуда он имел деньги, видно было, что он получил хорошее образование, потому что знал несколько языков и слыл в народе под именем врача. В одно время пришлец передал своему господину за тайну, что он — русский император Петр III, что весть о его смерти распущена русским правительством ложно и так далее. Нам знакомы эти приемы: так Димитрий, будущий царь России, слуга Вишневецкого, открывается своему господину, что он сын московского царя

и что весть об его смерти распушена теми, которые покушались на его жизнь, так Пугачев, будто против воли и с горестью, поверяет тайну одному яицкому казаку, у которого был работником, что он — царь, которого давно поминают заупокой в церквах, не ведая, что он жив и пришел спасти Россию, и т. п.

Этот новый самозванец слыл в народе под именем Степана Малого. Каким образом в молодой голове его родилась мысль сделаться славяно-русским царем, был ли он к тому настроен и воодушевлен греческим духовенством и православными славянскими монахами, которым опротивела роль рабов и безответных жертв мусульманского начальства, помнил ли он старую дружбу сербского народа с русским и верил возможности соединения с Россиею, была ли это тайная, глубоко скрытая интрига Австрии, Пруссии, наконец, какой-либо другой державы или никому не известной партии в Польше, даже в России, — мы не имеем на это положительных доказательств, но что он имел партизан в калугерах и других представителях Черногории, был подготовлен к избранной роли, — это несомненно. Он уверил тех, с кем прежде столкнула его судьба, что весть об его мнимой смерти и погребении была выдумана русским правительством, что он бежал из заключения и пришел спасти славянские племена и их веру от турецкого и латинского насилия, — те же приемы, какие употреблял в свое время Пугачев, лаская народ обещаниями свободы и облегчения податей, а раскольникам суля свободу веры и совести. Черногорцам хотелось верить словам самозванца, и они верили им. Всего естественнее, что желания их не простирались вдаль, они не думали, да, быть может, и не были настолько развиты политически, чтобы думать о славянской федерации: было бы им хорошо да веру их не трогали, жить не мешали, — вот и все, чего желали они. Вероятно также, что и сам Степан Малый не был такой энтузиаст, чтобы мечтать о русской короне, его мечты, быть может, не то обещали ему, хотя сам он и сулил скромным калугерам много несбыточного. В сентябре 1767 года из черногорской провинции Майны самозванец как царь русского народа, послал в Будву, в один из приморских городов, принадлежавших тогда Венеции, прокламацию или манифест, с тем чтобы он прочитан был в городе.

«Мы, Степан Малый, — говорилось в этом странном манифесте, — который скоро будет Великим, возвещаем народу, что плоды не созрели еще, но, когда настанет время и созреют плоды, в них найдет народ неисчерпаемые сокро-

вища — драгоценные камни, рубины, смарагды, сапфиры, алмазы, золото и серебро, и каждый, кто уверует в нас, будет иметь все, чего пожелает. Мир и благоденствие тем, которые покорятся нам, и горе неверующим и непокорным: они погибнут от меча и будут брошены в море, которое ждет только нашего голоса, чтобы встать и поглотить все живущее».

С манифестом отправлен был монах Василий Маркович, в то время канцлер и секретарь черногорского владыки Саввы Петровича. Странные, довольно витиеватые, но самоуверенные выражения этой прокламации, которую жизнеописатель Степана Малого называет «несколько сумасбродною», произвели на жителей Будвы сильное впечатление. Маркович читал воззвание везде и всем, кто мог его слушать, грозил и пугал именем Степана Малого, ласкал обещаниями Бог весть какого благополучия, — и скоро молва о появлении в Черногории русского царя прошла так далеко, как едва ли мог рассчитывать смелый самозванец. Народ везде более или менее доверчив, особенно тогда, когда ему тяжело жить, и там особенно, где, при безвыходности положения настоящего горя, ему сулят и перемену горькой жизни, довольство, и счастье в будущем; доверчив он к этим обещаниям потому, что ему терять нечего, кроме жизни, между тем как в душе у бедняка еще остается надежда на лучшее. Особенно верит всяким нелепостям доброе сердце славянина, которого вся историческая, долговременная жизнь не успела много ознакомить с тем, что другие народы называют гражданским благосостоянием. Понятно, что если русского мужика мог увлечь Пугачев, и он шел под его белое с крестом знамя навстречу смерти, не боясь ни кнута, ни Нерчинска, ни даже московской волокиты, то с подобным же чувством ожидания лучшей жизни отозвалась Черногория на зов какого-то русского царя, которого она никогда не видела; может быть, к этому примешивалось и другое чувство, даже страх, внушаемый именем самозванца. Наконец, одним из сильнейших побуждений стать под знамя Петра III была разнесенная по Черногории весть, что уполномоченный русским императором калугер их, Василий Маркович, возбуждавший народ к восстанию, навлек на себя месть венецианского правительства, которое старалось схватить отважного монаха. Встревоженный сенат оценил даже его голову. Подобные оскорбительные распоряжения венецианской полиции не могли не напомнить народу целого ряда старинных, кровных обид, за которые Венеции еще не за-

плачено. Воззвания Марковича сделали то, что все поморье встало поголовно и пошло навстречу русскому царю. Маркович увидел себя во главе многочисленного народного ополчения.

Жители пришли к Степану с поклоном и поздравлением, явились и чиновники из Каттаро, чтобы иметь честь представиться императору, — так велико было всеобщее воодушевление! Приморские пространные общины венецианской Далмации, целые провинции Албании и пограничные сербские общины, находившиеся под властью турок, узнав о прокламациях Марковича и слыша из уст народа о появлении Петра III, о том, что скоро настанут войны с притеснителями, что настанет скоро и свобода, последовали общему увлечению и шли соединиться с черногорцами. Вот почему так встревожился венецианский сенат; не менее того ошеломлено было и черногорское правительство, во главе которого находился тогда митрополит Савва, из рода Петровичей, человек добрый, но слабый, почитаемый народом более из приличия, чем по внутреннему чувству любви и уважения к престарелому владыке, который жил уединенно и ни во что не вмешивался. Тот, кем могуча была Черногория, владыка Василий Петрович, племянник Саввы, умер в Петербурге в 1766 году. Около самозванца образовался двор, свита, назначены министры и генералы. Знаменитый Симо-Суцца, который давно был грозой турок, даже черногорцев, и всех, кто только мог показать ему вид сопротивления, пожалован званием великого виночерпия царского и генералом его армии. Напрасно старые, лишенные народного доверия приверженцы правительственных сторон Венеции, Турции и самой Черногории старались остановить волнение населения, уверяя его в неосновательности слухов, распущенных партизанами самозванца, и представляя неопровержимые доказательства, что Петр III действительно умер и погребен, — народу было все равно, что ему ни говорили. Напрасно Венеция, став за свои права, которые сама давно разучилась уважать в других, силилась доказать, пуская в народ свои казенные объявления, что возмутивший его спокойствие пришлец — не царь, а обманщик: серб не верил уже в то время ни венецианскому сенату, ни его полиции, тем менее мог верить дожу, потому что искони серб не любил «дужда млетачкога» и в своих песнях дал ему место малым чем почетнее, какое отвел «проклетому» турку. Что же касается тогдашней главы Венецианской республики, дожа Мочениго, то ни черногорец, ни далматинец не имел

никакого повода любить его особенно, тем более что и в самой Венеции его не ставили ни во что, называя в насмешку «догарессой»¹. Напрасно престарелый владыка старался взрастить своих подданных письмами и словесными увещеваниями, представляя сильные доказательства в подтверждение самозванства Степана Малого. Тщетными, наконец, оказались и последние меры к подавлению восстания: нашлись люди, которые сами были в Петербурге при жизни Петра Федоровича и лично имели случай беседовать с покойным императором; они клялись, что виденный ими царь нисколько не похож на того, который теперь пришел в Черногорию. Тогда явились другие свидетели: они стали уверять народ, что ни указы венецианского сената, ни внушения владыки, ни показания лиц, бывших при русском дворе и лично видевших императора, никак не могут быть доказательствами самозванства явившегося между ними русского царя, что и сенат, и владыка, и все, свидетельствующие против Петра III, — его недоброжелатели и клеветы русского двора; что все их показания и клятвы еще более обнаруживают ту таинственную нить интриг, посредством которых Петр III лишился престола; что все это ковы его врагов, новые преследования, от которых несчастный император не может укрыться даже в своем последнем убежище, у добрых черногорцев, «своих друзей и братьев», у которых он пришел просить защиты и помощи. Как самый сильный и неопровержимый аргумент того, что явившийся среди их народа странник есть действительно изгнанный из России Петр III, они представляли его любовь к вину и водке, к ракии, которую царь охотно пьет с своими новыми министрами и генералами². Наконец, не замедлил явиться еще один свидетель в пользу самозванца.

В Майне, где прежде всего появился самозванец и открылся в том, что он царь, был тогда сердарь Марко Танович, который пользовался уважением и полным доверием как

¹ Вот эпиграмма, сравнивающая двух последних дожей Венеции с двумя римскими папами:

Gran doge Foscarini,
Gran papa LAmbertini;
Ma Rezzonico papessa,
Moncenigo dogaressa.

Hist de la répub. de Venise. P.Daru. V. 47.

² Подлинные слова жизнеописателя Степана Малого: «son amour le vin et le *rachia* ou eau-de-vie qu'il buvoit en abondance avec ses nouveaux ministeres d'etat et ses généraux d'armée» (Stiépan-Mali, p. 21).

между своими близкими соотечественниками, так и между всеми черногорцами, он имел вес в народе и по своему происхождению, и по родственным связям, наконец, по богатству своих стад, и особенно потому, что был когда-то в Петербурге, именно в царствование Петра III, и был принят ко двору. Говорили, что он имел аудиенцию у покойного императора, часто был приглашаем к его столу и много раз пил тосты с ним за здоровье и благоденствие самого государя, его империи, за здоровье всех черногорцев, его друзей и братьев. Пользуясь таким авторитетом, Марко Танович был первый из мирян, который поклялся перед черногорцами своею жизнью и имуществом, что находящийся между ними странник — точно император Петр III, в то время как известный калугер Василий Маркович, который объявил в Будве манифест самозванца, самое уважаемое лицо между своими монахами и всеми священниками греческого исповедания, говорил везде, призывая Бога в свидетели, что его слова и клятва Марко Тановича не ложны. Чтобы более убедить народ в том, в чем, кажется, он и без того убеждался, Марко Танович не смел отказаться от чести служить Степану Малому, когда самозванец, желая видеть себя царем Черногории, назначил его своим великим канцлером. В качестве канцлера он носил государственную печать, которую будущий император вручил ему, возлагая на него звание первого своего министра. Всего удивительнее то, восклицает по поводу этого обстоятельства жизнеописатель Степана Малого, что великий канцлер Черногории, который долженствовал быть впоследствии канцлером всей империи Российской, — империи, в настоящее время самой обширной, какая только существовала со времен древней Римской империи, — не умел ни читать, ни писать даже на своем родном языке¹. Может быть, Марко Танович был прежний господин Степана Малого, раньше всех признавший в своем слуге развенчанного императора, когда он пришел в Майну; как бы то ни было, но это свидетельство и клятва решили дело: черногорцы созвали вече и единодушно признали незнакомца своим и русским царем. Энтузиазм и слепая вера в лучшее будущее под державой помазанника, которого права они признали и готовились защищать, были так сильны, радость их так обаятельна, что не только свободные черно-

¹ Stiépan-Mali., p. 24—52. Для нас это неудивительно, потому что и у Пугачева все члены его военной коллегии и государственного совета, даже председатели и сам император, не умели ни читать, ни подписывать своего имени.

горцы, но и другие общины, расположенные по рекам Зете и Мораче, — Белопавличи, Пиперы и Кучи, находившиеся под властью турок, — отложились от султана и присягнули на подданство России в лице Петра III¹.

Что касается до наружности и приемов этого загадочного лица, то в нем, по-видимому, не было ничего общего с покойным царем русским. Очевидец так его описывает: самозванец был молод, имел прекрасные и живые глаза; он не был высок, но превосходно сложен; он говорил на многих языках с легкостью и большим изяществом. Не сходство ли с наружностью государя, имя которого он принял, или другие причины заставляли его, особенно в начале своего царственного поприща, принимать некоторые предосторожности с лицами, с которыми он имел сношения: он старался держать себя несколько в стороне и так, чтобы всегда находиться в полусвете; «колпак» свой (черногорская шапка, род фески) он надевал очень низко, надвигая к самым глазам; его никто не видел неодетым, кроме разве самых приближенных лиц и тех слепых фанатиков, которые свято верили его царственному происхождению и неотъемлемым правам на русский престол².

Было еще много других обстоятельств, которые ясно говорили, что Степан Малый вовсе не был той особой, за которую выдавал себя. Но, прибавляет его жизнеописатель, ум человеческий, по каким-то непостижным законам противоречия, часто верит тому именно, что всего менее вероятно, и нередко целые массы, не имея сил, а, может быть, даже и охоты противостоять общему увлечению, когда оно уже началось так или иначе, по чьей-либо прихоти или просто по ошибке или недосмотру, — покорно склоняются перед тем, что создано и возвеличено их же собственной фантазией. Тем обаятельнее становится это увлечение, иногда, по-видимому, самое бессмысленное, чем более оно соединено с положительными ожиданиями и требованиями массы, и ведет к цели, к которой хотелось бы дойти тем или другим путем, только бы скорее и вернее, или хотя бы каким-нибудь и когда-нибудь. При Пугачеве русский народ видел вдали не Пугачева на троне, а свои мелкие, может быть, безумные и даже положительно незаконные требования и ожидания дошедшими, наконец, до цели; из-за релей, на которых самозванец вешал всех, кто шел наперекор его, по-видимому, сумасброд-

¹ «Путешествие в Черногорию», Попова. С. 64.

² Stiépan-Mali, p. 21—22.

ным домогательствам, народу светились давно ожидаемые льготы, довольство жизни и мало ли еще что. Не за Пугачева он шел умирать. Черногорский самозванец не мог не сознавать этой простой истины, быть может, угадывая ее чутьем своего гения, потому что он именно так взялся за дело, как следовало: он явился как будто олицетворением народной воли, ясно указав черногорцам на то, что они, конечно, сами создавали в глубине души, но пока безотчетно, — и увлек всех за собою.

Между тем как новоизбранный царь Черногории рассылал везде свои горячие воззвания, прокламации, наконец, манифесты, держа народ в постоянной лихорадке ожидания чего-то сверхъестественного и волнуя обещаниями всего, что только было ему любо, голос его великого канцлера раздавался у ворот и под стенами Будвы, куда прежде послан был манифест еще с монахом Василием и которая теперь заперлась в своих укреплениях, у стен Зупани и, наконец, в самой среде населения, подвластного Венецианской республике. Марко везде, куда ни приходил, кричал к окружающим толпам народа: «*Добра вера!.. Добра блага!..*» — и толпы эти увеличивались при всяком произнесении Марком этих магических слов и росли с каждым днем, чем дальше шел Марко. Едва ли проповедь первых апостолов могла производить на слушателей такое магическое действие, как жаркие и отчасти мистические речи этого черногорца, говорившего народу, что настало время освобождения и мести за старые долги сильных соседей Черногории. Весть о воззваниях Марко достигла наконец Венеции. Венецианское правительство немедленно приказало поймать и арестовать канцлера-возмутителя, а в скором времени оценило его голову — так опасно было для болезненного организма старой, начинавшей уже внутренне распадаться республики влияние возмутительных речей этого человека. Естественно, что казенные фразы указов венецианского сената и местных властей, как бы они ни были энергичны, не могли произвести на черногорцев того впечатления, какое испытывали они, слушая воззвания Марко и читая манифесты Степана Малого; указы эти были бессильны подавить волнение даже в тех из подданных республики, которые увлечены были примером свободных черногорцев и начинали волноваться. Произошло даже то, чего не ожидала республика: простой народ переходил толпами на сторону самозванца; являлись к нему и офицеры венецианской службы. Впереди не видно было ничего хорошего. Тогда Венеция поспешила привести в оборонительное положение все пограничные с Черногориею города и гаван-

ни; военные отряды, поставленные в разных местах Далмации, вошли в крепости и заперли их. Между тем самозванец с каждым днем делал удивительные успехи; уже несколько раз, с своим великим канцлером и другими генералами своей свиты, между которыми было несколько храбрых венецианских офицеров, он подходил к самым укреплениям городов Будвы и Каттаро; республиканские начальники этих городов, несмотря на свои грозные декреты против возмутителей, дрожали от страха в своих укрепленных и наполненных солдатами городах, между тем как мнимый Петр III, его офицеры и солдаты, обвиняемые республикою в измене законной власти и заочно осужденные на казнь, уничтожали их виноградники и сады оливковых деревьев и грабили всякое попадавшееся им жилье по окрестностям этих городов¹.

Митрополит Савва, при всей своей нравственной слабости и потеряв всякое значение в стране, не переставал, впрочем, без всякой пользы, восстанавливать народ против Степана Малого, тщетно называя его похитителем царской власти. Зимой, около Рождества, приехал в Черногорию сербский патриарх Василий Иоаннович Берчич, сверженный с патриаршего престола по приказанию турецкого правительства и заключенный на остров Кипр. Ему удалось бежать из заключения и пробраться в Печь; но там турки узнали его, хотели убить, и только особенным счастьем он успел бежать оттуда в единственное безопасное для него место. Он явился в Черногорию. Митрополит Савва принял его и просил поставить владыку Черногории, потому что, по смерти последнего владыки, Василия Петровича, любимца императрицы Елизаветы Петровны, Черногория оставалась без правителя; сам же он был слаб и стар, а Степан Малый отнял у него вместе с волей и последнее значение, какое он имел до появления этого загадочного человека среди управляемого им народа. Изгнанный патриарх рукоположил во владыки Черногории Арсения, из рода Пламенац. Это странное разьединение власти между новопоставленным владыкою, митрополитом Саввою, на котором все еще оставалась слабая тень прежнего господства над странюю, и Степаном Малым породило новые беспорядки в Черногории, но не уменьшило влияния последнего: оно росло с каждым днем и с каждым днем умалялось значение двух владык-монахов, а Черногория становилась все страшнее для соседей.

Встревоженная и чувствовавшая свое бессилие Венеция писала Порте, предвещая ей восстановление Сербского цар-

¹ Stiépan-Mali, p. 25—26.

ства, если она не обратит внимания на происшествия в Черногории¹.

Действительно, страшный призрак могущественного Сербского царства, каким оно было при Душане, начинал уже носиться перед испуганными глазами Венеции и Порты. С самых первых дней управления Черногорию Степан Малый сделался неограниченным ее властелином. Государство это, управлявшееся до того времени патриархально, в обычаях старины, представляло вид большой нестройной общины, которая умела отстаивать свою независимость в борьбе с внешними посягателями на ее свободу, но внутренне страдала болезнью полной неурядицы, совершенною бесправностью и какою-то запутанностью отношений разных общин между собою; права и личные отношения граждан-общников также не были определены: все спутано, перемешано, каждый делал что хотел, живя грабежом и с полною беспечною полудикого горца: пил «руйно вино и ракию», если то и другое заводилось в его жалкой хижине, знал только свою «бритку саблю» и любил своего «дјога пеливана», если был у него конь, хотя краденый. Не уважая ничего, кроме силы, и признавая только некоторые пустые обычаи наружного почтения в отношении к владыке и старине, черногорец ничего и никого не боялся, слушаясь только голоса внутренних побуждений, которые не всегда могли быть чисты и честны, особливо у народа полуразвитого, видевшего примеры жизненных гражданских отношений только в турках, плохих учителях этой науки. Степан Малый заставил уважать в себе и силу, и права. Приказания его исполнялись свято, его слово было страшно для самого отчаянного «делии» — разбойника, не боявшегося ни общины, ни владыки. Сила воли этого человека была так обаятельна для всех, его крутые меры имели такую власть над черногорцами, что никто не смел даже подумать сделать то, что не нравилось этому новому, молодому владыке. Степан Малый с намерением бросал на скалах и клал на деревьях, у больших дорог, кошельки с золотом, и эти черногорцы, не уважавшие ничьих прав, не знавшие ничьей собственности, которую нельзя было бы украсть, отнять и т.д., не смели дотронуться до этих денег, помня хорошо, что Степан Малый найдет виновного; а если кто и решался взять брошенный кошелек, то затем только, чтобы принести и отдать в руки царю². Рассказывают, что он

¹ «Путешествие в Черногорию». С. 95.

² Stjepan-Mali, p. 16—17.

бросил несколько цехинов на дороге близ Каттаро, и в продолжение долгого времени никто их не тронул¹. До его прихода в Черногорию право родовой мести, как вообще у полудиких народов, оставалось во всей силе; а при таком состоянии общественных отношений сильный мог всегда убивать слабого, никто не имел права судить равного себе, даже самого последнего нищего и открытого вора и убийцу, каким бы то ни было положительным законом: смерть за смерть — и дело кончено, никаких тяжб и споров. Месть была господствующим началом черногорского права. Слабая женщина, дряхлая мать или бессильный старик сохраняли, иногда несколько десятков лет, окровавленную рубашку своего сына, или мужа, или брата, для того, чтобы передать ее по наследству ребенку, как неотъемлемое достояние своего дома; возмужав и будучи в силах взять отцовскую саблю и карабин, он обязан запачкать — по их понятиям умыть — руки в крови убийцы своих родственников, а за смертью убийцы мстить на его сыне, внуке, на его роде и потомках. Степан Малый, едва только провозглашен был царем Черногории, созвал народ на вече и уговаривал бросить этот варварский обычай кровавой мести, советовал прощать друг другу обиды, раны и убийства. До его появления между черногорцами самые жестокие гражданские преступления оставались не наказанными, если виновный был уверен в быстроте ног своего коня, имел при себе саблю, пистолеты, винтовку и метко стрелял; Степан Малый жестоко наказывал самые легкие, по-видимому, ничтожные проступки, не принимая ничего в оправдание вины. Он старался ввести между своими подданными устное судопроизводство, но чтобы оно основывалось на твердых законных началах. Он назначал особых исполнителей своих распоряжений и народных судей по уголовным преступлениям, которые обязаны были доводить до его сведения о всех беспорядках страны, убийствах, обидах, грабежах, и он сам уже определял меру наказания. Потому ли, что он слишком хорошо понимал дух этого народа, который нельзя было полумерами подвинуть на радикальные перемены в государстве и на искоренение самых непростительных гражданских пороков, или только по сознанию необходимости заставить черногорцев уважать закон и бояться его больше турецкой неволи, — только наказания его были иногда слишком неумеренны, и сами черногорцы, конечно противной, консервативной партии, обвиняли его в жестокости. В числе других случаев излишней

¹ «Путешествие в Черногорию». С. 96.

суровости правосудия Степана Малого особенно один наделал много шума и толков по целой Черногории. В нахии (провинции) Чермницкой брат убил родного брата. Степан Малый принудил всех черногорцев искать «нового Каина». Убийца бежал из своей общины за реку Морачу, через горы, к Подгорицам, и скрылся в церкви, считая себя совершенно безопасным от преследования. Еще по законнику сербского царя Стефана Душана и по народному обычаю всякий преступник становился неприкосновенным лицом, если успевал скрыться в храме у престола; никакая власть, ни воля царя, ни голос всего народа, ни самое высокое духовное лицо — ничто не имело права требовать преступника из этого священного убежища, а тем менее переступить порог храма и коснуться беглеца. Степан Малый знал, что этот, освященный временем, обычай, хотя и трогательный, был сильным потворством преступлений всякого рода. Он приказал взять беглеца из убежища. Убийца приведен был в дом своих родителей, и там принудили самого родного отца его и оставшихся родных братьев несчастного повесить братоубийцу на дереве, перед самой дверью дома¹. В памяти самых престарелых черногорцев не нашлось другого подобного примера; это был первый, что убийца осужден на смерть по закону преобразователя Черногории, а не наказан по обычаям кровавой мести, если только было кому в семействе мстить смертью сыну или брату за убийство другого близкого существа.

Неудивительно, что при виде того, что теперь делалось в Черногории, перед Венецией и Турцией встал призрак того Сербского царства, которое давно погибло, одними своими силами отстаивая (на Коссовом поле) Европу и ее цивилизацию от напора турок с их восточным деспотизмом и которое-таки не пустило их далеко за Дунай. Для того чтобы остановить в самом начале быстрые и опасные успехи молодого черногорского царя, нарушившие покой самого султана, летом 1768 года дано было приказание визирю Боснии и Румелии, а также паше skutарийскому двинуться с войсками к границе Черногории. Собрана была громадная, 180-тысячная армия. Такие силы были в то время страшны самой России и могли задавить не одну Черногорию. Вышло напротив... В августе войска обложили Черногорию с трех сторон, с юго-востока вдоль по восточной границе до самых северных оконечностей новосформированного царства. Прежде чем начались военные действия, визирь вступил в переговоры с

¹ Stiépan-Mali, p. 16—18.

черногорцами и требовал выдачи мнимого Петра III и бежавшего из ссылки сербского патриарха Берчича; но черногорцы отказали в этом, уверяя, что у них нет ни того, ни другого¹. Война началась. Выступили первые эскадроны сипаев, встретились с черногорцами, и в сражении, где юный лжеимператор Петр лично распоряжался ходом битвы, сипаи были разбиты. Венецианцы, подозреваемые константинопольским диваном Бог весть на каком основании в дружественных сношениях с черногорским царем, тогда как в самом деле они боялись его едва ли не больше, чем сами турки, чтобы отклонить подозрения Порты и успокоить ее, а также и для собственного спасения, отправили все свои регулярные войска против царя и его подданных. Но этих войск было недостаточно. Тогда сенат дал приказание формировать новые войска: собраны были отряды солдат в континентальных провинциях республики и в Далмации. Проведитор этой провинции Доменико Кондильмер, которого резиденция находилась в Заре (Сполатро), прибыл в Каттаро со всеми принадлежностями войны самой грозной. Употреблены были все усилия, пошли в дело все средства, какими только могла располагать республика. Но истощенная за несколько лет перед тем войною с Тунисом и Триполи, пострадавшая на море, где ее флоты уступили морским силам африканских пиратов и она заплатила им тяжкую контрибуцию, внутренне разбитая, наконец, деспотизмом каст², раздиравших одна другую, она чувствовала, что ослабевший механизм ее не в состоянии будет выдержать продолжительную и упорную войну, которую, может быть, пришлось бы вести даже с своими подданными, внутри своих собственных владений. Доменико горько убедился, что его армия слишком слаба и ничтожна, хотя и не малочисленна, чтобы бороться с силами черногорского царя, постоянно новыми и постоянно возрастающими. Сенат, возбуждаемый и угрожаемый Портою и предчувствуя, по началу грозных событий в Черногории, близкую опасность для своего собственного спокойствия и целости республики, и без того внутренне распадавшейся, отозвал Доменика Кондильмера, а на его место послал Дуанне Дусто с предоставлением ему неограниченной власти в деле войны и подчинил ему в качестве генералиссимуса войск республики графа Карла Вирцбурга, немца, бывшего прежде генералом австрийской службы³.

¹ «Путешествие в Черногорию». С. 95.

² «Despotisme de la république...» Daru. V, p. 58.

³ Stiépan-Mali, p. 27—28.

Военные корабли всех размеров, линейные фрегаты и другие покрыли Адриатическое море¹; арсеналы с трудом могли снабжать оружием солдат, как из итальянцев, так и из морлаков. Медлить было невозможно, потому что молва о черногорских событиях, как электрическая искра, пробежала из одного конца Адриатического поморья в другой; все народы, соседние с Черногорию, которых, конечно, не могло услаждать владычество над ними Венеции, Турции и даже Австрии, могли встать за свою свободу, и дело, начатое Степаном Малым, не кончилось бы в пределах одной Черногории, отголоски его слышались уже далеко от Будвы и Каттаро: европейские газеты, занятые более важными политическими событиями, происходившими в то время во Франции, Индии и на Средиземном море, заговорили и о черногорском царе, как не говорили никогда ни о митрополите Савве, ни о других владыках. Около октября 1768 года венецианская армия, состоявшая из 15 тысяч человек и подкрепляемая якорным флотом, который имел стоянку у Будвы, близ острова Саввы, расположилась лагерем и развернула свои знамена в самой равнине города Будвы, между горою С.-Сальвадор, Мерен и небольшою речкою, которая вливается в море и чрез которую перекинут мост в предместье Будвы; другие отряды потянулись по западной границе Черногории до самого Грахова; третьи заняли приморские скаты гор и доходили до самого города Бара, ниже Скутарского озера. С остальных сторон облежала Черногорию огромная турецкая армия, о которой мы сказали выше. Степан Малый явился к венецианскому войску с своим великим канцлером. Если Марко Танович, говорит очевидец всех битв Степана Малаго, не умел ни читать, ни писать, подобно великим канцлерам других государей, то взамен всего этого он умел сражаться как Геркулес, а при случае эта способность стоит всех других. С пятью тысячами черногорцев, которых Степан Малый привел с собою к Будве, он напал так стремительно и так неожиданно на венецианскую армию, произвел такую страшную бойню, что венецианцы смешались; отрывая с самых вершин гор, под которыми расположено было войско республики, огромные камни и обломки скал, черногорцы пускали их на головы несчастных солдат. С страшным шумом скатывались с гор груды камней в самую середину неприятельского войска, и все смяли, расстроили и перебили. К довершению несчастья поднялась ужасная буря, хлынул дождь, заблестали молнии,

¹ См. Daru, *Histoire de la republique de Ven.* V — о морских силах Венеции.

ударил гром; черногорцы так и засыпали камнями, увечили и давили все, что было под горою. Буря помогла им. Венецианское войско пришло в такой ужас, что едва успело заклепать свои пушки и бежало в беспорядке; обезумевшие от страха итальянцы и морлаки бросали оружие, покинули лагерь со всеми припасами и пожитками; все войско село на корабли, чтобы принести сенату печальную весть о своем поражении. Храбрый немецкий генерал Вирцбург, нравственно убитый, уничтоженный мыслью, что его победил этот новый таинственный Петр III, которому не было 18 лет от роду, и его канцлер, которого все познания ограничивались умением владеть саблей, мучимый стыдом, просил отставки и, спустя немного времени, умер в Падуе от тоски и отчаяния¹.

Народная песня сохранила воспоминание об этой битве, и слепой бандурист, играя на своем нехитром и маломузыкальном инструменте (*пева уз гусле*), поет и теперь про Степана Малого:

Паде страшна киша из облака,
Ударише мунье и громове
Усредь войске дужда млетачького,
Близу Будвы града млетачького,
И у табор други гром удри,
Ударю паши Скадраского
На дно равна поля Церницкого:
Разагнаше войска обавдіе...²

Народная фантазия соединила здесь две битвы — при Будве и следующую, которая дана была при Скутарском озере. Действительно, почти в одно время черногорцам приходилось отражать двух сильнейших врагов: оставив одну часть границ незащищенной, они были в опасности видеть неприятеля в своих родных горах, — а этого им не хотелось. В то время когда венецианские войска стянуты были к Будве, турки обложили восточные границы владения Степана Малого и, как волки (*вуци*, по выражению черногорцев), стремительно врывались в порубежные нахии. После поражения венецианской армии нужно было много усилий и средств, чтобы отбивать напор 180-тысячного турецкого войска. Был ли Степан Малый все еще под Будвой или внутри Черногории, только войско его вступило в бой с турками не под его начальством. Им командовал какой-то гене-

¹ Stiépan-Mali, p. 28—30.

² «Полился страшный дождь из облаков, ударили молнии и громы в середину войска дожа венецианского близ Будвы, города венецианского, и другой гром ударил в лагерь паши скутарийского, в глубь Черницкой долины: громы разогнали оба войска». «Путешествие в Черногорию». С. 95.

рал его свиты, имени которого мы не знаем¹. Битва была продолжительная и упорная; она длилась целых пять часов, от десяти утра до трех пополудни. Наконец турки дрогнули и отступили. Армия их потянулась к берегам Скутарского озера. В этом сражении черногорцы, говорят, дрались как арабы пустынь и древние парфяне. Но в пылу битвы, увлеченные победой и упорством турок, они не умели, да и не могли остановиться вовремя: сошли с гор и ударили снова на отступавшего неприятеля. Завязалось новое сражение, и, может быть, снова победили бы черногорцы, если бы битва шла в горах, между скал и пропастей, где черногорцы непобедимы; но сражение дано было на равнине; горсть храбрых юнаков была вся на виду; турецкая кавалерия и пехота могла развернуться и задавить и не такого малочисленного противника; наконец, пушкам турецким легко было действовать на равнине. Резня была ужасная, и черногорцы остались скорее побежденными, чем победителями. Может быть, не видя впереди своего царя, который так умел воодушевлять свои войска и наводить неописанный ужас на турок, где ни показывался; может быть, потому, что правильные битвы на равнинах, без пушек, никогда не могли быть выгодны для черногорцев, — только они отступили. Говорят также, что у них не достало пороху. Как бы то ни было, но и турецкая армия, которая находилась уже в Чермнице, наводнив почти всю нахию, принуждена была ретироваться к Скутарскому озеру и там осталась. Скутарийский паша Мегмет-Кюр показывал вид, что торжествовал победоу. Турки хвастались. Паша поспешил даже отправить в Константинополь курьера с депешами и варварскими изъявлениями сомнительного торжества: курьер повез с собою знамена, значки, головы, отрезанные у мертвых, усы, носы и уши черногорцев как трофеи великой победы. Но победа была далеко не полная. Заметим только следующее: паша Мегмет-Кюр, который отчасти был причиною войны турок с черногорцами, в скором времени принужден был принять яд и отравился, чтобы избежать более постыдной участи быть удушенным по приказанию султана. Мустафа, вероятно, знал больше, чем предполагал несчастный паша.

Итак, первые две битвы стоили венецианцам и туркам жизни двух полководцев: один умер, конечно, не от торжества, да и другой отравился не с радости.

¹ Жизнеописатель Степана Малого говорит, о нем: «Ce général est fort connu aujourd'hui en Europe et au delà de l'Océan par ses projets politiques et ses ouvrages de poésie, d'histoire et surtout de philosophie» etc., etc. Stiépan-Mali. С. 30.

Было и еще много сражений между черногорцами и турками, но они кончались менее счастливо, чем первые: казалось, счастье оставило Степана Малого. У черногорцев не доставало средств вести войну; напротив, турки не имели недостатка ни в чем, и хотя войска их, расположенные в Албании и около Скутарского озера, не были уже страшны, особенно после трагической смерти Мегмета-Кюра, но оставалась еще сильная армия визиря Боснии и Румелии, которую нелегко было отодвинуть. В частых схватках с передовыми его отрядами черногорцы не смели даже стрелять в турок, боясь истратить лишний заряд, потому что у них вышел весь порох; их еще спасали горы, но и горы не всегда же можно было отстаивать саблею и камнем, потому что другого оружия они не имели. Визирь успел завоевать всю Берду, и только западные нахии оставались во власти Степана Малого, да и там он не был безопасен. Казалось, его дело, начатое так славно, должно было погибнуть в самом начале. Только отчаяние еще поддерживало черногорцев и давало им новые силы не падать духом в такие минуты, когда другой на их месте давно бы кончил эту утомительную войну. Самозванец верил, кажется, в свое счастье и в свои нравственные силы — и спас Черногорию. Перед началом зимы этого года к визирю, который находился в Кчеве, везли обоз с порохом и свинцом. Черногорцы отбили его и начали снова ожесточенную войну с своими притеснителями. Поражая неприятеля везде, где бы он ни встречался, пробираясь между скал и пропастей, которые изучили в детстве, черногорцы вознаграждали потерянное в бездействии время, тревожили врага на всех пунктах, выбивали его из всех позиций и, наконец, принудили сойти с гор и укрыться в долинах. Визирь, смущенный потерей обоза с порохом и новыми успехами царя, наконец, видя приближение зимы, прекратил войну и удалился.

Так кончился первый период войн Степана Малого с соседями и первые месяцы его царствования.

Идея, во имя которой действовал Степан Малый, была так обаятельна для всех подавленных народностей Балканского полуострова, Морен и островов Архипелага, успехи его западали в душу угнетенных племен юго-восточной половины Европы такой живительной надеждой на возрождение всего, что было безжалостно разбито и уничтожено чуждыми элементами не только тюркской, но и романо-немецкой преобладающей расы, что молва о черногорском царе — не из газет, конечно, — нанюхивала собой все восточное побережье Средиземного моря и имя его стало у всех идеалом возрождения к лучшей доле. Сербские славяне, жители Нижней Албании, майноты, обитатели

древнего Лакедемона, наконец, иерусалимские греки начали открыто выражать свою вражду к Турции и готовились к восстанию на всех пунктах. Петербургский кабинет, искавший, как некоего блага, случая впутать Турцию в какие-либо политические дрязги, был бы совершенно счастлив, видя такое движение на юге, если бы в крике волновавшихся племен не звучало имя Петра. От Венеции до мыса Матапана в Мореи между именами Степана Малаго и Стефана Пикколо (так итальянцы называли Степана Малого) слышалось также имя Петра III. Конечно, не это имя наделало столько шума, а слухи о том, что оно соединено с другим именем — именем свободы и борьбы с притеснителями. Турция, понимавшая, без сомнения, виды петербургского кабинета и косвенное участие его во всех смутах на юге, озлобилась до того, что посадила нашего посланника в Константинополе, Обрезкова, в семибашенную крепость за то будто бы, что во время известной «Уманьской резни», где такую горькую славу приобрели себе герои малороссийского простонародья Железняк и Гонта, один отряд гайдамаков перешел турецкую границу и напал на Балту, куда скрылись преследуемые им паны и евреи. Оскорбленная, в лице своего посланника, императрица Екатерина II объявила султану войну, призывая Бога в свидетели правоты своего дела и называя Мустафу, в письме к Вольтеру, деспотом и выжившим из ума старикашкой; в то же время она приглашала Вольтера погостить в новой ее столице Константинополе. В газетах между тем трубили о предсказании одного английского ученого, бристольского епископа, доктора Невтона, доказывавшего неизбежную гибель Порты многими разумными данными и словами пророка Даниила: *«И соберется на него царь сиверский с колесницами и с конники и с корабли многими, и внидет в землю, и сокрушит, и мимо идет»* (гл. XI, с. 40)¹. В манифесте, объявлявшем русскому народу о причинах разрыва мира с Портою, ни слова не было сказано о Степане Малом, ни о черногорском народе; на самом же деле императрица сильно рассчитывала на помощь этого народа и отправила в Черногорию князя Юрия Владимировича Долгорукого с знаками самого дружественного расположения, но только не в пользу мнимого Петра III.

Этот эпизод из русско-черногорской истории имеет высокий интерес, хотя, к сожалению, нам не известны ни секретная переписка петербургского кабинета, ни словесные, конфиденциальные приказания самой императрицы относительно черногорского Петра Федоровича, ни личные распоряжения

¹ «С.-Петербургские Ведомости», 1769 г., № 85.

Долгорукого; мы не знаем ни того, что и в каких выражениях говорил князь с черногорцами о самозванце, ни того, что они ему отвечали: знаем только из рассказа очевидца, что происходило в самой Черногории во время этого таинственного посольства, как принят был князь и какой имело результат посещение Черногории русским сановником.

Князь Долгорукий отправился из России во флоте, который послан был в Средиземное море под начальством графа Алексея Григорьевича Орлова (будущего Чесменского) и Спиридова. В то время когда граф Орлов, как говорит Шлоссер, «проводил карнавал в Венеции, не переставая волновать майнотов и пелопонесских жителей, посредством их собственных начальников или через своих лазутчиков, которые, переодевшись священниками, избегали всяких подозрений»¹, князь Долгорукий тайно пробрался в Черногорию, как говорят, на рыбацкой лодке. Он пристал в Спице и выгрузил на берег подарки, которые императрица посылала черногорцам и которые состояли преимущественно из пороха, свинца и звонкой монеты, в чем черногорцы наиболее нуждались.

В высшей степени занимателен рассказ о приезде в Черногорию русского посольства, записанный более двадцати лет назад со слов черногорца, бывшего в экспедиции князя Долгорукий ночью вышел из лодки и в сопровождении одного иллирийца пошел в горы по направлению к Кагель-Лавте. Ночь была темная и ненастная. Недалеко от берега путешественники встретили избушку черногорца (кучу). Черногорец, старик лет за семьдесят, сидел с семьей у своего бедного очага и ужинал. Вдруг раздался стук в дверь.

— Кого бы Бог принес в такую пору? — сказал старик. — Не «чѣта» ли (неприятельский набег)?

— Нет, бабо, чѣта не просится, а ломится в двери, — отвечал старший сын, которому было лет пятнадцать. — А вот посмотрю да впусти гостей, коли они хоть незваные, да желанные.

Он отворил дверь, и двое незнакомых, не дожидаясь приглашения, вошли в избу. Один, по одежде, по речи, по складу лица, походил совсем на черногорца; другой только одною речью, хотя не совсем понятной, несколько напоминал одноплеменника: он без околичностей отряхнул свой широкий охабень, окатив всех водой, и молча сел к огню. Товарищ его повел беседу с стариком.

— Из Анконы сюда прибыли мы в рыбацкой лодке, — говорил он, — турки и венецианцы сторожили нас, да про-

¹ Шлоссер, «История XVIII в.», т. 3.

глядели, и мы пристали беспрепятственно у Спица, близ самой границы вашей с турками и Бокою; товарищи наши еще в лодке, стерегут пожитки, но Боже сохрани, если утро застанет их в лодке, — ты понимаешь! Не станем терять времени. Ты христианин, наш по крови и по вере, — дай нам проводника или проводи сам до берега и укрой нас потом, на время, здесь.

Старик задумался.

— Сколько вас всех?

— Человек двадцать, большею частью иллирийские славяне.

— А этот кто?

— Это наш начальник, русский, из знатного рода князей Долгоруких; он сердарь и воевода в своем краю.

— Русский... знаю! У них был великий царь, Петр I. Отец мой видел его, когда был на Руси с владыкою Даниилом; а теперь на Руси ведь нет царя: царь ее, Петр III, теперь правит Черногорию.

— На Руси есть царь великий, Екатерина Алексеевна, — сказал другой пришлец, гордо поднимаясь с места, — и правит она Русью, потому что Петр III волею Божьею помре. А тот, что у вас, — не царь, а лжец и самозванец.

Старик нахмурил брови, но, вспомнив долг гостеприимства, победил себя.

— Кто бы вы ни были, зачем бы сюда ни пришли, я дам вам проводника и пристанище; никто не скажет, чтобы христианин выдал своих единоверцев туркам или венецианцам, а в случае нужды сумеет защитить вас и от своих, — сказал он, сурово поглядывая на русского князя. — Радован (так звали его сына), ступай с ними и не приходи без них.

Они отправились и до рассвета достигли бухты, где человек пятнадцать, притаясь и настороже, ждали их. Князь сказал что-то своему спутнику, который потом был неотлучно при нем, и они пошли назад в горы, по направлению к Щетинскому монастырю, где Долгорукий вел свои переговоры с черногорцами¹. Или Степан Малый был предуведомлен заранее о присылке из России кораблей, или по редкому провидению светлого ума это-

¹ Этот рассказ записан знаменитым нашим путешественником Ег.П. Ковалевским со слов черногорца, бывшего в молодости проводником князя Долгорукого. Рассказчик был тот самый Радован, сын старого черногорца, принимавшего князя в куче, который провел его в горы. Радовану во время посещения г. Ковалевским Черногории было уже лет девяносто. Мы поместили его рассказ без перемены — так драгоценны для русской истории малейшие сведения об этой интересной эпохе. См. «Четыре месяца в Черногории». СПб., 1841 г., с. 40—43.

го человека, или просто по счастливому стечению обстоятельств, которыми так умел пользоваться его гений, только посольство это, которое могло иметь для него гибельный исход, он обратил в свою пользу. Степан Малый еще до прихода русских в Средиземное море объявил своему народу, а в особенности приближенным лицам, что в скором времени его верные подданные в России должны прислать к нему несколько кораблей, чтобы перевезти на них своего царя в его империю со всеми друзьями, которых он, Степан Малый, еще в России пожаловал орденом св. Андрея Первозванного и многими другими титулами и званиями при дворе и армии; он говорил, что корабли эти будут нагружены золотом, серебром, свинцом, порохом, зелеными и красными сукнами и драгоценными камнями всех цветов. Потому появление русских и князя Долгорукого, казалось, нисколько не смутило и не удивило его. Напротив, говорит очевидец, служивший в свите Степана Малого, князь Долгорукий показался слишком ничтожным и смущенным в присутствии самозванца. Действительно, когда князь предъявил грамоту к черногорскому народу от своей императрицы, в которой она приглашала его вместе воевать против турок, черногорцы с радостью приняли предложение; но, когда этот посол обратился к народу с увещаниями и уверениями, что Степан Малый, царь их, — самозванец, и когда сам Степан показался народу, — все собрание обратилось к нему с приветствием как к своему императору, а Долгорукий был всеми оставлен. Несмотря на то что князь был прислан от русской императрицы как ее генерал и ее уполномоченный министр в Черногории, он, по словам современника, после нескольких дней своего там пребывания, раньше чем через неделю, ушел из этой страны тайно, как беглец, так что растерял свои деньги, которые были у него в карманах, ночью пробравшись через горы, чтобы только успеть отыскать свою лодку и плыть в Ливорно, где его дождался граф Алексей Орлов¹.

Но, вероятно, Долгорукий умел подействовать на митрополита Савву, врага Степана Малого, или на немногих партизан митрополита, потому что старый владыка сделался еще злейшим противником самозванца и уже старался открыто вредить ему. Черногорское духовенство всегда пользовалось расположением русского двора, который не забывал посылать в дар церквям богатые вклады; без сомнения, Долгорукий имел много

¹ Stiépan-Mali, с. 33—34. В сказании о роде князей Долгоруких мы читаем, что князь Ю.В. Долгорукий «был отправлен в Черногорию для приведения полудикого черногорского народа в подданство России, за что получил Георгия на шею и Александра Невского» (с. 189).

средств привлечь митрополита на сторону императрицы и не оставил церкви без щедрого приношения; иначе слабый Савва не решился бы действовать так смело, как он начал действовать по отъезде из Черногории русских. Притом, вероятно, его уверили, что самозванцу не устоять против всей России; что самозванцы являлись и у них дома, но все переловлены и сидят по острогам; что законная власть восторжествует и в Черногории и что Степану Малому никогда не видеть русского трона и шапки Мономаха и проч.

Однако, при всем том, Степан Малый, освободившись от присутствия русских, не мог не видеть, что могущество его возрастает с каждым днем и доверие к нему народа так упрочено, как только может быть прочна вера самая слепая и любовь совершенно самоотверженная. Народ видел, что к нему, Степану Малому, приезжали русские его подданные, которые, несмотря на измену своему законному государю, не могли не чувствовать страха и невольного к нему уважения. Но между тем митрополит с горестью смотрел на возрастающее могущество самозванца, которое, в равной степени, уменьшало и совершенно парализовало его собственную власть; он так боялся быть жертвою этого человека, которого, в ослеплении антагонизма или по естественному чувству самосохранения, считал способным на всякое гнусное дело и так трепетал за церковные сокровища, сохранявшиеся у него в деревянных кадках, которые можно было зарыть в землю, что решился вывезти их из Черногории и передать в верные руки; он отправил также из Черногории все бумаги, хранившиеся в его кладовых в монастыре Станевич. Наконец, он громко объявил себя врагом Степана Малого; он проповедовал против него публично и в церкви, с амвона, с крестом в руке, не переставал увещевать черногорцев возвратиться от своих заблуждений на путь истины и покинуть этого нового Гришку Отрепьева, который погубит Черногорию в войне, равно гибельной и своими ужасными последствиями, и по своей цели: ибо, прибавлял он, все его намерения, все желания, вся цель его честолюбивых действий, очевидно, клонятся к тому, чтобы сделаться самовластным повелителем свободной Черногории и, может быть, даже всей Албании. Самозванец, как ни верил в свои нравственные силы и привязанность народа, стал тревожиться, что проповеди митрополита могут сделаться источником гибельных последствий как для его царства, так и для безопасности его собственной жизни. Справедливо опасаясь, чтобы странные речи этого некогда уважаемого всеми старца не превозмогли его влияния на народ, не охладили того энтузиазма, который он вдохнул в своих подданных, и чтобы он сам не сде-

лался жертвою народного мщения, он, не колеблясь, решился на самые отчаянные меры, на какие способна была его пламенная, честолюбивая душа. Ему оставалось только заставить молчать митрополита и лишить всякой возможности действовать во вред его началам. Тогда он явился к нему в Станевич и заключил его под стражу в самом монастыре, а монахов всех разогнал. А между тем его великий канцлер с саблею в руке появлялся везде, где только мог найти жилище черногорца, прошел всю страну из конца в конец, провозглашая везде эти многозначительные для черногорца слова: «Добра вера, добра блага!», которыми он начал свою проповедь в пользу самозванца и которые производили на народ такое всемогущее влияние. Возвания эти делали то, что и греки, живущие в Дубровнике (Рагуза), в Венеции, наконец, в Австрии и даже в Неаполитанском королевстве, стали верить своему возрождению, видели, что Степан Малый скоро явится их освободителем от обидного и тяжелого ига иноверцев; они посылали в помощь ему все, что имели, — оружие, деньги и проч. Европа с удивлением смотрела на это всеобщее брожение умов, произведенное волею одного человека, — юношею, которому не было восемнадцать лет. В это время перепечатывалось во всех европейских газетах, в том числе и в наших русских, что «около Монтенегро недавно показалось несколько греческих судов с иерусалимскими флагами»; что «как скоро с оных судов дан был знак о их приближении, то некоторый корпус монтенегринцев, выступя из гор, учинил нападение на расставленных там по берегу турок и оных всех порубил»; что после того «несколько греческих офицеров, вышед из оных судов на берег, выгрузили не малое число всяких военных снарядов и денег» и что «монтенегринцы, учинив потом набег на турецкие земли, разбили там и сожгли все деревни»¹. Что это были за греческие суда с иерусалимскими флагами, откуда они пришли и что за офицеры — мы решительно не понимаем; может быть, даже — это приставало к берегу русское посольство с князем Долгоруким, о чем и сами русские в то время ничего не знали, потому что все это делалось секретно. Как бы то ни было, но Европа еще не все знала, что делалось тогда в Черногории и в соседних с нею землях². Волнение

¹ «С.-Петербургские Ведомости», 1769 г., № 84.

² В тогдашних газетах публиковались самые отрывочные сведения о действиях Степана Малого; сведения эти заходили и к нам в Россию, но чрезвычайно поздно; так, например, во второй половине 1769 года извещалось из Венеции, от 1 августа: «Сказывают, что известный Стефан Пикколо (так называли итальянцы Степана Малого) учинил опять набег в турецкую землю и отогнал от оной великое множество скота». «С.-Петербургские Ведомости», 1769 г., № 69.

греков и славян, неподвластных Степану Малому, а живших в других государствах, навлекло только на них жестокое преследование со стороны тех правительств, под властью которых они находились; множество несчастных, поддавшихся этому увлечению, кончили жизнь в ссылках, другие погибли на эшафоте. Но ни преследования, ни ссылки, ни тюрьмы, ни самая смерть со всеми ужасами пыток и истязаний не могли, по словам современников, остановить народа, который целыми толпами стремился отдать себя под власть могущественного императора Петра III. Тщетно старались изыскивать средства убить в зародыше эту пробуждающуюся всюду жизнь: митрополит грозил народу отлучением от церкви, предал самозванца проклятию. В других обстоятельствах проклятие владыки повергло бы всю Черногорию в ужас и отчаяние, но в настоящее время оно возбудило только насмешки и презрение (собственные слова современника). Черногорцы говорили, что Степан Малый как император Черногории и всей России, а следовательно, глава греко-восточной церкви имеет власть разрешать проклятие и слагать отлучение. Они явились к нему, и самозванец сложил с них проклятие владыки, благословив подданных своею рукою. Несчастный Савва должен был повиноваться и молчать, боясь погибнуть от руки какого-нибудь фанатика. Степан Малый увидел себя полным и неограниченным государем всей Черногории — видел покорность владыки, всего духовенства, священников и калугеров и всех светских властей государства. Прежде вся нация оказывала владыке глубочайшее уважение, по крайней мере наружно: при встрече с ним черногорцы падали ниц и целовали край одежды митрополита, они не смели встать и продолжать путь, пока не получают позволения и благословения владыки. Теперь все это вмещал в себе самозванец — и власть владыки, и самовластие государя: видели только его, повиновались только ему одному.

Степан Малый думал о восстановлении Сербского царства. Еще в конце 1768 года, когда венецианские войска были разбиты, а турки отражены от границ Черногории, он намеревался предпринять поход в Сербию. Приготовления начались в начале декабря этого года, его войско готово было оставить горы и идти в глубь материка; однако новые вооружения со стороны Венеции, приготовления к войне на море и на суше и, наконец, приближение 150-тысячной турецкой армии принудили его остаться в своих владениях и защищать горы. Он намеревался строить крепости, проводить дороги, улучшать пути сообщения, но у него не было ни материалов, ни опытных техников; все его предприятия ограничивались укреплением границ: в не-

обходимых местах делались огромные насыпи из камней, которые защищали бы вход в Черногорию; нагромождены были целые горы земли и обломков скал, которые он взрывал порохом, делая завалы там, где неприятель мог пробраться внутрь страны. Эти работы заняли все время от декабря 1768 до половины июня 1769 года. До того времени столица его находилась в Майне, где дом великого канцлера Марко Тановича обращен был во дворец; Степан Малый останавливался иногда также в селениях Побори и Браича, в той части Черногории, где начал свою политическую деятельность. Но летом 1769 года он переселился в нахию Чермницкую и занял под свое помещение дом нового владыки Черногории, поставленного патриархом Беричем, Арсения из рода Пламенац. Арсений был друг Марко Тановича. Степан Малый потому избрал для своей резиденции Чермницкую нахию, что она была безопаснее от нечаянных вторжений неприятеля. Здесь он всей душой предался устройству своего маленького государства, чтобы, сделав необходимые преобразования в Черногории, выступить на более широкое политическое поприще.

Но ему не суждено было сделаться освободителем Сербии и других славян от иноплеменников и творцом великой славянской федерации. В то время когда его политическая деятельность могла уже быть связана с судьбою всей Европы и иметь мировое значение, одно несчастное обстоятельство лишило его всякой возможности действовать. Степан Малый ослеп. Проводя новую дорогу в свою столицу, он приказал взорвать несколько утесов, стоящих на пути в Чермницу; во время подкопов он сам попал в середину одного порохового взрыва и едва остался жив, но его изувечило обломками скал так, что на теле его найдено было 62 раны и глаза несчастного были так повреждены, что Степан Малый навсегда лишился зрения.

С этой минуты Степан Малый жил в совершенном уединении, проводя дни в маленькой келии чермницкого монастыря, куда поместили больного и слепого царя Черногории и — как думали его бедные подданные — императора и самодержца всей России. Несчастный находил развлечение в беседе друга своего, митрополита Арсения, который почти никогда не покидал его.

В это время русские на суше под предводительством графа Румянцева отнимали у турок один город за другим, а на море наш флот под начальством графа Алексея Орлова заслужил громкую известность уничтожением турецкого флота при Чесме. Хотя, по словам знаменитого Шлоссера, «ни

Алексей, ни его брат не заслужили здесь никакой славы», однако великодушная императрица повелела прибавить к фамилии первого эпитет *Чесменского*, а Херасков написал целую поэму, прославившую его подвиги. Несчастный султан Мустафа III, в страхе за целостность своей империи, раздираемой и внутренними смутами, и русскими войсками, и черногорцами, думал сам ехать к армии с своею серальскою гвардиею, «опасаясь, чтобы не началась другая война в Далмации»¹, где еще жив был Степан Малый. Но, желая покончить прежде всего с черногорцами, отвлекаящими его многочисленными силами, он решил во что бы то ни стало погубить слепого царя Черногории, который и в своем жалком положении был страшен султану. Султан не без основания думал, что, и лишившись зрения, Степан Малый способен был стать во главе сильной армии и идти внутрь владения Порты. Преступная воля деспота нашла исполнителей его гнусного намерения. Выискался беглый грек из Морей по имени Станко Класомунья, который за пятнадцать кошельков золота решился или пожертвовать жизнью, или убить черногорского царя. Жизнеописатель Степана Малого, рассказывая об этом греке-ренегате, приводит следующий стих из Тасса о греческом вероломстве:

La fede greca a chi non é palese?

Станко Класомунья пришел в Чермницу, чтобы, как он говорил, найти убежище от турок «у славного Петра III». Он рассказал ему целую историю своих несчастий, выдумывая обстоятельства, которые никогда не существовали, и так вкрался в доверие Степана Малого, что тот принял его к себе в услужение. Этот грек умел хорошо играть на лире, и за такое искусство слепой царь имел несчастье привязаться к ренегату, который своею игрою и пением развлекал больного в его уединении. Тот же жизнеописатель не мог и при этом не вспомнить известного стиха Вергилия о предательстве греков: «*Tiŕneo Danaos et dona ferentes*». Один Станко Класомунья своими песнями умел отгонять тоску, которая часто овладевала душой несчастного слепца; в особенности Степан Малый любил слушать в такие минуты одну греческую песню, которая начиналась словами:

Κδλῆσπερα ματῶ μου, и проч.

Кроме того, Класомунья употреблял все способы, чтобы только заслужить доверие больного: он приносил иногда в дар

¹ «С.-Петербургские Ведомости», 1769 г., № 85.

ему свежие плоды из Спалатро и разные вина, до которых, особенно до кипрского, Степан Малый был большой охотник.

Наконец наступило 25 августа 1769 года (так изображает последние минуты жизни Степана его биограф)¹, день, который избран был изменником для выполнения своего гнусного замысла, и это же был последний день царствования и краткой, но замечательной жизни черногорского Петра III. Чтобы ничто не мешало его предприятию, Станко Класомунья все устроил так, что один мог остаться с своею жертвою. Митрополит в этот день отправился в Цетинье навестить владыку Савву Петровича; прочие монахи пошли стеречь стада; наконец, стража, которая всегда стояла у дверей кельи Степана Малого, заснула. Таким образом, благодаря своему врагу оставлен был всеми этот необыкновенный человек, и тот, который заставлял трепетать целые тысячи своих противников, пал от руки презренного игрока на лире. Степан сам ускорил свою гибель, попросив грека взять лиру и спеть, говоря, что он уснет легче и спокойнее. Но он уже не просыпался. Изменник отрубил спящему голову и в тот же час скрылся из Черногории, пробравшись в Румелию к Беглер-бею, от которого должен был получить плату за убийство. Ему заплатили столько фунтов золота, сколько весила голова несчастного царя. Останки его тела были с честью преданы земле в чермницкой церкви митрополитом Арсением, любившим покойного, которого он до сих пор не перестает оплакивать².

Непродолжительно было политическое поприще Степана Малого; но и в течение трех лет он много сделал для Черногории; правда, с его смертью страна эта испытала внутренние раздоры партий; но при нем партии слились бы в одно нераздельное целое, и его власть, быть может, сделала бы благоприятный поворот в истории Черной Горы. Вся жизнь этого человека покрыта непроницаемой тайной: выходец из Крайны, в которой никто не знал и не слышал о нем, слуга, знавший в совершенстве несколько европейских языков, двадцатилетний юноша, вводивший гуманные начала в народное право Черногории и запретивший кровавую месть, думавший о восстановлении независимости Сербии, получивший сведения в медицине и имевший, Бог весть откуда, большие деньги, знавший, наконец, историю России и помышлявший о русском престоле, мало того — о великой славянской федерации, он

¹ День смерти Степана полагают также 15 августа.

² «...qui le pleure et le regrette encore aujourd'hui». Stjepan-Malip p 41.

невольно приковывает к себе внимание, хотя, к сожалению, нет надежды когда-либо знать всю историю этого человека, который никому не поверял своих тайн. В этом случае едва ли в состоянии помочь изучению этой замечательной личности все архивы Черногории, Венеции, Австрии, Турции и России, потому что все, касавшееся его судьбы, делалось секретно и почти без всякой переписки. С своей стороны и мы оставляем всякие догадки и предоставляем их читателю. В свите Степана Малого находились иностранцы, из которых один оставил нам описание жизни своего государя. Степан был ужасом мусульман: не было никого, говорит современник, ни в Черногории, ни в Албании, ни даже в соседних провинциях, кто бы не трепетал при одном его имени.

Все, кто слышал о его подвигах, особенно враги Черногории, в торжественных молебствиях просили Бога спасти их от страшного черногорского царя, точно так как христиане молились некогда об избавлении Европы от нашествия Магомета II. Что же касается собственно личности Степана Малого, то его все необыкновенно хвалят: в нем было столько деликатности и грации, как ни в одном из тогдашних государей, и если кто из подданных и оставлял его по каким-либо неудовольствиям, то всегда был в восторге от самого Степана, его доброты и благородства.

Жизнеописатель Степана Малого оставил нам эпитафию в честь своего государя. Вот она:

Il etoit généreux, noble, vaillant et sage,
Ami des beaux-esprits:
De son siècle inégal et le calme, et l'orage
Attiroient son mépris:
Et si la mort pouvoit épargner la vertu
Il eut toujours vécu.
Avec ses ciseaux outrageans,
La mort en coupant cette vie,
Coupe la bourse à bien des gens.

Степан Малый был покинут почти всеми своими генералами еще при жизни, именно после той несчастной минуты, когда лишился зрения: его великий виночерпий, Симо-Суцца, оставил даже Черногорию и утвердился в Албании; прочие министры возвратились в свои нахии; иностранцы выехали из Черногории и отправились искать счастья по белу свету, в том числе и часто упоминаемый нами биограф Степана Малого, который, как видно, служил после в Индии у знаменитого набоба Гейдер-Али, где и напечатал биографию своего прежнего государя. Не покинули Степана Малого только митрополит Арсений, великий канцлер Марко Танович и несколько генералов, увлеченных но-

выми воззваниями Марко. Судьба этого последнего и его необыкновенная привязанность к своему несчастному царю интересны в высшей степени. Марко Танович никак не хотел помириться с мыслью, что Степан Малый умер и умерла с ним его идея. Мало того, он не переставал проповедовать везде, что его великий император никогда не умирал и что молва о его смерти распространена ложно, с намерением, чтобы только успокоить турок и венецианцев. Он говорил всем, что Степан Малый отправился в Россию и что он скоро придет оттуда с бесчисленною армиею и с флотом, несравненно могущественнейшим того, который был под начальством графа Орлова и который уничтожил турецкую флотилию при Чесме. Он уверял, что Степан Малый снова станет во главе черногорского народа, с помощью которого он *выгонит из Европы всех турок и утвердит свой трон и резиденцию в самом Константинополе*, дав черногорцам столько золота и серебра, сколько может поместиться в целой куче (хижине). Он всегда показывал при этом государственную печать, веря в нее, как в могущественный талисман, способный возбудить народ к войне, пока не воротится его герой или не придет о себе известия. В продолжение целых пятнадцати лет он проповедовал черногорцам, что воскреснет его великий государь, и никакие убеждения, никакие доказательства, самые очевидные и несомненные, которые ему представляли со всех сторон, ни даже угрозы и беспрестанно повторяемые декреты об изгнании Марко из Черногории, которые издавала против него Венеция, — ничто не могло ни остановить его проповедь, ни разбить его веру в возможность возрождения Черногории: Венеция была бессильна в горах его родины; ее декреты и угрозы производили то же действие, какое, по словам жизнеописателя Степана Малого, производят угрозы черных обитателей верхнего Нила, которые посылают свои проклятия солнцу и бросают в него камнями, когда лучи его жгут их более обыкновенного. Марко Танович решился даже отправиться в Ливорно, к графу Орлову, чтобы лично уверить его, что Степан Малый не умирал и что он когда-нибудь опять придет в Черногорию, более могущественный и славный, чем был когда-либо. Он даже требовал от графа признания его прав. Орлов, чтобы привлечь на свою сторону черногорцев и избавиться от этого упорного фанатика, вручил ему значительную сумму денег голландскими империялами и отослал от себя, уверяя, что Степан Малый умер и что он никак не должен надеяться ни на его возвращение, ни на звание великого канцлера Черногории и России. Марко Танович взял деньги от Орлова, но не думал следовать его советам. Возвратившись в Майну, он

снова уверял соотечественников, что Степан жив, что он отправился путешествовать в чужие края для своего собственного образования и что он привезет с собою несметные сокровища, обещанные им прежде. Но черногорцы уже мало верили проповедям своего бывшего великого канцлера. Время его славы прошло. Между тем Марко узнал, что венецианцы снова осудили его на казнь как нарушителя общественного спокойствия и оскорбителя высочайшей власти и снова оценили его голову в 5000 дукатов. Декрет, которым Марко Танович приговорен к смертной казни, написан был на итальянском языке, и потому он не произвел ровно никакого действия, да и не мог ничего сделать в Черногории. Между тем часто видели, как Марко с этим декретом в кармане, с карабином на плечах, с своею длинною саблею, огромным ножом и парюю пистолетов за поясом прогуливался в самом предместье Будвы в сопровождении семи или восьми генералов свиты убитого самозванца, как бы вызывая на бой из крепости весь венецианский гарнизон. Иногда он заходил даже в самую Будву, пробирался в Албанию, не переставая волновать народ несбыточными обещаниями. Делали все, чтобы лишить этого несчастного его безумных надежд; но ничто не помогало. Ему показывали, наконец, ту самую саблю, которою была отрезана голова страстно любимого им государя, надежды Черногории, и на которой видны еще были следы крови; показывали могилу, где он погребен, бумаги, которые он оставил... Все было напрасно: ничто не могло убить в нем этой безумной веры и смутных ожиданий. «Наш владыка, — говорил он, — велит нам поститься восемь раз в году и не есть ничего, кроме хлеба, винограда и масла: он обещает нам в будущем рай, мир с турками и такое блаженство, которого мы никогда не знали, но которому мы верим. *Я же возвещаю вам, что придет наш царь Степан Малый, которого вы видели и которому повиновались: и после этого не верите моим обещаниям? И вы не ожидаете его?»*¹

¹ Главнейшие биографические сведения о Степане Малом заключаются в изданном вскоре после его смерти анонимном сочинении под заглавием: «Stiépan-Mali, c'est-à-dire Etienn Petit ou Stepano-Piccolo, le pseudo Pierre III, empereur de Russie, qui parut dans le Grand-Duché de Monténégro, entre la Mer Egée, l'Albanie Turque et le Golfe Adriatique en 1767, 1768 et 1769». Сочинение это довольно редко. Мы пользовались пятым изданием его, напечатанным в 1784 году в Индии, в Мангалоре, принадлежавшем тогда знаменитому набобу индийскому Гейдер-Али, на берегу Малабара (à Mangalor, Forteresse du Nabab Hyder-Haly, sur les côtes du Malabar). Достоин замечания, что книга эта, в продолжении нескольких лет, имела пять изданий. Эпиграфом к своему сочинению автор избрал 59-й стих 1-й сатиры Ювенала:

Слова его не сбылись: не пришел освободитель и царь Черногории, не дождалась свободы бедные славяне. Так не придет ли этот освободитель после? Не явится ли с севера?

Правда, и после имя Петра III не раз связывалось с именами Кремнева, Богомолова, Пугачева, Ханина; но не ту цель имели они, какую имел черногорский самозванец, и не их ожидал Марко Танович.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ О СТЕПАНЕ МАЛОМ

Черногорский Лже-Петр III, или самозванец Степан Малый, кратковременно царствовавший в прошлом веке над черногорскими славянами, возбуждал в свое время много толков в Европе и занимал с.-петербургский кабинет тою странною таинственностью, которою окружена была до могилы неразгаданная личность этого замечательного юноши, мечтавшего сделаться всеславянским царем и выгнать турок из Европы. Тайну его происхождения и главную цель, к которой он стремился, до сих пор не разоблачила история, да едва ли и разоблачит когда-либо. И, к сожалению, у истории много таких эпох, событий и личностей, которые остаются непроницаемою тайною: от того-то так много лжи, конечно, в большей части случаев неумышлен-

*Aude aliquis brevibus gyaris et carcere dignum,
Si vis esse aliquid.*

Сочинитель, как видно, сам находился в свите Степана Малого, потому что в конце книги, в приложениях или историко-политических заметках о Черногории, сказано, что они составлены par un officier général, qui a servi dans l'armée de l'Empereur Stiépan-Mali, l'année 1768 et jusqu'à sa mort. Впрочем, может быть и то, что биография написана одним лицом, а notes historiques-politiques — другим. К сочинению приложен портрет Степана Малого, литографированный в Париже в 1774 году. Вокруг Степана видны изображения: три города с надписями — Monténégro, Babylonia и Albania; с одной стороны горящие здания, а наверху надпись Linda, с другой — изображена битва между черногорцами и турками, а сверху надпись: Plaine de Zenta. На верху картины надпись гласит: Stiépan etc. etc. combattant les Turcs, l'année 1769. Внизу эпиграф из трагедии Mahomed:

*Le droit qu'un esprit vaste et ferme en ses desseins
A sur l'esprit grossier des vulgaires humains.*

Примечание. Выше было мною выражено сожаление, что о посылке кн. Долгорукого в Черногорию не осталось записок или мемуаров. Оказывается, как пояснил недавно К.Н.Бестужев-Рюмин в «Известиях С.-Петербургского славянского благотворительного общества» (1886 г., № 6, стр. 284), в «Русском Вестнике» (1841 г., т.3), была напечатана «Журнальная записка происшествия во время экспедиции кн. Ю.В. Долгорукого в Черную Гору 1769 г.», а недавно была перепечатана и в «Архиве» г. Бартенева.

Д. Мордовцев.

ной, рассказывали и будут рассказывать историки, которые, разве случайно и то с большим трудом, могут попасть в архивы, где гниют кипы любопытнейших бумаг и где похоронены тайны прошедшего, делающие или великую честь, или великий позор человечеству, о которых никогда, может быть, никто не узнает!

О черногорском Лже-Петре III до сих пор известно было очень мало, особенно в России. Впрочем, в этом отношении не так чувствителен количественный недостаток сведений о Степане Малом, сколько противоречие этих сведений, которое смущает историка. По одним — молодой черногорский царь представляется замечательною личностью, выходящею из ряда обыкновенных баловней счастья, человеком, у которого в голове созидались и приводились в исполнение довольно обширные планы и который, если бы хоть сколько-нибудь менее враждебно сложились для него условия его политической деятельности, далеко бы ушел с своими широкими замыслами; по другим — это был просто смелый самозванец, на котором историк едва ли может остановиться с особенным любопытством или сочувствием. Замечательно только, что первое мнение о черногорском Лже-Петре III мы узнаем от людей, лично и близко его знавших и имевших все средства оценить достоинство его замыслов и его искусство в их выполнении. Напротив того, сведения, ходившие о нем по России (да и то, как можно догадываться, только в известных кружках тогдашнего высшего общества), были очень односторонни, и до сих пор русская историческая литература не касалась этого любопытного эпизода. Было бы неудивительно подобное равнодушие русских историков, если бы Степан Малый принадлежал только Черной Горе; но он столько же принадлежал России, сколько те идеи, во имя которых действовал, составляли достояние всего славянского мира и почти в одно и то же время волновали честолюбивую душу Потемкина: и тот, и другой мечтал об изгнании турок в Азию, но Степан Малый, кроме того, думал надеть на свою голову корону всеславянского царства.

Наша первая статья о Лже-Петре III, черногорском, далеко не исчерпывает этого занимательного предмета. Мы имеем под руками новые данные о Степане Малом, важные потому, что они ставят нас отчасти на ту точку зрения, с которой смотрело на черногорского самозванца русское общество того времени, а может быть, и само правительство, и потому, думаем, не безынтересно будет сравнить эти сведения с теми, которые уже известны. Новыми данными о Степане Малом обязаны мы благосклонности М. П. Погодина, который получил их от Н. В. Всеволожского. Г. Всеволожский передал все, что знал

о черногорском Лже-Петре III, в рассказе, писанном по-французски с заглавием «Stephan Maloy», и из этого рассказа видно, в каком виде известия о Степане Малом достигли пределов России. Мы передадим по-русски записку г. Всеволожского:

«Степан был босняк, пашалыка скутарийского, другие полагают — австрийский славянин. Как большая часть молодых людей его родины, он ходил с караванами контрабандистов, служил даже на рагузанском корсаре и всегда отличался своею деятельностью и храбростью. Принужденный оставить свою страну, он пришел к черногорцам и, чтобы привлечь на себя их внимание и расположение, дал им понять, что он был Петр III, развенчанный российский император. Черногорцы, которые имеют общее происхождение с русскими и говорят одним с ними языком (ибо их наречие есть чистое наше церковно-славянское), приняли его сначала несколько подозрительно. Между тем вскоре между ними более и более распространяется слух, что император великого народа (так они всегда называют Россию) скрывается среди них. Они сходились из всех деревень, чтобы его видеть, и были очарованы его приятным видом и особенно добротою и простотою, с какою он обращался с ними. Так как черногорцы вечно воюют против турок, которые никогда не могли совершенно покорить их, то Степан Малый¹, как он тогда назывался, становился всегда предводителем отряда, делал набеги на пашалык Скутари, где грабил деревни, уводил скот и никогда не встречал отрядов паши без того, чтобы не разбить их. Эта храбрость и разумные распоряжения, которые он делал, вскоре привлекли к нему избранную молодежь страны. Сформировав из нее гвардию, Степан вскоре завладел всею властью и кончил деспотическим царствованием над черногорцами. Он уже не стеснялся ничем: отнимал сыновей у отцов и приказывал казнить их, делал суд без апелляции и часто с пристрастием; но, окруженный многочисленною гвардию, которую привязал к себе благодеяниями, он не боялся никого, даже патриарха и духовенства, всегда столь могущественного у них. Между тем начинали уже роптать, глухо сомневаться в его происхождении и даже подозревать, что он, быть может, не был свергнутым императором их братьев — великого народа.

¹ Здесь г. Всеволожский в сноске делает истолкование имени «Стефан Малый». Стефан, говорит он, значит по-гречески «корона», и этим именем черногорцы называют государей. «Maloy signifie petit: ainsi Stephan-Maloy veut dire le petit souverain, pour le distinguer du souverain Russe, qu'ils appellent Stephan Velkie — le grand souverain».

Все это происходило в 1770 году, в эпоху, в которую между Россией и Оттоманскою Портою вспыхнула война. В 1770 году Екатерина II, послав в Средиземное море флот, снабженный несколькими отрядами под командою графа Алексея Орлова, приказала сему последнему в то же время разведать, кто был этот Степан Малый, посмотреть, что можно извлечь из черногорцев, так всегда привязанных к России, постараться отсоветовать Степану называться Петром III и, в случае если он будет в этом упорствовать, вразумить на этот счет народ и заставить его присягнуть императрице. Граф Орлов, прибыв в Ливорно, составил план — организовать с этой стороны восстание против турок. Он хотел послать несколько отрядов к черногорцам, чтобы помогать им в действиях против скутарийского паши и Албании, дабы привлечь внимание турок на эту сторону, тогда как он сам нападет на Пелопонес и постарается поднять остальную часть Греции. Этою северною экспедициею должен был командовать генерал-майор, князь Юрий Долгорукий. Действительно, он послал его в эту страну сначала как парламентаря, сопровождаемого только четырьмя или пятью офицерами¹ и двумя сержантами. Князь, прибыв в Монтенегро, которое жители называют Черногорию, призвав к себе патриарха, собрал сведения о Степане Малом, уверился в расположении жителей, прочел им манифест Екатерины, в котором она уверяла их в своем покровительстве, обещала им помощь и приглашала их присоединиться к своим братьям, русским, чтобы воевать с турками. Черногорцы выказали большой энтузиазм к общему делу, дали присягу на верность императрице и обещали все, чего от них требовали. Когда князь Долгорукий говорил им о Степане Малом и сказал им, что его очень удивило, как они могли принять этого человека за покойного императора, что это был не кто иной, как самозванец, они все закричали: «Повесить его! Повесить... Мы не хотим его больше!..» Семейства, которые он угнетал, отцы, которых детей он казнил, и особенно духовенство требовали его смерти громкими восклицаниями. Степан находился тогда близко оттуда. Узнав, что происходило, он собрал вокруг себя своих вернейших слуг, стал во главе их и пошел на монастырь, в котором находился русский генерал. Князь Долгорукий между тем взял в свою службу 26 славян и образовал из них стра-

¹ Офицеры эти были — гг. Розенберг, впоследствии генерал-аншеф, Герсдорф, Малявский, Войнович и еще пятый, которого имя я позабыл. Войнович, родом серб, служил в то время переводчиком. — Прим. 2. Всеволожского.

жу — это было все войско, какое он имел, вместе с десятком русских офицеров, сержантов и слуг. Приближаясь к монастырю, Степан заметил, что расположение к нему народа изменилось, даже многие из тех, которые следовали за ним, уже колебались в том, что им делать. Сам он гарцевал перед своим отрядом, старался его ободрить, дал несколько ружейных выстрелов на воздух, чтобы напугать князя и его свиту; но черногорцы все кричали: «Повесить его!» В это время монастырь, что называется, трещал от народа, все толпились на крыльце. Те, которые были ближе к князю, кричали: «Повесить его!», те, что стояли внизу, не знали еще, его ли это требуют смерти, или Степановой. Положение обоих было критическое. Наконец князь показался перед черногорцами и сказал им, что никогда императрица, их общая государыня, не наказывала никого, не выслушав; что, следовательно, Степан должен быть судим и что он приказывает именем императрицы, чтобы он предварительно был приведен к нему. Все затихли и повиновались. Тотчас же все побежали к Степану и объявили ему, что он должен явиться к русскому генералу, если не желает быть тотчас казнен... Степан покорился и был приведен к князю Долгорукому. Он явился самоуверенно и отвечал с большим присутствием духа и твердостью. Когда князь спросил его перед всем миром, как он осмелился принять имя Петра III, он ему отвечал, что это не сам он, а они его так назвали, — что, правда, он не старался их разубедить, но что не имеет более нужды носить это имя, потому что царствует над ними по их собственному избранию, что он заслужил это по тем услугам, которые он постоянно оказывал народу, и по тому ужасу, какой его имя внушает туркам. Князь велел отвести его в тюрьму, в монастырь, где имел пребывание, и поставил четырех из своих славян часовыми, чтобы стеречь его. Он рассыпал народу щедроты, обещал их еще более и распустил сборище, которое разошлось в добром порядке, и каждый возвратился в свою деревню.

В то время как все это происходило в Черногории, скутарийский паша, который со дня на день ожидал высадки русского флота и диверсий черногорцев, оценил головы князя Долгорукого и Степана Малого и послал эмиссаров, чтобы посеять раздор между черногорцами. Князь Долгорукий, спокойный со стороны Степана Малого, занялся сначала организацией всеобщего восстания. Он употребил на это патриарха, который пользовался большим уважением, и офицеров, которых имел при себе; но он скоро увидел, что партия Степана гораздо значительнее, нежели он прежде думал: ошеломлен-

ные вначале, они покорились всему; но скоро начали сожалеть о нем и даже искали средств освободить его. Князь, имея только 26 славян, которых мог им противопоставить, и не имея основания слишком полагаться на верность этого дикого и непостоянного народа, искал уже средства все примирить, освободив Степана, предварительно заставив его присягнуть на повиновение и верность императрице и дать обещание служить ей всеми способами и со всем усердием против общего врага — турок. Этот план во всех отношениях годился для Степана Малого: он возвращал свое могущество и брал всю свою власть, будучи, сверх того, поддерживаем русскими. Перед ним развешивалось более обширное поле для его честолюбия и более отрадная будущность в случае неудачи, ибо тогда он нашел бы убежище и покровительство в России. Между тем к князю прислан был курьер от графа Орлова. Известия, которые он привез ему, заставили его изменить все свои распоряжения и подумать об отступлении, которое сделалось для него довольно опасным.

Граф Федор Орлов, брат генерал-аншефа Алексея, забрал себе в голову командовать черногорской экспедицией и упрашивал о том своего брата; но тот никак не хотел на это согласиться, во-первых, не желая удалить его от себя, во вторых, боясь пустить его в предприятие столь рискованное, с небольшими отрядами, которые он мог ему дать; короче, он начисто отказал. Граф Федор, не успев получить этого командования, старался с тех пор заставить брата совсем отменить эту экспедицию. Он представлял ему, что, имея мало войска в своем распоряжении, он только может обессилить себя, как бы мало ни отделил в горы; что тогда предполагаемые высадки в Морею очень рисковали быть неуспешными; что, так как в одно и то же время должны быть исполнены два предприятия так далеко одно от другого, то будет невозможно помогать взаимно, в случае несчастья которой либо стороны; что, кроме того, нельзя никоим образом полагаться на черногорцев, народ дикий, который не знал никакой субординации, был очень непостоянен и, сверх того, способен лишь к партизанской войне, да и то только в горах; что, вышедши оттуда, они не устоят против одного турецкого кулака и что в таком случае значило бы принести в жертву малое число русских, которых можно было послать к ним. Если хорошенько рассудить, то замечания графа Федора были верны, но я думаю, что он должен был делать их раньше. Как бы то ни было, но экспедиция была отменена и решились предоставить этих горцев самим себе, ограничиваясь на ту минуту только тем, чтобы послать им пороху, свинцу и несколько ружей. Таким образом,

князь Долгорукий, проведя среди их три месяца, получил приказ возвратиться. Он тотчас же увидел опасность своего положения: цена, которую skutарийский паша положил за его голову, искушала уже многих черногорцев; они несколько раз приходили к нему депутацией просить его распустить свою славянскую стражу, говоря, что им обидно видеть своего генерала охраняемым иностранцами, что это доказывает недоверие и что они не думали, что заслужили его; с другой стороны, приверженцы Степана волновались и громко жаловались на его долгое заключение. Тогда князь решился отправить одного из своих офицеров с несколькими славянами в ближайший порт тайно заpastись судном и, когда оно было готово, велел привести к себе Степана Малого и объявил ему, что императрица прощает ему, что он осмелился взять имя последнего императора, но что, во внимание к раскаянию, им показанному, она жалует его офицером на службе империи.

Князь передал ему тотчас же диплом и мундир и вместе с тем сказал, что он назначает его главным правителем народа и страны с условием, что отныне он будет служить своей новой повелительнице с усердием и верностью против турок. Степан возобновил свои уверения, снова дал присягу в верности и воротился к себе счастливый, что отделался так дешево. Все его сторонники обнаружили величайшую радость и давали пиры и праздники, по своему обычаю. Духовенство и те, которые требовали его головы, находились в ужасном смущении, несмотря на забвение прошлого, которого русский генерал от него требовал и которое он торжественно обещал, ибо они не полагались на его слово. Тогда-то князь Долгорукий тайно пустился в путь, чтобы отправиться в гавань; однако об этом пронюхали, патриарх и некоторые из главных врагов Степана прибежали на берег, умоляя князя взять их с собою, что затруднило его, тем более что шлюпка едва могла вмещать в себе его людей, а между тем в нее бросилось более 60 человек. Таким-то образом, без воды, без провизии, в чересчур нагруженной лодке, князь оставил сторону Далмации; однако, благодаря постоянно хорошей погоде и попутному ветру, он счастливо высадился в Анконе, откуда отправился к графу Орлову в Ливорно. Он не нашел уже там флота и графа Федора, который отплыл в Архипелаг, но генерал-аншеф оставался еще там с одним линейным кораблем. Он взял с собой князя Долгорукого и через несколько дней уехал, чтоб соединиться с своим флотом.

Возвратимся к Степану Малому.

Тотчас после отъезда русских он снова вступил в свои права, но скоро увидел, что много потерял в общественном

мнении: он никогда не мог успеть сделать всеобщее восстание, чтобы произвести диверсию, которую обещал русскому генералу. Таким образом, он ограничился тем, что укрепился в своих горах против нападений скутарийского паши. Он не выдумал для того ничего лучше, как проложить в своей стране удобные пути. Но однажды, когда он осматривал мины, одну взорвало так несчастливо, что у него лопнули оба глаза. С той минуты он заперся в монастыре, куда не допускал к себе никого; оттуда он рассылал свои приказания, и часто его именем совершались жестокости, которые заставляли ненавидеть его с каждым днем более, до тех пор, пока шпион скутарийского паши, грек, который успел овладеть вполне его доверием и один не оставлял его ни днем, ни ночью, не умертвил его в его комнате, чтобы получить деньги, обещанные пашою. Он спокойно вышел из монастыря, заперев комнату Степана на ключ и сказав страже, что король (царь) почивает, и запретил кому бы то ни было входить к нему прежде, чем он позовет. Привыкнув видеть, что грек свободно входил к Степану и выходил, никто не думал остановить его, и он успел переехать через озеро (Скутари), которое одно отделяло турецкие владения от монастыря, и спастись у своего патрона.

Так кончил Степан Малый, который, если б был поддерживаем и направляем русскими, сделался бы, вероятно, вторым Скандербеком и которому все окружные славянские нации не преминули бы подчиниться¹.

Все содержание записки г. Всеволожского группируется, таким образом, около одного события — посольства князя Долгорукого в Черногорию. Степан Малый выступает как лицо второстепенное и только по отношению к сущности и цели русского посольства, а потому и является в этом рассказе чем-то недорисованным. Из рассказа не видно, какое значение имел этот человек среди окружающих славянских племен и какое значение придавали ему соседние с Черногорию государства. Одно надо сказать, что Степан Малый, сделавшись черногорским царем, так умел поставить себя, что казался страшным и грозным не одной Венецианской республике, уже бессильной в то время, хотя и гремевшей прошедшею славою, но и Турции, бывшей тогда, до войны с Россией, в апогее своего могущества, Турции, ни на минуту не дававшей Европе забыть, что войска султана могут наводнить все цивилизован-

¹ «... qui s'il avait été soutenu et dirigé par les Russes serait probablement devenu un second Scanderbeg et auquel toutes les nations slaves des environs auraient certainement fini par se soumettre».

ные государства того времени. Об этом значении Степана Малого записка г. Всеволожского умалчивает, потому что, как видно из всего, на черногорского самозванца смотрели у нас в России как на личность неважную. Но записка указывает на происхождение самозванца, о котором до сего времени ничего положительного не было известно; говорили только, будто он пришел из Краины еще юношей и был богат; но никто не знал, откуда он имел это богатство и где получил образование, которое проявлялось отчасти в том, что самозванец, поступивший в услужение к одному богатому черногорцу, знал несколько языков и имел сведения в медицине. Записка г. Всеволожского говорит, что он был или босняк, или австрийский славянин, т.е. или турецкий, или австрийский подданный, но во всяком случае славянин, и, кроме того, занимался контрабандой и пиратством вместе с дубровничанами (рагузане). Но ни записка г. Всеволожского, ни прежние известия о Степане Малом не разъясняют главной темной стороны этого дела: почему именно молодой пират вздумал называться русским царем и почему думал он, что ему поверят, когда он скажет, что Петр III не умер? Явление самозванцев — это русская национальная черта, выработавшаяся в народном характере вследствие особенных исторических условий, о которых мы не говорим; но почему молодому пирату Адриатического моря пришла идея, которую мог перевернуть в своей голове только Пугачев, — это нелегко объяснить. В записке г. Всеволожского мы находим объяснение самого имени Степан: это значит «малая корона», т.е. царь малый, владыка Черногории, в отличие от «царя большого», русского императора. Сербы, действительно, обращаясь к своим царям, называют их иногда «крунами», как, например:

Царь Лазаре, сербска круно златна!
Ти полазиш с ютра у Коссово, и т.д.,

однако едва ли Степан Малый назывался так именно в этом смысле.

Рассказ о том, как князь Юрий Долгорукий выполнил свое посольство в Черногории, у г. Всеволожского совершенно противоречит тем известиям, какие мы имели до сих пор. Столкновение князя Долгорукого и Степана Малого принимает у него другой вид, так что личность черногорского царя как то ступшевывается перед русским генералом. По словам г. Всеволожского, черногорцы тотчас же отступились от мнимого царя, лишь только князь Долгорукий прочел им манифест императрицы и уверил, что Степан Малый — самозванец. Черногор-

цы, так храбро и счастливо сражавшиеся под его знаменами, теперь кричали: «Повесить его!» Между тем, по словам жизнеописателя и современника Степана Малого, князь Долгорукий играл самую жалкую роль в Черногории, и появление самозванца перед Долгоруким, в виду народа, было торжеством для первого и позором для последнего. Всеволожский говорит, что Долгорукий велел посадить самозванца в заточение и приставил к нему караул, как к арестанту. Напротив, у жизнеописателя Степана Малого, лично знавшего царя и служившего в его свите, мы находим не совсем лестные для Долгорукого известия о том, например, как этот князь бежал из Черногории и не только не думал о поддержании своего достоинства, но не имел даже возможности скрыть свой срам, потому что деньги, растерянные им из карманов по дороге, по которой он бежал к морю, означили след его и прямо указывали на бегство, которым он спасался от самозванца, будто бы им арестованного¹. Из записки г. Всеволожского мы узнаем также имена офицеров, сопровождавших князя Долгорукого во время его посольства в Черногорию.

Как бы то ни было, но сведения, сообщенные нам М.П. Погодиным, проливают новый свет на отношения черногорского самозванца к России, которые, без сомнения, уяснятся более, когда вопрос о черногорском предшественнике Пугачева будет разработан по современным документам, вероятно, хранящимся в архивах Москвы и Петербурга. Тогда, быть может, живее выступит перед нами этот загадочный двадцатилетний царь, которого еще в прошлом веке волновала идея всеславянского единения.

САМОЗВАНЕЦ БОГОМОЛОВ

В 1771—1772 году по станицам волжского войска и в Дубовке формировался Московский легион генерал-майора князя Прозоровского. Легионные офицеры разъезжали по станицам и хуторам и записывали в свои команды казаков-охотников.

¹ Stiépan-Mali, c'est-à-dire Etienne Petit ou Stepano Piccolo, le pseudo-Pierre III, empereur de Russie», — сочинение, писанное офицером, служившим при дворе Степана Малого, прямо говорит о князе Долгоруком и его бегстве: «Quoiqu'envoyé de la part de l'impératrice de Russie, comme son général plénipotentiaire à Monténégro, Dolgorouki après un séjour de peu de semaines, quitta le pays en fugitif et perdit meme l'argent, qu'il avait dans ses poches, en se glissant du haut des montagnes dans la nuit, pour pouvoir joindre les vaisseaux et passer à Livourne où Alexis Orloff l'attendait» (р. 34).

Сформированные отряды размещались по квартирам. В это время в команду ротмистра Григория Персидского записался один неизвестный молодой человек лет двадцати пяти.

При опросе он показал, что зовут его Федотом Ивановым Казиным, родом из донской Вешанской станицы, сын служилого казака, который умер назад тому лет двадцать.

Его так и записали.

Это было 16 января 1772 года.

Вскоре между казаками прошли странные слухи... Говорили за тайну, что в легион один из казаков признан за покойного императора Петра III. Указывали на Федота Казина. Казаки стали сходитьсь и толковать об этом странном обстоятельстве; во время одной сходки двое из них, Марусенок и Лучинкин, а за ними и другие говорили, что хотя этот незнакомец и не похож на бывшего государя, но как тому прошло уже много лет, когда объявлено было о кончине Петра Федоровича, то он мог и перемениться.

За несколько месяцев до этого, именно в октябре 1771 года, являлся в Дубовку к ротмистру Персидскому другой охотник, еще моложе первого, и записался в легион под именем Спиридович Долотина. В нем признали *государственного секретаря*.

Между тем по Илавле расположились на постой три набранные роты. Тут были Казин и Долотин. Они жили в одной избе. Роты, расположенные по Илавле, находились одна от другой верстах в пяти. Зимой по ночам казаки сходились и рассуждали о появившихся между ними великих особах. Число веровавших постоянно возрастало. Одна рота собралась как-то у Казина. Думали идти в Дубовку.

В это время, именно 30 марта, когда умы казаков уже достаточно были взволнованы слухами и ночными беседами, один из них, по фамилии Буренин, просил своего командира о жалованье. Прапорщик Терский сказал ему вслух при всех казаках: «Ты от боярина еще недавно, а уже требуешь себе жалованья».

Казаки услышали; это их обидело, и они закричали в один голос: «Поэтому мы все боярские!.. Зачем же нас в казаки принимали?»

В порыве увлечения они объявили, это с ними находится бывший император Петр III, что они намерены забрать казенных лошадей и все необходимое к походу и ехать в Дубовку для охранения его величества.

Дали знать в Дубовку. Прискакал ротмистр Персидский с прочими офицерами и войсковым старшиною Поляковым. Персидский увещевал казаков смириться; его не слушали. Наконец он объявил, что будет стрелять по ним из пушек.

Казачи собрали круг и тут же на общем совете порешили: идти всем в Дубовку и объявить находящегося между ними незнакомца императором, а офицеров арестовать.

Так и сделали. Посадили под караул офицеров, в том числе ротмистра Персидского, и стали готовиться к походу: оседлали казенных лошадей и вооружились. Но один из офицеров, Степан Савельев, выпросился из-под караула повидаться будто бы с государем. Его отпустили. Он ворвался в избу, где сидел названный император, ударил его по лицу и закричал, чтобы взяли его под караул: «Какой он государь!» Казачи оробели. Сами схватили самозванца и заковали в кандалы. С ним заковали и молодого государственного секретаря, казака Долотина, и обоих с конвоем препроводили в Дубовку. Едва успели довести их туда, прямо ввели в войсковую канцелярию и, допросив секретно, в тот же день немедленно отправили за безопасным конвоем в Царицын, куда должен был приехать тогда астраханский губернатор генерал-поручик Бекетов.

Это было 1 апреля. На другой день, 2 апреля, их допрашивали: что они показали, это было тайною для народа и казаков. По снятии допросов арестантов посадили под крепкий караул, что у Царицынских ворот.

С тех пор прошло около трех месяцев. Утром 25 июня в восьмом часу к правящему должность адъютанта прапорщику Худякову явился царицынский солдат Петр Шедруновский и донес, что в ту ночь часу в двенадцатом батальонный барабанщик Тимофей Лобанов, ходя по квартирам, говорил солдатам, чтобы все были в готовности и не спали, что будет ночью у Царицынских ворот тревога.

Барабанщика сыскали и привели в батальонную канцелярию. Он не запирался и показал, что накануне часу в одиннадцатом ночи, когда он стоял у ворот квартиры, подошел к нему тамошний соборный священник Никифор Григорьев и сказал, что в ту ночь у Царицынских ворот будет тревога.

Как бы то ни было, однако нужно было принять меры на всякий случай. Доложили губернатору, который тогда был уже в Царицыне. Губернатор приказал перевести самозванца в другое место, под караул гауптвахты, попа Никифора, отыскав, заковать в железа и держать под караулом, а между тем принять надлежащие предосторожности.

Когда майор Титов явился к самозванцу в караульную, чтобы перевезти его на гауптвахту, колодник сказал ему: «Куда ты меня хочешь везти? Суди здесь». Но когда караульные взяли его и силою привели к телеге, самозванец закричал: «Миряне, не выдайте!..» Но дольше ему не дали кричать:

зажав рот, бросили в телегу и повезли. Впрочем, на этот раз народу там вовсе не было.

После того взяли попа в его собственном доме, пьяного, и привели в гражданскую канцелярию; оттуда он послан был в полицейскую избу с караульными, которые должны были заковать его в железа и посадить в особое место. Тогда около гауптвахты, куда перевезли за несколько часов самозванца, в разных местах начал показываться народ; сначала он собирался небольшими кучками, потом стал прибывать значительными массами. Караульные начали разгонять сборище, но напрасно: толпы увеличивались. В первом часу на Спасском мосту, у волжского взвоза, мгновенно собралось разного народу человек до двухсот. В это время из канцелярии вывели попа на крыльцо. Вырвавшись у караульных солдат, он бросился к народу и просил помощи: «Братцы! Православный народ, не выдайте!»

Но караульные схватили его, силою увели в полицейскую избу и заковали в цепь. Народ пришел в смятение: все бывшие на базаре и толпы, собравшиеся у Спасского моста и вокруг гауптвахты, чернь, рекруты и артиллеристы, бросились на базарные шалаши, обломали загородки и, схватив в руки колья, шесты и поленья, всей массой двинулись к гауптвахте и, подаваясь по фронту, приблизились к плацу сажен на двадцать.

Ударили тревогу. В то время в толпе показался царицынский комендант, полковник Цыплетев, майоры Анненков и Титов и инженер-подпоручик Муханов. Они бросились к гауптвахте, пробираясь меж народом; комендант приказал стрелять в толпу; потом, вместе с Анненковым, Титовым, Мухановым и с ними купеческий депутат Оловянишников, кинулись в самую середину скопища, начали бить и ловить всех в толпе, кто попался. Народ смешался и рассыпался в разные стороны: иные бежали по улицам, прочь от гауптвахты, другие, побросав колья, кинулись в народ, толпившийся на базаре, и мгновенно скрылись, иные расходились по домам тихо, не оказывая никакого сопротивления. В пылу свалки Цыплетев получил несколько сильных ударов в спину и в руку, которою долго потом не мог владеть. Многих забрали под стражу.

На другой день началось следствие. Привели к допросу капрала Васильева и других солдат, которые стояли на карауле у Царицынских ворот, когда там сидел самозванец. Из показаний их выяснилось следующее. Однажды, стоя в карауле, Васильев и прочие часовые вступили в разговор с самозванцем. Арестант спрашивал их: «Знаете ли вы государя Петра Федоровича и где он ныне находится?» Солдаты отвечали, что государя не видали и не знают, а слышали, что

он скончался. Через два дня после этого разговора один из часовых подошел к капралу и сказал ему за тайну, что колодник показывал им на груди у себя изображение креста на теле¹ и объявил о себе, что он император Петр III. Слова эти смугили Васильева; но он недолго оставался в таком положении и через несколько часов был уже вполне уверен, что находящийся у них колодник — действительно государь. С тех пор в караульне стали появляться разные подозрительные лица. Молва, что император содержится в Царицыне под стражею, ходила уже по базарам и площадям; сначала говорили шепотом, а потом заговорили громко.

18 июня впущен был к арестанту донской казак Семенников. В разговоре он называл колодника государем и просил караульных, чтоб поберегли его. Он подговаривал весь караул бежать к ним на Дон вместе с колодником, чтобы там провозгласить его государем. Потом, оборотясь к Васильеву, спросил: «Нельзя ли его каким бы нибудь случаем из-под караула украсть?» Но Васильев не согласился и вытолкал его взащей, как сам выразился на допросе. После того Семенников был у самозванца раза три и опять склонял караул к побегу. «Ежели он подлинно государь, — сказали солдаты, — и придет время, то может о себе объявить не стыдась и здесь в городе, чего мы все от него и ожидаем; а побега не учиним». С тем Семенникова и отпустили. Когда же он откланивался, колодник просил, чтобы он объявил об нем в войске донском, чтобы собрали на Дону несколько полков и освободили его из неволи. Семенников сказал: «Я по станицам с казаками советовать буду и надеюсь, что они, узнав, за тебя вступятся и, согласясь с ящичными казаками, среди бела дня тебя, государя, возьмут».

Несколько раз приходил и барабанщик Лобанов, но никаких тайных и важных слов не произносил; а 24 июня, по пробитии тапты, нашел и объявил как самозванцу, так и капралу, что наступающую ночь будет тревога. «Берегитесь, — сказал, — дабы при взятии государя вас не перекололи». И когда Васильев спросил у него, почему он это знает, Лобанов отвечал: «Слышал я о том от священника Никифора Григорьева».

Несколько раз был у арестанта и тамошней соборной церкви священник Никифор; однажды приходил с просфорою, а 24 числа, ночью, взойдя в караульню, объявил, что в самую ту ночь будут за городом бить тревогу, на которую из города побежит народ. Говорил, чтобы поберегли государя: «Хотят

¹ «Под грудью белым видом крест». Ср. Пугачева. Народное поверье.

его отбить дубовские казаки. А ваш бы караул был крепок, — прибавил он, — а я стараться буду сколько возможно». А о чем стараться будет, того не объявил.

24 же июня, до пробития тапты, зашел в караульную драгун Некрасов и, разговаривая с самозванцем, спрашивал, каким он случаем попался в такую беду. «Что ж, брат, делать? Так тому и быть...» — отвечал самозванец.

Наконец, к нему приходило много неизвестных людей: иные подавали милостыню и проходили мимо, другие стояли и сидели против караульни. Их отгоняли. Этим пока и кончился допрос караульных.

Между тем в Царицыне происходило следующее. 26 июня рано утром, еще до свету, когда народ спал, на Волге от царицынской пристани тихо отчалили две лодки: в каждой было по двенадцати гребцов, одетых в казацкое и солдатское платье, по шести тех и других на лодку. На передней сидел офицер. На дне каждой лодки лежало по человеку, оба связанные и закованные. То были Казин и Долотин.

Когда потушено было народное возмущение в Царицыне, губернатор Бекетов, опасаясь новых волнений в массе, если арестанты будут оставаться в Царицыне, приказал тайно перевезти их в Черный Яр. Ночью взяли их, ночью вывезли из города и поплыли по Волге. Колодники лежали молча. На другой день вечером обе лодки приплыли в Черный Яр. Верст за пять до города тот из арестантов, который лежал во второй лодке, проговорил: «Как бы в Царицыне не было кровопролития... Потому что донских казаков семьсот, да яицких семь же сот приедут выручать нас и государя требовать станут... А что он в допросе показал себя другим, а не государем, оное учинил, не стерпя побои».

Капрал, находившийся в лодке, крикнул на него, чтобы тот замолчал, а солдат, сидевший в гребле около самого арестанта, так что Долотин лежал головою к его ногам, услышав такие речи, замахнулся на него веслом и хотел ударить. Арестант замолчал и до самого Черного Яра лежал уже тихо.

Произнесенных Долотиным слов не слышал никто из бывших в лодке, кроме капрала и солдата, потому что все прочие работали на веслах и ничего не видели. Считая речи арестанта пустыми, капрал по прибытии в Черный Яр ничего не сказал об них офицеру; но, возвращаясь в Царицын и находясь с ним в одной лодке, донес об угрозе арестанта. Их всех допросили, но нового ничего не узнали. Во избежание огласки со всех казаков и солдат, отправлявших колодников в Черный Яр, взяли подписку под страхом смертной казни в том, что

от колодника никаких непристойных речей они не слышали и сами бы никому в мире ни под каким видом не говорили, куда, зачем и с кем ездили. С офицера, капрала и солдата взяли другую подписку, тоже под страхом смерти, чтобы они молчали обо всем, что видели и слышали.

В это время вслед за возмущением 25 июня везде искали Семенникова. Узнали, что он уехал в Трехостровскую станицу. Для поимки его поскакал туда гонец, который вскоре воротился и донес, что Семенников скрылся.

Фурьера Ромашева командировали с секретным предписанием в Пятиизбянскую станицу. Ромашев прожил там пять дней, дожидаясь полковника Денисова, который отлучился из Пятиизб. Однажды, гуляя с другим Денисовым, старшиною, по берегу Дона, подошли они к питейному дому; в окно кабака кликнул их станичный атаман Слепов выпить чарку водки. Они вошли и застали там станичного писаря и малороссиянина Степана Певчего, приписанного в семигривенный оклад¹ Пятиизбянской станицы; все трое были в нетрезвом виде. Поднесли и Ромашеву. Затем разговор зашел о самозванце, о котором Певчий, бывший перед тем в Царицыне, распустил по станице странные слухи. Спрашивали, что он за человек. Ромашев сказал, что его в Царицыне уже нет, а «сослан, по его подлости, за дерзновенные поступки в дальнее место», а в какое — умолчал.

В разговоре атаман между прочим выразился: «Я и вся наша станица обстоим как у его высокопревосходительства, так и у царицынского коменданта и у войскового атамана не под командою», — давая этим понять, что он знать не хочет ни губернатора Бекетова, ни других властей, а служит кому-то другому, но кому, не сказал.

А станичный писарь добавил: «Мы знаем, оного названца (т.е. будто бы государя Петра III) затем не выручают и хотят уморить, что ее императорское величество желает быть в супружестве за графом Орловым».

Когда возвратился полковник Денисов и прочитал секретное предписание губернатора, тотчас приказал схватить Певчего, возбуждавшего своими толками Пятиизбянскую станицу к восстанию, заковать в наручни и посадить на цепь. С забитыми в колоды ногами, за крепким конвоем он привезен был Ромашевым в Царицын на почтовых, приведен в гражданскую канцелярию и секретно допрошен.

Певчий был в Царицыне два раза. В первый раз ходил к явленному самозванцу и отнес одну витушку и тридцать ко-

¹ Подать в 70 коп.

пеек денег. «Поклонись всей Пятиизбянской станице», — сказал ему самозванец.

Певчий приехал в Пятиизбы, кланялся от колодника станичному атаману и казакам. А станичным атаманом был тогда Максим Слепов. Собрав стариков, атаман спрашивал совета:

— Что нам — называемому государем послать денег?

Приговорили: «Дать рубль» — и отдали Певчему, который тогда же и поехал опять в Царицын.

Когда он был у самозванца другой раз, пришел туда один линейный казак.

— Прислан я, — сказал он, — от нашего линейного сотника Егора станицы Букановской.

— Я сотника Егора букановского знаю, — отвечал самозванец и приказал кланяться.

— Сотник приказал вам донести, — продолжал казак, — что курьер из Петербурга приехал и стоит у него на квартире. Сказывал, из Петербурга идут четыре полка, которые на дороге объехал, для встречи вас, государя, и при них же четыре генерала.

Тут Певчий видел у колодника в теле на груди крест, и колодник сказал: «Как на грудях видишь, так на лбу и на плечах есть у меня». Певчий откланялся. Арестант приказал ему благодарить и кланяться станичному атаману, старикам и казакам всей станицы.

Нужно было схватить главного возмутителя, Семенникова. Но его не могли отыскать.

Губернатор, находясь в Царицыне, отдал между тем коменданту приказание — сменить царицынский гарнизон и находящихся в городе артиллеристов и батальонных солдат выслать в Астрахань; им на смену должны были прийти оттуда двести рекрут. Для этого артиллерийских солдат, вообще подозрительных людей велено отправить в Астрахань всех до одного; из гарнизонных батальонов выслать по семидесяти пяти из каждого, а из полевой команды — шестьдесят человек, и все это сделать «под приличным претекстом», без огласки, отнюдь не давая знать солдатам, для чего это делается. Губернатор распорядился, чтобы все исполнено было заблаговременно, до прихода из Астрахани рекрут.

Когда это происходило, в Царицыне произвели следствие, каким образом Казин и Долотин могли вступить в службу и кто виноват в этом. Предложили вопросные пункты ротмистру Персидскому, который отклонил от себя ответственность за преступников, сославшись на войсковую канцелярию.

Спросили войсковую канцелярию: та отписалась, обвинив одного из своих старшин.

В войске донском происходили между тем странные вещи: там начинало быть «непокойно».

В первых числах июня вышел из Трех Островов небольшой отряд казаков, наряженный войсковою грамотою в пятисотую команду, которая отправлялась в армию и находилась на речке Несвитой; на другой день после отъезда, утром, казаки послали двух товарищей в Голубинскую станицу известить, чтоб их казаки шли с ними в команду, а с тем вместе закупить «горячего вина». Известив об этом голубинцев и купив вина, посланные хотели уже воротиться к отряду, как в это время один из голубинцев, казачий сын, взяв одного из них за руку и отведя в сторону от людей, начал говорить: «Знаешь ли ты вашей станицы казака Семенникова?» Тот сказал, что знает. «Наказывал он, Семенников, вам, чтоб из наших казаков, кои в пятисотную команду выступили, к нему в город Царицын побывали».

Приехав к своим, посланные объявили казакам слышанное ими от «малолетка», и все начали советоваться; переговорили с голубинцами, которые тоже выступили из станицы и стояли отрядом неподалеку, и положили послать в Царицын трех человек. Прождав посланных два дня, они пошли далее, а через три дня голубинцы оставили их и больше не соединялись.

Через несколько дней приехали посланные к отряду и сказали, что были в Царицыне у Семенникова и видели царя, у которого на груди в теле крест; что царь и Семенников приказали прислать на добрых конях пять человек казаков и девять оседланных лошадей, на которых бы можно было увезти царя. Тотчас послали к голубинцам спросить, не поедет ли и из них кто в Царицын с лошадьми, но голубинцы отказались. Тогда выбрали из своих станичных шесть надежных человек, дали им добрых коней и отправили в Царицын. Но те, узнав от проезжих людей о принятых в городе предосторожностях, воротились с дороги и сказали, что до Царицына доехать никак нельзя. Не оставалось ничего более, как продолжать путь к команде.

Один Семенников действовал решительно: возвратясь из Царицына в свою станицу после свидания с самозванцем и захватив саблю, пистолет и пару лошадей, на вечер 23 июня поехал он сам в пятисотную команду, чтобы привлечь ее на свою сторону; вслед за ним выехал другой казак, Серединцов, и, нагнав Семенникова в поле, спросил:

— Куда едешь?

— Я еду в пятисотную команду, — сказал Семенников, — наши казаки были в Царицыне и обещались государю приехать.

— И мне в тое команду ехать.

И поехали вместе. Они настигли станичников среди степи, когда те отправлялись к пятисотной команде после неудачной посылки шести человек в Царицын. Семенников стал говорить им: «Воротитесь назад в Царицын... Подлинно там наш царь». Но казаки отвечали: «Пошлем в пятисотную команду, на речку Несвитай, казака с объявлением, что в Царицыне имеется наш царь: буде оная команда воротится, то и мы воротимся».

Послали гонца «о дву-конь». Тот через два дня воротился с известием, что команда без письменного вида идти не хочет.

Тогда Семенников с Серединцовым уехали от них, а отряд пошел к команде, которая, впрочем, недолго оставалась на Несвитае. Безурядица господствовала во всем. Приехал туда сержант генерал-майора Черепова (вероятно, подсланный Семенниковым) и спросил казаков:

— Что вы стоите здесь и нейдете?

— Куда идтить?

— Куда писаны.

— Во вторую армию писаны.

— Нет, не во вторую армию, а на новую днепровскую линию, покудова без жен.

Пятисотная команда пришла в смятение, отказалась от повиновения и вся разбрелась по станицам и хуторам. Пришли домой и трехостровянцы с единомышленниками Семенникова, который в это время мучил своих станичников дома: он всех подговаривал к походу в Царицын, старых казаков и малолетних казачьих детей. Бунтовщики для выполнения своего предприятия намеревались утопить войскового старшину Чернозубова, станичного атамана Лабинина, своего священника отца Гавриила и старика Соловьева, которых наиболее боялись. Известие о замысле их навело страх на храброго Чернозубова, на атамана и на стариков. Чернозубов стал действовать решительно, не давая мятежу распространиться: он приказал атаману собрать сбор. Эта весть быстро прошла по станице. Будучи болен, старшина сел в коляску и поехал к сборному месту.

Когда он взошел на станичную «беседу», там в сборе было очень много казаков и казачьих детей, был и Семенников.

Чернозубов, отыскав копию с именного указа императрицы о самозванце, который содержался под арестом в Воро-

неже в 1776 году, и прочитав перед собранием, спрашивал Семенникова:

— О каком ты имени проговариваешь и возмущение делаешь в миру?

Семенников отвечал:

— Есть в городе Царицыне, содержится под караулом царь Петр Федорович.

— Соврал ты, дурак, — сказал Чернозубов, — хотя и был царь Петр Федорович, но он скончался, умер. Ныне у нас милостивая государыня Екатерина Алексеевна и наследником — его высочество Павел Петрович.

Но Семенников громко закричал:

— Жив Петр Федорович и ныне в Царицыне!

Чернозубов схватил бунтовщика за волосы и бил палкою. А Семенников кричал народу:

— Чего вы стали?.. Или вы оробели!..

Но Чернозубов приказал атаману арестовать его и за караулом отослать в Царицын. Когда он тащил его за волосы по собранию, вдоль беседы, и кричал атаману: «Сажай его в колоду!» — один казачий сын, взбежав на середину беседы, закричал:

— За что Семенникова сажать в колоду? Он не виноват!..

И едва Лабинин приступил к заговорщику, чтобы взять его, малолеток закричал громким голосом:

— Малолетки! На майдан!

А другие вслед ему:

— Чего вы стали? Ступайте на майдан!..

Другой малолеток, перескочив через беседную стену и явсь на майдан, тоже кричал:

— За что Семенникова сажать в колоду? Он не виноват!

Вошли на майдан прочие малолетки и приступили к атаману:

— За что его брать под арест?

Атаман в страхе оставил Семенникова. Чернозубов находился в том же опасном положении; он видел беду, малолетки и казаки возвышали голос, на майдане уже не было порядка: слышались только крики. Чернозубов переменял тон: обратился к собранию не с угрозами, а с лаской, просил недовольных успокоиться, — напрасно. Он принужден был уйти с беседы домой. Семенников и Серединцов два раза приходили звать его на майдан, но он не выходил из дому. В собрании остался один атаман. Когда он хотел снова взять Семенникова, казаки не допустили и вырвали из рук его атаманскую «насеку» (род булавы).

— Други мои, малолетки, стойте! — возвышал голос один старый казак. — Я с Семенниковым пойду с вами в поход и буду вам отец.

— Кто охотник ехать в Царицын царя выручать? — кричал Семенников.

— Я с тобою поеду! — слышалось с разных сторон...

Атаман едва успел бежать из собрания через беседную стену.

Такое опасное положение дел требовало энергических мер. Войско донское понимало это и командировало в Три Острова одного из известных и храбрых старшин своих, Абросима Луковкина, впоследствии страшного для полчищ другого самозванца, более памятного России, — Емельяна Пугачева. Ему предписано было во что бы то ни стало тайно схватить Семенникова и Серединцова с их единомышленниками; если тайно нельзя этого сделать, то истребовать от донских станиц и с царицынской линии казачьи команды, а из Царицына отряд регулярного войска и с начальником отряда идти и взять их вооруженною рукою.

Получив войсковую грамоту, Луковкин 21 июня прибыл в Три Острова и узнал, что единомышленники Семенникова и Серединцова собираются в поле, на пашнях, в станичном юрту. Не теряя времени и не делая шуму, Луковкин в тот же день, взяв отряд казаков с царицынской линии и из Трех Островов, разделил его на три части и послал в поле, а с четвертою поскакал сам окольными дорогами: часть бунтовщиков переловлена была по пашням и привезена в станицу, а остальные взяты в их собственных домах. Тут же схвачены были и малолетки, более всех бунтовавшие на майдане во время станичного сбора. Каждому из них Луковкин наложил крепкие колодки, а руки связал назад и за строгим караулом отправил в Царицын. Как казаки, так и малолетки были допрошены и отданы караульным.

Не могли только поймать одного казака, Ананью Еремева, и коновода их — Семенникова. Серединцов, с которым он никогда не разлучался, был схвачен раньше. После шумного станичного сбора, когда с майдана бежали Чернозубов и Лабинин, главные бунтовщики пробыли в станице несколько дней и потом опять, до приезда Луковкина, отправились вдвоем в Царицын, но, не въезжая в город, известились от жителей, что самозванец из Царицына вывезен, — и поехали обратно в свои дома. В это время и был схвачен Серединцов, в тот самый день, когда в другой станице, в Пятиизбах, взяли под караул Певчего. Дней через семь с царицынской линии

от пехотного линейного атамана Янова пришло в комендантскую канцелярию известие, что жена Серединцова отъехала в Царицын, что, по всей вероятности, она послана к мужу для переговоров от тамошних заговорщиков. Янов просил, нельзя ли будет ее там поймать и допросить, не имеют ли бунтовщики намерения каким-либо способом украсть Серединцова и не знает ли она чего о Семенникове.

В Царицыне между тем все шли допросы. Привезли еще одно лицо, букановского линейного сотника Егора Коршунова, который, как мы видели выше, присылал будто бы поклон самозванцу и извещал, что к нему из Петербурга идут четыре полка с четырьмя генералами. Против вопросных пунктов Коршунов отвечал, что самозванца он никогда не знал и нигде не видал, что в июне командирован был с линии в Царицын для сдачи, в перемену, негодных бочек. Проходя базаром, он слышал между народом «переговор», что в городе содержится под караулом царь, а какой — не вслушался, «ставя народные разговоры ни во что». По приеме бочек в тот же день он воротился на линию, не веря слышанному и не говоря о том никому ни слова. Писем и поклонов никому не посылал и сам ни от кого не получал.

Чтобы подавить день ото дня распространявшиеся толки и восстановить тишину в народе, войско донское разослало строжайшие войсковые грамоты по всем рекам, в станицы, к станичным атаманам и казакам, а, наконец, войсковым старшинам, определенным для сыска и высылки беглых, — чтобы жители не верили никаким возмутительным слухам, а ловили бы разгласителей. Но напрасно старались подавить волнение, произведенное загадочной личностью самозванца и его молодого секретаря; толки неутомимого Семенникова разжигали народные страсти, возбуждали к неповиновению и раздражали до крайности. Уже схвачены были все его товарищи и единомышленники, поймали Серединцова, который его почти нигде не покидал; все сидели в цепях, под строжайшим караулом, а Семенникова все не могли поймать. Правительство понимало опасность такого настроения умов и предвидело большие волнения. Государственная военная коллегия отправила в Царицын гонца, офицера Карташова, и требовала донесения о положении дела. Знаменитый вице-президент коллегии, граф Захар Григорьевич Чернышев, спрашивал Бекетова, по какому побуждению соборный поп, после распоп, Никифор возвещал о бунте накануне его, какие он имел о том сведения, кто именно были те, которые пошли с дрекольем на гауптвахту и били коменданта. В комендантской канцелярии, не выходя из присутствия, сочинили экстракт из всего

дела для представления военной коллегии; солдат, бывших в карауле у Царицынских ворот, где сидели Казин и Долотин, прогнали шпицрутенами сквозь строй; привезли из Дубовки войскового старшину депутата Осипа Терского для вопроса, каким образом записаны в службу Казин и Долотин.

А в Царицыне толки о царе и государственном секретаре не умолкали. Схвачена была жена капрала Васильева, содержавшегося под караулом, и обвинена в том, что говорила будто бы о самозванце. По поводу этого обстоятельства народу прочли странную публикацию, чтобы он молчал и забыл о бывших в Царицыне самозванцах¹. Жителям объявили, что многие из них, а *особливо женский пол*, входят в непристойные разговоры о самозванце; что жена капрала Васильева, Авдотья Яковлевна, по доносу одного добросовестного человека, взята под арест и подлежит жестокому наказанию кнутом, но что, «уважая ее императорского величества высочайшее ко всем матерное милосердие, от того избавя, а во унятие и в подлежащий всем страх, дабы перестали непристойные плодить разговоры и совсем предали оное вкоренившееся зло забвению, определено: учинить ей публичное с барабанным боем, жестокое плетью наказание и, сверх того, подрезав платье, яко не терпимую в обществе, через профосов выгнать за город метлами». Наказание было исполнено...

В августе допрашивали еще несколько подозрительных людей; привезли из Черного Яру через форпосты, за караулом, купца Мордовина, замешанного в это дело; 1 сентября капралу Васильеву, мужу Авдотьи Яковлевны, дали 12000 ударов шпицрутенами и записали в рядовые; артиллеристов, схваченных на площади во время бунта, допрашивали «под пристрастием», пытками заставляя говорить правду. Попа Никифора расстригли еще до конфирмации. Наконец, в октябре последовала конфирмация в военной коллегии, и граф Чернышев известил о том астраханского губернатора.

В Васильев день накануне нового года (31 декабря) Царицын видел наказание преступников: восьми канонирам и барабанщику Лобанову, которые настойчивее других искали освобождения самозванца, в рассуждение матерного милосердия ее величества, дали по 12000 ударов шпицрутенами взамен смертной казни и отослали в Тобольск; распопа Никифора, малоросса Певчего, пятиизбянского станичного атамана Слепова, станичного писаря, стариков, малолетков и множество других лиц подвергли разным иным наказаниям; Серединцова

¹ В ней запрещались публичные сходки на площадях.

жестоко высекли плетьюми и сослали в Сибирь. То же наказание ожидало и Семенникова, если только он будет пойман. Но его не поймали.

В это время из Сибири пришло к астраханскому губернатору известие, что один екатеринбургский солдат, возвратившийся с каравана, отправленного с железом в Астрахань от гороблагодатского горного начальства, сказывал, что в Царицыне содержится арестант, называющий себя бывшим императором Петром III; что солдат этот и товарищи его видели самозванца на гауптвахтном крыльце и что слух о нем носится от самого Царицына до Казани. Губернатор строго укорял за это Цыплетева, грозил наказанием.

Но самозванца уже не было там. По конфирмации, его привезли из Черного Яра в Царицын, в тот же день публично, в виду всего народа, наказали кнутом и, вырезав ноздри и поставив на лице позорные знаки, заключили в погреб; в погребе его приковали к стенной цепи. Потом, ночью, его вывели оттуда, сдали конвойному офицеру и, посадив в судно, отправили в Сибирь на каторгу. Но его не довезли до Сибири: на дороге он умер.

На допросе самозванец признался, что он Федот Иванов Богомоллов Саранского уезда села Спасского крестьянин графа Романа Ларионовича Воронцова; из вотчины бежал в Саратов и ходил на судах саратовского купца Хлебникова до Дмитриевска, жил потом у колонистов, перешел в Караваинскую станицу, служил в Калмыцкой орде за казака Панчилина, работал по хуторам и, наконец, поступил в легионную команду под именем Казина.

«В пьянстве своем, — говорил он, — без дальнего замысла объявил о себе императором Петром III».

Его государственный секретарь, Спиридон Долотин, был сын донского казака, сирота, не имевший нигде пристанища. Родился в Березовской станице.

Дело о них велено было предать вечному забвению и запечатать.

Но народ не знал ничего и верил, что жив государь Петр Федорович.

Через год он убедился в этом, когда появился Емельян Иванович Пугачев.

Через год поймали и Семенникова с Еремеевым. Но их уже нельзя было отослать в Сибирь: весь северо-восточный край России волновался именем покойного императора и Пугачев брал крепость за крепостью...

ПУГАЧЕВ

«Дальнего намерения, чтоб завладеть всем российским царством, я не имел, ибо, рассуждая о себе, не думал к правлению быть, по неумению грамоте, способен; а шел на то, если удастся чем поживиться или убиту на войне быть: все я заслужил смерть — так лучше умереть на войне».

Слова самого Пугачева.

I

Почти до настоящего времени в русской исторической литературе и в обществе относительно этого замечательного эпизода русской истории господствовало мнение, установленное отчасти исторической монографией Пушкина, и на пугачевщину смотрели почти исключительно как на произведение яицких смут; другие же видели в этом явлении связь с придворными интригами, которые у нас, в первой половине прошлого века, грозили передать судьбу государства в руки олигархии, созданной крупным русским дворянством при помощи остзейских немцев. Но и то, и другое мнение если не вполне ошибочно, то, во всяком случае, не представляет достаточных оснований. Начала этого явления лежали глубже, чем думали до сих пор. Оно было результатом всего строя нашей истории, а не каким-нибудь частным явлением. Г. Щебальский уже ближе подходит к истине, воспользовавшись современными средствами исторической науки в объяснении тех или других исторических явлений, хотя, тем не менее, и он не может вполне отрешиться от прежних мнений и ищет разгадки факта в частности — то в беспокойном состоянии умов яицкого войска, то в попытках раскольников отомстить за целое столетие испытанных ими притеснений, то в какой-то таинственной интриге, нити которой, исходя из рук близко стоявших к кормилу правления лиц, переплетались в разных направлениях и опутывали самый трон. Лично Пугачев мог быть чьим угодно произведением; наконец, мог быть просто одним из

тех самозванцев, которых и до него, и после него было достаточно¹; но самая пугачевщина со всеми ее последствиями была порождением всей России, неизбежным плодом темной стороны тысячелетней жизни русского народа и результатом ненормального состояния всего тогдашнего ее государственного строя.

Это-то состояние России и следует изучить прежде всего, приступая к объяснению пугачевщины; впрочем, современная историческая наука иначе и не должна относиться к тем или другим историческим явлениям.

Такова будет и наша цель при объяснении причин и характера пугачевщины. Мы постараемся изобразить это смутное время на основании новых данных, не бывших в виду ни у Пушкина, ни у г. Щебальского, а при этом будем иметь случай заметить, насколько эти новые данные подкрепляют или опровергают соображения новейших писателей в их исследованиях той эпохи.

28 июня 1762 года вступила на русский престол супруга императора Петра Федоровича Екатерина Алексеевна, о чем она и известила Россию манифестом. Манифест этот достаточно известен. Через девять дней в церквях читали другой манифест, не менее замечательный, извещавший Россию о кончине супруга императрицы, государя Петра III, последовавшей от геморроидальных коллик.

Глубоко ли тронут и поражен был народ неожиданной кончиной императора, были ли какие-либо другие причины, или таково было самое положение России, только естественное событие это имело важные последствия: внутренние смуты долго волновали Россию на всех ее концах и грозили, быть может, поколебать то, что твердо держалось в ней от самого начала русской земли.

Положение России в самом деле было далеко не такое, каким научили нас понимать его наши историки и поэты. Они изобразили одну светлую сторону славного века Фелицы, блеск и роскошь двора, силу вельмож и ум генералов, но забыли темную сторону этого времени. Девяносто девять сотых жителей России, средние и низшие ее сословия, ядро населения сорока двух провинций, солдаты, как служащие, так и отставные, крестьяне всех ведомств, раскольники всех толков, иноверцы и инородцы и «дикие люди, покрытые шерстью

¹ Известно, что задолго до Пугачева явился мнимый Петр III даже в Черногории — это самозванец Степан Малый.

и чешуей», едва ли не в одном воображении Державина «про-разумели блаженство дней своих» и

по желто-смуглым лицам долу
Струили токи слез из глаз.

Только большие дворяне, высшее духовенство и крупные чиновники жили счастливо и спокойно продолжали старое дело, начатое дедами.

Сама императрица, в Наказе, несколькими отрывочными словами дает понять, каково было при ней положение крестьян и других несвободных сословий. Она говорит, что почти все помещичьи деревни состоят на оброке; что помещики, обложив каждую душу по рублю, по два и даже по пяти рублей¹, редко или почти никогда не заглядывают в свои имения и не хотят знать, какими способами крестьяне их достают эти деньги; что иной земледелец лет пятнадцать не видит своей избы, добывая положенный оброк, и нанимается в работу в далекие города, бродит по всему почти государству. Она сама с сожалением замечает, что страна, которая до такой степени обременена податями, что только с большим трудом народ может снискивать себе пропитание и даже вовсе не имеет его, рано или поздно должна обезлюдеть; что в ней люди потому убоги, что живут под тяжкими законами и земли свои считают не средством к содержанию себя, а предлогом к удручению, что народ закапывает в землю свои деньги, боясь пустить их в оборот, — боится казаться богатым, чтобы богатство не навлекло на него гонений и притеснений. Она опровергает странный парадокс, порожденный тогдашним взглядом на «подлый» народ, что, чем большие на него наложены дани, тем больше приходит он в состояние платить их.

Редкие памятники того времени говорят в пользу благосостояния низших сословий России. Произвол помещичьего права прикрывался косвенным толкованием закона и прямым потворством местных властей, помещиков же. В видах заселения Сибири помещикам дозволено было отсылать крестьян «за продерзость» в Иркутскую провинцию, и они охотно пользовались этим правом, потому что получали за ссыльных из казны большие деньги и зачетные рекрутские квитанции². В то время когда ревизская душа с землей стоила 80 рублей, помещики охотно брали 20 рублей за холостого крестьянина и 15 за жена-

¹ По тому времени это — огромный оброк, который крестьяне не в состоянии были уплачивать.

² Полн. Собр. Зак. XV.

того¹, и они тысячами шли колонизировать сибирский край, где ожидала их страшная дороговизна и голод. Во всех поволжских городах назначены были сборные пункты для ссыльных, где их принимали на суда и везли до Самары; оттуда конвой сопровождал их до самой Сибири. На таких же основаниях гнали в Иркутск и в дальние сибирские места крестьян дворцовых, синодальных, архиерейских, монастырских, купеческих и государственных². Соблазняясь высокой ценой, которую давали помещикам все не желавшие идти в солдаты, они ставили под мерку лучших крестьян и брали деньги от наемщиков себе. Они, говорит один указ, ведя распутную жизнь, всеми мерами старались достать денег на разврат и роскошь и вводили в рекрутские канцелярии кого хотели и когда хотели. Они имели право отдавать крестьян в рекруты на три года и снова брать в дом или в вотчину, право, не лишавшее их навсегда рабочей силы, которую они наказывали, но тяжелое для крестьянина. Им дозволено было отдавать людей на время в каторжную работу — право также выгодное, потому что владелец не тратился на прокорм и одежду ссыльных, которых продовольствовала адмиралтейская коллегия от казны вместе с каторжниками, и потому что мог взять своих крестьян, когда пожелает³. Крестьяне и дворовые не имели права жаловаться на владельца, что бы он ни делал с ними, и показание их в этом случае ставилось в уряд с показанием ошельмованного; ни один чиновник не смел без ведома секретаря писать челобитной простому народу, а в особенности крестьянам⁴. Это отнимало у них всякую возможность защищаться пред законом, и они сносили всякую жестокость или шли в Нерчинск копать руду; хорошо, если их отсылали в Рогервик. Самые добрые из владельцев, пользуясь этими ужасными правами, иногда забывались, а другие не стеснялись давать волю своей жестокости.

В то время в высших слоях общества и между богатыми помещиками в подражание двору завелась роскошь; крестьяне платили оброки не по силам, барщинные работы и частные стогны отнимали у них последние средства. Между дворянами как мода завелись азартные игры; в ночь проигрывалось богатое состояние, и взыскание падало на крестьян; за неимением денег на карту ставились люди, целые семьи и деревни, а на утро совершались купчие крепости и дарственные записи

¹ Полн. Собр. Зак., XVII, 12319.

² Там же, XV.

³ Там же, XVII, 12311.

⁴ Там же, 12648.

на проигранные имения. Правительство напрасно издавало строгие указы против азартных игр: они не уничтожались, потому что было что проигрывать.

Тяжела была для крестьян такая жизнь, но они не находили ни в ком себе защиты, не имея права челобитья. Дворовым людям и крестьянам генерала Леонтьева, генеральши Толстой и подполковника Леонтьева удалось как-то подать государыне жалобу на своих господ, но правительство жестоко наказало их за это: одних секли в Москве по разным площадям, других по селам, на родине, и погнали в Нерчинск; крестьян бригадира Алсуфьева умирjali войском. Тогда издали указ против челобитья крестьян на помещиков: за первое «дерзновение» виновных отсылать в каторгу на месяц, за второе наказывать публично и на год в каторгу, за третье сечь плетью и отсылать в Нерчинск навечно, с выдачей помещику зачетной рекрутской квитанции¹.

Народу казались стеснительными эти ограничения, и он ждал лучшего времени: ему говорили о перемене законов, об уменьшении помещичьего произвола, наконец, о том, что он будет платить меньше и работать меньше. Находились люди, большею частью выгнанные чиновники, приказные «не у дел», дьячки и грамотные церковные служки, которые толковали о каких-то новых манифестах, о льготах, и народ верил им, затаив злобу против господ и властей, которые, как он думал, скрывали от него царские указы. Были и такие из грамотных, которые сами сочиняли указы и манифесты и как секрет продавали их крестьянам, а эти шли с челобитной по начальству и попадали в тюрьмы. Чтобы разуверить крестьян в неосновательности слухов, каждый воскресный и праздничный день за обедней читали в церквях указ в опровержение разглашений, его читали потом в храмовые праздники, сочинителей били кнутом и отводили в Нерчинск².

Такие случаи были не редки и делали крестьян подозрительными ко всему, что касалось перемены их состояния. Веря всякой выдумке неблагонадежного подьячего, они часто недоверчиво выслушивали подлинные сенатские указы, если те были писанные, потому что за писанные манифесты им нередко доводилось ходить под кнут и в каторгу; также неприязненно встречали они и чиновников от правительства.

Хорошо, если б то были вспышки нескольких недовольных, но недовольных было больше, чем войска в полках императри-

¹ Полн. Собр. Зак. XVIII, 12965.

² Там же, XVIII, 12966.

цы. То было общее брожение, давшее о себе знать отдельными и, по-видимому, бессильными демонстрациями; но демонстрации эти были слишком часты и похожи одна на другую, чтобы правительству нечего было опасаться их и прислушиваться к общему народному ропоту. Правительство, однако, считало их, кажется, только выражением народного легкомыслия.

Крестьянские бунты наполняли собою все царствование Екатерины от начала до конца: они предшествовали ее восшествию на престол; о них был ее второй манифест, читанный в России от имени Екатерины вскоре после опубликования первого о принятии ею русской державы; бунты тревожили государыню в самую блестящую эпоху славы русского оружия и отвлекали войска ее от войн с соседями; крестьянские же бунты печалили самый конец жизни императрицы. Первый манифест о крестьянах был обнародован по поводу каких-то ложных слухов, ходивших в народе и заставивших крепостное население отлагаться от помещиков вотчинами и целыми уездами. Волнение было всеобщее, и манифест обещал милости одним и грозил наказанием другим. Но ни царская милость, ни царская угроза не были ни достаточным объяснением для помещиков, ни достаточно страшными и успокоительными для крестьян. Едва ли еще успели опубликовать этот манифест по всем русским церквям, как уже в первых же месяцах, летом и к осени, должны были командировать отряды войск по всем направлениям, в глубь России. Вспыхнуло возмущение в двух смежных уездах Тверской губернии, в Тверском и Клинском, между крестьянами Татищева, Хлопова и почти всех окрестных помещиков. Для усмирения их посланы были воинские команды. Но в то же время обнаружилось волнение в Вяземском уезде, в вотчинах князей Долгоруких: восстали крестьяне села Воскресенского и отказались от всякого повиновения; ни увещания, ни угрозы — ничто не действовало. Туда послан был отряд с генерал-майором князем Вяземским и с четырьмя полковыми пушками. Крестьяне собрались в числе двух тысяч человек, ударили в набат и, набега на солдат, бросали в них камнями, поленьями и всем, что имели; у всех было оружие, рогатины и прочие крестьянские доспехи. Князь Вяземский приказал пустить в дело артиллерию: началась пушечная пальба, убито было до двадцати человек непокорных, столько же ранено; главные зачинщики схвачены и розданы по ближайшим городovým канцеляриям. Прочие смирились и розданы своим помещикам¹. Тогда поднялись крестьяне других вотчин. Вслед за князем Вяземским

¹ Ук. Ек. 1779, 105, 107.

отправлен был генерал-майор Виттен с кирасирами; полк его скакал на почтовых, чтобы успевать тушить волнения, которые захватывали собой все большее и большее пространство¹. Усмиряя одних, он ехал дальше, потому что бунты зачинались везде, по всей почти России.

Вслед за приведением в повиновение непокорных, сенат издавал грозные указы и увещания, которые читались народу во все воскресные и праздничные дни, по селам, в приходских церквях и по торжкам. Но вслед за усмирением одних недовольных восставали новые, потому что причины недовольства не уничтожались пушками, а оставались все те же.

В 1766 году в народе прошел слух, что вышел будто бы указ, в котором велено отписывать в казну крестьян тех помещиков, которые облагали их тягчайшими оброками. Крестьяне подали челобитную в дворцовую канцелярию и, конечно, не выиграли дела. Взяли сочинителя: он признался, что писал об указе понаслышке. Его жестоко наказали; пострадали и крестьяне².

Но слухи не унялись и крестьяне по-прежнему чего-то ждали. В том же году послали отряд в Тамбовский уезд, где взбунтовалась вотчина помещика Фролова-Багреева. Бунтовщики убили начальника отряда, ранили двенадцать солдат; сторону недовольных приняли и волостные мужики ближайших государственных селений³. Во всяком чиновнике, особенно в военном мундире, крестьяне видели личного врага, если б он не был даже лицом правительственным, и при всяком случае, где могли, выражали ему свою нелюбовь. Нарышкинские и Неплюевские крестьяне оскорбительно приняли подполковника Рязанова, артиллерийского капитана Тавайдакова, поручика Тищева, которые проезжали по высочайшему повелению, не дали им подвод, кричали и ругали их и отбили ружья у солдат, которые защищали офицеров⁴. Подобная драка произошла в селе Выдропуске, где крестьяне прибили посланного из военной коллегии подпоручика Аржевитинова, избили курьеров Миллера и Петреуса⁵. В 1771 году произошло волнение между крестьянами, приписанными к олонечким Петровским заводам⁶; ходоки их отправились в Петербург и долго мотались по столице, собирая слухи и расспрашивая о крестьянском деле. Все искали тех же льгот и

¹ Полн. Собр. Зак. XV, 11577.

² Там же, XVII, 12633.

³ Там же, XVII, 12669.

⁴ Там же, XVII, 12853.

⁵ Там же, XVIII, 13333.

⁶ Там же, XIX, 13589.

облегчений, которые не давались им. Чтобы сделать для крестьян тяжелее и чувствительнее наказание за ослушание помещичьей воле, все дела, касавшиеся возмущений, производились на счет крестьян: с них взыскивали все казенные траты и убытки по следствиям, содержание посылаемых против них отрядов, стоимость переездов и проч.¹

Тяжелые подати, при скудных средствах, дополняли их несчастье. Они, видимо, разорялись. Мы видели, что сама императрица укоряла помещиков за высокий оброк и бедность крестьян. Несвободные сословья казенного ведомства страдали не меньше помещичьих от приведения в исполнение недуманных и несвоевременных распоряжений. В сибирских провинциях для продовольствия войск и в виду улучшения хлебопашества велено было собирать оброк хлебом и пенькой. Крестьяне не слушались; они говорили, что хлеба и коноплей им взять негде, что земля не родит, просили дозволить им платить деньгами. Им не дозволяли и наказывали ослушников. Тогда они совершенно отреклись от поставки провианта и роптали на отягощение². Целой Исетской провинции, населенной десятками тысяч крестьян, также приказано было вместо денежной подушной платы возить муку и овес в крепости по линии, где располагались войска. А эти крепости и форпосты рассеяны были по всей Оренбургской губернии, по Яику вниз и вверх к Сибири, и в глубине степей; расстояния были большие, дорог вовсе не существовало. Каждый крестьянский двор, или четыре души, должен был поставить по 3 четверти и 6 четвериков хлеба. Крестьяне жаловались на большие переезды, давали деньги; казенные приемщики полагали на каждый воз «приметки», которые брали себе³. В 1769 году на всех крестьянах казенного ведомства, исключая ландмилиционных однодворцев, тептярей, мещеряков и бобылей Оренбургской губернии, положили подати по два рубля в год с ревизской души, сверх «семигривенного» подушного сбора, который они платили по старому плакату; в это число включили также крестьян, приписанных к государственным и частным заводам. Такую неумеренную прибавку оправдывали тем, что в России возвысились цены на продукты и на все предметы потребления и что притом помещичьи крестьяне стали платить своим господам гораздо высшие подати против прежних. Даже рабочие при Нерчинских заводах и поселенные там рекруты сверх по-

¹ Ук. Ек. 1763, 1.

² Полн. Собр. Зак. XVI, 11633.

³ Там же, XIX, 13422.

ложенной работы платили подушный оклад; при страшной дороговизне в тех краях недоимки накапливались с каждым годом. Несостоятельность низших классов была так известна правительству, что при начале одной из турецких войн, когда в государственном совете говорили о поборе в Лифляндии и Эстляндии, граф Никита Иванович Панин представлял, что надо положить вдвое, тогда заплатят половину¹. Так было и везде.

Но не одни помещичьи и казенные крестьяне ждали улучшения своей участи и роптали. Едва ли не больший ропот слышался в духовных вотчинах, в поместьях синода, архиереев и монастырей. Отменяя «непорядки и неполезные установления», допущенные в предыдущее царствование, Екатерина через месяц по вступлении на престол возвратила монастырям их имения, которые отобрал у церкви Петр Великий, «ревнуя о делах Божиих», как сказано в указе; она велела брать с крестьян не больше рубля с души или употреблять их на работу по прежним уставам, велела только обращаться с ними «благоумерно». Но, по обыкновению, во многих местах явились комментаторы этого указа; подьячие истолковали его ложно, крестьяне поверили и не только отказались платить оброк, но не хотели работать; начались бунты и своевольства. Недовольные писали челобитные за челобитными; во многих вотчинах мужики разбили хлебные магазины и взяли весь казенный запас, сняли и свезли в свои амбары хлеб с полей, засеянных казенными семенами; самовольно скосили сено на казенных лугах. Бунтовщиков хватили и сажали под караул; не схваченные подавали челобитные и никого не слушались. Наряжена была комиссия для разбора неудовольствий между крестьянами и духовенством; крестьяне, конечно, проиграли, потому что им велено было повиноваться своим владельцам «с подобострастием». И опять издали строгий указ против ослушников и целые полгода читали его по церквам².

Через год вспыхнул бунт в поместьях московского Данилова монастыря и Воскресенского Новоиерусалимского. Против бунтовщиков пошли военные команды; крестьян пересекли плетью при собрании всех вотчинных людей, а главных «заводчиков» постигла ссылка³. Несмотря на строгие меры и на два указа о духовных имениях, крестьяне не переставали добиваться своих прав: в Тульском уезде, в вотчинах Никола-

¹ Храпов. «Отеч. Зап.» Св. VII, 138.

² Полн. Собр. Зак. XVI, 11730.

³ Там же, XVI, 11865.

евского Венева монастыря да в Рязском уезде, между крестьянами Рязанского архиерейского дома, села Князева-Займища ходили по рукам и читались фальшиво сочиненные указы, будто бы копии с печатного, об отрешении от монастырей вотчин и «о разверстании казенных земель крестьянам по себе»¹.

II

Во все продолжение XVIII столетия судьба наших раскольников представляет картину неравной борьбы слабого с сильным. Первая половина этого столетия ознаменована неутомимым преследованием сектантов, которые толпами бежали за границу, спасая то, что им казалось дорогое. Те, которые оставались в России, или скрывали свои непозволительные убеждения, оставаясь при отцовских верованиях, или должны были терпеть все, к чему их присуждало правительство, если открыто признавали свою «истинную, старую веру». Такое положение дел, конечно, и не казалось бы стеснительным для государства, если бы у нас были какие-нибудь сотни или тысячи сектантов, но их считали миллионами, они составляли значительный процент в населении России. А потому положение раскольников, из которых было очень много крестьян разных ведомств, и положение самых крестьян тесно связаны между собою и взаимно объясняются.

Екатерина II чрез пять месяцев после принятия русской державы, приглашая из-за границы охотников всех наций, кроме евреев, на поселение в России, предлагала и раскольникам воротиться на родину и записаться в какое угодно звание, с обязательством платить двойной оклад наравне с прочими староверами. Она «наиторжественнейше» обещала, что им прощаются все вины и проступки, что их не будут истязать ни за какое старое преступление, избавят от бритья бород и указанного платья, дадут для поселения самые богатые земли². Раскольники охотно выходили из-за границы, тем более что между ними было много помещичьих крестьян, которые делались свободными, а помещику зачитались за рекрута. Но они не в состоянии были платить двойного оброка, когда и нераскольничьи жаловались на тяжесть податей. Поэтому раскольники дополнили собою картину бедствий России:

¹ Там же, XVI, 11945.

² Ук. Екат. 1779. 161, 164, 171.

они отказывались от двойного оклада; их принуждали платить, преследовали, особенно провинциальные чиновники. Бунты были не редкостью; только с раскольниками обращались круче, чем с помещичьими крестьянами: их прямо высылали в Сибирь и редко миловали. Чтобы избавиться от двойного оклада, а еще больше от постоянных увещаний чиновников бросить старую веру, раскольники убегали в скиты, рассеянные по лесам, или жгли себя.

Дворцовые, экономические и помещичьи крестьяне не бегали из своих вотчин, основывали по лесам скиты и пустыни и постригались в монахи. Команды сыщиков проникали в леса, уничтожали кельи и возвращали беглых на родину. Многие из старцев поступали в православные монастыри, даже в ставропигиальные, возводились в звание иеромонахов и иеродиаконов: их брали, расстригали и отдавали в прежние ведомства; только о высших духовных чинах представлялось синоду¹. В Орле и по уезду между крестьянами открылась какая-то новая ересь; к ней пристали помещичьи люди. К ним, по именному повелению, послан был полковник Волков: дело кончилось кнутом и ссылками².

Не в лучших отношениях находилось правительство к инородцам, которыми заселена была вся восточная половина России и сибирские провинции. Татары, киргиз-кайсаки, башкиры, мордва, чуваша, черемисы, вотяки, тейтяри и прочие ясачные народы, не чувствуя, быть может, нравственного унижения, какое должны были сносить от наших комиссаров, кажется, слишком хорошо чувствовали всю тяжесть материальной зависимости от русского чиновника. Калмыки, состоя под безотчетной опекой наших приставов, лишены были права личных сношений с русскими; без ведома пристава ни в одном калмыцком семействе, ни в одной кибитке не могло быть написано письмо к русскому мужику, живущему по соседству, хотя бы дело шло о продаже верблюда; еще меньше они могли писать к властям о защите против придинок приставов: ни одна жалоба не выходила из-за черты улуса, а если провозилась тайно в ближайший город, то возвращалась приставу для расследования.

Калмыки не видели исхода из этого тяжелого положения: легче было дать о себе весть в Пекин, чем в Казань или Астрахань, а еще менее — писать в Москву и Петербург. Они, действительно, тайно снесли с китайским правитель-

¹ Полн. Собр. Зак. XIX, 13405.

² Там же, XIX, 13838.

ством, и в 1771 году более тридцати тысяч кибиток перекочевало в Азию. Русские слишком поздно заметили свою ошибку.

В это время деятельно производилось обращение татар в православие. По городам и селениям магометане имели свои мечети и кладбища. В мелких селениях мечети велено было сломать и дозволено строить только там, где считалось от двухсот до трехсот душ мужского пола по последней ревизии; где недоставало, велели приписывать ближайшие деревни и переселять в одно место. В иных селах было смешанное население: где крещеные составляли десятую часть, их выводили насильно и селили с русскими, а где больше — их не трогали, зато и мечетей не велели строить. Крещеные не хотели оставить своих сел, где похоронены их предки; их уводили силой; магометане с своей стороны не смели нарушить закон пророка и требовали оставить им молитвенные дома, где бы можно было поминать умерших. Новокрещенным давались льготы: уменьшен подушный оклад, они не знали рекрутской повинности, а с магометан брали подати и рекрут. Магометане злобились на перекрещенцев, ненавидели русских, не любили правительства: татары восставали против татар и русских, заводились ссоры, драки, убийства, поругание креста¹. В Тобольской, Иркутской, Тамбовской, Оренбургской, Симбирской, Рязанской и Астраханской губерниях везде были наши проповедники, силою убеждения, а еще более страхом грядущего вблизи закона приводившие неверных ко Христу: сам сибирский губернатор Чичерин доносил сенату, до какого разорения доводили народ эти проповедники; они не знали иноверческих языков, иноверцы не знали по-русски, и проповедь слова Божия ограничивалась грабежом. Иноверцы возненавидели проповедников и не могли быть преданы правительству. Заметно было волнение и между казанскими татарами, которые роптали на притеснения чиновников, в особенности слышались неудовольствия со стороны слободских служилых татар: сначала теснили их земские старосты и посадские люди, отнимали у татар всякую свободу действия, прижимали и обижали, где могли и чем могли, грозили судом и судьями, «хотя их московскою волокитою изволочить». В 1762 году в гостином дворе и в других торговых рядах казанские чиновники запечатали 29 вотчинных и казенных лавок с татарскими товарами и деньгами, запретили им торговать, обижали и разоряли их. Татары жаловались сенату, ссылались на преж-

¹ Полн. Собр. Зак. XIX, 13490.

ние заслуги прадедов, дедов и отцов «исстари от казанского взятия»¹. Также самоуправно запечатаны были лавки и лавочки ямских людей; чиновники запретили татарам торговать, хотя им совершенно нечем было жить, за неимением земли. Лишась последнего промысла, татары пришли в нищету, потому что до того времени они только тем и перебивались, что скупали и продавали на рынках старое платье, тряпье и всякую ветошь, шили обувь, носили на базар съестные припасы; их стали гонять с рынков, ловили и сажали под караул. Татары снова жаловались сенату, что от самоуправления чиновников пришли «во всеконечное разорение и убожество»². Все это поселяло взаимную вражду между двумя народностями и дополняло общую картину неурядицы. В это время производилась народная перепись, велено было вносить в ревизские сказки женские души: инородцы Уфимской и Исетской провинций говорили, что женщины переписываются для включения в подушный оклад, что подати удвоятся. Чиновники по личным соображениям утверждали их в этой нелепости, а потому для усмирения общей тревоги, которая могла быть опасна для правительства, не велено было писать в сказки женщин ни у тептярей, ни у бобылей³. Ясачные инородцы потому страдали более других, что, по тогдашнему чиновному выражению, были «безгласны» и, не зная по-русски, не могли ни оправдываться против обвинений, ни сами уличать притеснителей; чиновники, собирая ясак, брали с них вдвое, а когда их обвиняли в лихоимстве, говорили, что «взяток никогда не бирывали», — тем дело и кончалось, потому что инородцы не могли доказать их воровства. Якуты, тунгусы, чукчи и братские казаки и другие инородцы, разоряемые сибирскими дворянами и детьми боярскими, которые, как говорит песня, собирали ясак

из-за сабли острья,
из-за крови горячия,

поднялись наконец против грабежа чиновников. Правительство командировало туда князя Щербатова с отрядом⁴.

Не хуже того умели действовать чиновники и внутри России, где, едва ли еще не деятельнее, чем в Азии, производился своего рода сбор ясака. Дела в судах тянулись долго: старая «московская волокита» перешагнула за порог Петровых преоб-

¹ Полн. Собр. Зак. XIV, 11888.

² Там же. XVI, 11889.

³ Там же. XIV, 11615.

⁴ Там же. XVI, 11749.

разований и из приказов перешла в коллегии и провинциальные канцелярии; всякое дело в руках опытного судьи делалось бесконечным. Екатерину пугала эта плодовитость канцелярской литературы; она сама понимала всю тяжесть для правой и неправой стороны «хитро сплетенных происков», которыми удлинялись дела, и повелела сенату найти способ избавиться от этого положения. «Прошу Бога, да поможет вам»¹, — говорит она сенаторам в конце указа; но последствия не оправдали ее ожиданий. Несмотря на беспрестанно повторяемые указы, чтобы в «судах обитали правосудие и истина и чтоб ни знатность вельмож, ни сила богатых не могли помрачить совести и правды, а бедность вдов и сирот, тщетно проливая слезы, не утеснялась в правых делах», несмотря, наконец, на «недремлющее око» губернаторов, по всем судам сидели «помраченные души», которые грабили правого и виноватого. А между тем никто не смел подавать челобитных на имя государыни, и она сама, искавшая правды в судах, называла таких «невежами и наглецами». Самоуправство чиновников доходило до того, что в 1768 году в Оренбурге вспыхнуло возмущение между купечеством. От правительства наряжена была комиссия, и все члены магистрата жестоко наказаны². Чиновники умели пользоваться всем: веря будто бы показаниям кликуш, которых было тогда такое множество в России, что против них неоднократно издавались сенатские указы, судьи брали под караул и истязали тех, кого кликуши выкликали во время литургии. По предварительному договору с судьями кликуши в болезненных припадках показывали именно на тех, к кому хотелось бы прицепиться чиновникам: так, обыкновенно выкликались скупые и богатые купцы, зажиточные мужики и проч. Но другие чиновники добродушно верили ясновидению баб и мучили всех, кого те, по злобе или по зависти, выкликали в церкви, и народ все терпел до поры до времени.

Несмотря на то что взятки заклеяемы были позорными именами: «душевредным лихоимством», «мерзким лакомством», назывались «гнусными», — взятки существовали повсеместно. Через три недели по восшествии на престол Екатерина издала особый манифест о взятках, в котором говорится, что «лихоимство до такой степени возросло в России, что едва ли есть малое самое место правительства, в котором бы божественное сие действие (суд) без заражения сей язвы отправлялось. Ищет ли кто места — платит; защищается ли

¹ Полн. Собр. Зак. XVI, 11624.

² Там же, XVIII, 13101.

кто от клевет — обороняется деньгами; клеветет ли на кого кто, все происки свои хитрые подкрепляет дарами». Но особенно в глуши производились страшные грабежи бедных людей. «Мы, — говорит Екатерина, — содрогнулись, услышав от князя Дашкова, который проезжал через Новгород, что регистратор тамошней губернской канцелярии Яков Рембер, приводя ныне людей к присяге, брал и за присягу деньги»¹. Валуйский воевода Клементьев и канцелярист Богров точно таким же образом «к лихоимственным взяткам касались» и, подобно Ремберу, брали с присягавших². Но то ли еще было!

Императрица издавала манифесты, сенат посылал грозные указы, но в тех и других всегда повторялось одно и то же, что «к крайнему нашему огорчению и прискорбности, из повседневных обстоятельств принуждены мы видеть, что все это напрасно, что в дальних провинциях дела идут медленно и производятся бессовестно, что от насилия и лихоимства или, лучше сказать, от самых грабежей народ приходит во всеконечное разорение и убожество». Думали, это происходит оттого, что к должностям отсылались люди недостаточные, не имевшие дневного пропитания; что в суды, как в богадельни, сажались члены только для прокорма себя и своих семейств; что не имеющих судей побуждает к лихоимству угнетающая бедность, а другие невежды отважно поступали на всякое предприятие, под предводительством своих подчиненных; грабили во всем: досмотрами по вальдмейстерской инструкции к предупреждению порубки казенных лесов, в починке дорог, при даче паспортов, при переоброчках казенных мест, в даче квитанций в ношении указного раскольничьего платья, при высылке в канцелярии с указными платежами, везде и во всем выдумывали разные способы к грабежу под разными «претекстами», какие только «на мысль представить можно»³. Даже духовенство увлеклось общим стремлением: один священник, вымогая у одного крестьянина приглянувшийся ему резной складень, а у другого пятьдесят копеек, более недели не хотел хоронить умерших, так что тела издавали злосмрадный дух, текла пересадная кровь из трупов по лавкам и помосту, и в телах завелись черви⁴. Об этих случаях узнавало правительство; а мало ли было таких, о которых оно не знало?

¹ Ук. Ек. 1762, 37—38.

² Полн. Собр. Зак. XVI, 12233.

³ Там же, XVI, 11938.

⁴ Там же, XVIII.

Об известных случаях публиковали по государству, но напрасно. Положили чиновникам жалованье; но ни жалованье, ни манифесты и строгие сенатские указы, ни примерные наказания на площадях, ни политические казни, ни самый Нерчинск — ничто не в силах было изменить существовавшего порядка дел. «Душевредное лихоимство» и «гнусные взятки» так срослись с натурой русского чиновника, что их нельзя было искоренить и такими мерами. Верноподданные продолжали «прикасаться к толь мерзкому лакомству, прелестному только для одних подлых и ненасытных сребролюбием помраченных душ». Губернаторам была дана власть отрешать от должности всякого, избалованного во взяточничестве; но избаловать было некому. Да и кто осмелился бы донести на взяточника, когда самого правого доказчика ожидал допрос «под пристрастием плетей и батожьев», особенно если доказчик был из «подлого» звания? «Матернее» милосердие доброй императрицы не могло дать счастья России, какого она желала ей.

Несмотря на уничтожение тайной канцелярии, которая представляла такое широкое поприще произволу чиновников, несмотря на то что уже не существовало «ненавистное выражение — слово и дело», пытки оставались во всей силе. Истязания на допросах различались по приемам, которыми пытали подсудимых: были собственно пытки и пристрастия; второго рода пытка называлась также допросом пристрастным: «допрашивать пристрастно», то есть «под пристрастием плетей и батожьев», как тогда выражались, дозволено было во всех делах, вслед за словесным увещанием. В пытках велено было избегать напрасного кровопролития, но кровь продолжала литься.

К довершению общего зла, народный покой нарушен был свирепствовавшей тогда моровой язвой и в особенности принятыми против нее мерами. Между тем по рукам ходили фальшивые манифесты и указы, подававшие народу несбыточные надежды; сочинялись пасквили и подметные письма, разглашались возмутительные известия о таких предметах, которые волновали чернь; часто повторялись рекрутские наборы для пополнения войск к войне с турками.

Моровая язва расстроила и без того уже непрочный механизм государства. По всем дорогам устроены были заставы и карантинны; народная деятельность стеснена до последней возможности, и никто не хотел повиноваться непривычным мерам. В общем бедствии народ видел какой-то особенный смысл и ждал чего-то необыкновенного. Тревожась таким положением государства, императрица издала манифест, которым тщетно старалась возвратить России утраченное спокойствие. Никто

не хотел идти в карантин; незараженные прятали зараженных от глаз полицейского начальства и не давали больных; они оставляли свои дома, разнося повсюду ужас и заразу, которую уже сами в себе чувствовали; иные тайно выносили из дому мертвецов и кидали на улицах непогребенными¹. Другие пробирались в опустошенные дома и грабили оставшееся имущество. Таких казнили там, где заставляли².

К осени 1762 года в Казанской губернии по деревням и селам, приписанным к заводам графа Шувалова, разъезжали крестьяне с копиями какого-то высочайшего манифеста и возбуждали народ к неповиновению. Манифест был фальшивый. В нем, как выразилась императрица, находились «пасквильные речи». Этот фальшивый манифест объявлял, что государственные крестьяне, отданные архиереям и монастырям и приписанные к заводам, отнюдь не должны работать на заводах и снова обращаются в ясачные. Те, которые развозили копии этого манифеста и читали крестьянам, требовали, чтобы они отказались от работ; от одних брали подписку, что те не станут работать, а других били, выгоняли из деревень и умерщвляли. Волнение распространилось между всеми заводскими крестьянами. Тогда из Казани посланы были нарочные по всем деревням объявить народу, что тот манифест — ложный. Но крестьяне в каждой деревне, вооруженные дубьем и дрекольем, выходили против нарочных, запирали их в караульную избу, грозили и высылали вон, говоря, что если губернская канцелярия вышлет к ним и большие команды, то и тогда они той губернской канцелярии слушать ни в чем не будут, что инструкция, данная нарочным, фальшивая³.

С большим трудом восстановлено было спокойствие между заводскими крестьянами. Оказалось, что манифест этот сочинен был каким то дьячком⁴.

Но таких манифестов ходило тогда много по России, и все они принимались народом с полной верой и волновали его. Между фальшивыми манифестами разносились и пасквили такого же возмутительного содержания. Один из них, пущенный в народ, был перехвачен правительством. Имея форму именного указа, он начинался следующими словами: «Время уже настало, что лихоимство искоренить, что весьма желаю в покое пребывать, однако весьма наше дворянство пренеб-

¹ Полн. Собр. Зак. XIX, 13653.

² Там же, XIX, 13676.

³ Там же, XIX, 13376.

⁴ Ук. Екат. 1769, 152, 155.

регает» и проч.; оканчивался текстом: «в юже меру мерите, возмерится и вам». Угрожающий тон пасквиля заставил обратить на него внимание правительства. Сенат публиковал в народ, что «нескладное сочинение пасквиля произошло от самого подлого и глупого духа», что сочинитель его заслуживает жесточайшего истязания и должно быть поругано самое перо того дерзкого, который оказался виновным и презрительным пред государыней и народом. Пасквиль сожжен рукою палача на Сенатской площади с барабанным боем, и сенат публиковал, что тот получит 100 рублей, кто укажет сочинителя¹. Но никто не указывал. Так же сожжены были палачами в Москве на Красной площади при многочисленном собрании народа «ругательные сочинения», в которых, как сказано в указе, «многих фамилии, обоюга пола, персоны обижены», и снова велено было искать пасквилянтов². Через год в Ярославле публично наказывали плетью и сослали в Нерчинск дворового человека г. Михайлова, Андрея Крылова, у которого нашли пасквильное письмо, подобно сожженному в Петербурге и ходившее по рукам между простым народом. Письмо так же было сожжено в Ярославле³.

Все эти обстоятельства не проходили бесследно. Они оставались в памяти народа, которая берегла их до поры до времени. По всей России ходили странные толки; они касались всего и были нехорошим предзнаменованием; многому давался таинственный смысл. К несчастью, было много причин, поддерживавших в народе это опасное расположение умов. Толки и слухи, конечно, в очищенном и приличном виде, доходили до трона и тревожили императрицу, но, к сожалению, не в такой степени, в какой они были опасны и угрожающи сами по себе. Чтобы унять эти толки, императрица издала манифест, в котором говорится, что в России являются «извращенных нравов и мыслей люди, которые, будучи заражены странными рассуждениями о делах, до них совершенно не касающихся, заражают и других слабоумных, что они своими истолкованиями дерзостно касаются всего священного». Она увещевает этих «зараженных беспокойными мыслями» оставить всякие вредные рассуждения, а в противном случае грозит, что этих «невеждей» не минует наказание⁴. Но ничто не помогло. Являлись люди, которые открыто шли

¹ Полн. Собр. Зак. XIV, 12089.

² Там же, XVII, 12313.

³ Там же, XVIII, 12890.

⁴ Там же, XVII, 383.

против существовавшего порядка. Через четыре месяца после восшествия на престол императрицы в самом Петербурге открыт был заговор Хрущевых и Гурьевых, из которых один, Хрущев, обвинен в «изблевании оскорбления величества» и в возмущении народа; прочие были участниками заговора. Через несколько лет после этого явился Яготинец, бывший житель Ахтырки, который также возбуждал народ против правительства, но был пойман и сослан в Нерчинск¹. В бывшую тогда турецкую войну из-за границы явились к нам монахи за подаянием на восточные церкви; они ходили по всем домам и как иностранцы, не стесняясь, говорили о таких предметах, которые вводили в соблазн русских, или, как выразился сенат, «болтали все, что им в голову не придет». Их не велено было пускать в Россию².

Настали памятные семидесятые годы. Опубликование фальшивых манифестов, бунты, вспышки в самых темных углах России, повсеместные разбои, начиная от отважных подвигов «понизовой вольницы» и кончая грабежами пограничных шаек, движение в народе и тяжелое предчувствие чего-то недоброго в передовых людях государства, выразившееся горькою ирониею в литературе, — опасные симптомы в болезненном организме государства и дурные вестники. В периодических изданиях того времени видим постоянные жалобы на взяточничество, на притеснение судей; едкие сарказмы казнят все, что только пользовалось властью и значением, злоупотребляя и то, и другое.

III

В древней России перед всяким общим несчастьем являлись на небе знамения, ходили «по аеру» хвостатые звезды; на церквах в полночь звонили колокола сами собой; слышны были стоны и плач неведомый; помрачалось солнце; из сухого дерева икон текли слезы и проч., — и народ ждал беды, и беда приходила. В более новые времена такие знамения грядущей кары заменялись народными жалобами, которые сделались особенно заметны и сильны в семидесятих годах прошлого столетия.

Уже современники и очевидцы этого страшного акта нашей истории, но только не наши соотечественники, а иностранцы, дышавшие не тем воздухом, который вдыхало

¹ Полн. Собр. Зак. XVIII, 13039.

² Там же, XVIII, 13372.

привыкшее к тому русское общество, замечали, что какая-то кровавая драма была неизбежна вследствие всего склада общества, да и народ не мог долее выносить своего тяжкого положения. Один иностранный писатель, проживший в России восемь лет и бывший очевидцем пугачевского мятежа, бросает прямо в глаза помещикам жесткий упрек в бесчеловечных отношениях к крестьянам. Как свежего человека его поражали такие явления, которые тогдашнему русскому обществу казались нормальными и естественными, потому что пригляделись. Ему бросалось в глаза, например, то обстоятельство, что дворяне нередко в обмен за одну собаку давали двух мужиков¹. «Это обидно для человечества, — говорит он, — и потому если те, которые промениваются на собаку, и должны спрятать свое человеческое чувство, все же они остаются людьми и должны считать себя глубоко оскорбленными, если придадут хотя какую-либо маленькую цену своему существованию. Дворянин, который при всяком случае дает знать своему подвластному, что он не ставит его выше животного, должен быть им ненавидим, и, лишь только этот презираемый почувствует себя довольно сильным, он должен жестоко отплатить своему притеснителю за то, что тот его ни во что не ставил». Это многократно подтверждалось во время пугачевского мятежа. «Но жаль тех, — прибавляет он, — которые невинно пострадали»².

Вообще отзывы этого современника о событиях, волновавших тогдашнюю Россию, носят на себе следы большей добросовестности и знания дела, чем являвшиеся в Европе, вслед за усмирением пугачевского мятежа, разные описания, рассчитывавшие на эффект и удовлетворявшие праздному любопытству читателей Западной Европы. И эти описания были тем невероятнее, что в самой России о Пугачеве почти ничего не было печатано, а каждый русский тогдашнего времени знал о главных фактах пронесшейся над Россией грозы по рассказам других. Уже в самый год казни Пугачева в Лондоне явилась в печати на французском языке брошюра, в которой не было сказано ничего нового, кроме того, что публиковалось тогда у нас официально в указах и манифестах, хотя, тем не менее, брошюре старались придать занимательность, указав, что рассказ о Пугачеве переведен с русского оригинала, и

¹ «...dass Edelleute zwei Bauern um einen Hund weggegeben haben».

² «Bemerkungen über Esthland, Lietfand, Russland, nebst einigen Beiträgen zur Empörungsgeschichte Pugatchews, während eines achtjährigen Aufenthalts gesammelt von einem Augenzeugen. Prag. u. Leipzig. 1792.

приложив к брошюре портрет самозванца. Портрет изображает его не то итальянцем, не то испанцем, с маленькими черненькими усиками, в мерлушчатой шапке, какие носили крымские татары, и в меховой шубе, тоже вроде татарской. Внизу портрета надпись: *Jemelian Pugatschew*. Самой брошюре предпосылается эпиграф: «Le crime a ses héros, ainsi que la vertu»¹.

Эта же брошюра для удовлетворения любопытства немецких читателей была переведена вскоре и на немецкий язык, и к ней также приложен портрет самозванца, видимо снятый с первого лондонского издания брошюры².

Но еще раньше этого перевода в Германии появилось особое сочинение о Пугачеве, автор которого говорит, что хотя для чести человечества и следовало предать полному забвению все бесчеловечия, производимые Пугачевым в России, но как событие это занимало весь мир и газеты большею частью распространяли о нем неосновательные известия, «то мы и решились, — говорит автор, — о всех бесчеловечных деяниях самозванца и об его казни сообщить обстоятельные известия, извлеченные из русских оригиналов». К этому последнему описанию, как и к первым двум брошюрам, приложен поясной портрет Пугачева: дикая, с огромными глазами, физиономия; усы, длиною по четверти, спускаются на грудь; на голове нечто вроде казацкой шапки, с верхом, который спускается почти до пояса; на плечах род польского кунтуша вместо шубы, как его у нас изображают; за поясом сабля. Под портретом подпись: «Wahre Abbildung des Rebellen Jemelian Pugatschew».

Содержание этого сочинения не богаче предыдущих и все почти основано на опубликованных в то время объявлениях и манифестах³.

Таинственная личность самозванца долго не могла потерять обаятельной силы для европейских читателей, и даже в

¹ «Le faux Pierre III ou la vie et les aventures du rebelle Jemelian Pugatchew. D'après l'original russe de M-r F.S.G.W.D.B. Avec le portrait de l'imposteur et des notes historiques et politiques. A Londres, chez C.H. Seyffert. 1775, in 8°.

² Leben und Abentheuer des berühmtesten Rebellen Jemelian Pugatschew, welcher sich in dem südlichen Russland für Peter III ausgab. Nach dem russischen Original des Hrn. F.S.G.W.D.B. in das französische und aus diesem in das deutsche übersetzt. London, 1776, in 8°. В конце приложен манифест императрицы Екатерины II и резолюция о казни Пугачева и его сообщников.

³ Zuverlässige Nachricht von der Verrätherey und den Verwüstungen des Jemelka Pugatschew, nebst einer Beschreibung seiner, Hinrichtung. Mit Kupfern, Schwabach, 1775, in 8°»

начале нынешнего столетия о нем ходили в Европе разные сочинения, как, например, изданная в 1807 году во Франкфурте и Лейпциге книжка¹, и в особенности баснословная и романтическая повесть, сочиненная Аделаидою Орде², которая, между прочим, говорит, что «Пугачев, поставленный в другие условия или, по крайней мере, родившийся под другим небом, был бы защитником отечества»³. Кроме того, по словам этой писательницы, Пугачев был, как оказывается, сыном любви и притом довольно странной⁴.

Относительно мотивов, побудивших Пугачева принять на себя имя умершего императора, существовали весьма разнообразные мнения⁵, точно так же как и о том, что он был орудием каких-то тайно действовавших интриг. В последнее время в этом отношении сказано было новое слово; если не в появлении, то в усилении Пугачева в первое время его походов подозревают сильное влияние раскольников. Пугачев сам указал на это обстоятельство, когда с него снимали

¹ *Leben, Thaten und Ende des berühmtesten rebellen Jemelian Pugatschews. Frankfurt u. Leipzig, 1807, in 8°.* Сочинение это также опирается на авторитет самовидцев (*Zuverlässige Nachrichten von dem Aufrihrer Jemelian Pugatschew, und der von demselben angestifteten Empörung, aus glaubwürdigen Quellen u. der Aussagen unverdächtiger Augenzeugen, vorgetragen*).

² «*Histoire de Pugatschew. Par Adélaïde Hordé, élève du conservatoire A Paris 1809*». Два тома in 8°. К книге приложен эпиграф:

Heureux, cent fois heureux, si ce coeur magnanime
Eût fait pour la vertu ce qu'il fit pour le crime.

Вероятно, на это сочинение Аделаиды Орде намекает автор приведенных нами выше «*Bemerkungen*» etc., говоря, что во Франции вышла книга о Пугачеве и что этой книге многие верят; но, прибавляет он, это жизнеописание, по крайней мере в большей своей части, есть не что иное, как измышление праздной головы, которая этим способом старалась, без сомнения, зашибить малую толику денег (*die Erfindung eines müssige Kopfes, der sich ohne Zweifel dadurch ein Stück Geld zu verschaffen suchte*). «*Bemerkungen*», 210.

³ А. Hordé, I, 2.

⁴ Она говорит, что самое распространенное мнение, будто Пугачев родился от знаменитых родителей (*fils d'un chef de ces cosaques*). Его отец был взят в плен при Пруте с Петром I. После отца Емельян остался маленьким, под присмотром матери. «*La veuve oublie bientôt qu'elle était mere, et livrée à tous les plaisirs d'un amour illicite avec un pope (amour qu'elle avait entretenu du vivant même de son mari et dont elle brûlait encore malgré les glaces de l'age)*»... Она покинула своего сына и т.д.

⁵ Историком походов Суворова Ф. Антинг, между прочим, говорит, что, находясь однажды, еще в молодости, в Черкасске, Пугачев помог как-то одной девочке напоить коней к реке, девочка поблагодарила его, сказав, что он будет царем (*empereur*). *Depuis ce temps-là cette idée roulait toujours dans sa tête.* («*Les campagnes*» etc., F. Anting).

допросы в Оренбурге и Яицком Городке. Допросы эти, как видно, не были известны Пушкину, при составлении им «Истории пугачевского бунта», и напечатаны только недавно¹. Г. Щебальский воспользовался ими, и затем у него под руками, как он говорит, не было почти ничего нового, не напечатанного. В одной принадлежащей нам рукописи, сообщенной саратовским старожилом Никитиным-вторым², положительно говорится, что Пугачев нашел сильную поддержку у раскольников, обитавших в воронежских лесах, где его принял какой-то Никита-раскольник и предложил услуги своих единомышленников.

Мы не станем следить за Пугачевым и за ходом всего мятежа со дня появления самозванца и, таким образом, повторять то, что уже было известно из монографии Пушкина и вообще из всего, что было печатаемо в России об этой эпохе до сих пор. Мы намерены дополнить прежние исследования о Пугачеве новыми данными, не бывшими в виду у прежних историков пугачевщины, и по возможности точнее определить характер и значение этого явления в исторической жизни русского государства.

До какой степени затеянное Пугачевым дело было произведением всей суммы государственных и общественных условий, в которых находилась Россия, видно из того, как мгновенно потрясены были все низшие слои населения государства при первой вести о смутах за Волгой, тогда как высшие сословия, по-видимому, ничего не подозревали, беззаботно продолжая свою обычную веселую жизнь. В то время, когда все Поволжье лихорадочно волновалось, когда уже несколько крепостей было в руках Пугачева и белое с раскольничьим крестом знамя развевалось на форпостных каланчах, Петербург и Москва ничего не знали. Любопытно следить день за днем по тогдашним русским газетам и по летописям пугачевщины, как за успехами Пугачева в первое время его появления, так и за тем, что в неведении творилось в эти самые числа в наших столицах. Последние числа сентября 1773 года, когда Пугачев брал один за другим военные посты, расположенные по яицкой линии, когда перед ним сдавались почти без сопротивления крепости: Илецкая, Россыпная, Нижне-Озерная, Татищева, Чернореченская, Самарский Городок и крепость Пречистенская, — эти именно числа оз-

¹ «Чтения Императ. Общества истории и древностей», 1858, 1859 гг.

² Рукопись эта называется «Воспоминания прошедшего». Отрывок из нее напечатан нами в «Саратов. Губерн. Вед». 1800 г. №№ 22, 23.

наменовались в Петербурге рядом торжеств, блестящими балами, роскошными ужинами при дворе и в высшем обществе. Когда по Заволжью крепостные пушки или отказывались стрелять, или стреляли весьма неудачно по мятежникам, в Петербурге по случаю бракосочетания великого князя Павла Петровича с Натальею Алексеевною пушечная пальба не прекращалась, гремела музыка, читались торжественные речи. Или, наконец, перечитывая тогдашние «Московские Ведомости», именно от 19 октября мы находим поразительный контраст между тем, что писалось в этих «Ведомостях», и что читаем под тем же числом в записках Рычкова. Высшие сословия Москвы празднуют августейшую свадьбу, в стенах Московского университета поется сочиненная на этот торжественный случай кантата:

Пойте, музы восхищенны
Браком Павла до небес!
О! Коль в свете вы блаженны
Род Петров воскреснет здесь, и т.д.¹

А между тем Оренбург, обложенный со всех сторон мятежниками, чувствует уже недостаток в припасах, высылает сильный отряд на фуражировку, и из этого отряда в стычке с толпами Пугачева погибают разом 300 человек. Мало того, когда высшие сословия в Москве ликуют, город иллюминирован, в богатых домах гремит бальная музыка, в этой же Москве по разным захолустьям, по кабакам начинаются уже сходбища, перешептывания, чтения пугачевских манифестов. Один иностранец, бывший в то время в этом городе, говорит, что молва о существовании самозванца быстро разнеслась по Москве; не было никакого сомнения, что первый манифест Пугачев распространил в древней столице посредством своих сообщников («durch besondere Emissare»). Опубликование его началось в кабаках, где тотчас произошли сходбища и тайные совещания о появившемся царе². Затем, когда в городе начали уже говорить гласно о ящичких событиях, не было никакой возможности не только остановить распространение зловеждных слухов, но и помешать тайным сходбищам народа, между коим молва о царе и его первых подвигах расходилась посредством передачи ящичких известий из уст в уста.

¹ «Московские Ведомости», 1773 г., № 85.

² «Die erste Publication dieses Manifestes geschah in den öffentlichen Kronschenken oder Kabaken» («Bemercung», 175). В другом месте говорится, что разглашения делались даже на базарах.

Один Петербург долго ничего не знал о северо-восточных событиях, которые с каждым днем принимали все более и более грозный характер. Как в Оренбурге первая весть о появлении Пугачева застала всех врасплох во время губернаторского бала, так и в Петербурге первое известие о нем почти через месяц получено было во время празднования бракосочетания Павла Петровича с первою супругою.

Вблизи театра действий состояние умов было в высшей степени тревожное. В Казани в это время находилось и много поляков и французских офицеров, которые прежде служили в войске конфедератов и, взятые во время первого раздела Польши в плен русскими войсками, разосланы были на житье в отдаленные губернии. В Казани, таким образом, находились некоторые из польских конфедератов, как-то: граф Потоцкий, один из Пулавских и др. Один французский офицер, находившийся на службе конфедератов и вместе с прочими взятый русскими в плен и отосланный в Сибирь, возвращаясь оттуда через Казань в самом начале успехов Пугачева, внес в свой дневник весьма любопытные и до сих пор неизвестные в русской печати подробности о тогдашних событиях в Казани, о первом поражении русских правительственных войск под предводительством генерала Кара, о способе ведения войны Пугачевым, о его стратегических дарованиях как полководца, о состоянии его войска и проч. Дневник этот вышел на французском языке вскоре после казни Пугачева, и мы пользовались им в немецком переводе, изданном в Амстердаме в 1776 году¹.

Всех пленных конфедератов (как поляков, так и французов) считалось тогда в Казани более полутора человека. Присутствие их еще более увеличивало опасения жителей, тем более, что говорили, будто конфедераты намерены войти в тайные сношения с казанскими татарами и вместе с ними произвести восстание². В это время находился там один русский князь³, сопровождавший свой полк из Тобольска и Томска в Грузию, который, поссорившись с графом Потоцким и с казанским губернатором, донес ко двору об опасности, угрожав-

¹ «Tagebuch eines Französischen Officiers in Diensten der Pohnischen Konfederation, welcher von Russen gefangen und nach Sibiri n verwi s n worden. Amsterdam», 1776.

² «Tagebuch», 55.

³ «D ssen Namen ich, um seine Ebre zu schon n, nicht nennen will», — говорит иностранец, потому что князь этот вел себя в Казани не совсем

шей Казани от польских и французских пленных офицеров, и они после того были отправлены в Сибирь.

Но хотя неизвестный князь и обвинял казанского губернатора, которым был тогда фон-Брант, в измене и сочувствии к пленным, однако этот дряхлый старик при всей своей ненаходчивости должен был принять какие-либо меры против угрожавшей опасности до той поры, когда Петербург мог подать ему руку помощи. Средства его были жалкие, а волнение в умах народа усиливалось и смута разливалась по Поволжью, как степной пожар.

Уже через несколько дней после появления самозванца, официальные ордера и промемории разнесли весть о Пугачеве по всем северо-восточным городам, особенно в тех губерниях, которым наиболее могла угрожать опасность. Промемории и ордера были, конечно, строго «секретные». Но раньше официальных бумаг молва разнесла эту весть по селам и деревням, по всем уголкам целой половины восточной России, и народ перешептывался, смутно веря неслыханному событию. «Царь проявился... жив государь Петр Федорович», — толковали крестьяне, возвращаясь по домам с ярмарок и базаров, и привозили эту весть в свои села, в свои семейства. А между тем подьячие, возвращаясь из своих канцелярий, где они переписывали ордера и промемории о самозванце, также перешептывались между собою, придавая особый колорит известиям о Пугачеве.

Прежде всего, вследствие распоряжений перепуганного фон-Бранта, в октябре месяце по всем воеводским и провинциальным канцеляриям низовых городов толковалось «о взятии осторожности от собравшейся из яицких казаков злодейской возмутительной толпы». Предосторожности принимались пока только на бумаге, а между тем около Оренбурга разыгрывались уже кровавые драмы, и смута морем разливалась во все стороны. Понизовые подьячие, воеводы и

благовидно. Дело в том, что на одном большом официальном бале, который давал казанский губернатор, князь этот подпил и вступил в спор с графом Потоцким. Дело не ограничилось одними словами, и князь пошел на Потоцкого с кулаками. Вступился губернатор. Князь схватился за шпагу, показывая вид, что хочет употребить его против губернатора. Этот последний («*der eben so wacker als grossmüthig ist*», прибавляет иностранец) напомнил ему о неприличии его поведения, и, когда озлобленный князь приказал своим людям дать графу Потоцкому 300 палок («*Stockprügel oder Batoggen*») по возвращении его домой, губернатор, узнав об этом распоряжении, приставил к квартире Потоцкого вооруженный караул из 15 человек и отдал приказ стрелять во всякого, кто бы он ни был, если только он осмелится употребить насилие в отношении графа Потоцкого («*Tagebuch*», 53—54).

коменданты узнали через несколько дней, «что опасность от сих злодеев не умалется, а прибавляется даже до того, что около Оренбурга взяли уже четыре крепости (взято было семь) и, в самой близости к Оренбургу находясь, идут на оной с немалою артиллериею и многими силами»; узнали, наконец, подьячие и воеводы, что посланные оренбургским губернатором навстречу бунтовщикам отряды «сделались не исполнителями его предписания», т.е. частью передались на сторону бунтовщиков, частью были перебиты.

В это же время власти понизовых городов узнали секретным образом следующее. Материя всего возмущения состоит в том, что беглый донской казак Емельян Пугачев назвал себя ложно бывшим Третьим Петром, императором, и тем сделался начальником показанной злодейской толпе, и намереваются идти по помещичьим жителям, преклоняя крестьян в свою волю обнадеживанием дать волю¹.

Для понизовых властей и подьячих такой случай был не новость: ровно за год до этого они видели, как наказывали кнутом подобного лже-императора Богомолова и его государственного секретаря². Но падение нескольких крепостей заставило их задуматься. Надо было принять меры уже не на бумаге только, потому что с театра возмущения доходили вести одна другой нерадостнее и дело, по-видимому, принимало серьезный оборот. Так как все среднее и нижнее Поволжье, начиная от Казани до Каспийского моря, входило в состав двух губерний, Казанской и Астраханской, и так как в руководителях яицких смут и в лице самозванца как донского уроженца и казака предполагалась возможность тесной солидарности с донскими казаками, то охранение Поволжья и должно было составить главную заботу властей всего этого края, в ожидании того, чем разыграется яицкое дело. Чтобы пресечь мятежникам сообщение с правой стороной Поволжья и, в случае если они будут разбиты под Оренбургом, перерезать отступление к

¹ Архивные дела города Царицына. Дела эти в 1858 году извлечены из царицынского архива Н.И.Костомаровым в бытность его там и переданы нам вместе с архивными делами города Петровска. Дела эти богаты замечательными подробностями относительно рассматриваемой нами эпохи. Затем мы пользовались также подлинными делами о пугачевщине, извлеченными нами из старых архивов в Саратове. Сверх рукописей об этом предмете, имеющих в императорской публичной библиотеке, мы имеем рукописные материалы, полученные нами от частных лиц: от В.И.Ламанского, И.С. Аксакова (доставленные ему П.И.Пашино), гг. Шишкиных и др.

² См. статью «Самозванец Богомолов», стр. 40.

Дону, куда всего скорее, как думали тогда, мог пробраться Пугачев с своими шайками, Брант приказал генералу Миллеру собрать по крайней мере до 500 человек отставных нижних чинов, поселенных в Казанской губернии, и вооружить их чем только можно для охранения границ Оренбургской губернии по направлению к Волге. Так жалки были средства, которыми на первый раз думали защитить Поволжье. Из этих пятисот отставных, а следовательно, большею частью не способных ни к чему воинов, надлежало сформировать два отряда, поставив один около Кечунского фельдшанца, а другой между этим фельдшанцем и городом Ставрополем, на Черемшане. Отряды снабжены были инструкциями относительно действий против шаек возмутителей и «окончательного их истребления» (это считали делом таким легким). В то же время во всех селениях, лежащих к границе Оренбургской губернии, велено было опубликовать обывателям о том, как им действовать в случае появления мятежников¹.

¹ «Чтоб они (обыватели) от вышеописанных собравшихся злодеев яицких казаков имели надлежащую осторожность и, в случае их разбойнических набегов, ни до какого себя разорения не допускали; не меньше же сего, если, паче чаяния, будут они делать какие воровские и изменнические размышления с обнадеживанием о даче каких-либо льгот, то отнюдь тому не верить и никаких их рассказов не слушать и, ничем не прельщаясь, не приходить ни в каковые развратные помышления, а тем паче в малейшее от настоящего порядка замешательство, под опасением с виновными строжайшего по указам поступка и тяжкого осуждения.

Чтоб они, для лучшего себя охранения от всякой могущей быть в сем случае опасности, впереди своих селений ко Оренбургской и Яицкой сторонам, имели чрез нарочных разведывание, не разъезжают ли где помянутые, собравшиеся из яицких казаков злодеи, и ежели где окажутся, то тотчас давать знать поставленным по определению его высокопревосходительства генерал-майора Миллера из поселенных отставных около Кечунского фельдшанца и между оного и Ставрополя на середине командам, и обще с ними старались бы всеми образы и не щадя живота своего переловить и со всем истребить те злодейские собрания.

Если сии злодеи отправленными от господина оренбургского губернатора командам будут разбиты, то как обыкновенно есть отчаянным злодеям сыскивать от поиска себя закрытие разными образы, и потому они в малом числе людей непременно должны будут потаенным образом и глухими дорогами пробираться, и сего ради им, обывателям, в каждом жительстве накрепко смотреть и недреманным оком наблюдать, чтобы оные злодеи ни под каким видом и нигде ни малейшего пристанища и места не имели, в рассуждении чего никого, а особливо казаков, кроме прохожих и проезжих из жительства в жительства обывателей также и с указанными от присутственных мест и от воинских команд письменными пропусками, не пропускали бы, а всех таковых неизвестных людей и без письменных указных видов брав и под караулом представляли в вышеописанные команды». (О Пугачеве, главное архивное дело в Царицыне).

Разумеется, эти распоряжения, казавшиеся тогда важными, на деле оказались пустой канцелярской болтовней, потому что все обыватели, которым велено было «недреманным оком» наблюдать за появлением возмутителей, спали и видели, когда они к ним придут, чтобы только соединиться с ними и общими силами добывать себе волю. Если бы местные власти имели в своем распоряжении и не такие жалкие средства, с какими приходилось защищаться против сообщников Пугачева, и если бы тщедушные гарнизонные солдаты, эта «негодница», по выражению Бибикова, с жалкими начальниками, которых тот же Бибиков в письме к Чернышеву называет «скаредами и срамцами», и могли действовать энергически, даже отчаянно, то все усилия их разбились бы о народную нелюбовь ко всему, что теснило и сосало до сих пор народ, в виде представителей законного порядка того времени.

V

Первая же серьезная стычка с неприятелем доказала, чего можно было ожидать не только от народа, но и от войск. Эта первая встреча войск императрицы с толпами Пугачева в открытом поле кончилась поражением Кара, главнокомандующего войсками, посланными против мятежников, и Чернышева, находившегося под его командою. С Каром и Чернышевым была уже не одна «негодница», не одни «срамцы и скареды», но правильно организованное войско.

Подробности о поражении Кара до сих пор у нас никому не были известны. Его странное бегство в Москву все еще остается каким-то непонятным, недосказанным фактом. Нет об этом прямых известий ни у Рычкова, из летописи которого черпал Пушкин, ни у Обухова, ни в других рукописях¹,

¹ Т.е. публичной библиотеки: а) «О начале ящких беспокойств» и ежедневная записка во время оренбургской осады 1773 года, 87 л., скороп. XVIII века (по катал. церковно-славян. и русск. рукоп., отд. II, XVIII, «история», № 35; из собрания Фролова); б) «О злодействах и бунте разбойника и самозванца Пугачева», соч. стат. сов. Петр. Рычковым. Списана 1875 г., в СПб., 145 лист., скороп. (там же № 36); в) Рычкова краткий экстракт о башкирском народе и др. статьи, пис. для гр. П.И.Панина в 1774 г., 319 стр. и прибавление (скороп.); г) «О Емельяне Пугачеве», отрывок, 19 лист., скороп. XIX в. (катал. II, XVIII, т. е. 31. См. катал. отд. V, № 109); д) Записки Обухова, от 28 октября 1773 года и до марта 28 марта 1774 г. (Опис. рукоп. гр. Толстого, отд. IV, № 43, 51 л.).

ни у самого Пушкина, ни у П. К. Щебальского, наконец¹. Известно было только, что Кар смело двинулся к Оренбургу, отделив часть своего войска под начальством Чернышева, вероятно желая охватить неприятеля с двух сторон, круто повернул назад, покинул и войско, и вверенный ему край и ускакал в Москву. Мы имеем теперь возможность пополнить этот пробел в истории мятежа, и нам будет понятно отступление Кара, которое всем почему-то казалось загадочным. По словам иностранных офицеров, бывших очевидцами первой встречи русского полководца с Пугачевым, дело происходило таким образом. Кар сделал ту ошибку («unrecht gethan...»), что напал на неприятеля, не разузнав предварительно ни о расположении мятежнического войска, ни о численных силах врага. В ту минуту, когда обе армии стояли уже в виду одна другой, Кар видел только небольшую толпу казаков в боевом порядке, которые, однако, казалось, стояли очень смело и, по-видимому, ожидали немедленного нападения. Кар и сделал это нападение, приказав прямо ударить на них. Но когда он приблизился на ружейный выстрел, казаки, сделав полуоборот, раздались вправо и влево и тем открыли ряды стоявшего за ними войска. Кар очутился лицом к лицу с неприятельскою артиллериею: мятежники грянули из тридцати пушек, которые действовали губительно, потому что и расположены были весьма удачно, и, по-видимому, управлялись хорошими артиллеристами. Но хотя Кар и видел, что его войско пришло в совершенное смятение — частью побросало оружие, частью передалось непри-

Впрочем, один слышанный нами устный рассказ о первой неудаче правительственных войск заставляет предполагать, что рассказ этот относится к поражению Кара. Когда в первый раз сошлись царские войска с пугачевскими, Пугачев выехал вперед и сказал царскому войску:

— Как вы смеете идти против своего царя?

— Ты не царь, а самозванец, — сказал генерал.

— Я тебе покажу, что я царь, — сказал Пугачев, — чьи у тебя пушки?

— Царские.

— Это мои пушки, — говорит Пугач, — они против своего царя стрелять не станут.

— Попробуем, — говорит генерал.

— Пробуйте, — говорит Пугач.

Пушки не выстрелили — сгорел только порох на затравках. Царские ружья также не выстрелили. Тогда все солдаты присягнули Пугачу. Пугач сказал генералу:

— Пойди и скажи царице, чтоб прислала поумней тебя.

Тогда и прислали умного генерала, который и разбил Пугача.

¹ «История Пугач. бунта» Пушкина. — Нач. и хар. Пугач. П. Щебальского, 60—61.

ителю, однако не потерял присутствия духа, а, напротив, из остатка своей армии тотчас сделал батальон-каре и ретировался «приличным образом», т.е. в порядке¹, несмотря на сильное беспокойство, причиненное ему сначала пушками. Неприятель не переставал, однако, преследовать его, нападая со всех сторон. Семнадцать верст Кар следовал таким образом по глубокому снегу, который доходил до колен, не испытав, однако, более сильного натиска неприятеля и достигнув наконец до одной деревни, он поспешил устроить небольшие ретраншементы, которые в случае нужды могли защитить его. Здесь он восстановил в остатках своего войска должный порядок и больной уехал в Петербург, где и был отставлен от службы².

К этим подробностям первой стычки Кара с мятежниками прибавляют еще рассказ о маневре, к которому прибегли сообщники Пугачева и который поколебал мужество правительственного войска. В начале битвы один пугачевский казак приблизился к рядам императорского войска и, прокричав двоекратно: «Ура!» — громким голосом сказал к солдатам: «Именем вашего истинного и справедливого государя, который теперь находится здесь, объявляю вам, что если вы не послушаетесь его приказаний и его воли, то он будет считать вас бунтовщиками; если же, напротив, вы возвратитесь под его знамена, то он пожалует вас с свойственною его великому милосердию добротой». В то же время другой казак, воспользовавшись замешательством Кара, прочитал перед императорским войском манифест самозванца, как бы общего их повелителя, и оба затем усаkali в толпу мятежников.

Весть о поражении Кара с быстротою молнии облетела всю восточную половину России. Из Казани бежало все, что могло спастись. Бежала и жена губернатора³. Страшная весть пришла в Москву, где уже громко заговорили, что Кар положительно разбит и бежал, что войско отказалось сражаться против таинственной личности⁴. Говорили, что с войском мя-

¹ «...auf eine anständige Art», как говорят самоочевидцы («Tagebuch», 197).

² Вообще говорится, что Кар впал в немилость, отдан под военный суд и проч., как значится и в известных у нас сочинениях об этом предмете («Tagebuch», 197).

³ «Sie kam aber mit ihrer Familie zurück (замечает автор «Tagebuch») und beruhigte durch ihre Wiederkunft die ganze Stadt, deren Einwohner sich bald darauf ebe unfalls wieder einstellten» (199).

⁴ «...sich geweihert hätte, gegen den vermeinten Peter III zu fechten». «Bemerkungen», 176.

тежников, кроме загадочной личности самого предводителя, разъезжают еще какие-то две переодетые особы. Иные добавляли, что это были два брата принца Ивана (Антоновича²), умершего в заточении. Об этом заключили из того, что никто не знал, что с ними сделалось потом и где они находились. Многие думали, что они успели бежать в Персию и получили как от персиян, так и от турок значительную помощь войском и деньгами¹. Хотя это были пустые слухи, но их опровергнуть нельзя было, потому что в пользу слухов говорило полное поражение и гибель Чернышева, которого самозванец повесил вместе с 36 офицерами²; в пользу этого говорило поражение и бегство других отрядов, которые выступали против мятежников.

Всем известны затем обстоятельства назначения главнокомандующим Бибикова, проезд его в Казань, возбужденный им энтузиазм казанского дворянства. Однако едва ли кто знает о тех дерзких попытках Пугачева, которые могли отнять самоуверенность даже у этого умного и неустрашимого полководца. Едва самозванец узнал о его приезде, как приказал впереди своего стана поставить виселицу и написать на ней золотыми буквами: *Бибикову*. Затем, отпуская в Казань одного пленного, он сказал ему: «Читай это и запомни хорошенько... Ступай к Бибинову и скажи ему, что я сдержу свое слово». Посланный в точности исполнил поручение. Несколько дней спустя Бибинов проезжал по одной из улиц в Казани. Какой-то вооруженный татарин верхом на коне остановил экипаж генерала под тем предлогом, чтобы сообщить ему нечто важное, и обратился к Бибинову с такими словами, которые сильно смутили его. Повторив сказанное Пугачевым и прибавив еще более сильную угрозу, татарин пришпорил лошадь и ускакал. «Я заметил, — говорит самовидец, бывший при этом случае, — что эта угроза произвела на генерала сильное впечатление. Он стал уныл и задумчив. Я сожалею о том, — добавляет очевидец, — потому что он честный человек»³.

¹ «Tagebuch», 198—199 («allein, — добавляет конфедерат, — diess alles waren Gerichte die man nicht beweisen konnte»). Впрочем, молва эта была всеобщая и волновала не один простой народ.

² В «Tagebuch» показано 37. Тут же говорится, что Пугачев взял 9 русских пушек, снова потом разбил другой отряд, где повесил 9 русских офицеров, и затем разбил отряд гвардии в 500 человек, ехавших из Петербурга на почтовых.

³ «Tagebuch» 200—201. Угроза, произнесенная татаринном, так переведена по-немецки: «Mache, dass du mit dienen Tyranneyen fertig wirst, denn wir müssen dich haben, und sei versichert, dass wir Leute sind, die Wort halten». Без сомнения, фраза переиначена сочинителем.

Впрочем, и нельзя было не прийти в смущение при том состоянии, в каком находился весь край. Бибиков видел, что Казань, из которой почти все бежало, была наполнена только одними арестантами. Это был сборный пункт всех пересыльных каторжников, которых тогда, вследствие указанной нами выше системы управления крестьянами и вследствие общих смут еще до появления самозванца, гнали в Сибирь тысячами: одних каторжников, назначенных для отсылки в Оренбург, находилось в Казани 200 человек. Но в Оренбург уже их нельзя было гнать, да и в Казани оставлять такой народ было опасно. Затем из Москвы привели 700 арестантов. Наконец, из всех прочих концов России стянулось в Казань к этому времени еще 4000 ссыльных. Присутствие в этом городе ссыльных поляков-конфедератов и пленных французов увеличивало опасность. Ввиду таких обстоятельств сенат распорядился, чтобы арестантов больше не посылать в Казань, а отправлять в Азов, Таганрог, Александровскую крепость, даже в Ригу и вообще в самые отдаленные от театра возмущения места. Тех же арестантов, которые осуждены были в ссылку в Оренбург и находились в то время в Казани, сенат велел фон-Бранту возвратить в Азов и Таганрог и притом — через *Воронежскую губернию*, потому что (пояснил сенат) это «удобнее будет!». По Поволжью же отправлять было опасно. Но так как и эти арестанты могли взбунтоваться, то сенат приказал гнать их малыми партиями, человек по 20, и каждую партию вести на канатах¹.

VI

Действительно, весь Поволжский край был в ненадежном состоянии. Подлинные архивные дела того края, никому доселе неизвестные, которыми мы пользовались, рисуют мрачными красками весь восток России. По аналогии можно заключить, что и другие части империи были не в лучшем положении.

Военные и гражданские власти всей восточной половины России находились в каком-то лихорадочном состоянии. Ордера и промемории с театра действий повелевали им ждать с часу на час появления мятежников, которые, как полагали тогда, бросятся или в Персию, или на Дон. Правый и левый берега Волги, все почтовые и проселочные дороги в разных местах обставлены были наблюдательными «маяками» с на-

¹ Полн. собр. Закон. XIX, 14077.

верченной на верхушках соломой, которую следовало зажигать для подания сигналов. Эти соломенные маяки заменяли тогда телеграфы. Казенные деньги из казначейств велено было тотчас же вывезти в безопасные места. В помещичьих имениях приказано было собрать помещиков и управляющих, а в государственных селениях — сотников, старост и лучших обывателей, которым и оповестить, чтобы они учредили дневные и ночные караулы при въездах в села и выездах, оставляли всякого проезжающего, особенно в казацком платье, а где появятся толпы — били бы их и представляли к подлежащим властям. Но караулить было некому. Народ собирали силой. Губернаторы фон-Брант — казанский и симбирский, Кречетников — астраханский и саратовский, Шетнев — воронежский, атаман донского войска Сулин, обер-комендант Дмитриевской (Ростов-на-Дону) крепости Потапов, комендант Царицынской крепости Цыплетев, коменданты и воеводы городов Симбирска, Пензы, Саратова, Камышина и Новохоперской крепости напрасно тратили бумагу на ордера и промемории, потому что, кроме дряхлых гарнизонных солдат, ни у кого не было войска. Только после Цыплетев и Кречетников собрали кое-что. Даже никто не понимал собственно — в чем дело, чего надо бояться и чего ожидать: во всех ордерах говорилось только, что «материя возмущения» такая-то, а затем все эти власти в одно слово вместе с военной коллегиею повторяли нелепости, распущенные по Поволжью, будто мятежники намерены идти в «турецкую область», на какую-то «реку Лобу» и потому главная забота всех состояла в том, чтобы не допустить этого перехода через баснословную реку Лобу¹. А между тем полчища Пугачева оцепили уже весь северо-восточный край. Во всех промемориях, как видно, возлагали большую надежду на Кара. Военная коллегия дает знать всем местным губернаторам, что как против Пугачева пошел уже Кар, то следует только ждать, как мятежники бросятся к реке Лобе, чтоб задержать их отступление. А эта Лоба едва ли даже и существовала, если только это не была река Лаба, впадающая в Кубань (да и то едва ли, потому что власти называли ее «некою» рекою).

¹ О Пугачеве (главное царицынское архивное дело), л. 1—5, 6—9, 11 и 507. Это объемистое дело, в несколько тысяч листов, включает в себе все главнейшие распоряжения, какие делались на востоке России местными властями за все время пугачевщины. В нем есть и подлинные допросы некоторых захваченных бунтовщиков, донесения участвовавших в битвах командиров, письма и автографы Михельсона, Суворова и проч.

Но чуть ли не один человек во всем Поволжье действовал разумно и энергически, не уподобляясь тем «скаредам и срамцам» и той гарнизонной «негоднице», которая так возмущала Бибикова. Это был Цыплетев, комендант Царицына. То был едва ли не единственный человек, отстоявший вверенный ему пост и не допустивший Пугачева, еще сильного, взять Царицын. Но об этом будет сказано в свое время на основании имеющихся у нас архивных материалов.

Еще до поражения Кара, когда к Цыплетеву дошли вести о самозванце и он узнал некоторые обстоятельства этого смутного дела, Цыплетев принял немедленные меры к встрече самозванца. С предшественником Пугачева, самозванцем Богомоловым, Цыплетев был знаком лично: во время схватки, когда народ хотел силой освободить лже-императора и мнимого государственного секретаря из-под караула, Цыплетев был ранен и потому, без сомнения, помнил, что с самозванцами шутить нельзя¹. Цыплетев сделал следующие распоряжения: точас дал знать по всем вверенным ему командам и к начальнику калмыцкого народа, чтобы все было готово на всякий случай, чтобы от каждой команды выбраны были надежные капитаны и офицеры; велел составить списки всех служащих и отставных нижних чинов, артиллеристов, пехотинцев и знающих инженерное дело; привести в порядок артиллерию. Хотя в Царицыне и находилось небольшое число войска, так как в то время это была одна из важных крепостей того края, однако этого войска было недостаточно, тем более что в Царицыне находилось слишком 900 пленных турок, за которыми необходим был присмотр. Цыплетев распорядился, чтобы: 1) легкой полевой командой², части гарнизона и царицынским казакам быть в полной готовности; 2) от донского войска вытребовал пятисотую команду, с тем чтобы она находилась вблизи военной царицынской линии, и просил войскового атамана нарядить особо 200 казаков да, кроме того, два полка (по 500 человек) с особыми полковыми командирами, которые находились бы в его распоряжении; 3) в волжском войске от самого Камышина почти, по луговой стороне Волги, велел учредить форпосты и, отправив в Ахтубинский завод, за Волгу же, одно орудие и артиллерийского обер-офицера, учредил там особую военную заставу для местных разведываний; 4) вниз от Царицына до самого Черного Яра также учредил форпосты и командирам

¹ См. о Богомолове.

² Этой командой начальствовал Диц, который впоследствии погиб в битве с Пугачевым.

строго предписал наблюдать за движениями подозрительных калмыков; 5) из находившейся в Царицыне артиллерии шесть орудий поставил на походные лафеты, исправил и снарядил их всем необходимым и приставил к ним достаточное число прислуги; 6) просил своего губернатора, Кречетникова, нарядить 200 калмыков Дербетевых улусов, не говоря им о целях приготовления; 7) из обывателей Царицына нарядил 300 человек от купечества, снабдив их ружьями и припасами для стрельбы. Все эти военные силы он отдал в распоряжение фон-Дица. Затем учредил военные заставы: на речке Пичуге, при Томилином буераке и на Верхней Мечетной речке, снабдив находившихся на заставах людей инструкциями. Те же меры советовал принять и Меллину, коменданту города Камышина, подобно Дицу погибшему впоследствии от мятежников¹.

Волжское казачье войско, территории которого соседил с Царицыном, находилось в жалком состоянии. Когда угрожающие вести о яицких смутах вынудили и волжских казаков готовиться к встрече неприятеля и велено было нарядить не только служилых и отставных казаков, но и казачьих детей и малолетков, старшины войска писали Цыплетеву, что во всех станицах нет ни одного заряда. Они просили его прислать на войско пороху, свинцу и фитилей для пушек. Между тем вскоре оказалось, что и пушек у них не имеется. Войсковое начальство вспомнило, что в 1772 году велено было взять у них шесть пушек для отправки в Царицын, и потому теперь они просили возвратить им, по крайней мере, два медных орудия, чтоб было чем защищаться в случае появления мятежников или киргиз-кайсаков, которые беспрестанно тревожили среднее Поволжье².

Хотя к месту главных военных действий и пришли свежие войска вслед за Бибиковым, однако все еще недостаток в людях был значительный, так как все наши силы сосредоточены были за Дунаем, в войне с турками. Чтобы спасти Казань и Оренбург и не дать возможности самозванцу разбить и Бибикова, как он разбил Кара, часть резервных войск, охранявших недавно возвращенный от Польши Белорусский край, должна была оставить этот край почти на произвол полякам и тащить тысячи верст из Белоруссии до Казани: только 12 декабря две полевые команды и два гусарских эскадрона дотащились до Саратова и тотчас же отправлены были к театру военных действий³.

¹ О Пугачеве (главн. царицын. архивн. дело), л. 16—22.

² Там же, л. 37, 38.

³ О Пугачеве (главн. царицын. арх. дело), л. 34.

Мы остановились на прибытии Бибикова в Казань. Тогда же, почти одновременно с ним, стянулись к Казани и главные военные силы правительства. Их прибыло до 14000 пехоты и кавалерии. Войска скакали на почтовых день и ночь. Около Бибикова являются уже генералы Мансуров, князь Голицын, Декалонг, Ларионов и затем полковник Михельсон — личность, сразу выдвинувшаяся из ряда прочих бойцов за государственный порядок. К этим свежим войскам примкнули остатки армии Кара. Первая победа этих войск была довольно жалкая, если верить очевидцам. Какой-то полк, который иностранцы-современники называют «региментом черных гусар», был послан по сибирской дороге, чтобы восстановить спокойствие в местах, встревоженных башкирами и татарами. На пути полк этот вступил в одно значительное селение, наполненное мятежническими толпами татар, которые, однако, не были вооружены. Гусары изрубили в куски всех, которые им попались, и об этой резне было возведено в газетах как о великой победе¹.

Пугачев не мог не знать о том, что к Казани стянулись большие силы регулярного войска, и потому предвидел, что дело примет серьезный оборот. Ему предстояло уже бороться не с гарнизонными начальниками а с опытными генералами. Он видел, что для борьбы должны быть силы равные, у него же недостает хороших полководцев, чтобы вести правильную войну. В этом ему могли быть полезны иностранцы, и потому он при случае желал их задобрить, чтоб тем привлечь в свое войско людей, знающих военное дело не по правилам азиатской тактики, а знакомых с европейскими приемами войны. Оттого он был так ласков со всеми попадавшимися к нему иностранцами². Вскоре по приезде Бибикова в Казань самозванец захватил значительную партию поляков, следовавших из Сибири, в надежде, что между ними он найдет иностранных офицеров. Но когда между ними не оказалось ни одного француза, которых ему преимущественно хотелось залучить к себе, то он и отпустил на свободу весь этот транспорт конфедератов³. Впрочем, известно, что в его лагере впоследствии находился Пулявский⁴. О присутствии в войске самозванца поляков и о влиянии их на него мы скажем после.

¹ «Tagebuch», 201—202. «Tagebuch» говорит здесь, между прочим, что Бибиков и Голицын были «die besten Frunde».

² «Bemerkungen», 229.

³ «Tagebuch», 202.

⁴ Ferrand, «Hist. des trois demembrem. de la Pologne».

Как бы то ни было, но когда правительство узнало, что Пугачев ищет случая приобрести себе помощников во французских инженерах, то велело всех находившихся в Казани пленных французов выслать немедленно в Москву¹.

Так как сила Пугачева основывалась на проповедуемой им свободе всего крепостного населения России и на истреблении дворянства, то Бибиков понял, что этой силе надо противопоставить другую, по возможности равносильную. Надо было поднять упавший дух дворянства и тех сословий, которым если не вполне хорошо, то хоть сносно жилось при существовавших порядках. Мы не станем повторять того, что уже всем известно из Пушкина об этой деятельности Бибикова. По русским сведениям неизвестно, какие силы выставило казанское дворянство вследствие призыва Бибикова. Но иностранец-очевидец говорит, что казанцы, увлеченные Бибиковым и милостивыми словами императрицы, вооружили на свой счет 6000 человек, купцы 3000 и 3000 воинов поставили казанские татары. Обратились и к полякам, число которых сильно возросло в Казани. Француз-очевидец с видимым презрением говорит, что большая часть поляков были «ослеплены» деньгами, которые им предлагали. Им дали 100 рублей, и они образовали из себя отряд уланов. Горнозаводские владельцы также обещали поставить от 6 до 7 тысяч человек. Все дворяне облеклись в военные мундиры, чтобы командовать своими отрядами, которые состояли из уланов, гусар, драгунов, егерей и стрелков. Каждый отряд отличался чем-либо от другого и каждый имел свою форму. В целой Казани ничего не было видно, кроме этих новых солдат. В отношении к полякам, говорит самовидец, допущено было небольшое лукавство²: несколько времени спустя получен был указ сената, повелевавший, чтобы все без различия поляки, благородного и простого звания, были обращены в солдаты³.

Но военные действия Бибикова начались не скоро. Даже этот энергический человек медлил в то ужасное время, когда, кажется, на всю Россию напал какой-то непонятный столбняк. Все как-то не клеилось даже в руках умных людей. Только конец марта 1774 года ознаменован был первую и действительно победой над мятежниками.

¹ Автор «Tagebuch» прямо говорит: «Мне сказывал об этом генерал-аншеф фон-Брант» («sagte mir der General en-chef von Brant». «Tagebuch», 202.

² «Ein wenig Hinterlist».

³ «Tagebuch», 203—205.

VII

Между тем что же делалось в остальной России? В то время когда карта владений Пугачева расширялась все более и более, когда он уже господствовал самовластно на пространстве десятков тысяч квадратных верст, повелевал разными народами, как настоящий государь, издавал указы и манифесты и, так сказать, новые летучие законы, слагал с народа подати, сбавлял цену на соль (последнее это распоряжение сильно возвысило его популярность), лил пушки, чеканил монету с своим изображением, велел провозглашать свое имя на ектеньях по церквям своих новоприобретенных владений и читать свои грозные манифесты с громким титулом — «Божьею милостью мы, Петр Третий, император и самодержец всероссийский и проч., и проч., и пр.», — в остальной половине России, по церквям, площадям и базарам читались другие манифесты и объявления, в которых повелевалось не верить самозванцу, а стараться поймать его, а равно ловить всех подозрительных людей с «вредными письмами». Мало того, назначена была награда в 1000 рублей тому, кто поймает Пугачева и представит по начальству¹. Так дешево сначала оценили эту голову, которая стоила России нескольких сот миллионов! То была пора какого-то странного ослепления, каких-то неизъяснимых недоразумений со всех сторон. Тут, действительно, казалось, что началось разложение государственного тела. В самое средоточие верховной власти, в Петербург, во дворец пробиралась какая-то таинственная сила, которая издевалась над этою властью. И как бы в подтверждение этого и в подкрепление и без того чудовищных слухов, сенат публикует, что «неизвестный человек принял на себя такую дерзость, что во дворце ее императорского величества осмелился оставить письмо», которое было такого содержания, что сожжено рукою палача². Так всегда бывает в минуты общего несчастья, что все теряет голову, и даже у умных людей точно притупляется рассудок и у сильных в изнеможении опускаются руки. Сенат по какому-то странному, непостижимому затмению сам подрывает авторитет власти, которая его создала! Военная коллегия забывает географию своей страны, путается и извращает названия рек своего государства!

Но если от подметных писем не мог избавиться даже дворец императрицы, то во всей остальной России эта страшная

¹ О Пугачеве (главное царицын. архивн. дело), л. 30, 39.

² Полн. Собр. Зак. XIX. 14100.

литература вновь образовавшегося на востоке демагогического государства держала народ в постоянной агитации, а местные власти в беспрестанной тревоге. Но и в отношении к этой зажигательной литературе правительство поступало как-то слишком опрометчиво: народу постоянно толковали, чтобы он перехватывал подметные письма. Даже Бибиков разослал по всему Поволжью ордера о том, чтобы эти письма задерживать и публично жечь на площадях чрез палачей и профосов, а копии с них присылать к нему и в военную коллегию. Понятно, что это сожжение писем возбуждало лихорадочное любопытство и страх в народе и церемонии сожжения этих летучих листков придавали им еще большую популярность. Этого мало — разосланы были по всей России печатные объявления, которыми народ призывали к истреблению и сожжению «сих изменнических, ядом наполненных писем»¹.

С севера мятеж перекинулся почти на самый юг России. Пользуясь смутами, киргиз-кайсаки, кочевавшие за Волгой, в Астраханской губернии, в пределах бывшей Золотой Орды, с луговой стороны Волги переправились на нагорную. В числе полторы тысячи человек они по льду перешли Волгу в 30 верстах выше Дубовки и напали на владения волжского войска. Старшина войска и депутат Терсков едва пробился сквозь эту орду, которая атаковала форпосты, взяла некоторые из них, захватила пленных, угнала скот, лошадей. Хотя некоторые форпосты и отстреливались, но они не спасли хуторов волжского войска. После грабежа киргизы опять переправились через Волгу по льду и ушли в степь. Между тем военные силы, которые могли защищать этот край, военная коллегия вытребовала на север, к Казани и Оренбургу. От донского войска послан был к Самаре для соединения с генералом Мансуровым знаменитый донской полковник Илья Денисов, который с трудом мог собрать отряд в 500 человек из отставных казаков и «выростков». Но идти было не с чем и донская войсковая канцелярия просила Цыплетева снабдить отряд Денисова провиантом, свинцом и порохом. Как жалки были военные средства, видно из того, что отправлявшимся против самозванца донцам велено было выдать только по фунту пороху и по два фунта свинцу на пули. Между тем Денисов не знал удобнейшего пути в Самару и Цыплетев должен был дать ему инструкцию, как следовать «прямым трактом»².

¹ О Пугачеве (главн. царицын. архивн. дело), л. 53—55.

² О Пугачеве (главн. царицын. арх. дело), 51, 57, 58.

Около Оренбурга и Казани положение дел не улучшалось. Власти начали уже сомневаться, действительно ли они имеют дело с простым казаком, как их уверяли другие и в чем они старались уверить и себя и других. Француз-конфедерат приводит в своем дневнике письмо, полученное в Казани от оренбургского губернатора Рейнсдорпа одним из друзей этого генерала, уже давно томившегося в осаде, письмо, обращающее на себя внимание. Рейнсдорп писал: «Что бы там ни говорили о главе мятежников, вы не думайте, что этот человек — простой казак, а если он и в самом деле казак, то или сам он обладает большими познаниями, или имеет около себя людей с замечательным умом. Батареи, которые он возводил против меня, устроены с полным знанием дела, и крепостные верки, которые он поставил для защиты своего лагеря, а равно его траншеи, вооруженные против меня, *сам Вобан не мог бы лучше устроить*. Я сам осматривал и вполне оценил эти работы после его отступления в лагерь, который он построил на казанской дороге»¹.

Еще больше говорит в пользу политического и военного такта самозванца следующее свидетельство очевидцев. «Все распоряжения Пугачева основаны на правилах военного искусства (auf die Regeln der Kriegskunst) и исполняются по этим правилам. Его войска преданы ему и хорошо дисциплинированы и никогда не выходят из лагеря, не получив от него на то приказания. Он высылает различные толпы, состоящие из татар и других народов, для исследования местности, для приготовления запасов продовольствия и для привлечения народа на свою сторону. Но он приказывает щедро оплачивать все, что приобретается для его лагеря, и каждый из его людей получает жалованье по 4 руб. в месяц, тогда как русский солдат получает полтора рубля в 4 месяца»², т.е. в десять раз меньше.

¹ Вот это любопытное письмо: «Ungeachtet alles dessen, was von dem Oberhaupte der Rebellen gesagt wird, glaubend sie ja nicht, dass dieser Mensch ein bloser Kozak sey, und wenn er es ist, so hat er entweder selbst gute Kenntnisse, oder er hat Leute von grossen Einsichten bey sich. Die Batterien, die er wis der mich hat aufwerfen lassen, sind vollkommen gut angelegt, und die Befestigungswerke, die er zur Vertheidigung seines Lagers aufgeföhret hat, imgleichen seine Laufgräben, um mich anzugreifen, hätten selbst von dem Herrn von Vauban nicht besser angeordnet seyn können. Ich habe diese Werke nach seinem Zürruckzuge in sein Lager, das er auf dem Wege nach Kazan angelegt hatte, untersucht und zu Grunde gerichtet. Diesen Augenblick der Ruhe machte ich mir zu Nutze, um mich mit neuen Vorrath zu versehen und die Anstalten zu einer nachdrücklichen Gegenwehr zu machen» («Тagebuch», 206—207).

² «Тagebuch», 207—208.

Француз-очевидец говорит, что когда он в феврале 1774 года выехал из Казани в Москву и проезжал мимо черемисских деревень, черемисы все спрашивали его, и он мог только понять, что спрашивали все о Пугачеве. На все вопросы он отвечал им да и продолжал удаляться от этих опасных мест.

Но и в Москве было не лучше. Всем населением этой древней столицы овладело, как говорит очевидец, какое-то головокружение¹. В городе публично говорили в пользу мнимого Петра III. Вся Москва была в постоянном волнении, и хотя во всех частях города наказывали кнутом², однако это жестокое наказание никого не останавливало. По всем закоулкам раздавались голоса: «Жив Петр Федорович!» Казалось, должно было последовать всеобщее восстание. Люди графа Толстого были отданы им из боязни в полицию, но и под кнутом кричали: «Жив Петр Федорович!» Чтобы усмирить эти отчаянные головы и потушить пламя, которое все больше разливалось и угрожало общим пожаром, велено было распространить по городу известие, что самозванец разбит. Это уже самая отчаянная выдумка, к какой только мог прибегнуть совершенно растерявшийся человек! Известие не подтвердилось, и авторитет власти падал все ниже и ниже. Наконец велено было на почте вскрывать все письма и, которые казались сомнительного содержания, утаивать. Мало того, от всех домовладельцев отобрали письменную присягу на верность. Но ничто не помогало. 6 марта часам к 6 вечера вся Москва огласилась общим криком: «Жив Петр Третий», и этот крик вместе с именем Пугачева раздался во всех частях города. Нельзя было не предвидеть, что будет плохо и дело кончится бунтом. Все бросилось бежать из города. Каждый искал только собственного спасения. Твердость князя Волконского с трудом остановила бурю³.

Только по подлинным архивным делам, живым свидетелям этого страшного времени, можно судить, в каком отчаянном положении находилось государство и как все растерялось, отчаянно хватаясь за все средства и средства оказывались жалкими, неприменимыми, необдуманно, поздними. Лихорадочно писанные рапорты, ордера и промемории красноречивее всего говорят об общей панике и общей безнадежности. Так и видно, что все потеряло голову и лишь в отчаянии металось из стороны в сторону.

¹ «Ein gewisser Schwindel» («Tageb». 213).

² «Die Knut gegeben wurde».

³ «Tagebuch», 223—224.

Военная коллегия вздумала чинить крепости зимой! Посланы были распоряжения об исправлении самых отдаленных от центра мятежа крепостей — в Астрахани, Енотаевске, Черном Яру, в Кизляре — и всех крепостей на южной царицынской военной линии. Но исправлять было некому, рабочих сил не хватало¹. Военная же коллегия именем своего вице-президента знаменитого графа Захара Григорьевича Чернышева требовала вестей о том, что делается в Оренбурге и на Урале — через Царицын, и Цыплетев должен был посылать людей разведывать об оренбургских делах, чтобы сообщить в Петербург². Когда мятеж перекинулся в сибирские провинции, то в Тобольске и других сибирских крепостях не оказалось боевых снарядов и военная коллегия велела взять их из Ростова-на-Дону и Астрахани!³ Спрашивается, каким путем можно было требуемые вещи доставить в Тобольск, и скоро ли они могли поспеть туда из Ростова и Астрахани?⁴ Но этого некогда было сообразить, а отчаяние вынуждало во что бы то ни стало действовать.

Да и было отчего растеряться. Вспыхнул бунт в Гурьеве, отделенном от правительственных войск бесконечными степями, по которым разъезжали толпы киргиз-кайсаков. Нужно было спасти этот город, и туда командированы были отряды из Астрахани. Кандауров повел 3-ю легкую полевую команду, с артиллерию, захватив часть отрядов из Красного Яра. Велено было также взять часть команды и у фон-Дица, но потом это распоряжение было отменено и приказано взять с царицынской линии 200 калмыков⁴. Киргиз-кайсаки, кабарда и крымские татары начали неприязненные действия и наступали на Россию. Крымский хан двинулся к Дону и начал опустошения. Нурали-хан, предводительствуя киргиз-кайсаками, подвигался с весьма угрожающими намерениями к населенным местам, и против него командировали Дундукова и Куткина. Походные есаулы Бирюков и Тушканов прикрыли Камышин. Но все это были жалкие, ничтожные средства. На форпостах почти никого не оставалось: так, на Пичуженском форпосте было только 6 человек, на Пролейском столько же; и с этими силами думали защищать край! Не говоря уже о киргиз-кайсаках, вновь появились разбойники, «понизовая вольница», о которой слухи было замолк-

¹ *Общий наряд* архивных дел о Пугачеве (в Цариц.), л. 287.

² Там же., л. 2.

³ Там же, л. 106.

⁴ Там же, л. 119, 100.

ли, — и это было зимой, когда «понизовая вольница» в другое время редко выходила из своих зимних станов на промысел. Дела в Кабарде, на Кубани и вообще на турецкой границе, по донесениям князя Черкасского, принимали более грозный вид: ожидали движения неприятеля внутрь России и донскому и волжскому войскам велено было находиться в готовности. Надо было защищать военную линию от Дона до Царицына, и на нее для разъездов, за неимением регулярного войска, командировали пятисотенный отряд калмыков Дербетевых улусов. Фон-Диду также велено было выехать на линию. Против движений кабарды, разных черкесских народностей и турок командирован был Демедом к Кизляру. Дундуков, который был отряжен против киргизкайсаков, вызван туда же с донскими казаками и 300 калмыками при двух зайсангах. Вся степь от Кизляра до царицынской линии была открыта, и неприятель мог свободно ворваться в Россию. Демедом с своей стороны командировал к Моздоку Криденера, который отправил вперед фураж, вьючных лошадей и прочие тяжести с донскими и яицкими старшинами, — транспорт и старшины пропали без вести! Заподозрены были, наконец, даже калмыки Дербетевых улусов, всегда верные, и астраханский губернатор Кречетников велел секретно разузнать о намерениях их владельца Цендена¹. В Царицыне стали опасаться возмущения пленных турок, которых там было, как мы сказали выше, более 900 человек, и потому их принуждены были отправить в Воронеж².

Странный вид представляла в то время Россия, и это, видимо, бросалось в глаза иностранцам. Все облеклось в

¹ О сомнительном поведении калмыков прежде всего сообщил знаменитый академик Паллас, который в это время находился между калмыками, занимаясь своими научными исследованиями. В феврале он был в Царицыне и оттуда отправил в степь свои вещи и принадлежности ученых работ. Потом, из улусов уже, он прислал в Астрахань одного студента с известием, что калмыки замышляют что-то недоброе и, по всей вероятности, хотят предаться кабардинцам (*Общий наряд* арх. дел о Пугачеве, л. 39, 293, 294). Впрочем, может быть, Палласу только показалось, что калмыки думают изменить. Паллас уже не в первый раз ошибается и делает фальшивые тревоги: из архивного царицынского дела видно, что еще в ноябре 1773 года Паллас, находясь в Нижнем Поволжье по поручению Академии наук, распустил слух, что Пугачев перешел Волгу и уже подходит к Саратову. Почтенный академик перетревожил всех напрасно. Послали тотчас нарочных в Камышин, потом в Саратов, и оказалось, что Пугачев около Оренбурга (Там же, л. 527, 528).

² Там же, л. 3, 4, 20, 26, 28, 31, 35, 36, 45, 69, 85, 94, 100, 119, 145, 162, 182, 188, 215, 253, 257, 260, 274, 275.

траур. Спасения ждать было неоткуда: главные военные силы все еще были слишком далеко — они были в Турции¹.

VIII

При таком положении дел, первая, действительная победа князя Голицына над Пугачевым под Татищевской крепостью, одержанная 22 марта, была очень кстати. Весть об этой победе так же быстро разнеслась по всей России, как быстро разносились вести о первых поражениях войск императрицы. Думали, что между убитыми найдут труп самого Пугачева. Но трупа этого не нашли, хотя вполне были убеждены, что после такого полного поражения он будет искать спасения в бегстве, и потому велено было перерезать все пути к отступлению из России. От Астрахани вдоль всей Волги велено было усилить караулы и разъезды, чтобы самозванец не пробрался на Дон и в кубанскую сторону, а чтобы он не нашел выхода через Гурьев в Каспийское море, для соединения с трухменцами и турками, велено было учредить сторожевые пункты от Гурьева вдоль морского берега и разъезжать по морю в лодках для рекогносцировок².

За первой победой следовали еще другие, несколько менее значительные поражения Пугачева. С Оренбурга и Яицкого Городка, жители которых доведены были продолжительной блокадой до крайнего изнеможения³, снята наконец осада. Имя полковника Михельсона начало повторяться чаще и чаще. Счастье, казалось, улыбнулось России. Но этот роздых был ненадолго. 9 апреля умер Бибииков, за которым как будто следовало счастье, а с его смертью счастье опять надолго оставило русские войска. Потерю эту слишком сильно чувствовала Россия.

Но не станем повторять утомительных подробностей о неудачах и удачах русских войск, об этой бесполезной гонке за самозванцем, который, после всякого поражения, усиливался вдвое. Борьба с ним напоминала борьбу сказочного богатыря с многоглавым змием-драконом, у которого вместо одной отруб-

¹ «Ve merkungen», 186.

² О Пугачеве (главн. архив. дело), л. 61—63, 72, 77.

³ В Оренбурге к концу осады ржаная мука продавалась по 100 рублей пуд. Осажденные ели кошек, собак, падаль. Когда же и этого не стало, то употребляли в пищу глину, голубиный кал и пр.

ленной головы выростало две, три, десять и еще более свирепых голов. Но все это известно из Пушкина и Щербальского. Наконец взята была Казань. Пушкин говорит, между прочим, что при осаде этого города был убит Каниц, директор тамошней гимназии. Пушкин, как видно из этого, при составлении своего труда опустил из виду даже многие, вполне доступные источники о том времени, а потому в его труде есть крупные ошибки. Такая ошибка допущена им и относительно смерти Каница. В Публичной библиотеке хранится печатная речь, сказанная Каницем по поводу освобождения Казани от Пугачева¹.

Наконец самозванец перешел на правый берег Волги. «Москва с ужасом ожидала его. Невозможно было удержаться от стога, — говорит самовидец, — при виде, как раздирались внутренности страны; а между тем те, которые должны были защищать ее, в чужой стране распевали хвалебные гимны и победные песни»². Но Пугачев повернул на юг и бурей пронесся по всему правому Поволжью. Самовидцы рассказывают страшные ужасы об этих, так сказать, предсмертных судорогах мятежа³.

Как на замечательный для нас факт, приводимый иностранцами, мы должны указать на то, что Пугачев щадил подданных других государств, которые попадались к нему в руки. При всей своей жестокости, говорит автор современных заметок о России, Пугачев отдал приказ, без сомнения из политических расчетов, чтобы всем иностранцам, которые не состоят в русской службе, даруема была жизнь и чтобы с ними обходились очень ласково (*glimpflich*). Один швед, бывший учителем в семействе известного писателя Сумарокова, спасаясь от самозванца, был схвачен его людьми, и когда Пугачев узнал о его нерусском происхождении, то обратился к нему с приветливостью и не только предложил взять его самого и его жену под свое покровительство, но приказал особенно угостить его. Вообще он обошелся с ними милостиво (*mit Hoflichkeit*, как говорит иностранец), пригласил к своему столу, затем взял с собою и уверял, что уж давно отдал при-

¹ «Rede, welche in einer publiquen Versammlung, bey denen Kasanischen Gymnasien nach Wiederherstellung der öffentlichen Ruhe 1776 gehalten wurde. Gedruckt bey der Kaiserlichen Moskowischen Universität (Julius von Canitz, Hoffrath und Director der Gymnasien zu Kasan), in 4°». Рассказывая об ужасах недавнего времени, Каниц заключил свою речь словами: «Но эти ужасы миновались навеки» (*sie sind vorüber, auf ewig vorüber!*).

² «Bemerkungen», 187.

³ Там же, 179, 181—183, 187, 195—197.

казание не причинять никакого зла ни одному иностранцу¹. Иногда поляки останавливали атаманов от жестокостей. Так, у помещика Шилова жил один чех, которого атаман велел повесить. У несчастного уже была веревка на шее. В это время, говорит самовидец, прискакал поляк, любимец Пугачева. «Остановись, — кричал он, — по выговору этого человека, которого ты хочешь повесить, замечая, что он мой соотечественник» (он был чех, как после оказалось). «Счастье его, — сказал атаман, — но если бы он был даже святой, я повесил бы его, если бы ты не вступился за него»².

Пугачев шел, не останавливаясь, уничтожая один город за другим. На архивных делах тех городов, которые ожидали прихода бури, лежит уже отпечаток какого-то крайнего, невыразимого смятения. Точно все помешались от ужаса, да и было от чего помешаться. Коменданты и воеводы городов, которых не сегодня так завтра должна постигнуть гибель, не только осуждены ждать этой гибели, но обязаны известить и соседних комендантов и воевод о том же; получаемые в канцеляриях бумаги помечаются, видимо, наскоро, дрожащею рукою, и наскоро, лихорадочно пишутся распоряжения и сообщения. Писать некому. Под гонами пристают лошади. Пакеты пропадают без вести вместе с гонцами. Посланные из низовых городов нарочные к Казани узнать, что там делается, увидели издали пламя, стоявшее над этим городом, а между тем по Волге уже тянутся караваны судов с толпами Пугачева, а на этих судах, на мачтах, качаются мертвые тела повешенных. Но готовиться к смерти или к обороне все же надо было во что бы то ни стало: за неимением оружия, по городам Пензенской и Саратовской губерний велено было запастись рогатинами, топорами, косами; косы и топоры велено было насаживать на шести, но и этого некому было сделать. Жалкие остатки команд, какие находились за Волгой, призывались на нагорную сторону. В волжском войске никого не осталось — одни старики, женщины и дети. Беззащитные станичные старшины просят прислать им хоть людей, которые могли бы стрелять из имеющихся в войске 4 пушек; просят пороху и свинцу, мало того, просят прислать им хоть донских казаков, которые защитили бы их войско от неминуемой гибели. Власти опасались за спокойствие на Дону. Между донцами явилось сомнение, не в самом ли деле это царь³.

¹ «Bemerkungen», 229.

² Там же, 231—232.

³ О Пугачеве (главн. царицын. архив. дело), л.134.

Уездные города опустели совсем. Еще когда Пугачев был далеко, коменданты и воеводы пугали один другого извещениями о «разливающемся яде» или об угрожающем им «крайнем бедстве». Но с приближением самозванца и они замолчали. Чтобы судить, в каком жалком виде находились эти города при приближении Пугачева, взглянем хоть на Петровск, лежащий по дороге к Саратову. Оторпевший воевода куда-то скрылся. Так они скрывались и по другим городам. А когда исчезали власти, бразды правления брал в свои руки кто хотел. Саратовской губернией, которая тогда составляла часть Астраханской, de facto распоряжался поэт Державин; губернатор же Кречетников, собираясь ехать из Астрахани спасать Саратов, приказывает готовить для себя по 50 лошадей на каждой станции, тогда как лошадей не хватало даже на посылку самонужнейших депеш. Державин пишет в Петровск, что если город «от неизвестного злодея состоит в опасности, то ежели никаких средств не имеет защищаться, то б находящуюся в нем казну, нужные государственные дела, а паче ружейные припасы» прислал в Саратов; если же и этого нельзя сделать, то чтобы все потопили в воде и «усердно ретировались» в Саратов. Оказалось, что в Петровске «воинских людей, кроме штатной команды, никого нет», а в этой штатной команде было народу «самое малое число», как доносили Державину, «и не более десяти человек». Чем же было защищаться? Между тем жители защищаться не хотели, «оказывали противности», скрывались, буйствовали. Но это еще не все. Когда денежная казна и нужные дела были собраны приказными служителями и сложены на подводы, какой-то городской сотник Седов и «начальник всему к возмущению злу пехотный солдат Осип Бастриков с товарищи» воспротивились везти казну и «самовластно с городской крепости подводы сбросили». Другие кричали: «Дела сбросить». Явился солдат с ружьем и не пускал чиновников из канцелярии, грозя переколоть их. Пока спорили между собой солдаты, сторожа и канцеляристы, Пугачев нагрянул, и тогда донесено было по начальству, что все предосторожности были приняты, «но токмо уже за нашествием того злодея на город Петровск всего того исполнить было невозможно и все им расхищено»¹.

¹ Архивные дела г. Петровска (О взятии этого города).

Саратов еще мог спастись, но его погубили чиновники, спорившие о том, кто старше: полковник или действительный статский советник (бригадир), комендант крепости или управляющий конторою иностранных поселенцев, т.е. кому из них защищать город — Бошняку или Лодыжинскому. Державин также вмешался в эти споры и принял сторону действительного статского советника. Храбрый Бошняк требовал от Лодыжинского людей, которые находились в его распоряжении, для устройства укреплений и вала; Лодыжинский не давал, говоря, что он генерал и не должен повиноваться полковнику. Эти любопытные, хотя, тем не менее, возмутительные, пререкания из-за чинов, сохранились в саратовских архивах по настоящее время¹.

Мы имеем записки саратовского старожила Никитина-второго, в которых взятие самозванцем Саратова описывается иначе, чем оно рассказано у Пушкина.

Несмотря на упрямство Лодыжинского, Бошняк все еще надеялся защитить город. Напрасно он звал к себе на помощь из Царицына фон-Дица с легкою полевой командою². Пугачев был уже слишком близко. Надо было защищаться собственными средствами. В Саратове было страшное волнение. Все начали прятать ценные имущества, зарывать в землю и искать спасения в бегстве. Большая часть дворян уехала; иные решились умереть. Бошняк отдал приказ, чтобы все, кто в состоянии носить оружие, явились в комендантский двор. Народ не слушался. Явившихся снабжали алебардами и копьями и составили, таким образом, отряд копьеносцев. Купцы и мещане сделали на свой счет 120 железных копий³. Все участвовали в работах по укреплению города, а потом вместо отдыха шли учиться военным приемам.

С трех сторон город обнесли валом, поставили на нем несколько пушек на железных передках, которые служили вместо лафетов. Способных носить оружие — если только оно было — оказалось тысяч восемь, большею частью из обывателей. Сверх того был отряд из регулярного войска пехотинцев, которых жители называли «красноперыми», потому что они носили на киверах красные перья. Чтобы не дать

¹ Архивные дела саратовской конторы иностранных поселенцев.

² *Общий наряд цариц.* дел о Пугачеве, л. 558.

³ Архивные дела саратов. магистрата.

народу упасть духом, в городе были постоянные разводы и играла военная музыка.

Бошняк хотел предупредить Пугачева и решил сам напасть на него, встретив за городом и заманив его в засаду. Для этой цели он оставил на городском валу до 3000 человек, а с остальным войском двинулся по петровской дороге навстречу самозванцу и скрылся в лесу, окружавшем тогда город. Бошняк думал зайти к Пугачеву в тыл и ударить на него неожиданно. Оставшимся же в городе он приказал ждать, пока не услышат пальбы. При первых выстрелах, даже ночью, оставшиеся в Саратове отряды должны были идти на помощь к коменданту или ударить в центр неприятельского войска. План был хорош, но не удалось ему исполниться. Пугачев был слишком обстрелянный полководец, чтобы идти напролом к городу, где он ожидал встретить сильный отпор. «Пугач, видно, умнее нашего командира был», — говорит старик Калмыков, со слов которого Никитин записал рассказ о нашествии самозванца на Саратов. От переметчиков Пугачев узнал, где засел Бошняк, и, подойдя к засаде, остановился верстах в двух, показывая вид, что идет прямо на него. Это было вечером. Самозванец велел разложить в своем лагере множество костров, желая показать этим, что остановится на ночевку и роздых. Бошняк думал напасть на него к утру, рассчитывая на самый крепкий сон в эту пору. Но Пугачев ночью же покинул свой лагерь и зажженные костры, а сам, своротив с большой дороги влево, обошел город с севера и явился на горах, господствовавших над окрестностью, на Каланче и Соколовой. На этих горах расположил он свою артиллерию и наутро, т.е. 6 августа, начал громить город. За растрату ю картечи, он стрелял медными деньгами, как говорит предание.

Этим ловким движением комендант был отрезан от города. Толпы Пугачева спустились с гор, беспрепятственно перешли Глебучев овраг, отделяющий город от этих гор, и явились на так называемом «Пешем базаре». Овладев гостинным двором, они укрепились в нем. Между тем другие толпы явились с Волги. По Волге плыла целая флотилия — плоты, расшивы, барки и рыбацьи лодки, наполненные народом и награбленным имуществом. Это был флот самозванца. «Московским взвозом» мятежники вошли в город и явились еще более неожиданно, чем те, которые пришли сухопутно. Работы Бошняка ни к чему не послужили. Укрепления его никого не спасли. В городе вспыхнул пожар от беспрестанной стрельбы из орудий. Народ удалился за город, на берег Волги, к

так называемому «Красному кресту». Есть было нечего: питались дикими яблоками и полевыми ягодами. Бошняка уже не было в городе: он пробился сквозь ряды мятежников и удалился в Царицын. Оставленный народ присоединился к армии Пугачева. Начался страшный грабеж. Город еще не считался покорившимся и присягнувшим на верность самозванцу.

Чтобы спасти остатки города, народ решил идти к самозванцу. Все собрались в думу. Совет состоял тысяч из трех растерявшихся, измученных, упавших духом граждан. На совете положили отдаться страшному победителю.

Вся эта толпа потянулась на горы, к палатке самозванца.

— Что это за люди и зачем пришли? — спросил он у приближенных.

— Обыватели города Саратова пришли к вашему величеству с покорностью, — отвечали ему.

— Приведите их к присяге.

За шатром самозванца находилось множество священников, которые, однако ж, прибавляет самовидец, были «в нетрезвом виде». Они беспрестанно приводили народ к присяге. Присягнувших подвели ближе к палатке самозванца. «Я мог хорошо разглядеть его черные глаза», — замечает Калмыков.

Палатка была белая, шелковая, с разными золотыми украшениями. Внутри ее было устроено небольшое возвышение, обитое алым бархатом с золотою бахромою. Украшения были довольно привлекательны. На этом возвышении сидел самозванец. На нем был фрак и кортик. На голове казацкая шапка с золотым крестом. Через плечо перекинута голубая лента, а на правом плече звезда. В руках самозванец держал зрительную трубку, в которую по временам смотрел на город и на его окрестности. Свита его также была украшена крестами и медалями «наподобие генералов», как замечает очевидец.

Самозванец обратился тогда к жителям Саратова с речью. (Он говорил несколько хриплым голосом, как заметил Калмыков.)

— Я ваш законный император. Жена моя увлеклась на сторону дворян, и я поклялся перед Богом истребить их всех до единого. Они склонили ее, чтобы всех вас отдать им в рабство, но я этому воспротивился, и они все вознегодовали на меня, подослали убийц, но Бог меня спас. Я скрылся в воронежских лесах, вышел оттуда для освобождения отечества от врагов и на защиту вольности, драгоценной для всякого русского. Ступайте, живите и наслаждайтесь ею. Помните, что у вас есть император, которому в верности вы дали клятву.

Все поклонились до земли и разбрелись в разные стороны.

Лагерь Пугачева был растянут вдоль гор, а вдоль лагеря расставлены были пушки. Казацкая конница гарцевала в разных направлениях, а пехота толпилась около кипевших котлов, в которых варилась пища. В стане господствовал страшный шум. В конце лагеря, на склоне горы к Волге, расставлены были виселицы, и на них качались трупы повешенных, а вешали вновь взятых в плен дворян, потом же, вынимая из петли, обнажали и сбрасывали под гору. На Волге захватили партию бурлаков, следовавших с караванами из Астрахани, и также осудили на смерть. Их обвинили в оскорблении величества. Все 60 бурлаков были повешены.

Между тем город представлял ужасное зрелище. Казаки, солдаты, народ и всякая смесь азиатцев в неистовстве металась по улицам, грабили и убивали сопротивляющихся. Мертвых тел некому было убирать. Одна толпа особенно обратила на себя внимание Калмыкова. Ею предводительствовал огромного роста мужик, одетый в золотую поповскую ризу, а на голове вместо шапки «бабий волосник». Эта толпа шла на промысел. Такова была оргия разгулявшейся толпы, всех неистовств которой мы, впрочем, не намерены перечислять¹.

Салманов, которого Пугачев назначил начальником Саратова или «главным командиром», отдал приказ, чтобы из города, особенно в Царицын, никого не пропускали, потому что все бросились вниз по Волге на судах и сухопутно, спасаясь в Царицын. Лодыжинский, покончив споры с Бошняком перед самым приходом самозванца, снарядил судно, на котором отправил в Царицын денежную казну, бумаги и прочее дорогое имущество. Но это судно верстах в 60 от Саратова было атаковано окрестными жителями, конвойного офицера Ушакова «немилостиво тирански» мучили, деньги и вещи разграбили. Оставшиеся в живых принесли в Саратов весть о гибели судна.

Буйный саратовский подьячий, подканцелярист Фирсов, увлек за собою толпу саратовской вольницы и, снарядив целую флотилию из лодок, спустился по Волге с грабежом и разбоем. Особое судно было наполнено канцеляристами, спасавшимися из Саратова. Оно погибло, канцеляристы побиты.

Большая часть дел присутственных мест, вытащенных из архивов и канцелярий, брошены в Волгу.

9 августа Пугачев оставил опустошенный Саратов и двинулся к югу по астраханской дороге. Конница и часть пехоты шла с ним, другая часть посажена была на безобразную фло-

¹ «Воспоминания прошедшего» Никитина-второго (рукоп.).

тилию, которая тянулась по Волге, оглашая ее песнями, ругательствами, убивая и топя в Волге-матушке все подозрительное и сопротивляющееся.

Но и с выступлением Пугачева Саратову не удалось вздохнуть. По пятам самозванца гнались правительственные войска. Прибыл Михельсон. «Тут началось новое действие, — говорится в записках Никитина, — новый порядок, новые допросы, новые казни». Стали спрашивать жителей, кого они признают, Екатерину или Петра, и если кто по незнанию говорил про последнего, то тут же вешали. Жители совсем потеряли рассудок. Никто не знал, что отвечать. Вчера вешали за Екатерину, сегодня вешают за Петра; завтра, говорили несчастные, может быть, будут вешать за того и другого. На вопрос: «Кого признаете?» — стали отвечать: «Мы за того, за кого и вы». Недолго и Салманову привелось начальствовать над городом. Воевода Савельев вступил в должность. Трупы убитых еще не были убраны с улиц: не до них было жителям и начальству. Мертвецы лежали таким образом с 6 по 15 августа. Только в этот день воевода отдал приказ: «В городе и около Соколовой горы лежат поверженные на земле мертвые тела, убиенные от государственного вора и изменника, разбойника Пугачева и его сообщников, исключая убитых того вора товарищей, которые мертвые тела вам, — писал он бургомистру, — чрез кого надлежит собрать и погresti по христианской должности, а Пугачевых сообщников тела, яко непотребных извергов, вытаща по земле за ноги за город, бросить в отдаленности в яму, прикрыв, чтоб не было от них мерзкого зловония, землею; тех же злодеев, повешенных публично, отнюдь не касаться, а оставить их на позор и наказание зараженным и колеблющимся разумом от рассеянных злохитрым злодеем плевел людям». И затем тела убитых погребены с честью, а «гнусные трупы извергов привязаны были за лошадиные хвосты и вытащены за город, брошены в буерак и прикрыты землею»¹.

Х

Пушкин и Щебальский говорят, что, когда Пугачев взял Саратов, явились новые самозванцы, именно: один в Пензенской губернии «беглый холоп», другой разбойник Фирска. Но, обратившись к провинциальным архивам, мы убедились,

¹ Архивн. дела саратовск. магистрата.

что буйства Фирски и «беглого холопа» ничтожны в сравнении с подвигами целого десятка более буйных голов, как Фирска. Назовем только некоторых из них: Василий Иванов, Федор Молотилин, Иван Иванов, Иван Воронов, Алексей Обрывалов и другие. Стоит только проследить за подвигами этих пяти атаманов, и перед нами встанет живая картина того времени. Василий Иванов, отделив от себя партию под предводительством Молотилина, от Саранска пошел степными селами, не подходя к Волге. Все села, по которым он проходил, были ограблены. Выделенная им толпа под предводительством Молотилина прошла грозой по селам Бахметевке, Андреевке, Симоновке, Безобразовке, через Баландинский Городок, Монастырщину, Рельню, Федоровку, Шереметевку, Хоненевку, Белгазу, Лысые горы, захватив, таким образом, уезды Петровский, Пензенский и Саратовский. Все, что ни попадалось ему, было разграблено, убито, повешено: тот «наглостно засечен плетьюми», другой «бит дубьем до смерти», тот «застрелен из ружья», этот «повешен на воротах», «на кузнице», этот «заколот копьями», «повешен на дереве», «пришиблен кистенем», «сожжен заживо», «утоплен», «заколот», а всего больше «повешен на воротах». Но Молотилин не долго свирепствовал. В Лысых горах он встретился с своим прежним повелителем, атаманом Ивановым, и этот последний погубил свою креатуру. Рассердившись на Молотилина, Иванов отнял у него все им награбленное, сек плетьюми и там же, в Лысых горах, повесил. Присоединив к себе его партию, Иванов вступил в земли войска донского.

Другой Иванов, по имени Иван, прошел с своим отрядом вдоль всей Медведицы и уже около Етеревской станицы был встречен донским полковником, известным героем Луковкиным, и вернулся опять в верхи Медведицы, мстя на каждом селе свой неудачный поход.

Воронов (саранский купец) с своей партией прошел по уездам Саранскому, Симбирскому, Ломовскому, Пензенскому, Петровскому, Саратовскому. Артиллерия его состояла из 12 пушек.

Обрывалов, бежавший из партии Молотилина, организовал самостоятельный отряд и свирепствовал в степных местностях между Хопром и Медведицею. За ним следовал обоз с награбленным имуществом. Он прошел через Пески, Чедаевку, Щелкан, Жирное, Монастырщину, Елань, где учинил оргию с женою приказчика, с духовенством и народом. В Заевке он столкнулся с атаманом Ивановым-вторым, бежавшим от Луковкина. Представляя из себя временную правительст-

венную власть той местности, Обрывалов, увидав подобного себе героя, закричал своему отряду: «Коли тех злодеев, что жгут поселки (точно сам и не жег)... бей!» Иванов бежал. Самовластие отуманило голову Обрывалова. Въезжая в села, он приказывал народу встречать его на коленях и, стоя так, подносить ему деньги.

Не говорим о *восьмидесятилетнем старике* Череватом, у которого в шайке было пять родных сыновей. Не говорим о других атаманах, есаулах, сотниках, которые представляли из себя самостоятельные силы, независимые от Пугачева, хотя действовавшие его именем¹. Читая архивные дела того времени, удивляешься, как могла из такого ужасного хаоса опять возникнуть государственная жизнь.

Пугачев между тем шел к Камышину, Дубовке, Царицыну. Бежавший из Саратова Бошняк явился в Царицын 14 августа. У него осталось только 35 человек и ни одного заряда. Он просил у Цыплетева пуль и пороху². Оставалась одна надежда на Царицын и на коменданта этого города Цыплетева. Камышин и Дубовка со всем жалким волжским войском не могли дать отпора. Цыплетев, ожидая грозу, не дремал: он успел укрепить город, собрать рассеянные по окрестным селам отряды, запастись боевыми припасами, провиантом. Он приказал взять пушки со всей царицынской линии, со всех форпостов, потому что линия и форпосты не удержали бы самозванца, а между тем пушки усилили крепость лишними орудиями и прислугой. Между тем он звал к Царицыну Багратиона, стоявшего с своим отрядом на Дону, а потом двинувшегося на прикрытие Новохоперской крепости. Он приказал также владельцу калмыцких Дербетевских улусов назначенных на Кубань 2000 калмыков стянуть тоже к Царицыну. Войсковой старшина Манков двинулся к Царицыну с донскими казаками станиц Трехостровской, Пятиизбянской, Голубинской и Верхнечирской. Прибыл Дундуков с калмыками. Войсковая казна волжского войска из Дубовки переведена в Царицын; 14 же августа, в день прибытия в Царицын Бошняка, прибыл на царицынскую линию и походный атаман волжского войска Перфилов с 562 «двуконными» казаками (1156 лошадей). Прибыл отряд известного между донцами Михаила Серебрякова (Себрякова) и требовал свинцу и пороху. Губернатор Кречетников также выслал войско из Астрахани. К ним присоединился еще отряд донских казаков с

¹ Архивные дела г. Петровска.

² О Пугачеве (глав. царицын. архив. дело), л. 145.

полковниками Кутейниковым и Грековым. Граф Мусин-Пушкин из Полтавы двинулся прикрывать Воронеж. В Царицыне между тем велено затопить все суда, лодки, барки, все изрубить и сжечь, чтобы самозванцу не на чем было переправиться за Волгу, — тогда как у него была своя флотилия. В Царицыне все деятельно работало, приготавливаясь к встрече; работали купцы, мещане, бобыли, вновь приписанные малороссияне, поляки... Пушки поставлены на новые лафеты. Припасена свежая прислуга. Пушек в городе было 63¹. Цыплетев работал неустанно. Но не все так действовали, как Цыплетев. Воронежский губернатор Шетнев, узнав, что Пугачев еще у Нижнего Ломова, убежал в Павловск — защищать этот город, в котором было 600 пушек и 3000 пудов пороху с достаточными военными силами. Воронеж брошен на произвол судьбы. По счастью, он отстоял от Нижнего Ломова, а следовательно, и от Пугачева, на 400 верст².

Пугачев подошел к Камышину. Этого города некому было защищать. Комендант Меллин был убит. Долго он ждал подкрепления, но подкрепления ниоткуда не было. Кречетников писал ему, что высылает в Камышин часть войск и артиллерию. Но этот ордер получил Цыплетев, а Меллина уже не было в живых. Войско и артиллерия не дошли до Камышина: было уже поздно.

После Камышина самозванец вступил в землю волжских казаков. В царицынских делах есть положительные доказательства измены волжского войска. Уже Кречетников и Цыплетев не доверяли им. Первый даже сомневался в верности донского войска, которое, в случае удачи со стороны самозванца, могло передаться и на его сторону. По этого не было, и донцы, кроме некоторых изменников, дрались храбро, а атаманы и старшины их действовали и расторопно, и с большим тактом. Но волжское войско положительно изменило. Доказательством этому служит «список», найденный случайно в октябре 1775 года на месте поражения Пугачева Михельсоном. В «списке» этом волжское войско значится в числе полков Пугачева и названо «Дубовским полком». Список найден одним проезжавшим из Астрахани по Волге офицером, который из любопытства вышел взглянуть на место битвы и между мертвыми телами отыскал разные бумаги, которые и представил в Царицын.

¹ *Общий наряд дел о Пугачеве* (в Цариц.), л. 571. — *Дело О Пугачеве* (главн.), л. 128, 129, 131, 135, 136, 145, 137, 138, 146, 139, 147—149.

² Там же, л. 208—209.

Фр. Антинг в истории «Походов Суворова»¹ говорит, между прочим, что ниже Камышина донские казаки, находившиеся в войске Пугачева, оставили его по вине самого Пугачева. Один из начальников волжского войска, замечает Антинг, принял Пугачева с большою честью (somptrueusement)², тогда как все другие разбежались при его приближении. Когда на пиру у этого начальника многие подпили, яицкие казаки отрыли несколько пушек, принадлежавших волжским казакам и спрятанных ими. За это хозяин дома был тотчас же заколот. Подозрение пало на одного донского казака. Его приговорили к смерти. Но хоть в него и выстрелили, однако он успел спастись. Это обстоятельство было причиной того, что в ту же ночь четыре полка донских казаков оставили самозванца³.

XI

Приступ к Царицыну и последняя битва с Михельсоном под Черным Яром составляют заключительный акт этой кровавой драмы. Услуги, которые оказал России Цеплетев обороною Царицына, до сих пор не только не оценены по достоинству, но и не замечены никем. Царицын был первый город, который, после Оренбурга и Яицкого Городка, не сдался самозванцу. Перед приходом Пугачева сами жители выжгли форштадт. Суда, находившиеся около города на пристани, спущены ниже из предосторожности, чтобы Пугачев не переправился на них за Волгу.

Приступ начат в 2 часа пополудни 31 августа. Дело было жаркое. Канонада с крепости не умолкала в продолжение 5 часов. Батареи Пугачева действовали как-то вяло, неудачно, точно в первый раз в жизни усталость одолела неутомимого мятежника. В сущности, он не уставал — он только не мог ничего сделать против громивших его крепостных ядер, гранат и бомб. Шестьсот выстрелов, раздавшихся один за другим с крепостных батарей, доказали Пугачеву, что там есть чем стрелять. Из наведенных им на Царицын батарей 6 было

¹ «Les campagnes du feldmaréchal comte de Souvoroff-Rymnikski», v. I, p. 158, 159.

² Не говорит ли здесь Антинг о казаке Забуруннове (Антиновской станицы), у которого Пугачев обедал, торжественно встреченный волжскими казаками? (Щебальский, 111).

³ «Cet événement indisposa beaucoup les cosaques du Don et dans la nuit les quatre régiments le quitterent». Но едва ли могло быть четыре полка донских казаков (F. Anting, 159).

сбито. Канонада со стороны Пугачева нисколько не вредила крепости: от его выстрелов взорвало только 10 зарядов трехфунтовых пушек с ядрами и картечью, один из-под пушечного пороху, под двумя мортирами повреждены лафеты, а под одною изломана платформа. Ранен и опален один только бомбардир, да и то оттого, что от частой стрельбы у одной пушки оторвало «тарель с фризою и с винградом» и разбило лафет. К вечеру канонада умолкла. Ночью в крепости светились только фонари по батареям. Все было тихо, только раз случилась тревога от взрыва неудачно брошенной из города гранаты, которая разорвала 20 других крепостных запасных гранат.

Пугачев отступил от Царицына. Эта была первая его неудача после Казани.

Два следующих дня мимо Царицына, по Волге, тянулась нестройная флотилия самозванца, но ни она не нападала на суда, стоявшие у крепости, ни эти суда не нападали на нее, а только посылали вслед неприятельским караванам выстрелы. Береговою батареею командовал Ильин, о котором Цыплетев отозвался с особенною похвалою. Наиболее неутомимо и мужественно действовали при защите Царицына Елчин, Харков, Ушаков, Янцов, Власов и Свербеев. Фатьянов энергически поддерживал в жителях мужество, ободряя их словом и примером¹.

Едва Пугачев отступил от Царицына, как туда явился Михельсон. Бросив в Царицыне лишнюю тяжесть, негодные пушки, часть зарядов и пороху, этот неутомимый преследователь самозванца настиг его неподалеку от Черного Яра. Подробности этой последней битвы известны из истории Пушкина². Суворову, прибывшему в Царицын слишком поздно, оставалось только ловить разбитого мятежника. Кроме Михельсона и Цыплетева, все в то роковое время как-то запаздывали, действовали вяло, медленно, нерешительно: от Москвы до Царицына Суворов ехал больше месяца! Но Суворову не удалось и изловить этого замечательного беглеца. Он только конвоировал его уже закованного в цепи. Неутомимый Михельсон едва успевает нанести последнее поражение своему противнику, как уже распоряжается о поимке его. На другой день после битвы, отсылая в Царицын целые толпы пленных дворян, «дворян-

¹ О Пугачеве (главн. архив. цариц. дело), л. 204—216, 355, 356, 367.

² В царицынском деле есть подлинные письма Михельсона об этой битве, писанные Цыплетеву в день победы.

ских девиц», лишнюю тяжелую артиллерию, взятые у Пугачева пушки, он говорит, что самозванец бросился за Волгу, и в письме к Цыплетеву приписывает свою рукою: «Пожалуй, батюшка, прикажите, сколько возможно, набрать людей и пошлите на ту сторону Волги примечать Пугачева верстах во ста внутрь земли и уведомляйте меня обо всем»¹.

Между тем, когда Михельсон сделал свое дело и когда уже не с кем было сражаться, к Царицыну и выше Царицына нагрянули генералы с запоздавшими войсками: Мансуров, Муффель, Меллин, Голицын, Суворов. Они уже распорядились с обезоруженными врагами, вешали изменивших, ловили беглых и все обращались к Цыплетеву — кто за провиантом, кто за лошадьми, кто за боевыми припасами. Все начало стягиваться к Царицыну. Город переполнился народом, войсками, ранеными, больными, ограбленными. Один Михельсон пригнал в Царицын около 9000 человек, и каждому из них нужно было выдавать кормовых 2 коп. в день. Начался голод. Школьники играют на улицах разбросанными во время канонады ядрами. Собаки таскают по улицам трупы умерших и засеченных. Каждый день в городе казни, экзекуции, гонка сквозь строй пойманных с оружием или беглых солдат. Всякого, проговорившегося в пьяном виде, сболтнувшего, гоняли сквозь строй и вешали. Ни лошадям, ни людям есть нечего. Народ питался желудями. Боялись возмущения в городе и отобрали у пленных всякое оружие до последнего ножа².

Чтобы можно было хоть приблизительно судить об этом ужасном времени, укажем на некоторые факты, какие представляют нам архивные дела. Мы сказали, что Царицын переполнился народом, преимущественно взятым из толпы Пугачева и добровольно явившимися голодными и измученными. Из Царицына нужно было отправлять их в места жительства. Партии по сто и по двести человек связывали канатами, как огромные своры собак, и гнали по разным дорогам. Эти партии перемирили за дорогу: мертвых бросали по деревням, по степям, при больших дорогах. Из отправленных на таком канате Цыплетевым из Царицына двух партий, одной в Петровск в 85 человек, другой в Саранск в 106 человек, в Петровск пришли только 3 живых, в Саранск — 17. Все остальное перемерло дорогой. С местных

¹ О Пугачеве (главн. царицын. дело), л. 241.

² Там же, л. 431, 244, 289, 292, 293, 321, 329, 344, 338—342, 348, 354, 358, 359, 551, 602, 854.

начальств и родственников умерших взыскивали путевые и прогонные издержки и не только кормовые, но и «канатные» деньги. Из 119 человек, отправленных Цыплетевым из Царицына в Саратов, дорогой умерли 84 человека. Из отправленных затем до Саратова 311 человек умерли в дороге 232. Вслед за этими гнались на канатах до Петровска три новые партии в 548 душ. Из 58 пензенских дошли до места родины только 19 человек. Партия в 218 человек, отправленная из Саратова в Петровск, на расстоянии 80—90 верст потеряла 58 человек¹.

Долго потом еще являлась из побегов гольтыба, принося повинную или говоря, что увлечены были в толпу злодея силою и страхом смерти. На допросах этих провинившихся открывались целые драмы, которых доследовать до конца не было ни времени, ни возможности. Тут уже главную роль играла плеть. Ограбленные или напуганные только, но спасшиеся подьячие, канцеляристы и воеводы мстили и за свой страх, и за свои имущества, и за убитых родных, знакомых. Чиновники мстили за беспорядки, причиненные мятежниками в канцелярских делах и в архивах: им нужно было заводить новые дела, подшивать растрепанные бумаги, требовать копии.

XII

Не станем повторять известных всем подробностей о поисках и взятии Пугачева. Заметим только, с какою быстротою он метался за Волгою, не зная, броситься ли ему на Узень и Яик вербовать рассеянное в полях войско, пуститься ли в море, чтобы там «взять какие ни есть орды», сплотить их в новую страшную армию и «выйти паки на Россию». Вслед за поражением его под Черным Яром черноморский комендант Перепечин выслал из этого города отряд в догонку самозванцу; отряд видел перебивавшегося за Волгу Пугачева, кинулся за ним, гнался до Мухун-Зумун-Сала и потерял из виду; а через четыре дня уже видели, что белое знамя развевается в глуби степей, далеко выше Камышина. По белому знамени удостоверились, что это несется к Уралу сам Пугачев².

Страшен был самозванец и в клетке, в которую его посадили уже пойманного. В Яицке сдали его Суворову, который

¹ Архивные дела г. Петровска, особенно № 718, 720, 726 (по описи архива).

² О Пугачеве (главн. царщ. дело), л. 545, 286.

опоздал своим приходом, потому что бросился не в ту сторону, куда следовало. 1 сентября он был в Царицыне. 9-го он пишет Цыплетеву уже с Еруслана, со степи, из лагеря, боится, чтобы самозванец не поворотил назад, велит отрядить команду к Елтону, а сам бросается на Узень. Вслед за тем он уже пишет Цыплетеву с совершенно противоположной стороны, из слободы Николаевской, против Камышина¹.

Антинг говорит, что, когда Пугачева посадили в особо приготовленную клетку, поставленную на колеса, чтоб везти его к Панину в Симбирск, Суворов находился при самозванце неотлучно. Но будто бы в какой-то деревне Мостах принуждены были бросить эту клетку, потому что Пугачев не хотел сидеть в ней покойно. В Мостах, где поезд имел роздых, случился пожар и конвоировавшие Пугачева очень опасались, чтобы эта тревога не дала самозванцу возможности бежать. Здесь посадили его в крестьянскую телегу, а сына его, двенадцатилетнего мальчика, в другую. По словам Антинга, это был такой буйный (turbulent) мальчик, что за ним необходим был строгий надзор. Оба они были скованы в телегах. Ночью дорогу освещали факелами. Мартемьянов, известный старшина яицкого войска, следовавший с особым отрядом за Пугачевым, дорогой как-то поссорился с ним, а может быть, и просто подрался² и заметил у самозванца деньги, зашитые в платье. Зашито было всего только четыре золотых. Когда Мартемьянов спросил, отчего он не имеет с собой больше денег, Пугачев отвечал, что он никогда не брал много денег собственно для себя, а когда захватывал богатую добычу, то всегда отдавал ее всем окружающим его³.

4 ноября Пугачев был уже в Москве. В дневнике Васильева, о котором мы упомянули выше, в этот день записано: «Привезен бунтовщик и народный вор, казак Емельян Пугачев, пополуночи в 8 часу утра и посажен у Воскресенских ворот в покоях монетного двора».

5 ноября в дневнике Васильева записано: «Великие в Москве стали переговоры о проклятом злодее Пугачеве и его варварских делах. Тот, кто слышал таковые варварства, без слез быть не может»⁴.

¹ Там же, л. 344, 345. Сам почерк писем изобличает торопливость. В начале писем почерк руки писаря, а главное содержание — в приписках — руки самого Суворова.

² Антинг говорит: «Martemianow eût un jour une altercation avec Pugatschew», («Les campagnes du comte de Souvoroff», I, p. 168.

³ «Les campagnes» etc., I, p. 167—169.

⁴ «Продолжение времени 1774—1777 г.» (Рукопись Румянц. музея. По описанию Востокова), № 26.

10 января 1775 года совершена казнь над Пугачевым и его сообщниками. В приведенном нами выше сочинении «Zuverlässige Nachricht» etc. помещено подробное описание как самого эшафота, так и порядка казни. Пугачев ехал к месту казни на позорной колеснице, прикованный к столбу, и в руке держал зажженную свечу¹.

Некоторым из сообщников Пугачева смягчено наказание. В числе таких был поручик Шванвич. Отец этого Шванвича занимал довольно высокий пост в государственной службе. Он был комендантом Кронштадта. Сын его находился в свите Пугачева и, как образованный человек, занимал должность секретаря: он сочинял для самозванца, в случае надобности, указы и манифесты на немецком языке и подписывался за него под указами. Приговор над ним был смягчен стараниями Орловых².

На другой день казни девяти сообщникам Пугачева, предавшим его или оставившим его раньше, прочтено было перед Красным крыльцом прощение, в котором исчислены их вины и ожидавшее их наказание. «Нарушенное силою и пособием вашим законным властям повиновение, — говорилось между прочим в этом объявлении, — требовало казни преступников. Обманом вашим приведенные в пагубу несчастные поселяне, страдая за вас, свидетельствовали о ваших злодеяниях. Разоренные и злобою вашею воспаленному огню преданные селения, города и святые храмы угрожали вас наижесточайшим наказанием: и среди сих ужасных развалин и опустошения кровь неповинных, коею в варварстве своем вы обагрялись, возопила на небо и молила отмщения. Могло ли после сих неистовств раскаяние ваше принято быть в уважение, да еще и в такое время, когда все ваше злодейское скопище с вознесенным вами идолом — верными ее императорского величества войсками было стеснено, разбито и, яко прах, рассеяно?.. Но, — прибавляет после сентенция, — всемилостивейшая государыня прощает вас... Вы освобождаетесь не только от смертной казни, но и от всякого наказания. Да снимутся с вас оковы!» и т.д.³

¹ Zuverlässige Nachricht etc 16—18.

² «О повреждении нравов в России», князя Щербатова. Лондон, 1858, стр. 80—81. «А. и Ф. Г. Орловы, — говорил Щербатов, — славились своею силою. В Петербурге только один человек кичился (казался³) сильнее их: это был Шванвич» (отец).

³ «Московские Ведомости», 1775 г., № 4 (прибавление).

Вообще оценка этого тяжелого периода русской истории была бы неполна, если бы мы не указали на заслуги лиц, которым Россия обязана главным образом восстановлением спокойствия, когда оно в особенности было необходимо. Замечательно, что спасители России вышли из среды рядовых тружеников, которые бывают незаметны в обыкновенное время, потому что скромны, но которых энергия, ум и находчивость проявляются именно в то время, когда все другие деятели теряют голову. Военная коллегия, это высшее правительственное место, в котором заседали первые чины империи, в решительные минуты медлила, терялась и слишком плохо понимала значение возбужденного Пугачевым движения. Сенат делал несообразные распоряжения. Все губернаторы местностей, с которыми мятеж имел близкую связь: Рейнсдорп, фон-Брант, Шетнев и даже Кречетников, — оказались плохими администраторами. Главкомандующие действующими войсками несколько не оправдали великих надежд, возлагаемых на них странюю. Кар не потрудился даже узнать сил и расположения неприятеля. Щербатов действовал нерешительно. Панин медлил в самые горячие минуты. Ни один генерал не выдался хоть бы каким-либо крупным делом, а Декалонг даже положительно повредил делу своею недеятельностью¹. Один Бибиков оставил по себе светлую память. До чего популярность его возросла в самое короткое время, видно из того, что тотчас после его смерти в обществе уже пели сочиненную в честь этого генерала песню:

Брат Бибиков! Твой плод
Увял в середине лета,
И славный твой восход
Лишен в полудни света.
Куда простерть свой взор,
Злодеи не дерзали,
Днесь паки из-за гор
Возникнуть предприали².

¹ Бибиков в письме к князю Волконскому прямо упрекает Декалонга в том, что этот генерал дал возможность Пугачеву усилиться («Продолжение времени 1774—1777 гг.». Рукоп. Румянц. муз., вышеупомянутый нами дневник Васильева). Помещенное в этом дневнике письмо писано Бибиковым из Бугульмы 26 марта после битвы под Татищевской крепостью.

² Эта песня внесена в дневник Васильева вскоре после смерти Бибикова с замечанием: «получена песня в честь генералу Бибикову», *напеваемая между обществом, следующая:*

Но если, кроме Бибикова, ни одна личность в это время не выдавалась из ряда дюжинных деятелей, то тем рельефнее встают перед нами простые офицеры, заслужившие себе историческую славу. Между ними, конечно, первое место занимает полковник Михельсон, которому, впрочем, отдана должная дань уважения всеми историками. Но другая личность как-то осталась в тумане, забытая всеми, может быть, потому, что энергии этого человека не предоставлено было более широкого поля деятельности. Мы говорим о полковнике Цыплетеве. Его заслуги не оценены. О нем никто не знает, может быть, оттого, что он как-то обойден был в свое время. Правда, ему дали чин генерала, но дела по его способностям не дали. Мы уже не раз говорили о сделанных им распоряжениях к встрече с Пугачевым, когда он несся от Казани в нижнее Поволжье. Это было в июле и августе 1774 года. Но еще в 1773 году, в конце октября,

1

Да радость умолчит,
Слезами вспомним друга,
Которого гремит
К отечеству заслуга,
И коего, на нас
Злясь, рок похитил гневный:
Мы радостный свой глас
Пременим в глас плачевный.

2

Брат Бибиков! и т. д.

3

Лютейшу смерть в степях
Знать зависть умолила,
Дабы в прекрасных днях
Живот твой прекратила:
Чтоб на пути ты пал
И чтоб тогда скончался,
Когда уж достигал
И к славе ты касался.

4

С простым ты был простой,
Ты мудр был с мудрецами,
С героями герой,
Друг верный со друзьями.
Пусть скроет в гроб твой прах
От света край далекий,
Но в дружеских сердцах
Не умрешь ты вовеки.

(«Прод. врем. 1774—1777 гг.»)

едва только Пугачев начал усиливаться и когда все местные власти довольно апатически относились к наступавшей грозе, Цыплетев понял, что народными движениями шутить нельзя, и тотчас же принял энергические меры. 1 же ноября он распорядился таким образом: 1) находившейся в Царицыне легкой полевой команде быть в полной готовности, и командир ее, Диц, исполнил это приказание; 2) привести в порядок всю военную царицынскую линию, снабдив форпосты казаками и пушками; 3) всем казакам волжского войска, отставным, малолеткам и выросткам сдвинуться от хуторов к Волге и быть в готовности встретить неприятеля, кто бы это ни был — Пугачев или киргиз-кайсаки; 4) царицынскому гарнизону быть в готовности выступить, если нужно, в поход и на прикрытие крепостей, но в то же время наблюдать, чтобы не взбунтовались пленные турки, которых было в Царицыне более 900 человек; 5) вооружить местных обывателей — бобылей, малороссиян, поляков, купцов; 6) артиллерию приготовить к делу, поставить на лафеты и снабдить боевыми припасами; 7) с Дону вытребовать на царицынскую линию до 500 казаков, из Дербетевых улусов взять до 2000 калмыков да из Астрахани просить подкрепления; 8) в волжском войске, вдоль войсковых земель от Антиповской станции вплоть до Ахтубинского городка, за Волгой, по берегу этой реки устроить форпосты против каждого жилья и ежедневно делать разъезды так, чтобы сторожевые казаки утром съезжались на полпути, разменивались вестями и вновь расходились на рекогносцировки, исследуя тщательно «шляхи», т.е. следы в степи к Волге и на нагорной стороне, такие же следы от Волги к жилищам; 9) против самого Царицына, за Волгой, устроить особый форпост (главный), с офицером, унтер-офицером, солдатами и казаками, с пушкой и канонирами; этим форпостным, верстах в 10 от Ахтубинского Городка, в степи, съезжаться с форпостными волжского войска и меняться вестями, а потом следовать на низ и вновь возвращаться, непрестанно наблюдая за степью; 10) при форпостах на Волге иметь готовые лодки и передавать вести от форпоста к форпосту и на противоположную сторону Волги; 11) офицеру главного форпоста раз в неделю осматривать все форпосты; 12) против Царицына, за Волгой и по сю сторону Волги, на песчаных косах, иметь две косные лодки с 8 гребцами; сторожевые должны окликать каждое проходящее по Волге судно и ночью стрелять в подозрительные суда; 13) ниже Царицына устроить форпосты по нагорной стороне, потому что по луговой это неудобно по множеству «ериков» (впадающих в Волгу глубоких оврагов); 14) всем рыбакам велено быть на нагорной стороне с своими лодками, а на

луговой находится лишь форпостным лодкам; судам велено приставать опять-таки только к нагорной стороне¹.

За этими распоряжениями мимо Царицына не могло ничто прокрасться, не быв не замеченным.

Наконец оборона Цыплетевым Царицына и первая испытанная здесь Пугачевым неудача лишила последнего на несколько дней энергии. Тут и подоспел Михельсон с своим окончательным, решительным ударом.

«Присутствие духа, неусыпная бдительность, деятельность и мужество сопровождали этого страшного (fürchterlichen) человека во всех его предприятиях». Так говорит о Михельсоне его современник и очевидец описываемых нами событий, иностранец, издавший свои записки в Германии². В другом месте этот писатель в таких словах выражается о Михельсоне: «Гордое немецким именем нашего спасителя сердце мое излилось в благословениях на его особу, и, пока я живу, я не могу слышать имени Михельсона без глубочайшего и величайшего уважения»³.

Не лишены также интереса отзывы этого наблюдательного иностранца как о главных мотивах, вызвавших пугачевщину, так и о том, почему в России так легко могла встать и до такой страшной катастрофы дойти эта смута. Он говорит, что во многом тут виноваты помещики и их бесчеловечные отношения к крестьянам: дворяне, по его словам, «служили только для угнетения своих ближних, и потому, если они обращались с своими крестьянами наравне со скотом, то они и не заслуживали ни малейшей пощады»⁴. Что же касается тогдашнего состояния России, представлявшей все данные к безурядицам, то относительно этого предмета он отзывался следующим образом: «При существовании значительного числа мелких гарнизонов, которые содержатся правительством в больших и малых крепостях, нет ничего легче, как уничтожить эти крепости одну за другою, едва лишь вспыхнет возмущение, потому что крепости не могут подать одна другой никакой помощи, не подвергая величайшей опасности население местностей, лишенных гарнизона. Открытые города представляют еще большие опасности, и, несмотря на это, в них господствует непростительная беспечность в отношении общественного спокойствия и безопасности. Воеводы и другие высшие начальственные лица

¹ О Пугачеве (главн. царц. дело), л. 511—512.

² «Bemerkungen», 219—220.

³ Там же, 205.

⁴ «Bemerkungen», 233.

могли бы, если б только позаботились об этом, получать вести из кабаков и народных сходбищ о возмутительных речах и тайных совещаниях через верных и преданных людей, но они, по-ложительно, не заботятся об этом. Оттого есть много деревень, в которых проживает всякая вредная сволочь, воры и разбойники, и при всем том воеводы, которые могли бы очень хорошо следить за намерениями и действиями этих нарушителей спокойствия, нисколько не принимают на себя труда останавливать их бесчинства или нечаянными и частыми поисками предупреждать их ... Богатый дворянин, — говорит он дальше, — мало горюет о том, что во время своего одинокого путешествия он может подвергнуться опасности от разбойников, потому что для его особы они нисколько не страшны: он никогда не путешествует иначе, как окруженный огромным числом провожатых¹; а если этого нет, то все же разбойники очень боятся нападать на таких проезжих, за которых они могут понести большую ответственность или которые имеют столько влияния на начальство, что могут потребовать самого строгого следствия над виновными².

Таковы отзывы иностранцев о состоянии России того времени. Русская литература конца шестидесятых и начала семидесятых годов прошлого столетия указывала на то же в своих «письмах», «путевых заметках», рассказах, аллегориях, баснях, рассеянных на страницах тогдашних журналов, в годы, предшествовавшие пугачевщине³.

XIV

Долго не мог оправиться русский народ после этого кровавого пира. Оргия была слишком бешеная, опьянение полное, и зато тяжело было пробуждаться после этой оргии. Отуманенному воображению долго томившегося в тяжелой доле народа казалось, что счастье было «так близко, так

¹ Что иностранец говорит правду, т.е. что в прошлом еще веке русские большие господа и даже средней руки помещики ездили по России не так, как мы теперь ездим, а с большою свитою и с вооруженными конвоями, то это подтверждают архивные дела того времени. См. статьи: «Атаман Иванов и есаул Юдин», «Атаман Брагин и разбойник Зубакин», «Заметаев» и др. (во II т. настоящих монографий).

² «Bemerkungen», 240—250.

³ На эту сторону тогдашней журналистики мы указывали некогда особо в статье: «Обличительная литература в первых русских журналах и стеснение гласности. 1760—1775 гг.» («Русское Слово», 1860).

возможно». За эту пору дикой оргии у него вылилось все, что целыми столетиями накопало на сердце, и когда те из них, которые уцелели, опомнились и увидели свою ошибку, положение их стало еще невыносимее.

Ужасную картину представляла Россия не только в то время, когда в Москве еще шел сложный процесс по этому делу, но и тогда, когда от сожженного трупа этого страшного человека, который заставлял содрогаться весь государственный организм огромной монархии, осталась только горсть земли¹ и когда настала пора залечить нанесенные им всему государству раны. Остроги, а где не доставало острогов — землянки, сараи и амбары долго переполнены были народом, ждавшим тяжелого наказания за свои ошибки. Долго еще читали связанным колодникам: «По учинении вам жесточайшего плетми наказания и утверждении целованием креста и Евангелия в возвращении себя в должную верность и в безмолственное законной государыне повиновение и в послушание учрежденным от ее величества начальникам и собственным помещикам имеете вы возвратиться в дома свои». Долго еще чинилось это «жесточайшее» наказание и долго еще по всем дорогам попадались своры злосчастных арестантов, навязанных на длинные канаты и с трудом влекущих на себе «ручные и ножные колодки». Если кто-либо из этих колодников оказывал «хотя малое беззаконие», то такового, «яко недостойного уже совсем жить», кололи. Крестьян у помещиков осталось наполовину: большая часть пропала без вести, перебита, перемерла, много пошло в рудники. В каждой семье не доставало кого-нибудь. Поля остались не вспаханними, не засеянными. Подати не заплачены. В архивных делах того времени во всех мелочах сама собой рисуется страшная картина того положения, в каком очутилась Россия, в особенности же местности, непосредственно пострадавшие от мятежа².

Вот некоторые черты, дающие понятие об этой картине.

«Прошло несколько месяцев после казни Пугачева, а все дороги, пролегающие по местностям, пострадавшим от мятежа, все еще оставались не безопасными от множества бродивших по разным направлениям шаек, — говорит очевидец. — Но

¹ «Пугачева труп и прочих на Болоте и с эшафотом сожгли» («Продолж. врем. 1774—1777 гг.»).

² Мы не заимствуем этих подробностей из архивных дел провинциальных городов Поволжья, потому что это составило бы материал для весьма объемистой книги. Мы коснулись этого предмета только в общих чертах.

вслед за тем другой бич посетил страну и распугнул эти шайки одну за другою. Всеобщий неурожай, охвативший страну более чем на сто немецких миль в окружности, вызвал страшный голод между крестьянами. Проселочные дороги были покрыты несчастными, которых медленная походка и обезображенные голодом лица не могли не возбуждать живейшего сострадания. Но при всеобщей нужде сострадание это могло быть только пассивным, а не могло явиться настолько действенным, насколько требовало этого бедственное положение несчастного народа. Те из помещиков, которые, как хорошие хозяева, наполнили свои амбары хлебом на случай нужды, должны были помогать своим собственным крестьянам и могли подать очень скудную помощь тем, которые от голода скитались по их землям. Многие из этих несчастных валялись мертвыми по большим дорогам, в то время когда их бесчеловечные помещики в роскоши и полной неге проживали по губернским городам и в столице и, предаваясь азартным играм¹, проигрывали такие суммы, десятой доли которых достаточно было бы для того, чтобы спасти от ужасов голодной смерти множество семейств. Многие помещики были до того жестоки, что охотнее заботились о своих гончих собаках, чем о крестьянах, кровавому поту которых они большею частью обязаны были тем благосостоянием и богатством, которое расточали таким непростительным образом».

«Куда ни помотришь, — говорит очевидец, — везде видишь одно только бедствие. Саровская пустынь, монастырь, который своими запасами и собранными от доброхотных дателей суммами в состоянии был помогать нуждающимся, стала для целой страны главным убежищем всем голодным, которые издалека стекались туда. Пятьсот голодных в продолжение трех дней были снабжаемы в этом монастыре обедом, чтобы после того уступить место другим пятистам голодным» и т.д.

Вникнув во все подробности эпохи Пугачева, как то открывают нам главным образом архивные дела того времени, мы положительно можем сказать, что те поступают ошибочно, которые стараются найти разгадку этого явления в происках какой-либо недовольной партии, а еще менее — в придворной интриге. Европа также не принимала участия в этом деле. Что и недовольная партия, и придворные «враги», как называет

¹ Что иностранец прав, указывая на развитие в тогдашнем обществе азартных игр, то подтверждение этому можно видеть в именном указе императрицы об азартных играх, который мы цитировали выше, при обозрении общего состояния России.

некоторых из своих «персональных оскорбителей» императрица, и раскольники, и даже наши западные политические недоброжелатели могли воспользоваться смутой для своих целей, чтобы запутать и запугать императрицу, все это возможно и это так и было. Но самое явление вызвано было более важными причинами. Начало его надо искать глубже, а именно в политических ошибках предков, за которые история наказывала потомство, передавая как бы по наследству подобные долги отцов на ответственность детей.

ПУГАЧЕВ ДО САМОЗВАНСТВА И ПЕРВЫЕ ДЕЙСТВИЯ САМОЗВАНЦА ДО ВЗЯТИЯ ТАТИЩЕВСКОЙ КРЕПОСТИ

*(Преимущественно на основании показаний самого
Пугачева)*

I

В войске донском, в Зимовейской станице, жил служилый казак Иван Михайлов Пугачев. У него было два сына, Никита и Емельян, и две дочери. До семнадцатилетнего возраста Емельян жил при отце, как и прочие казачьи малолетки, на свободе и в праздности, и на восемнадцатом году записан был в казаки на место отца, который вышел в отставку. Через год Емельян женился, и не прошло недели, как его нарядили в прусский поход вместе с прочими донскими казаками, а начальником отряда назначен полковник Илья Денисов. Молодой Пугачев обратил на себя внимание полковника своею «отличною проворностью», и тот взял его к себе в ординарцы. По выступлении с Дона казаки провели первую зиму в Познани, потом, оставив зимние квартиры, однажды в ночное время были настигнуты отрядом прусского войска. Когда в войске сделалась тревога, Пугачев, у которого под присмотром находились лошади Денисова, второпях одну упустил; за оплошность Денисов наказал его «нещадно плетью», что долго помнил молодой ординарец.

Вскоре к войску пришло известие, что императрица Елизавета Петровна скончалась и на престол вступил Пётр III. С прусским королем заключено было перемирие, и русские войска пошли против своих прежних союзников; но воевали недолго; корпус гр. Чернышева был отослан в Россию. Едва наши войска успели перейти Одер, как получили известие, что на престол вступила императрица Екатерина Алексеевна. Войска присягнули ей в верности. Присягал и Пугачев, которому было тогда 20 лет.

«О названии себя государем мне тогда и в голову еще не приходило», — говорил он о себе впоследствии.

Воротившись из похода домой, Пугачев прожил в своей станице четыре года. Но вскоре он опять был командирован в Польшу с другими казаками под начальство генерала Кречетникова. Служба их состояла в том, что они выгоняли из Польши русских беглых, которые огромными партиями шатались за границей. С одной партией таких бродяг Кречетников отправил казаков в Чернигов, откуда Пугачев воротился в свою станицу. Но и теперь он недолго пробыл дома. Через полтора года из войска донского наряжено было четыре полка в турецкий поход под предводительством атамана Грекова. Пугачев поступил в полк храброго Кутейникова и произведен в хорунжие. Находясь в походе, Пугачев не раз имел случай проявить свои честолюбивые наклонности: его давно мучила жажда славы, подвигов и отличий перед товарищами; но рядовая служба безвестного хорунжего, бедного, безграмотного, взрослого в полудикой станице, не могла выдвинуть его вперед. В пьяном виде он хвастался перед казаками своей саблей, и на вопрос одного из них, откуда он взял ее, Пугачев отвечал, что сабля пожалована ему государем Петром I, что он крестник этого государя. Впоследствии он сам заклинал, что выдумал это без цели, по одному самолюбивому побуждению — стать известным между товарищами. И он достиг своей цели: слух о нем пронесся между казаками, дошел до полковника, и о Пугачеве говорили, хотя некоторые знали, что это хвастовство. Время доказало, что эта личность выходила из ряда обыкновенных... По взятии Бендер главнокомандующий русскими войсками граф Петр Иванович Панин отпустил Пугачева за болезнью домой на месяц и с ним сто казаков. «Что ж! — говорил после Пугачев, — когда я, будучи в армии, назывался государя Петра I крестным сыном, о том никогда и в разум не приходило назваться мне самим государем...»

Отпуск был так непродолжителен, что Пугачев не имел времени поправиться, но несмотря на то, что болезнь несколько не уменьшилась, молодой хорунжий собрал свой отряд и повел к армии. Миновав Донец, он почувствовал, что не в силах дальше ехать. Вместо себя он нанял другого казака, а сам воротился домой и занемог опасно: на руках и ногах открылись у него огромные раны и не было никакой надежды к скорому выздоровлению. «Станичные командиры», видя такое положение Пугачева, советовали ему взять станичный аттестат и билет для свободного проезда и ехать в Черкасск лечиться.

В это время Пугачев совершил первое гражданское преступление, и оно было началом всей его последующей ужасной деятельности: он способствовал побегу одного из своих родственников, казака Павлова, которому тяжкими казались условия тогдашней казацкой жизни.

Донское начальство узнало, кто способствовал этому побегу.

Пугачев видел беду, он хорошо был уверен, что за такие поступки на Дону не прощают — и сам бежал... Это было первое бегство Пугачева... Он бежал, не сказав о том никому, не простившись ни с женою и детьми, ни с старухою матерью; две недели он жил в степи, бродил по лесу и по берегам речек, питаясь чем Бог послал, бродил без цели, как бродили тогда целые сотни тысяч людей недовольных, виновных и невинных, — и эта скучная жизнь беглого надоела ему, потому что суждена была ему иная доля. Он сам пришел домой, где его взяли под караул и отослали в Чирскую станицу, в розыскную команду. На допросе он признался во всем, закован в колоду и послан по станицам в Черкасск за безопасным конвоем. Когда его привезли в Цимлянскую станицу, приятель его, казак Худяков, с которым они водили хлеб-соль, просил станичного атамана отдать ему Пугачева на поруки, для доставления в Черкасск. Атаман согласился. Тогда Худяков снял с него колоду и отправил в Черкасск с своим сыном-малолетком, которому не было и двадцати лет. При прощании отец сказал сыну на ухо, чтобы тот отпустил Пугачева с дороги. Сын так и сделал: когда они выехали в степь, Пугачев простился с молодым Худяковым и пошел куда глаза глядят, потому что ему уже нельзя было воротиться на родину. Через несколько времени он вышел в Малороссию, в Изюмский полк и в слободе Кабаньей явился к одному мужику по фамилии Коровка, которому признался, что он беглый донской казак и не знает, куда ему деваться. Коровка научил его, как спастись от смерти, и совет этот проложил Пугачеву дорогу к той жизни, какая ожидала его. Он советовал пробраться в Польшу, а оттуда явиться уже в качестве польского выходца-раскольника, что дозволено было последними распоряжениями правительства.

Пугачев принял этот совет. Здесь только он узнал, что есть возможность обмануть всех, спасти свою голову и целый век прожить безопасно. Коровка дал ему в проводники сына, и они поехали в стародубский монастырь, населенный раскольниками и всяким сбродом: это был притон всего, что бежало из-под плетей и виселицы, от произвола помещиков и

подьячих. Пугачев прожил в монастыре пятнадцать недель у какого-то раскольниковского старца Вавилы и опять услышал тот же совет, какой дал Пугачеву Коровка.

Тогда Пугачев и сын Коровки отправились в Польшу, проехали между русскими форпостами и явились к знаменитой столице польских раскольников, к слободе Ветке, которая населена была людьми всякого сорта. Но больше трех дней Пугачев не хотел оставаться в Ветке и воротился в Россию, потому что он мог теперь назваться польским выходцем. Правда, желание его было пробраться в Бендеры, но с тем фальшивым паспортом, какой написал ему сын Коровки, этого нельзя было сделать: там предъявлялись печатные паспорта. Находясь в Польше, Пугачев нанимался в косцы и заработал небольшое количество денег, с которыми и мог выйти в Россию. Пугачев явился на добрянский форпост и сказался польским выходцем, утаив настоящее свое звание. Оставаясь в продолжение шести недель в карантине, он для прокормления себя нанимался в работники, и здесь впервые посетила его мысль назваться именем покойного государя. Странная мысль родилась не в нем самом, а пришла от других. С ним был один беглый солдат, который нашел в Пугачеве сходство с государем Петром Федоровичем. Это узнал добрянский купец Кожевников и, «лаская его разными образами», старался выведать от него тайну его происхождения. Пугачев не утаил перед ним ничего. Тогда Кожевников говорит Пугачеву:

— Слушай, мой друг! Если ты хотел бежать за Кубань, то бежать одному не можно. Хочешь ты пользоваться и начать лучшее намерение? Есть люди здесь, которые находят в тебе подобие государя Петра Федоровича... Прими ты на себя это звание и поди на Яик. Я точно ведаю, что яицкие казаки притеснены: объявись там под сим именем и подговаривай их бежать с собою. Сей солдат скажется гвардейцем и будет всех уверять, что ты подлинно государь, и он тебя знает, а простой народ сему поверит. Обещай яицким казакам награждение по 12 рублей на человека; деньги же, если будет нужда, я вам дам, и прочие помогут, с тем только, чтобы вы нас, раскольников, взяли с собою, ибо нам здесь жить староверам стало трудно и гонение нам делают непрестанное.

Пугачев обрадовался этой смелой мысли, но он не знал, как привести ее в исполнение. Заговорщики призвали на совет добрянского кузнеца Крылова и начали рассуждать о приведении мысли в дело. На совете положили, чтоб Пугачеву ехать на Иргиз, в Мечетную слободу, к игумену Филарету. Кожевников и Крылов говорили, что Филарет примет его, даст по-

мощь и советы, как человек лучше всех понимающий положение дел яицкого войска; они положительно уверяли, что за Пугачевым пойдут все раскольники. Самозванец и мнимый гвардеец, получив паспорта, немедленно отправились в путь и на дороге заезжали к Коровке и получили от него 370 рублей на вспомоществование общему делу, потом к известному луганскому казаку Кузнецову, который некогда советовал Пугачеву возмутить яицких казаков и бежать за Кубань.

Кузнецов спрашивал их, куда они намерены пробраться, и Пугачев сказал, что идут на Иргиз.

— Ныне и на Иргизе стало великое гонение староверам, так не лучше ли пробраться в другое место? — заметил Кузнецов.

Пугачев признался, что он думал прежде вместе с зятем бежать за Кубань, но Кузнецов возразил, что эта мысль несбыточная.

— Как можно бежать в такой далекий путь малому числу? Слышно здесь, что яицкое войско давно бунтует, так лучше его подговорить бежать вместе.

— Каким способом и путем пробраться на Яик? — спросил Пугачев.

Кузнецов присоветовал то же, что советовали ему Кожевников и Крылов, — идти к Филарету; говорил, что раскольники не пожалуют ничего, дадут денег сколько угодно, и все за него станут; что в этом деле примет деятельное участие донской казак Вершилов, «почтенный человек между раскольниками» и имеющий огромные денежные средства. При этом он сам вручил ему 74 рубля да казак Долотин дал 42.

Так они доехали до Малыковки (ныне Вольск, уездный город Саратовской губернии) и явились к управителю, который приказал им обождать несколько дней, а между тем намерен был отправить в симбирскую правительственную канцелярию для записки их новопоселенцами на Иргиз. В это время происходил рекрутский набор, и мнимый гвардеец, спутник Пугачева, пошел в солдаты наемщиком за одного малыковского крестьянина, и с той поры им не довелось уже встретиться. Пугачев с позволения малыковского управителя, не быв в Симбирске, поехал на Иргиз в филаретовский монастырь, к настоятелю Филарету, с которым говорили ему в Добрянке Кожевников и Крылов, он пробыл у настоятеля три дня и потом вместе с ним поехал опять к Малыкову просить управителя, чтобы тот не отправлял его в Симбирск, «ибо, — говорил Пугачев, — лошадь у меня худа, так что не на чем скоро отправиться». Из уважения к Филарету управитель со-

гласился, и Пугачев вновь явился в иргизском монастыре, где, впрочем, пробыл недолго и поселился в Мечетной слободе.

Раскольники, следовательно, были первыми руководителями этого обширного замысла.

II

Это было в ноябре 1772 года. 15 ноября Пугачев вместе с крестьянином Филипповым отправился в Яицкий город для покупки рыбы. По-видимому, это начало того обширного заговора, руководителем которого был Филарет до той поры, пока не были втянуты в него сотни лиц и пока смута не взволновала весь северо-восточный край России. В Яицке Пугачев остановился у казака Дениса Пьянова, от которого выведал о состоянии яицкого войска. Однажды, когда они сидели за столом и к обеду недостало хлеба, хозяин заметил с горестью:

— Вот до чего мы дошли, что уже и хлеба недостало.

— Отчего? — спросил Пугачев.

— У нас было в Яицком городе убийство войсковой руки; казаки, в том числе и я, хотя не дрался, однако ж при той свалке был; убили генерала фон-Траубенберга и многих из его команды, также и старшинской, казаков и чиновных людей немало. А как дошло сие убийство до ее величества, то прислан был для усмирения генерал Фрейман; а как он шел, то войсковые казаки выехали было против его на сражение и не хотели впускать в Яицкий городок; однако ж Фрейман осилил, и войско, кое против его выезжало, возвратясь в городок, видя свою беду неминуемую, согласилось все бежать за море в Золотую Мечеть, а многие разбежались, в том числе и я шатался по степи, на Узенях был в укрывательстве.

— Так вы хотели, видно, то же самое сделать, как наш Некрасов сделал измену, — заметил Пугачев, — подговоря многих и бежал за Кубань, на реку Лобу. А перед выходом обещал каждому казаку по 12 рублей на человека, а как вышел в поле, то ни полушки и не дал.

— Да как быть-то! — сказал Пьянов. — Великое гонение... Вот я и теперь в бегах: того и смотри как придут и возьмут под караул.

— Да как же быть? — снова заметил Пугачев. — Хотя по поимке тебя и поколотят, да, может, и простоят; а когда поедете за границу, так и почтут вас изменниками — получите величайший от государыни гнев...

Но это смирение в словах только маскировало его хитрые происки, раздражало недовольных и вызывало на откровенность. Пугачев дал заметить Пьянову, что он приезжал не спроста, многого не высказал и на многое намекнул. Крестьянин Филиппов, бывший с Пугачевым в Яицке, привез домой много странных слухов и, по простоте ли сердца, по наущению ли Пугачева, распустил их в народе, который не замедлил донести о том мальковскому управителю. Тогда велено было схватить Пугачева, который был уже в Мальковке и продавал рыбу, и посадить под караул для допроса; но Пугачев, приведенный к допросу, твердо отвечал, что он не подговаривал яицких казаков к походу на Лобу для подданства турецкому султану, не сулил по 12 рублей на человека, что на границе у него нет двухсот тысяч рублей и на семьдесят тысяч товара и что никакой паша с пятью миллионами не ожидает их за границей. А доносчики именно показывали, что он говорил так, а не иначе. Его стали немилосердно сечь батогами, пытая, не солдат ли он, не барский ли человек. Но Пугачев упорно стоял на своем и говорил, что у него с Пьяновым разговор касался Некрасова — и только.

После допроса его отправили в Симбирск с двумя конвойными; дорогой он стал упрашивать проводников, чтобы отпустили его, но те требовали по сто рублей, а Пугачев не имел этой суммы. В Симбирске его не приводили к допросу. Здесь он опять пробовал подкупить чиновников, обещая им три рубли за освобождение; нашел подьячего, который брался уговорить воеводу, асессора и секретаря; но как с Пугачевым этой суммы не было, то он ни в чем не успел и вскоре послан был в Казань. Скованный в ручные и ножные кандалы, он приведен был в губернскую канцелярию и спрошен: что за человек? И опять отвечал, что беглый донской казак.

Затем он переведен был в острог. Вместе с другими колodниками Пугачева посылали на работы, преимущественно на Арское поле. В остроге он свел дружбу с одним арестантом, богатым купцом Парфеном Дружининым, от которого ничего не скрывал и подговаривал к побегу; но Дружинин не знал, как и куда бежать.

В остроге в одном караульном солдате они заметили, по выражению Пугачева, «малороссийскую наклонность к неудовольствию в его жизни» и воспользовались этой слабостью, чтобы привлечь его на свою сторону. Пугачев действовал так хитро, что умел приобрести всеобщую любовь, и не было никого, в ком бы он не находил к себе сочувствия. Раз пропали у него деньги, и товарищи, узнав об этом, хотели отыскать виновного.

«Я считаю сие за милостыню... Кто взял — Бог с ним», — сказал им Пугачев. Он не пил вина и часто молился Богу, за что арестанты и солдаты считали его добрым человеком.

«И сия жизнь не была тому причиною, чтобы вкрасться людям в любовь, и после как назовусь государем, чтобы можно было на сию благочестивую жизнь сослаться», — говорил после самозванец, когда ему довелось передавать людям исповедь своей жизни.

Многие в городе узнали об этих прекрасных качествах арестанта и охотнее всех давали ему милостыню. «Кто здесь Емельян Пугачев? Вот ему рубль», — часто слышали караульные от приходивших к острогу, и слава о Пугачеве разошлась между арестантами.

Когда был обдуман план побега и они открыли его согласному с ними караульному солдату, малороссиянину, и тот одобрил его, Дружинин увиделся с своим пятнадцатилетним сыном, который жил в Казани, дал ему денег и велел купить лошадь и кибитку. Когда все было готово, Дружинин приказал сыну выехать ко двору одного знакомого ему священника, но так, чтобы никто этого не заметил, и где-нибудь вблизи дожидаться их; сами же они в этот день намерены были отпроситься у дежурного офицера за сбором милостыни. Офицер отпустил арестантов с двумя конвойными солдатами, из которых один был участником их заговора. Это было в последних числах мая 1773 года. Попа они не застали дома и должны были воротиться в острог, ибо, говорили, «по небытности попа дома, не с кем напиться и напоить допьяна другого солдата, который не был к побегу согласен; а с попадьею-де пить не хорошо, да она же и пить не согласится, а без хозяина чинить сие дурно». Но часа через два, в обед, они снова получили позволение выйти из острога и между тем заметили, что маленький Дружинин все приготовил к отъезду и кибитка была недалеко. Дружинин послал попа в питейный дом купить вина и меду, и все, кроме Пугачева, начали пить. Принесенного попом вина оказалось мало, и Дружинин опять послал его в кабак: всего больше они старались спить того солдата, который не знал о заговоре; впрочем, и сам поп не ведал, что они готовятся бежать. После попойки арестанты простились с попом и пошли в острог. На улице встретил их маленький Дружинин с своей кибиткой.

— Ямщик! Что возьмешь довести до острога? — крикнул к нему отец, показывая вид, что не знает его.

— Много ли вас? — спросил мальчик.

— Четверо.

Маленький заговорщик запросил пять копеек, и арестанты с конвойными сели в кибитку. Ямщик покрыл их рогожею, чтобы не видно было, куда повезет их, и поскакал в противоположную сторону от острога. Пьяному солдату показалось, что они едут слишком долго.

— Что так долго едем? — спросил он.

— Видно, не в ту сторону поехали, — ответил Пугачев, и когда уже выехали на Арское поле, открыли рогожку, солдат удивился, что они уже за Казанью.

— Оставайся с благополучием! — сказали ему заговорщики и вытолкнули из телеги.

Пушкин в «Истории Пугачевского бунта» совершенно иначе рассказывает побег Пугачева из Казани. Он говорит, что преступник, «под стражею двух гарнизонных солдат, ходил по городу для собирания милостыни. У Замочной Решетки (так называлась одна из главных казанских улиц) стояла готовая тройка. Пугачев, подошед к ней, вдруг оттолкнул одного из солдат, его сопровождавших, другой помог колоднику сесть в кибитку, и вместе ускакали из города»¹. Заметно, что Пушкин пользовался показанием солдата, выброшенного из кибитки на Арском поле, который, чтобы правдоподобнее маскировать свою оплошность, сочинил небывалую историю. Мы видели, что дело было не так.

Через три дня пришла в Казань конфирмация военной коллегии на решение казанского суда: «Оному Пугачеву, за побег его за границу в Польшу и за утайку по выходе его оттуда в Россию о своем звании, а тем больше за говорение возмутительных и вредных слов, касающихся до побега всех яицких казаков в турецкую область, учинить наказание плетьюми и послать, так как бродягу и привыкшего к праздной и продерзкой жизни, в город Пелым, где употреблять его в казенную работу»². Но эта конфирмация осталась пришитою к делу — Пугачева искать уже было поздно...

III

Целые сутки скакали беглецы, не останавливаясь и не кормя лошади, и приехали в одну татарскую деревню, где укрывалась жена Дружинина. Взяв ее с собою и прикупив еще одну лошадь, они проскакали к тому городу, где жил Дру-

¹ «Ист. Пуг. бунта», I, 15.

² Там же, стр. 28—29.

жинин, и, не доезжая с версту, послали маленького Дружинина взять остальных детей; но жители узнали его, хотели вязать, и мальчик принужден был спасаться бегством. Арестанты поехали дальше и на другой день остановились уже на берегу реки Вятки, на перевозе. На вопрос, куда они едут, беглецы отвечали, что на Кураковский завод, и были перевезены через Вятку. Но никто из них не знал дороги ни на Яик, ни на Иргиз; а между тем нельзя было не думать, что их ищут, что, быть может, погоня уже близко, а спросить о дороге было не у кого и небезопасно. Но вот они повстречали на дороге неизвестного человека, спросили, как и где перебраться Каму и какая дорога доведет на Яик. Тот указал им перевоз и велел ехать на село Сарсасы.

Пугачев вспомнил, что в Сарсасах у него есть знакомый мужик Алексей Кандалинцев, которого он узнал в Казани, и потому прошел прямо в его дом, между тем как Дружинин остановился за селом.

Отсюда, обманув Дружинина, Пугачев вместе с Кандалинцевым пробрался на Иргиз; но прежде они приехали на Таловский умет, содержанием которого был некто Оболяев, по прозванию Еремкина Курица. Здесь Пугачев раздумал уже ехать на Иргиз, где его помнили и могли опять схватить. Передав об этом Кандалинцеву, он купил у него пару лошадей с телегой и остался на умети. Еремкина Курица знал Пугачева: они познакомились с ним в то время, когда Пугачев вместе с крестьянином Филипповым в первый раз ходил мутить яицкое войско и этот же Филиппов предал его.

— Что, Емельян, отпущен из-под караула? — спросил Курица.

— Нет, а я бежал, — и просил Курицу позволить ему пожить у его несколько времени.

— Живи: я много добрых людей скрывал.

Находясь у Еремкиной Курицы, Пугачев проводил время в охоте, стрелял птиц и ловил в степи зверей. В одно время приехали на умет также для охоты несколько яицких казаков и во время обеда разговорились о печальном положении яицкого войска; говорили, что они скрываются от городских властей, что, по убиении генерала фон-Траубенберга, на казаков наложено взыскание, на иного 30, 40, а на иных 50 рублей, что казакам той суммы заплатить нечем и они разбежались.

— А с жен наших взять нечего, — добавляли они, — что хотят, то делают с ними... А заступиться за нас некому; а сотников наших, кои было вступились за войско, били кнутом и послали в ссылку. Итак, мы вконец разорились и разо-

ряемся. А как мы укрываемся и после пойманы будем, то и нам, как сотникам, как видно, также пострадать будет... И чрез это мы погибаем, да и намерены, по причине той обиды, разбежаться все. Да мы и прежде уже хотели бежать в Золотую Мечеть, однако ж отдумали до времени...

Пугачев слушал и обдумывал: в голову его опять закралась мысль, которая и прежде изредка посещала его... Он видел, что настала его пора, и решился объявить недовольному народу, что он — император Петр III, которого давно поминала Россия.

Пугачев был не первый, воспользовавшийся верою народа, что не умирал император Петр III, как возведено было милостивым манифестом; что он жив и находится где-то в укрывательстве; что придет пора, когда он явится своему народу и поведет его к счастью путем мирным, где нет ни неправых поборов и тяжких податей, ни жестоких помещиков и судей неправедных. До Пугачева было несколько самозванцев, которые все кончили свое дело несчастливо. А между тем ничто не могло разбить странного самообольщения народа, который чаял пришествия доброго царя.

В то время, когда Пугачев, спасаясь от смертной казни, ожидавшей его за способствование к побегу на Терек зятю своему Павлову, бежал из родной станицы и скитался по Украине и Польше, не зная, где преклонить голову, раньше чем Кожевников и Крылов подали ему мысль назваться покойным императором, — император уже явился, и смуты выразили сочувствие народа к нему. Это был самозванец Богомоллов.

Из разговора, слышанного Пугачевым за обедом от яицких казаков, а также из слов Дениса Пьянова, горько жаловавшегося ему на бедственное положение, до какого дошло яицкое войско, наконец, по всему виденному и слышанному, Пугачев мог заключить, что в яицком войске непокойно и что сдерживаемые народные страсти ищут только предлога и опоры, чтобы мстить за оскорбления; притом он вспомнил слова прежних своих знакомых Кузнецова, Кожевникова, Крылова, Коровки и игумена Филарета и в нем заговорила его природная страсть выдвинуться из ряда обыкновенных людей, из той узкой среды, куда толкнула его несправедливая судьба (так он думал). Ему было тридцать лет, когда жизненные силы его находились в полном цвете, страсти определительные выразились каким-то смутным желанием чего-то лучшего, неизведанного им, стремлением к тому законному хорошему счастью, о котором он мечтал еще в отцовском доме, а между тем он все еще оставался безвестным казаком, беглым аре-

стантом, безвозвратно потерявшим и свою семью, и родину, и свой первый офицерский чин, и всю карьеру честного человека. Жажда славы, подвигов и всеобщей известности, с самого малолетства овладевшая его пылкой душой, все еще не была удовлетворена и всего сильнее говорила в нем.

IV

Яицкое войско до самого восшествия на престол императрицы Екатерины II в делах внутреннего распорядка и суда обладало драгоценным правом, к сожалению редко выпадающим на долю не только подвластных стран, но даже самостоятельных государств, — правом *самоуправления*. «Совершенное равенство прав; атаманы и старшины, избираемые народом, временные исполнители народных постановлений; круги, или совещания, где каждый казак имел свободный голос и где все общественные дела решаемы были большинством голосов; никаких письменных постановлений; *в куль да в воду* — за измену, трусость, убийство и воровство — таковы главные черты сего управления», — говорит Пушкин в своей «Истории», основываясь на современных свидетельствах. Когда случалось какое-либо общее войсковое дело, на колокольне соборной церкви били *сплох*, чтобы все казаки шли на сборное место к войсковой избе, где ожидал их атаман. Когда народ был в сборе, атаман выходил из избы с булавою в руке; за ним шли есаулы с жезлами, входили в войсковой круг, клали жезлы и шапки на землю, читали молитву и кланялись сперва атаману, а потом на все стороны казакам. После того опять брали жезлы и шапки в руки, подходили к атаману, чтобы принять от него приказания, возвращались к народу и громко приветствовали его словами:

— Помолчите, атаманы-молодцы и все великое войско яицкое!

Потом, объявив дело, для которого собрались, спрашивали:

— Любо ль, атаманы-молодцы?

Тогда со всех сторон или кричали: «Любо!» — или поднимали ропот и крики: «Нелюбо, нелюбо!» — и атаман сам начинал увещевать несогласных, объясняя дело и исчисляя выгоды от принятия предложения. Когда атаманом были довольны и видели, что дело правое, то соглашались; в противном случае ропот не умолкал и воля народа исполнялась¹.

¹ «Истор. и стат. об. ур. каз.» («История Пугачевского бунта», I, пр.13).

Эти исконные права свободного народа мало-помалу стеснялись русским правительством, которое исподволь вдавливало в общую рамку административных форм все, что не согласовалось с ними: так втянуты были в систему русской жизни вольная малороссийская Речь Посполитая, Запорожская Сечь, войско донское, волжское и яицкое. Иногда дорого обходилось самой России то тяжелое ярмо, которое она налагала на подвластные ей полусвободные области; но она ни на шаг не отступала от своей системы. Яицкое войско продало свою волю кровью многих тысяч. Правительство, по своему обыкновению, лаская одних, чтобы привлечь на свою сторону, вооружало против них остальное население; оно умело возбуждать внутренние раздоры, восстанавливало одну сторону против другой и потом пользовалось плодами рук своих. С самого начала царствования Екатерины II народная партия яицкого войска жаловалась на притеснение со стороны лиц, преданных правительству, на чиновников, которые грабили и оскорбляли всех, кто имел с ними какое-либо столкновение, и, потеряв всякое терпение, начала бунтовать. Правительство нарядило следственную комиссию из генерал-майоров Потапова, Черепова, Бримфельда и Давидова и гвардии капитана Чебышева. Войскового атамана Андрея Бородина удалили от должности; на его место избрали Петра Тамбовцева. Казаки тайно посылали ходатаев в Петербург, к самой императрице, принести справедливую жалобу на притеснения; но граф Чернышев, тогда уже президент военной коллегии, самоуправно приказал схватить их, заковать в оковы и наказать как бунтовщиков. Казаки теряли надежду. Правительственная партия издевалась над своими противниками, давая народу чувствовать, что прошла его воля, попораны все права и заветные обычаи, которыми гордилось старое войско; даже бороды казацкие не были оставлены в покое: их грозили сбрить.

Не оставалось ничего больше, как силой защищаться от позора и мстить за оскорбления, за насмешку, которая так обидна в устах сильного врага, и они решились защищаться и мстить. 13 января 1771 года Яицкий городок весь поднялся на ноги и пошел на площадь; из церкви вынесены были иконы; явился казак Кирпишников и повел недовольных к квартире присланного от правительства чиновника гвардейского капитана Дурнова; толпа встретилась с генералом фон-Траубенбергом, который шел на них с войском и пушками и велел расходиться по домам. Ему отвечали криком и выговором... Понимая невозможность успокоить или даже обмануть народ, который вышел требовать своих прав, генерал приказал от-

крыть по нем огонь из пушек; тогда толпа бросилась на пушки, заставила их умолкнуть и погнала по городу фон-Траубенберга и его войско. Траубенберга закололи, едва он успел добежать до ворот своей квартиры, Тамбовцева повесили, Дурнова изранили, но оставили в живых; засадили под караул всех чиновников и стали править войском сами, тихо и разумно.

Но эта кровавая расправа не прошла даром. В Яицк явился генерал Фрейман; два раза разбил казаков в кровопролитных схватках; наполнил пленными городские тюрьмы и, когда там уже не доставало места, набил ими лавки гостиного двора. Войсковой круг был уничтожен. Редкий миновал кнута, или Сибири, или рекрутства.

«Сии строгие и необходимые меры, — говорит Пушкин, — восстановили наружный порядок; но спокойствие было ненадежно. «То ли еще будет! — говорили прощенные мятежники, — так тряхнем ли мы Москвою». Казаки все еще были разделены на две стороны: согласную и несогласную (послушную и непослушную). Тайные совещания происходили по степным уметам и отдаленным хуторам. Все предвещало новый мятеж. Недоставало предводителя. Предводитель сыскался»¹.

Когда казаки уехали с Таловского умета, Пугачев просил Еремкину Курицу истопить на другой день баню и вместе пошли в нее мыться. По выходе из мыльни Курица заметил какие-то знаки на теле у Пугачева.

— Что это у тебя на груди?

— Это знаки государевы, — отвечал Пугачев.

Курица пришел в недоумение.

— Что ты говоришь? Какие государевы?

— Государевы!.. Я сам государь Петр Федорович

Курица до того поражен был этим известием, что не сказал ни слова. Они вошли в землянку. Пугачев снова заговорил о своем высоком звании и говорил с уверенностью. Курица поверил «и делал ему, яко царю, приличное учтивство».

— Если б яицкие казаки войсковой руки умные люди какие приехали, то я бы с ними погуторил, — сказал мнимый царь.

— Ко мне будет скоро яицкой Григорий Закладной, для лошади попросить, — доложил Еремкина Курица.

Когда приехал Закладной, Пугачев распорядился по-царски: приказал пожаловать его лошадью от своего имени. А Еремкина Курица докладывал:

¹ «Ист. Пуг. бунта», I, 12.

— Ты сам не называйся при Закладном государем, а я ему объявлю, что ты царь, и попрошу его, чтобы он прислал сюда из городка умного человека, Короваев с товарищем, кого он знает.

Услышав неожиданную весть, Закладной «поблагодарил Бога, что открывается благополучие», и поскакал в город. Через сутки приехал Короваев с товарищем. Когда Курица доложил о приезде их, самозванец приказал ввести того и другого в сарай, где находился сам.

— Ты ли надежда государь наш, Петр Федорович? — говорил Короваев.

— Я... Через кого вы известны обо мне стали?

Тот сказал, что их прислал Закладной.

— Ну, яицкие казаки! Коли вам угодно, так вы меня примите — я государь ваш, Петр Федорович; а не угодно, так откажите: я поеду на Узень вашу и там буду жить до времени.

— Я поеду в войско и там с другими подумаю, — сказал Короваев, — и приедем сюда в третий день с умными и престарелыми людьми

— Хорошо, поезжай... Да скажи о сем хорошим людям.

Тут самозванец стал говорить, каким образом он, царь, спасся от смерти в Петербурге и где был до сих пор; говорил, что и *приметы царские* имеет. Слушатели внимали словам его с полною верою. Затем Короваев и товарищ его уехали.

В это время случилось обстоятельство, которое могло гибельно кончиться для Пугачева. У «русского царя» недостало рубашек: находясь в остроге, он так обносился, что нечем было сменить грязного белья, да и прочее платье «Белого царя» было не лучше рубахи. Он вспомнил, что в прошлом году, живя в Мечетной слободе, оставил свои рубашки на квартире у Степана Косова, и потому решился съездить за ними вместе с Еремкиной Курицей.

Только бегством Пугачев спасся от погони. При возвращении его на умет, Короваев представился самозванцу, когда тот, стоя у реки, мыл руки, чтоб они, вероятно, казались более царскими. Короваев попросил самозванца к себе в стан, предложил ему свою лошадь, а сам следовал за ним пешком. В стане был один только Шигаев. Сели обедать. Но лишь только начали резать хлеб, увидели, что к ним подъезжают два человека, некто Чика, будущий граф Захар Григорьевич Чернышев, президент военной коллегии Пугачева, и Мясников.

— Надобно от них укрыться, — сказал Короваев, — эти люди ненадежные, а особенно Чика.

Самозванец и Шигаев бросились в траву. Подъехал Чика.

— Что ты, Короваев, зачем здесь? — спросил он.

— Приехал зверя бить.

— Нет! Видно, людей обманывать... Вы приехали к государю, да и я ведь того же ищю.

Когда Короваев услышал, что Чика уже знает все, то просил самозванца показаться. Они поздоровались очень дружелюбно и сели обедать вместе. После обеда Короваев обратился к самозванцу:

— Покажи-тко нам царские знаки, чтоб было нам чему верить, и не прогневайся, что я вас о сем просил.

Самозванец взял ножик и, разрезав ворот у рубашки до пупа, показывал им свои раны.

— От чего эти знаки?.. — спросили его.

— Когда в Петербурге против меня возмутились, так это гвардейцы кололи штыками.

— А это что у вас? — спросил Чика, увидев у него на левом виске пятно от золотухи.

— Это шрам у меня, потому что болело.

И когда казаки спрашивали, каким образом он ушел из Петербурга, самозванец сказал, что его спас один офицер и вместо него похоронен другой.

— И нам слышно было, что государь скончался; однако ж более поговаривали, что он жив, да взять не знали где... А теперь видим, что ваше величество здесь... Да где ж вы такое долгое время были? — спрашивали казаки.

— Был я в Киеве, в Польше, в Египте, в Иерусалиме и на реке Тереке, а оттоль вышел на Дон, а с Дону приехал к вам и слышу, что вы, да и вся чернь обижены... Так я хочу за вас вступиться и удовольствоваться... и хотя не время было мне явиться, однако ж, видно, Бог привел... а когда вы меня не примете, так я пойду на Узень, для жительства до времени.

— Примем, батюшка! — сказали в один голос казаки, — только вступишь за нас и в наших от старшин обидах помощи. Мы в конец все разорились от больших денежных поборов... Да где уметчик? — спросили они.

— В Мечетной взяли под караул.

— За что?

— Бог знает! Мало ли есть злых людей? И меня хотели было арестовать, однако ж я ушел... И где-то я не был! Был в Царицыне под караулом, был и в Казани, и изо всех мест Бог меня вынес.

— Да каким образом вы спаслись?

— Ведь везде не без добрых людей... Помогут, так и уйдешь. Да вот и теперь надобно думать, что из Мечетной будет погоня за мною, так надобно отселе скрыться куда ни есть.

— Теперь поедем к нам в хутор, и там поживете, а мы между тем станем соглашать к принятию вас войско, — сказал Шигаев.

Но Короваев и Чика заметили:

— У тебя, Шигаев, в хуторе жить не можно, для того что многие ездят. Я лучше возьму на свои руки, а где будем с ним жить, я вам после объявлю, а теперь вам не скажу. А вы поезжайте в городок и купите материи на знамена, и все, что должно, исправлять надобно проворно, — добавил Чика.

После этого, разделившись на две партии, они все поехали на казачьи уметы, по направлению к Яицкому городку; в тридцати верстах от города заговорщики снова съехались и ночевали вместе, а на другой день опять расстались; Шигаев и Короваев отправились в город для покупок, а Чика и Мясников повезли самозванца на хутор к казакам Кожевниковым; не доезжая, они остановились в степи и Чика поехал вперед переговорить, могут ли Кожевниковы принять царя. Те, конечно, приняли.

V

В то время, когда Пугачев приводил в исполнение давно задуманный план и уже стал выходить из ничтожества, которого не терпела его душа, казанское начальство производило о нем разведывания и бесполезные поиски; о побеге важного колодника дали знать во все ближайшие места; казанский губернатор генерал-аншеф Яков Ларионович фон-Брант донес об этом происшествии военной коллегии, которая предписала ему почти три месяца спустя после побега арестанта делать секретные поиски в селениях Оренбургской губернии и особенно в жилищах яицких казаков. Но время было потеряно.

Между тем неожиданное происшествие встревожило умы всем, кто мог понимать его важность. 15 сентября отставной сотник Липилин объявил яицкому коменданту подполковнику Симонову, что казаки затевают что-то недоброе. Он сказал, что на сызранской дороге шатается неизвестный арестант, бежавший из Казани, что он видел его на Таловском умете, говорил с ним... А по городу уже ходили нехорошие слухи...

Симонов разослал отряды во все места, где, по его соображениям, мог укрываться опасный арестант. Отряды возвращались и доносили, что его нет нигде.

Но через три дня тот, кого искали, сам явился под Яицком.

У Кожевниковых высокая особа введена была в отдельную избу. Хозяин уже не расспрашивал, кто его гость, потому что Чика все пересказал. Сообщники Пугачева тогда же разъехались в разные места вербовать слуг царю, а между тем Кожевников, по приказанию Чики, шил знамена к предстоящему походу. Вдруг приехал из Яицка брат Кожевникова и привез нерадостную весть, что везде ищут того человека, который находится в их доме, и что отряды скоро будут в хуторе. «А как у нас отыщут, так будет нам великая беда!..» В ту же ночь Пугачев вместе с Мясниковым ускакал на реку Усиху, верст за 30 или за 40 от хутора, приказав Кожевникову и Коновалову (который жил в одном с ним поселке) привезти за ним палатку и съестного: известие, привезенное из города, не могло не встревожить самозванца, у которого в перспективе был или трон Романовых, или топор палача. Оттого так бесконечно долго тянулись для него часы следующего дня, когда он видел, что, несмотря на его приказ, ни Кожевников, ни Коновалов не приезжали, а время проходило бесполезно. Не дождавшись никого, он в тот же вечер сам поскакал на хутор и приказал ехать за собой обоим соумышленникам. На Усихе он пробыл четыре дня, в продолжение которых не явилась к нему ни одна душа, хотя он предварительно о том распорядился. Мысль, что ему изменили, не раз приходила в голову самозванца; но он не терял надежды, потому что ему, в сущности, ничего не оставалось в жизни: терять уже было нечего, на милость не надеялся — да он и не ждал милости... А между тем раскрывал план своих действий немногим оставшимся с ним: он говорил, что, когда яицкое войско выедет на плавню, он соберет своих приверженцев, явится к казакам и перевяжет всех старшин; потом войдет в Яицк, выгонит Симонова и арестует всю команду. А когда это не удастся, добавлял он, «то, подумав, пойдем, куда рассудим»...

Сомнения и надежда не покидали самозванца до тех пор, пока не приехали в стан два казака, Львов и Иванов, и не успокоили его, одоббив план нападения. Они тогда же отправились в город собирать новых приверженцев. Думали даже, если плавни не будет, идти прямо на Яицк.

— Если Бог поможет мне воцариться, — сказал Пугачев, — то Яицкому городку быть вместо Москвы или Петербурга, а яицким казакам иметь над всеми перевес...

Он приказал немедленно прислать к нему писаря для исполнения его словесных приказаний.

— Хорошо, — сказал Львов. А я пришлю вашему величеству и кафтан с шапкою получше.

На другой день явился в стан казак Никита Карпов — тот самый, который после поставлен был Пугачевым в атаманы яицкого войска; с ним приехал Иван Почиталин, впоследствии любимый секретарь самозванца, и привез для своего государя зеленый кафтан, бешмет и шапку; Чика привез знамена, Мясников — сапоги. В тот же день Карпов представил самозванцу татарина Идорку, явился Алексей Кочуров, будущий сподвижник Пугачева, и некоторые другие. Одни приезжали в стан, представлялись лже-императору и принимали участие в совете, другие, откланявшись, уезжали приводить в дело его решения (совета). В пылу разговора прискакали в стан два гонца, один из братьев Кожевниковых и другой казак, и сказали:

— Наряжается в Яицком городке партия к вам для помки и скоро сюда будет, так надобно себя спасать...

Это известие навело такой страх на весь совет, что заговорщики, бросив палатку, поскакали в степь с одними знаменами, с которыми не хотели расставаться, как с символами своего великого значения и будущей власти.

— Куда ты меня ведешь? — спросил Пугачев Чику, на которого уже и тогда больше всех полагался. Чика руководил поездом.

— Поедем в Толкачев хутор. А когда сможем собрать столько людей, чтобы появиться к городку, так думать нечего — поедем туда со славою. Когда же увидим, что не с чем, то скроемся в Узени... Я думаю, когда подъедем к Яицкому городку, то многие к нам пристанут: ведь не захотят быть замучены, когда донесено будет, что с нами были согласны.

Чика слишком хорошо знал и положение своего войска, и слабые стороны управления, и неудовольствие народа, чтобы так дерзко рассчитывать на успех. Сам Пугачев с детства еще, которое протекло среди независимого Дона, и горьким опытом последующей жизни, которую он провел среди людей, неприязненно постановивших себя в отношении ко всему, что исходило от престола и законных властей, — навык угадывать, какие язвы были самые чувствительные в больном организме государства, и потому касался самых больных ран народа. Он сам был из среды этой вечно роптавшей массы, притом из среды преступников, которых довел до острогов, может быть, этот же самый разлад с жизнью и недовольство своим положением. Он знал, что на зов его откликнется много голосов и не здесь, так там встанут за него миллионы

недовольного народа, — иначе он не говорил бы так самоуверенно, что в случае неудачи на Яике он «бросится в Русь», увлечет ее за собою и повсюду поставит новых судей, ибо в нынешних, говорил он, «присмотрена мною многая неправда».

Уверенность Чики, с которою он говорил последние слова, не могла не придать твердости Пугачеву; притом он сам видел во всех окружавших его полную готовность помогать ему всеми силами. Во время этого бегства Идорка просил самозванца, не прикажет ли он ему ехать в свои кибитки, собрать лошадей и ждать на дороге его поезда к Яицку. Самозванец, конечно, позволил, и татарин поспешил исполнить его волю. В полночь Пугачев прибыл в Толкачев хутор, где все уже знало о появлении великой особы и все было на ногах; в числе прочих представлялся ему Яким Давилин, который впоследствии считался дежурным в свите Пугачева и был в милости. Тут же самозванец приказал секретарю своему написать указ на Кожихаров форпост; а в указе, между прочим, объявлял, что государь Петр III, император всероссийский, приняв царство, жалует верных яицких казаков реками, морями, лесами, крестом и бороною. Самозванец знал, что эти милости привлекут на его сторону всех недовольных и раскольники толпами пойдут под его знамена. Он приказывал, чтобы все казаки, бывшие на форпосте, шли к нему как к законному государю. Когда секретарь написал указ и давал самозванцу подписать его, то лже-император приказал самому Почиталину написать под указом имя императора, говоря, что ему нельзя подписываться до самой Москвы, что он не должен казать свою руку и что «есть в оном великая причина». Указ произвел свое действие: казаки оставили форпост и явились в стан самозванца, у которого, таким образом, уже было в отряде сорок человек казаков и двадцать калмыков. Не теряя времени, Пугачев приказал развернуть знамена. Они навязаны были на копейные древка. Всех знамен было восемь, и на полотне не было ничего нашито, кроме восьмиугольного раскольничьего креста. Помолясь Богу, Пугачев поднял их, — и это белое полотно с восьмиугольным крестом долго носилось по России, и много, много крови было под ним пролито...

Весь отряд Пугачева сел на коней, обошел Кожихаров форпост и выехал на яицкую дорогу. Татарин Идорка встретил его у своих кибиток с двадцатью человеками татар и с яицкими казаками. Проходя мимо Бударинского форпоста, самозванец взял с него еще двадцать казаков и повел свой отряд далее.

В семидесятих годах прошлого столетия перед самым началом пугачевских смут за пограничную линиею русских владений на востоке кочевали в степях три многочисленные орды киргиз-кайсаков. Большая орда управлялась в то время ханом Эрали, средняя — Аблай-ханом и меньшая — Нурали-ханом, владения которого находились в соседстве с землями яицкого войска. Состоя под покровительством русского правительства, они в то же время были самыми беспокойными соседями нашими: как подвластные русскому престолу киргиз-кайсаки давали нам в случае необходимости помощь войском; как соседи они грабили наши купеческие караваны, угоняли стада, уводили пленных, а иногда, переправясь через Яик, входили в русские поселения, пробирались мимо пограничных крепостей и форпостов, грабили все, что могла захватить их нестройная, рассыпанная конница, и с добычей уходили вновь в свои кочевья. В защиту от них проводились укрепленные линии, воздвигались крепостцы, ставились на возвышенных местах маяки и пикеты, посылались сторожевые разъезды в степь; но при всех предосторожностях кайсаки налетали, как саранча, мгновенно производили грабеж в разных местах и также исчезали мгновенно, оставляя сожженные села и деревни. Они называли себя самыми покорными слугами России, и не было соседа опаснее их.

На привале у Бударинского форпоста татарин Идорка дал мысль Пугачеву воспользоваться этими качествами киргиз-кайсацкого народа. Самозванец тотчас же приказал написать к Нурали-хану указ, в котором, называя себя государем Петром III, требовал от хана вспомогательного войска и сына в заложники; а между тем, не дожидаясь возвращения посланного, пошел прямо к Яицку. По дороге он заходил еще в два форпоста и взял с каждого по двадцати человек. Почти у самого городка схвачен был яицкий казак Скворкин «старшинской руки», то есть принадлежавший партии правительства, и приведен пред Пугачева. В страх другим, самозванец приказал его повесить, — это была первая жертва народной мести. В то же время явился к Пугачеву один киргизский мулла и просил письма к Нурали-хану, говоря:

— Я верно уповаю, что Нурали-хан даст помощь.

Тогда Пугачев приказал написать письмо и вручил мулле, а войску своему, которое состояло уже из ста сорока человек,

в том числе двадцати татар и двадцати калмыков, велел построиться в одну шеренгу и прямо идти на город. Знамена распустились.

— Я пошлю туда к войску указ, — говорил самозванец казакам, — и когда нас примут, так прямо въедем, а когда будут противиться, то поедем мимо за Строганов сад и там ночуем.

Из города заметили белые развевающиеся знамена и толпу,двигающуюся по направлению к речке Чагану, через которую перекинут был мост от города. Все догадались, что это за толпа и какие знамена. Никто не ожидал столь быстрого появления таинственного арестанта, которого надеялись увидеть в городской тюрьме, закованного по рукам и по ногам, — и в городе началось необыкновенное волнение. Партия, недовольная правительством, скрывавшая свою злобу и отлагавшая до времени месть, потому что была бессильна, выражала явно, чему она сочувствует; люди сомнительной верности, только до поры казавшиеся благонамеренными, не могли не принять стороны недовольных. Комендант Симонов увидел, что от казаков ему не ждать добра, — а между тем надо было защищаться во что бы то ни стало, потому что белые знамена развевались все ближе и ближе. Он решился предупредить нападение. Тогда Пугачев увидел, что из города выступили все яицкие казаки, а за ними пехота с пушками и перебрались через мост. Пехота и пушки остановились у моста, а казаки шли навстречу Пугачеву, их, как донесли ему, было тысяч до трех. «Я думал в то время, что разберут по рукам», — говорил после Пугачев; но, не уstraшенный этой первою встречей, он шел прямо против яицкого отряда, будучи уверен, что многие из них скоро станут под его белое знамя. Казаки остановились. Из толпы яицкого войска отделился отряд человек до двухсот и подвигался к Пугачеву. Ими командовал премьер-майор Наумов¹. Тогда со стороны Пугачева показался казак на коне, держа на голове царскую грамоту. Посол вручил пакет старшине Акутину, который предводительствовал яицкими казаками, и велел его «вычесть в круг», а самого Акутина требовал к Пугачеву «для опознания» государя, потому что старшина бывал в Петербурге и видел Петра III. Казаки требовали, чтобы бумага была прочитана

¹ У Пушкина здесь перепутаны имена: Наумов два раза назван капитаном Крыловым, но тут же, на одной странице, называется и Наумовым. «Ист. Пуг. бунта», I, 20.

в кругу. Наумов не позволял. Войско пришло в негодование, и ставшие во главе недовольных казаки Овчинников и Лысов первые ушли к Пугачеву; за ними последовало человек до пятидесяти, которые тотчас же перебежали к самозванцу и силою перетащили с собой много других казаков, не хотевших идти за ними, ухватив под уздцы их коней. Отряд Наумова обратился в бегство, а за ним отступили к городу и прочие казаки. Пугачев двинулся вверх по Чагану, намереваясь перевести свое двухсотенное войско через реку вброд. Вечерело. Чтобы не допустить этой переправы, от городской команды отделили отряд с намерением пересечь дорогу Пугачеву; тогда он приказал своему отряду ударить на них со всех сторон и отрезать от города. Атака была так стремительна, что редкий успел ускакать в город, тогда как прочие были захвачены в плен и перевязаны; иные сами передались Пугачеву. Из Яицка не подано было никакой помощи. Пойманные и связанные казаки «старшинской руки» отданы были на ночь под крепкую стражу; в числе их находился престарелый старшина Витошков, бывавший в Петербурге.

— Знаешь ли ты меня? — спросил его Пугачев.

Витошков отвечал, что видел его еще маленького.

— Вот спросите: он меня знает, — сказал Пугачев тем, которые еще сомневались в его происхождении.

Наутро казаки спрашивали самозванца:

— Что, ваше величество, прикажете делать над взятыми в плен казаками?

— Надобно их уверить да привести к присяге, — отвечал тот.

— Мы им не верим! — возражали казаки.

— Мы, ваше величество, знаем, кого можно простить и кого повесить: тут есть великие злодеи, — говорили Овчинников, Лысов и другие с ними.

Самозванец видел, что надо исполнить их желание, и приказал делать рели. Из пленных отобрано было одиннадцать подозрительных казаков и тут же повешено.

— Не погрешите да безвинных людей не погубите, — просил Пугачев, когда вешали несчастных.

— Мы, ваше величество, знаем! — отвечали казаки в один голос.

Палачевскую должность исправляли в это время казаки Федор Карташов и Яков Бурков: они охотно пошли в эту должность. Повешены были: сотники Черторигов, Раинев и Коновалов; пятидесятники Ружеников, Толстов, Подьячев и

Колпаков; рядовые Сидоровкин, Ларзянев и Чукалин. Это была вторая искупительная жертва народной мести. Сотник Витошков был помилован по просьбе войска¹.

По совершении казни Пугачев снова отправил в город указ, требуя покорности; он повелевал войску одуматься и встретить своего законного государя; но посланный не возвращался. Пугачев пошел опять к городу, но, встреченный пушечным огнем, отступил.

— Что, други мои, вас терять напрасно: пойдем туда, где нас примут, — говорил он своему войску, удаляясь от Яицка.

А казаки говорили:

— Пойдем, ваше величество, полем до Илецкой станицы.

И он повел их вверх по оренбургской дороге. Симонов не смел и думать о преследовании, потому что на яицкое войско не надеялся, а солдаты нужны были в городе, где со дня на день готов был вспыхнуть бунт. При малейшем смятении стоило только отворить двери городской тюрьмы и открыть лавки гостиного и менового двора, наполненные предводителями прежних войсковых бунтов, и гибель всех пограничных русских крепостей была неизбежна. В этих критических обстоятельствах Симонов отправил немедленно гонца к оренбургскому губернатору генерал-поручику Рейнсдорпу и просил помощи; но это известие пришло в Оренбург слишком поздно: путь к северу был уже закрыт для проезда нарочного, и он должен был пробираться окольными дорогами. Гонец мог проехать в Оренбург только чрез Самару...

Пугачев явился на Гнилинский форпост и взял оттуда лошадей и пушку. Это было первое орудие в его артиллерии. Не доходя другого форпоста, он приказал остановиться и сделать войсковой круг, где позволил казакам, по старинному обычаю, который был у них отнят правительством, выбрать войскового атамана, полковника, есаула и других чиновников. Атаманом избран был Овчинников, полковником — Лысов, Витошков — есаулом. После того Пугачев приказал сделать счет своему войску, и насчитали 400 человек: войско это умножено было Давилиным, которого Пугачев послал вперед по линии к Илецкому городку забрать с форпостов людей и выводить к нему навстречу. Сам Пугачев брал всех, кого встре-

¹ У Пушкина Витошников, названный Витошниковым, поименован в числе повешенных. Но самому Пугачеву лучше знать, кого он вешал, особенно в первое время: в допросе он сказал Потемкину, что простил Витошкова («Чт. Мос. Общ. Ис. и Др. Р.» 1858, кн. II, матер. отеч. 200). Пушкина ввела в ошибку летопись Рычкова.

чал, и форпостная стража, вся, со всей линии, стала под его знамена; одни шли охотно и охотно целовали крест и евангелие; другие присягали по необходимости. Пушки, порох, ядра и ружья — все брал Пугачев и в продолжение суток, в продолжение нескольких часов становился вдвое могущественнее того, каким был накануне: в течение одной недели он был атаманом ничтожной шайки и предводителем многочисленной, нестройной, но уже страшной армии. В Илецкий городок он послал указ на имя атамана Портнова, повелевая выйти с войском навстречу, всех казаков жаловал, по своему обыкновению, крестом и бороною, реками и лугами, деньгами и провиантом, свинцом и порохом и вечною вольностью. Впереди себя он отправил своего верного Овчинникова с десятью казаками. Овчинников послал указ Портнову. Получив указ, атаман не думал читать его народу; но казаки возмутились и принудили его «вычесть в кругу государево письмо». Ночью Портнов приказал спустить вниз по Илеку плоты, чтобы разорвать мост, который вел к городу, но мост устоял, и казаки арестовали своего атамана. Овчинников вошел в город. Вслед за ним вошел и Пугачев при колокольном звоне и стечении народа. Его встретили с хлебом-солью и со всеми знаками повиновения. Пугачев прошел прямо в церковь, велел петь молебен и многолетие государю Петру Федоровичу; на ектеньях упоминалось то же имя, а имя императрицы было исключено. Пугачев говорил к народу:

— Когда Бог донесет меня в Петербург, то зашлю ее в монастырь, и пускай за грехи свои Богу молится. А у бояр села и деревни отберу, а буду жаловать их деньгами; а которыми я лишен престола, тех без всякой пощады перевешаю. Сын мой человек еще молодой, так он меня и не знает.

А сам между тем горько плакал перед Богом и говорил: «Дай Бог, чтоб я мог дойти до Петербурга и сына своего увидеть здорового!..»

Проходя из церкви в отведенный для него дом, он не переставал говорить к народу, возбуждать в нем самые несбыточные надежды и затрагивать самые больные и вечно новые раны его сердца. Во время обеда он приказал растворить для народа питейный дом и пить за его здоровье.

— Я ваше величество узнал, — говорил один старый казак, увидев Пугачева, — я в то время был в Петербурге, как вы обручались.

— Ну, старичок, хорошо, когда ты меня узнаешь, — говорил Пугачев и снова ласкал народ надеждами, а сам плакал вместе с ним.

Пришли илецкие казаки и стали жаловаться на своего атамана: Портнова обвиняли в том, что он не хорош к войску, обижает его, «да и ваше величество (прибавляли недовольные) хотел обидеть и поломать плотами мосты». Пугачев приказал повесить атамана, разграбить его дом, имущество и взять деньги. Малолетнего сына атаманского самозванец взял к себе. Взял крепостные пушки, несколько бочек пороху, прибавил триста человек к своему войску и снова двинулся по оренбургской дороге. На пути приказал сделать круг илецким казакам и выбрать полковника, есаулов, сотников и хорунжих. Званием полковника удостоили Творогова, который был судьей и секретарем. С дороги Пугачев послал указ в крепость Рассыпную, требуя немедленной сдачи, а между тем сам шел, не останавливаясь. В Рассыпной хотели защищаться; но Пугачев взял приступом жалкие укрепления, повесил коменданта, майора Веловского, офицеров и священника; взял пушки и порох; поверстал в казаки солдат, а находившиеся в крепости казаки пошли к нему охотою.

VII

В шесть дней Пугачев прошел 170 верст, но еще нигде не встречал сопротивления. До Оренбурга оставалось только сто верст. Это было 24 сентября. Что же делалось в Оренбурге? Что предпринимали власти? 22 сентября вечером прискакал в Оренбург гонец с известием, что Илецкий город взят и казаки изменили присяге. До сих пор в городе никто не знал, что происходило за двести и за сто верст от Оренбурга. Страшная весть разнеслась по городу в тот же самый вечер из дома губернатора, у которого был бал по случаю празднования дня рождения государыни императрицы. Гости развезли весть по городу, и поднялись странные толки. Прискакал и другой гонец из Яицка, посланный Симоновым через Самару. Прискакал, наконец, третий гонец, Якишбай, с татарским письмом от Нурали-хана. «Объявляю, — писал хан, — что на сих временах проявился здесь ее императорскому величеству изменник и приговаривает заблудящие речи, что он якобы великий император Петр Федорович», что хан имел уже от него два послания и подъезжал к Яицку, предлагая Симонову свою помощь, но получил в ответ, что и без него обойдутся. «Мы, на степи находящиеся люди, — прибавлял Нурали, — не знаем, сей ездящий вор ли, или реченный государь сам? Посланный от меня под одним пре-

текстом нарочный, возвратясь, объявил, что какой он человек — не знает и не опознал, токмо-де борода у него русая». Хан давал знать, что подвластная ему орда может перейти Яик, эту запретную линию, через которую не смела перешагнуть нога киргиза; что он сделает это без позволения губернатора. Письмо дышало какой-то двусмысленною самоуверенностью и не менее двусмысленным смирением и угрожающими намеками. Хан требовал возвращения аманата, именитого Иштекбай-батыра; смиренно предлагал отдать обратно 50 000 лошадей, угнанных башкирами и бежавших из орд кизылбашей. Испуганный губернатор спешил уверить хана, что кончина императора Петра III известна всему свету, что сам он видел государя в гробу и целовал его мертвую руку; возвратил аманатов, кизылбашей и скот; просил хана выдать самозванца правительству, если тот бежит в киргизские степи. Не успел он отвечать Нурали, как пришло еще новое известие... Рейнсдорп не знал, что делать.

Потеряв без толку почти двое суток, когда нельзя было медлить ни минуты, Рейнсдорп 24 сентября командировал к Яицку бригадира, барона Билова, с 410 солдатами пехоты и конницы, при шести орудиях, приказав забирать по дороге людей со всех крепостей и форпостов. Рейнсдорп обещал пятьсот рублей награды тому, кто приведет к нему Пугачева живого в руки и 250 за мертвого: так дешево оценена была голова, мечтавшая надеть на себя корону Мономахов и Романовых. Подполковнику Симонову велено командировать из Яицка майора Наумова с легкими полевыми командами и с казаками в тыл Пугачеву и для соединения с бароном Биловым; из Ставрополя приказано выслать 500 человек калмыцкого войска, которое можно было собрать в ближайших кочевьях, 500 башкирцев да 300 сеитовских татар; командиру Верхне-Озерной дистанции, бригадиру барону Корфу, — идти форсированным маршем к Оренбургу.

Но было уже поздно.

Из Рассыпной Пугачев повел свое войско на Нижне-Озерную крепость. Навстречу ему шел из крепости капитан Сурин с ротою солдат и отрядом казаков, высланными (поздно уже!) комендантом крепости на помощь покойному Веловскому, накануне повешенному вместе с женою. Сурин встретился с Пугачевым на дороге, попался в плен и был повешен. Отряд его увеличил собой войско самозванца, охотно променяв Сурина на Пугачева. Народная память сберегла имя этого капитана, и солдаты еще при Пушкине пели (может быть, и теперь поют):

Из крепости из Зерной,
На подмогу Рассыпной,
Вышел капитан Сурин
Со командою один...

Быстрые переходы Пугачева никому не давали времени ни опомниться, ни обсудить критическое положение страны, в которое ее поставили события одной недели. Все распоряжения Рейнсдорпа оказались бесполезными, и он со страхом видел, что надо думать уже о защите Оренбурга и своей собственной квартиры. Барон Биллов, выступив из Оренбурга и миновав Татищевскую крепость, приближался уже к Озерной, как в ночное время, верст за пятнадцать от крепости, услышал пушечные выстрелы; глухой гул орудий заставил его остановиться. Он полагал, что опоздал приходом, что крепость уже взята Пугачевым, и отступил. Справедливо или ложно то было, но к нему дошел слух, что Пугачев идет с трехтысячным войском, и он засел в Татищевой. Рейнсдорп снова, в тот же день, приказал ему «неотменно и немедленно» следовать к Озерной, но Биллов не двинулся ни на шаг. Барон Корф также сидел в Верхне-Озерной и не слушал приказаний Рейнсдорпа. Напрасно рассчитывали на калмыков, башкирцев и сеитовских татар: вместо пятисот калмыков едва набрали триста, да и те бежали с дороги; из сеитовских татар никто не дошел до Билова и также бежали, не слушаясь приказаний. Майор Наумов и войсковой старшина Мартемьян Бородин с легкой полевой командой и казаками, отправленные из Яицка в тыл Пугачеву, выступив в степь, совершенно потерялись из виду, и долго не было об них никакого слуху, и никто не знал, где они и что с ними сделалось.

Едва разнеслась весть о гибели Веловского и Сурина, как Пугачев осаждал уже Озерную; не успел он сделать приступ, как казаки, бывшие в крепости, покинули ее и явились к самозванцу. В крепости остался только комендант майор Харлов и ничтожная горсть инвалидов с двумя офицерами. Харлов не надеялся на успех; едва ли рассчитывал он даже остаться в живых и поспешил отправить свою молодую жену, с которою он жил только несколько недель, к ее отцу, к Елагину, коменданту Татищевской крепости. В ночь на 26 сентября, желая ободрить своих старых солдат, он приказал стрелять из двух пушек, которые у него были: эти-то, как их называет Пушкин, *несчастные* выстрелы испугали Билова... Зато роковая пальба была как бы сигналом для Пугачева и привлекла его внимание; утром он явился перед крепостью, следуя впереди своего войска.

— Берегись, государь, — сказал ему старый казак, — неравно из пушки убьют.

— Старый ты человек! — отвечал самозванец. — Разве пушки льются для царей?

Но крепости было нечем и некем защищать. Две крепостные пушки напугали только храброго барона, но не могли испугать Пугачева, да и стрелять никто не хотел. Харлов бежал от одного инвалида к другому, умоляя и приказывая действовать: его уже никто не слушался, да и напрасное было бы усилие. Харлов сам схватил зажженный фитиль, выпалил едва ли не на воздух и бросился к другой пушке. Несчастный думал, что он один может защитить крепости. Но осаждающие ворвались в город и осада была кончена. Победители бросились на Харлова и один за другим наносили ему тяжелые раны: все, что имело чин и значение, все дворянское и правительственное, все, что носило атрибуты власти, столько лет давившей народ, поднимало всю силу народного негодования и гибло, как дотоле губило само все, к чему ни прикасалось. Под ударами Харлов просил пощады, давал выкуп за свою жизнь и повел к тому месту, где спрятано было его имущество. Его не пощадили. Одни расправлялись в городе, другие за городом ставили уже рели, чтобы вешать, кого народ укажет. Перед виселицей сидел Пугачев и принимал присягу жителей и солдат. Между ними показался Харлов, ведомый казаками, весь исколотый и в крови, с вышибленным глазом и обезумевший от ран. Выбитый глаз висел у него на щеке. Повесив двух офицеров, Фигнера и Кабалерова, одного писаря и татарина Бикбая, Пугачев велел повесить и Харлова. Когда надевали на него петлю, солдаты просили Пугачева, чтобы помиловал их коменданта, которого им стало жаль. Но казаки требовали казни. Рассказывают, что Бикбай сам взошел на лестницу, приставленную к виселице, перекустился и сам затянул себе петлю. Вид смерти сделал его равнодушным к магометовой религии.

В 28 верстах от этой сейчас взятой крепости и в 54 верстах от Оренбурга стоит Татищевская крепость. Войско Пугачева потянулось к ней. Получив последние нерадостные вести, Рейнсдорп в тот же день писал указ в уфимский уезд, в башкирские волости, и приказал нарядить тысячу человек башкирцев, с старшинами, с исправными ружьями и на добрых конях; командиром к ним послан был старшина и почт-комиссар Мендей Тулеев; башкирцам обещано было награждение. К бригадиру Билову командировали еще 300

сеитовских татар с старшиною. Но из этих никто к нему не явился. С дороги Пугачев послал указ в Татищевскую крепость, повелевая сдаться. В Татищевской комендантом был полковник Елагин; в крепости сидел также барон Биллов с отрядом. Они решились защищаться. Утром 27 сентября знамя Пугачева забелелось вдали, войско его заняло высоты, облежавшие крепость, и осажденные видели, как самозванец расставил свою артиллерию, и дула пушек сам направлял на город. Толпы казаков кружили около самых стен крепости и кричали солдатам, чтоб не слушались бояр и сдались. Крики их заглушены были выстрелами из крепостных орудий и ответными выстрелами Пугачева. Сотник Подуров, начальствовавший в крепости над оренбургскими казаками, передался Пугачеву со всем своим отрядом. Пугачев разделил свое войско на две части; одной половиной, которая облежала город в нижней части, командовал Витошков, другую половину повел на приступ сам Пугачев и атаковал верхнюю часть укрепления. Гул орудий и ружейная пальба не умолкали с полдня до полночи. Ночью осаждающие подожгли сено подле крепостного оплота, дым повалил на крепость; пламя шло к стенам, коснулось деревянных укреплений, перекинулось в город и произвело общее смятение. Осажденные оробели, бросились тушить огонь; осаждающие бросились на них, ворвались в крепость, сошлись с гарнизоном и задавили его. Казаки кололи пиками, другие рубили чем попало. Схватили барона Билова и отрубили ему голову. Схватили Елагина, содрали кожу, как с барана, вырезывали сало (он был тучный) и мазали свои раны. Желену его изрубили в куски. Вдову майора Веловского, повешенного в Рассыпной, удавили. Всех офицеров перевешали. Несколько гарнизонных солдат и башкирцев вывели из крепости в поле и расстреляли картечью. Весь гарнизон, носивший, по тогдашнему обыкновению, напудренные косы, остригли в кружало, по-казацки, всех привели к присяге и поверстали в казачью службу. Захватили все пушки, числом до тридцати, с двумя единорогами, всю полковую, кабацких и соляных сборов денежную казну, множество военной амуниции, провианта, соли и вина. Пугачев приказал тушить город, но было уже поздно. Войско вышло в поле и расположилось лагерем. Оно простиралось у него до 3000 человек.

САМОЗВАНЕЦ ХАНИН

История таких государств, как Россия, всегда будет оставаться неполною, недосказанною повестью минувшей жизни народа, если не будет останавливаться на тех моментах этой, по-видимому, бесцветной и однообразной жизни масс, в которые народ заявлял чем-либо о своем скромном существовании. Правда, иные из этих заявлений удивляют историка видимым отсутствием смысла и цели; иногда они кажутся совершенно безумными, ребяческими манифестациями, и им до сих пор не считали нужным давать место в истории; но, как бы то ни было, не нам обвинять народ в том, что он еще не развился до осмысленных выражений в своей внутренней жизни и своих ожиданий; что он не успел еще научиться жить и действовать разумно.

Все XVIII столетие богато событиями, которые должны войти в будущую историю русского народа; однако с сожалением мы должны признаться, что нам более известны только те моменты этой истории, которые ставят народ в невыгодном свете или, по крайней мере, невыгодно для него могут быть поняты и перетолкованы. Особенно бросают тень на чистоту народных побуждений события второй половины этого века, время самозванцев, хотя не вина народа, что он против воли поставлен был в необходимость действовать так, а не иначе. Оставляя в стороне этот вопрос, мы заметим, что в русской истории самые неполные и отрывочные сведения об исторической жизни народа и его самодеятельных политических моментах должны считаться драгоценными материалами: здесь все ново и любопытно. К числу таких сведений должны принадлежать и известия о самозванцах, выразивших собой известную сторону исторической жизни русского народа. Личность Пугачева при разработке неизданных архивных дел уясняется более и более, и нам становится более понятным это смутное время — последние сорок лет прошлого века, на которое ошибочно взглянул наш великий поэт Пушкин, в своей *Истории Пугачевского бунта*. В числе самозванцев Пугачев был не первый, но он не был и последним: не дальше как через четыре-пять лет после его казни явилось новое ли-

цо, принявшее на себя имя, которым Пугачев взволновал большую половину России; эта личность была несчастнее Пугачева, и волнение, вновь начинавшееся в Поволжье с появлением нового самозванца, было тотчас же подавлено.

Этот новый самозванец был казак Ханин¹.

В марте 1780 года по секретному распоряжению дубовского начальства волжскими казаками схвачены были в хуторе помещиков Персидских, на Илавле, донской казак Максим Ханин, два малороссиянина и две женщины, из коих одна была молодая крестьянская девушка, и за караулом привезены в Дубовку². Они обвинялись в важном государственном преступлении. По снятии первых допросов в самой Дубовке взято было еще одно подозрительное лицо, прикосновенное к делу. Но так как дело это было великой государственной важности, то через два дня все шесть колодников отправлены были на суд в Царицын, и при этом дубовское начальство извещало царицынского коменданта, полковника Цыплетева, что по показанию одной из арестованных женщин, молодой девушки, Ханин называл себя *непристойным ему именем*; что прежде он находился в армии Пугачева и производил немалые грабежи, но от наказания спасся бегством; что зимой 1780 года он с одним малороссиянином ездил за чем-то по русским селам, а к нему потом, тоже неизвестно по каким делам, приезжал из далекого русского села священник. Все это, добавляли в извещении из Дубовки, «крайне до сомнения доводит, что какие ни есть неистовые разглашения от них в русских местах не были ль».

Разглашения были, в самом деле, странные.

Когда Пугачев казнен был в Москве, а прочие его соучастники, двигатели народных сил минувшего возмущения, наказаны кто смертною казнью, кто кнутом и ссылкой в Сибирь, волжские казаки, находившиеся до того времени в Ду-

¹ Предшественники Пугачева были: Степан Малый (или Степано Пикколо), действовавший и царствовавший в Черногории под именем Петра III, и Кремнев, известия о котором сообщены нам В.И. Ламанским. Материалы о самозванце Ханине получены нами от профессора Н.И. Костомарова, который по поручению начальника Саратовской губернии извлек их из старого царицынского архива. Хотя известия о Ханине очень кратки, но так как личность эта не была, кажется, известна никому из наших историков, то мы и пользуемся имеющимися у нас материалами для настоящей статьи.

² Дубовка — посад, в котором теперь до 12 тысяч жителей, находится в Саратовской губернии, на Волге, в 317 верстах на юг от Саратова. В этом месте Волга протекает в 60 верстах от Дона, и на этом пространстве проведена железная дорога.

бовке, были тотчас переселены на Терек, в наказание за присягу Пугачеву и участие в его последних попытках овладеть Царицыном и удержать за собой ускользавшую из его рук власть над умами народа. Дубовка опустела. В ней остались лишь несколько казаков, под названием *семейства*, которое управлялось войсковым старшиной Савельевым. На место казаков Дубовка стала заселяться выходцами из соседних губерний. В 1778 году Шатского уезда села Хмутовки экономический крестьянин Гаврила Прохоров, в числе прочих переселенцев, пришел с своим семейством в Дубовку, чтобы записаться в число ее обывателей, и через несколько месяцев, отъезжая снова на родину, оставил в деревне Морце дочь свою, восемнадцатилетнюю девушку, в услужении у одного крестьянина. Вероятно, девушка была хороша собой, потому что обратила на себя внимание соседей. Потом она против воли вовлечена была в смутное народное дело, которое начинало тогда вновь разыгрываться в Поволжье, еще не успевшем вздохнуть после недавнего страшного волнения, и принимало зловещий характер. Эта же девушка была бессознательною причиною того, что дело это потушено в самом начале, и притом без жертв, без крови и без шума. К хозяину молодой крестьянки приезжали иногда гости или знакомые из других деревень, и они-то сделали ее безвинною участницею замышлявшегося тогда заговора.

В феврале 1780 года в Морец приехал один священник с сыном, а с ними два крестьянина из одного русского села и приглашали дочь Прохорова ехать куда-то с ними.

— Поедем с нами к Петру Федоровичу, — говорили они — тебе жить будет не худо.

И когда девушка отказывалась, ее взяли насильно и увезли.

В это время отец ее возвратился в Дубовку и через несколько дней отправился за дочерью; но там ее уже не было: ее увезли из Морца. Крестьянин, у которого она находилась в услужении, сказал Прохорову, что за ней приезжали такие-то и такие люди и повезли в Медведицу. Прохоров поехал искать дочь. На пути он повстречался с людьми, которые взяли его дочь, уже недалеко от Медведицы, в Березовской степи, у станицы этого имени, и стал спрашивать их, куда они девали его дочь.

— Не плачь, — сказал ему священник, — мы отвезли ее в хорошее место, к большому боярину Петру Федорову.

Они обнадеживали притом Прохорова, что он не останется без вознаграждения.

— Да и сын твой, отданный в солдаты, возвратится, — говорили они и запрещали кому бы то ни было сказывать об этом.

Девушку между тем эти люди привезли из Морца на речку Илавлу, в хутор войскового атамана волжского войска Василия Персидского и отдали какому-то слесарю-ружейнику, отставному донскому казаку Максиму Ханину, и, переночевав у него, уехали. Этот Ханин был то самое лицо, которое называли «большим боярином Петром Федоровичем». По всему заметно было, что с этим именем связана какая-то важная тайна, известная немногим; что под именем Ханина кроется другая личность... На следующую ночь Ханин открылся девушке, что он не мужик и не казак, а государь император Петр III; он говорил, что весть об его смерти распушена ложно; что тот, кого называли Пугачевым, не казнен в Москве; что император Петр III и Пугачев одно лицо, и это лицо — он, которого ложно называют казаком Ханиным, ружейником и т.п. Самозванец, желая обольстить девушку, обещал взять ее замуж, сделать государыней. Верила ли его словам девушка, или не верила, но она долго не соглашалась быть государыней, долго сопротивлялась, — однако напрасно...

Кроме священника с сыном и упомянутых крестьян, к самозванцу приезжали из разных мест неизвестные люди, и часто приходили малороссияне из соседней слободы Ольховки, привозили ему хлеб и разные подарки, называли батюшкой государем Петром Федоровичем и о чем-то с ним советовались.

Видно было, что готовился заговор, что Ханин недаром ездил по русским селениям, что недаром являлись к нему гости и сторонние посетители, и такое живое участие принимали в его судьбе духовные особы, приезжавшие к самозванцу Бог весть откуда. Но это продолжалось немного времени. Соседнее население было встревожено и, быть может, обрадовано таинственной вестью о появлении между ними царя, который почему-то упорно сохранялся памятью народа и жил в его воображении много лет спустя после кончины. Самая гибель Богомолова, Пугачева и Кремнева со всеми их приверженцами не разбила этой странной веры: так евреи, в своей двухтысячелетней бесприютности и в потере национального единства, утешают себя ожиданием какого-то освободителя.

Первый донос на самозванца был сделан крестьянином Прохоровым, а молодая дочь его навела следователей на мысль, что готовится какой-то заговор. Не подозревая всего, что творилось в глуши степных хуторов, дубовское начальство

предварительно приказало взять от Ханина привезенную к нему девушку и, прежде возвращения к отцу, подвергло ее допросу в присутствии волжского войскового старшины Савельева, управлявшего тогда Дубовкою, походного атамана и двух старшин. Здесь только объяснилось, что девушка прикосновенна к важному государственному делу, о котором до сих пор никто не подозревал. Она рассказала, как взята была от своего хозяина в Морце и привезена к какому-то таинственному человеку, называвшемуся и казаком Ханиным, и большим боярином Петром Федоровичем; как он открылся ей в том, что он государь; как приезжали к нему неизвестные люди и о чем-то говорили и пр. Когда допросили ее отца, он показал то же, что знал, слышал и видел, и тем усилил подозрение присутствовавших. Тотчас же распорядились схватить всех, на кого показывали Прохоров и его дочь. 12 марта был допрос этих двух лиц, а 15-го числа сам Ханин и его домочадцы, малороссияне Токарев и Любецкий, служившие у него работниками, и находившаяся в его доме женщина, тогда же арестованные, были уже допрашиваемы в царицынской комендантской канцелярии. Привезен был и Прохоров с дочерью. Главное лицо между арестованными был Ханин, мужчина лет пятидесяти. Кроме нескольких ружей, в доме его не нашли ничего подозрительного, могущего навести на мысль о заговоре; но из нового допроса, начатого с Прохорова, его дочери и прислуги Ханина, открылось много важных обстоятельств; все допрашиваемые уличали Ханина в самозванстве, в похищении царского имени; из всех показаний видно было, что заговор начат не в доме Ханина, а где-то в стороне; что прислуга самозванца уже после узнала о том, что он называет себя государем, и узнала почти нечаянно, и что об этом знали раньше их лица, совершенно им неизвестные, из других провинций. Но Ханин заперся во всем, в чем его уличали, может быть, потому, что главных участников заговора он не видел в присутствии или уверен был в их безопасности: священник еще не был пойман, не были открыты и другие заговорщики. На суде, перед комендантом Цыплетевым и другими присутствовавшими, он рассказал вкратце свою прежнюю жизнь, которая проведена была дурно и преступно. Самозванец родился в войске донком, в Михайловской станице, где и состоял на службе; около шестидесятого года за воровство был наказан кнутом в Новохоперской крепости и отставлен от службы; жил потом в Березовской станице наемным работником; оттуда сошел в Дубовку, где кормился своими трудами, и, наконец, поселился на Илавле

в хуторе Персидского; он сознался, что привезенную к нему девушку «по усильству своему растлил». Обо всем прочем говорил, что никогда не называл себя государем и его никто не называл «батюшкой».

— Оное взнесено на меня напрасно, и я никогда никому о сем не говаривал, а из чего оное произошло, не знаю, — сказал он в конце допроса; но уличенный очными ставками сознался в своих намерениях.

Дело происходило следующим образом.

В 1778 г. Ханин ездил за чем-то в Самару. В Самаре он возобновил старое знакомство с одним уральским казаком, по фамилии Оружейников, вместе с которым они служили когда-то под знаменами Пугачева. Встреча, по обыкновению, произошла во «царевом кабаке». Но выходе из питейного дома, между разговором, Оружейников спросил Ханина, откуда он, и тот отвечал, что из Дубовки. На новые вопросы уральца Ханин отвечал, между прочим, что находился «у бывшего злодея Пугачева в толпе». Едва он это выговорил, Оружейников обратился к нему и сказал:

— Для чего ты называешь его Пугачевым и армию его толпой? Он был не Пугачев, а действительно император Петр Федорович III.

— Каков он был собою? — спросил его Ханин, который, хотя и находился пол знаменами Пугачева, однако, надо думать, не видал в лицо самозванца.

Тогда Оружейников, взглянув на него, сказал:

— Таков, как ты.

Эти слова запали в душу Ханину, и он решился на смелый поступок. Думал ли он, что неудачи, испытанные Пугачевым, его падение и трагическая смерть произошли от стечения случайных обстоятельств, которых в другой раз можно было избежать, или обольщала его та громкая, хотя печальная, известность, которая постигла первых самозванцев, или, наконец, им руководили самые недалекие, мелочные стремления, — только он решился идти по следам Пугачева и пошел по ним обдуманно. Это не была случайная вспышка, которая, по-видимому, руководила действиями предшественника Пугачева, молодого Богомолова: Богомолов не обдумал плана, по которому должен был действовать; он, находясь в более благоприятных обстоятельствах, чем Ханин, не успел даже вдохнуть в окружающих уверенность в его высоком назначении и поселить единодушие в солдатах, с которыми находился в одном отряде. Богомолов сказал даже на допросе, что он будто бы «в пьянстве, без дальнего замысла,

объявил себя императором Петром III», и, может быть, это так и было в самом деле. Напротив, Ханин старался подготовить умы к своему появлению, на его стороне был и опыт, и уверенность в сочувствии народа. Возвратившись из Самары, он начал приводить в исполнение задуманный план: сначала открылся немногим доверенным лицам, которые развезли тайну по соседних селам; потом сам лично ездил по русским поселениям и разжигал народные страсти, таинственно и как бы против воли открывая свое происхождение. Еще до возвращения на Ивалу он, как без сомнения видно, успел побывать во многих местах и переговорить не с одним лицом.

Мы видели, что заговор был обнаружен в самом начале и народ не успел заявить своего сочувствия к самозванцу одною из тех манифестаций, с которыми его спокойная натура, апатическая до поры до времени, так успела свыкнуться в то смутное время. После первого допроса в Царицыне преступников рассадили по разным местам, предварительно осмотрев, нет ли с ними ножей и другого оружия; самозванца скрыли в особой «каморке» при гауптвахте, а Токарева, Любецкого, Пелагею Васильевну (женщина, служившая у Ханина) и Прохорова с дочерью задержали у Предтеченских ворот, где был род тюрьмы. К ним никого не пускали, и преступники не могли никуда выходить. В то время было обыкновение посылать преступников в мир кормиться подаянием, потому что казенных денег, ассигнованных на содержание арестантов, отчасти было недостаточно, отчасти же эта сумма расходилась по карманам чиновников и иногда даже совершенно не ассигновывалась в пользу преступников. Для сбора милостыни приковывали колодников к одной цепи или связывали канатом и водили по городу, как на сворах, «на связках», и колодники, звеня кандалами, распевали по улицам, площадям и под окнами: «Подайте, православные христиане, бедным заключенным, несчастным узникам, подайте, Христа ради!» Ханина и других арестантов, разделявших его участь, не только не посылали в мир для сбора подаяния и на городские работы, но даже не позволяли выходить из камор на двор для естественных надобностей: двери, где они были заключены, отворялись только для подачи пищи и осмотра колодников. Так научил осторожности Цыплетев первый самозванец Богомоллов, которого чернь и преданные ему артиллеристы хотели отбить у караульных и произвели жаркую свалку на базарной площади в Царицыне. Пугачев научил их быть еще осторожнее.

Но первый допрос не мог удовлетворить следователей. Были обстоятельства, которые заставляли подозревать, что Ханин не все сказал. С Илавлы привезли еще двух соучастников его, крестьян помещика Персидского, малороссиян Андрея и Кондратия Колесниковых, «за наикрепчайшим караулом, в ножных колодках и наручниках», которых взяли тайно, «неприметным образом», как доносил коменданту Цыплетеву волжский войсковой старшина. Колесниковых взяли в слободе Ольховке, где у них происходили совещания с самозванцем и где Ханину представлено было еще одно лицо, приезжавшее издалека, малороссиянин Печерский, который мог бы разгласить о появлении мнимого царя у себя на родине. Кроме того, Цыплетеву прислали из Дубовки частное письмо, полученное от казаков Варламова и Заикина, которым они извещали, вероятно узнав стороной о широких затеях самозванца, что у Ханина, на хуторе казака Гнусаря, была «непристойная гульба», клонившаяся, как подозревали, к «его зловредному замыслу», потому больше, что самозванец без всякой причины и повода подарил Гнусарю двадцать рублей денег и ружье, «флинту». По тому времени это был царский подарок.

Когда допрошены были Колесниковы, показаниями которых разъяснились некоторые новые обстоятельства заговора, Ханина с соучастниками потребовали к пытке. Сначала присутствующие увещевали его сознаться, но напрасно. Только под истязаниями допроса, в мучениях пытки самозванец признался во всем, да и то едва ли. В его уме созрел обширный замысел. Когда Ханин был в Самаре и виделся с упомянутым уральским казаком Оружейниковым, этот приглашал его уйти в Сечь к запорожцам и побудить их к мятежу. Оружейников говорил, что все офицеры стоящего на Урале полка, кроме полковника и майора, все нижние чины и более тридцати человек уральских казаков готовы поднять бунт, что там есть и запорожцы, которые обещали помощь своего войска. Они намеревались идти прямо на Москву и взять ее, оттуда и идти к Петербургу и также взять. Заговорщики рассчитывали, помня недавнее дело Пугачева, что за ними пойдут и солдаты русской армии¹. В голове их уже бродила безумная мысль,

¹ «...И при всем том рассуждали между собою, что как они с запорожцами на сие зло пойдут, то помогут им и из полков преданностью (то есть предательством, изменою), так как и в бывшее замешательство происходило, военнослужители» (собственные слова Ханина, сказанные на допросе). По собственному признанию Ханина, он уверен был, что войска «подадут ему людьми способ».

что они возьмут «ее императорское величество под свою власть и, сковав, посадят в заточение, а знатных всех особ истребят насмерть».

Нет сомнения, что Ханин имел и другие замыслы, но он о них не сказал, не сказал также и о своих планах.

Вот в силу этой-то смелой мысли Ханин, присвоив себе имя покойного императора, стал действовать решительно и бросил в народ опасное семя, которое всходило скоро, потому что падало относительно на благоприятную почву. Давно знакомый магический шепот: «жив батюшка государь Петр Федорович» — ходил по народу, передаваясь из уст в уста, с уха на ухо, и обещал недоброе, пока не схвачен был дерзкий слесарь, безграмотный казак, имевший виды на всероссийский престол.

Известие о появлении этого нового самозванца, естественно, должно было произвести страшную тревогу в официальном мире. Тогдашний астраханский губернатор, знаменитый Иван Варфоломеевич Якобий¹, один из умнейших людей века Екатерины, прискакал в Царицын, чтобы самому лично следить за делом, которое могло разыграться новою кровавою драмою, еще так недавно поколебавшей весь организм государства. Он нашел самозванца уже пойманным и скованным, за соучастниками его разосланы были тайные поиски. Он приказал подвергнуть пытке тех, которые были у него в руках: его тревожила неизвестность, с каким намерением заговорщики «дерзнули отдать титулу великого имени» одному из среды своей. Якобий велел настрого «разведывать и примечать, не будет ли в здешней окружности оставаться по ним каких следов и отрывков»; а между тем, отъезжая в Саратов, приказал и заговорщиков после пытки везти вслед за собою.

3 апреля их пытали, а 8-го вывезли из Царицына по саратовской дороге. Командиром отряда, сопровождавшего заговорщиков, назначен был капитан Зубов; конвой состоял из небольшой партии солдат с унтер-офицером и двенадцати

¹ «Иван Варфоломеевич Якобий (р. 1726 г., ум. 1803 г.), генерал-поручик. Он был астраханским губернатором с 1776 по 1781 год; затем до 1783 года был генерал-губернатором уфимским и симбирским, а с 1783 по 1789 год — генерал-губернатором кольванским и иркутским, после чего был предан суду, продолжавшемуся несколько лет».

Примечание это принадлежит М.Н. Лонгинову, бывшему начальнику главного управления по делам печати, который обязательно дополнял своими пояснениями и указаниями некоторые мои статьи исторического содержания, когда они печатались в первый раз. — Автор.

казаков с старшиною. Все были вооружены. Кроме того, из всех селений, через которые провозили арестантов, брали народ для сопровождения секретного поезда и для защиты его в случае опасности, или, как выразился Цыплетев, «на целое себя и важных колодников сохранение». «Злу начальник», как называли самозванца, закован был в ножные кандалы и наручни; прочие семь колодников, не исключая женщины и молодой девушки, — в ножные железа. Конвою строжайшим образом запрещено было останавливаться в степи, а ночные стоянки велено иметь непременно в жилых местах. Когда же конвой останавливался ночевать, арестантов вновь тщательно осматривали, а хозяев высылали вон из дома, чтобы даже они не знали и не подозревали, какого гостя принимают у себя. Ханину отводили особое помещение, и Зубов был при нем неотходно. Народ, проезжие и прохожие, встречавшиеся с поездом во время его шествия, не смели заговаривать с конвойными, а тем менее с арестантами, и потому никто не знал, кого везут под таким строгим прикрытием. Имени Ханина не смели произносить даже конвойные, а еще меньше рассказывать, кто он такой. «Ежели что в государственных делах подлежать будет тайности, оно-го отнюдь в партикулярных письмах никому не писать, ниже к тому, от кого отправлен, кроме настоящих реляций, под неупустительным штрафом», — говорилось в инструкции, данной Зубову. Наконец, строжайшим образом предписывалось остерегаться, чтобы самозванец в дороге не был кем отбит и скрыт где-либо; в случае нечаянных нападений со стороны народа велено было защищаться силою и вооруженною рукою. Так мало доверяли местные власти видимой тишине и покорности народа и так сомнительно было спокойствие Поволжья, восстановлением которого столь усердно занимались в течение нескольких лет и с такими огромными массами войск лучшие умы того времени — граф Петр Панин и Суворов.

Однако торжественный поезд Ханина никем не был остановлен в дороге: самозванец благополучно прибыл в Саратов на окончательный суд. Вслед за ним через неделю по той же дороге и с такими же предосторожностями следовал другой поезд. Это везли соумышленников Ханина, захваченных после. Второй поезд состоял из девяти арестантов.

Что было с Ханиным по приезде в Саратов, мы не знаем. Для нас осталась также неизвестною участь священника с сыном (после оказалось, что они были на села Вязовки), принимавших, как видно, деятельное участие в заговоре, а также

участь Печерского и Маслова, который вместе с священником привозил к самозванцу дочь Прохорова. Судьба их решилась в Саратове, и все обстоятельства, раскрытые по следствию, замыслы заговорщиков, показания тех участников возмущения, которые оставались на Урале, Оружейникова и запорожцев, если они были пойманы, — все это остается до сих пор тайною, потому что большая часть бумаг истреблена временем. Ханин, конечно, если не умер под кнутом или на виселице, то кончил жизнь в Сибири. Запорожская Сечь была вскоре уничтожена.

Часть вторая

ПОНИЗОВАЯ ВОЛЬНИЦА

АТАМАН ИВАНОВ И ЕСАУЛ ЮДИН

I

Хотя грустно, что до сих пор для истории нашего народа мы можем представить только не совсем благовидные факты из его исторической жизни, — факты, по-видимому, набрасывающие тень на чистоту его побуждений, однако утешим себя мыслью, что невольные заблуждения его вызваны обстоятельствами, отстранить которые было не в его воле. Нет сомнения, что для полного понимания исторического склада государства необходимо знать и оценить, между прочим, и такие явления, которые, по-видимому, препятствовали успешному ходу государственной жизни, останавливали ее развитие, — одним словом, явления регрессивные. Такими явлениями, с известной точки зрения, считаются те препятствия, которые встречала администрация в Поволжье и по всем крайним провинциям в прошлом столетии. Препятствия эти правительство встречало в самом населении крайних провинций и особенно в народе бродячем, не привыкшем к месту, и в беглых всякого рода, а на Волге — в так называемых «сходцах» и «понизовой вольнице».

Замечено, что русский народ, несмотря на оседлый характер, свойственный земледельческой стране, склонен к бродячей жизни; что без видимых причин он покидает родину и идет искать чего-то на чужой стороне. Но эта неуживчивость лежит, кажется, не в характере народа, как объясняют многие, а есть следствие неблагоприятных исторических обстоятельств. Если замечают, что он легко покидает родное село и кладбище отцов, то следовало бы заметить, что, покидая одно, он ищет другого, лучшего: пойманный и уличенный «Иван, непомнящий родства», на воп-

рос судьи о причине побега, всегда отвечает, что не «от добра бегают», что «от добра добра не ищут». Так, вследствие известных причин, в XVIII столетии народ бежал в Польшу и за турецкую границу; в более позднее время, в нынешнем столетии, он бежал на Яик, «на сытовые воды и кисельные берега», на «Дарью-реку» и на «Новую линию»; несколько лет назад целые села бежали в Анапу, потому что неведомые страны эти представлялись обетованною землею, где труд не тяжел и не неблагодарен, где человеку живется легко и свободно. Перед самым царствованием императрицы Екатерины II, во время крестьянских смут, народ бежал целыми вотчинами к Царицыну и Камышину. Целые села покидали свои родные усадьбы, забирая лошадей, скот и домашнюю рухлядь. По всем местам разглашалась весть, что беглые, переправясь за Волгу, порыли там себе землянки и живут счастливо. Говорили, что переселенцев принимает за Волгой какой-то майор Парубуч¹. С трудом могли остановить движение. С давних пор по всему низовью и за Волгой рассеяны были вышедшие из разных мест России «сходцы», которые никуда не приписывались, не обзаводились хозяйством и жили Бог весть чем. При заселении Петербурга и его окрестностей сходцев требовали на житье в новую столицу, но эти «подлые люди», так назывались они в указах, бегали за Кубань, на Куму, за Волгу и Яик, в бухарскую сторону, в Персию, где «обасурманились», жили «зверски, во отчаянии»². В Россию они не хотели идти; а если и возвращались, то только за тем, чтоб дополнить собой шайки бродяг. По обнародовании известного манифеста, которым приглашались на житье в Россию иностранцы и вызывались раскольники, последние толпами стали переходить польскую границу и являться на русских форпостах и в крепостях для внесения себя в списки выходцев; с ними шли и беглые помещичьи крестьяне. Раскольники, возвращаясь на родину, селились на новоотведенных местах, но не могли уже мириться с новым положением и снова начинали бродячую жизнь. Помещичьи крестьяне также неласково принимались своими господами: как скоро являлись они в покинутые вотчины, где по ревизским сказкам значились в числе беглых или вовсе были пропущены, помещики прямо вели их в присутствие и брили³. Встретив такой прием, бег-

¹ Полн. Собр. Зак. XV, 10791.

² Там же, XVI, 12093.

³ Там же, 12266; XIX, 13517.

лые опять покидали вотчины и рассыпались по России. Они снова уходили за польскую границу, уводили с собой родных, знакомых; бунтовали целые имения и, погуляв за границей, огромными шайками врывались в пределы России, расходились по всем дорогам, грабили и разоряли все; нападали на крепости и форпосты; наводили страх на жителей, многих брали с собой и удалялись в Польшу. За ними посылались отряды; они тайно переходили границу, ловили беглых, приводили в Россию и силою водворяли на прежних местах¹. Но непрочны были таким путем добытые подданные.

Во время последних смут крестьяне толпами убегали в Сибирь и самовольно селились там, не имея никакого письменного вида. Число беглецов так увеличилось, что их велено было переписать и положить в подушный оклад². К своим помещикам они не хотели возвращаться и скорее соглашались жить в Сибири или всю жизнь шататься по миру, чем быть в прежней зависимости. Иные убегали в раскольничьи скиты, рассеянные по лесам; основывали новые пустыни; другие шли в православные монастыри, посвящались в монахи³ и лучше хотели отказаться навсегда от мира, чем воротиться домой. Многие, особенно после заразы 1770 года, лишившись родных и поддержки, бродили по миру, заходили в Москву, шатались по выморочным домам и грабили⁴. Переходя из села в село, беглые, на вопрос воевод и комендантов, что за люди, отвечали: выходцы из Польши в силу манифеста 62 года, и пропускались беспрепятственно. Между этими шайками ходили беглые солдаты, везде находившие радушный прием и покойный ночлег; самые войска были не в блестящем положении. Отставные солдаты высылались в Казанскую губернию на поселение; они ходили без конвоя и, рассеявшись по России, праздно проводили время «к бесславию государства», пускались на воровство и грабежи. Их велено было водить с конвоем⁵. Регулярные войска, размещенные по квартирам, продолжали чинить жителям «дурно», как чинили его при Алексее Михайловиче и при Иване Грозном: их постой был ничем не лучше грабежа, и они доводили хозяев до того, что те бросали свои дома и убегали от

¹ Полн. Собр. Зак. XVI, 11894.

² Там же, XVI, 11860.

³ Там же, XIX, 13413.

⁴ Там же, XIX, 13767.

⁵ Там же, XVI, 11617.

постояльцев. Был даже указ, которым вменялось командирам войск не допускать хозяев к побегу.

Но больше всего бегали арестанты и пересыльные в Сибирь. Колодники, навязанные на длинные канаты, проходили неизмеримые пространства: их водили из Рогервика и более отдаленных мест до самого Нерчинска; в Твери и других поволжских пристанях устроены были особые суда, на которых везли ссыльных до Казани и Самары¹. Дорогой они бегали, потому что отправка была плохая и притом тяжелая. Всех сибирских арестантов водили для пытки в Иркутск: Нерчинск посылал пытать своих колодников за 946 верст, Селенгинск — за 402 версты через море, Якутск — за 2266 верст, Охотск — за 3037; расстояние между камчатским Большерецким острогом и Иркутском даже было вовсе не известно: в течение года арестанты не доходили до Иркутска, умирали от голода и холода; другие бегали с дороги². Да и нельзя было не бегать даже тем, которые содержались в тюрьмах внутри России: арестанты помещались дурно, в каких-то хлебах, сырых и темных, в подвалах и погребах; их набивали в тесные казематы до последней возможности, хотя и не велено было помещать более трех человек на одной квадратной сажени, где три человека могли свободно лечь и умереть; арестантские дела тянулись бесконечно долго; а по прочтении приговоров и по наказании преступников долго не высылали в Сибирь, а оставляли в тюрьмах, заставляя их ходить по миру для сбора милостыни; милостыня отбиралась тюремным начальством, а колодникам из этого подаяния выдавалось по копейке кормовых на сутки. Зато беглые арестанты делались самыми закоренелыми разбойниками. К довершению сумятицы, между толпами беглых крестьян, раскольников и арестантов бродил по всей России вольный малороссийский посполитый народ, целыми массами подвигаясь на восток и наводняя собою поволжские губернии. Смелость бродячего населения доходила до того, что они нападали на партии рекрут-новобранцев, разбивали конвойные отряды и уводили с собой будущих солдат, не допуская до присутствия.

Из беглых формировались шайки воров и разбойников. С первых лет царствования Петра I, да и вообще с самого начала утверждения общего гражданского порядка в России, с призыванием на престол дома Романовых, ни одна правительст-

¹ Полн. Собр. Зак. XVI.

² Там же, XVII, 12345.

венная мера не преследовалась с таким постоянством, как искоренение воров и разбойников. Это была одна из самых чувствительных ран старого русского общества, которая постоянно напоминала правительству, что администрация не уложилась еще в стройные формы. По всем концам государства ходили правильно организованные шайки разбойников, предводительствуемые избранными из себя атаманами и есаулами; атаманы назывались почетным именем *батюшки* и держали своих подчиненных в беспрекословном повиновении; провинившихся разбойников казнили по приговору собственного суда: вешали, топили, убивали из ружья, кололи или выгоняли из артели. Разбойники нападали на обозы, грабили и жгли селения, вешали попадавших им в руки, разбивали караваны по рекам. Против них постоянно издавались указы; учреждены были в каждом уезде особые сыщики с военными отрядами, которые заведовали судом и казнью виновных. В 1762 году искоренение разбойников поручено было губернаторам, воеводам, комендантам крепостей, командирам войск, расположенных по квартирам, и самим помещикам. Им дана была из сената подробная инструкция. Даже при подаче ревизских сказок велено было отмечать, что в вотчине или волости нет ни станов, ни разбойников, ни пристанодержателей. Везде учреждены были заставы, караулы и разъезды. Способ, принятый недавно на Кавказе для стеснения черкесов, употреблялся тогда в отношении к разбойникам: в степных и лесистых местах проводились новые дороги; по обеим сторонам дорог широко вырубался лес для прохода отрядов; делались лесные просеки и учреждались съезжие и сторожевые пункты. При появлении шаек из городов и крепостей командировались гарнизонные отряды; против больших разбойничьих партий высылались отряды из полков действующей армии; за неимением войск собирались и вооружались чем могли отставные унтер-офицеры и солдаты, сгонялись вооруженные обыватели и все, кто только мог владеть топором или рогатиной¹.

Это смутное время, обнимающее целых два столетия, оставило нам много песен, которые и теперь не забываются народом и в которых говорится о крепких караулах и заставах, расставленных по дорогам.

Впрочем, не помогали ни заставы, ни крепкие караулы. Разбойников ловили и сажали в тюрьмы; но не пойманные делались еще жесточе. По судам разбойничьи дела тянулись

¹ Указ. Екат. 1779, 65—67.

бесконечно долго, потому что не завершались до тех пор, пока не находили всех оговоренных. Оттого тюрьмы и остроги, с выходами и подземельями, были наполнены до невозможности. «Разбойники, воры, грабители, взяточники, похитители государственной казны и убийцы, — говорит сенат, — сидя по тюрьмам, наносили народу страшный вред, причиняли ему всевозможные бедствия, истязания и невинное кровопролитие». По прошествии довольно значительного времени после первых допросов арестанты, мстя кому по злобе или по наущению товарищей, оговаривали невинных и доводили до пыток; потом, как бы в насмешку над законом, «сговаривали» с них и показывали на других, ни в чем не виноватых. Сидя целые годы под караулом, они находили средства к побегу, разбивали тюрьмы и погреба, в которых содержались; другие, отправленные в Сибирь и Рогервик «на связках», перепутанные длинным канатом вместо цепи, уходили с дороги от приставников, подвергая их тем же пыткам, которые сами выдержали, и возвращались «на прежние свои злодеяния с вещим устремлением к погублению бедных поселян», как с прискорбием выразился сенат; особенно доставалось тем, кто их приводил, или показывал на них, или открывал их стан: таких они «тирански мучили, жгли, грабили, убивали до смерти и разоряли до основания», наводя ужас на целые уезды. Они наводили такой страх на жителей, что никто не решался их ловить; притом всегда брали самого доказчика, оговаривали и пытали вместе с ворами. Разбойные дела велено было производить спешно, в один месяц, а иногда не выходя и в праздник из присутствия; тут же делались очные ставки и пытки.

Чтобы поощрить сыщиков, им выдавали из казны деньги за каждого пойманного разбойника: за атамана платили тридцать рублей, за простого разбойника — десять, за пристанодержателя — пятьдесят, если б даже его представил в суд сам разбойник¹.

В случае отыскания где-либо воров или станов на все село, к которому принадлежали разбойники, налагалась *выть* — плата за все пограбленное имущество². Тогда производились стачки истцов с судьями: обоюдное «похлебство», скрепляемое взяткой, заставляло судью обвинять разбойников в больших грабежах, чем они произвели на самом деле; в случае упорства виновных пытали и принуждали говорить то,

¹ Полн. Собр. Зак., XVI, 11750.

² Там же, XVII, 12455.

чего добивались истцы и судьи. Потому на целые волости налагались огромные выти, и часть собранных денег шла в карманы судей, а другою вознаграждались просители.

Разбой были таким естественным делом, что в самых столицах нельзя было рассчитывать на совершенную безопасность. Даже Петербург был окружен шайками воров и разбойников, которые грабили пешего и конного; в шести верстах от Петербурга разбойники убили французского курьера; в самом городе попадались на улицах мертвые тела, а в домах производились открытые разбой. Столица представляла вид города, находящегося в осадном положении: в трех главных частях Петербурга расположены были отряды, начальство над которыми поручено было генерал-лейтенантам Ушакову и Бороздину и вице-адмиралу Мордвинову; на всех перекрестках расставлены были рогаточные караулы, по ночам ходили частые дозоры и пропускали только того, кто имел фонарь; всем караульным положено было иметь трещотки, и по первой тревоге жители выходили из домов, как на пожар¹.

Но нигде разбой не принимали таких страшных размеров, как в Поволжье. В продолжение всего прошлого столетия история Поволжья, да и всей юго-восточной России представляет страшную картину борьбы старого порядка с новым, необузданной воли с администрацией. Колонизация края идет довольно успешно; правительство обращает внимание на водворение порядка и тишины в новонаселенных провинциях, ограждает их укрепленными линиями и форпостами от вторжения диких азиатских орд; вызывает из-за границы немецких поселенцев; поволжские города начинают строиться и богатеть, поля — засеиваться хлебом. Но старый порядок менее всего уничтожился в Поволжье; дряхлый XVII век не робко прятался перед нововведениями, а долго напоминал о себе жестокими сценами, возмущая спокойствие страны. По Волге и по степям, там, где плавали торговые караваны и начинали ходить обозы от города до города, разъезжали те же толпы разбойников с своими избранными атаманами и есаулами, грабили суда и обозы, жгли села, убивали народ или завлекали в свои шайки. Этим шаек было бесчисленное множество; они собирались мгновенно, по зову атамана, имели везде пристанодержателей, отдельные разбойничьи станы, прятались в заводях, воложках, по оврагам и степным балкам; в случае опасности расходились, потом собирались снова и грабили. За ними, как и в остальной России, посылались от-

¹ Указ Екат. 1762.

ряды солдат, которые они иногда разбивали, а иногда и сами были разбиваемы, попадались в руки и жестоко наказывались: их вешали, били кнутом, ссылали в Нерчинск. Они возвращались снова на Волгу к своим станам; набирали новые шайки или приставали к старым, мстили за свои спины и вырванные ноздри; отчаянно нападали на военные отряды, застигали врасплох и грабили целые селения, жгли хутора и уметы, вешали всех сопротивляющихся им, преимущественно помещиков и чиновников. Разъезжая по Волге «в легких лодочках», они имели свои пушки, которыми отстреливались от военных разъездов; свободно приставали к рыболовным ватагам, где часто встречали их с хлебом-солью и только изредка защищались имевшимися на ватагах караульными пушками, которые доставались победителям. Разбойники не страшались ни воинских высылков против них, ни обывателей: о приближении команд их извещали пристанодержатели, находившиеся почти в каждом селе, особенно по хуторам; обыватели не вредили им, потому что боялись их мщения и оговора, а иногда и считали выгодным быть в дружбе

С понизовыми бурлаками,
С ярыгами кабацкими.

«Понизовые бурлаки» известны были по всей России; их знало правительство как самых опасных разбойников; их боялись коменданты крепостей, расположенных по юго-восточным и восточным линиям; их трепетали волжские судопромышленники, которых бурлаки каждую весну абордировали на своих косных лодках; отбирали их казну, брали товары, ружья, пушки, порох и паспорта. Не одна мать оплакивала любимого сына, ходившего во «царев кабак» и завлеченного в разбой понизовыми бурлаками, как поется до сих пор в песне:

Не водись, мой сын, со бурлаками,
Что со бурлаками, со ярыгами;
Не ходи, мой сын, во царев кабак,
Ты не пей, мой сын, зелена вина:
Потерять тебе, сыну, буйну голову.

Полная летопись походов всех главных шаек понизовой вольницы и удовлетворительное объяснение этого явления в русской истории возможны только при хорошей разработке неизданных архивных дел, и потому мы передаем здесь одни известные нам факты из этой внутренней, так сказать, домашней и никем нетронутой истории нашего народа, к которому принадлежала вольница.

В начале семидесятых годов шайки понизовой вольницы начали заметно увеличиваться, и Поволжье в течение двенад-

цати лет, говоря языком того времени, «было непокойно». Действия разбойничьих шаек нижнего края Волги в период времени между 1770—1782 годами и составляют предмет нашей статьи. Сведения, находящиеся в ней, извлечены из одного Царицынского архива, и есть основание думать, что о других партиях вольницы и атаманах можно было бы узнать из разбора прочих архивов поволжских городов.

В 1770 году, в апреле, плыл по Волге командированный в Томский пехотный полк офицер Кретов¹: верстах в шестидесяти ниже Царицына, на Поповицком приверхе, он встретился с шайкою разбойников («снизу бегущих») в числе двадцати или более человек. Неизвестная партия плыла вверх по Волге в лодке; разбойники вооружены были баграми и ружьями и, поравнявшись с судном, на котором плыл Кретов, напали на него и взяли ловким абордированием, к которому так привыкли. Они избили Кретова; многие порывались заколоть его, но ограничились только грабежом. В апреле же следовал Волгою сержант Деревягин, отправленный с несколькими солдатами саратовским комендантом, полковником Юнгером, в Астрахань для принятия пороху, свинцу и медикаментов: ниже села Золотова, в урочище Щербакове, в ночи на 19-е число, напала на его судно лодка с разбойниками, человек двадцать. С лодки началась пальба. Деревягин тоже приказал стрелять по разбойникам и отразил нападение².

Спокойно не проходило Волгою ни одно судно.

Губернаторы и воеводы поволжских городов получали жалобу за жалобой. Губернаторы упрекали воевод и комендантов в беспечности; воеводы и коменданты наказывали разъездных офицеров, — и все напрасно. В мае того же года астраханский губернатор Никита Афанасьевич Бекетов писал всем городovým комендантам, астраханскому воеводе и астраханской почтовой конторе, а также «состоящим от Астрахани вверх по Волге реке до города Саратова по станциям и простым дистанциям казачьим старшинам и другим командирам», то есть начальникам форпостов, расположенных вдоль Волги, что «вольница» на Волге не уменьшается, а постоянно прибывает, что шайки разбойников нарушают

¹ Царицын. арх. № 135. Дело о командировании по реке Волге команд для истребления появившихся разбойников. 1770.

² «Напав на судно неведомо какие воровские люди в лодке, в числе человек до двадцати, чинили из ружей пальбу, токмо повреждения не сделали; потому и он принужден был чинить отпор ружейным же выстрелом, до трех патронов, с пули».

спокойствие страны. Напоминая начальникам отрядов прежние свои ордера «о искоренении воровских партий и о учинении разъездов», Бекетов снова приказывал истреблять «злодеев» всеми возможными способами. Он предписывал разведывать о них по всем проезжим местам и в случае появления разбойников отправлять тотчас по дистанциям «пристойную команду лучших казаков и гарнизонных солдат при хорошем, надежном командире, дав свое пристойное наставление»; сверх того, посылать частые разъезды от города до города, от форпоста к форпосту и от дистанции к дистанции. В случае недостатка в казенных лодках он приказал брать обывательские, «ибо, — добавлял он, — оное следует для всего общества ко искоренению такого злодейства». Между прочим, Бекетов писал об этом к Царицынскому коменданту, полковнику Дебонбергу, потому что Царицын был главным укрепленным пунктом южного Поволжья и потому что Волга в этом месте и все окрестности Царицына и Дубовки наполнены были разбойничьими шайками и представляли обширное поле для неутомимой их деятельности. Он давал знать Дебонбергу, что «если и за сим таковые разбойники искоренены не будут, то без ответа, а в противном случае и без штрафа остаться не может», и велел о результате поисков доносить ему ежемесячно. Кроме того, «для незабвенного исполнения» этого приказа он велел списать во всех местах копии с него и, где они будут списаны, расписаться на подлинном приказе, который и выслать к нему обратно. Саратовскому воеводе Строеву приказано сноситься об этом предмете, то есть о наряде команд для уничтожения разбойничьих шаек, с тамошним комендантом, полковником Юнгером. Наконец, в заключение этого строгого приказа Бекетов добавлял: «А что касается до казачьих постов, то если от которой дистанции сделается подобное грабительство, то оных мест командиры за слабое их вблизи себя смотрение *не только разжалованы, но и нещадно еще на теле штрафованы будут*».

Вслед за тем стали употреблять следующее средство к поимке и искоренению разбойников: как скоро посылаемые от города до города на лодках разъезды примечали плывущее по Волге торговое судно, то подъезжали к нему, привязывали к борту свой катер, и все всходили на судно; на судне они прятались вместе с оружием, которое при них было, а пустая лодка плыла за судном в виде завозни, которые употребляются при всяком промышленном судне. Когда разбойники абордировали судно своими баграми, хозяева

и лодчаны не препятствовали им всходить на палубу. Тогда выходили скрытые на судне команды и ловили грабителей¹.

Но это не помогало. Хотя царицынский комендант в течение первых четырех месяцев со дня этого распоряжения и доносил постоянно Бекетову, что «в прошедшем (таком-то) месяце определенный по реке Волге разъезд чинен был, да и ныне чинится, точно воровских партий в здешней округе нигде не предусматривается», — но воровские люди за всеми строгими мерами не переставали возмущать Поволжье.

II

В то время, когда Бекетов придумывал вернейший способ для искоренения разбойников, а местные власти Поволжья «недреманным оком» наблюдали за тишиной во вверенных им местностях, разбойничьи атаманы, которых каждый город и пригород, каждый умет и хутор выводили ежегодно на сцену, продолжали формировать шайки воровских людей и грабили пешего и конного. В 1771 году становится известным атаман Иванов² с своею многочисленною шайкою, которая, в случае надобности, для совершения какой-либо важной экспедиции,

¹ Этот способ поимки разбойников рекомендован был Бекетовым. «Как ныне, — говорит он, — мне известно, что то воровские партии по Волге реке производят немалые грабежи и о поимке их ниоткуда рапортов я не имею, то почему предвидится — во искоренении их поступаетя нерачительно, а по рассуждению моему к поимке тех злодеев предусматривается и таковой легчайший способ, что посылаемые от города до города для поимки их команды, как скоро какое плывущее по Волге вниз или вверх обывательское судно наехать могут, то бе все, с лодки своей вошед на оное, со всеми будущими при них ружьи, находились скрытно, ни мало себя не оказывая, а лодку свою при том судне вели б, привязав порожнюю, как обыкновенно при всех промысленных судах таковые бывають. Когда же те злодеи по своему намерению сделают на то судно нападение и на оное, не видав той команды, войдут, то сами себя к поимке подвергнут в руки; для чего, имея такую скрытную команду, хозяевам тех судов против таковых злодеев никакого сопротивления до тех пор, дондеже оные на судно не войдут, не чинить, а по выходе, обще с командою к неупустительному всех переловлению всевозможное старание прилагать и, ловя оных, в отсылке тем командам в городовые канцелярии по данному наставлению без отрицания поступать. Каковое средство в те отправленные команды производить, разъезжая город от города на идущих вниз и вверх Волги реки судах». На ордере этом в заголовке написано: *по секрету*.

² Цар. арх. № 188. *Дело о содержащихся при царицынской гражданской канцелярии ворах, разбойниках и других беглецах и оклеветанных ими Качалинской станицы атамане и казаках. 1772 года.*

могла дать своему предводителю до ста человек, что, впрочем, было не в правилах разбойников прошлого века: атаман, принимая воровской поход, брал с собой не более 10—20 разбойников, а иногда с пятью-шестью человеками производил самые смелые набеги. В 1771 году мы находим стан Иванова не в степи, не в лесу или где-либо в диком и глубоком овраге, а в одной из многочисленных донских станиц, именно в Качалине. Качалинская пристань на Дону, составляя ближайший пункт, где Дон подходит к Волге на расстоянии только шестидесяти верст, и в прошлом столетии служила крайней точкой сухопутного волока между Доном и Волгою, где теперь проведена волжско-донская железная дорога. В Качалине грузились на суда волжские товары, перегружались подвезенные с верховьев Дона, Хопра и Медведицы, и разгружались клади, пришедшие с низовьев Дона, с Азовского и Черного морей. Качалин был постоянно наполнен бурлаками из верхних городов, и эти бурлаки весьма легко обращались в разбойников, когда находили смелого атамана. Таким был Иванов. Хотя он имел свой стан в Качалине, но жил там не как атаман разбойников и не укрывался, а нанимал квартиру у станичного казака по фамилии Лузанов и считался его нахлебником. С Ивановым жили у Лузанова еще два или три постояльца, тоже разбойники, и платили своему хозяину за квартиру и стол *по пяти копеек в сутки*. У Иванова был есаул, по фамилии Юдин, который жил отдельно от своего атамана. Прочие члены шайки, разбойники Лукин, Стряхнин, Лобанов и другие, до ста человек, жили где кому Бог привел: кто на постоянной квартире, а кто где день, где ночь, как они сами выражались. В числе разбойников ивановской шайки был один, который слыл между ними за беглого дьякона города Тобольска. Разбойник сам говорил, что он из Сибири и до побега был дьяконом в тобольском Успенском соборе; называл он себя Яковом Никитиным. Вообще шайка состояла из сброда самой разнохарактерной вольницы: тут были каторжники, военные дезертиры, дворовые и посадские люди, рекруты, помещицы и экономические крестьяне, купеческие приказчики; но самый больший процент в этом капитале составляли понизовые бурлаки, люди, давно забывшие и свою родину, и свои семьи и едва ли помнившие имена, данные им при крещении, потому что им так часто приходилось менять их, смотря по обстоятельствам и по паспорту, попадавшему им в руки. Это была в полном смысле

... Смесь одежд и лиц,
Племен, наречий, состояний...

Разбив какое-нибудь плывущее по Волге судно и идущий по степи обоз, разбойники одевались в платье ограбленных ими жертв, брали их паспорта и прикидывали, какой кому к лицу, к росту, глазам и волосам: Ивану приходилось по приметам назваться Петром, беглому каторжнику — купеческим сыном и т.д. Зимой и летом, когда не предвиделось воровских экспедиций, шайка Иванова жила в Качалине мирно — кто с паспортом, а кто и без всякого письменного вида: иной жил в работниках у какого-нибудь казака, другой находил приют у вдовы-казачки, с которой сживался любовно; иной работал на Дону на барках, на пароме, в поле и на пожнях; были и такие, которые имели свой курень и жили отдельно. У этой шайки был свой секретарь, какой-то бурлак Агап, который жил у казака Загубникова и приготавливал для шайки «воровские паспорта».

Летом 1771 года атаман Иванов водил свою шайку на Волгу на разбой и ограбил восемь судов с товарами. Как велика была добыча — видно из того, что в «дуване» (в де-леже) каждому разбойнику досталась на долю довольно порядочная сумма денег и много разного товара. Из этого награбленного добра они дарили в Качалине своим знакомым кумачи, платки, деньги и проч.

После всякого дувана, если не предвиделось новых воровских походов, разбойники расходились по разным местам и к осени, когда на Волге становился лед и навигация прекращалась, они возвращались в Качалин на зимние квартиры и жили до новых походов. Так, они возвратились и после летних экспедиций 1771 года. Но в это время местные военные власти, вероятно, проведали о местопребывании шайки Иванова, потому что вскоре, именно весной 1772 года, командирован был в Качалин сотник Горский с отрядом казаков и захватил некоторых разбойников на месте; вслед за тем отряжена была небольшая партия нижних чинов под начальством капитана Куткина, который также переловил несколько человек. Взяты были и атаман Иванов с есаулом Юдиным. Пойманных воров привезли в Царицын и приставили к ним караул. Впрочем, большая часть шайки Иванова спаслась от рук Горского и Куткина и продолжала жить в Качалине, а над пойманными наряжена была судная комиссия, презусом которой назначен был секунд-майор Казадаев; комиссия открыла свои заседания допросами арестантов.

На допросах разбойники показали, что начальник Качалинской станицы, атаман Суханов, станичный писарь Попов и многие из казаков и казачек знали об их промысле, но

потворствовали им, потому что получали от них подарки и пивали с ними в кабаке. Разбойник Стряхнин, например, сознался, что «пристань имел в Качалинской станице у вдовы, казачьей женки Катерины Фроловой, с воровским паспортом, который объявлен был станичному атаману Тихону Потапову (Суханову), которому из грабленых дал кумач, а сверх того ево ж пивал в кабаке вином». Есаул Юдин говорил, что «по приходе в Качалинской станице жили у казака Марка Кустова, без паспорта, заведомо вора, о чем был известен и станичный атаман» и т.д. Таких «оговорных» нашлось до двадцати человек, между которыми попадается имя казака Трехостровской станицы Ивана Семенникова, принимавшего в этом же году деятельное участие в заговоре известного Лже-Петра III — самозванца Богомолова. Всех оговоренных тотчас же забрали под караул и привезли в Царицын.

Но в ночь с 20 на 21 апреля атаман Иванов бежал из-под ареста. С ним бежали некоторые из его товарищей, как-то: Лукин и Стряхнин. Между тем оговоренные не признавались ни в чем, особенно станичный атаман и писарь. Первый на обвинения Стряхнина (после бежавшего) отвечал: «Иван Стряхнин ведомства моего в станице у казачьей женки Катерины Фроловой с печатным пашпортом жительство имел; а что тот пашпорт был воровской или нет, того я не знал, и в том, что он был не сумнительный, много был смотрен; грабленого ж кумача от него никакого не брал, и что он разбойник, о том я подлинно не знал и вина с ним никогда не пивал». На другие обвинения он отвечал почти такими же фразами; подобными фразами защищали себя и прочие оговоренные. «Показанного дьякона Никитина, — говорил станичный писарь, — чтоб он был беглой дьякон, я не знал, а в работе на перевозном пароме его видал и считал его за работного человека, а не за дьякона; с пашпортом ли же он, или без пашпорта, я о том неизвестен, а о том должен знать войсковой сборщик» и т.д. Следовательно, трудно было ожидать истины от их показаний.

Военно-судная комиссия не решила, однако, участи разбойников из шайки Иванова: ее назначение было исследовать только степень виновности качалинского станичного атамана Суханова, станичного писаря и прочих двадцати оговоренных арестантами, а суд над разбойниками производился особо. Суханов с писарем и некоторые казаки были хотя и оправданы, оставлены, однако, в подозрении; несколько же человек из жителей Качалина были присуждены к наказанию, потому что улики их виновности были ясны и неопровержимы и в сношениях с разбойниками они винулись сами.

Это происходило за *три дня* до бунта, вспыхнувшего 25 июня в Царицыне во имя Лже-Петра III, Богомолова, которого народ желал силой освободить из-под караула, когда происходила в городе такая жаркая схватка между народом и войском и сам комендант Цыплетев едва не был убит, вследствие чего, находя присутствие лже-императора в беспокойном Царицыне небезопасным, его, вместе с его государственным секретарем, на другой же день, т.е. 26 июня, еще до свету, вывезли тайно из Царицына в Черный Яр.

Над разбойниками и над действиями всей шайки Иванова производилось еще особое следствие, но исхода его мы не знаем. Неизвестно также, что случилось с ее атаманом, кто он был, откуда родом, собирал ли своих молодцов после бегства из Царицына, водил ли их на новые разбои и чем кончил свою удалую жизнь: с ружьем ли и ножом в руке на Волге, или в поле, умер ли под ударами кнута, приютила ли его Сибирь в своих золотых рудниках.

Знакомство с архивами прошлого века все более и более убеждает в мысли, что правительство, по-видимому столь сильное извне, было бессильно у себя дома и не в состоянии было спасти страну от крайней неурядицы. Болезнь крылась глубоко, и паллиативы были недостаточны для успокоения масс. Нисколько не удивительно, что в описываемое нами время сами блюстители порядка, долженствовавшие «недреманным оком» смотреть за спокойствием страны, поступали иногда не хуже понизовых бурлаков: солдаты, оберегавшие волжские караваны от разбойников, иногда сами их пощипывали, в случае оплошности судохозяев. Так, военно-судная комиссия под председательством секунд-майора Казадаева, назначенная для исследования виновности лиц, оговоренных шайкою атамана Иванова, в одно и то же время должна была разбирать дело о грабеж у следующего от Саратова до города Астрахани на судне с разным хлебом, в дачах города Царицына пахотного солдата Козмы Полякова, напавшими разбойническими людьми его Полякова и работников его пашпортов и денег (Цар. арх. №. 198, 1772). А из дела этого видно, что «разбойнические люди», ограбившие судно, были солдаты царицынского батальона, намеревавшиеся воспользоваться украденными паспортами для побега!

АТАМАН КУЛАГА

Обходя молчанием внезапное появление и такое же внезапное исчезновение предшественника Пугачева, царицынского Лже-Петра III, самозванца Богомолова, как происшествие уже известное, и не касаясь события народной драмы 1771—1775 гг. и всех ее эпизодов, группирующихся около Пугачева, мы перейдем к историческим проявлениям народной жизни в эпоху, следующую за смертью Пугачева. Но, приступая к передаче событий после 1775 года, напомним только, что связью между временем Пугачева и последующим служит явление атамана Заметаева, в котором народ видел преемника Пугачева и которого граф Панин, в печатных объявлениях, рассылаемых по России, называл «чудовищем», а Суворов считал опасною личностью.

Почти в одно время с Заметаевым начинает действовать разбойничий атаман Кулага, которого в официальных бумагах того времени величали иногда *славным разбойником*¹.

Около 1755—1756 гг. из нижегородского имения княгини И. Я. Голицыной, из деревни Отеревой, неизвестно куда скрылся молодой крестьянин Константин Васильев Дудкин. Несколько лет этот добрый молодец шатался, как сам говорил, по разным местам, преимущественно по Волге-матушке реке; спознавался добрый молодец «с понизовыми бурлаками, со ярыгами кабацкими» и, наконец, очутился в Астрахани в главном разбойничьем притоне, откуда бродягам лежал широкий путь на все четыре стороны — к киргизам, к донским казакам, на Урал и в Персию; лучшие притоны были на взморье, на ловецких ватагах, где атаманы набирали свои шайки и водили их оттуда на расшивах, на косных и ловецких лодках, вооруженных иногда пушками, вверх по Волге, к персидским границам и к киргизам за устье Эмбы и за Мертвый Култук, где подвизался Заметаев. В Астрахани бродяга Дудкин попался в руки к местному начальству и с тех пор переменил и свое имя, и свою кочевую жизнь простого бурлака.

¹ Цар. арх. № 337, Дело о разбойническом атамане, именуемом Кулагою, с шайкой его. 1773.

Пойманный без всякого письменного вида, Дудкин назвался беглым рекрутом Степаном Кулагиным и с тех пор слыл в народе под именем *Кулаги*.

Мнимого рекрута засадили под караул, судили в астраханской военной комиссии и определили в солдаты в самарский полк с фамилиею Кулагина, где он прослужил тринадцать лет. Но в это время княгиня Голицына узнала, что Дудкин, столько лет пропадавший без вести и уже считавшийся погибшим, служил в самарском полку под ложным именем. Она послала в полк доверенное лицо, убедилась в истине слухов и приказала «поверстать» его в зачет рекрута, с отдачею в астраханский батальон. Кулага снова поступил на службу, но уже пробыл в ней недолго: солдатская, подначальная жизнь не могла удовлетворить его натуру, давно свыкшуюся с буйною волею; такой жизни не хотел сносить будущий атаман разбойников, изведавший и прелесть, и горечь бродячей жизни. Кулага бежал,

Это было в 1770 году. В первое же время своей независимости Кулага начал подбирать себе шайку и готовить популярность своему имени. Еще не будучи известен за опытного разбойничьего атамана, Кулага успел нанебовать товарищей, на первый раз двенадцать человек, и они с помощью людей одного астраханского чиновника, секретаря Торпакова, ограбили его дом и избили до полусмерти его жену. Но едва разбойники успели разделить добычу, как были схвачены и засажены в каземат, находившийся при Троицком монастыре. Военно-судная комиссия, назначенная над преступниками, определила прогнать их сквозь строй («прогнать сквозь шпицрутен»). Но монастырская тюрьма не могла удержать Кулагу: в августе 1774 года, в то смутное время, когда Пугачев прошел уже Саратов и подвигался все к югу и когда все уцелевшие остроги были набиты арестантами, ждавшими освободителя, мнимого Петра III, Кулага бежал из монастыря, и с ним ушло других колодников до 25 человек.

С этой поры популярность Кулаги утвердила за ним титул атамана и почетное между разбойниками название *батюшки*. Впрочем, большая часть бежавших из Троицкого монастыря была переловлена. Сам Кулага едва спасся бегством на взморье и принужден был всю зиму укрываться в урочище Бертюле. Но весной он решился организовать свою шайку и занялся вербованием молодцов, в которых не было недостатка. Одним из первых его товарищей был семинарист Силантьев. Силантьев был родом из Казани, сын тамошнего протопопа, воспитывался в казанской семинарии и, неизвестно по каким

причинам, бежал оттуда, когда ему было девятнадцать лет. В 1764 году беглый бурсак явился в Астрахань и поступил в приказчики к астраханскому купцу Озерову, у которого и занимал эту должность до 1771 года. В этом году он решился идти в разбойники, соединился с астраханским казаком Ершовым и, успев пригласить только двух человек в свою партию, прежде всего разграбил лавку Мешкова. Но первый подвиг его был несчастлив: грабители были схвачены, уличены в преступлении и засажены в одну тюрьму с Кулагою, который, как мы сказали, содержался в Троицком монастыре. Вероятно, здесь они познакомились, потому что семинарист, спасшись от наказания, прежде всех пристал к шайке Кулаги. Силантьев спасся из монастыря в числе 25 человек и притом в одно время с Кулагою. Кулага скрывался всю зиму в Бертюле, а Силантьев ниже этого урочища в высоких камышах. Весною 1774 года они соединились для предстоящих подвигов. Другим отважным сподвижником Кулаги и товарищем его злополучий был некто Тарабарин, беглый солдат, служивший прежде в астраханском четвертом батальоне. Он оставил свой батальон только в июле 1775 года, несколько времени жил в камышах, скрываясь от сыщиков, и уже в августе поступил в шайку Кулаги. Еще раньше Тарабарина пристал к Кулаге разбойник Шумников, родом из Владимирской губернии, из экономических крестьян села Ославского. Шумников, как сам говорил, отдан в рекруты «во второй набор под турка» и по приведении к присяге отправлен был в полк; пройдя с партией Владимир, он бежал с дороги и пробрался на Волгу, в город Дмитриевск (Камышин), на соляную пристань; здесь не нанимался в работники к разным хозяевам и работал на солевозных судах всю зиму 1771 года; оттуда сошел, по обыкновению всех бродяг, в Астрахань, где шатался между чернореченскими ловцами в продолжение трех лет, не находя для себя занятия по сердцу. Но весной 1775 года он познакомился с Кулагою и в его шайке нашел искомую волю и деятельность. Когда Шумников спознался с кулагинскою шайкой, он был еще очень молод: ему было только двадцать лет, потому что шестнадцати лет он поступил в рекруты. Еще мальчишкою после бегства из полка он бродил по России. Наконец, в шайке Кулаги был еще один такой же юный разбойник, Федор Васильев, уроженец богатого села Лыскова, «помещика Грузинского царевича Егора Вахтунгеича крестьянин»¹. Васильев также отдан был в солдаты в Нижнем и, «по учинении

¹ В другом месте — *Вахтунгеича*.

присяги», когда рекрутскую их партию гнали в Москву, бежал из города Павлова. Потом в селе Подловье он соединился с неизвестными бурлаками, такими же, как сам он, бродягами, и все вместе «в лодке сбежали до города Астрахани». В Астрахани Васильев не имел постоянного жительства и оставался там недолго, а пробрался в море, где и жил между ловцами. Наскучила ли ему эта жизнь на море, хотелось ли ему повидать свою родину, только молодой бродяга «намерение возымел, чтоб пройтись пока вверх» и, случайно ли столкнувшись с Кулагою, или привлеченный в его шайку молвою его имени, уже известного и по взморью на всем понизовье, поступил под начальство этого разбойника.

Кроме упомянутых здесь лиц, семинариста Силантьева, беглых солдат и рекрут Тарабарина, Шумникова и Васильева, в шайке Кулаги находилась не одна отважная голова; только эти четыре разбойника были, как кажется, всех ближе к нему; притом Силантьев как сын протопопа и воспитанник семинарии мог служить ему в качестве секретаря, потому что сам Кулага был безграмотен. Впрочем, шайка Кулаги, смотря по обстоятельствам, то увеличивалась прибытием новых лиц, то уменьшалась: иные разбойники, сделав два-три набега, оставляли шайку. Иногда, конечно, они тайно скрывались от атамана, а иногда он сам, по личным расчетам, уменьшал состав своего маленького ополчения. Ополчение это было действительно невелико, хотя умело тревожить край, наводило иногда большой страх на жителей понизовья, причиняло тревогу властям и вообще делало много шуму.

Кулага, как все вообще поволжские разбойники прошлого века и атаманы, державшие разбой на Каспийском море, был по преимуществу пират. Как и Заметаев, он предпочитал действительно ходить на легкой косне или рыбацкой лодке, а не на большом судне. Эта «легкая лодочка» поволжского разбойника довольно известна из старинных песен, которые теперь уже редко поются. Но в первое время Кулага не имел у себя ни судна, ни лодок, а делал свои переходы сухим путем; он производил грабежи, сообразуясь с силой своей шайки и не решаясь предпринимать таких нападений, какие могли удаваться только при помощи огнестрельного оружия и на воде, где он мог рассчитывать на свою ловкость и увертливость, на умение гребцов обращаться с веслами и парусами. К этим сухопутным походам Кулаги, вероятно, принадлежит нападение на Башмаковку, где разбойники ограбили питейный

дом, запаслись водкой и отправились на новые промыслы. После погрома башмаковского кабака один из товарищей Кулаги, разбойник Шумников, неизвестно по каким причинам покинул свою шайку и снова, в качестве простого бурлака отправился на ловецкие станы, где и работал за деньги.

Скромные сухопутные грабежи скоро перешли в отважные разбои, когда шайка Кулаги завладела где-то или просто украла большую завозню, род небольшого судна, которое называлось «досчаником». Кулага посадил на него свой отряд и отправился в первую морскую экспедицию, которая как нельзя более удалась ему. Не имея в своей маленькой команде ни пушки, ни ружей, ни сабель, Кулага с жалким бурлацким вооружением, какое нашлось у его шайки, отправился вверх от взморья и сделал нападение на старую ватагу купца Скворцова. В то время ватаги, места рыболовных станов, были не то, что в настоящее время: частые нападения разбойников, киргиз-кайсаков и калмыков заставляли хозяев иметь на своих ватагах вооруженную стражу, которая могла бы дать отпор всякому насилию и оружие отразить оружием; на более богатых ватагах всегда имели запас пороху, ружей, пик и проч.; на иных находилась артиллерия, конечно, плохонькая, какие-нибудь две-три чугунные пушки, но все-таки достаточная для отражения неприятеля; рабочие на ватагах и самые ловцы могли в одно время быть и промышленниками, и солдатами. Плохо ли был защищен стан Скворцова, или Кулаге помогла его отвага, только стан был взят и ловцы ограблены. Кулага забрал у них деньги, взял также шесть ружей «с приборами», две шашки, ловецкую одежду, хлеб, рыболовные сети и паспорта. Паспорта тотчас были разобраны шайкою «по сходству приметам», чтобы на всякий случай иметь под руками законный вид, которым можно было бы прикрываться в опасности. Разбойник-семинарист, конечно, прочитал своим товарищам эти добытые паспорта, и в каком из них причеты более подходили к наружности которого-либо из разбойников, тот и доставался на его долю.

Ограбив ватагу Скворцова, Кулага взял для себя две лодки, на которых удобнее было производить разбои, а свой досчаник бросил на ватаге. Шайка пересела теперь на легкие лодочки и отправилась на новые подвиги...

Что сверху-то было Волги-матушки,
Что плывет-гребет легка-лодочка,
Хорошо-то была лодка изукрашена,
У ней нос, корма раззолочены,

Что расшита легка-лодочка
На двенадцатеры веселочки;
На корме сидит атаман с ружьем,
На носу стоит есаул с багром,
По краям лодки добры-молодцы,
Посреди лодки красна-девица,
Есаулова родная сестрица,
Атаманова полюбовница, и т.д.

Правда, лодка, на которой ехал Кулага, не была изукрашена и раззолочена; сам атаман, конечно, смотрел простым бурлаком, и добрые молодцы, быть может, одеты были в лохмотья; не было у них и красной девицы; но легкая лодочка, предводительствуемая Кулагой, нападала так же храбро, как и раззолоченные. Кулага знал, что с лодками легче было управляться; лодку можно было спрятать в любом камыше, ее можно было перетащить через широкую песчаную косу и отмель; лодка могла плыть невидимою и незамеченною под самым бортом судна, которое разбойники собирались абординовать; лодка на двенадцать весел могла убегать от преследователей, как птица на крыльях.

В это время Кулага раза два посетил своего прежнего товарища Шумникова, бывшего сподвижником его при разграблении питейного дома на Башмаковке. Шумников, как мы сказали, находился на ловецких ватагах и почему-то бросил ремесло разбойника, хотя, может быть, на время. Кулага приезжал к нему, и Шумников снабжал своего атамана-батюшку съестными припасами.

29 июня во втором часу пополуночи Кулага с одной только лодкою на десять весел и десятью только разбойниками явился на Щучинской ватаге купца Шарыпина. Он, кажется, с намерением выбрал 29 июня, потому что, по случаю праздника Петрова дня, Кулага ожидал, что все люди на ватаге должны быть или пьяны, или в отлучке. Действительно, он не застал там никого и потому не встретил никакого сопротивления. Ватага была обобрана, как и прочие места, куда являлась Кулагина шайка. Не оставаясь здесь долго, разбойники с Щучинской ватаги отправились далее и прибыли к табуну Шарыпина, который находился за рекою Болдою. Вероятно, разбойники искали хозяина и его денег или им нужно было получить какие-либо сведения от табунщика, калмыка Лозона Танкиева, только они, неизвестно по какой причине, жестоко, «смертельно» избили нагайками этого бедного пастуха и калмычку, жену его, избили так, что нельзя было даже надеяться, останутся ли в живых эти несчастные. После этого Кулага снова поплыл вниз по реке

Болде к Каспийскому взморью¹. В этих похождениях прошла ночь Петрова дня.

На другой день рано утром, когда еще только начало рассветать, небольшой отряд «разъездной команды» поручика Иванова, находившийся на реке Болде для охранения окрестностей от нападения разбойников и состоявший из капрала и нескольких солдат, случайно усмотрел лодку, которая плыла на веслах вниз по Болде. Известно, что разъездные команды, или высылки, о которых мы говорили в первой главе, с самого начала XVII столетия постоянно разъезжали по Волге на лодках, оберегая безопасность судоходства и преследуя воровские партии от дистанции до дистанции. Такая высылка находилась в то время и на Болде.² Когда плывшая по этой реке лодка поравнялась с рыбным плотом, находящимся на Трехизбинской ватаге упомянутого купца Шарыпина, разъездная команда стала окликать ее, спрашивая по обыкновению, что за люди. «Добрые люди», — дан был ответ с лодки этими «неведомыми людьми», и, нетронутые высылкою, неизвестные пловцы приблизились к ватаге. Они подъехали к кухне этого заведения, пристали к берегу, и вдруг из лодки выскочил «воровской ата-

¹ В поданном в астраханскую обер-комендантскую канцелярию от астраханского купца Степана Шарыпина объявлении написано: «Минувшего-де июня 29 числа, во втором часу пополудни, в небытность на Щучинской его ватаге работных людей, приехав на оную ватагу в одной лодке на десять весел воровской атаман, называемый Кулага, с товарищами своими десятью человеками, с ружьями, палашами, большими ножами, которые по приезде взяли на той его ватаге из его припасов и у протчих несколько экипажа, и побыв на той его ватаге самое малое время, и с оной ватаги поехали в собственный его конный табун, имеющийся при той ватаге за Болдою рекою, и в оном табуне находящегося пастуха, калмыка Лозона Танкиева, били его и жену его нагайками смертельно, и будут ли от тех их побои живы, или нет, неизвестно, и с того табуна оные разбойники поехали по реке Болде».

² Вот одна старая разбойничья песня, в которой проклинаются эти высылки и воевода, отправляющий их для поимки добрых молодцев:

Еще ходим мы, братцы, не первый год,
И мы пьем-едим на Волге все готовое,
Цветное платье носим припасенное;
Еще лих ли нас супостат злодей,
Супостат злодей, воевода лихой,
Высылает от Казани часты высылки,
Высылает все высылки стрелецкие;
Они ловят нас, хватают добрых молодцев,
Называют нас ворами, разбойниками,
А мы, братцы, ведь не воры, не разбойники,
Мы люди добрые, ребята все поволжские,
Еще ходим мы по Волге не первый год,
Воровства, грабительства довольно есть.

ман, разбойник Кулага, и с ним воровская его партия». Ограбив Щучинскую ватагу, Кулага пробирался к Каспийскому взморью и по дороге решил снова попытать счастья на другом заведении Шарыпина. К счастью его, и на Трехизбинской ватаге почти никого не было, потому что и работные люди почти все на срок отпущены были для расчета в Астрахань, и потому, обманув разъездную команду ложным ответом на ее оклик, Кулага мог свободно управиться с оставшеюся на ватаге прислугою и рассчитывать на успех. Но разъездная команда, заметив, что в движениях неведомых людей было что-то недоброе, тотчас вооружилась против «оних злодеев» и открыла ружейный огонь. «И как усмотря оных злодеев, капрал и солдаты тотчас против их вооружились и стреляли по ворам из ружей; но, напротив того, воровской атаман Кулага с товарищи своими по солдатам из ружей и пистолетов палил же, и была сильная пальба с обеих сторон, и по той пальбе было сражение, от которой стрельбы некоторые воры были ранены, так же и солдаты. Напоследок те воры, усилившись с сандовми (?) и дротиками, из рук у солдат ружья выбили, которых солдат, по преодолении, те воры били нещадно, имеющиеся ж при промысле его (Шарыпина) на воде ловецкие ево и прочие лодки изрубили и затопили».

После этой жаркой схватки, когда команда была обезоружена и солдаты избиты «нещадно», однако же не умерщвлены, и когда Кулага увидел себя полным господином ватаги, он ограбил ее и ни минуты долее не оставался на берегу. Шайка его с некоторыми ранеными опять вошла в лодку и продолжала свой путь к морю. Одно, вероятно, ружье было брошено на ватаге.

Замечательно, что в то самое время, когда Кулага производил этот смелый разбой на Трехизбинской ватаге, знаменитый Заметаев, пойманный за пять дней перед этим, сидел в Кумшацкой станице, закованный в железа. Вообще разбой этих двух самых популярных атаманов производился в одни и те же месяцы, только Заметаев совершал свои воровские экспедиции большею частью на Каспийском море, имел схватки с киргизами и доходил до азиатского берега Каспийского моря, а Кулага рыскал преимущественно в устье Волги и по взморью. Наконец, вслед за последним сражением, он также выплыл в открытое море и направился к так называемому морскому Бибииковскому стану, принадлежавшему тоже купцу Шарыпину. Что делал Кулага на этом стане и куда потом отправился, мы не знаем.

Но скоро весть о Кулаге и его подвигах достигла Астрахани. Астраханское начальство, встревоженное незадолго до этого страшными успехами Заметаева и не знавшее о поимке его, еще

более встревожилось, узнав, что, кроме Заметаева, существует еще какой-то Кулага-атаман. Обер-комендант города Астрахани, генерал Левин, тотчас разослал ко всем поволжским комендантам и начальникам отдельных отрядов строжайшие ордера о принятии деятельнейших мер против нового опасного разбойника. Он приказал, во что бы то ни стало, выследить и искоренить его без *«всякого упущения, не принося никаких в том невозможностей»*; предписывал и *«разъездным командам накрепко подтвердить, под опасением, если в том хотя малая оплошность и упущение последует, поступления по всей строгости законов, и вслед по часту рапортовать о том, что будет происходить»*. Подобное предписание получено было также в Царицыне, и Цыплетев отвечал на него Левину, что *«находящимся в разъездах по реке Волге и сухопутно господам командирам, чтоб они по точности вышеописанного в ордере вашего превосходительства предписания, в сыску и поимке воров, а наипаче важных разбойников, имели всеусердное и неусыпное старание, без упущения, наикрепчайше от меня подтверждено»*.

Между тем слухи о Кулаге и о том, где он и что делает, совершенно замолкли. Он точно без вести пропал. Так прошло три месяца. Наконец 1 октября царицынский комендант узнал от кого-то частным образом, что Кулага неизвестно какими судьбами с Каспийского моря очутился уже в Дубовке и там пойман с своими товарищами, а между тем в тот же день прошел по Царицыну слух, что четыре разбойника из его шайки были недавно в этом городе и несколько часов назад отправились вверх по Волге на плывущей с солью расшиве. Не медля ни минуты, комендант послал в Дубовку нарочного, царицынского казака Корецкова, выехавшего вслед за расшивой в пятом часу пополудни с указом, в котором сообщал канцелярии войсковых дел, чтобы она приняла следующие меры: если действительно Кулага пойман и еще не отправлен в Царицын, то останавливать все плывущие снизу по Волге суда, брать с них рабочих людей и, спросив паспорта, приводить каждого из них к Кулаге: если Кулага, на вопрос о принадлежности взятых с судна рабочих к его шайке, скажет, что действительно принадлежали, то, несмотря ни на что, если бы даже эти уличенные имели паспорта, брать под караул, оковывать в железа и присылать в Царицын *«за крепким присмотром, дабы оные в дороге утечки учинить не могли»*. На другой день волжская войсковая канцелярия уведомила Цыплетева, что Кулага действительно пойман, вместе с четырьмя соучастниками в волжском войске и уже совсем приготовлен был к отправке в Царицын, как приехал в Дубовку посланный Цыплетевым ка-

зак Корецков и остановил проводы разбойников. Между тем за проходившими мимо Дубовки судами стали следить внимательно. Едва успел воротиться Корецков, Цыплетев тотчас же отправил в Дубовку другого курьера и требовал, чтобы также взяты были с судов и другие подозрительные люди и привезены в Царицын; но чтобы хозяевам судов не делали ни остановок, ни притеснений, а велели следовать «своим трактом».

Поимка Кулаги была делом совершенно случайным: в ночь на 25 сентября, часу в третьем пополуночи, войсковой старшина волжского войска Андрей Персидский и квартирмейстер Филипп Криулин заметили, что по Волге в такую позднюю пору, видимо пользуясь темнотою ночи, подозрительным образом пробиралась вверх с неведомыми людьми лодка; лодка была перехвачена, и находившиеся в ней четыре человека взяты и приведены в войсковую канцелярию. Сначала неизвестно было, что это за люди, но случай опять выдал Кулагу: в Дубовке находился в это время астраханской губернской канцелярии сказочный Афанасий Иванов; однажды он зашел в кабак и увидел там человека, лицо которого было ему знакомо; этого человека он видел прошлой зимой в Астрахани, когда тот сидел в остроге, и теперь узнал в нем известного атамана. Примеченный в кабаке незнакомец действительно был Кулага, которому при его популярности трудно было укрыться. Лицо разбойника было знакомо многим, особенно в Астрахани, где он наделал столько шуму и тревог, а потому Иванов, узнав его, отправился в войсковую канцелярию и донес, что Кулага в Дубовке. Это было 25 сентября, именно через несколько часов после того, как в канцелярию привели неизвестных четырех бродяг, пойманных ночью на Волге Персидским и Криулиным. Весть, переданная Ивановым дубовским властям, заставила подозревать, нет ли Кулаги между этими четырьмя взятыми бродягами, и в самом деле оказалось что он был в числе их. С ним находился также и товарищ его Тарабарин.

В последний раз мы видели Кулагу при взятии Трехизбинской ватаги на Болде и при поражении разъездной команды. После того он выехал в море. Из архивных дел, разобранных нами, не видно, долго ли он пробыл на море и какие еще производил грабежи; но по всей вероятности, опасаясь все более и более распространявшихся о нем слухов, будучи уверен, что разъездные команды ищут его по всем направлениям и имя Кулаги не раз произносилось в комендантских да гражданских канцеляриях, писалось и переписывалось в ордерах и промемориях, повторялось шепотом и на базарах, — одним словом, испугавшись своей популярности, Кулага решился оставить

места, где его знали. Он покинул море и снова вошел в Волгу. Неизвестно, как он пробрался мимо Астрахани, только через несколько месяцев мы встречаем его уже за Дубовкой. Нет сомнения, что он думал попытаться счастья где-нибудь в верхних городах и, собрав самых верных товарищей: Тарабарина, бурсака Силантьева, Шумникова, Васильева и двух Ивановых, отправился в Русь на зимовку. Таким образом, из всей шайки его осталось только шесть человек, с которыми он и доплыл до Царицына в двух лодках, не слишком опасаясь преследований и не боясь иногда завернуть в «царев кабак», который и был причиной его гибели. Несколько ниже Царицына разбойники разделились надвое: Кулага и Тарабарин сели на одну лодку, взяв с собой еще каких-то двух незнакомых прохожих, а прочие товарищи с другою лодкою остались в Царицыне, где намеревались приобрести лошадей и ехать на Дон «для якобы работ». Кулага, Тарабарин и двое незнакомых прохожих¹, как мы видели, взяты уже за Дубовкой; оставшиеся при другой лодке также разделились по двое: бурсак Силантьев и Васильев, бросив лодку, покинули своих товарищей, несколько дней прожили в Царицыне на квартире и потом отправились в путь пешком; недалеко от Волги, на бечевнике, они были пойманы казаками и переведены в Дубовку. Два остальных разбойника из партии Кулаги, оставшиеся при лодке, Ивановы, продали ее в Царицыне и нанялись на какое-то судно, в качестве бурлаков. Несмотря на то, что все суда, плывшие вверх, осматривали в Дубовке и рабочих приводили к Кулаге, Ивановых не нашли или, как сказано в деле, Ивановы «по осмотру им, Кулагиным, на идущих снизу судах, не угаданы». Но вместо них случайно был пойман Шумников, оставшийся, как мы видели, шайку Кулаги вскоре после разгрома питейного дома на Башмаковке. Сговорился ли он с Кулагою

¹ После оказалось, что прохожие не были разбойники и даже не бродяги. Один из них, муромский крестьянин Григорьев, находясь в Астрахани, потерял свой паспорт и, вследствие манифеста, опубликованного после казни Пугачева, получил в Астрахани новый вид, «с тем чтобы он шел в дом прямым трактом»; случай столкнул его с Кулагою: увидев на Волге лодку этого разбойника, Григорьев, «совокупясь еще с товарищем, подошел, просили, чтоб доехать в Дубовку, почему они и приехали сюда (в Дубовку), а что они беглые солдаты и разбойники, того не знали, с которыми и взяты за караул» (из допроса Григорьева). Другой прохожий, уржумский крестьянин Ямщиков, тоже жил в Астрахани, где просрочил свой паспорт и, как Григорьев, получил новый, добрался до Царицына, выпросил себе место на лодке у Кулаги и, подобно Григорьеву, взят был с Кулагою в Дубовке. Мы думаем, что прохожие эти были некогда в войске Пугачева, а не потеряли паспорта.

пробраться в Русь, или сам решился оставить морские ватаги, только в сентябре месяце, когда Кулага уже давно проплыл Астрахань, он подговорил с собой беглого астраханского солдата Петрова, приобрел особую для себя лодку и явился в Царицын; здесь они продали лодку и отправились искать по хуторам работы; на дороге пристал к ним еще один беглый солдат, и уже на речке Пичуге они были пойманы. Так переловлены были все главные товарищи Кулагы.

9 октября все они были привезены в Царицын, а 13-го отправлены по форпостам в Астрахань на суд.

В сопровождение арестантов, «по их важности, как оные в чинении сильных разбоев не малое время упражнялись без недостатка», командирован был большой конвой под начальством офицера Ахапкина, которому дана была особая инструкция относительно надзора за преступниками¹.

¹ Инструкция эта сама по себе составляет очень любопытный исторический материал и, кроме того, показывает, какое значение мог иметь Кулага в глазах правительства. Ахапкину повелевалось:

«1) С гобвахты от караульного господина офицера принять показанного атамана, скованного в наручни и на обеих ногах в колодке, а прочих как в наручнях, так и в таких же колодках осмотра, гораздо укрепить.

2) А потом, приняв из комендантской канцелярии запечатанные конверты, рапорт к астраханскому обер-коменданту, господину генерал-майору Василию Васильевичу Левину, и сообщение господину подполковнику и черноморскому коменданту Айдарову и подорожную для вашего благородия на две лошади, да прогонных денег как до Астрахани, так и на обратный путь, всего 14 руб. 88 коп., да кормовых денег 70 коп. от воеводской канцелярии, следовать в путь, при наряженном с вами конвое с линии для расставления по состоящим от Царицына форпостам и в Черный Яр команды казаками, и, будучи в тракте, оставляя назначенное, где сколько следует, по форпостам число казаков, а с последнего, с Мазайского, то ж и с подлежащими в Черный Яр 15 человеками следовать до Астрахани, приняв тех разбойников 7 человек от стоящего при гобвахте караульного офицера, заклепав всех в крепкие ручные и ножные колодки, посады на подводы, распределить к ним из конвою к каждому по рассмотрению вашему.

3) Будучи в пути, иметь крепкую предосторожность, дабы утечки учинить не могли, под опасением за оное лишения чести и по законам наказания, осматривать всегда колодки и наручни в пути, окружась конвоем, а на ночлегах и ночевьях в форпостные землянки сажать и при них часовым смотреть для недопущения их до разговоров и чтоб не могли друг другу помогать в сбивании колодок, к лучшему смотрению стараться на ночь доставать на свет жиру или лучины и, сверх того, то место окружать особыми часовыми, ибо от таких злодеев ничего не можно ожидать, как при всяком послаблении сделать уход и обратиться на прежние злодейства не оставят, то вам в том нужда состоит, чтоб они ежечасно были под вашим самоличным смотрением, а и ночью имеете караульных осматривать и накрепко им подтверждать о сем, дабы находились осторожны.

В следующем году начальники волжского войска, собственно той части, которая осталась не переселенною на Терек, будучи заподозрены в неблаговидных сношениях с разбойниками, выставляли перед правительством как важную услугу, оказанную России, то обстоятельство, что старанием их пойман *«оный славный разбойник Кулага»*.

4) На пропитание их купить здесь сутки на трое хлеба, употребля по 2 коп. на человека в сутки, и оным удовольствовать.

5) По прибытии в Черный Яр, к тамошнему господину коменданту являсь, по здешнему сообщению при подаче оног донестъ, чтоб на дальний путь конвоем и пропитанием не оставил он снабдить по своему распоряжению, и в Енотаевской крепости равно от тамошнего господина коменданта всем снабдиться, а по прибытии в Астрахань, того же часу представить к его превосходительству и, по отдаче оных, просить отпуску и следовать обратно и явиться к команде как наискорее».

АТАМАН ЗАМЕТАЕВ¹

Царствование императрицы Екатерины II представляют два, совершенно противоположных характера: извне — успешные дипломатические сношения петербургского кабинета с иностранными дворами и торжество русского оружия, внутри — трудную борьбу администрации с повсеместной неурядицей. На всем отражался характер внутреннего брожения, и кровавая драма Пугачева выразила собой своевольную мирскую расправу. Но казнь этого самозванца на московской площади не прекратили сразу народного брожения — оно выражалось отдельными вспышками. Шайки разбойников, правильно организованные, с выборными атаманами и есаулами, бродили по России, грабили, вешали и жгли всех, кем были недовольны. Волнение заметно было преимущественно в юго-восточных пределах империи, где разбойники нападали на плывущие по Волге суда, разбивали обозы и жгли села, не боясь ни высылки из крепостей, ни войск, растянутых по всему Поволжью, начальство над которыми вверено было лучшим генералам того времени, графу Петру Ивановичу Панину, Суворову и другим.

Весною 1775 года юго-восточный край, еще не успокоившийся после тяжелой поры пугачевщины, взволнован был новою вестью, что в скором времени должен явиться некто Заметаев и произведет волнение, подобное тому, какое произвел Пугачев. Весть эта прошла от нижнего Поволжья к северу, коснулась самых отдаленных русских провинций и встревожила правительство. В Астрахань, Енотаевск, Черный Яр, в Царицын, Черкасск, Саратов, Симбирск, Москву и Петербург приходило известие за известием, что по Волге и Каспийскому морю разъезжают в косных лодках шайки разбойников с пушками и ружьями, грабят суда, разбивают рыболовные ватаги, храбро отбиваются от высылаемых против них отрядов, удаляются в море и снова плывут вверх, появ-

¹ Подлинные документы о событиях этого времени извлечены из старого царицынского архива Н.И.Костомаровым и переданы в распоряжение автора настоящей статьи.

ляются на Волге и снова грабят. Народ с суеверным страхом ждет новых смут, и толки о Заметаеве не умолкают: имя его переходит из уст в уста, о нем говорят на базарах; граф Панин, назначенный главнокомандующим императорских войск для восстановления тишины во всех взволнованных Пугачевым провинциях, и Суворов, принявший начальство над войсками, растянутыми по всему Поволжью, внимательно следили за этими слухами и с сожалением догадывались, что одиннадцатимесячное дело их, в которое они положили столько трудов и конец которого уже близко видели, может вновь расстроиться, что восстановление тишины в потрясенном крае еще далеко и сомнительно.

В начале июня, по распоряжению Суворова, находившегося в Симбирске, секунд-майор Соловьев выступил с своим отрядом с зимних квартир и пошел правым берегом Волги к Астрахани, наблюдая за плывущими по Волге караванами судов и лодками. Следуя по астраханской дороге, он не имел никаких определенных сведений ни о Заметаеве, ни о других разбойничьих шайках: узнать было не от кого, расспрашивать народ было опасно. Разбойники появлялись неожиданно, небольшими партиями, делали тревогу и исчезали в своих станах или разбредались по лесу и степям, а лодки или прятали в безопасных местах, или топили, надеясь без труда отбить новые; часто уходили на Волгу, выжидали, вновь собирались и шли на грабеж.

Не зная, что предпринять, сознавая также трудность порученного ему дела, Соловьев обратился к царицынскому коменданту Цыплетеву и спрашивал, не знает ли он чего «злодейских оборотах» Заметаева и где его шайка. Цыплетев отвечал, что о Заметаеве он имеет сведения от астраханского обер-коменданта генерала Левина, что заметаевская шайка открыла свои действия грабительствами около Синего Морца на Каспийском море, перенесла опустошения в другие места, но где теперь — не знает. От черноморского коменданта, полковника Айдарова, известилась, что 14 мая верстах в семи за Енотаевской крепостью видели на Волге три вооруженные разбойничьи лодки с шестьюдесятью неизвестными людьми; что против них высланы отряды, но что никто не знает, какой шайке принадлежит эта новая партия, кто атаман и где именно находится сам Заметаев.

Заметаев в это время производил грабежи на Каспийском море. Опасаясь, чтобы он не пробрался в верховые губернии, Суворов отрядил часть войск из поволжской армии с бригадиром Пилем в Саратов и вверил ему прикрытие Волги. Та-

ким образом, понизовье от моря до Черного Яра защищал отряд Соловьева, кордоны которого, пройдя Волгою до Царицына, отделились от нее в степь, следуя по сарептской дороге, чтобы снова приблизиться к берегу Волги; от Черного Яра до Дубовки плавали разъездные лодки, отряженные из Царицына; между Дубовкою и Камышином были новые разъезды; сам Пиль наблюдал среднее Поволжье, ниже и выше Саратова до Симбирска, где находился Суворов. Волга была заперта со всех сторон, и для проезда в верховье разбойникам оставались только лесистые воложки ниже Царицына и ахтубинские протоки, где можно было скрывать лодки в густых тальниках; на сухом пути сторожили их построенные вдоль Волги, как в нагорной, так и на луговой стороне, форпосты, небольшие крепостцы, вооруженные пушками и защищаемые небольшими отрядами. Везде ждали Заметаева.

В этом ожидании прошло три недели, а вестей о разбойниках не было ниоткуда. Тяготясь неизвестностью, Пиль отправил к Цыплетеву нарочного узнать, где, что делает Заметаев и не слышно ли еще чего о нем. Из Астрахани между тем пришло известие, что там, при морских ватагах, в недавнее время показалась разбойническая шайка, состоящая из девятнадцати человек, которая, разъезжая водою в большой лодке, в разных местах грабит и разоряет «российских людей», что против нее отряжены военные команды, которые ее повсюду преследуют. Уведомляли также, что разбойники, разделясь на две части, разошлись в разные стороны: одни, в числе пяти человек, отправились в море на лодке, а другие четырнадцать разбойников, взяв лошадей с ватаги астраханского купца Бодрова, вступили на моздокскую дорогу, проложенную в степи томским полком, и пробираются к Дону, чтобы свободнее пройти в верховые места. Но никто не знал, что за разбойники и кто их атаман.

Тогда с царицынской линии командированы были три партии казаков для разъездов по степи и наблюдения за разбойниками, дано было знать по всем линейным крепостям и форпостам, что шайка намерена пробраться в верховые города, в глубь России. Из Дербетевых улусов нарядили отряды калмыцкого нерегулярного войска; калмыцкий полковник, князь Дондуков, сражавшийся против войск Пугачева и бывший в то время в Сарепте, делал разъезды в той части степи, которая склонялась к Волге; дано было о том же знать на Дон, в Черкасск, всем войсковым старшинам, станичным атаманам и казакам, уведомили бригадира Пиля, донесли Панину, Суворову. По всем пунктам, где расположены были войска и

находились гарнизоны, разосланы приметы неизвестных разбойников: все знали, что предводитель шайки ростом невелик, собою толст, лицом рыж, с малыми рябинами, волосы на голове русые, борода и усы рыжие, на левой руке, близ мизинца имеет рану, от роду ему около сорока лет; что другие разбойники острижены по-бурлацки и некоторые с бритыми бородами, а у двух молодых парней еще и бород не выросло; что есаул их росту высокого, посредственной толщины, лицом смугл, волосы на голове черные, борода и усы бритые.

Между тем по высочайшему повелению граф Панин разослал по всему Поволжью печатные экземпляры объявлений (потому что писанным народ не верил: писанными его часто обманывали) о предупреждении народных смут по случаю появления Заметаева. В объявлении граф Панин, напоминая народу о минувших смутах, произведенных «злодеем и самозванцем Пугачевым, восприявшим уже на московской площади за свои беззакония смертную казнь», говорил, что он с великой сердечной радостью примечал восстановление прежней тишины и повиновения в народе. «Но ныне, — продолжает он, — с великим оскорблением услышал я, что между народом в некоторых местах разглашаются и рассеиваются плевела таковые, якобы какой-то разбойник Заметаев проявится и будет производить новое народное разорение». Он увещевал народ не верить новому разглашению, грозил жестоким наказанием, пугал новыми смутами и всеобщим опустошением; запрещал не только произносить, но даже упоминать имя Заметаева и всякого другого подобного ему «чудовища».

Объявления прочитаны были народу везде, где он мог собираться. Местные начальства употребляли свои меры и угрозы, чрез что слухи становились все чудовищнее и невероятнее и росли с каждым днем: хотели добра, а делали зло.

В это время в Царицын вступили два эскадрона гусар и пикинеров из отряда майора Соловьева, которые должны были оберегать Волгу у Царицына. В то же время около Дубовки примечена была небольшая разбойничья партия; против нее выслан из Царицына небольшой отряд регулярного войска, а из Дубовки выступили казаки, и шайка была разбита и разогнана; пять человек попались в плен и отправлены в Астрахань. Но это не помогало: несмотря на то что разъезды беспрестанно сновали по Волге во всех направлениях и, по тогдашнему выражению, «недреманным оком» оберегали плывущие по Волге караваны, удалые шайки безбоязненно нападали на расшивы, кладнуши и косные лодки, разбивали целые караваны, грабили и опустошали берега Волги. Разъезды не

находили ничего, не видели никаких воровских людей и рапортовали по начальству, что все обстоит благополучно, а между тем не проходило дня, чтобы по городам и селам не являлись ограбленные судохозяева, избитые лоцманы, такие же бурлаки, у которых разбойники отнимали паспорта и деньги, а с судов брали товары, пушки, ружья, свинец и порох.

А о Заметаеве все еще не знали ничего верного, задерживается ли около Астрахани, выехал ли в открытое море, или уклонился в другую сторону, или, наконец, разбит, — никто ничего не мог сказать положительного.

Но вскоре после того напали и на след Заметаева: на Кумской степи взяты были два калмыка, находившихся в его шайке. На допросе калмыки показали, что в начале июня находились они в числе семнадцати человек на взморье, в морских косах, на Камышевой ватаге. В один день приехали туда в восьмивесельной косной лодке девятнадцать человек разбойников, которых испуганный хозяин ватаги встретил с хлебом и солью. Они пробыли на ватаге двое суток и никому не сделали вреда, даже заплатили хозяину хорошую цену за корову, которую зарезали для себя. Оттуда разбойники взяли одного русского рабочего и двух калмыков проводниками к другой рыболовной ватаге купца Бодрова. Здесь они переночевали и на другой день пошли к табору Бодрова взять для себя лошадей; но дикие степные лошади не дались разбойникам в руки; тогда они погнали к табуну всех ватажных работников, выбрали для себя по лошади, приказали ехать с ними самому табунщику, восьми рабочим и двум калмыкам, взятым на Камышевой ватаге. Отсюда они поехали уже в двух лодках, а лошадей гнали берегом; при переправе через Ильмень одну лошадь утопили. На другой день шайка разделилась на две партии: пять разбойников взяли у Бодровых работников лодку, три чугунные пушки и отправились в море; а другие четырнадцать человек дали рабочим денег, несколько бурлацких кафтанов и другой одежды и отпустили на ватагу в своей лодке, а сами с двумя калмыками и табунщиком выехали в степь. Они быстро следовали вверх по Куме, не давая лошадям ни малейшего роздыха. Дорогою разбойники почему-то хотели убить калмыков, но те упростили их. Раз ночью, когда шайка остановилась в лесу для роздыха, калмыки бежали, бросились в Куму и переплыли на другую сторону реки. Калмыки сказывали, что из разговоров, происходивших между разбойниками, можно было понять, что некоторые из них хотели ехать на Дон и оттуда человека по два по три пробираться в верховые места; другие, у которых лошади изнурены

были от быстрого переезда, раскаивались, что так далеко углубились в степь, и хотели воротиться к Волге. Видно было, что общего совета уже не было между ними и они переговаривались тихо, тайно от атамана. Калмыки говорили при том, что «атаман их разбойнический у них в почтении и ими беспрепятственно повелевает; все зовут его батюшкой».

Не оставалось никакого сомнения, что это был знаменитый Заметаев, взволновавший одним именем своим все нижнее и среднее Поволжье. Приметы атамана и есаула были те именно, о которых знал весь юго-восточный край. Другого подобного атамана не было: на Камышевой и Бодровой ватагах узнали Заметаева.

Тогда вновь разсланы были отряды по всем направлениям: из Астрахани выступили команды по кизлярскому тракту и на все окрестные дороги; соседние города нарядили новые отряды; к северу Заметаеву заперт был путь неразрывною цепью разъездов от Волги вплоть до самого Дона: один отряд прикрывал все выходы по моздокской дороге, другой придерживался середины царицынской линии против Грачевской крепости; третий, наконец, делал поиски от Донского редута вниз по Дону, склоняясь от этого редута к тому отряду, который оберегал проходы у Грачевской крепости, а этот склонялся к разъезду моздокскому.

Но в обширной Кумской степи Заметаева отыскать было нелегко: куда он поедет? Ему представлялась широкая дорога на все четыре стороны; по безлюдной степи он мог пробраться на Кубань, в Грузию, к Моздоку, выйти к Дону, пробраться в верховье между селениями и берегами рек. Пограничные линии с крепостями и форпостами были плохой защитой России: мимо крепостей спокойно проходили целые орды и также спокойно возвращались в свои степи, не потеряв ни одного человека.

Розыски были бесполезны.

Но вот 24 июня утром к Дону, против Кумшацкой станицы, подъехали какие-то неизвестные люди; их было девять человек, из которых семь ехали верхом на лошадях, а двое шли пешие; у всех были ружья и у некоторых ножи и сабли. Они остановились на берегу Дона, по-видимому, для отдыха; четверо из них пошли по направлению к станице; из оставшихся двое легли спать, третий, по-видимому начальник их, отправился к реке, вероятно, для того, чтобы вынуть из находившегося там вентера рыбу; а один влез на дерево, должно думать, для того, чтобы в качестве караульного обозревать окрестность. Тогда один из приехавших, спрятавшись от караульного, осторожно взял одну из оставленных товарища-

ми лошадей, сел на нее и тихонько поехал к станице. Никто не заметил его отсутствия. Беглец переплыл Дон и скрылся. Вскоре из станицы явились вооруженные казаки и захватили этих людей. Их привели в станицу и немедленно отправили к войсковому сыскному старшине, заведовавшему делами о разбойниках и беглых.

Доносчик, который бежал с лошадьёю через Дон в станицу и объявил, что за Доном находятся разбойники, был малороссиян Нечипоренко, служивший в работниках у астраханского купца Бодрова. Это табунщик, о котором мы уже упоминали.

Между пойманными неизвестными людьми нашелся и атаман. На допросе он показал, что зовут его Игнатом Петровичем *Запрометовым*, что родом он из Переславля-Залесского, дяковский сын, в 1773 году отдан в солдаты в кизлярский пехотный полк; командирован был в Грузию, а летом 1774 года бежал из батальона и степными дорогами пробрался в астраханские Черни, где питался всю зиму по рыболовным ватагам, а весной набрал с разных ватаг восемнадцать человек охотников и повел их на разбой; его выбрали атаманом; в большой косной лодке они разъезжали по ватагам, грабили, что им ни попадалось, набирали новых охотников, а потом с ватаги Бодрова отправились к Дону, чтобы наняться к кому-либо в работники. На Дону их поймали.

Кроме лошадей, оружия и денег, при разбойниках нашли несколько одежды: три шапки, две бархатные, одна с золотым позументом, вероятно, атаманская; три черкески, кафтан канаватный с семью серебряными пуговицами, красные рубахи и проч.

Запрометов был не кто другой, как знаменитый Заметаев. Известие о поимке его быстро разнеслось по всему Поволжью. Отрядная весть пришла и к Суворову. Одни донские казаки не подозревали, какое важное лицо находилось в их руках: они думали, что поймали одного из обыкновенных разбойников, которые целыми ватагами водили шайки к юго-восточным пределам России и без страха шатались по задонским степям и в понизовье. Они только то заметили, что пойманные воры «на образ все великороссийские люди», а у атамана, сверх того, серебряные часы.

Казаки заковали Заметаева в кандалы, а прочих в колодки и отправили с нарочным в Царицын. Но вслед за тем из Симбирска от генерала Каковинского пришел к ним запрос: нет ли в войске донском казака по фамилии Заметаев, а если есть, то где он? Только тогда казаки догадались, что «заключена в тех разбойниках важность»; они поняли, что отправили

Заметаева с очень слабым конвоем и немедленно командировали за ним одного надежного походного есаула. Есаул заковал его в железа и за караулом привез в Царицын.

Теперь уже не было сомнения, что схвачен точно Заметаев, который должен был «проявиться» на Руси и произвести новое возмущение. Именем этого, пойманного теперь, дьяческого сына взволнована была Россия и встревожено правительство. Теперь только обнаружен был весь ряд его грабежей и удалых походов.

Заметаев, действительно, был сын дьячка из Переславля-Залесского. Пьянство заставило его бежать из Кизляра и сделаться атаманом разбойников. Из Кизляра он пробрался степью до Царицына как простой бродяга, никому неизвестный и никем непринимаемый; но в Царицыне он не останавливался, а прошел в Дубовку, где казацкая жизнь была повольнее и разгульнее; с голода он нанимался косить сено за самую ничтожную плату и работал наравне с прочими бездомными бурлаками. Такая жизнь не могла его успокоить. Он собрал в Дубовке таких же, как и сам, недовольных жизнью и решился идти на разбой. Они взяли лодку и поплыли вниз по Волге: шайка его состояла всего только из пяти человек. За Татьяничкой переменной отважный бродяга напал на две расшивы, обобрал у бурлаков паспорта и поехал дальше. Здесь начало его подвигов и той странной популярности, которая соединялась с его именем. Но имя он приобрел впоследствии, а теперь был просто бродяга.

Это было летом 1774 года. Подъехавк Черному Яру, бродяги вошли в город, но были узнаны по фальшивым паспортам, взяты под караул и признались, что разбили на Волге две расшивы. Находясь под караулом, они слышали, что «Пугачев заступил уже в Дубовку». Из Черного Яра их отправили в Астрахань через Енотаевскую крепость; в Астрахани они содержались под караулом с месяц. Но караул не удержал Игнатия Петрова — он бежал с товарищем. Они вышли к морю, на морские ватаги, и опять повели бродячую жизнь. На ватаги напали киргиз-кайсаки. Народ спасался бегством и скрылся в Богатом Култуке, на Пичугиной ватаге: там бродил и Игнатий Петров с товарищем, вербуя в свою шайку удальцов и бесприютных.

В числе первых приставших к партии Заметаева был не менее знаменитый разбойник того времени, Кулага. Для совещаний они собирались на пустой Грековой ватаге и положили идти на разбой. Охотников нашлось пятнадцать человек. Они достали лодку, убрали, оснастили и вооружили ее. Атаманом избран Игнатий Петров и назван двойным прозвищем: Запрометов и Заметаев.

Снарядились в поход. Первым делом Заметаева было нападение па Займинцову ватагу: он разбил и ограбил ее. Оттуда разбойники поплыли морем на восток, к киргиз-кайсакам, прошли Эмбу и Мертвый Култук, напали на рыболовную расшиву. Расшива была взята и ограблена. Узнав, что киргизы часто наезжают к морю и под видом торга заманивают русских на берег, грабят и берут в плен, Заметаев решил обмануть их. Он приказал выстрелить из вестовой пушки. Услышав сигнал, киргизы приблизились к морю и ожидали разбойников. Заметаев напал на них, и между ними произошло сражение: киргизы были разбиты и бежали; некоторые попали в плен; другие были ранены, одного нашли убитым. Разбойники взяли у них платье, товары и отпустили пленных. Оттуда Заметаев повел свою шайку к Астрахани, наводя ужас на все морские ватаги: он напал на Шестовскую ватагу и ограбил; напал на Белужью ватагу и также ограбил. На взморье не знали, что делать, куда спастись, и со страхом ожидали нового нападения Заметаева. На Уварах и Иванчуге собрались ловцы, предчувствуя грозу, вооружили свои лодки и пошли на разбойников. Ловцы напали первые, и завязалась перестрелка: двое из разбойников были убиты, Заметаев не устоял и принужден был спастись бегством. Шайка удалилась в море.

Но в море Заметаев пробыл недолго. Приплыл снова к ватагам, и снова начались грабежи. Он был на Гречихинской ватаге и снова дрался с ловцами; вскоре потом напал на одинокого караульного солдата и отнял у него ружье с прибором; на другом стану взял двух молодцов в разбой. На Музуркиной ватаге напал на расшиву, взял с нее дань чихирем и отпустил. Пошел опять на Гречихину ватагу и еще двоих пригласил в разбой, а двоих отослал прочь с Колпачка, за ссорою. На возвратном пути Заметаев настиг астраханского купца Бодрова с рабочими, взял их, привез на Шарыпину ватагу и обобрал у них деньги. Оттуда приказал привести себя на Бодрову ватагу, взял еще расшиву и ограбил; там ограбил он целовальника, набрал вина и велел шайке пить.

Но недолго после этого счастье служило Заметаеву: несмотря на то что он действовал в открытом море, весть о нем наполнила собой все понизовые города, слава его прошла далеко на север; уже многие знали, где искать его, и искали,

Во время гульни, когда шайка распивала вино, отнятое у целовальника, на нее наехала высылка из Астрахани: небольшой отряд солдат, рыбаки и множество понятых в лодках. Заметаев вступил в бой. Разгоряченные вином и одушевляемые атаманом, разбойники дрались храбро. Перестрелка продолжалась с четверть часа, не прекращаясь ни на минуту. Офицер,

командовавший отрядом, был убит: его убил сам Заметаев. Солдаты оробели и начали отступать. Разбойники напали с большей силой и расстроили команду. Солдаты бросились в воду, ища спасения: их ловили и вытаскивали из воды. Убит был один из солдат, некоторые взяты в плен, прочие бежали. Заметаев овладел лодкой, двумя пушками и ружьями: он шел не против солдат и потому отпустил захваченных.

После этого дела Заметаев стал думать и о том, что ожидает его. Оставаться на Волге и в море было небезопасно, особенно после умерщвления офицера. Многие видели Заметаева в лицо и, вероятно, помнили наружность атамана; приметы его развились по комендантским, воеводским, гражданским и войсковым канцеляриям при преамемориях и ордерах и были известны каждому; есаула его также знали многие, знали и других товарищей. Заметаев отплыл в море к устью Кумы, в Кумский Култук, и пробыл в бездействии целую неделю, раздумывая и советуясь, что предпринять. К нему дошла весть, что майор Арбеков с отрядом ищет его по взморью; прослышали, что по Волге производятся беспрестанные разъезды, а его шайка состояла всего из девятнадцати человек.

Заметаев прекратил разбой. Через неделю разбойники ворвались на Камышеву ватагу, купили себе корову на зарез и в последний раз погуляли на свободе.

Тогда стали советовать; думали оставить море, удалиться в степь и разойтись; Заметаев думал идти на Царицын, есаул не хотел расставаться с Волгой и приглашал товарищей от Богатого Култука идти вверх по Ахтубе; оттуда он намеревался «по яицкому кряжу пройти в Русь». На том и порешили: прощание Заметаева с есаулом было на Бодровой ватаге, после чего уж им не довелось встретиться в жизни.

Есаул Заметаева прозывался Жеребцовым. Что с ним было после разлуки с атаманом, куда он прошел с своей небольшой шайкой: вышел ли в Русь, как думал, кончил ли жизнь в разбое с оружием в руках, или в тюрьме, умер ли от кнута на Руси, или скончался в Нерчинске, — неизвестно. Но с тех пор о нем ничего не было слышно. Нам известна только судьба его атамана.

О похождениях Заметаева на Кумской степи мы уже отчасти знаем: дорога и голод изнурили его шайку; они питались лошаадьми, ели траву и изнурились до крайности; один из разбойников бежал, а пятеро брошены в степи за усталую лошадей.

Ко всем допросам, которые делали разбойникам, Заметаев сам прикладывал руку, называя себя беглым солдатом Игнатием Петровым Запрометовым и Заметаевым.

В Царицыне разбойников заковали в самые твердые ручные и ножные кандалы и рассадили по разным комнатам, а Заметаева приковали к стене в позорных покоях: к разбойникам для караула приставили отряд гусар и боялись водить их, как прочих арестантов, по-миру собирать милостыню, а постоянно держали под караулом и кормили от казны. Когда Заметаеву приносили пищу, при этом всегда присутствовал офицер, который наблюдал за преступником «недреманным оком».

Заметаев интересовал всех своею личностью: о нем, как мы видели, спрашивал генерал Каковинский. Но больше всех интересовался им Суворов. Вслед за известием, что Заметаев пойман, Суворов спрашивал о нем Цыплетева: настоящая ли его фамилия Заметаев, или он имел другое прозвище? Отчего сначала возросли его злые предприятия? В каком числе была его шайка? В каких местах и какие производил злодеяния и какое употреблял оружие? Имел ли при своей партии пушку? Из каких людей состояла его шайка и кто он сам? Куда имел он намерение обратиться? Суворов, сверх того велел узнать и «проникнуть»: 30 апреля был ли Заметаев и с кем именно у Каспийского моря на Шестовом бугре? Взял ли у питейного служителя или целовальника бочку вина в 40 ведер и дал ли ему собственноручную расписку? Он ли разбил высланную из Астрахани команду и убил офицера, где и когда?.. Какие имеет приметы? Похож ли на то лицо, которое разыскивала астраханская губернская канцелярия? Сколько ему лет и проч. Наконец, Суворов сделал собственноручную приписку к ордеру: *«А паче ежели б возможно было разведать о его политическом злонамерении: ибо он оглашаем был во многих странах».*

На все новые вопросы Заметаев отвечал прямо и коротко, повторяя то, что показал прежде: он говорил, что шайка назвала его Заметаевым и он принял это имя; что у него были пушки и ружья; две чугунные пушки он взял на Колпачке, а на Эмбе с расшивы взяты две медные пушки. Порох и свинец также брал с судов и по ватагам; на Дьяконовой ватаге приказал кузнецам наготовить жеребьев из тянутого железа. С Пугиной ватаги взял три чугунные полуфунтовые пушки с порохом и ядрами. Он говорил, что по миновании надобности в пушках он возвращал их хозяевам.

Суворов понял всю силу популярности Заметаева и боялся обмануться. Он имел два показания о приметах разбойника и хотел знать, какие приметы больше подходят к наружности атамана, действительно ли есаул его остался на Каспийском море.

Заметаев навел на всех такой страх, что для конвоирования его из Царицына в Астрахань прислан был целый deta-

шемент вместе с майором Соловьевым. Но Цыплетев боялся отпустить от себя разбойников и не отдал их Соловьеву, а ждал приказаний от графа Панина, Суворова и губернатора Кречетникова, который в то время находился в Москве. Узнав, что Заметаева хотели отдать Соловьеву, Кречетников строго запретил отпускать его с кем бы то ни было и писал, что если он уже и вывезен из Царицына, то непременно воротить с дороги; доносчика, малороссиянина Ничипоренка, приказал освободить из-под караула.

Получив свободу и проходя в тот же день базаром, Ничипоренко узнал еще двух разбойников из шайки Заметаева и своими руками привел на гауптвахту. Когда их свели с атаманом глаз на глаз, они не могли заператься и сознались во всем. Это были те из разбойников, которые отстали от Заметаева на Кумской степи.

3 сентября состоялся в сенате указ, которым определялось наказание Заметаева с товарищами. Наказание было ужасное: так как театром действий Заметаева было все нижнее Поволжье от Саратова до моря и самое море, то разбойников велено было бить жестоко кнутом повсеместно, т.е. на всех тех местах, куда только могла проникнуть слава Заметаева и заходила его шайка, и, поставив на лице позорные знаки, сослать в Нерчинск на каторгу в вечную работу.

19 сентября в Царицыне, на той площади, где, вероятно, часто слышалось в устах народа громкое и страшное имя Заметаева, этот народ видел Заметаева на кобыле, избитого и опозоренного; атаману дали 70 ударов кнутом, его товарищам по 50.

29 сентября Заметаев выехал из Царицына по саратовской дороге. Его сопровождали секунд-майор фон-Гревс, десять батальонных солдат с унтер-офицером и полсотни конных линейных казаков с старшиною, все вооруженные, «для безопасного предостережения одного гнусного злодея, что об нем прежде еще во многих местах в народе наполнился слух и будто какого чудовища ожидали». Разбойники посажены были на подводы, все закованные в ручные и ножные кандалы; рядом с ними ехали, на подводах же, конвойные солдаты, а весь поезд замыкался со всех сторон цепью линейных казаков. Народ смотрел на этот таинственный поезд и не мог не только видеть, но не смел и спрашивать, кого везут под таким тщательным прикрытием, хотя, быть может, догадывался, что везут Заметаева. Сами конвойные не смели говорить народу, что за люди сидят в телегах: им запрещено было даже произносить имя Заметаева. По ночам, когда поезд останавливался в поле для ночлега, разбойников клали в одно место, а вокруг них ставили

два «притина» из батальонных солдат и три казачьих: прочий конвой окружал их со всех сторон, образуя род укрепленного лагеря. Когда ненастье заставляло останавливаться в квартире, из дому высылали хозяев, чтобы те не знали и не догадывались, кто у них находится. В Дубовке конвой сменился, и вместо линейных казаков Заметаева конвоировали казаки волжские. При смене старого конвоя, новый собирался заблаговременно, в отдалении от разбойников, и, когда приближался к подводам, на которых сидели преступники, старый конвой в ту же минуту удалялся, не говоря ни слова, так что самые конвойные не знали, кого сопровождают. Начальник конвоя отвечал смертью за целостность вверенных ему арестантов. 29 сентября Заметаев въехал в Дмитриевск, а 30 рано утром, выехал оттуда в сопровождении тридцати пяти вооруженных казаков, да двадцати вооруженных же конных обывателей. Потом Заметаев и его товарищи привезены были на площадь города Саратова. Опять последовала та же казнь кнутом, какую испытали преступники в Царицыне: при наказании присутствовал знаменитый комендант Бошняк, преимущественно защищавший Саратов от Пугачева. Народ также видел наказание того, чье имя разнесено было им же по всей России.

8 октября Заметаев, уже два раза наказанный кнутом, выехал обратно в Царицын. 24 октября его вывезли из Царицына в Астрахань, чтобы вновь наказывать кнутом в Астрахани и по всему взморью, по всем ватагам, куда проникала косная лодка Заметаева. Но в другой раз он выехал из Царицына уже не с таким огромным конвоем, как в первый выезд: вместо пятидесяти казаков его сопровождали теперь только пятнадцать человек; двукратное наказание кнутом, трудные поездки в ненастное осеннее время обессилили Заметаева. Он уже не так был страшен. Опасались только, чтобы его не отняли на дороге, а потому и большого его оберегали по-прежнему. Умерших в дороге разбойников велено было зарывать в землю, а Заметаева и мертвого должны были возить по местам, где грабил он, и наказывать.

Неизвестно только, выдержал ли он все те наказания, которые ему назначались. Может быть, долго еще труп его возили по взморью. Быть может, не довелось уже везти его в Нерчинск и класть на лице знак¹.

¹ Народ, забывший Суворова, и теперь помнит Заметаева. В Поволжье рассказывают о нем довольно фантастические истории.

АТАМАН ФИЛИППОВ И РАЗБОЙНИК СУЧКОВ

Люди, принимавшие на себя имя императора Петра III, были все из солдат, казаков и рекрут: самозванец Кремнев был солдат, Богомоллов — казак легионной команды, Пугачев — донской казачий офицер, Ханин — отставной казак; точно так же все разбойничьи атаманы, предводители шаек, большая часть есаулов и разбойников были солдаты, военные дезертиры и молодые рекруты: знаменитый Заметаев был дезертир, Жеребцов (есаул Заметаев), атаман Кулага, его товарищи Тарабарин, Шумников и Васильев, Брагин и Зубакин — также бежавшие из войска; Сучков, Хохлов, Данилин, Збойков, Иван Рыжий и много других, о которых мы будем говорить, также все военные беглецы. Атаман Наум Филиппов¹, о котором идет теперь речь, родился в крестьянском семействе Самарского уезда, в селе Маркваш, в имении графа Девиера. В 1756 году он был отдан в рекруты в тегинский пехотный полк, а из него перечислен в томский, который в 1770 году был назначен в Грузию. Когда томский полк выступил из Царицына по кизлярской дороге, Филиппов бежал. Так и Кулага оставался в полку лет четырнадцать или пятнадцать, но потом, как и Филиппов, решился искать счастья в бродячей жизни поволжского разбойника. Филиппов прежде всего пробрался на Дон, в самый центр бурлацких притонов, где атаманы, при нужде, могли собирать до ста добрых молодцов, именно в Качалинскую станицу, где уже в то время имел свой стан атаман Иванов с шайкою. Но Филиппов не вступил в шайку Иванова, а нанялся к одному казаку-промышленнику в рабочие и с качалинской пристани уплыл на плоте своего хозяина вниз по Дону, потому что плот следовал в Черкасск. Плаванье по Дону и бурлацкие обязанности, вероятно, не понравились Филиппову, и он, не доезжая до Кочетовой станицы, притворился тяжело больным. Ему выдали заработанные деньги и ссадили на берег. С рублем меди в кармане мнимый больной пришел в Кочетовскую станицу,

¹ *Дело о разбойнике Степане Сучкове с товарищи. 1775. Цар. арх. № 323.*

поселился в кабаке и дня два пил «на оные деньги» зелено вино; кабацкая жизнь свела его с кочетовским казаком Топорковым, которому Филиппов признался, что бежал из вотчины и был нанят Топорковым в работники с платою по семи рублей в год и с хозяйской одеждой. Топорков взял Филиппова на свой хутор, стоящий на Донце верстах в шести от Кочетовой станицы, и держал его два года, но потом, по признанию самого Филиппова, Топорков выслал его из своего хутора, сказав: «Мне тебя уже более держать не можно». Филиппов решился выйти на Волгу поискать счастья в вольном Поволжье и пошел вверх рекой Доном и Медведицей. Через несколько времени он был уже в селе Рудне Шацкого уезда, на реке Терсе, впадающей в Медведицу; там встретился с знакомым солдатом Иваном Кирпишниковым, который вместе с ним был отдан в рекруты; узнав, что Кирпишников, подобно ему, бежал из армии и живет у руднинского малороссиянина Лифарева, Филиппов просил познакомиться его с Лифаревым, который и послал их обоих на свой хутор на речку Щелкан, где беглецы и прожили два года в качестве работников. Но потом и Лифарев, сказав им: «Вы уже мне более не надобны», — отослал их от себя, вероятно, боясь попасться с ними в подьяческие руки, потому что это был уже 1774 год, когда против партий Пугачева и против всяких «неведомых» людей принимались предосторожности. Филиппов и Кирпишников прошли за Волгу и против самого Камышина нанялись на казенный перевоз в работники, где и оставались до самого прихода в Камышин Пугачева.

У Пугачева, во время следования его из Казани к низовым городам, отправлены были Волгою целые караваны судов с съестными припасами, казной, награбленными товарами и тяжелой артиллерией; на этот флот самозванца поступили и Филиппов с Кирпишниковым. Во время следования флотилии мимо Дубовки Кирпишников высадился на берег и вместе с другими принадлежавшими к войску Пугачева поступил в конницу этого самозванца, а Филиппов остался на одном из судов и продолжал плыть к Царицыну. Верст за пять до этого города судно, на котором находился Филиппов, пристало к Денежному острову, но было атаковано с сухого пути высланным из Царицына военным отрядом. Так как Денежный остров был недалеко от берега, то судно не могло спастись от атакующего отряда и принуждено было сдаться; однако Филиппов счастливо избежал плена. Когда с берега сделано было нападение, Филиппов и с ним человек пятнадцать из находившихся на судне со-

умышленников Пугачева сели в лодку, находившуюся при судне, и бежали от отряда вверх по Волге¹. Они доплыли, таким образом до Караваинской станицы, оставили свою лодку в безопасном месте и пошли в станицу.

Всем известно, что вскоре после того Пугачев был разбит Михельсоном и волжская флотилия самозванца уничтожена. Спасшиеся от войск Михельсона и Суворова толпы пугачевского ополчения разбрелись по всей России. С ними исчезает из виду и товарищ Филиппова Кирпишников. Между тем Филиппов с пятнадцатью беглецами из Караваинской станицы прошел на хутор казака Морозова, где надеялся встретить радушный прием, потому что один из его партии, малороссиянин Влас Якимов, жил прежде у Морозова и женат был на его крепостной девке. Морозов, действительно, позволил им переночевать у себя, хотя знал, что они бежали из пугачевского ополчения, и взял за это от беглецов несколько дорогих подарков². Утром вся партия разошлась в разные стороны, а на хуторе остались только Филиппов, Хохлов, Сучков, о которых будет сказано после, и Влас Якимов. Скоро Филиппов свел короткое, сердечное знакомство или, как сам выражался, «спознался» с сестрою волжского старшины Ощепкина, Ириною, которая жила на Морозовом хуторе, и передал ей на сохранение часть своего добра³. Дня через четыре беглецы встретили на хуторе караваинского казака, по фамилии Вдовин, которого знал Хохлов, и этот последний спросил у него:

— Не можно ли нам в станице у тебя в доме сколько-нибудь пожить?

Беглецы имели свои виды переселиться ближе к Волге, ибо жизнь на хуторе у Морозова не представляла особенных выгод, между тем как Волга являлась широким полем для их деятельности.

¹ «Не доплывя одного (Царицына) верст с пять, — говорил после Филиппов па допросе, — пристали к Денежному острову, где высланною из Царицына воинскою командой оное судно с сухова пути было атаковано; тогда мы испужавшись оного, сев в имеющуюся при том судне лодку человек до 15, избегая себе поимки и наказания, поехали вверх по реке Волге».

² «От нас с Василием Хохловым (слова Филиппова) отобрал платков *талиянских* разных цветов пять, ценой каждый 3 рубля, да от пришедшего с нами одного бурлака взял тогда же сукна алова тонкого шесть аршин».

³ «...Рубашки две — александрийской пестреди, и из них одна с золотым позументом, третья атласная травчатая, с золотом же, всего по цене более 20 рублей».

— Тебя вся станица знает, — сказал Вдовин Хохлову, — то и Филиппову по тебе в ней жить можно.

Бродяги отправились в станицу и жили у казака Вдовина с неделю. После этого хозяин велел им идти к станичному атаману и к старшинам и у них просить позволения на житье в станице. Филиппов и Хохлов явились к атаману, которым в то время был некто Кузнецов, и на этот раз застали у него старшин Бирюлькина и Ощепкина, брата Ирины, с которой Филиппов был в дружеских отношениях. По обычаю того времени, когда власти и местные чины не имели кабинетов, в которых бы они могли принимать посетителей для «секретных» объяснений, Филиппов вызвал атамана попросту в сени и, «поклонясь» начальнику станицы пятью рублями, просил его дозволить им с Хохловым прожить зиму в их станице. Атаман, получив взятку и вспомнив о своих гостях, которые также участвовали в управлении станицей, сказал Филиппову:

— Надо поклониться и старшинам.

Филиппов вошел в покой атаманский и предписанным старшинам на первый случай дал по полтиннику.

— Живите до лета в станице, — сказали старшины, — и если вы будете до нас добры, то и мы вас не оставим¹.

После того Филиппов уже ходил на дом к старшинам «для благодарения» и дал каждому из них «по четыре рубли с полтиною». Более недели они снова прожили у Вдовина, как попечительный атаман опять призвал их к себе и говорил:

— Что вы живете у бедного человека? Вам лучше, хотя и заплатить за постой, жить у исправного казака; а у него вам ни пить, ни есть нечего.

С таким отеческим попечением заботились тогдашние власти о бедных бродягах! Действительно, Филиппов и Хохлов перешли на квартиру к казаку Рябцову, у которого и жили до самой весны.

Но в продолжение зимы Филиппов не сидел сложа руки. Он замышлял сделаться атаманом и стал искать охотников, «чтобы летом, — как сам выражался, — прибрав партию, начать разбой». Начались между бродягами и сходки, и совещания — избрание атамана, есаула, хлопоты о приобретении лодок, оружия, пороху, точь-в-точь как в песне, которая и теперь иногда раздается по Волге:

Не черные вороны сочетались,
Собирались понизовые бурлаки,
Они думали крепкую думу заедино:

¹ Подлинные слова, взятые из допросов.

«Ах, состроим мы, ребятушки, гребной стружок,
И поделаем заключенки кленовые.
Понавесим мы веселочки ветловые, —
Что мы грянем, ребятушки, вниз по Волге».

Филиппов, как мы выше заметили, имел при себе неотлучно другого бродягу, Хохлова. Василий Хохлов был земляк и односелец Филиппова. Он также был крестьянин графа Девьера, в 1770 году взят в рекруты, а через четыре недели бежал. Из Симбирска он прошел через Саратов и направился во вновь поселяемые немецкие колонии, где, как он слышал, нуждались в рабочих для стройки домов и охотно принимали всех пришельцев, не спрашивая, кто они и откуда. Хохлов перебрался за Волгу, в луговую сторону, и, явившись в колонку Кустарев, что выше села Золотого, нанялся к одному подрядчику в работники. Там он работал до самой осени, а после Покрова дня съехал в Камышин, нанялся на соляную пристань и скоро свел знакомство с одним из волжских казаков, которые своим свободолюбивым духом, склонностью к смутам и исканию казацкой воли ничем не отличались от яицких и донских, как будто для них не существовало ста лет, лежавших между временем царя Алексея Михайловича и тем, в которое они жили. «У нас живут вашей братьи много: поедем со мною и у меня жить будешь», — сказал Хохлову казак Мухин в ответ на сегования его, что вот приходит зима, а ему, беглецу, жить негде и негде достать работы для пропитания. Хохлов принял предложение Мухина, и они отправились в Караванскую станицу, где Хохлов и оставался до лета 1772 года, когда часть волжских казаков должна была вступить в Моздок. С ними вместе вышел из станицы и Мухин, оставив Хохлова на произвол судьбы. И с тех пор начал Хохлов переходить со двора на двор, сказываясь то «осиротевшим, крестьянином», то бродягой, то непомнящим роду-племени; он жил и у Морозова, и у Доношанкина или Лихоманкина, и у вдовы Маланьи Васильевой, по прозванию Дворянка, и у казака Защепина, у которого, делал телеги для отправления в Моздок, и, наконец, у казака Гурова. Так он промаялся до 1774 года, а в этом году опять побрел в Камышин работать на соляной пристани, где и оставался «до приходу злодейской Пугачева толпы». С пристани он взят был в пугачевскую флотилию вместе с земляком Филипповым и с тех пор не разлучался с ним. Когда Филиппов стал формировать свою шайку, Хохлов первый пошел к нему в товарищи. Вместе с Хохловым он пригласил беглого драгуна Кондакова, шатавшегося в окрестностях Караванской станицы. Кроме того, в шайку Филиппова поступил и Степан

Сучков, такой же дезертир, как и все прочие товарищи атамана. Сучков прежде служил в 22-й легкой полевой команде, которая во время осады Пугачевым Оренбурга находилась в Яицкой крепости. Генерал-майор Мансуров, находившийся тогда с войском в Яике, не имея возможности сноситься с осажденным Оренбургом, потому что все дороги были заняты толпами пугачевского ополчения, отправил с депешей к оренбургскому губернатору Рейнсдорпу этого Сучкова вместе с другим солдатом, чтобы они тайно пробрались сквозь армию Пугачева и доставили Рейнсдорпу необходимые сведения. Но не далеко от реки Илека они были пойманы пугачевскими сыщиками (а может быть, и сами бежали — неизвестно) и приведены в лагерь Пугачева; депеша у них была взята, а сами они поверстаны в войско самозванца. Через месяц Сучков бежал от Пугачева, пришел опять Яицкую крепость; но, боясь наказания за утрату депеши, снова бежал и пробрался через Иргиз и Мальковку (ныне город Вольск) в Саратов. Здесь он жил работой до самого прихода Пугачева в Саратов, то есть до 6 августа 1774 года, нанимаясь к разным лицам по денно, а ночи проводя на берегу Волги в порожних судах. По взятии Пугачевым Саратова Сучков поступил на флотилию самозванца и следовал на судах вниз по Волге до Денежного острова, откуда и бежал с Филипповым, когда их судно было атаковано отрядом войск правительства. Зимой он проживал то у казака Морозова на хуторе, то на мельнице, жил и в станице у старшины Ощепкина, потому что, пока у него были деньги, его везде охотно держали; потом вместе с малороссиянином Якимовым он поселился в землянке, у какого-то безрукого старика, и жил уже у него тайно, не показываясь в станице, а иногда только советуясь с Филипповым относительно предстоящих разбоев.

Итак, мы видим, первыми товарищами Филиппова были все люди военные. О других мы не говорим. В приготовлениях и сходках прошла зима, а с наступлением весны, на праздник Пасхи, Филиппов, Хохлов и Кондаков отправились к Морозову на хутор в гости к приятельнице Филиппова Ирине Ощепкиной. Время было такое, что пора бы и на Волгу: лед на реке прошел, товарищи готовы, суда начали показываться на Волге и спокойно проходили мимо станицы. По дороге к хутору Филиппову с товарищами повстречалась партия прохожих, в числе семи человек, такие же, как и они, бродяги, которые, прожив зиму по разным казацким хуторам на Дону, шли теперь промышлять на Волгу. Филиппов пригласил и их в свою шайку, с тем чтобы тотчас после Пасхи съехаться где-нибудь на берегу Волги и немедля начать разбой. Ниже Кара-

ваинской станицы находился пустой форпост, оставленный, вероятно, во время нашествия Пугачева. Несмотря на то что форпост не имел ни пушек, ни прочного укрепления, разбойникам он представлял удобное место для стана, потому что в форпосте они могли найти ночлег в оставленных казаками землянках и в случае нападения могли защищаться. Положено было всем съехаться на этом форпосте и потом уже, по общему согласию, приступить к обдуманным действиям. Последняя партия, в числе семи человек, отправилась по направлению к Сестринским хуторам, откуда она должна была выйти на Волгу, а Филиппов с товарищами, переночевав у Морозова на мельнице, на другой день опять прибыл в станицу.

В пятницу пасхальной недели Филиппов вывел наконец в Волгу свою маленькую партию. Недалеко от станицы они нашли свою лодку, спрятанную в ерике еще в прошлом году, в то время когда они спасались от царицынского отряда, преследовавшего их судно; в бурсаке они отыскивали свое ружье, спрятанное вместе с лодкой, пистолет, пику, свинец и порох. Около форпоста они взяли в свою шайку еще двух человек, беглых же, бродивших всю зиму по окрестностям, а теперь занимавшихся рыбной ловлей. Три дня провела шайка на форпосте в пустой землянке, выжидая другую партию, которая должна была приехать сверху. Между тем эта другая партия, не дожидаясь распоряжение атамана, начала свои воровские подвиги, потому что ей представился удобный случай.

Зимой 1775 года командирован был из Царицына в Москву «для препровождения в придворную ее императорского величества контору рыбы и икры» солдат Степанов. Исполнив поручение, Степанов возвращался в Царицын и сначала до Нижнего следовал сухим путем, а из Нижнего пересел в лодку и плыл Волгою; поезд, сопровождавший его, состоял из шести таких лодок, и на каждой из них были рабочие люди. В апреле он въезжал уже в земли волжского войска и, проехав Антиповскую станицу, приближался к Каравайинской. Не доезжая семи верст до Каравайинок, поезд заметил разбойничью лодку, которая, показавшись с луговой стороны, быстро неслась по направлению к этому маленькому каравану, сопровождавшему Степанова. Разбойники грозили и кричали, чтобы поезд пристал к берегу. Ловцы, ехавшие со Степановым, оробели. Степанов ободрял их, говорил, что они должны защищаться, требовал сделать отпор разбойникам, но напрасно: «видя обыкновенною их трусостью наполненных, принужден был тогда повиноваться строгому разбойническому

приказанию». Поезд пристал к берегу. Разбойники бросились на свои жертвы и всех ловцов обобрали «тиранским образом, так что не оставили не тобою чего на пропитание, но и последние рубашки с них сняли». Степанов вздумал было защищаться, но разбойники, «бив его смоленным толстым пеньковым линьком немилосердно, сняли с него казенный кафтан и штаны с пуговицами да и последней рубашки и сапогов на нем не покинули» и оставили несчастного в одном только казенном камзоле¹. Разбойники отобрали у Степанова деньги, товар, закупленный им в Нижнем, тонкие кружева, множество холстов и ниток. Обобранные лодки остались с раздетыми донага ловцами.

Разбойники, ограбившие поезд Степанова, принадлежали к шайке атамана Филиппова: это была та партия, которая направилась к Сестринским хуторам и которую Филиппов ждал к себе на форпост в воскресенье Фоминой недели.

Несчастный поезд ловцов с голыми рабочими и с начальником, прикрытым одним только камзолом, в таком жалком виде должен был ехать до самой Караваинской станицы, вышел на берег и в таком же странном костюме явился в станицу. Степанов тотчас отправился к станичному атаману и, объявив ему и старикам о постигшем его несчастии, просил помощи и команды для розыска разбойников. Атаман, как после объявлял Степанов, «с холодностью»² отвечал ему:

— Поезжай! А команда для сыску разбойников послана будет.

Холодность и грубость станичного атамана показались Степанову подозрительными; он заключил из них, что отношения самого атамана к разбойникам были нечисты, что он знал, какая партия теперь буйствует на Волге и что дело это может разыгаться столько же дурно для атамана разбойников, сколько и для него, атамана станичного. Получив отказ, Степанов должен был опять ехать один с своими ограбленными и робкими ловцами, не имея с собой не только оружия, но даже пищи и одежды. Но едва они отъехали от станицы верст шесть и пристали к ловецкому стану отогреть свое почти ничем не прикрытое тело, как ловцы, бывшие на этом стану,

¹ В другом месте говорится, что разбойники «всех их обобрали, не оставя и для прикрытия наготы платья; а как он, Степанов, им было попротивился, за что претерпел несколько ударов толстым канатным отрывком, и сняв с него казенные кафтан и штаны с пуговицами, да и последней рубашки и сапогов на нем не покинули».

² В другом объявлении — «с грубостью».

сказали им, что разбойники, ограбившие Степанова, заезжали к ним на стань и, взяв у них рыбу и хлеб, хвастались своим разбоем и грозили непременно убить Степанова.

— Напрасно мы солдата отпустили, не бросили в воду, — говорили они, — ежели еще попадетсЯ к нам в руки, то смерти не минует... Всячески стараться будем, в проезд его из Караванской станицы, поймав умертвить.

Эта угроза не могла не испугать Степанова, у которого еще были в свежей памяти «немилосердные» удары линьков, и потому он упросил своих ловцов тотчас же возвратиться в Караванскую станицу. Но едва они успели отъехать с версту от рыболовного стана, как с обеих сторон Волги показались бегущие на них разбойнические лодки с явным намерением исполнить угрозу. К счастью Степанова, попутный низовый ветер ударил в поднятые паруса, лодки понеслись быстро, так что разбойники, не имея парусов, отстали и принуждены были прекратить погоню. Степанов спасся в станице. Там он опять обратился за помощью к станичному атаману, снова просил дать отряд казаков для преследования разбойников, но снова получил отказ. На все просьбы Степанова атаман отвечал «с большою азартностью»:

— Я не имею от войска грамоты для сыску воров... Одна команда уже послана, а другой не дам.

Из слов атамана видно, что даже для пресечения преступлений нужна была особая войсковая грамота, а потому понятно, в каком положении находилась страна.

Ответ атамана возмутил находившегося там отставного капрала легионной казачьей команды Серебрякова, и он стал упрекать атамана, говоря:

— Ты не стараешься сыскивать воров и делаешь тем пощачку.

На это атаман отвечал:

— Если ты старателен, то поезжай сам, а я команды не даю: команда от меня послана для сыску воров по реке Волге.

Тогда Серебряков, пригласив своего брата и несколько других казаков из станицы, а вместе с ним Степанов и ловцы, сев на лодки, отправились на поиски. Скоро они встретили станичные разъезды, посланные атаманом вверх по Волге, под начальством есаула. Серебряков упрекал есаула в послаблении разбойникам:

— Ты не стараешься поймать воров.

Упрек был справедлив, как оказалось впоследствии.

— Видел ли ты разбойников? — спрашивал Серебряков.

— Нет, не видал, а нашел только за Волгой огни, у которых, видно, они стояли.

Серебряков, Степанов и ловцы соединились с отрядом есаула и всей массой отправились вниз по Волге. Не доезжая до пустого форпоста, где был разбойничий стан, высылка заметила лежащего на берегу человека, а потому некоторые из отряда, выскочив из лодок, схватили его прежде, чем он успел убежать. На допросы Степанова пойманный сначала говорил, что он бродяга, шатавшийся всю зиму около Караванской станицы, а теперь вышел на Волгу кормиться; но когда капрал Серебряков уличил бродягу, сказав, что видел его прежде в Караванской станице, что знал его, как беглеца, служившего под знаменами Пугачева и, по взятии судна у Денежного острова, скрывшегося в станице, пойманный отвечал, что он действительно бежал из армии Пугачева, когда она была разбита, потом жил в Караванках и, согласившись с товарищами производить на Волге разбой, поступил в шайку Филиппова. С помощью угроз Степанов узнал от него, что он оставлен был на берегу в качестве караульного для наблюдения за проездом по Волге судов и, в особенности, для извещения своей шайки о проезде Степанова, в случае если он покажется на Волге. Пойманный говорил, что разбойники действительно согласились убить Степанова; а теперь одна партия находится на пустом форпосту, в землянке. Степанов, Серебряков и станичный есаул решили взять разбойников обманом, потому что, несмотря на множество лодок и людей, которыми они располагали, они не надеялись поймать хитрых воров, для этого они послали впереди себя одну лодку «для выману тех разбойников», а сами следовали за нею в отдалении позади лесу, так что разбойники могли видеть одну только беззащитную лодку. И точно, разбойники, увидев ее, бросились из форпоста к своей лодке, которая стояла у берега, но, заметив около леса множество других лодок, бежали с берега в горы. Степанов, Серебряков и ловцы бросились за ними и поймали четырех человек; но один из разбойников, за которым погнались казаки разъездной команды, «по поноровке» их, успел убежать. Степанов обвинял казаков в стачках с разбойниками, говоря, что «казаки ловить их ничего не старались, да и с глаз своих одного отпустили, и видно, что они делали и всем им поноровку».

Как бы то ни было, но атаман, есаул и несколько других разбойников были пойманы, и Филиппов обманулся в своих надеждах: разбой его были для него не совсем счастливы — в самом первом деле он был пойман и уже не мог рассчитывать на свободу. Разбойники признались Степанову, что атаман их шайки — Филиппов, а есаулом при нем состоял

приятель его, Хохлов. Степанова удивило, что «бывшие с ним той (Караваинской) станицы казаки тех разбойников, то ж и разбойники казаков, называли, по знаемости, именами». Мы знаем, напротив, что разбойники даже со станичными властями — с атаманом и старшинами — были в самых коротких отношениях. Пойманные разбойники говорили, что Степанов ограблен не ими, а другою партией из шайки Филиппова, плившей сверху Волги на сборное место, назначенное в пустом форпосте; что после та партия приезжала к атаману на стан, переменяла свою лодку, чтобы не быть узнанною, и, взяв хлеба, рыбы и котел для приготовления пищи, отъехала вниз, за Балыклейскую станицу, для того чтобы караулить там Степанова и убить его; атаман говорил, что партия имеет очень мало оружия — два ружья и один дротик, «и их-де, — прибавлял Филиппов, — вам переловить легко можно». Степанов перевязал разбойников веревками и разложил по лодкам лодкам, чтобы отвезти их прямо в Царицын и сдать на руки военному начальству. Ему хотелось также воспользоваться указанием атамана и неожиданно напасть на шайку, отъехавшую за Балыклейскую станицу, чтобы тем и самому избавиться от опасности быть утопленным, или зарезанным, или застреленным, или, наконец, повешенным, как обещали разбойники. Степанов просил станичного есаула дать ему несколько казаков из его отряда, потому что с одними своими, далеко не храбрыми ловцами, которые притом должны были караулить связанных и разложенных по лодкам разбойников, он не отважился бы напасть на партию, которая уже однажды так варварски его ограбила и насмеялась над ним. Но есаул ему «с сердцов» в том отказал, промолвя:

— Я своих казаков тебе не дам — те разбойники не в наших дачах.

При таком понимании местными властями своих прямых обязанностей Степанову ничего не оставалось, как взять с собой уже пойманных разбойников и продолжать свое опасное плавание; но есаул приказал своим казакам отнять у него атамана Филиппова с товарищами, и, когда Степанов не соглашался уступить ему свою добычу, есаул сказал:

— Мы и сами сумеем переслать их к своей команде.

Потом приказал развязать разбойникам руки и ноги, крепко стянутые веревками, и своими кушаками велел перевязать им только руки «чрезмерно слабо». Степанов принужден был ехать далее с одними ловцами и рассчитывать на неизбежную смерть; но так как, по показанию атамана, разбойники стегали Степанова верстах в пяти или шести ниже Балыклей-

ской станицы, то поезд благополучно проплыл все пространство Волги между Каравайками и Балыклейками и вскоре Степанов явился к атаману этой последней станицы; потеряв все свое платье во время первого разгрома наезда разбойниками, Степанов принужден был снять кафтан с одного из товарищей атамана Филиппова, чтобы только самому одеться. В Балыклейках он не застал станичного атамана, но, объявив о происшествии есаулу, просил его о снаряжении разъездной команды. Однако и здесь пришлось ему услышать такой же ответ, какой не раз приходилось выслушивать от властей Каравайской станицы.

— У нас воров нет!.. Да и для сыску их, чтобы посылать команды, не имеется от войска грамоты, — сказал станичный есаул.

Вслед за Степановым приехал из Каравайской станицы тот есаул, с которым они ловили разбойников. Есаул требовал, чтобы Степанов возвратил ему снятый с разбойника кафтан, что он не разбойничий, а казачий. Отдав требуемое, Степанов, с своей стороны, просил балыклейского есаула посадить под караул есаула Каравайской станицы, жалуясь, что он отнял у него разбойников, делал им «облегчение и поноровку», развязал их и даже отказал дать ему из своего отряда казаков для преследования покушавшихся на его жизнь разбойников. Есаул был посажен под арест. Степанов просил держать его до присылки из станицы пойманных им воров, но есаул, неизвестно по какому поводу, был в ту же ночь освобожден. Степанов опять должен был ехать один; но на этот раз разбойники, вероятно предупрежденные своими товарищами или местными властями, очень к ним ласковыми, не покушались уже на новое нападение. Проплыв до Дубовки, Степанов донес обо всем войсковому атаману, которым в то время был полковник Василий Персидский, уже несколько известный читателям по прежним очеркам.

Наконец Степанов в конце апреля достиг Царицына и 1 мая подал во 2-й царицынский батальон к батальонным делам объявление обо всем, происходившем в дороге. Объявление это сочинил ему сержант Ромашов, тот самый, который три года тому назад способствовал прекращению в донских станицах восстания, вспыхнувшего в народе для спасения мнимого императора Петра III (самозванца Богомолова). Степанов, говоря о нападении на него «воровских неведомых людей», о преследовании их с помощью разъездной команды, об открытии «воровских» станов в луговой и нагорной сторонах Волги, в пустом форпосте, наконец, о поимке «воровского

атамана, есаула и других разбойников» и о подозрительных действиях начальников волжских станиц и, жалуясь на них, прибавил, что «я, видя такие поводы, боясь, чтоб еще со мною не приключилось какой напасти, сев на ловецкие лодки, уехал в путь».

Объявление Степанова требовало немедленного принятия мер, тем более что со всех сторон получались письменные известия и ходили слухи, что все Поволжье неспокойно, что нет ни проходу, ни проезду от воровских шаек. Но как ни казались важными эти события, как ни безнадежно было положение страны, лучшего неоткуда было ждать, и, от кого зависело счастье обнищавших и опустошенных провинций, те равнодушно смотрели на то, что делалось в захолустьях, а ближайšie к этим захолустьям представители власти, видя пронесшуюся мимо них страшную бурю, крестились и снова засыпали.

Полгода провалялось между куч рапортов, ордеров и промеморий, писавших все о таких же «разбойных случаях и чинимых повсюду злодействах», объявление Степанова, и только в ноябре назначена была военно-судная комиссия по этому делу. Все эти следственные дела до того интересны, на них так живо сохранился отпечаток времени и притом они так хорошо характеризуют эпоху и самую жизнь наших провинций прошлого века, что мы считаем их важнейшими материалами для народной истории и извлекаем из них все, что должно быть принято во внимание будущими историками нашего народа.

Волжское войско, запутанное с головы до ног в эти темные воровские дела, чувствуя много грехов на своей совести, всегда старалось прикрывать деяния добрых молодцев, а вместе с ними и себя лично. Оно желало бы замять и это дело, но не было возможности придать ему благовидное извинение, и оно выигрывало, по крайней мере, тем, что тянуло время или прямо отказывалось повиноваться ближайшим властям. Засадив в казематы атамана Филиппова с товарищами, оно замолчало и не заботилось ни о каких последствиях. Тогда царицынский комендант спрашивал волжское войско, что пойманные в пустом форпосте разбойники от Караванской станицы «истребованы ль и ныне под караул отданы ль, а ежели не требованы, то чего ради упущено». Потом он приказал: «Разбойников, равно атамана и есаула, взяв из станицы, под крепким караулом прислать, к поступлению с ними по указам, в комендантскую канцелярию». Волжское войско отвечало, что еще прежде оно приказывало явиться в Дубовку карава-

инскому станичному атаману, старшинам, есаулу и казакам для объяснения по делу о Филиппове; но теперь, препровождая в Царицын разбойников, войсковой атаман оправдывал их, говоря, что они только «имели намерение производить проезжающим по Волге реке людям разбой, только еще не чинили»; он уверял Цыплетева, что разбойники пойманы станичными старшинами Федором Букановским и Алексеем Сказоватовым, есаулом Селивантьевым и казаками разъездной команды, а не так, как объявлял ограбленный Степанов, что разбойники тотчас же отправлены были в Балыклейскую станицу под присмотром старшины Букановского, которого Степанов и посадил там под караул на сутки, а совсем не есаула. Наконец, войсковой атаман добавлял, что он не посылает в Царицын ни станичного атамана Караваинской станицы, ни есаула, как напрасно обвиненных Степановым, и выставлял волжское войско с хорошей стороны, говоря, что казаки беспрестанно ловят разбойников и отсылают в Царицын.

Между тем, когда пойманные Степановым воровские люди еще сидели в Дубовке, в городе произошел пожар и во время этой суматохи из каземата бежали два арестанта, принадлежавшие к шайке Филиппова, в числе которых был драгун Кондаков, от которого можно было много узнать об отношениях чинов волжского войска к разбойникам. Как бы то ни было, но главные предводители шайки — атаман Филиппов, есаул Хохлов и Сучков оставались еще в руках царицынского коменданта и над ними наряжен был суд. Так как разбойники говорили, что они не производили ни грабежей, ни воровства, а волжское войско подтверждало их слова, то Цыплетев требовал самого тщательного исследования этого дела, прибавляя: «Как от разрушения злодейской (Пугачева) толпы минуло малое время, сомнительно поверить, чтоб они не были на разбоях». (Выше мы говорили, что Филиппов, Хохлов и Сучков — все были в армии Пугачева и сами признались в этом.) При том, по словам Цыплетева, в комендантской канцелярии нашлось «приличество» по этому делу, именно — объявление Степанова о нападении на него разбойников; а потому и велено было истребовать в комиссию самого Степанова, чтобы он уличил подсудимых, если они в самом деле были виновны. Презусом военно-судной комиссии назначен был секунд-майор Константин Петров, ассессорами офицеры Махвилов, Зыбаров, за аудитора — Хромов. Комиссия открыла свои заседания с обыкновенными формальностями, в восьмом часу утра 26 ноября. По обыкновению,

присутствовавшие «от презуса уговариваны были, дабы при начинающемся даже и до окончания сего дела поступали по самой чистой совести» и хранили его в глубокой тайне; по обыкновению, подсудимые были приведены и спрошены, будут ли они довольны судом; присутствующим прочитана была «для напоминовения», присяга, и т.д.

Прежде всего начался допрос Сучкова. На предложенные ему семь обыкновенных формальных вопросов, он отвечал¹:

«Степаном меня зовут, Федоров сын, Сучков, от роду мне 25 лет. В службу ее императорского величества взят я в 1773 году, в декабре месяце, Нижегородской губернии, Арзамасского уезду, села Черновского, вотчины помещика Федора Иванова, сына Ермолаева, из крестьян и определен в 22-ю легкую полевую команду. Грамоте читать и писать не умею. В церковь Божию хаживал, на исповеди и у святого причастия бывал.

О верной ее императорского величества службе я присягал. Военный артикул и приличные к тому указы мне читаны

¹ Вопросы, предлагавшиеся военным подсудимым, выражались следующим образом:

1. Как тебя зовут, чей ты сын, сколько тебе от роду лет? В службу ее императорского величества с которого году, месяца и числа и с каких чинов определен? Грамоте читать и писать умеешь ли? В церковь Божию ходишь ли? На исповеди у священников и у святого причастия бывал ли?

2. О верной ее императорского величества службе ты присягал ли? Военный артикул и приличные к тому указы тебе читаны были ли и что кому за какие преступления штрафы чинить реально, ты знаешь ли?

3. Наперед сего в штрафах и наказаниях по суду и без суда не бывал ли?

4. Будучи ты в рекрутах, денежное жалованье и провиант все сполна получал ли? От командиров обид, налог и притеснения тебе не было ли?

5. Нынешний побег учинил ты когда, откуда, и отчего и с кем именно и при том побеге не снес ли чего казенного или у товарищей своих партикулярного, и будучи в оном, жительство и пропитание имел где и у кого именно, заведомо беглого или незаведомо, и не имел ли при себе воровского паспорта и по нем имя свое и прозвание не переменял ли?

Потом предлагаются другие вопросы, сообразные с обстоятельствами дела, и если подсудимый подозревается в преступлениях, то его спрашивают, не был ли на воровствах и разбоях и смертного убийства, домам поджогов или какого другого злодейства не чинил ли, не знал ли беглых воров и разбойников и, наконец, — *«намерения чтоб притить за границу не имел ли?»* Последний вопрос состоял в том, самую ли «истинную правду» показал подсудимый и не утаил ли чего?

были, и что кому за какие преступления штрафы чинить велено, я знаю.

Наперед сего в штрафах и наказаниях по суду и без суда не бывал.

Будучи я в 22-й легкой полевой команде, денежное жалование, провиант, мундирные и амуничные вещи получал сполна. От командиров обид, налог и притеснения мне не было».

Следующими затем ответами Сучков объяснял обстоятельства своего побега, свою бродячую жизнь, знакомство с Филипповым, Хохловым и другими разбойниками и, наконец, поимку. После Сучкова приведен был к допросу сам атаман, который, видимо, старался избегнуть положительного признания и потому утаил некоторые обстоятельства, уже известные следователям. Он говорил, что вскоре после побега из томского полка работал на соляной пристани, что против Камышина, и оттуда вместе с каким-то малороссиянином они отправились будто бы на озеро Узени «для ловли рыбы и зверя», где, устроив землянку, жили ровно четыре года, питаясь выручаемым от разных проезжих людей на ту рыбу и на зверя хлебом; что в 1774 году он возвратился снова на пристань, где и пробыл «до приходу толпы государственного злодея Пугачева» и т.д. Относительно поимки их на пустом форпосте он говорил, что, действительно, имели в виду производить на Волге разбой, «однако еще того своего злого намерения исполнить не могли»; но что погубила их лодка, оставленная им какими-то «незнакомыми» людьми, так как эта лодка оказалась принадлежавшею разбойникам, грабившим Степанова с ловцами. Хохлов также путался в своих показаниях; но все согласно показывали, что начальники Караванской станицы и казаки были к ним очень милостивы. Комиссии не оставалось ничего более, как вытребовать в суд всех оговоренных, которые, как она выражалась, «из одного своего лакомства» потворствовали разбойникам, именно: старшин Ощепкина и Бирюлькина, бывшего станичного атамана Кузнецова и вновь избранного Кумскова, казака Морозова и приятельницу воровского атамана Ирину Бирюлькину. На первое требование от 4 декабря волжское войско не ответило; тогда 16 января 1776 года послана была «дубликатная промемория», а Цыплетева комиссия просила «накрепчайшим образом» подтвердить, чтобы оговоренные чины Караванской станицы были непременно присланы в комиссию, так как именным императорским указом 1763 года велено «становщиков и пристанодержателей с крайнею прилежностію сыскивать и дела оканчивать в месяц». Вытребован был в комиссию для обличения разбойников ограбленный ими Степа-

нов; назначены были новые следователи по этому делу, презус Авилов и некоторые другие ассессоры, которые перед началом допросов дали следующую присягу в присутствии священника: «Мы, к настоящему воинскому суду назначенные судии, клянемся всемогущим Богом, что мы в сем суде, в приличающихся делах, ни для дружбы или склонности, ни подарков или дачей, ниже страха ради, ни для зависти и недружбы, но токмо едино по челобитью и ответу, по ее императорского величества, нашей всемилостивейшей государыни императрицы воинским пунктам, правам и уставам приговаривать и осуждать хощем право и нелицемерно так, как нам ответ дать на страшном суде Христове, в чем да поможет нам Он, нелицемерный судия».

Между тем 27 января получена была наконец ответная промемория из волжского войска, и начальники его, видимо, отказывались повиноваться распоряжениям, которые именем правительства делались в Царицыне. Войсковой атаман Персидский, между прочим, писал в комиссию, что «хотя оные беглые по разбитии от злодейской (Пугачева) толпы по приезде в дачах Каравайнской станицы и шатались, но до разбития злодея (Пугачева) они жительства не только не имели, но в станице не бывали, и по разбитии злодея оные пойманы Каравайнскою станицею посланными из оной от атамана старшинами и казаками в разбое, то их показаниям на поимщиков, злоствуя за то, что они ими переловлены, едва ль можно в силу законов верить, а особливо есть-ли за поимку будут беглые разбойники показывать и за то поимщиков забирать к следствию и чинить в проездах убытки, то каждому впредь к поимке таковых ревность может быть отнята». Вследствие этого комиссия, принимая в соображение, что волжская войсковая канцелярия и «по прежде производившимся в комиссии военного суда в таковых же держаниях фергерам и криксрехтам ведомства своего старшинам и казакам, защищая их в толь противных законам проступках, отзываясь разными необстоятельными причинами, упорствуя, суду присылки не чинила», — определила допросить одних разбойников, сначала с увещанием от лица присутствующих, потом через священника, а наконец, с «пристрастием, подбитием батоги». Затем разбойники уличены были Степановым и признались во всем, кроме одного Сучкова, который не дождался конца следствия и лежал в тяжкой болезни. Таким образом, чтобы не тянулось дело, комендант приказал его кончить «по упорству» волжского войска, без допросов начальников Каравайнской станицы.

Так как последние листы в деле об атамане Филиппове утрачены, то мы не знаем, какое наказание постигло разбойни-

ков; знаем только, что тягость преступления их увеличилась, помимо улик в составлении шайки, еще одним важным обстоятельством, именно «похищением казенного интереса», потому что разбойники обвинялись в снятии с Степанова «казенного кафтана и штанов с пуговицами»¹. О второй половине шайки атамана Филиппова, спасшейся от преследования разъездной команды, в деле также нет сведений: может быть, на место Филиппова она избрала себе нового атамана и продолжала тревожить проходившие по Волге караваны.

Как бы то ни было, но к октябрю 1775 года в руках правительства находилось уже несколько предводителей разбойничьих шаек. Царицын и Дубовка представляли в это время любопытное зрелище: не было дня, чтобы по улицам этих городов не проходили конвои с связанными в колодки разбойниками; то везли в телеге, окруженной казаками, какого-нибудь атамана, то приводили с Волги и с окрестных степей его рассеявшуюся шайку; сегодня народ бежал на площадь смотреть на раздачу шпицрутенов к предстоящей экзекуции, завтра — мрачные проводы наказанных. В тот день, когда провожали из Дубовки в Царицын атамана Филиппова, казаки вводили в Дубовку атамана Кулагу с Тарабариным; когда Кулага сидел в каземате, в то же время арестовали разбойника Зубакина, коновода другой шайки, ходившего с своим воровским отрядом во внутренние губернии России². Филиппов застал в Царицыне атамана Заметаева, после ужасного наказания отправлявшегося в Саратов для другой публичной казни, а в Дубовке Заметаев нашел Кулагу, еще не отправленного в Царицын. Наконец, около того же времени через Царицын и Дубовку провезли, по распоряжению генерал-аншефа гр. Ал. Потемкина, еще трех преступников: малороссиянина Свирида Тарелкина (он же и Шевырев), разбойника из казачьих детей Григория Данилина и Будуджанова владения калмыка Зотбу Гецули Ножикова³. Эти «по самоважным делам колодники» пробыли в Царицыне четыре дня и увезены в Сибирь.

¹ Интересно, что военно-судная комиссия делала запрос батальонному начальству, «во сколько ценою положены по штату» солдатский кафтан и штаны шитые, и получила ответ, «что солдатский кафтан с пуговицами шитый по штату положен *два рубли шестьдесят две копейки пять шестых на десять* (2р. 62 5/16 к.), штаны с пуговицами — *шестьдесят девять копеек с половиною две трети одна осьмая* (69 1/2 + 2/3 + 1/8 коп!!.)».

² См. об атамане Брагине и разбойнике Зубакине.

³ *Дело о разбойнике Свириде Тарелкине с товарищи. 1775. Цар. арх. № 343.*

Между тем суровые зимние месяцы представляли тяжелое испытание для разбойников. С наступлением холодов шайки их мало-помалу начинали редеть, потому что при сильных осенних дождях яркие костры, разводимые в безопасных местах, в чаще леса и в оврагах, под прикрытием ночи, мало грели тех, у кого была плохая обувь и кой-какая летняя одежда. Это была пора добывания паспортов, чтобы под защитой законного свидетельства можно было найти где-нибудь в захолустье пристанище на долгую и холодную зиму; а между тем с какими опасностями соединен был промысел добычи паспортов, сколько нужно сделать разбоев и воровства, чтобы добыть годное свидетельство, подобрать приметы, рост и волосы, сколько нужно было пересвидетельствовать носов и подбородков, глаз серых и черных, сколько раз напрасно ограбить или изувечить прохожего и потом бросить его паспорт, не подходящий к приметам разбойника или просроченный. Но вот и Волга стала замерзать, по ней уже не тянутся караваны судов, редко-редко прокрадется по заре маленькая лодчонка, в которой все лето мыкали горе понизовые бурлаки, теперь ищущие на зиму приюта. Некого грабить на Волге... Пора добрым молодцам кланяться батюшке атаману и верным товарищам. И вот разбойники заводят свои лодки в далекие затоны, в непроходимые камыши, прячут по лесам свои ружья и сабли, пики и пистолеты, сожгут немало стогов сена и старых дуплястых пней, согревая свои окоченелые члены, и потом разойдутся на все четыре стороны до весны, до красного солнышка. Погуляют потом тихонько в кабаках, послушают говору людского, нападут на хороших людей и живут у них до лета; а другие между тем поплетутся в степь, в глухие казачьи хутора, за Волгу или на Илавлю и Медведицу, найдут пристанище, кто за деньги, кто за имя Христово; иные выкапывают себе землянку и живут в ней, как пустынные.

АТАМАН БУКОВ И ТИМОФЕЕВ

В продолжение зимних месяцев лучшие притоны для низовых бурлаков представляли уединенные казачьи зимовники по Илавле, Медведице и Хопру. Из дел царицынского архива мы видим, что зиму 1775 года на Медведице, в числе множества других разбойников, скрывался атаман Гаврила Буков. В этом же году он был пойман и содержался в Новохоперской крепости, но, после сделанных ему допросов, в январе 1776 года бежал из крепости. За ним разосланы были во все места поиски, и, между прочим, комендант Новохоперской крепости, бригадир Аршеневский, 19 января сообщал об этом в Царицын коменданту Цыплетеву и писал, что «по производимым в канцелярии Новохоперской крепости разбойным делам открылось, что, по большей части, разбойники и всякого рода беглые проживают по реке Медведице в землянках, а разбойнический атаман Гаврила Буков между прочими допросами показал, что он прошлого 1775 года зиму проживал на реке Медведице, в урочище Черни¹ у живущего в лесу Березовской станицы казака, а как звать — не знает, на пчельнике постриженного монаха Льва, и с ним обще зимовал же Березовской станицы отставной казак Лукьян Исавев, сын Малышев, который разбойник Буков по допросе бежал». Вследствие этого бригадир Аршеневский просил Цыплетева отправить в это урочище «пристойную воинскую команду» в надежде, «не зимует ли оный Буков и ныне в означенном урочище у предписанного монаха Льва или казака Малышева».

Цыплетев, на получении этого сообщения, предписал «находившемуся по Бузулуку у сыску воров и разбойников войска донского господину старшине», чтобы он отрядил с надежным командиром достаточное число донских казаков для розыска Букова и других воров и велел бы, «как по реке Медведице в

¹ Это, по всей вероятности, урочище Каменновы хутора, на речке Черной, принадлежавшее донским помещикам Каменновым. Урочище это и теперь малороссияне называют — Чорна. После мы увидим, что на этих местах имели притон и другие разбойники.

лесных местах, так не откроется ль об них слух и в других местах, чинить поиски, и буде тот разбойнической атаман Буков с товарищами ево иль один пойман, или ж где в пристанодержательстве у кого изловлен будет, то и с теми людьми, не обращая в Царицын, отправить за безопасным конвоем к реченному господину бригадиру Аршеневскому». О дальнейшей судьбе Букова¹, монаха Льва и казака Малышева мы ничего не знаем².

Через два месяца после отправления с Бузулука отряда для поисков за Буковым началась новая гонка разъездных команд по Волге и по всем окрестным степям. С наступлением весны, когда лед на Волге тронулся и показались суда с московскими и персидскими товарами, понизовые бурлаки снова повыползли из своих трущоб, покинули хутора и их скучную, однообразную жизнь, бросили свои медведицкие землянки, поправили лодки, отыскивали свое старое оружие, пристали к своим атаманам и вышли на Волгу. Затем из Астрахани, из батальонов, снова начались дезертировки солдат, которые шли или на взморье, или плыли вверх по Волге, составляя шайки и останавливая каждое плохо защищенное судно. Астраханский обер-комендант генерал Левин снова писал всем комендантам городов Нижнего Поволжья, чтобы они принимали меры против появившихся разбойников. «Понеже, — писал он Цыплетеву, — ныне Волга река льдом вскрылась и мне есть не безызвестно, что по оной появляются воровские разбойничьи шайки; того ради, ваше высокоблагородие, извольте всем ведомства вашего людям наистрожайше подтвердить, дабы они от тех воров приняли крайнюю предосторожность и имели как водою, так и сухопутно, днем и ночью всегдашние разъезды, дабы оные воровские шайки конечно прекращены были, да и особливо стараться праздношатающихся и беспашпортных ловить, ибо из Астрахани, из военнотружущих дезертировано немалое число, то и ежели кто из воровских шаек или из дезертиров и праздношатающихся беспашпортных пойманы будут, присылать ко мне при рапортах, да и какое о поимке тех злодеев и прочих людей исполнение чинено будет, ко мне по часту рапортовать». Впрочем, еще раньше этого предписания разъездные команды из Царицына и Дубовки разосланы были по всем дистанциям и сторожевые лодки беспрестанно наведывались о том, что делается на Волге; а на Волге между тем

¹ Не Буков ли воспет народом под названием вора Гаврюшеньки и Гаврюшки, упоминаемого в местных песнях.

² *Дело о разбойническом атамане Гавриле Букове и держателях его казаке Малышеве и монахе Льве. 1776. Цар. Арх. № 399.*

было далеко не спокойно. Только потворством разъездных команд разбойникам или многочисленностью и дерзостью последних можно объяснить то, что происходило в это время в понизовье. Кроме постоянных разъездов и экстренных высылков, за тишиной на Волге наблюдали команды с форпостов, расположенных по Волге в весьма близком один от другого расстоянии; не было, кажется, ни одного уголка и затона, куда ни заглядывали бы рассыльные казаки и солдаты, а между тем разбой происходили почти каждую ночь, да и самый ясный день не спасал путешественников от внезапных нападений. «Сего апреля в разных числах, с следующих из Астрахани судов о нападении на них разбойников поданы объявления», — писал Цыплетев майору Персидскому и просил его помощи в этих опасных обстоятельствах, потому что, за разными сухопутными командировками, за высылкой многих солдат и казаков на царицынскую линию в расположенные по ней крепостцы и на форпосты, наконец, за разными экстренными командировками, в Царицыне почти никого не было и на Волгу можно было послать только несколько человек; а между тем в военных людях, по такому смутному времени, была крайняя нужда. Персидский в это время находился с своим отрядом тоже на Волге, и Цыплетев писал ему: «Как ваше высокоблагородие с командою своею расположились уже в волжском войске и уповательно против полевых полков о искоренении и поимке оных (разбойников) имеете наставление, того ради, ваше высокоблагородие, государя моего, прошу приложить в том ваше всеудобовозможное старание и тех злодеев ловя, присылать в царицынскую комендантскую канцелярию, за что от главных правительств получите достойную похвалу и благодарность; а как в царицынских батальонах в людях такой недостаток, что и караулы содержатся бессменно, но, однако ж, в двух лодках при обер-офицере солдат и царицынских казаков тридцать человек вниз по реке Волге к Черному Яру посланы, а потому ваши разъезды нужны как к Димитриевску, так и вниз хотя до нижней реки Пичуги или Ахтубы, и какой в том успех происходить будет, для донесения его превосходительству господину генерал-майору и астраханскому обер-коменданту Василию Васильевичу Левину прошу меня уведомлять»¹.

Как, по-видимому, ни тщательны были эти предосторожности, как ни строги меры, принятые против разбойников, но ни предписания Левина, ни распоряжения Цыплетева и волж-

¹ Цар. арх. № 432. Дело о принятии предосторожности от появившейся по реке Волге разбойнической секты (шайки). 1776.

ского войска не имели успеха. В течение всех летних и осенних месяцев 1776 года было открыто множество несчастных случаев, но не поймано ни одного предводителя разбойников; прошла и зима, наступило судоходное время 1777 года. Разбойники продолжали свои «продерзости», нападали «сильною и вооруженною рукою» на расшивы и кладнуши, а их никто не ловил, — их не пугали известия о взятии такого-то и такого атамана, о разбитии того или другого воровского стана. Правда, многие из них нападали не так смело, брали пошлину с промышленников не по-прежнему, не кричали в виду разъездных команд и около самых городов проходящим судам свое страшное «сарынь на кичку!»¹. Многие из шаек, видимо, откочевывали подальше от Волги, где в последнее время, особенно в 1775 году, они лишились стольких сильных атаманов вроде Заметаева и Кулаги. Как бы то ни было, но разъездным командам не удавалось в это время поймать сколько-нибудь популярную личность. Заметно, что летом 1778 года некоторые шайки появляются на степном берегу Волги, у реки Илавля, и начинают сухопутные разбои.

Илавля, впадающая в Дон, в верховьях своих очень близко подходит к небольшой речке Камышинке, принимаемой Волгой у самого города с тем же именем. Близость расстояния двух небольших речек, одной волжского бассейна, а другой донского, дала некогда Петру I мысль соединить их каналом, хотя мысль эта оказалась неудобноисполнимою. Воровские казаки, желая пробраться из Дона в Волгу, проводили свои лодки вверх по Илавле до того места, где речка близко подходила к Камышинке; здесь лодки перетаскивались сухопутным волоком в Камышинку, и разбойники входили по ней в Волгу, как до сих пор поется в старой казачьей песне:

Что пониже города было Саратова,
А повыше было города Царицына,
Протекала, пролегала мать-Камышинка-река,
Как с собой она вела круты красны берега,
Круты красны берега и зеленые луга;
Она устьищем впадала в Волгу-матушку-реку;
Что по той ли быстрине, по Камышинке-реке,
Как плывут тут выплывают два снарядные стружка².
Хорошо были стружечки изукрашены,

¹ Сигнальный крик разбойников при нападении на суда. Крик этот еще так недавно раздавался на Волге, и он очень памятен нынешним мирным бурлакам.

² В другой поется:

Выгребали, выплывали пятьдесят легких стругов
Воровских казаков.

Они копьями, знаменами, будто лесом, поросли;
 На стружках сидят гребцы, удалые молодцы,
 Удалые молодцы, все донские казаки,
 На еще ли гребенские, запорожские;
 На них шапочки собольи, верхи бархатные,
 Еще смурые кафтаны кумачом подложены,
 Астрахански кушаки полушелковые,
 Пестрядинные рубашки с золотым галуном¹,
 Что зелен-сафьян сапожки, кривые каблуки,
 И с зачесами чулки, да все гарусные;
 Они веслами гребут, сами песенки поют;
 Они хвалят, величают православного царя,
 А бранят они, клянут воеводу,
 Что с женою и детьми и со внучатами
 Заедает вор-собака наше жалованье,
 Кормовое, годовое, наше денежное;
 Да еще же не пускает нас по Волге погулять,
 Вниз по матушке по Волге с дуниной воспеть.

Вообще в самое отдаленное время Камышинка и Илавля были такими же аренами разбойничьих подвигов, как и Волга, хотя на маленьких речках простору было меньше и около этих речек можно было скрываться только на время и грабить сухопутные караваны, да изредка нападать на хутора и селения, перекочевывать потом в глухие степи или снова выходить на Волгу. Так, мы видим, что в 1778 году разбойничьи шайки, видимо, стали отходить от Волги и устраивать станы по Илавле, Медведице и Хопру, не оставляя, впрочем, в покое и волжских берегов. Начались опять разбои по хуторам и селам, расположенным по правую сторону царицынской линии; хотя имена атаманов были известны и ни одно из них не раздавалось по окрестностям громче других; однако положение обывателей было далеко не завидное. В это время, как известно, волжское войско за присягу на верность Пугачеву переведено было на Терек; Дубовка, поволжские станицы, начиная от Антиповской до Балыклейской и ниже Дубовки, наконец, все богатые земли, принадлежавшие некогда волжскому войску, стали заселяться, по распоряжению правительства, выходцами из верховых губернии. Переселенцы, перевозившие на новые отведенные им места свое скудное имущество, были тревожимы на всех дорогах; их грабили в поле и в домах, разбивали и жгли их кое-как сколоченные хижины. А между тем слухи ходили, что илавлинские шайки понизовых бурлаков день ото дня усиливались бежавшими с Терека и с дороги волжскими казаками, не хотевшими переселяться в такую даль от своих род-

¹ Подобные рубашки атаман Филиппов дал на сбережение своей любовнице Ирине Ощепкиной (см. выше).

ных пепелищ. Эти новые помощники понизовой вольницы знали все входы и выходы в каждом селе, знали всех зажиточных крестьян и помещиков, сидевших издавна по Илавле и Медведице, и водили своих товарищей на грабеж, не опасаясь попасть в засаду, а иногда рассчитывая на доброжелательство тех немногих волжских казаков, которые оставались в Дубовке и по станицам и обязаны были наблюдать за спокойствием страны. Из Царицына был послан отряд для наблюдения за разбойниками, но отряд этот нисколько не помогал делу. Кроме того, что разбойники имели по всем хуторам и селениям приятелей, которые уведомляли их о движениях казацкого отряда, шайки умели так искусно наблюдать за сторожевыми разъездами, что никогда не попадались им на глаза и потому не имели надобности защищаться силою; они, обыкновенно, на другой день грабили то село, откуда, как они знали, только что накануне вышла разъездная партия; они нападали и на хутор, куда на другой день ожидали помощь разъездчиков, то есть они и следовали за отрядом, и предупреждали его.

В таком жалком положении была защита страны от разбойников. Ничтожная горсть казаков находилась с походным атаманом Забурунновым на поисках, и та была взята для другой надобности. При том и самое требование войскового старшины Савельева — предоставить защиту страны одним волжским казакам — кажется нам несколько подозрительным, при той роли, которую играли в то время волжские казаки. Ослабить разъездные команды на Волге отделением от них небольших отрядов против илавлинских разбойников казалось крайне опасным, потому что все течение Волги от Дубовки до Черного Яру на расстоянии нескольких сот верст осталось бы совершенно незащищенным. Это значило бы бросить караваны судов на произвол судьбы или, вернее, в руки разбойников. Правда, камышинский комендант, полковник Ременников, занявший в этом городе комендантскую должность на место умерщвленного Пугачевым Меллина, по распоряжению правительства отправил по Волге воинские команды; но и эта помощь была ничтожной защитой от разбойников, тем более что отряды, посланные Ременниковым, должны были оберегать огромное пространство и растянуться верст на 300 или 400. Один отряд под начальством прапорщика фон-Пистолен-Корса должен был наблюдать за разбойниками в той части Волги, которая простиралась вверх до села Золотого, одного из главных разбойничьих притонов; другой отряд, под командою прапорщика Поспелова, защищал Волгу от Камышина вниз до Дубовки. Они должны были «беспрестанное патрулевание свое производить с переменою дистан-

ции», вероятно взаимно обмениваясь постами во время съезда в Камышине. Ременников просил Цыплетева, чтоб отряды, посланные из Царицына, непременно съезжались в Дубовке с отрядом, крейсировавшим между Камышином и Дубовкою, «разменивались билетами» (какими билетами, мы не знаем) и, в случае опасности, давали один другому помощь. Следовательно, волжские разъездные команды, растянутые верст на 700 или 800, ни в каком случае нельзя было ослабить для вспомоществования ими отрядов, посланных против илавлинских разбойников, и по необходимости надо было ограничиваться ничтожными отрядами, находившимися под начальством поручика Хомутского, походного атамана Забуруннова и капитана Зайцова, который был послан сюда от государственной экономии для наблюдения за переселенцами и назывался «объезжим экономом».

В этих трудных обстоятельствах Цыплетев, получив от волжского войска представление о необходимости усилить илавлинские отряды, приказал всем волжским казакам, еще не переселившимся на «нововозводимую линию» (на Терек), поступить под команду объезжего эконома Зайцова; Зайцов же должен был принять свое главное начальство над отрядом поручика Хомутского и вместе с донскими и волжскими казаками и их начальниками двинуться против разбойников, «учинить над теми злодеями всевозможные поиски и всемерно постараться переловить их всех без упущения». В скором времени Зайцов извещал Цыплетева, что разбойничьи партии умножаются, что вся земля волжского войска наполнена воровскими шайками, бродящими около станиц и в особенности около хуторов; что разбойники эти «чинят живущим в тех хуторах и проезжающим людям грабежи и выжигают селения, а сколько известно мне стало ныне, и у крестьян лошадей множественное число уже покрадено, да и до днесь среди дня отнимают». Зайцов добавлял, что крестьяне объявляют, будто главные зачинщики смут сами волжские казаки, выводимые на Терек. Не имея ниоткуда защиты, Зайцов послал приказы в волжские станицы Антиповскую, Каравайнскую и Балыклейскую и велел старостам нарядить небольшую партию мужиков и чем-нибудь на первый случай вооружить их, «хотя не всех ружьями, но по меньшей мере рогатинами»; он велел, чтобы это крестьянское ополчение соединилось с отрядом волжских казаков, высылаемых из Дубовки, куда он отправлялся лично, чтобы и в Дубовке набрать и вооружить крестьян для передачи их под команду казачьего начальника, «а инаково, — прибавлял он в рапорте к Цыплетеву, — буде к поиску тех воров в степях

одних крестьян отправить, то как они о здешних местах мало еще сведомы и не настояще вооружены, а притом и без предводительства, почитаю, весьма будет неудобно, к тому же без точного на то повеления и смелости не имею». Войсковой старшина Савельев писал между тем в Качалин войска донского войсковому старшине Грекову и просил у него помощи; Цыплетев, с своей стороны, просил Грекова о командировании отряда донских казаков на Илавлю. Греков отправил требуемый отряд и, сверх того, сообщил, «к медведицким сыскным делам» о присылке вспомоществования илавлинским разъездам, потому что на Медведице можно еще было располагать некоторою частью казаков, не бывших под ружьем. Таким образом, к илавлинским разбойникам приближалась гроза с четырех сторон: из Царицына давно выступал с донскими казаками поручик Хомутский, из Дубовки выходили волжские казаки вместе с крестьянами, взятыми из Антиповской, Караванской и Балыклейской станиц, из Качалина двинулся другой отряд донских казаков, с Медведицы должна была прийти такая же помощь. Только камышинский комендант Ременников отозвался на требование Цыплетева, что у него нет в распоряжении конного отряда и что он не может послать никакого «секурса» против илавлинских шаек.

Весть об илавлинских поволжских неурядицах дошла наконец и до астраханского губернатора Якобия, который в то время стоял лагерем при Брагунских водах. Ему доносили, что страна для защипения себя от разбойников не имеет достаточно силы и что камышинский комендант совершенно не может подать сухопутной помощи, за неимением конницы. Тогда Якобий, не принимая в расчет никаких отзипов, велел непременно истребить разбойников. «Как генерально указами ее императорского величества накрепко повелевается все силы везде командующим употреблять — злодейские, воровские партии искоренять, — писал он, между прочим, Цыплетеву, — вследствие чего и должно каждому о том иметь ежеминутное старание, потому и предписал я димитриевскому (камышинскому) коменданту, чтоб по ближайшей дистанции от Дмитриевска до волжской Антиповской станицы, а от нее простираясь даже и до половины казачьего селения, для поимки и искоренения тех злодеев учредил он от себя из казаков всегдашний разъезд, собрав их в такое время из ненужных командировок, которой и продолжать до самого прекращения злодеяния; а другую половину тех селений такими же разъездами защипать изволите ваше высокоблагородие и поиски чинить снизу от Царицына и вся-

чески прилежать самих злодеев вконец истребить и во все окрестные места о преследовании их давать знать».

Наконец в сентябре этого года Цыплетев отправил на Илавлю еще один отряд донских и царицынских казаков и поручил начальство над ними провиант-комиссару Ястребенкову, дав ему словесное наставление, как действовать. Там находились уже другие отряды донских казаков, и одним из них командовал походный атаман Мельников. 17 сентября соединился Ястребенков с этими отрядами; они положили идти против разбойников общими силами; поэтому командиры отрядов разделили свои силы на четыре части, из которых каждая должна была идти по известному направлению, производя поиски, а после этих розысков положено было всем соединиться в известном сборном пункте, чтобы узнать о результате каждой отдельной экспедиции. Так и сделали. Несколько дней отряды бродили по всем направлениям, и когда соединились у сборного пункта, никто ничего не мог сказать о разбойниках. Поиски были напрасны, потому что разбойники знали о движении разъездов и умели везде скрыть свои следы. Может быть, этой неудаче помогла ссора между начальниками отрядов, тем не менее разбойники не давались им в руки. Вскоре Ястребенков прислал к Цыплетеву нарочного казака с известием о безуспешности поисков и жаловался на походного атамана Мельникова, будто он «с своею командою делает непорядки и скрывает, по доказательству соседей, пристанодержателей». Ястребенков находился в это время с отрядом своим, как сам писал, *для заложу в скрытном месте*.

Между тем приближалась осень; до конца сентября разъездные отряды не сделали ровно ничего для безопасности страны; разбойники, видя приближение холодов и не желая иметь дела с казаками, разбрелись в безопасные места. Тем дело и кончилось.

Есть основание думать, что илавлинские разбойники, кроме тесной связи с волжскими казаками, были в тесных отношениях и с донскими, иначе илавлинская экспедиция не кончилась бы так пусто. Ястребенков недаром говорил, что атаман Мельников с своей командой *делает непорядки*, а между тем от этих непорядков зависела жизнь и спокойствие целого края. Вообще понизовые бурлаки были счастливее на Илавле, чем на Волге¹.

С наступлением зимы 1778 года, когда разъездные отряды возвратились с Илавли на зимние квартиры, разбойники снова

¹ Цар. арх. № 716. Дело о поимке воров и разбойников, появившихся на реке Илавль и Волге. 1778.

начали собираться партиями и нападать на обозы, проходившие по степям и по Волге, и на отдельно стоящие поселения, хотя несколько изменили свою тактику. Им уже нельзя было собираться огромными шайками и целые месяцы проводить в лесу, в уединенных притонах, откуда по временам отправлялись экспедиции в ближайшие деревни; суровое время заставило их искать убежища в жилых местах, у пристанодержателей. Само собою разумеется, что, живя таким образом, трудно было держать частые совещания, и потому разбойники ограничивались маленькими сходками, человека по два, по три, и, сговорившись о месте соединения, они выходили на разбой на самое короткое время и скоро возвращались каждый к своему пристанодержателю. Но прежде чем скажем о зимних экспедициях, которые возобновлялись почти каждый год в течение четырех лет, приведем несколько сведений о разбоях на самой Волге.

Весна 1779 года опять вызвала понизовых бурлаков к их привычной деятельности. С появлением на Волге судов явились и разбойничьи лодки, а вслед за ними поплыли для дозора разъездные команды из Камышина, Дубовки, Царицына и Черного Яра. Хотя опасное ремесло разбойника едва ли кому могло казаться привлекательным, однако жизнь бедного населения была так некрасна, существование на белом свете для многих было такой тяжелой обязанностью, кусок хлеба так трудно выработывался, что даже простой мужичок решался иногда, конечно, не из баловства и не для шутки, не от избытка счастья, а с горя выйти на Волгу и попытаться добыть денег, которые честным трудом так нелегко добывались. Мы вообще думаем, что только очень достаточные побуждения выгоняют робкого мужика на большую дорогу; нелегка была жизнь и поволжского бурлака. Весной 1779 года начались переговоры между некоторыми крестьянами поволжских деревень¹; между прочим, составила небольшая шайка в среднем Ахтубинском городке, приписанном к ахтубинским шелковичным плантациям; несколько человек крестьян, согласившись «разбивать плывущие по реке Волге суда», подговорили в свою шайку некоторых из жителей Верхнего Погромного городка и начали готовиться к выступлению на Волгу. Конечно, когда составила шайка, приступили к избранию атамана и есаула, и первым избран был Василий Тимофеев, двадцативосьмилетний крестьянин, казавшийся им достойным этого почетного звания; есаулом к нему выбрали крестьянина Погромного городка Ан-

¹ Цар. арх. № 776. Дело о разбойническом атамане Василье Тимофееве, есауле Андрее Татаринове, с шайкою. 1779.

дрея Татаринова. Разбойники приготовили несколько ружей, атаман купил себе, кроме того, пистолет (за который заплатил полтинник!), шашку, достали пороху, железный кистень и 25 мая, взяв небольшую лодку, выехали на Волгу в числе только шести человек и направились прямо к Денежному острову, лежащему в нескольких верстах от Царицына. Это было самое удобное место для наблюдения за проходящими по Волге судами, и разбойники избрали его для своей стоянки, остановившись на самом «приверхе» острова, в том месте, где он делит Волгу на два рукава. Разбойники провели ночь в своем стане, провели и весь следующий день, наблюдая за всем, что происходило на Волге; наконец, на закате солнца они выбрали одно сплавное судно, шедшее сверху, и, сообразив, что оно не устоит против них, потому что не было защищено ни одним орудием, атаковали его и ограбили. Судно это принадлежало балахнинскому дворцовому крестьянину Овчинникову, провиантскому поставщику, и находилось под присмотром работника его, экономического крестьянина Белухина. Так как судно нагружено было хлебом, а не красными или другими ценными товарами, то разбойники и не могли собрать на нем богатой добычи: они взяли железный сундучок с деньгами, какие находились на судне, разное платье, топоры и прочие инструменты, нужные для домашнего обихода, захватили четверик пшена себе на кашу и отпустили судно, не сделав никому вреда. Едва они возвратились к своему стану, на приверх острова, и разделили добычу, как увидели снова два судна, плывшие сверху и, пропустив первое из них, сделали нападение на второе. Судно было защищено и, заметив приближение разбойников, встретило их выстрелами из пушки; не имея равного оружия, разбойники должны были отступить, и таким образом судно прошло благополучно. Опасаясь, вероятно, чтобы стан их на Денежном острове не был открыт и они не переловлены царицынскими разъездами, в случае подачи объявления одним ограбленным и другим спасшимся судном, разбойники не ночевали в стане, а поплыли на другую сторону Волги, нагорную, и пристали к берегу выше устья речки Второй Мечетной; там они расположились ночлегом, а утром опять направились к Ахтубе. Но когда ночью они пристали к берегу в среднем Ахтубинском городке, на них напала разъездная команда, высланная из Царицына, под начальством пятидесятника Протопопова, «ради поиску и искоренения воров, разбойников и их пристанодержателей»; к разъездному отряду присоединились крестьяне Ахтубинского городка, — и разбойники должны были сдаться. Но один из них, желая спастись, бросился в

воду, чтобы вплавь перебраться на другую сторону Ахтубы; в то время, когда он уже плыл, раздался выстрел, и разбойник был убит кем-то из разъездной команды.

На другой день разбойники привезены были в Царицын, сданы вместе с оружием и пограбленными вещами в комендантскую канцелярию и в тот же день допрошены. Атаман признался во всем, есаул также, а за ними и их подначальные товарищи. Все, что было взято ими с судна, возвращено по принадлежности, кроме денег, которые были разобраны ахтубинскими крестьянами при поимке разбойников; сами они отправлены были в воеводскую канцелярию «для надлежащего по законам исследования и за продерзости их наказания».

Именным указом от 1763 года 10 февраля повелевалось выдавать из казны денежные награды всякому, кто поймает вора или разбойника и приведет в суд; за разбойничьего атамана велено было платить по 30 рублей, за простого разбойника 10, а за пристанодержателя 50 рублей. На основании этого указа пятидесятник Протопопов, поймавший вместе с своим отрядом атамана Тимофеева, его есаула и двух разбойников, требовал себе вознаграждения. Долго не получая его, он подал коменданту «доношение», которое мы выписываем ниже¹.

Само собой разумеется, что уничтожение такой незначительной шайки, как Тимофеева, не имело никаких последствий для прочих поволжских разбойников. Такое болезненное явление в русской истории, как поволжские разбои, не могло быть закрыто в народной жизни одними паллиативными средствами, потому что корни его лежали глубоко.

¹ «Пойманные мною с командою воровской атаман, есаул и разбойники от комендантской отосланы в воеводскую канцелярию при промемории, а таково ж требовано о выдаче мне с командою за поимку трех разбойников принадлежащих денег, но точию я поныне неудовольствован; а высочайшим именным ее императорского величества, состоявшимся 763 г. февраля 10, опубликованным в народе указом, по 4 пункту между прочего ясно изображено: «если кто разбойнического атамана или разбойника поймав приведет, таковым давать из казны нашей за атамана по тридцати, а за разбойника по десяти рублев, а возвращать оные потом в казну», и откуда, то в том указе изъяснено ж. Того ради царицынскую комендантскую канцелярию покорнейше прошу, всходность всевысочайшего матернего ее императорского величества (указа), обнародованного верноподданным к поощрению ловить и приводить воров, о выдаче за то награждения мне с командою, повеленного за привод атамана и трех человек разбойников, в числе коих и есаул, дабы как я, так команда моя, за неудовольствием остатца обиженными быть не могли, о том в царицынскую воеводскую канцелярию покорнейше прошу сообщить еще промеморию, учинить милостивую резолюцию».

АТАМАН ШАГАЛА И РЫЖИЙ

I

Истребление поволжских разбойнических шаек, при всей их многочисленности, не было сопряжено с такими трудностями, как преследование воровских партий, бродивших по степям и лесам и производивших свои набеги или пешими отрядами в десять, двадцать и тридцать человек, или на лошадях, смотря по обстоятельствам и месту действия. Поволжские шайки, разъезжавшие вдоль берегов Волги, всегда могли опасаться встретить разъездные команды; наконец, могли быть атакованы с берега, в самых притонах, между тем как леса и степи с своими балками и оврагами представляли для разбойников безопасные убежища. Притом сухопутные шайки могли скорее, в случае опасности, расходиться по домам, у кого было свое пристанище, или к становщикам, которых можно было найти в каждой деревне. В эти шайки шли не одни понизовые бурлаки и бродячая вольница, но и люди оседлые, крестьяне, спокойно возвращавшиеся к сохе и бороне после удачной экспедиции. Оттого иной разбойник в разное время мог участвовать в нескольких шайках и, бросив одного атамана, когда его товарищам угрожала опасность, выжидал удобного случая, чтобы или самому «подобрать» верных людей, или примкнуть к другому удалцу. Так, разбойники трех шаек, грабивших в Поволжье в продолжение десяти лет (1771—1781 гг.), атаманов Ивана Рыжего, Шагала и Дегтяренка, — одни и те же лица, то иногда являются в шайке одного, то другого¹.

Этим характером отличаются похождения Шагала, бывшего и простым разбойником у Ивана Рыжего, и атаманом другой шайки. Шагала представляет собой олицетворение ти-

¹ Цар. арх. № 701. Дело о разбойниках ведомства царицынской канцелярии, приписанных в подушный оклад малороссиянах Иване Збойкове и беглом царицынского 1-го батальона солдате Василье Овчинникове. 1778.

па тогдашнего понизового бурлака, о роде и племени которого никто, кроме его самого, не знал; имени определенного он также не носил, хотя и был приписан к обществу камышинских малороссиян «нагорной стороны» под именем Василия Полякова. После оказалось, что имя его было совсем не то, какое стояло в именных списках камышинских малороссиян, и даже не Шагала, как он слыл в народе. Относительно этого прозвища он говорил, когда его впоследствии поймали: «Я же называюсь и Шагала, оттого что назад тому года с четыре после пугачевщины здешний малороссиянин, Софрон Вискалин, кой и ныне жив, ходя со мною в осеннее время для работ через случившиеся на то время ручейки, усмотрел меня перепрыгивающим, сказал: *«Будь отныне Шагала»*. О происхождении своем Шагала рассказывал, будто отец его был родом малороссиянин из города Рыльска, откуда еще в молодости переселился на Дон и, занимаясь плотничным ремеслом, жил в разных местах. «Между тем в Пятиизбянской станице сжился б..... делом с российской женщиною, Марьею Лаврентьевою дочерью, кою и имел без венца за свою жену, и, живучи в той станице, от ней рожден я, а больше у них детей не было. Я при матери, до смерти ее, был лет восьми, а после той ее смерти отец мой сошел со мною в волжское войско, в городок Дубовку, и работал там, вскармливая меня, по разным людям; а оттуда, оставя меня у волжского казака, Кирея Степанова сына Мигузова, вошел он работать на Дон, где и помер». Будущий разбойник остался после отца лет пятнадцати и жил у казака Мигузова года четыре. Десятилетии лет он начал свою бродячую жизнь, оставив Мигузова и переселившись в Дубовку, где жил у казака Семисотнова не больше года; затем перебрался в Балыклейскую станицу и нанялся к казаку Бочарову «к рыбной ловле на лодку, в весельную работу». Здесь он прожил лет восемь, и Бочаров, за усердие Шагала, записал его в Камышин, в число малороссиян, назвав сиротою. Когда волжское войско переведено было на так называемую «новую линию», в Моздок, и Бочаров уехал вместе с другими казаками, Шагала остался в Балыклейской станице и переходил от одного хозяина к другому.

Во время этих странствий по дворам, перекочевывая с хутора на хутор, в 1776 году Шагала поселился у камышинского бобыля Алексея Рускова, на речке Елховке, и женился, говорит он, на дочери его, «девке Анне, с которою и венчан в здешней (камышинской) городской успенской церкви; но кто был священник, не припомню. Женясь, жил у тово тестя около году, а

потом, не захотя с ним вместе жить, перед Покровом днем отошел и с своею женою к живущему на той же речке Елховке своим хутором не больше как в полуверсте здешнему мещанину, Василью Алексею сыну Светышеву, он же прозывается и Расстрыгин, и жил у него в особой землянке». Бродячая жизнь сводила его не раз с людьми такого закала, для которых не было другого дела, как «подбирать воровские партии», жить лето на воле, на коне и с пикой, а зиму в остроге. Сидя в кабаке, бродяги и прочая «голытьба» обыкновенно заводили речь о трудности своего житья-бытья, о тяжелой нищете, о провинностях, к которым приводила эта же нищета, о том, что рано ли, поздно ли беспаспортная жизнь доведет до острога, до тяжелых наказаний; что нелегко выправлять эти паспорта бедному батраку, если б он и хотел избавиться от бродяжничества; говорили и о том, что есть-де и богатые люди, которые не боятся и острогов, вовремя едят и пьют, вовремя спят и веселятся, тепло одеты, никем не обижены. Отсюда речь заходила в сторону, говорилось, например, о том, что есть-де и такой народ, что пьют-едят некупленное, носят платье с чужого плеча, никого не боятся; что живут они среди степи, знают одного атамана-батьюшку, да и тот такой же, как они, простой бурлак, который слушается артели... Вот такой кабацкий знакомый приехал однажды и к Шагале. Приезжего звали Иваном Черным («он же прозывается и Щербак, потому что у него нет во рту одного переднего зуба»), и жил он, в качестве батрака, у одного малороссиянина, по имени Островского, на Княжих или Костаревых хуторах. Черный звал Шагала на эти хутора в гости к малороссиянину Сумцову «гулять», как он выражался, имея на самом деле намерение привлечь его в шайку, которая собиралась у последнего. Шагала поехал с ним и нашел у Сумцова гостя, приехавшего из волжского войска, старого отставного казака Василия Колесникова с сыном Иваном; хозяин и гости пьянствовали, а вместе с ними стали пить Шагала и Щербак и все семейство старика Сумцова; у Сумцова же, кроме того, был в работниках бродяга «русский человек», Иван Рыжий, который также пристал к попойке на правах работника. Между тем старики Сумцов и Колесников заговорили о «разбойном деле»; думали ехать в волжское войско — разбивать богатых людей. Составилась маленькая шайка: старый Сумцов с двумя сыновьями, их батрак Рыжий, старый Колесников с сыном и Шагала с Щербаком — всего семь человек. У каждого была верховая лошадь, кроме молодого Колесникова и Шагала, у которого конь не годился для разбоев и быстрых переездов. Нужно было достать лошадей, и Шагала с Колесниковым в ту же ночь успели

съездить в соседние Барановские хутора, украли там из табуна пару коней и воротились к шайке. Здесь произошло избрание атамана и есаула, и атаманская власть досталась на долю Ивана Рыжего, воле которого, вероятно, всем было безопасно покоряться, да и удаль его, без сомнения, была уже испытана, когда такие старые люди, как Сумцов и Колесников, признали над собой его голос. Есаулом шайки назначен был молодой Колесников.

Прежде всего разбойники отправились в пределы волжского войска, именно на Саламатины хутора, к знакомому казаку Гусеву, который снабдил их на дорогу хлебом и выпроводил в путь. В осеннюю ночь (это было в конце октября 1777 года) они выехали от Гусева, и атаман повел их степью, прямо через сырт, в пределы войска донского. Все разбойники были на конях и вооружены, как походные ратники. Скоро они приехали на речку Тишанку, в округ Качалинской станицы, и напали на хутор донского полковника Дулимова: окружив его дом, они схватили Дулимова, его маленького пасынка и бывшего с ним крестьянина, перевязали их и начали грабить все, что было ценного в доме; брали деньги, лошадей, кафтаны и другое платье, казачьи арчаки (седла), взяли ружья на погоне, *турку* (так назывался особый род ружей) и сверх того захватили «масла коровьева пуда с два». Ограбив Дулимова, они в ту же ночь поворотили к северу, проскакали верст двадцать пять без роздыха и явились на Илавле, в Балыклейских хуторах, где жил богатый казак Трофим Монацков, может быть, потомок того «Сеньки Монацкова злодея», который

Крепкой думушки с стариками не думывал, —
Думывал он крепкую думушку со ярышками...
Перекинулся собака ко азовскому паше¹.

Въехав в хутор, разбойники бросились к усадьбе Монацкова, окружили его дом, желая схватить самого хозяина. Но Монацков успел выскочить из дому, бросился бежать от разбойников, которые заметили его и пустились в погоню. Несколько раз молодой Колесников, есаул шайки, догонял Монацкова; несколько раз, настигнув беглеца, колол его

¹ Этот Сенька Монацков изменил казакам и бежал в Азов. Когда паша спрашивал его, «что думают в черкасском городу», он отвечал, что старики пьют-гуляют, «по беседушкам сидят, про Азов ваш говорят». Тогда паша, чтобы казаки не прошли в море, протянул через Каланчу-реку цепи, привязал к ним струны и «подвел их к звонким колоколам». Ни одна лодка не могла пройти, не задев за цепь: «тогда звонили колокола, и турки вооружались»; но казаки обманули турок.

(«толкал») дротиком, но или тупа была пика, или неверен был удар, только Монацков не падал; есаул пустил ему, наконец, вдогонку пулю из своей винтовки, но и пуля не убила его. Монацков скрылся, добежав до реки. Между тем другие разбойники грабили его дом: забирали деньги и платье, захватили до шестидесяти аршин холста, одиннадцать пар сапог, тринадцать пар рукавиц бараньих, пятьдесят пар подошв, «бешмет китайшной синей один, сарафан женской кумачной один, две женские сорочки с *подзатыльниками золотого позументу*, шапок красных две, зеленую с ушками одну, кушак полупелкувой один, рубах мужских белых три, порт тяжных двои, два ружья, арчак с прибором и седелкой один, масла коровьева четыре пуда, меду полпуда» и т.д. Сам атаман бросился с огнем в клеть; амбар тотчас вспыхнул, за ним загорелся чулан, бывший в одной связи с амбаром; в то же мгновение пламя охватило избу, крытую соломой, и огонь быстро распространился¹. В доме, в чулане, спали маленькие дети, мальчик и девочка. Когда пламя разлилось по всему строению, разбойник Шагала бросился в чулан спасать детей и вынес их на своих руках со всем, с постелью². Оставив детей и видя, что хутор весь горит, разбойники бросились в сторону, опасаясь погони. «Испугавшись, чтоб на пожар не сбежались люди, поехали все наскоро по реке Илавле, не доезжая Саламатиных хуторов, в сырту, пограбленное у Дулимова и Монацкова по себе раздували», — говорил Шагала. На долю каждого разбойника досталась довольно ценная добыча; награблено было столько, что каждый мог брать из вещей что угодно — «брать от товарищей было невозбранно».

После этого набега шайка на время разошлась, и каждый из разбойников поехал в свой дом. Шагала с Щербаком отправились на Саламатины хутора, к пристанодержателю Гусеву, о котором мы упоминали выше, и отдали ему всю добычу на сохранение. Шагала, кроме того, предложил хозяйке дома, жене Гусева, подарок от себя, именно кумачный сарафан, взятый у Монацкова. На другой день разбойники еще раз собрались у старого Сумцова и отпраздновали удачную экспедицию: «целой день пили магарычи». Шагала от-

¹ После разбойники говорили, что атаман нечаянно зажег хутор: доставая со стены ружья, он поджег висевшие там конопля.

² «И я едва успел из чулана вынести спящих на постели малолетних мальчика и девочку, коих и с тою постелью от погорения спас и оставил их в живых», — говорил впоследствии Шагала на допросе.

правился потом домой, в свою бедную землянку, пешком, потому что не посмел ехать на краденой лошади и бросил ее в Саламатинских займищах. Мещанин Светышев, у которого Шагала занимал землянку, понял, что постоялец его недаром пропадал около десяти дней и воротился без лошади; что соседство такого гостя, как Шагала, весьма опасно. Когда Светышев спросил его о причине отлучки и потере лошади, Шагала отвечал, что «пьянствовал на Илавле у разных знакомых людей, а лошадь продал». «Знать, ты не за добром отгуливаешь, — говорил ему Светышев и велел оставить землянку. — Выбирайся вон из моего дому, чтоб мне за тебя не нажить хлопот». Прогнанный Светышевым, Шагала опять начал бродить с места на место, перетаскивая с собой и жену, которая ни в чем не была виновата; сначала он жил у тестя, но покойная жизнь не удовлетворяла его, а бедность вынуждала искать средств для существования. И вот он пригласил к себе четырех товарищей, чтобы на следующее лето отправиться на Елтонское озеро ломать соль; наняли себе за Волгой, в Николаевской слободе, землянку и поселились в ней. Но судьба как бы нарочно толкала бродягу на новые приключения, на новые переходы с места на место, на бесконечное по белу свету мыканье, в котором вполне выражается невеселая жизнь русского батрака. Во время этих переходов он посетил места, где начались его первые разбои, исходил все волжское войско, батрачил по самым глухим захолустьям и, наконец, летом 1778 года, услышал, что некоторые из товарищей его по разбою взяты под караул и преданы суду. Опасно было возвращаться домой, и Шагала, забыв жену и свое жалкое хозяйство, снова забирался в глушь, пока не набрел на людей, которые узнали в нем разбойника, бывшего в шайке Рыжего. Его поймал казак Забуруннов, которому впоследствии Шагала заплатил разбоем за эту поимку. Войсковой старшина Савельев плетью заставил Шагалу признаться в своих преступлениях, хотя не вынудил у него признания в том, кто он и откуда. Сначала Шагала говорил, что он беглый рекрут; но старые казаки уличили разбойника тем, что знали его еще маленьким, когда он жил в волжском войске; доказывали, что он взрос между ними. Савельев набил ему на ноги большие колодки и отправил в Дубовку, где Шагалу и засадили в тюрьму. Наконец, разбойник повинился во всем, и так как дело о шайке Рыжего производилось в Камышине, то и Шагалу отправили туда с двумя конвойными казаками. Ночью они выехали из Дубовки, захав предварительно в кабаке, где

Шагала напоил конвойных допьяна и сам напился; кроме того, он взял на дорогу, как сам говорил, «хорошую бутылку вина», которая и спасла его в дороге. До первого форпоста, что стоит в Широким буераке, они доехали благополучно; а когда на другой день утром конвойные сменились и Шагала приближался к Балыклейскому форпосту, Шагала стал снова поить своих караульных. Наконец, выбрав удобную минуту, он снял с ноги колодку и, «ударя кулаком того казака, что на телеге сидел, по затылку так больно, что он с телеги свалился заполумертва, ушел в лес, и, хотя меня другой караульщик (верховой казак) и ловил, но не поймал».

Глухими дорогами Шагала пробрался на Липовы хутора, к пристанодержателю Никольскому, бывшему яицкому казаку, перешедшему после в волжское войско. Подобно всем яицким казакам, Никольский мало подчинялся стеснительному порядку и, если сам не всегда ходил на разбой, то охотно принимал понизовую вольницу, снабжал ее всем необходимым и снаряжал в воровские походы. У Никольского Шагала опять встретил известного атамана Ивана Рыжего, вся жизнь которого отдана была сформированию шаек и бесконечным разбоям. Отданный в рекруты еще в 1771 году по мирскому приговору государственных крестьян села Криушей Симбирского уезда, он вскоре, после приведения к присяге, бежал из рекрутской партии и восемь лет бродил по всему Поволжью, оставляя по себе память везде, куда ни заносила его кочевая жизнь понизового бурлака: жил он и у немецких колонистов за Волгой, и ломал соль на Елтонском озере вместе с прочей вольницей, и ходил по Волге на судах, был и в волжском войске, пробрался наконец на Терек. Но на одной поклаже он был пойман отцом того казака Забурунного, который изловил Шагала, был в Царицыне под судом, получил 6000 ударов шпицрутенами и отдан в царицынский батальон в солдаты, откуда, по выздоровлении, едва зажили на спине кровавые следы наказания, бежал на третий день по определении в службу и увел с собой еще трех солдат, сделавшихся подобными ему разбойниками. У Никольского же Шагала встретил еще одного разбойника, который слыл под именем *стародубского купца Якова* и был одним из лучших приятелей атамана Рыжего. Естественно, что Рыжий не замедлил пригласить Шагала в свою шайку, говоря: *«Есть у нас добрые товарищи, не хочешь ли с нами разбойничать?»* Шагале ничего больше не оставалось, как принять предложение атамана, который вскоре и объявил воровской поход в окрестные степи, на большие проезжие

дороги. Шайка сошлась у Никольского, и Рыжий, которого разбойники называли *предводителем*, повел товарищей прежде всего добывать лошадей: каждый взял узду, и шайка пешком отправилась верст за тридцать, в урочище Озерки, где ходил в поле богатый табун войскового атамана волжского войска Василия Персидского. Разбойники выбрали для себя самых лучших коней, взяли несколько казачьих арчаков с прибором, ружье, дротик и к ночи воротились к Никольскому. Однако вся шайка не въезжала в хутор, чтобы не обратить на себя внимание, а остановилась в соседнем буреке; разбойники отдали лошадей под присмотр некоторым из товарищей, отправились в хутор и вскоре воротились с полным запасом оружия, с винтовками, пистолетами, пиками, шашками, арчаками и прочей военной сбруей; они захватили в путь съестных припасов, дорожного платья, оседлали лошадей, «нарядились точно как казаки», и в ту же ночь шайка двинулась по направлению к Волге.

Редко разбойники того времени избирали определенное направление для своих походов, редко имели в виду лицо или место, а шли куда глаза глядят, били того, кто попадался, и сторожили на больших дорогах пешего и конного; иногда, впрочем, делали набеги на какого-нибудь известного богатого человека, а на пути брали все, что ни встречалось. Рыжий повел свою шайку к Караванской станице, где у него были знакомые, с которыми ему нужно было переговорить. Разбойники остановились в степи, недалеко от станицы, а атаман с одним из разбойников, которого называл Димитрием *Легионным*, потому что он служил когда-то в московском легионе, заходил в станицу на несколько часов, откуда принес для шайки хлеба и еще один пистолет. Затем шайка направила путь к Антиповской станице, все в ту же ночь еще до рассвета, за полверсты от станицы, атаман приказал остановиться в поле кормить лошадей, а сам взял с собою есаула и Легионного и отправился с ними в станицу, где у него и в Караванках были приятели и становщики. На рассвете Рыжий воротился и опять принес с собой хлеба и пару пистолетов. Он сообщил товарищам, что в тот день один из его недругов и враг Шагалы подпоручик Забуруннов поедет в Камышин. Положено было ограбить Забуруннова. Не медля ни минуты, шайка поскакала по направлению к Камышину и остановилась в Широкинских вершинах, где намеревалась встретить Забуруннова. Разбойники вывели лошадей на опушку леса и, спутав их, пустили на поляну пастись, а сами залегли по кустам. Легионный назначен был часовым и, для наблюдения за проезжи-

ми, взлез на высокое дерево, откуда видна была вся окрестность. Разбойники недолго ждали. «Едет!» — закричал караульный, и в одно мгновение шайка была готова; все сели на лошадей, поскакали навстречу Забуруннову, сделали круг около его кибитки и повели с дороги в лес, на ту поляну, где паслись их лошади. Забуруннов был не один — с ним была его жена; на нее сильно подействовало появление разбойников, которые, впрочем, как сами потом уверяли, обошлись с своими пленными очень великодушно и не произнесли даже им одного «бранного слова». «И хотя Легионный Димитрий (один из самых буйных и деятельных разбойников) и стращал его, Забуруннова, повесить или застрелить, прикладываясь нарочно из ружья, но как на то у нас условия не было и от атамана приказу не отдано, а он, Забуруннов, ни в чем не противился, жена его и малолетний слуга плакали, то, взяв у него грабежом из кибитки денег двадцать один рубль, саблю офицерскую с медною оправой одну, ружье одно, патронницу с патронами, платок бумажной пестрой да сняли с одной лошади узду и со слуги его шапку, не чиня никакого насилия, не только побои, ниже бранного слова, выпроводя на дорогу, отпустили»¹. Ограбив Забуруннова, они тотчас же остановили еще проезжих, следовавших в Камышин, и отняли у них несколько денег. Потом поскакали в горы, в так называемые Сестренины вершины, где остановились для дувана пограбленного, и, разделив деньги и вещи, поскакали далее, по направлению к Илавле. Но едва разбойники переехали эту речку, как увидели обоз, подвигавшийся к Саламатиным хуторам. Не медля нисколько, они поскакали на проезжих и по обыкновению окликнули их: что за люди? «Камышинские!» — отвечали проезжие торговцы и без сопротивления отдались в руки шайки. Разбойники и этих ограбили. Взяли несколько мешков медных денег, множество платья, товару, три ружья, пороху, два казачьих дротика и проч. Димитрий Легионный, как после оказалось, и здесь сделал по-своему и ловко успел припрятать от товарищей один мешок с деньгами. Впрочем, и с этими ограбленными жертвами, как с Забурунновым, разбойники обошлись ласково, «не делая им никакого зла (!) и побои, потому что они не противились».

После этого нападения шайка более двух дней оставалась в лесу, около речки Песковатки, где произошел новый дуван денег и пограбленной «пажити», и как добыча была очень

¹ Взят был также у Забуруннова слиток серебра, но кто-то из разбойников утаил его.

богата, то в дележ шли только деньги, а всего прочего дозволено было брать сколько душе угодно. Два старых ружья бросили в Песковатку, потому что в хорошем оружии уже никто не чувствовал недостатка, а с лишним неудобно было возиться в быстрых походах и в постоянных ожиданиях погони. Разбойники потому оставались так долго на одном месте, что двое суток шел проливной дождь да, кроме того, нужно было припрятать часть добычи, а иначе трудно было таскать с собой и мешки с деньгами, и лишние вещи. Шайка разбрелась по лесу, и каждый прятал свои деньги и свою пажить отдельно, таясь от товарищей, потому что не дружна была шайка во всяком нападении, как ни строго таилась тайна их общего дела, однако никто не решался поверить своей доли другому; они прятали ее «кто куда рассудил, таясь один от другого, зарывая в землю, а иные по малому делу оставляли и при себе». Только Шагала не зарыл своих денег, тайно придумывая, как бы покинуть шайку и пробраться в свою землянку, к жене, которую он так давно бросил на произвол судьбы. Для этого он передал артели, что ему необходимо побывать в Камышине, запастись хорошей «сбруей» и порохом и просил товарищей отпустить его на время. Шагала был отпущен. Тогда Рыжий повел свою шайку за Илавлю, в глухие медведицкие и саратовские степи, где лежала торговая дорога из верховых городов к Поволжью; между тем и самая необходимость требовала немедленно удалиться от пределов волжского войска, потому что слухи о шайке Рыжего начали переходить из уст в уста, и, как мы прежде видели, со всех сторон на Илавлю наряжены были разъездные команды, по селам и хуторам разосланы были нарочные с повестками, везде читались приказы об истреблении разбойников, и каждая община обязана была ловить их, указывать их становщикам и выдавать тех и других правительству. Но в Красноярском юрту, недалеко от Медведицы, Рыжий снова напал на проезжих малороссиян и захватил богатую добычу деньгами. Недели две он держал в осадном положении все красноярские хутора, брал с них побор баранами и хлебом; потом он заворотил свою шайку на юг и привел ее к своему становщику Никольскому, на Липовы хутора; снова произвел дележ награбленных денег, арчаки велел побросать в буерак, сбрую и оружие раздать, лошадей снова пустить в табун, а товарищей по домам, то есть велел им идти, куда кто вздумает, пока снова они ему не понадобятся.

Скоро мы увидим, что Рыжий опять встретится с своими товарищами.

Мы оставили Шагала на илавлинской степи, у речки Песковатки, где разбойники шайки Рыжего зарыли в землю свои деньги. Получив согласие артели на проход до Камышина, Шагала поехал вдоль Илавли, по направлению к городу; однако, сознавая опасность своего положения, не думал скоро возвращаться к жене, а желал, каким бы то ни было образом, скрыть следы своих преступлений и решил укрыться в таких местах и между такими людьми, которые его не знали. Не оставалось ничего более, как бросить, хотя на время, ремесло разбойника и выждать, чем кончится дело всей шайки. У Петрушиных хуторов, за 25 верст от Камышина, Шагала сошел с своего коня, снял с него седло и пустил в поле на свободу; свои разбойничьи доспехи — ружье и пику, вместе с арчаком спрятал в терновые кусты, чтобы оружие не могло никому попасться на глаза и навести на следы преступления. Мешок с деньгами, доставшийся ему по дувану, он перекинул через плечо в виде котомки и опять, как бродяга переходжий, потащился пешком по глухим проселкам, обошел стороной те места, где могли узнать в нем разбойника, оставил справа Камышин и выбрался на Саратовскую дорогу. Когда Камышин остался в стороне, а с тем вместе и место походов шайки Рыжего, тогда, наконец, товарищи не могли уже нагнать его, если б и вздумали. Шагала решил отдохнуть после трудных переходов: забравшись в канаву, оставшуюся еще от шлюзных работ при Петре I, когда думали соединить Волгу с Доном, Шагала пролежал под земляным валом целые сутки. Около немецкой колонии Каменки он зарыл в землю свои деньги и снова стал таким же батраком, как был прежде, нанявшись к колонистам косить сено. Затем он подрядил какого-то гусара, продававшего по колониям деготь, отвезти его в Саратов; из Саратова он переправился на Волгу, жил в Покровской слободе, косил траву и жал хлеб у тамошних малороссиян; затем сел на судно и поплыл к Царицыну, где жизнь все-таки была вольнее, чем в других местах, где понизовые бурлаки могли скрыть и приютить своего товарища бездомного, где можно было день проводить за работой, а ночью греться в разбойничьем притоне, у горящего костра. Потом судьба занесла его к одному польскому переселенцу, Петру Полякову, жившему на речке Пичуге своим хутором, недалеко от Царицына. Поляков хотел уже Шагала записать в «малороссийский оклад», в число приписных обывателей Цари-

цына, и Шагала соглашался навсегда остаться в этих местах и, конечно, вызвал бы к себе жену, как появились из Царицына полицейские сыщики, разосланные по всем хуторам и селениям, потому что разбойничьи шайки и беспаспортные наводнили все окрестности города, все среднее и нижнее Поволжье и, наконец, все степные равнины между Доном, Медведицей, Хопром, Бузулуком и Илавлей. Шагала должен был снова покинуть это покойное место и снова бродить по белу свету. «И сошел я в Качалинскую станицу, — говорил Шагала присутствующим, когда его допрашивали в Камышине, — и там работал поденно на пристани до самой глубокой осени, и как уже работы не стало, то сошел я оттуда донского ж войска в Лавлинскую станицу и, побыв там с неделю, видя, что наступать стала зима, а без паспорта нигде держать не станут, взял намерение возвратиться в дом к тестю своему бобылю Рускову и в своих разбойных делах принести повинную в димитриевской гражданской канцелярии, почему и шел, пробираясь Илавлею рекою, и сколь скоро пришел в Княжие хутора, то тех малороссийской десятник Прокофей Поташев, имея от канцелярии и от полиции о поимке меня давно публикации, с прочими мирскими людьми взял под караул и привез сюда в город, в малороссийское громадное правление, а из оногo при рапорте атамана Ильи Косенка представлен в димитриевскую гражданскую канцелярию. Кроме вышезначущих разбоев, в других злодействах нигде и ни с кем я не бывал, смертных убийств и пожаров не чинил, воров, разбойников и их пристанодержателей, также беглых солдат, матросов и рекрут не знаю, да и что я на значущих разбоях был, про то жена моя Анна, Алексеева дочь, ее отец, а мой тесть, бобыль Алексей Русков, подлинно никак не ведают, потому что я к ним ничего из воровства не приносил и, бываючи в отлучках, сказывал им, что находился в работах, и в сем допросе объявляю самую истинную правду».

Так заключил он свои показания, не зная, что сказать об атамане Рыжем и о судьбе его шайки, хотя поимка Шагала и Сумцова наводила начальство на след прочих разбойников. Впрочем, Рыжий и не думал изменить образ жизни, а составлял уже новые планы, ничего не зная об участи Шагала. Распустив свою шайку и простившись с нею у пристанодержателя Никольского, Рыжий оставил при себе только Дмитрия Legionного и стародубского купца Якова, которые всегда были самыми верными его товарищами. Личность Legionного сама по себе представляет очень

интересное явление как тип разбойника прошлого века, и так как он еще не раз встретится нам впоследствии, то мы и скажем о нем несколько слов.

Настоящее имя этого человека — Димитрий Посконнов. Родился он между яицкими казаками, в Яицкой крепости, и первые впечатления, окружавшие его детство, были вечные неурядицы и войсковые смуты, бунты и резни на улицах, вольные песни и недовольство всем, что несколько мешало и разгулу, и привычной свободе. Когда мальчику было десять лет, отец его оставил войско и перекочевал в медведицко-хоперские степи, взяв с собой ребенка. Он поселился в Баландинском городке, за Медведицей, где через девять лет умер, оставив сына круглым сиротой. Сын бродяги, девятнадцатилетний Димитрий не хотел оставаться на месте, а пошел искать счастья на стороне, потому что ему было все равно где ни жить, только бы никто не стеснял его привычной воли. Молодой бродяга пошел в Поволжье, где такую завидную славу нажила себе понизовая вольница, и стал шататься между волжскими казаками, нанимаясь в работу ненадолго и не давая своей воли в тяжкую кабалу. Нанялся потом в казаки, в военную службу, но не больше как на год, и отправился в Саратов. В то время через Саратов проходил Пугачев с своими оборванными полками, оборванными полковниками и бородатыми генералами, и Посконнов взят был в его армию вместе с другими. Недалеко от Царицына он оставил Пугачева за болезнью и воротился к своим прежним знакомым, к волжским казакам, где оставался недолго, переходя то к Волге, то на Медведицу; был снова в Баландинском городке, где жил прежде с отцом, потом опять явился в Поволжье, доходя собственным опытом, что не так легка и весела жизнь понизовой вольницы, как ему казалось прежде. Один казак предложил ему назваться своим сыном, с тем чтобы, вместо этого сына, под его именем записаться в казаки в московский легион; об этом просил его и станичный атаман Ощепкин (тот самый, который был в коротких отношениях с разбойничьим атаманом Наумом Филипповым), — и Посконнов продал себя, лишь бы только иметь какое-нибудь имя и не быть бродягой, которого всякий может и задерживать, и допрашивать, и пытаться. Но и в легионе он оставался недолго и, подговорив шестнадцать подобных себе товарищей, захватив казацких лошадей, бежал с ними из легиона, когда отряд их находился на речке Сарпе. Бежав из войска, они, по какой-то странной прихоти, тогда же въехали в Дубовку и добровольно явились

к начальнику волжского войска, старшине Савельеву, который, разумеется, немедленно отправил их в Царицын. Дезертиры отданы были под караул, но Посконнов, взяв с собой несколько человек арестантов и тех же лошадей, на которых они ушли из легиона, снова вырвался на свободу и стал разбойником. Красноярская степь, между Волгой и Медведицей, — глухая и ровная, и товарищи Посконнова отправились на эту степь, хотя сам он почему-то не мог ехать с ними. Пошатавшись несколько месяцев на Илавле и по берегу Волги, Посконнов снова по какой-то непонятной прихоти, точно в насмешку, добровольно явился к старшине Савельеву в Дубовку и, само собою разумеется, отправлен был под караулом в Царицын вместе с другими колодниками. Из Царицына он опять бежал из-под караула и уже не явился ни к кому с повинной. В это время он столкнулся с атаманом Рыжим и разбойником Шагалой, стародубским купцом Яковом и прочею вольницею шайки Рыжего. Стародубский купец — это личность несколько загадочная, хотя, нет сомнения, что имя это было вымышленное. Он так хорошо знал Поволжье, все входы и выходы, что служил проводником своей шайки, и Рыжий с Легионным после разлуки с товарищами воспользовались его знанием местности.

Стародубский купец провел атамана и Легионного к Волге, где они, выше Балыклейской станицы, переправились на луговую сторону, чтобы укрыться от преследования. Две недели они жили в лесу, ничего не предпринимая, и потом отправились в Верхний Погроменский городок, что на Ахтубе, и нашли приют у одного ценовальника. Скучая праздную жизнь, единственной целью которой были разбои, они снова начали думать о том, как бы наполнить эту жизнь подвигами, сообразными с их наклонностями; снова начали сходиться и толковать о разбойных делах, о вербовании новых товарищей в свою семью; снова являлись на нагорной стороне Волги, заходили к знакомым становщикам, узнавали о том, где и как устроились их прежние сподвижники. Особенно любили они собираться в саду одного царицынского офицера, Носкова, на речке Пичуге, где их радушно принимал дворовый человек этого офицера, Сергей Гаврилов, старый знакомый стародубского купца. Между тем этот последний успел записаться в число крестьян ахтубинского шелковичного завода «за взятку» начальством его денег; другой разбойник из шайки Рыжего, тоже перебравшийся за Волгу, в Ахтубинский городок, сблизился с тамошним священником, нашел себе невесту и женил-

ся на ней. О разбоях стали было забывать, но в конце 1778 года, на святках, Рыжий пришел к мнимому стародубскому купцу и говорил: «Пичужинские ребята зовут меня на разбой, разбивать обозы...». «А еще есть здесь бывший с нами Дмитрий Легионный», — сказал купец; и приятели порешили дело скоро. Легионный успел отыскать еще двух товарищей, бывших прежде в шайке Рыжего, а сам атаман, при помощи известного уже нам дворового человека офицера Носкова, жившего в саду, успел подговорить новых разбойников с Пичужинских хуторов, именно малороссиян Эбойкова и Мирошникова. Это те именно «пичужинские ребята», о которых он говорил стародубскому купцу. 28 декабря разбойники собрались в саду Носкова, запаслись оружием, провизией и в тот же вечер выехали на разбой. «Поберегите себя и меня», — сказал им Сергей Гаврилов, провожая из сада. Разбойники заехали в Мечетинские хутора, где захватили с собою других товарищей, трех человек, которые имели при себе по пистолету и один дротик. Утром 29-го числа они направились к Царицыну, встретились на дороге с знакомым поляком Мукосеевым (или Бугай), который снабжал их порохом и сказал, подобно Сергею Гаврилову: «Берегитесь сами и меня берегите!» Проезжая через Царицын, они взяли вина и отправились вниз по Волге.

В первый же день, к ночи, нагнали на берегу реки обоз, следовавший из Москвы в Сарепту с товарами, отправленными в эту колонию членами сарептского евангелического братского общества. При обозе, кроме поставщиков, коломенских крестьян княгини Черкасской и графини Скавронской, находилось десять человек рабочих. «С чем и куда едете?» — спросили по обыкновению разбойники, поровнявшись с обозом. «С котлами и краскою в колонию», — отвечали из обоза. Когда наступила ночь, разбойники напали на обоз, «выпала по ним, начали бить, разбивать и выпрягать из возов лошадей». Ограбили у них деньги и продолжали неистовствовать, как вдруг услышали вдали звяканье почтового колокольчика. Вскоре заметили, что скачет курьер, а за ним целый ряд экипажей. То ехал из Астрахани в Петербург тогдашний астраханский губернатор Иван Варфоломеевич Якобий. Надо заметить, что путешествие знатных особ прошлого века совершалось огромными кортежами, в сопровождении вооруженных отрядов, курьеров, целого штата чиновников и всякого рода прислуги. Поезд Якобия смутил разбойников, так что они окончательно растерялись, особенно когда узнали, что едет такая важная особа, как губернатор. «Те разбойники,

оробев и оставя выпряженных у них (у обозчиков) лошадей и еще одну свою с двумя санями и в оных пироги, калачи, шапки, рукавицы и дротик, выстреля по обозу его превосходительства один раз, все разбежались». Действительно, не смутился один только Дмитрий Легионный, по-видимому, никогда не унывавший; он выстрелил в поезд Якобия, и затем все разбойники, без шапок, несмотря на морозную ночь, бросились в горы. Вслед за ними поскакала погоня, но ни одного разбойника не поймали.

Это был первый неудачный разбой шайки, предводительствуемой атаманом Рыжим. Он был тем более неудачен, что сам атаман, вследствие этого несчастного происшествия, лишился свободы.

На другой день утром ограбленные извозчики подали царицынскому коменданту объявление о ночном происшествии; представлены были, по приказанию Якобия, покинутые разбойниками сани, шапки и прочие вещи; схвачены были какие-то подозрительные люди и приведен какой-то мальчик, показаниями которого надеялись открыть следы преступников. Сам Якобий допрашивал их, но ничего не могли узнать¹. Тогда Якобий лично приказал коменданту Цыплетеву исследовать это дело особой комиссией и отыскать неизвестных разбойников. Началось самое деятельное следствие, какое когда-либо производилось над разбойниками.

В руках следователей находилась нить, по которой они могли дойти до раскрытия истины. Явилось подозрение, что между неизвестными разбойниками и обывателями Пичужинских хуторов, людьми довольно сомнительного поведения, существовала связь, и это обстоятельство указало на след преступников. В день приезда Якобия в Царицын, 30 декабря, отправлен был на Пичужинские хутора капитан Дударь, которому поручалось выведать что-либо о разбойниках. Прискакав на хутор, Дударь въехал на квартиру к одному тамошнему малороссиянину и показал ему оставленные разбойниками шапки, говоря, что нашел их на дороге. В одной из них хозяин и его жена узнали шапку малороссиянина Збойкова. За ним послали. Оказалось, что Збойкова не было в хуторе, а когда привели его жену, то она сказала,

¹ «По некоторым уликам привезенные ведомства царицынской воеводской канцелярии бобыля Клима Васильева дети бывшим с ними мальчиком были в присутствии его превосходительства доказаны и в том разбое не признались». Сколько и нам известно, никаких Васильевых в шайке Рыжего не было.

что 29 декабря муж ее с самого утра уехал в Царицын и не возвращался оттуда; когда же показали ей шапку, то сначала она отказывалась от нее, а потом призналась, что шапка эта, действительно, принадлежала ее мужу. Делая обыск по домам, Дударь нашел на дворе у одного поляка, именно у Мукосеева, какое-то седло с уздой, и Мукосеев говорил, что он не знает, кому принадлежат эти вещи. Вследствие разных подозрений, Дударь захватил более десяти человек, которые казались ему сомнительными, и привез в Царицын. Начались допросы, выведывания, очные ставки. Все единодушно показали, что шапка принадлежит Збойкову. Тогда явилась одна царицынская солдатка, Аксинья Драконова, и объявила, что 30 декабря рано утром, еще на заре, приехал к ней Збойков верхом и без шапки, лошадь была в хомуте и вся в поту; на вопросы Драконовой он отвечал, что нанимался будто бы у верховых ямщиков, за усталю их лошадей, подвозить их кладь к Царицыну; что шапку потерял на Волге, уснув в санях во время езды. Потом он ушел на базар покупать себе новую шапку и заходил к подпоручику Носкову, откуда пришел уже в шапке и тотчас уехал со двора. Начались новые посылки за подозрительными людьми, снова брали царицынских жителей, обвиняемых в пристанодержательстве. Из-за какого-то несоблюдения пустой формальности едва не поссорились главные начальные лица Царицына и едва не потеряны были следы разбойников; из-за того, что комендант отнесся к воеводе не «промемориею», а ордером, воевода не хотел оказывать содействия коменданту в розыске разбойных людей и писал этому последнему, что-де «по указам ее императорского величества, в случае какого воеводских канцелярий с комендантами сношения, переписку по законам иметь велено благопристойно сообщениями, а не ордерами; и так-де царицынскою канцеляриею определено — присланный от его, коменданта, к царицынскому воеводе ордер, с прописанием вышеписанного обстоятельства, отослать обратно... чтоб он никогда впредь воеводу не ордеровал, а присылал бы не на его одно лицо, но в воеводскую канцелярию сообщения, ибо-де он никакого особого присутствия, кроме воеводской канцелярии, не имеет».

Но в то время, когда возник этот забавный спор между царицынскими властями, начальник волжского войска войсковою старшина Савельев прислал в Царицын трех разбойников, пойманных выше Дубовки, именно: самого атамана Рыжего, Збойкова и Мирошникова. За Дмитрием Легионным, старо-

дубским купцом и еще одним разбойником, каким-то Николаем, послан был из Дубовки розыск за Волгу в Погроменский городок; партия посланных имела при себе одного из пойманных разбойников, который должен был уличить своих товарищей. Однако погроменские крестьяне не допустили эту партию до розысков и она воротилась в Дубовку, не сделав ровно ничего; точно так же ровно ничего не сделал офицер, отправленный главным смотрителем ахтубинских шелковых заводов надворным советником Рычковым, хотя поиски были произведены по всем ахтубинским селениям. Тогда взяли к допросу жен, замешанных в дело обывателей, Эбойкова и Мукосеева, и они уличили разбойников в том, в чем те не сознавались, и навели на след других преступлений. Они подробно рассказали, как разбойники собирались в путь, как советовались между собою и какое участие принимали жены в деле своих мужей. Жена Эбойкова говорила, что работник Мукосеева, Иван Мирошников, перед походом на разбой ночевал у них в доме с 27 на 28 декабря, потом пробыл с ее мужем весь день и уже вечером, после ужина, ходил к своему хозяину, откуда возвратился в полночь; тут они говорили о предстоящих разбоях, снова ночевали вместе, а рано утром 28 декабря Эбойков взял у Мукосеева сани, приготовил все к поездке, взял также два пистолета, которые принесла в их дом жена Мукосеева и вручила разбойникам. Через два дня после их отъезда, пришел к Эбойковой садовник офицера Носова, Сергей Гаврилов, и сказал, что муж ее и разбойник Мирошников после неудачного погрома на Волге едва бежали от погони и теперь лежат у него в саду; Гаврилов принес ей муки и денег и обещал, что сам Эбойков будет к ней через два дня. Жена Эбойкова вместе с тем призналась, что в 1777 году, 26 октября (именно в то время, когда атаман Рыжий вывел в поле свою шайку), муж ее и еще два других малороссиянина ограбили в Сарепте лавку с красными товарами и привезли с собою множество сукон, бархату, полуплису, китайки, канифасу и проч.

С каждым днем число оговоренных возрастало и с каждым днем открывались новые обстоятельства, показывавшие, какие страшные беспорядки и какие темные дела творились в той части Поволжья, с историей которого связано имя понизовой вольницы. Не было почти ни одного дома, в котором не нашелся бы след какого-нибудь запутанного происшествия, тайных преступлений, участниками которых были не одни понизовые бурлаки, но и другие лица, по-видимому не имеющие с ними ничего общего.

Сами местные власти являются далеко не чистыми от подозрений. Не станем раскрывать всех скучных подробностей дела, связанного с именами Рыжего, Збойкова, Мирошников, Шагалы и прочих, разбирать запутанные отношения властей к подсудимым, как, напр., офицера Носкова к вору Збойкову, царицынского воеводы Фатьянова к другим ворам, подобным этому последнему. Довольно того, если мы скажем, что Носков в качестве следователя ворует у воров краденные товары, шьет себе из них казакины и плисовые штаны, учит воров ложной присяге, потом бесстыдно обманывает и их, и своих главных начальников. Для нас, конечно, важно и то, как подсудимые являются к воеводе с *поздравлениями*. Но все это не относится прямо к истории понизовой вольницы, а характеризует другие стороны русской жизни, которых мы, до времени, не намерены касаться. Было бы весьма утомительно передавать здесь все мелкие подробности бесчисленного множества злодеяний, открытых по следствию; каждый из взятых в судную комиссию был виновен в том или другом деле; у каждого был за душой хоть один мелкий нечистый поступок и, более или менее, тяжелый грех. Но лиц этих так много, проступки каждого так разнообразны, что нет никакой возможности все исчислить и привести в порядок. Нам остается только указать на некоторые отдельные факты из жизни этих разбойников и только на личности более крупные. Мы обходим молчанием частные действия таких лиц, как Збойков, Гаврилов, Мукосеев или Бугай, офицер Носков со всей своею командою, старостами и рассыльными, потому что иначе пришлось бы заносить на страницы истории сотни и тысячи таких разбойников, без которых более видные личности сами по себе как-то бледнеют, стусшеваются, теряют ту драматическую обстановку, которая сопровождает каждый момент их жизни. За атаманом Рыжим, Дмитрием Легионным и другими просятся на сцену исторических воспоминаний сотни второстепенных атаманов, у которых были свои шайки, свое поприще и свои жертвы. Вся сущность картины состоит в подробностях, в мельчайших эпизодах, так что нет никакой возможности объять ее разом; чтобы разом видеть всю ее драматичность и жизненность, надо вглядываться близко в отдельные личности, которых так много, что память не может удержать их, — и только, таким образом, историк и читатель могут составить понятие о целой эпохе, ее характере и преобладающих стремлениях общества. Подобно огромной картине, изображающей битву двух многочисленных армий, когда войска смешались в общем рукопашном бою и когда издали

ничего не видно, кроме дыму, пыли, кое-где сверкающих оружий и крови, когда даже опытный глаз полководца не может угадать, на чьей стороне победа, — значение изображенного понимается не в общем виде, а в отдельных поставленных группах...

Но возвратимся к фактам. Показания разбойничьих жен навели комиссию на след других преступлений, уже забытых или искусно замаскированных; они разоблачили поступки Збойкова, Мирошникова, Мукосеева и нескольких десятков других воровских людей, из коих мы становимся лишь на личности Мирошникова, потому что впоследствии, в 1781 году, мы узнаем его, вместе с Дмитрием Легионным, в шайке атамана Дегтяренка под другим уже именем. Мирошников родился в земле войска донского, в Михайловской станице и «тамо, — говорил он о себе, — по воспитании матерью Анисьею Васильевою, которая волею Божиею умре, остался после ее восьми лет и, будучи там, жительство имел у разных людей». Это был такой же бездомный бродяга, сирота, без родных и доброжелателей, как и Дмитрий Легионный. Подобно Легионному, он блуждал с места на место и нигде не находил покоя: вечный батрак, питавшийся поденною работою и голодавший иногда по целым дням, он не мог даже выработать столько, чтобы купить себе землянку в десяток рублей. Тяжелая жизнь выгоняла его на разбой, потому что терять ему было нечего, кроме жизни, которая была так не красна, что он ценил ее очень дешево. Сначала бродяга начал воровать; был пойман, отпущен из-под караула по доброжелательству часто упоминаемого офицера Носкова и, наконец, поступил в шайку Рыжего, с которым и пойман после неудачного разбоя на Волге. Вместе с ними и по их уликам перebывали в судной комиссии десятки лиц, которых или судили в комиссии, или отсылали в воеводскую канцелярию, смотря по сословиям, к которым принадлежали подсудимые. Главных разбойников и находившихся с ними в сношениях обывателей рассадили по разным казематам: атаман Рыжий сидел у Предтеченских ворот вместе с прочими колодниками; Сергей Гаврилов, Мирошников и другие — на гауптвахте, а Мукосеев, Збойков и их жены содержались у Царицынских ворот. Шагала между тем сидел в камышинской тюрьме и скрывал свои отношения к атаману Рыжему. Случайно обличилась его связь с этою шайкою. Офицер Забуруннов, ограбленный Рыжим во время поездки в Камышин, в половине января 1779 года, приехал зачем-то в город и зашел на тамошнюю гауптвахту по знакомству с караульным офицером. Находясь там,

он увидел, как из тюрьмы вели «видно-де по тогдашним морозам для обогрения в колодничью караулку, колодника», который находился в шайке Рыжего и вместе с прочими грабил Забуруннова в Широкинских вершинах. Забуруннов заявил об этом кому следует, и Шагала разоблачил все похождения своих товарищей и в том числе свои собственные, так что для следователей открылись новые обстоятельства, о которых они не знали.

Но в самый разгар царицынского следствия Рыжий бежал из каземата. Популярность этого человека, его слава как разбойника и прежние искусные побегии из рекрутской партии и из батальона, недаром заставляли царицынское начальство опасаться, чтобы Рыжий не ушел снова. Едва только атаман привезен был из Дубовки и посажен в каземат у Предтеченских ворот, как из комендантской канцелярии уже дан был приказ стоящему в карауле старшему обер-офицеру, чтобы непременно были осмотрены на разбойниках ножные деревянные колодки и железа и «буде окажутся не суть в твердости, — говорилось в приказе, — оные подкрепить, а притом дабы через злодейский их вымысел не могли учинить побега, *через час надсматривать* и никого из посторонних людей к ним не подпускать и всегда содержать в совершенной строгости, по законам, для чего и набить *на одних только мужиков* наручни и каждое утро в записках особо об них показывать». На другой день отдан был новый строжайший приказ всем караульным офицерам, в котором, между прочим, говорилось, что «по важности их (разбойников) преступлений, непременно надлежит к строгому за ними присмотру прикомандировать в городской караул одного офицера», кроме стоявших уже там; что офицеры эти должны содержать «важных разбойников под наистрожайшим караулом и притом никого к ним для разговоров посторонних людей не допускать, дабы сии злодеи не могли каким случаем из-под караула учинить побега» и т.д. Потом сочли нужным дать и третий приказ, чтобы разбойники рассажены были вновь, по списку, «в кордегардии», и, кроме часовых, стояли бы при них постоянно «два притина», и проч. Однако, несмотря на все эти предосторожности, Рыжий бежал, хотя этот последний побег, как и последний разбой, был для него вполне несчастлив: не далее как через два дня Рыжий был пойман за Волгой и снова прислан в Царицын. Он бежал 21 февраля, ровно в полночь. Надо иметь необыкновенное здоровье, чтобы вынести то, что вынесла натура этого человека, изнуренного двухмесячным сидением в сыром каземате, на самой скудной пище и при

всех душевных страданиях, какие испытывал преступник. Он вырвался из-под караула в холодную зимнюю ночь совершенно раздетый, в одной только рубашке, и голыми ногами должен был бежать по снегу через Царицын, потом перебежал всю Волгу по льду, пока, наконец, уже на другом берегу реки, на луговой стороне, он мог надеть сапоги, которые все время нес в руках. В одной рубашке он провел за Волгой всю ночь, продолжая идти по берегу, пока, наконец, к утру не нашел стог сена, в котором скрылся от преследований и пролежал целые сутки. Но мы перенесем в примечание собственные слова атамана об этом побеге¹.

Над караульными офицерами и часовыми солдатами, по случаю побега Рыжего, наряжен был суд («Фергер и Криксрехт»), подробности которого представляют много интересного для характеристики того времени; но так как они не касаются прямо предмета нашей статьи, то мы и оставляем их. Заметим только, что, на основании «Воинского артикула»:

¹ «Сего февраля 21-го числа, — говорил он на допросе, — будучи в ручной и ножной колодках, попросился якобы для испражнения на двор, с намерением тем, чтоб бежать, ежели удастся, у часового, внутри караульни стоящего, Ивана, а прозванья не знаю, в которое время в караульной сержант сидел впереди караульни, и тот часовой, выпустя меня, сказал другому часовому же, стоящему у саней, Алексею, прозвания также не знаю, который меня отпустил за караульную, а сам ходил по крыльцу и за мною не пошел, — коего видя слабость за мною несмотрения, сняв с себя ручную так сильно, что у левой руки с кисти кожу задернул до крови, а потом и ножную (колодки), и зайдя за стоящую поблизости караульни избу и прямо к мясному ряду чрез палисадник перелез и побежал за Волгу, в одной рубашке и босиком, имев сапоги в руках, кои при снятии колодки с ног скинул для легчего через пописад перелезу; а, перешед за Волгу, обул и пошел по берегу до самого света, и как нашел стог сена, лежал целые сутки; а на другой день из стога вышедши, увидел мужика, дрова приготавливающего, а как зовут и откуда, не знаю, попросил одежды которой, видя меня в одной рубашке, и дал с себя старый суконный зипун и кусок хлеба... Мужик остался на том месте, а я пошел, ведомства ахтубинских шелковых заводов в Нижнее Погромное селение и по прежней знаемости пришел к тамошнему крестьянину Петру Кремлеву на двор и, опасаясь, нет ли у него сторонних людей, залез к нему в сенницу и зарылся в сено, пробыв одну ночь, поутру присланными из Ахтубинского города казаками и того жительства крестьянами в сене найден». Атаман говорил при том на допросе, что к побегу его никто не подговаривал и сам он не подкупал часовых. «Здесь в городе я ни к кому не заходил, пищею и одеждою снабден никем не был, окромя одного мужика, как выше сказано, из других никто меня не видал, и как я, скинув колодки, бежал до самой Волги, погони не видал же и крику не слышал; из помянутого же селения намерение имел идти в Соленой городок, что близ Камышинки, и там укрываться в имеющихся близ соленой пристани землянках у бурлака, где прежде сего я, будучи в бегах, укрывался».

главы 4, арт. 40; главы 24, арт. 207, и «Уложения», гл. 21, ст. 17¹, определено: «Подпоручика Хомуцкова, за нечинение, будучи на карауле у ворот, повеленного осмотра чрез час того времени, когда *важный разбойник Овчинников* (так назывался Иван Рыжий в батальоне) бежал», сержанта Шумилина, «за неосторожность, будучи на карауле при таких важных колодниках, употребляемый сон, так что во время выпуску того колодника через немалое время спустя происхождения от разговоров часовых пробудиться не мог... написать в рядовые: первого на месяц, а последнего до выслуги», а двух часовых солдат приговорено *казнить смертью*.

Когда все это происходило в Царицыне, Шагала, сидя в камышинском остроге, искусно запутывал следователей своими показаниями: то он говорил, что бежал когда-то из рекрутства и никогда не принадлежал к тому званию, к которому причислял себя в прежних допросах, то снова сводил на свои старые признания, путал в свое дело всех, кого только знал и видел в жизни. Выискался, наконец, в Камышине Троицкого собора церковник, который говорил о Шагале, что знал его когда-то, двадцать два года назад, когда Шагала жил в Балыклейской станице. «Мы с ним вместе с ребячества игравали, — говорил церковник, — и ему в то время было около пятнадцати лет, а кто его был отец и мать и какова он звания и отколь родиною, того я не знаю, да и с того времени его не видывал, и где он имел жительство, о том я неизвестен». А Шагала все наговаривал да сговаривал с знакомых и незнакомых, с друзей и недругов. Его требовали в Царицын; камышинские власти не хотели отпустить от себя разбойника, и только в октябре 1779 года Шагала был перевезен в Царицын, где находился под арестом его атаман. Время шло, а разбойники сидели, и следствие все тянулось. Уже успели сформироваться новые шайки, новые атаманы вышли

¹ «1) Каждый офицер, который в крепости, лагере, на валу, у ворот или в поле караул имеет, должен в том ответ дать. Ежли он то презрит, что исправить должен, или на карауле своем неосмотрителен, и неосторожен, и ленив будет, *оный имеет живота лишен быть, аркибузировав*». (В скобках прибавлено: расстрелян.) «2) Когда злодей караулу или генерал-гевалдигеру или профосам, уже отдан, и оным оног стеречь приказано будет, а злодей чрез небрежение их уйдет или от них без указу отпуститца, тогда оные, которые в сем виновны, вместо преступителя имеют надлежащее наказание претерпеть. «3). А буде разбойника поймут на разбое вдругие, и его потому же пытать и в иных разбоях, да будет он повинится только в двух разбоях, а убийства хотя и не учинил и его за другой разбой казнить смертью, а животы его отдать в выть истцам!»

на сцену, по городам менялись воеводы и коменданты, разбойничьи притоны переносились от Волги в глубь степей, в лесные балки, грабежи начались на больших дорогах — везде был еще простор для понизовой вольницы, — а Рыжий и его товарищи все сидели по царицынским казематам и ждали решения своей участи. Через полтора года после поимки атамана пойман был наконец и его ближайший товарищ, Дмитрий Легионный, который еще прежде того был разлучен с стародубским купцом, схваченным за Волгою разъездными командами. Потеряв последнего старого товарища и побродив за Волгой, Легионный перебрался на нагорную сторону, прошел в свои любимые места, на Илавлю, и сам составил маленькую шайку. Шатаясь по дорогам, он напал на партию малороссиян, ехавших в Камышин, и ограбил их, захватив, по обыкновению, деньги и другие вещи, казавшиеся ему ценными; ограбил потом казака Караванской станицы и уже собирался пройти через Царицын в Моздок, где в то время на моздокских степях заводились новые разбойничьи партии, начинали раздаваться те удалые и грустные песни, которые два столетия пелись на Волге и по степям саратовским, царицынским и хоперским. Понизовая вольница в восьмидесятих годах стала перебираться к Кавказу, в южные равнины донских земель — в степь моздокскую. Туда-то вел Легионный своих товарищей, но по приезде на речку Мечетную, в сельцо Никольское, набуянил и попался в руки. Оставив товарищей за селом, он поехал в кабак, чтобы запастись вином, напился пьян и стал показывать свою удалость собравшемуся народу: выстрелив из пистолета в кузницу, он возбудил ропот и навлек на себя подозрение; один гусар схватил под уздцы его лошадь, стал ругать разбойника, который, «будучи пьяный, осерчась, из другого пистолета, заряженного мокрым пыжом, выстрелил» и попал гусару в голову... Разбойника тотчас же схватили, забили в колодки и привезли в Царицын. Другие его товарищи пропали без вести.

АТАМАН ДЕГТЯРЕНКО

В течение 1780—1782 годов положение дел в Поволжье мало изменилось, хотя, по-видимому, много произошло перемен в колонизовавшихся тогда приволжских провинциях. В сущности, перемены эти касались только наружной стороны жизни, тогда как самая жизнь шла своим чередом, по старой дороге, представляя мало утешительного. Верхняя часть среднего Поволжья, вместе с Саратовом, Камышином и Царицыном, вошла в состав вновь открытого саратовского наместничества, правителем которого назначен был генерал-майор Поливанов; вместо канцелярий явились «верхняя» и «нижняя расправы»; по наружности изменилось многое, хотя в расправах заседали те же лица, которые были в канцеляриях, и руководствовались теми же правилами, оставались при тех же понятиях, с какими родились и воспитались. Жизнь не стала лучше, потому что причины, делавшие ее тяжкою, не были уничтожены с переменою названий и форм, а такие неблагоприятные обстоятельства вызывали, конечно, соответствующие им явления. Правда, не так громко раздавались по Волге разгульные и в то же время тоскливые песни понизовой вольницы, как прежде; опыт научил осторожности и терпению; реже плавали от притона до притона косные лодки разбойников, реже слышалось страшное *сарынь на кичку!* — однако зло не было уничтожено в самом корне. Только партии вольницы сделались не так многочисленны, атаманы менее популярны и могущественны, крупные личности исчезают со сцены и на место их являются простые, робкие, так сказать, мелочные разбойники, жалкие воры и конокрады. Шайки разбойников разбиваются на мелкие кружки, удаляются от Волги и действуют врассыпную. Название атаманов с эпитетами «важных», «славных», «продерзких» переходит в менее громкое название «душегубцев», «смертоубийц» и проч.

В этот последний период времени уничтожена была даже попытка на похищение царского имени: в восьмидесятых годах схвачен последний самозванец, воспользовавшийся для своих целей именем покойного императора Петра III, слесарь и ру-

жейник Максим Ханин¹, заговор которого задавлен был при самом начале. Ханин и его соумышленники действовали в одно время с атаманом Рыжим и в тех же местах, где действовала шайка известного разбойника. Они даже судились в Царицыне в одно и то же время, с тою только разницей, что атаман еще сидел в каземате, когда самозванец был уже вывезен в Саратов, где и решилась его участь.

Преемником Рыжего был атаман Максим Дегтяренко, едва ли не последний нам известный народный агитатор прошлого века. В его шайке были лица, знавшие Рыжего и действовавшие с ним вместе. Они почти одновременно и погибли. Дегтяренко, подобно прочим предводителям понизовой вольницы, был из военных людей, и только горькая жизнь, испытанная им во время дезертирования, заставила его сделаться разбойником. Вольницу преимущественно составляли казаки и всякий сброд людей, вышедших из верховых городов, где жизнь была еще тяжелее, положение еще безвыходнее, чем в Поволжье; ядро вольницы составляли собственно бурлаки и переселенцы — малороссияне. Из малороссиян был и последний поволжский атаман, имя которого сохранилось в забытых провинциальных архивах, Максим Дегтяренко, и который родился в «гетманщине», в острогожском полку, в слободе Отготяновой. В 1778 году он был отдан в «москали», то есть взят в рекруты, и поступил в гусары в острогожский гусарский полк. Само собою разумеется, что военная жизнь для «посполитого» малоросса показалась тяжкою и невыносимою; воинские порядки, которым с трудом подчинялся даже и «российский», привыкший ко всему, люд, были нестерпимы для малоросса, знавшего, хотя понаслышке, о «звычаях казаков запорожских». Дегтяренко не мог примириться с военною жизнью и бежал. Он прошел в землю донских казаков и начал шататься с места на место да приискивать себе работы и пропитания; жил он недолго у одного донского полковника, на речке Чирах, а оттуда вздумал пройти в славное Поволжье, где, как он слышал, легко жилось на воле всякой голытьбе и где голытьба наживала немалые деньги разбойными промыслами. Скоро Дегтяренко увидел и Поволжье, и широкую Волгу, и понизовую вольницу, и нашел, что вольница — та же оборванная и бездомная голытьба и что деньги и здесь наживаются нелегко, тем более что он пришел на Волгу, когда уже миновала пора поволжских разбоев и о знамени-

¹ См. Собр. соч. Д.Л. Мордовцева, том XVII с.142.

тых атаманах оставалась только память в народе да слова в песнях, год от году искажавшихся. Дегтяренко, не останавливаясь долго ни в одном селении и не приставая ни к одной шайке, которые еще изредка появлялись выше Камышина, прошел в качестве бродяги до колонии Верхней Добринки и поселился там на время. Здесь он нашел одного малороссиянина, не имевшего, подобно всей вольнице, ни кола ни двора; малороссиянин этот рыл для себя землянку и принял Дегтяренку к себе в товарищи. Эти землянки составляли обыкновенное жилище оседлой вольницы; перебиваясь с места на место, бурлаки на зиму вырывали себе в земле ямы и, покрыв их хворостом и дерном, жили до светлых весенних дней. В этих землянках была страшная бедность; сюда принимались все беспаспортные и подозрительные люди, воры и атамань, не успевшие на зиму запастись хорошим притоном и теплою избою. Такие землянки вырыты были по всему Поволжью, около городов и селений, вблизи торговых пристаней и в самой дикой глуши. В такой же яме поселился и Дегтяренко в ожидании лучшей доли, которой он пришел искать в Поволжье, назвавшись выходцем из Николаевской малороссийской слободы, что против Камышина.

Обманувшись насчет привольной жизни в Поволжье, Дегтяренко не стал жить празднично и сделался швецом и кожевником: выделывал овчины, шил шубы и кафтаны. Местные власти не обращали на него внимания, потому что бродяги иногда были люди не бесполезные, а в случае преследования их становились страшными мстителями. Какой-то комиссар, находившийся в Добринке, майор Александр Алферович Пиль, взял даже Дегтяренку к себе в услужение, и будущий атаман находился у него полтора года в качестве казака, пока зависимая жизнь денщика не надоела бродяге, как и военная служба. В полтора года Дегтяренко мог узнать обычаи поволжской вольницы, познакомиться с краем и его обитателями, насколько это нужно было знать будущему вождю шайки. В 1780 году Дегтяренко стал думать о наборе партии, открыл свои планы неизвестному бродяге, бывшему в Добринке табунщиком, Ивану Губченку, малороссиянину же, и с начала весны этого года они бежали из Добринки в медвидицко-бузулуцкие степи. Не имея ни определенного плана, ни товарищей, они должны были на время оставаться все еще батраками, выжидать охотников, запастись на подъем деньгами, лошадьми и оружием. Вследствие этого они прошли на хутора Березовской станицы, к казаку Каменно-

му¹, который, несмотря на то что знал об их намерениях, охотно принял бродяг к себе в работники. Целое лето беглецы косили у него сено, отбывали все другие работы, зимою плотничали, а на весну 1781 года уже готовы были, чтоб идти в разбой. У Каменного они сошлись с старым разбойником Алешкою Поповичем, или Бурькиным, который говорил о себе, что он «с Дону, чинит разбои, где тамо случится», и притом оказался человеком грамотным, могшим справлять должность секретаря и в случае надобности писать своей шайке какие угодно виды и паспорта. Дегтяренко подобрал еще одного товарища, который шатался в окрестностях и готов был на всякое сомнительное дело. Разбойники добыли себе лошадей, которых захватили в первом попавшемся табуне, приготовили оружие, с которым и прежде того охотились в свободное время. Каменный снабдил их порядочным количеством пороху, а Алешка Попович написал паспорта, сообразно с наружностью каждого². Прежде шайки вмещали в себе иногда десятки и сотни разбойников; но с тех пор, как понизовая вольница обратила на себя всеобщее внимание, большие партии были слишком подозрительны, скоро волновали население, привлекали вооруженную силу из местных полков и батальонов, и потому атаманы уже не решались выходить в поле с толпою бродяг конных и пеших, а начинали разбой ничтожными партиями, от пяти до десяти человек, и легко избегали преследований, потому что легко укрывались во всяком овраге и во всяком более или менее густом кустарнике. В этих видах и Дегтяренко взял со собою столько товарищей, сколько казалось нужным. Они прежде всего отправились на Красноярские степи, о которых мы говорили выше, в рассказе о разбоях шайки Рыжего. В тридцати верстах от Красного Яра, за Медведицей, находилось удобное место для притона, глубокие ложбины Рассыпного буерака, мимо которого шли проезжие тракты. Для своих временных станом разбойники обыкновенно избирали,

¹ Это те самые хутора, где несколько лет перед сим скрывался разбойничий атаман Буков (в «урочище Черни», у монаха Льва), верстах в семи от родины пишущего это, Д. Мордовцева.

² Пули разбойниками не всегда употреблялись литые, круглые, но часто стреляли жеребьями — продолговатыми и гранеными пулями, грубо нарезанными из свинца, которые, впрочем, на близком расстоянии, были едва ли не удачнее овальных. За неимением пуль они употребляли в дело и крупную дробь с чем-нибудь смешанную. Один из шайки Дегтяренко, разбойник Мирошников (бывший прежде под начальством атамана Рыжего), стрелял дробью, смешанною с пуговицами, вероятно, металлическими.

когда производили степные разбои, ровные и возвышенные места, с ложбинами или балками, заросшими мелким лесом; предпочитались большею частью степи проезжие, покрытые высокими курганами, которые могли бы служить сторожевыми пикетами и где бы проходили торговые дороги¹.

От времени до времени Дегтяренко выезжал из Рассыпного буерака на степь и разбивал проезжих, а потом снова уходил в свой безопасный стан. Ограбив чумаков-малороссиян, ехавших в Камышин с солью, и взяв у них деньги, разбойники снова поворотили к югу искать более удобных для разбоя мест и приехали в землю донских казаков, в места, знакомые Алешке Поповичу. Впрочем, они почти везде находили радушный прием, особенно у малороссиян и казаков, потому что за приют платили щедро, а в случае отказа и сопротивления мстили всеми возможными средствами. Такой приют они нашли и в донских землях, близ Медведицы, на Даниловских хуторах, где и прожили у одного малороссиянина недели три, отдыхая после продолжительных переездов. Собравшись с силами, они опять поехали к северу и, коля по всем проезжим дорогам, успели в короткое время совершить несколько разбоев на речке Латрыке, ниже колонии Поповки, потом за Медведицей у Красного Куста и недалеко от Рудни, куда в то время народ собирался на ярмарку. Но притон в Рассыпном буераке предпочитался всем местностям, и Дегтяренко от Рудни опять повел своих товарищей к старому стану. На дороге охотою пристал к ним еще один разбойник, выезжал потом вместе с ними на разбой, когда грабили каких-то проезжих, жил несколько дней в стане Рассыпного буерака и в одну ночь, неизвестно по какой причине, тайно скрылся от товарищей. Скучая однообразною жизнью в стане, разбойники вновь покинули его, посетили своего прежнего хозяина, казака Каменного, отдохнули у него несколько дней, вновь собрались и отправились на промысел. В эту поездку они успели перебивать во всех местах, где только рассчитывали на удачный грабеж и куда только могли донести их кони,

¹ До настоящего времени указывают в Поволжье на такие местности, усеянные курганами, из которых многие и теперь носят название «разбойных могил», или курганов. Со многими соединяются имена славных разбойников или убитых там, или живших там постоянно, или, наконец, прославившихся каким-нибудь героическим или злодейским поступком. На курганах, говорят, разбойники ставили шесты с соломою, зажигая которую часовые извещали своих товарищей или о приближении разъездных команд, или о проезде обозов с товарами.

измученные беспрестанными странствованиями по степям с одного тракта на другой. Теперь разбойники поехали по направлению к Илавле, где прежде была такая привольная жизнь для воровских людей, и переехали Расщепной буерак, не менее Рассыпного удобный для разбойничьих притонов, ночлегов и дневок. В колонии Грязнухе они посетили знакомого немца (немцы, заметим кстати, в прошлом веке не отличались особыми гражданскими доблестями и водили иногда дружбу с разбойниками, хотя сами не годились для разбоя, и, сколько нам известно, ни разу имя колониста не встречается в целой сотне имен, принадлежавших к понизовой вольнице); пьянствовали у него в гостях, дарили его награбленными вещами и деньгами и советовались с ним о предстоящих разбоях, о местах, удобных для притонов, и проч. Колонист указал им стан в буераке, приезжал потом сам к ним, снабжал их хлебом, пьянствовал с ними и вообще делал все, что мог бы только сделать самый ловкий становщик. Неудивительно, что в колонии Верхней Добринке, где два года прожил Дегтяренко батраком и куда теперь привел своих товарищей, как атаман шайки он нашел приют даже между немцами, из которых один принял разбойников в своем доме, зарезал для них барана как для дорогих и опасных гостей и дозволил им переночевать у себя.

Но разбойникам не сиделось на месте, тем более что самые выгоды их требовали постоянной перемены места, постоянного мыкания по свету. Волга не могла привлечь к себе «полевых» разбойников; условия поволжских разбоев были не те, что полевых, в поле теперь было больше простора, — и они оставили Добринку для своих степей, от Волги повернули к Медведице, переехали эту реку у Рудни, порыскали по бузулуцким степям, где пристал к ним, «из своей воли», неведомый человек, такой же, как и они, разбойник, называвшийся беглым солдатом, и в третий раз приехали на отдых к казаку Каменному. Они требовали отдыха, и лошади были изнурены не меньше своих наездников, так что нужно было или оставаться на хуторе у Каменного до их поправления, или взять свежих коней для новых экспедиций. Каменный позволил им взять лошадей из своего табуна, потому что за все это разбойники платили щедро, и Дегтяренко, не покидая хутора, успел сделать удачный набег на проходивший там из Малороссии обоз и ограбить его. Вероятно, под руководством Алешки Поповича они предприняли оттуда поход в глубь донских земель и, доехав до Филипповской станицы, прожили с месяц у становщика Чоблова, но делали

ли там какие-нибудь набеги — неизвестно. Знаем только, что, наградив становщика порядочной суммой денег, они оставили донскую землю и направились к Саратову, не опасаясь войск и разъездов, которых там было достаточно. Впрочем, они скрывались у села Ахмата, в безопасных буреках, где и в настоящее время, во второй половине XIX века, часто скрывались шайки бродяг и военных дезертиров и по временам выезжали на дорогу для наблюдения за проезжими. Там напали они на какого-то офицера, ехавшего из Астрахани, и взяли у него, «без всяких побоев», порядочную сумму денег, платье и несколько серебряных вещей, разделили все это между собою и лишнее спрятали недалеко от своего притона в стог сена.

Выше мы говорили, что в числе разбойников шайки Рыжего сидели в царицынских казематах колодники Дмитрий Легионный и Иван Мирошников. Во время последних грабежей Дегтяренка разбойники эти успели обмануть стражу и бежать из Царицына. Впрочем, побег им удался только при помощи конвойного солдата, с которым они заблаговременно условились об этом. В одно время арестантов выслали на казенную работу носить землю на крепостной вал, и колодники вместе с конвойным пошли «выпить по чарке вина». Тайно от капрала (признавался после Мирошников) они пробрались в Спасский питейный дом, «выпили все трое алтына на два вина; потом, взяв на базаре хлеба и калачей, все, как согласились бежать, оставя солдат, пошли вверх по Царице-речке». Беглецы явились на знакомые им Пичужинские хутора и прямо пришли в дом к поляку Мукосееву, который, как мы видели, судился вместе с прочими разбойниками шайки Рыжего и, неизвестно по какой причине, был выпущен из тюрьмы. Едва Мукосеев увидел беглецов, как объявил, что их уже ищут, и велел на время укрыться в лесу. Скоро прискакал из Царицына офицер, посланный за Мирошниковым и Легионным, все высмотрел в доме Мукосеева, но беглых не нашел и должен был воротиться в город. Тогда они, сбив с ног последние остатки желез, покинули хутор и вышли в степь, где их уже трудно было поймать самому многочисленному разъезду. У Сажина (конвойного) были свои планы и намерения, и потому он расстался с разбойниками, думая пройти в Москву, а Легионный и Мирошников пошли искать счастья в старом, привычном ремесле, тем более что о медведицких разбойниках ходили уже слухи в Поволжье, а следовательно, и можно было присоединиться к одной из медведицких партий. Действительно, им недолго

пришлось искать атамана, потому что Дегтяренко после разбоев у Ахмата, когда приставший к нему в бузулуцких степях неизвестный разбойник оставил его шайку, опять направился к Илавле и сам встретился с беглецами у Расщепного буерака. Legionный и Мирошников охотно пошли в его шайку, и Дегтяренко повел их в свой стан, где и оставил на время «за неисправностью», а сам с прочими товарищами, отдохнув в стане только четыре часа, снова выехал в поле и снова проезжал в сутки сотни верст, наведывался во все захоlustья, рыскал по всем проезжим тропам и дорожкам, точно для его маленькой шайки и не существовало усталости. Нас удивляет эта неутомимая подвижность шайки Дегтяренко и ее необыкновенная отвага, когда в числе четырех человек разбойники никому не давали покоя, не пропускали ни одного проезжего и прохожего, ни одного чумацкого и купеческого обоза. Сегодня их видели в одном месте, а на другое утро Дегтяренко появлялся уже за сто верст от него; в продолжение нескольких летних месяцев разбойники успели сделать несколько тысяч верст, только не более трех раз переменяя усталых коней свежими. Несмотря на однообразие рассказа об этих походах, записанного со слов самого атамана и некоторых его товарищей, рассказ этот, при всей простоте и краткости, живо характеризует описываемую нами годину и, при всей видимой сухости, много говорит воображению, переносящемуся в эту любопытную эпоху, со времени которой прошло не более восьмидесяти лет.

Через несколько дней после встречи с Legionным и Мирошниковым мы уже видим Дегтяренко на Волге, в Золотовской волости, издавна известной разбойничьими притоками. В Золотовской волости всего более свирепствовали толпы пугачевской вольницы, к которым присоединились крестьяне и разбойники этой волости, гористая и лесистая местность которой всегда давала убежище многочисленным партиям бродяг. Около села Золотова Волга представляла самое опасное место для караванов; в этой волости поволжские разбойники соединялись с полевою вольницей и были непобедимы. Сюда же приезжал на время и Дегтяренко, где оставался не более двух суток у становщика Дутика в Щербаковском хуторе. Здесь же, недалеко от колонии Мор, партия Дегтяренко встретила на степи с проезжавшими крестьянами какого-то помещика Салтыкова, которые, впрочем, смело отразили первое нападение разбойников ружейными выстрелами. Но когда завязалась перестрелка, разбойники победили проезжих и ограбили. Во время схватки

ранен был товарищ Дегтяренко, Иван Губченко, в горло и в руку; со стороны проезжих ранен один мужик, которому разбойники прострелили ногу. «И после, — говорил Дегтяренко, — от них взяв, без всяких уже побоев, денег ассигнациями пятьдесят, мелкими двадцать пять рублей, одно ружье, два пистолета, тулуп нагольной один, рубашек мужских три, поехали к речке Горючке». На речке Горючке находился становщик их, табунщик Буров, у которого разбойники имели притон, укрываясь в буераке. Здесь они решились отдохнуть и с помощью Бурова узнать, что говорит о них народная молва. Пустив лошадей в табун Бурова, разбойники залегли в стане, а Буров отправился в Саратов для разведывания относительно слухов и для закупки пороху и вареных кремней к оружию; раненый Губченко лечил между тем свои увечья. Скоро воротился и Буров с покупками и сказал разбойникам: «Слышно про вас в Саратове». Тогда разбойники, побыв в стане несколько дней и «через то поправляя себя», пустились в путь и тут же, на речке Горючке, напали на партию татар, ехавших из Саратова, отняли у них деньги, восемь лошадей и потом поворотили к Медведице. В селе Рыбушке, на мельнице, они пьянствовали у знакомого мельника; одарив его деньгами и вещами, поехали искать оставленных ими Легионного и Мирошникова, которые между тем приобрели себе лошадей, успели вооружиться, запаслись порохом и другими необходимыми принадлежностями.

Но едва партия Дегтяренка съехалась с Легионным и Мирошниковым у Расщепного буерка, как была атакована вооруженными мужиками, высланными против разбойников из ближайших селений, потому что молва о разбоях распространялась с каждым днем — все ожидали нападений Дегтяренка и никто не был безопасен ни дома, ни в поле. Между разбойниками и мужиками произошла жаркая схватка, во время которой, *между штурмом*, как говорил сам Дегтяренко, разбойники убили четырех мужиков и окончательно отразили нападение, не давшись в руки крестьянам. Можно вообразить, как отчаянно защищались разбойники, когда на месте схватки осталось четыре мертвых тела и, без сомнения, несколько раненых, а между тем как можно догадываться из слов Дегтяренка, с ним было только три товарища: Алешка Попович, Легионный и Мирошников. Губченко, раненный еще прежде, до этой схватки, и последний разбойник этой шайки, ездили к Ахмату, чтобы захватить серебро и другие вещи, награбленные там и спрятанные

в стоге сена. Впрочем, если в деле были и все шесть человек, то и в таком случае без особенной храбрости они не могли отбиться от вооруженной высылки, не поплатившись кем-либо из товарищей; а между тем «штурма» кончилась без всякой потери со стороны разбойников, по крайней мере, из документов не видно, чтобы кто-нибудь из них был убит или ранен. Однако, как ни счастливы были разбойники, слухи о них делались все громче и громче. Дегтяренко не мог не понимать опасности своего положения, но, при всем том, он как будто презирал опасности и не покидал степей, может быть, рассчитывая на малочисленность своей шайки, с которой он мог везде быть незаметен, или на многочисленность становщиков, которые могли укрыть его в самую критическую минуту. Как бы то ни было, но и последнее происшествие не остановило его, а как будто прибавило в нем дерзости и безумной отваги. Он видит, что лошади его товарищей истомлены от частых переездов, и немедленно нападает на табун, разгоняет табунщиков и берет свежих коней; ему не удавалось до сих пор произвести разбоя в тех местах, где ходили шайки его предшественников, и он проводит свою шайку по всему протяжению Илавли и выводит ее к низовьям Медведицы, на речку Арчаду; смело он является в хутор походного есаула Маневского и дарит ему, неизвестно за что, «от своей артели денег пятнадцать рублей да две лошади», живет у него свободно несколько дней и тут же вознаграждает себя тем, что около самого хутора берет из табуна четыре лошади. Он начинает сорить деньгами и всем награбленным имуществом; до сих пор он щедро награждал становщиков и всех, у кого гостил, — так он платил довольно большие, по тому времени, деньги на Даниловских хуторах, колонистам в Грязнухе и Верхней Добринке, своему прежнему хозяину Каменному, становщику Филоновской станицы Коблову, становщику на Щербаковском хуторе, табунщику Бурову, его товарищу, потом мельнику в селе Рыбушке, наконец, походному есаулу Маневскому; теперь он стал платить еще щедрее: направившись с Арчады, вверх по Медведице, и приехав к Каменному, он дает ему лошадей, денег и тут же, отъехав несколько верст вверх по Медведице и своротив в сторону, грабит мужиков, которые ехали на Дон, и сам скачет к Дону, является к прежнему становщику Коблову и отдает ему захваченные у проезжих деньги; снова едет в пределы саратовского наместничества, грабит или «усильным образом» берет, что ему нужно на мельнице, на речке Латрыке, а через несколько времени мы видим его

уже у становщика Бурова, переносившего разбойникам вести о том, что говорилось и делалось вокруг и какие слухи ходили о Дегтяренке. «За вами послана высылка», — сказал им на этот раз Буров, и разбойники должны были наконец подумать о своем спасении.

Но и после этого Дегтяренко действует так же странно, как и прежде. Вместо того чтобы спастись, он едет прямо к Саратову, выводит свою партию на Волгу, поворачивает на юг, заходит на Буркину ватагу чтобы запастись хлебом, скачет к Камышину и на дороге посещает колонию Добринку, гостит у знакомого колониста, дарит его деньгами, снова возвращается вверх по Волге, платит деньги на Щербаковском хуторе и, наконец, опять является к Бурову, в свой давнишний притон. Видно, что он уже действует без цели, бросается в разные места и ищет исхода; его преследуют слухи, говор; ему грозят высылки; степи становятся не безопасны, укрыться негде, надо расстаться с шайкою или попасться в руки разъездным командам. Оставалось три дороги: броситься в глубь России, но там еще опаснее, чем в Поволожье, пройти в «гетманщину», как он и думал, — но это было не так легко; бежать за Волгу — это всего возможнее. Приходилось принять, хотя на время, последнее решение. Дегтяренко, покинув в своем стане товарищей, лошадей и оружие и простившись с становщиком Буровым, взял с собой одного Губченко, и вдвоем пошли по направлению к Волге. Выше села Синенького они переехали на луговую сторону в ловецкой лодке и пришли в колонок Козицкий, где и думали переждать самое опасное время поисков разъездных команд. Губченко имел с собой два паспорта, и разбойники явились с ними к старосте, который и позволил им остаться в колонии. Но Дегтяренко не мог ужиться покойно ни на одном месте, потому что с вольною жизнью привились к нему такие привычки, которые рано или поздно должны были погубить его. Нажитые грабежом деньги доставляли ему свободный доступ во все кабаки, а в кабаках заводились знакомства, и в пьяном виде говорилось многое, что не легко сказалось бы при других обстоятельствах. Кабак свел Дегтяренку с такими людьми, которые выдали тайну его занятий и едва не погубили его. Он поил всех без разбора и также без разбора сорил деньгами, привлекая тем внимание местных властей. Так, между прочим, «будучи в питейном доме, — говорит Дегтяренко, — по знакомству свиделись мы Покровской малороссийской слободы атамана Степана Мартыненко с племянником, который от нас выпил чарку вина, на вопрос сказал, что-де скоро приедет в свои хутора дядя его, атаман, а мы при

том его просили, если приедет, то б он к нам бывал в колоннок, который на четвертый день приехав пил вместе, а между тем я и Губченко дали ему, атаману Мартыненку, в подарок четыре рубли денег». Вероятно, разбойники ждали задобрить подарком атамана, однако напрасно. Через несколько дней Мартыненко явился в колонию с вооруженными людьми и захватил разбойников. Произошла страшная суматоха, крик пошел по всей колонии, «сделался великий шум и сбежалось много колонистов». По праву гостеприимства, колонисты отняли разбойников у Мартыненка и повезли их в другую колонию, к военному начальнику, для освидетельствования паспортов. Но Дегтяренко спасся и в этом случае, потому что паспорта оказались неподозрительными, личности разбойников не внушали никакого сомнения насчет их благонамеренности, и разбойники были отпущены. Но после того и за Волгой оставаться было небезопасно, и разбойникам приходилось думать о «гетманщине», куда они прежде желали пробраться. Снова переехали они на нагорную сторону Волги и снова побрели к стану, к табунщику Бурову, где и нашли оставленных товарищей. Не было другого исхода, как покинуть саратовское наместничество, расстаться с Поволжьем, где окончательно погибала понизовая вольница, и искать новых мест для удалых походов. Притом время приближалось к концу лета, все поля были заняты народом, убиравшим хлеб, жизнь у становщиков оказалась невозможной, и Дегтяренко решился расстаться с товарищами навсегда.

В сентябре 1781 года Дегтяренко в последний раз вывел в поле свою шайку и, доведя ее до истоков речки Бузулука, распустил товарищей в разные стороны. С ним остался только Мирошников, да и тот, потеряв всякую возможность остаться в Поволжье, где его знали еще со времени разбоев атамана Рыжего, думал пройти на Терек, в моздокские степи, куда стала мало-помалу перебираться понизовая вольница и где еще можно было погулять и поголодать на свободе. Но Дегтяренко помнил свою далекую родину, «гетманщину, как он ее называл, и, расставаясь с Поволжьем, где шатался бесприютным бродягою и голодал, и ходил в лохмотьях, и терпел унижение, где, наконец, властвовал в небольшом кругу, наделал шуму и тревоги, и хотел увести с собою Мирошникова¹. Однако наме-

¹ «Намерен был (Мирошников) отыскать билет, проехать для праздного жительства на Терек, который (Дегтяренко) ему выговорил: «Поедем-де на Бузулук и там съедем себе подорожную». Обещался его с собой привести в гетманщину».

рения их не исполнились: Алешка Попович, которого они нашли потом на одном из бузулуцких хуторов и просили написать им паспорта для проезда в Малороссию, был схвачен казаками и предал товарищей. Хотя они и были пойманы без оружия, однако скоро отыскалось и оружие, которое они успели было скрыть¹. Разбойников сначала повезли на суд в Черкасск, но с дороги воротили в Саратов, где Дегтяренко, после «пристрастного» допроса, сознался в своих преступлениях. Но Алешка Попович и Мирошников, несмотря на допрос под «пристрастием батогов» и на увещания судей и священника, не хотели открыть всего, в чем были виновны.

Так как Мирошников принадлежал некогда к шайке атамана Рыжего, а он до сих пор сидел в царицынской тюрьме и судился вместе с прочими соучастниками своих походов, то и Мирошникова привезли в Царицын, а Дегтяренко и Алешку Поповича отослали в места их родины. Уже в конце 1782 года кончился суд над царицынскими арестантами, преступления которых подведены были под следующие статьи законов: по Соборному Уложению, главы 2, ст. 4: «А будет кто умышлением и изменою город зажжет или дворы и в то время и после того зажигательщик изыман будет и сыщется про то его воровство допряма, и его самого зжечь без всякого милосердия». Гл. 10, ст. 228: «А будет кто некия ради вражды или разграбления зажжет у кого двор и после того он будет изыман и сыщется про него допряма, что пожар он учинил нарочным делом, и такова зажигальщика казнити зжечь». Гл. 21, ст. 16: «А будет приведет разбойника и его пытать, да будет он с пытки повинитцы, что он разбивал впервые, а убивства не учинил, и у того разбойника за первые разбои после пытки отрезать правое ухо да в тюрьме сидеть три года, а животы его отдать в выти исцам, а из тюрьмы выимая его, посылати в кандалах работать всякое изделие, где государь укажет, а как он в тюрьме три года отсидит, послати в украинные города, где государь укажет, и велети ему в украинных городах быти в ка-

¹ «По доказательству казака Луки Минаева с стогу вынуто его, Кузнецова (так назывался Мирошников после побега из царицынской тюрьмы), снаряду два ружья, пистолет, казачья лядунка да труска черепашья, егарская, охотничья красной кожи патронница и с двадцатью тремя порохом наполненными патронами и вложенною в них смешанною с пуговками дробью, одна казачья шапка, два дротика, полтора фунта в мешке пороху; снят с него кафтан синей китайки, избита левая пола пулею, а сзади дробью, да синей толстого сукна азиям, шапка жаркого сукна, что все значит к подозрению реченного Кузнецова, кроме Дегтярева, коего разбойнический снаряд взят особо в курене казака Коблова», знакомого нам становщика.

кой чин пригодитца и дать ему по тому же письмо за дьячьёю приписью, что он за свое воровство в тюрьме урочные годы отсидел и из тюрьмы выпущен». Ст. 12: «А которые разбойники говорят на себя в распросе и с пыткой, что они были на одном разбое, да на том же разбое учинили убивство или пожгли дворы или хлеб, и тех разбойников и за первый разбой казнити смертию».

К этим статьям подведены были соответствующие места Воинского артикула, и положено было следующее решение: «По сентенции присутствующих приговорено, в силу воинских прав, подпоручика Носкова, капрала Архипова и солдата Горева повесить; Овчинникова, Гончарова и Журенкова колесовать и на колесо тела их потом положить, а Старкова сжечь¹.

Прочие разбойники-становщики, знакомые Рыжего, несколько баб, как разбойничьих жен, так и любовниц, судились в воеводской канцелярии в Царицыне, а соучастники Дегтяренка развезены были по другим городам, и, таким образом, были уничтожены две последние поволжские шайки.

Восемьдесят лет, протекших со времени поимки последних разбойничьих атаманов, много изменили характер понизовой вольницы. Но с восьмидесятыми годами прошедшего столетия поволжская вольница не умерла окончательно, только разбойничьи шайки мельчали и редели и атаманы становились все жалче и бессильнее. Долго водились на Волге небольшие партии этих людей, разбойники «шалили» еще в тридцатых годах нынешнего столетия у Самары, в Жигулевских горах, но теперь уже ничего не слышно. Года три тому назад уничтожены, наконец, гардкаютные команды, нечто вроде древних

¹ Подпоручик Носков обвинялся в приеме воровских вещей и в потворстве разбойникам, а прежде этого, 1777 года, «за непорядочное солдата Драконова наказание палками и за неучтивые и грубые перед командиром его, Носкова, ответы, написанные в рапорте его угрозы, арестован был на одну неделю на хлеб и воду»; 1788 года, «за приход в канцелярию в ночное время пьяным образом, за битье солдата Боброва обнаженным тесаком и за порубление ему руки и за битье ж стоящего на часах солдата Карпова пинками и за посажение в тюрьму в цепь арестован был на три недели». Капрал Архипов и солдат Горев — его соучастники в перекраже у воров воровских вещей. Овчинников — это настоящая фамилия атамана Рыжего; Гончаров — товарищ Рыжего, называвшийся стародубским купцом; Журенков тоже соучастник Рыжего; Старков был не кто другой, как разбойник Шагала, что открыто было уже в 1782 году, по безымянному письму, поданному неизвестным человеком саратовскому наместнику Поливанову в приезде его в Царицын. Старков воспользовался именем умершего малороссиянина и скрылся с его паспортом.

«высылки» и «разъезды», наблюдавшие за спокойствием на Волге, — потому что понизовая вольница обратилась окончательно в бурлаков.

Но народная память, равнодушная к громким историческим именам, к славе преобразователей и великих администраторов, вечно сохраняет другие имена, не занесенные на страницы истории. Народ почти ничего не помнит из прошедшего нашей родины, но хорошо знает все, что имело отношение непосредственно к нему и к его спокойствию: у него своя история и свои громкие имена. Много полусказочного, полуправдивого расскажет он и теперь про разбойника Быкова, действовавшего около Казани в сороковых годах нынешнего столетия¹, про разбойника Гусева, несколько раз бегавшего из Сибири и несколько лет тому назад ограбившего собор в Саратове. Народ не знает гармонических стихов Пушкина и не сочувствует им, а между тем охотно разучил и поет, передавая по всему Поволжью, нескладную и нелепую песню, сочиненную этим разбойником, Гусевым, в саратовском остроге. Замечательно, что сам народ говорит, что эту песню сложил Гусев. Мы приведем ее здесь как образчик новейшей народной поэзии. Странный размер и присутствие рифмы обнаруживают знакомство разбойника с новейшими рифмованными песнями. Вот она:

Мы заочно, братцы, распротимся
С белой каменной тюрьмой,
Больше в ней сидеть не будем,
Скоро в путь пойдем большой.
Скоро нас в Сибирь погонят,
Мы не будем унывать,
Нам в Сибири не бывать,
В глаза ее не видать:
Здесь дороженька большая,
И с пути можно бежать;
Деревушка стоит к пути близко,
На краю-Самар-кабак,
Целовальник нам знакомый,
Он из нас же, из бродяг.
За полштоф ему вина
Только деньги заплатить,
Кандалы с нас снимает,
Можно будет нам бежать.
Ты зачем, бедный мальчишка,
В свою сторону бежал?

¹ В анатомическом кабинете Казанского университета находится бюст или слепок с головы этого разбойника и скелет из его костей, потому что он, кажется, умер в Казани, во время наказания. Там же мы видели скелет и бюст разбойника Чайкина.

Никого ты не спросился,
Кроме сердца своего.
Прежде пил ты, веселился,
Как имел свой капитал,
С товарищами поводился,
Капитал свой промотал.
Капиталу не сыстало,
Во неволю жить попал,
Во такую во неволю
В белый каменный острог.
Во неволе сидеть трудно,
Но кто знает про нее?
Посадили нас на неделю,
Мы сидели круглый год.
За тремя мы за стенами
Не видали светлый день;
Но, небось, Господь творец с нами,
Часты звезды нам в ночи сияли,
Мы и тут зарю видали,
Мы и тут не пропадем!
Часты звезды потухали,
Заря бела занялась,
Как зоринька занялась,
Барабан зорю пробил,
Барабанушка пробивал,
Ключник двери отпирал.
Ключник двери отпирает,
Офицер с требой идет,
Всех на имя нас зовет:
Одевайтесь, ребятенки,
В свои серы чапаны,
Вы берите сумочки, котомочки,
Вы ходите сверху вниз,
Говорите все одну речь.
Что за шутова коляска
Проявилась в городу?
Коней пару запрягают,
Подают ее сейчас;
Подают эту коляску
Ко парадному крыльцу,
Сажают бедного мальчишку
Меня задом наперед,
Подвозили бедного мальчишку
К эшафотному столбу.
Палач Федька разбежался,
Меня за руки берет.
Становит меня мальчишку
У траурного столба,
Велят мне, бедному мальчишке,
На восход солнце молиться,
Со всем миром проститься.
Палач Федька разбежался,
Рубашонку разорвал,
На машину меня клал.
На машину меня клали,

Руки, ноги привязали
Сурмятным ремнем.
Берет Федька кнутья в руки,
Закричал: брат, берегись!
Он ударил первый раз,
Полились слезы из глаз;
Он ударил другой раз,
Закричал я: помиуйте нас!..¹

¹ Песня эта, вероятно, сложена в конце сороковых годов, когда Гусев после убийства соборного сторожа был вторично (или в третий раз) пойман и сидел в остроге. В песне прощание с товарищами и описание позорного наказания кнутом; «шутова коляска» — позорная колесница; палач Федька — очень популярное лицо. Самар-кабак и целовальник напоминают «Бродягу» И. С. Аксакова.

АТАМАН БРАГИН И РАЗБОЙНИК ЗУБАКИН

«Наши историки (Карамзин, Соловьев и проч.) обратили преимущественное внимание, так сказать, на центростремительную силу нашей истории, почти вовсе опуская из виду значение силы центробежной... Эта центробежная сила нередко представляет таких же грозных деятелей, как и противоположная ей. Самые дикие ее обнаружения доказывают только, что в русском народе всегда жило, хоть и смутно, сознание необходимости существования, помимо государства, еще гражданского общества, — истина, которую вполне ясно и определенно выразить представлено было нашему времени. Нередко страшные проявления этой центробежной силы в нашей истории — не что иное, как протест ее против излишних притязаний силы ей противоположной.

В. Ламанский.

«О славянах в Малой Азии...»

В предлагаемом здесь небольшом очерке на первый план выступают не полководцы, не законодатели, а простые разбойники, которые заслужили право на внимание истории не личными качествами, не какими-либо особенными подвигами, а, во-первых, тем, что в них выразился характер эпохи, о которой у нас большею частью судят ошибочно; во-вторых, тем влиянием, какое имели они на окружавшую их среду (а эту среду составляли массы таких же серых людей, как и они сами); и, наконец, тем, что заставляли задумываться и тревожиться полководцев и законодателей.

Нельзя не пожалеть, что история разбоев, происходивших в нашем отечестве во второй половине XVIII столетия, мало разработана. Никто из писателей даже прошлого века не счел нужным обратить внимание на эти странные корпорации разбойников, как будто их не было вовсе. Только имя атамана Заметаева сохранилось в одной иностранной монографии, посвященной описанию походов Суворова. Ф. Антинг, автор весьма пространного сочинения: «*Les campagnes du Feldmaréchal Comte de Souvoroff-Rymnikski*», называет Заметаева «преемником Пугачева» (*successeur de Pugatschew*), дает ему эпитет «умного и мужественного», прибавляет, что

только быстро принятые меры помешали этому человеку достаточно усилиться, и в нескольких словах рассказывает об его подвигах на Каспийском море и об его поимке¹. Впрочем, и о Заметаеве упомянулось только потому, что подошел случай. А между тем история лиц, подобных Заметаеву, весьма любопытна и объясняет многое в истории прошлого века. Это был особенного рода протест слабого против сильного — протест, при котором не разбиралось средств именно вследствие уверенности, что честными путями ни в каком случае выиграть ничего невозможно.

Почти в одно время с Заметаевым действовали еще атаманы Кулага, Брагин и разбойник Зубакин, каждый с своею шайкою. Кулага, как и Заметаев, производил свои пиратские экспедиции на Каспийском море и на Волге, на легких лодочках, тогда как последние действовали на суше, принимая отдаленные походы в глубь России. Брагин и Зубакин не пользовались такою громкою популярностью в России, как Заметаев, который, как выражался о нем Суворов, «был оглашаем в разных странах»; но их шайка имела соучастников на Волге, на Илавле, на Медведице, Хопре и Вороне-реке. Товарищи Брагина и Зубакина принадлежали к разным сословиям: были между ними казаки, малороссияне, русские рекруты и русские крестьяне; косвенно к корпорации их принадлежали помещики, и духовенство, и чиновники. Разбой-

¹ Ф. Антинг называет Заметаева *Semetriow* и *Sametriow*. Антинг говорит, что этот разбойник «un successeur de Pugatschew, nommé *Semetriow*, s'était montré sur les bords de la mer Caspienne. *Semetriow* avait exercé divers brigandages contre les Turcs, il s'était emparé de quelques vaisseaux marchands avec 4 canons, il faisait des incursions par eau et par terre et il s'approchait d'Astracan du côté du lac Aral. — On prit aussitôt contre lui les mesures nécessaires. Le comte (Суворов) envoya 2 bataillons avec de l'artillerie et quelques escadrons de dragons dont les uns s'embarquèrent et les autres descendirent le Wolga sur la rive. En même temps il fit part de cette nouvelle au gouverneur d'Astracan. *Semetriow* avait été simple soldat d'infanterie sous Tottleben en Géorgie, ensuite appointé, et il avait déserté. Il était homme d'esprit et de courage, mais il n'eut pas le temps de se procurer des moyens; son parti était d'environ 300 hommes avec lesquels il vint à Tschernoyar, d'où il se retira au travers des landes d'Astracan à peu près vers le milieu du Don. Ses gens qui apprirent qu'on le poursuivait, l'abandonèrent on ruote, et quand il arriva sur le Don, il lui restait tout au plus dix hommes. De là il en envoya quelques uns chercher du pain dans un village voisin. On les arrêta comme suspects. Ils indiquèrent l'endroit où il se trouvait à un demi-mille de là dans le plain. On y envoya des Cosaques du Don qui le firent prisonnier ainsi que les autres pendant qu'ils dormaient». («*Les campagnes*» etc., par Frédéric Anting, *Trat. de l'Allemand* par M. de Serionne, Membre de plus academies. Avec des planches. Gotha. 1799. I vol., p. 170—171). Ср. нашу статью о Заметаеве на стр 179.

ничьи станы этой шайки находились не в одном месте: они собирались то в один притон, то в другой; сегодня стан их на Медведице, на Илавле, а через месяц они держат «воровской» совет где-нибудь за триста, за четыреста верст оттуда. Перед отправлением в поход, они сходились в одном из станов, советовались, куда идти, вооружались, запасались иногда подводами для перевозки добычи и под предводительством атамана, есаула или одного из старших и опытных разбойников, каким был Зубакии, шли на промысел. После удачного или неудачного похода, когда шум о разбоях распространится по городам и селам и правительство поспешит принять против разбойников меры, шайка разбредется в разные стороны: кто убит или пойман и попал в острог, кто идет на Волгу, кто за Волгу, иной на Илавлю, на Каспийское взморье, кто в лес и степи, и шатаются беглецы до нового случая, до призыва атаманского, распевая старинные песни про свои станы да леса темные:

Леса ли вы, лесочки, леса темные,
Кусты ли вы, кусточки, кусты частые!
Ах, станы ли вы, станочки, станы теплые!
Еще все-то вы кусточки уж повыжжены,
Еще все наши станочки поразорены,
Еще все наши товарищи переиманы.
Как и первый-то товарищ в граде Киеве,
А второй-то наш товарищ в каменной Москве,
Как и третий-то товарищ в славном Питере.
Я остался, добрый молодец, в темных лесах...
Закружилась моя головушка, закужилась!..

Об одной из таких экспедиций шайки Брагина и Зубакина мы намерены рассказать здесь по старым архивным документам¹. Как оказывается из дела, разбойники снарядились в поход наскоро, и хотя шайка их была многочисленна, однако, опасаясь ли возбудить подозрение, или рассчитывая, что небольшими партиями удобнее делать набеги, Брагин собрал в поле лишь несколько человек. Это было летом 1775 года. Он снаряжался в путь в то самое время, когда Кулага пробирался от Астрахани вверх по Волге, а Заметаев, покончив разбой на Каспийском море и простившись с своим есаулом после победы над высланным против них отрядом, пробирался на Дон, уклоняясь от посланных Суворовым драгунских эскадронов.

В то время когда Брагин собрал в одном из своих станов несколько человек из предводительствуемой им шайки, в Ка-

¹ Из числа полученных нами от Н.И. Костомарова.

мышин приехал из верховых городов купец, которого в городе знали под именем Белевцова. Он был чем-то вроде тархана, хотя не торговал ничем; иногда являлся в виде перекупщика старых вещей, в другой раз приезжал в качестве хлебного торговца; был он и рыбником, и поверенным по делам; от чужого имени продавал он даже людей, которых брал Бог весть откуда. Одним словом, личность довольно подозрительного свойства, и видно было, что профессия торговца маскировала что-то другое. На этот раз Белевцов приезжал для покупки рыбы, но, неизвестно почему, рыбы не купил, а задумал какое-то новое дело. Наезжая в Камышин, он останавливался обыкновенно у одного малороссиянина, камышинского бобыля, по прозванию Пучок. Следует заметить, что около того времени среднее Поволжье стало заселяться выходцами из Украины, которых называли «черкасами». Стесняемые на родине в своих вольностях посполитые люди, особенно из наиболее теснимых местностей, разбрелись по всей России: кто шел в Запорожскую Сечь, к тогдашнему атаману Потемкину, кто на Дон, иные пробирались на Волгу. Большие передвижения начались особенно после жестокого усмирения бунта гайдамаков: избавившись от кола и виселицы, бездомные и бесприютные гайдамаки рассыпались по всей южной России, «с ножом за голенищем», по выражению народного поэта. Потянулись гайдамаки и к привольному Поволжью — кто пошел в крестьяне, кто в бурлаки на суда, поделались честными гражданами; кто в бобыли; но при своих честных занятиях не забывали и гайдамацких привычек, особенно когда труд не спасал от бедности. Оттого так часто и охотно приставали они к разбойничьим шайкам; иные из них сами делались атаманами. Из числа таких переселенцев было и семейство бобыля Пучка. Белевцов, будучи давно знаком с бобылем, пригласил его отправиться с ним в Русь для разных торговых дел, подговорив еще другого малороссиянина, тоже давно ему знакомого и приятеля Пучка. Белевцов звал их на Медведицу, в село Кочетовку, для покупки, как он говорил, ржаной и пшеничной муки на продажу. Он обещал «не обидеть» их, когда от этой операции получит прибыль. Малороссияне согласились, и все втроем отправились в путь на двух телегах.

Но они ехали недолго. За речкою Карамышем, за поселком Топовкою, когда они проезжали по степи, из буерака, «наперехват их», выехало несколько вооруженных всадников.

— Что за люди? — закричали они ехавшим. — Куда едете?

Те отвечали, что едут из Камышина за покупкой хлеба. Тогда неизвестные вооруженные люди велели им идти с собою к разбойничьему стану, приглашая также вступить в шайку. Это были разбойники. Они тем более хотели завербовать к себе в соучастники трех своих пленников, что Белевцов, по роду своей торговли, должен был очень хорошо знать, где разбойники могут получить важную добычу, и мог указать им на самых богатых людей в тех губерниях, по которым он разъезжал. Разбойники, кажется, знали, что за человек этот Белевцов, хотя, быть может, он и не принадлежал к их шайке. Но ни Белевцов, ни товарищи его, разумеется, не желали следовать за разбойниками к их притону. Разбойники грозили им смертью, били их и особенно Белевцова, в котором наиболее нуждались. Не имея сил сопротивляться, пойманные торгаши должны были следовать за разбойниками, которые и привели их в свой стан.

В то время когда нижнее Поволжье было еще так мало заселено, когда от поселка к поселку вели пустынные степные тропы или извилистые лесные дорожки, когда дремучие леса, стоявшие нетронутыми по отлогостям и вершинам волжских гор и по всем впадающим в Волгу, Медведицу и Хопер речкам, представляли безопасное убежище всякой вольнице — разбойничьим притонам было много места. Темный лес, высокие камыши у речек и глубокие степные балки, буераки и яры покрывали днем все, что делалось ночью. Вновь заводимый где-нибудь на отшибе поселок, глухая, заросшая лесом деревенька, степные хутора и уметы, гумна, раскиданные по полям, вдали от жилья, и даже большие села и кабаки по городам служили притонами для разбойников. Жить было тяжело, и потому надо было или жить на чужой счет и грабить, или принимать у себя награбленное. Вот отчего так много было в то время пристанодержателей и так много было воровских станов. Там же, где был встречен Белевцов, местность представляла и другие удобства: около Топовки расстилается ровная степь, усеянная множеством курганов, которые слывут в народе под именем «татарских могил». Степь эта представляет плоскую возвышенность, владычествующую над всею окрестностью, и между курганами заметнее прочих Большой курган, с которого глаз видит все, что делается вокруг, далеко в степи. Разбойники умели выбрать эту местность для своего стана: с Большого кургана они наблюдали за каждым проезжим и

проходим, тем более что здесь шла большая дорога, ведущая от Поволжья в «Русь». И при Пугачеве около Топовки было особенное движение.

Разбойники и их пленные пробыли в стане два дня. Это был притон Брагина и Зубакина. Сам Брагин находился в то время в стане и правил им как атаман. Брагин служил когда-то как казак волжского войска в московском легионе и бежал оттуда. Это тот самый легион, который формировался в Поволжье за год до появления Пугачева и главным командиром которого был известный князь Прозоровский; в этом легионе служил предшественник Пугачева, молодой самозванец Богомоллов, и часть этого самого легиона, стоявшая у Дубовки, взбунтовалась в 1772 году, защищая, в лице Богомоллова, покойного императора Петра III и требуя, чтобы мнимый царь вел бунтовщиков на Москву. Должно думать, что Брагин знал Богомоллова. Во время пребывания в стане, в продолжение двух дней, Брагин, не разбиравший средств для достижения цели, успел сделать все, что ему было нужно: он жестоко мучил Белевцова, принуждая вступить в шайку и быть ее провожатым по русским селам; взятым с Белевцовым малороссиянам грозили смертью, если бы они не согласились следовать за шайкою¹. Белевцов и малороссияне должны были повиноваться. Брагин и другие разбойники, находившиеся в стане, из которых один был волжский казак Кошчев, а другие малороссияне, вооружились перед отъездом на разбой, точно шли на сражение: все они сели на лошадей, каждый взял по ружью и по пике с дротиком, у каждого была шашка и пистолет. Неизвестно, был ли тогда в стане и Зубакин: из показаний этого не видно. Может быть, личность Брагина как атамана стояла на первом плане и закрывала собою простого, хоть и опытного разбойника; только последующие обстоятельства показывают, что Зубакин участвовал в этой экспедиции и более других навлек на себя преследование правительства. Очень может быть, что он пристал к шайке уже после, под новым вымышленным именем, которых у него было так много.

Впереди этой выступившей в путь партии ехал Брагин с разбойниками, а за ними следовал Белевцов с товарищами на двух телегах. Поезд имел вид небольшого казацкого отряда, посланного с каким-нибудь важным поручением, и действи-

¹ «Тот Брагин с Кошчевым, мучивши немилостью Лукьяна Белевцова, принуждали, чтоб он, как из российских мест, указал и повел их в лучшие места для разбоя и воровства» (слова Пучка на допросе).

тельно, когда в селах и деревнях, через которые отряду приходилось проезжать, спрашивали разбойников, куда и зачем они едут, Брагин отвечал, что он снаряжен из Дубовки «с командою по делу». Продовольствие для маленького отряда покупалось на деньги, а для ночлега отряд останавливался где-нибудь в поле или в лесу, в стороне от жилья. В то смутное время, когда четверть населения России, беглые крестьяне, солдаты, раскольники и даже не беглые, но нищие земледельцы всех наименований, бродили по белу свету, мыкаясь из конца в конец и питаясь грабежом и воровством, когда дубинка и ружье кормили сытнее, чем плуг и соха, военные разъезды «для сыску воров и разбойников» ходили по всем направлениям, по большим и малым дорогам, и потому разбойничий отряд Брагина не мог никому внушить подозрения; многие, может быть, думали, что он-то и спасет их от оборванных шаек, шатавшихся по проселкам.

По переправе через реку Медведицу поезд останавливался на время, и атаман ездил зачем-то в село Кочетовку, ко вдове капитана Агишева, которая, по словам одного из разбойников, «Брагину незнаемо почему называется своя». Есть причины думать, что между этой помещицей и атаманом разбойников существовали какие-то странные отношения, может быть, даже родственные, но всего скорей, что это было простое знакомство. Брагин мог заезжать к ней во всякое время, посещения его не казались ни для кого странными и не считались предосудительными; в отсутствие помещицы его принимали крестьяне и дворовые люди Агишевой как знакомого их господжи. Может быть, Агишева не знала о профессии Брагина, хотя трудно было не догадаться, каким ремеслом занимается этот странный гость. А может быть, госпожа Агишева и посвящена была в тайну имени и существования атамана, и это тем вероятнее, что разбойники, приезжавшие к нему, отправлялись обыкновенно прямо к Агишевой, когда не находили своего предводителя в стане. На этот раз Брагин не застал вдовы дома и потому, взяв у дворовых людей припасов на дорогу, скоро воротился к товарищам, и шайка отправилась далее.

Так ехали они пять дней по направлению к северу, «в Русь», как они говорили, в верховые города. Доехали наконец почти до Вороны-реки.

В одну ночь, по указанию Белевцова, Брагин подступил с своей шайкой к довольно большой деревне, где жил сам помещик, поручик Исеев. Думали, вероятно, найти у него большие деньги, или, быть может, Белевцов имел свои при-

чины не любить Исеева и желал его гибели. Как бы то ни было, разбойники въехали в деревню и приблизились к господской усадьбе. Рассчитав, что только быстрота и нечаянность нападения помогут им исполнить свой замысел и что ничтожной горсти разбойников не устоять против целой деревни, Брагин приказал верховым пустить лошадей во весь опор и скакать прямо к помещику на двор. Прискакав к самому дому, разбойники сделали залп из ружей прямо в окно помещицкого дома и потом закричали, чтобы помещик тотчас выходил. Несчастный вышел на крыльцо, и Брагин потребовал от него денег. Исеев говорил, что денег у него нет; разбойники требовали, и один из них, малороссиянин, по-видимому, самый жестокий из всей шайки (мы догадываемся, что это и был сам Зубакин), схватил несчастного Исеева, стащил с крыльца и тут же повесил его на воротах на волосяном аркане. В то время ворота всегда заменяли виселицу, особенно когда требовалось быстрое исполнение приговора; сколько жертв погибло на воротах во время форсированного марша Пугачева к Царицыну, на расстоянии тысячи верст!.. Напрасно Пучок с товарищем, которые оставались за воротами у своих телег, видя эту сцену с бедным Исеевым, просили разбойника не делать убийства, напрасно они плакали перед ним.

— Коли его не повесим, сделает за нами погоню, — сказал разбойник и поднял несчастного к воротам.

«И как стал малороссиянин Степан (он же и Фрол Зубакин) его, Исеева, вешать, то мы его, чтобы не чинил смертного убийства, плакавши слезно просили, только он, сказавши, что-де когда не повесим, сделает погоню... не послушал», — говорил после Пучок, когда его допрашивали в Камышине.

Не медля ни минуты, разбойники вломились в дом и начали обыск, но, несмотря на все усилия, нашли самую ничтожную сумму денег, которая даже не вознаграждала их за ужасную смерть повешенного ими помещика: во всем доме отыскивали только около трех рублей да захватили платье, которое казалось поценнее. Жена несчастного и ее маленькие дети умоляли разбойников оставить им жизнь, и Брагин, сжалившись над их беззащитностью, тронутый просьбами детей и бедной матери или не желая напрасно проливать кровь, сказал Исеевой:

— Бог, государь и мы тебя прощаем!

В деревне слышали между тем, что на господском дворе происходит что-то недоброе. Дворовые раньше поднялись на

шум и выбежали. Стрельба разбудила и всю деревню. Собралась огромная толпа народа, и все вломилось на барский двор. Тогда Брагин закричал сбежавшемуся народу:

— Кто станет мешать моему делу, всех перестреляю и деревню выжгу!..

Двух из разбойников он выслал за ворота на улицу, где в то время, как мы сказали, находился Белевцов с товарищами, и они развели около самого двора большой костер, угрожая сжечь деревню, если кто-нибудь из народа осмелится препятствовать им в грабеже; они жгли холст и показывали вид, что готовят растопку для деревни. Между тем сам Брагин и другие разбойники таскали из дому все, что в нем было годного. Все награбленное они уложили в телеги, вывели из конюшни пару господских лошадей и, прежде чем народ мог прийти в себя, ускакали из деревни.

Станным может показаться этот смелый набег ничтожной горсти разбойников на большую населенную деревню. Но не забудем, что это происходило в 1775 году. В то время имя Пугачева было еще у всех в памяти. Хотя народ и слышал, что на Москве казнили какого-то Пугачева, но он этим слухам верил только наполовину. Слух между тем ходил о каком-то Заметаеве, который должен был сделаться освободителем народа; слух этот, как известно, встревожил даже Суворова и графа Петра Панина, занимавшихся восстановлением тишины в Поволжье, потому что имя Заметаева произносилось даже за границей и ему придавали какое-то особенное значение. Неудивительно, что народ постоянно находился в каком-то напряженном состоянии, чего-то боясь и ожидая с надеждой перемены своей доли. Оттого он даже не знал, за кого принимать разбойников — за врагов ли, или за своих друзей, предшественников таинственного освободителя. Этим состоянием умов пользовался и Брагин, а потому обращался к народу с такою фразой: «Бог, государь а мы тебя прощаем!»..

По убийстве Исева, разбойники продолжали свой путь в глубь России, переехали Ворону и следовали вдоль этой реки. Три дня они ехали таким образом, не встречая ни военных разъездов, ни других высылков от командиров, находившихся везде «у сыску воров и разбойников». Командиры, вероятно, предпочитали сидеть в городах и только доносили в государственную военную коллегию о совершившихся преступлениях или гонялись за шайками, на которые им указывало местное начальство, отправляясь на поиски уже тогда, когда разбойники уходили в глубь лесов или успевали прятаться в станах

и когда искать уже было нечего. Иногда поиски их возобновлялись с большею силой, когда они нечаянно натыкались на мертвое тело, на ограбленный обоз, на сожженное жилье, и, тщетно прождав прихода разбойников, доносили куда следует, что все обстоит благополучно, что они продолжают наблюдать за спокойствием страны «недреманным оком». Чаще всего поиски начинались по взятии в кабаке какого-нибудь подозрительного бродяги, который и наводил командиров на следы преступлений, утаивая в показании девяносто девять процентов из всего, что сделано им самим и артелью, к которой он принадлежал и для выгод которой не жалел своей руки.

Шайка Брагина ехала благополучно до новой встречи. Встреча не замедлила порадовать разбойников. В одном месте, недалеко от Вороны, в лесу, они нагнали каких-то путешественников и решились попытаться счастья. Впереди ехал, как видно, барский «берлин», а за ним следовали три повозки с людьми, как обыкновенно ездили богатые люди в то время. Тогда знатные господа путешествовали по России с маленькими отрядами своей дворцовой конницы, вооруженной по всем правилам военного искусства, а менее знатные брали с собой дворовых людей, снабжали их ружьями, пистолетами, кинжалами, дубинами и чем попало. Когда «берлин» остановился за чем-то на горе, а следовавшие за ним повозки стали спускаться под гору, к Вороне-реке, разбойники решились напасть на путешественников и употребили тот же маневр, какой им так хорошо удался в имени Исева. По команде Брагина, разбойники во весь опор пустились к «берлину», подскакали и сделали по нем залп из ружей. По счастью, никто из находившихся в карете не был убит, даже никто не был ранен, может быть, потому что пули, пущенные из дурных казацких ружей, не могли пробить кузов экипажа. Это нечаянное нападение навело такой ужас на путешественников, что никто не думал защищаться и даже люди, испуганные выстрелами, не только не думали спасать господина, но, быть может, не чаяли даже спасти и свою собственную жизнь.

Из «берлина» вышел какой-то господин с дамой и небольшою девочкой. Застигнутые врасплох, покинутые людьми (их было семь человек, но, испуганные, они не смели тронуться с места), путешественники не знали, что делать. Они умоляли Брагина взять все, что у них есть, только не лишать жизни. Для Брагина было уже достаточно того убийства, которое он сделал три дня назад, и он не тронул этих новых жертв. Но, собрав всех телохранителей путешественника в кучу, он по-

ставил тут же его самого с дамой и девочкой и велел прочим разбойникам выбирать все из возов и сундуков «берлина». Они взяли у путешественника пятьсот рублей серебряною монетой, множество платья, серебряной посуды, ложек, стаканов, чарок и немалое количество оловянной и медной посуды; кроме того, взяли у них четыре лошади. Путешественника и его прислугу Брагин не велел обижать, и сам никого не тронул. Если бы не свирепость Зубакина, атаман, вероятно, не погубил бы и Исеева.

После открылось, что этот новый ограбленный был майор Зайцев с женой и дочерью. Может быть, после казни Пугачева и по усмирении народного волнения, Зайцев возвращался теперь в покинутое имение, из Москвы или другого безопасного города, где он жил, пока шайки бродили по всей юго-восточной половине России; может быть, с ним находилось теперь все его достояние; как бы то ни было, но Брагин не оставил ему ничего ценного.

Ограбив Зайцева, разбойники поворотили назад и снова переехали Ворону, приняв направление к югу. Можно думать, что дальнейшее их следование по направлению к северу и новые разбои могли быть уже не безопасны, тем более что разбойники заходили уже в очень заселенные местности средней России. Поход их мог кончиться весьма трагически. Атаман знал это и потому решился отступить заблаговременно. Зубакин на время исчезает из виду, и об нем не слышно долго. После оказывается, что он опять переменял имя и действовал в пользу своей шайки.

В первую же ночь, проехав верст тридцать от места разбоя, отряд Брагина, своротив в лес, остановился отдохнуть и сделал «дуван», то есть дележ всему награбленному. Белевцову, как человеку торговому, официально называвшемуся купцом, отдали все отнятое у Исеева и Зайцева имущество, серебряную, медную и оловянную посуду и пару лошадей; Пучку с товарищем уделили часть денег, а все остальное взял себе Брагин, по праву атамана шайки. Здесь же разбойники положили в совете отпустить Пучка с товарищем на родину, а Белевцов должен был взять с собой Кощеева и под видом купца ехать к Волге, и именно в Дубовку, для продажи награбленного имущества. В то время Дубовка была самым удобным для этого местом. Волжские казаки вообще никогда не пользовались репутацией хороших граждан, и Нижнее Поволжье редко было спокойно; к Дубовке шли выходцы («сходцы») из разных мест, преимущественно из верховых городов и из Мало-

россии; река Илавля считалась притоном разбойников и бродяг; туда шли с Волги беглые бурлаки, если находили, что на Волге им оставаться опасно; туда стремились беглые солдаты и рекруты, беглые донские и волжские казаки, потому что здесь был конец цивилизованной России и начало Азии — предел, где было легко дышать всякой вольнице. Там находили притон знаменитые поволжские атаманы разбойников; там явился предшественник Пугачева, самозванец Богомолов; там же думал привести в исполнение свой план несчастный последователь Пугачева и Богомолова самозванец Ханин, объявивший о своем высоком происхождении через три года после описываемых нами событий и, может быть, так же как Богомолов, лично знавший Брагина с товарищами. Отправляя Белевцова с Кошечевым в Дубовку, Брагин снабдил их деньгами и велел им возвратиться к нему опять и искать его за Медведицей, у капитанши Агишевой, или же в разбойничьем стане, за поселком Топовкою, там, где взят был Белевцов и Пучок с товарищами. Отпуская Пучка на родину, Брагин подтверждал под прещением смерти, чтобы про него и про его товарищей ни в каком случае не сказывали. Не зная дороги, Пучок просил, чтобы Брагин позволил ему ехать вместе с Белевцовым и Кошечевым.

Простившись с атаманом, они отправились в Поволжье «глухими дорогами, которые так хорошо были известны Белевцову. Дорогой, в селе Баклушах, Белевцов нанял себе работники одного экономического крестьянина, который скорее напоминал какого-нибудь коновода воровской партии, чем простого мужичка-работника; даже волосы носил по казачьему или по воровскому обычаю, постригаясь «в кругло» или в кружало. В паспорте он назывался Васильем Михайловым. После мы узнаем, что настоящее имя этого работника было очень хорошо известно Белевцову и в особенности Кащееву. Наняв этого работника, Белевцов вывел потом свою партию на Илавлю, к Петрулиной мельнице. С этой мельницей связано много преданий и эпизодов из разбойничьих подвигов того времени: она была удобнейшим местом для притонов и очень часто упоминается во всех показаниях воровских людей прошлого века. Здесь-то разбойники расстались: Белевцов с Кошечевым и нанятым работником поехали в Дубовку, а Пучок с товарищем возвратились в Камышин; здесь они явились к своему сотскому, и, когда тот спросил их, куда они ездили, они отвечали, что ездили было «в Русь» покупать хлеба, но не купили.

Между тем Белевцов и нанятый им работник явились в Дубовку и стали продавать награбленное имущество. Только Кошчев знал, кто они такие; он приехал вместе с ними в Дубовку, но, впрочем, не как товарищ, а как будто лицо совершенно постороннее. Он рассказывал, что встретил купца с работником на дороге, согласился с ними ехать в Дубовку торговать рыбою, а потому поместил их в квартире у своего родственника, есаула волжского войска Цербакова. Купец, однако, возбудил подозрение, сперва в капитане московского легиона, ротмистре Дьяченкове, которому он продавал некоторые вещи, а потом подозрительно взглянули на его торговлю и местные власти волжского войска: войсковой атаман Василий Персидский, имя которого так известно и громко в истории южного Поволжья, войсковые старшины — Федор Персидский и Дмитрий Савельев и войсковой дьяк Криюлин. Мы не знаем, какими побуждениями руководствовались власти, только подозрительный купец и его работник были арестованы и продержаны под караулом более месяца. Товар их также был задержан¹. В войсковой канцелярии Белевцов говорил, что приехал торговать и что у него есть законный билет, что он житель Московской губернии, Переяславского уезда, пригородка Михайлова, купец Лукьян Малахов; что товар куплен им на Хопре, в селе Макарове, у крестьян, которые признавались откровенно, что «имеющаяся она у них пажить набрана ими во время бывшего возмущения», то есть в смутную пору неурядиц, произведенных в России Пугачевым. Он представил при этом и билет свой, выданный из Михайловской ратуши. Для властей сомнительного не виделось, кажется, ничего, тем более что и купеческий работник имел законный вид, выданный ему из села Баклуш Верхоломовского уезда, от сельского старосты, лучших стариков и всего мира. Относительно формы законность была на стороне арестованных. Нашлись, кажется, и другие обстоятельства, которыми власти были расположены в их пользу; поэтому нашлись в законах подходящие к делу благоприятные статейки. Статьи эти живо

¹ В имеющихся у нас бумагах находится подробная опись имущества, взятого разбойниками у Исеева и Зайцева. При чтении этой описи, будто живые, встают перед нами покойники, жильцы «золотого на севере века», в шелковых красных, алых, белых с разводами и с «позументами», и даже в ситцевых камзолах, в робронах цветной тафты, в лазоревых, синих и набойчатых шугаях; тут есть и детские атласные одеяльда с кружевами, и мантильи, и скатерти браные, и шляпы с «прозументами», и весь тогдашний даский костюм и пр.

характеризуют эпоху, в которую они писались; это были приложения к манифесту, изданному по заключении «вечного мира» с Оттоманскою Портою и по усмирении пугачевского бунта. В них говорится:

«Всем тем городам, селам, селениям, жилищам, местам и людям, в оных живущим и вне оных находящимся, одним словом, всем во внутреннем бунте, возмущении и беспокойстве и неустройстве 1773 и 1774 годов участвовавшим, по большей части от ослепления, глупости, невежества или суеверия, ее императорского величества всемилостивейшее общее и частное прощение, предавая все прошедшее вечному забвению и глубокому молчанию, и запрещает ее императорское величество впредь чинить о сих делах притязание и изыскание» (пункт 38).

«Вследствие сего всемилостивейшего прощения повелевает производство следствий и взыскание вытей по вышеописанному случаю о происшедших разграблениях и о получении не только в Оренбургской, Казанской и Нижегородской, но и во всех прочих губерниях, в которых с разграбленными и переходившими из рук в руки пожитками и вещами люди оказываться могут, оные следствия и взыскания уничтожить и оставить, ибо дела такового рода выходят из того общественного порядка, для которого законы и их течение устроены, прекращение же таковых дел для народного спокойствия подлежит единственно самодержавной ее императорского величества власти, которая повелевает ныне предать вышеупомянутыя дела на вечное время забвению и глубокому молчанию» (пункт 39).

Основываясь на этих двух пунктах, дубовское начальство освободило арестантов и возвратило им имущество. После мы увидим, какую неблагоприятную тень набросило это обстоятельство на имена Персидских, Савельева и других властей волжского войска, уже очернившего свою репутацию перед правительством присягою на верность Пугачеву. (Что Волжское войско признало Пугачева государем, на это мы имеем положительные доказательства, которые не были известны ни Пушкину, ни другим историкам, касавшимся этой любопытной эпохи.)

Когда все это происходило в Дубовке, весть об убийстве Исеева распространилась между тем в окрестностях и дошла до правительства. Слухи ходили, что шайки разбойников наполняют Воронежскую и Астраханскую губернии, без всякого страха врываются в деревни, обирают проезжих и держат страну в постоянной опасности. Прошла весть, что

пойманы самые опасные разбойничьи атаманы Заметаев, Кулага, переловлены шайки атаманов Сучкова, Тарелкина и других; а между тем появились другие партии и другие атаманы, о которых прежде не слышали. Тотчас донесли об этих происшествиях Григорию Александровичу Потемкину, в то время еще графу вновь пожалованному, но который, однако, был уже сенатором, вице-президентом военной коллегии, командором всех легких и нерегулярных войск и проч., и проч. Ни мало не медля, Потемкин поспешил командировать в Верхнеломовский и Нижнеломовский уезды отряд драгун под командою секунд-майора смоленского драгунского полка Циммермана. Этому отряду поручено было действовать против разбойников и, в особенности, против известной в окрестностях шайки Брагина и Зубакина. Думали, что главные разбойники где-нибудь близко; начальственные лица слышали, кажется, об одном Зубакине, а фамилии самого атамана не знали и потому распорядились поисками Зубакина с шайкою. Но шайку его настичь было не легко, а еще труднее было поймать самого Зубакина, не только Брагина, который точно пропал без вести, хотя, быть может, покойно жил у вдовы Агишевой, как сам говорил когда-то своим товарищам. Вообще дело Циммермана было нелегкое. В то время в разбойники поступал всякий, кому тяжело было жить; а кому тогда не тяжело было? В разбой шел горемыка, не имевший ни кола ни двора, ни сохи, ни лошади; шел тот, кого томил голод и тяготило большое, необутое и не одетое семейство, кому не под силу была барщина, оброк и судейское вымогание посул и поклонов; шел и тот, в ком играла молодая кровь, кого мутило зелено вино. Ловить разбойников было потому нелегко, что каждый, уходя в разбой, брал свой паспорт и добывал себе в кабаке другой, а иногда запасался и тремя паспортами, чтобы, в случае поимки, предъявить тот, который подручнее; в одной воеводской канцелярии он является Иваном, в другой Петром, а в третьей — Карпом, а домой приходит с собственным именем и с рублевиками в кожаной мошне. Зато уже и следственные комиссии вознаграждали себя за труд, с каким сопряжена была поимка разбойников: сыщики хватили правого и виноватого, забирали всякого, кто давал разбойнику воды напиться, не зная, что поит разбойника, или, по тогдашнему выражению, «назаведомо», водили к пытке баб, ни душой ни телом не виноватых в преступлениях мужей и детей. Циммерман успел, однако, захватить многих из шайки Брагина и Зубакина; но ни Зубакин, ни Брагин

не давались ему в руки; другие коноводы шайки были также в разброде.

Во время таких трудных и бесполезных поисков один крестьянин из села Зубриловки (на Хопре), Илья Андреев, между прочим, рассказал Циммерману, что в сентябре этого года он видел в Дубовке, у есаула Щербакова, трех колодников и что один из этих колодников рассказывал ему о своей родине, о знакомых; почему-то показалось Циммерману, что арестант, о котором ему говорил Илья Андреев, был тот Зубакин, которого он тщетно искал; по крайней мере, наружность этого арестанта, как описывал ее Андреев, соответствовала приметам Зубакина. Циммерман тотчас же командировал в Дубовку квартирмейстера Кулаковского, несколько драгун и с ними крестьянина Андреева и еще другого мужика, который лично знал Зубакина; поручил им «опознать» арестанта и вытребовать его и его товарищей у дубовского начальства, в случае если это был в самом деле Зубакин.

Действительно, Андреев видел у есаула Щербакова именно тех людей, которые нужны были Циммерману. Но, как мы сказали выше, люди эти были уже освобождены из-под ареста. Из войсковой канцелярии выпустили их еще в начале октября, а Кулаковский прибыл в Дубовку только 27 ноября. Кулаковский не нашел, кого искал. «Опознателю» Андрееву показаны были все арестанты, находившиеся тогда в Дубовке, но он не нашел между ними того, с которым встретился у есаула Щербакова. Тут только догадалось дубовское начальство (сомнительно, чтобы оно не подозревало чего-нибудь прежде), что выпущенные им арестанты под скромным именем торгашей скрывали важные преступления и что их не следовало освобождать даже и на основании манифеста. Тогда, желая поправить дело, оно разослало в тот же день войсковые грамоты ко всем станичным атаманам, старшинам и казакам волжского войска, а также послало уведомления в верховые станицы. В грамотах говорилось: «Войсковая канцелярия, усомнясь, не из тех ли упущенных людей будет тот злодей Зубакин, сим вам, станичным атаманам, повелевает предуказанных выпущенных из-под караула купца Малахова и работника его Михайлова приказать казакам сыскивать и, если об них, где они находятся, уведано будет, то старались бы, поймав, представить в войсковую канцелярию неотменно, и вам, станичным атаманам, об оном учинить по сей грамоте неотменное исполнение». Тогда же разосланы были во все места нарочные с публикациями. Но

не дальше как через два дня в Дубовке узнали, что Малахов с работником пойманы в Камышине, где и содержатся под караулом. Они схвачены, как тогда выражались, «с продажными неприличными вещами». В Камышине, кажется, не догадывались, кто такие эти люди, хотя и подозревали, что их скромная профессия скрывает что-то недоброе. Тайну их имени знали только два человека в городе, которые и навещали их в тюрьме под видом простых подавателей милостыни. Это были бобыль Пучок, участвовавший в последнем разбое Брагина, и его приятель.

Дубовское начальство отправило в Камышин нарочного просить тамошние власти, чтобы арестанты отосланы были к Циммерману. Но камышинские власти не отдали арестантов нарочному, опасаясь, вероятно, чтобы из Дубовки не выпустили их опять под каким-нибудь благовидным предлогом, а прислали им только описание примет этих колодников.

Здесь начинается вторая половина походов Зубакина и Брагина, из которой едва ли можно вывести положительное заключение, кто был более виноват — разбойничья ли шайка, или лица, которым поручено было охранение спокойствия страны. Картина «золотого века» рисуется здесь без прикрас, и, глядя на нее, невольно радуешься, что век этот уже не повторится.

Имя Потемкина произвело магическое действие на дубовское начальство. Когда там узнали, что этот вельможа лично интересуется ходом поисков за Зубакиным и его шайкой, купец Малахов и его работник, бывшие в их руках, но ускользнувшие по их же оплошности, высоко поднялись в мнении дубовских старшин. Теперь они писали в Камышин, чтобы этих арестантов берегли, держали под крепким караулом, и проч. Притом, чувствуя свою вину более, чем, может быть, кто-нибудь мог догадываться, начальники волжского войска, видимо, стали заискивать у Циммермана. Извещая его о поимке Малахова с работником в Камышине, они распространяются и о своем личном усердии, и о заслугах всего волжского войска. Они говорят, что «таковых злодеев (как Зубакин) старанием войсковой канцелярии в нынешнем году до несколько человек, в том числе и славный разбойник Кулагин с товарищи, переловлены и отосланы в подлежащее место»¹. Они послали

¹ Атамана Кулагу во всех тогдашних официальных бумагах называют славным разбойником — эпитет, которого не удавалось даже знаменитый Заметаев.

к Циммерману описание примет Малахова с работником, отправили даже особого нарочного, казацкого старшину, для личных объяснений. Вообще заметно, что в Дубовке очень суетились, да и было отчего.

Объяснившись с нарочным, Циммерман не остановился, однако, на этом объяснении. Ему нужно было довести дело до конца. Он уведомлял дубовское начальство, что, считая за нужное довести до сведения правительства «о усердии, в соискании тех злодеев, от оной станицы употребленном и употребляемом», желал бы знать подробнее о том третьем лице, которое крестьянин Андреев видел у есаула Щербакова, не сам ли то Зубакин, следов которого все еще он нигде не находил; он требовал поймать его каким бы то ни было способом, несмотря даже на то, если бы приметы оказались несходными с показанием Андреева. Но из Дубовки известили Циммермана, что, при арестовании Малахова и его работника, не было третьего лица, что, может быть, Андреев видел там казака Кощеева, который действительно вместе с ними приехал в Дубовку, но «только оной Кощеев подлинно здесь природной казак и реченному Щербакову шурин», как будто шурин Щербакова не мог быть разбойником.

Наконец к Циммерману привезли Малахова с работником. Допросив их, Циммерман убедился, что нашел именно того, кого искал: под невинною наружностью работника, остриженного, впрочем, в кружало, скрывался сам знаменитый вор Зубакин, о поимке которого так заботился Потемкин. Настоящее имя купца нам уже давно известно: это был Лукьян Белевцов, постоянно ездивший в Камышин по делам торговли и бывший потом в партии Брагина и Зубакина. Циммерман узнал и еще много подробностей, раскрытия которых всего более страшились войсковые старшины и атаман; он узнал, что войсковой атаман Василий Персидский и брат его Федор Персидский, а также войсковой старшина Савельев и войсковой дьяк Криулин взяли у Зубакина и Белевцова при арестовании все деньги и имущество, пограбленное у майора Зайцева и у повешенного Исеева, и вынудили их дать расписку такого содержания, будто вещи эти проданы им по собственному желанию продавцов; что в получении разбойниками денег и имущества расписался дубовский священник Николаев, тоже за известную сумму вознаграждения. Циммерман узнал имена всех, участвовавших в последней разбойничьей экспедиции на реке Вороне; от него не скрылось также

и то, что, когда он посылал из своего отряда поручика Куроша с командой для поисков за Зубакиным, волжское войско не только не давало Курошу «ни за какие прогоны» подвод, но вообще не допускало его до розысков и что Курош получил лошадей только тогда, когда сказал, что едет назад к Циммерману, и т.д.

Обо всем этом Циммерман донес воронежскому губернатору Потапову. Замечательно, что по поводу этого обстоятельства он протестовал, между прочим, против откупов, которые, по его мнению, более чем что-либо способствовали усилению разбоев. Начало каждого злодейства, говорит он, скрывается в кабаке; там разбойники, в пьянстве, «чинят свои договоры» и обдумывают воровские экспедиции, а огромные леса и степи Верхоломовского уезда помогали скрываться разбойникам. Как на один из главных притонов Циммерман указывает на село Дмитриевское или Дуровщину, отдаленное от всех населенных местностей, и в особенности на кабак, находившийся в этом селе. Циммерман просил губернатора «куда бы то ни было свести питейный дом». С своей стороны губернатор донес о проделках волжских властей военной коллегии.

Но аккуратный Циммерман не остановился и на этом. Он написал Потемкину, не утаив ничего, что делалось в Дубовке. В кратковременное свое пребывание на месте разбоев Циммерман успел захватить 86 человек «разных злодеев, смертоубивцов, разбойников, пристанодержателей и, по оговору злодеев, знавших о их злодействах». Замечательно, что между захваченными преступниками духовенство составляло 8 или 9 процентов¹ — так незavidно было положение дел, по-видимому, счастливого государства! Но при всем том не поймано было еще много лиц из шайки Брагина, а еще большее число разбойников было вовсе неизвестно Циммерману и Потемкину даже по именам, хотя отряды Циммермана, его нарочные и курьеры летали по всем направлениям. Отважные шайки совершали экспедиции на тысячу верст, и часто одно и то же страшное имя раздавалось или в низовьях Волги, или на Каспийском море у самых персидских границ, или на берегах Оки и Урала. Вот какова, в сущности, была жизнь в государстве, наружным блеском которого очаровывался Дидро!

¹ «Попов 3, церковников 3, рекрут 4, однодворцев 10, крестьян 65, дьякон 1».

Пойманных разбойников повезли на суд к верхолотовскому воеводе, а над действиями начальников волжского войска Потемкин, в то время уже князь¹, велел нарядить следственную комиссию. Он, между прочим, писал воронежскому губернатору: «Касательно же до вредного поступка Дубовской станицы начальников, то предписал я волжского войска атаману, чтоб он ко изысканию истины, по требованиям вашим, прислал обстоятельный ответ, по которому и благоволите меня уведомить, подлинно ли описываемой поступок в Дубовской станице и от кого именно учинен, дабы виновные в страх другим наказаны были». Вместо Циммермана и его драгун для истребления разбойников назначены были казацкие отряды, и начальником над ними командирован полковник Платов, один из любимейших героев войска Донского, впоследствии гроза французов.

На щекотливые запросы Воронежского губернатора войсковой атаман Персидский отвечал: «Пажити и денег за выпуск их (т.е. Зубакина и Белевцова) из-за караула я во взятку никогда не бирывал».

Атаман при этом оправдывался, что освободил их из-под ареста «с пажитью» и с деньгами, что еще до ареста и после освобождения из-под караула разбойники продавали имевшиеся у них вещи «несравненною ценою», то есть дороже того (добавлял он), «как после разбития злодея Пугачева в здешних местах многие люди такие ж вещи продавали»; что освободил он их на основании манифеста; что после освобождения действительно купил у Малахова лошадь, но заплатил за нее все деньги сполна, и т.д. «Показание ж их ложное на меня не из чего другого происходит, как из одной злости, потому

¹ Вот в каких выражениях относились тогда официально к Потемкину такие лица, как губернаторы (воронежский) и им равные: «Высокопревосходительному господину генерал-аншефу, командующему легкою конницею, всеми нерегулярными войсками и Санкт-Петербургскою дивизией, сенатору, государственной военной коллегии вице-президенту, Новороссийской, Азовской и Астраханской губерний государеву наместнику (или генерал-губернатору), войск там поселенных и Днепровской линии главному командиру, ее императорского величества генерал-адъютанту, действительному камергеру, лейб-гвардии Преображенского полка подполковнику, кавалергардского корпуса поручику, кирасирского Новотроицкого полка шефу, мастеровой и оружейной палаты верховному начальнику и разных орденов кавалеру, светлейшему князю Григорию Александровичу Потемкину — всепокорнейший рапорт». Замечательно, что все это бесконечно длинное перечисление отгенок в титуле соблюдалось строжайшим образом, хотя часто случалось, что самый рапорт, то есть сущность дела, выходил короче титула Потемкина. Но так было принято. Потемкин пожалован князем Римской Империи 27 февр. 1776 г.

что чрез старание войсковой канцелярии они сысканы и к комиссии взяты, и тем их злодейство утаиться не могло». Так заключил Персидский свое оправдание, забывая, что разбойники пойманы не их старанием.

То же самое отвечал брат атамана, войсковой старшина Федор Персидский, говоря, что ни пажити, ни денег «во взятки я никогда не бировал и не знаю и под видом покупки ничего я у себя не оставлял и не покупал», и т.д.

«А по освобождении их, — добавлял Персидский, — чрез несколько время, по просьбе, у купца Малахова я разменял червонных империалов сто рублей на мелкие деньги, вместо которых он получил от меня медные и серебряные, а последние получил у чумака (целовальника) моего в кабаке при людях». По примеру брата, он утверждал, что разбойники ложно показали на него по злобе.

В таких точно выражениях оправдывались и войсковой старшина Савельев, и войсковой дьяк Криюли.

Священник Николаев, которого разбойники уличали в стачке с дубовскими властями и в том, что он брал их на поруки, отвечал, что на поруки он их никогда не брал, а в день освобождения их из-под караула зашел в канцелярию по собственному делу, совершенно случайно, и только расписался за них в получении имущества. «А после того, — признавался священник, — они ко мне на квартиру выпросились и были несколько время, продавали разным людям пажить; а во время той их у меня бытности довольствовал я их своим хлебом и разною харчью, почему по счете и оказалось за то издержанных денег десять рублей, в уплату которых мне оной купец, при отъезде своем из Дубовки, отдал деньгами-ж пять рублей, а за остальные из рухляди ветхой. А во взятку денег десяти рублей и никакой пажити не бировал, что и показывают они на меня ложно».

Наконец, Зубакин уверял Циммермана, что при освобождении его из-под ареста в Дубовке он должен был дать взятку даже канцелярскому сторожу,

В таком-то неблагоприятном свете выказывались поступки всего официального мира в волжском войске. Действия дубовских властей, в самом деле, казались очень подозрительными: показание Зубакина было слишком правдоподобно. В Дубовке понимали это и потому представили воронежскому губернатору пространнейшее объяснение и просили его «от напрасного нареkania милостиво зашитить и представить его светлости, чтобы понапрасну за неведение не могли понести какого ответа». Но дело поставлено было так, что его трудно уже было

поворотить назад. Все опрокинулось на представителей волжского войска: и члены военной коллегии, и князь Потемкин, и воронежский губернатор Потапов, и астраханский губернатор Якобий — все требовали строжайшего суда над обвиненными; и полетели ордера по инстанциям, от высшей к низшей, от военной коллегии к Потемкину, от Потемкина к Потапову и Якобию, от Якобия к астраханскому обер-коменданту генералу Левину, от него к царицынскому коменданту полковнику Цыплетеву и т.д. Поступок дубовских властей называется уже «гнусным и несоответствующим званию их поступком». Цыплетев не стесняется бросать им в лицо оскорбительное название «продерзателей». По приказанию Потемкина, Якобия и Левина, Цыплетев назначает следствие и посылает в Дубовку секунд-майора Венцеля; ему велено «как наивозможно яснее и доказательнее исследовать, буде окажутся притчинниками по тому гнусному поступку объявленные старшины, привести их в Астрахань».

9 августа 1776 г. обвиняемые призваны были в комиссию. Достоинно особого замечания, что дубовские власти, когда приехал к ним Венцель, тотчас отвели ему квартиру, прислали на производство дела бумаги, сургучу, ниток, свеч, чернильниц, перьев и даже коробку для песку, дали в караул казаков, а формально отвечать на вопросы не хотели... Они ссылались на то, что послали от себя объяснение к воронежскому губернатору, который представил их ответы Потемкину; они просили Венцеля отложить следствие до другого дня, чтобы успеть донести обо всем Цыплетеву. Действительно, они отправили Цыплетеву копии с ответов, которые были посланы воронежскому губернатору, и «нижайше» просили Цыплетева объяснить все это Якобию. Но Цыплетев не уважил их просьбы и в жестких выражениях относился о них в своем рапорте к астраханскому обер-коменданту, говоря, что «оныя ответы писаны единственно от самих тех написанных продерзателей в их пользу и оправдание», и дает этим ответам эпитет «самопроизвольных».

Но как бы то ни было, а следствие пока приостановилось на время и Венцель должен был уехать из Дубовки; тем не менее обвиняемые через это ничего не выиграли, а только раздражили Якобия. Прочитав их оправдания, он не переменял своего мнения и, между прочим, писал Цыплетеву: «Рекомендую, несмотря ни на какие их ответы, произвести... настоящее и как возможно непродолжительное следствие, ибо по силе повеления его светлости не только следовать, но и судить их довлеет: но пока первое совершится, последнее до того време-

ни остается, в чем не оставьте дойти до самой дела того истины, я же буду ожидать поспешнейшего в том содействия». Тогда наряжена была новая комиссия, презусом в которую командировали секунд-майора Титова с другими офицерами. Прибыв на место следствия, Титов тотчас отправился к атаману Персидскому, а на следующий день разослал нарочных казаков с требованием, чтобы все лица, подлежащие следствию, явились в комиссию. Это было 22 октября. Но войсковой атаман «отозвался тогда слабым» и не явился в комиссию. Титов назначил сбор на 24-е число, на понедельник, к девятому часу утра; обвиняемые отвечали, что они готовы и будут в комиссии. Но в понедельник на рассвете вестовой солдат доложил Титову, что войсковой атаман отправляется в путь, а куда — неизвестно. Тогда Титов послал к Персидскому находившегося при нем офицера Кирсанова с требованием отложить этот «невременной» отъезд и явиться в комиссию для ответов. Кирсанов застал атамана уже выехавшим со двора в дорожной коляске и, подойдя, объяснил, зачем послан от Титова.

— Я ответы учинил от себя и сам своеручно подписал, — отвечал Персидский, — почему уже и не принадлежу к нынешнему следствию... А каков ответ состоялся, будет прислано к майору за известие, теперь же еду и ничего не опасуюсь.

Кирсанов говорил, что атаман рискует навлечь на себя гнев правительства «за ослушание высокой команды повеления», что его могут задержать.

— Ничего не трушу! — сказал Персидский и уехал.

Через час к Титову принесли письменное объяснение Персидского, которое он оставил, уезжая из Дубовки. В нем было то же, что и в прежних ответах атамана; вдобавок только он обвиняет здесь Циммермана в намеренном умолчании о некоторых фактах, говоривших будто бы в пользу волжского войска; он уверяет, будто Циммерман вовсе не посылал к ним поручика Куроша для отыскания разбойников, и проч. Относительно же самовольного отъезда из Дубовки он говорит, что получил на это приказание от Потемкина и Якобия и отправляется в Петербург «к его светлости для самонужнейших надобностей и испрошения не полученного на войско денежного жалованья, как оное войску ныне весьма нужно для исправления к весне к переселению на Терек в силу именного ее императорского величества повеления»¹. Донося обо всем

¹ Известно, что после усмирения народного волнения 1773—1775 годов, волжское войско переселено было на Терек за признание Пугачева государем и за подачу ему помощи.

этом Цыплетеву, Титов добавлял, что силой удержать Персидского он не мог «по неимению команды» и начал производить следствие над остальными обвиняемыми: вытребовал из Камышина Пучка с товарищем; потребовал от станичного начальства казака Кощеева, Брагина (о котором только теперь вспомнили) и других. Пучка с товарищем переслали, но о прочих получен ответ, что Кощеев находился в моздокском казачьем полку, только оттуда бежал, а где сам Брагин и другие, никому неизвестно.

Не будем вдаваться в утомительные подробности этого дела, скажем только, что чем дальше исследовалось оно, тем более падало подозрения на войскового атамана и его сослуживцев. Пучок с товарищем на допросах показали, что знать не знают, ведать не ведают о том, что происходило в Дубовке. Между тем по приезде войскового атамана из Петербурга назначен был вместо Титова новый следователь, капитан Масленников. Время шло, а дело все запутывалось и запутывалось. Даны были очные ставки атаману с другими обвиняемыми. Взят и Кощеев, уже в 1778 году; появились новые шайки разбойников; в народе начал, наконец, ходить слух и говор о новом появлении того странного призрака, возмущавшего народное спокойствие в продолжение десятков лет, того вечно выходившего из гроба государя Петра Федоровича, имя которого принимали на себя столько смельчаков, — одним словом, заговорили о новом самозванце, Ханине; переселили, наконец, все волжское войско на Терек, а дело о Зубакине и о подозрительных поступках дубовских начальников не кончалось. В комиссии перебывало много лиц, имена которых замешаны были в дело или со стороны разбойников, или со стороны дубовских властей; призывались в суд и женщины, без которых едва ли обходилось хоть одно дело в ту смутную пору. Но как ни путали следствие, все-таки доходили до того заключения, что волжское войско было виновато, что люди, подобные Зубакину, действовали бы осторожнее при лучших органах администрации; один из следователей прямо выразился о Персидском, что манифест о предании забвению преступлений пугачевщины «у него (т.е. у Персидского), как видно, еще на целой век останется».

1778 годом кончаются сведения о Зубакине и о Персидском. Брагин как в воду канул. Может быть, судьба его тогда же решилась в Верховоломовской воеводской канцелярии, а может быть, он сформировал новую шайку и еще долго навещал госпожу Агишеву — ничего об этом неизвестно. По всей ве-

роятности, участь Зубакина с Брагиным окончательно решилась точно так, как и всех подобных людей: сначала простой допрос, потом «пристрастный» с увещаниями духовника, или, по тогдашнему канцелярскому выражению, «допрос под пристрастием плетей и батошьев», затем кнут, виселица или Сибирь — все как водится. Но интереснее всего здесь то, что после разгрома шайки Брагина и Зубакина в том же году пришлось громить несколько новых скопищ: вместо Брагина на сцену являются новые лица, новые атаманы и есаулы и делают то же, что делали их предшественники.



Чума
в Москве

ИСТОРИЧЕСКИЙ
ОЧЕРК

I

Пожары¹, голод, войны и моровые поветрия — вот те народные бедствия, которые едва ли не ежегодно посещали русскую землю с тех пор, как, на основании летописных сказаний, мы можем следить за ее трудным историческим ростом. Пожары, голод, войны и моровые поветрия — это и был тот именно исторический материал, который, вместе с описаниями знамений, небесных явлений, чудес, построения церквей и подобных выдающихся общественных явлений, лег, главным образом, в основу русской летописи, а следовательно, и русской истории. Других общественных явлений летописец касается вскользь, мимоходом, а все свое благочестивое внимание сосредоточивает на занесении в хронографы того, что наиболее поражает общественную мысль: «погоре» такой-то град, «бысть дороговь люта и глад по всей земли», «бысть мор на людех», «бысть розратье», «сеча великая» — вот те четыре явления, которые как бы чередуются между собою во всем нашем историческом прошлом, составляя канву нашей исторической жизни, и к ним уже все остальные явления и события приурочиваются лишь и рисуются летописцем как мелкие узоры на ткани. Все небесные явления и знаменья заносятся в летопись потому

¹ При составлении настоящего очерка автору, главным образом, служили пособиями: 1) Полное собрание законов, XIX. 2) Описание моровой язвы, бывшей в столичном городе Москве с 1770 по 1772 год, с приложением всех для прекращения оной тогда установленных учреждений. По высочайшему повелению напечатано в Москве 1775 г. 3) Жизнь преосвященного Амвросия, архиепископа московского и калужского, убиенного в 1771 году. Москва, 1813 (Д. Бантыш-Каменского). 4) История повальных болезней. Гезера. СПб., 1867, 2 ч. 5) Описание московского бунта сентября 15 дня, прот. П. Алексеева. («Русск. Арх.», 1863). 6) Материалы для истории чумы в Москве и убиение архиепископа Амвросия 1771 г. И. Куприянова («Русск. Слово», 1860, II). 7) Москва в 1771 г. А. Саблукова («Русск. Арх.», 1860). 8) Наказ Екатерины кн. Волконскому («Арх.», 1860) и др.

только, что они предвещают либо мор, либо глад, либо огонь, либо кровопролитье великое.

В летописях мы читаем нередко поразительные до ужаса изображения моровых поветрий в таких городах, как Новгород, Псков, Москва: умерших хоронить некому, собаки таскают по улицам трупы людей, на скудельницах выкапываются огромные ямы и заваливаются телами пораженных мором, мужья отдают жен в рабство из-за страха смерти в зараженном городе. И летописец не ведает, откуда все это: у него на все одно объяснение — «грех ради наших». Да оно и в самом деле так: все посещающие нас бедствия посещают нас именно «грех ради наших».

Одно из последних страшных моровых поветрий записано летописцами под 1651—1654 годами.

Сохранилось драгоценное донесение к царю Алексею Михайловичу боярина князя Пронского, извещавшего царя, который был в то время с войском в Смоленске, о постигшем Москву моровом поветрии:

«Государю царю и великому князю Алексею Михайловичу всея Великия и Малыя, и Белья России самодержцу, холопы твои, Мишка Пронский с товарищи, челом бьют. В прошлом, государь, во 162 году, в июле и августе, в разных числах писали к тебе, государю, мы, холопы твои, что грех ради наших на Москве и слободах помирают многие люди скорою смертию, и в домишках наших тож учинилось: мы, холопы твои, покинув домишки свои, живем во граде, и в нынешнем во 163 году, после Симонова дни, моровое поветрие умножилось, день ото дня больше прибывать учало, и на Москве, государь, и в слободах православных христиан малая часть осталась, а стрельцов, государь, от шести приказов ни один приказ не остался, и из тех достальных многие лежат больны, а иные разбежались, и на караул, государь, отнюдь быть некому, а голов, государь, стрелецких, Богдана Каковинского, да и Якова Горопкина, не осталось же, и сотники стрельцы многие померли. А церкви, государь, соборные и приходские мало не все стоят без пения, только, государь, в большом соборе по сие число служба повседневная, и то с большою нуждою. В остатке живых только протопоп да два священника, Форопонт да Порфирий, старой дьякон Василий, а у приходских, государь, церковей священников осталось малая же часть, и из тех многие ж больны, а иные поразошлись, и православные христиане помирают без отцов духовных, и погребают без священников, и мертвых телеса в городе и за городом лежат, псы воло-

чили, а в убогие дома возить мертвых и ям копать некому: ярыжные земские извозчики, которые в убогих домах ямы копали и мертвых возили, и от того сами померли. И достальные, государь, всяких чинов люди такое Божие посещение ужаснулись, и затем к мертвым приступить опасаются. А приказы, государь, все заперты: дьяки и подьячие все померли, и домишки наши, государь, пусты учинились, людишки померли мало не все, а мы, холопи твои, тоже ожидаем себе смертного посещения с часу на час, и без твоего государева указа по переменам с Москвы в подмосковные деревнишки, ради тяжелова духа, чтоб всем вдруг не помереть, съезжать не смеем, и тем, государь, вели нам, холопом своим, свой государев указ учинить». Далее говорится, что, когда зимой, «в возврат солнца», кончилось моровое поветрие, патриарх Никон «повелех всех псов, кои не на цепи были, побить, ибо ядоща телеса мертвых человек».

Через 119 лет Москву вновь посетил такое же моровое поветрие, в 1770—1771 году, во время турецкой войны.

Неудивительно, что летописец всегда почти связывает между собою такие явления, как мор, войны, голод и пожар: в 1651—1652 году была у царя Алексея Михайловича война с поляками из-за обладания Смоленском, в 1770 году была война с турками, и война эта, действительно, была причиною морового поветрия, потому что чума занесена была в Россию войсками, сражавшимися против турок.

«Когда в последнюю с Россиею и Оттоманскою Портою войну российские войска, нося победы, в разных областях турецких низвергали неприятелей, производя во всех местах поиски, и разрушали крепости их, то не можно было победоносцам избежать к побеждаемым прикосновения взятием их в полон и истреблением их имений. В таких случаях никакая осторожность, никакое полководцев смотрение не могло успеть, чтобы кроющийся в доставшихся вещах яд не мог, как в некоторых отдаленных войсках, так и в жителях волоских и молдавских распространиться».

Так говорит «Описание моровой язвы», изданное в Москве, по высочайшему повелению, в 1775 году.

Действительно, первые случаи заболевания и смерти от чумы, в 1769 году, проявились в той части русских войск, которая была под начальством генерал-поручика фон-Штофельна: эти войска первые сразились с неприятелем у Галаца и, разбив турок, по обычаям войны, делали над побежденными «поиски», т.е., захватив пленных и все, что попадалось под руку, врывались в неприятельскую землю, чинили поиски

по городам и селам, забирались в дома и лачуги, не зная, что в Турции давно свирепствует чума, эта азиатская гостья, часто навещавшая свою европейскую соседку — Оттоманскую Порту.

Когда затем, «по окончании победоносных над неприятелями поисков», русские войска вступили в Яссы, а после в Бухарест, то чума не только стала уже поражать тех, кои были в Турции, но и прочие войска, а затем распространилась в самом населении этих городов. Сам фон-Штофельн погиб жертвою этой болезни в мае 1770 года, в Яссах. Эта же весна застаёт чуму уже и в Мокшанах, и в Хотине, и в других местностях Валахии и Молдавии, а оттуда, вместе с летними жарами и передвижением войск, торговых людей, вместе с привозимыми товарами из чумных мест, зараза перебирается в Подолию и в польскую Украину. Русские границы не останавливают ее, несмотря на учреждение заставы в Василькове.

В августе зараза перебирается уже через русскую границу: в Василькове — мор, в Киеве, на Подоле — также мор. Никакие заставы не в силах остановить страшный яд, который переносится из места в место то в виде полученных в чумном городе денег, то с зачумленным платьем, то в письме, в подорожной, наконец, переносится даже домашними животными: в Киеве зараза занесена в один дом кошкою — зараженный дом вымирает весь, а кошка остается живою одна во всем выморочном доме. Хотя для прекращения моровой язвы в Киев и прислан был петербургский штат-физик, доктор Лерхе, который, по высочайшему именному повелению, посылаем был с этою же целью и в обе наши армии, однако болезнь совершила в этом городе свое опустошительное дело и, перекинувшись в Чернигов, Переяслав, Козелец и Нежин, а потом, захватив великорусские города Севск и Брянск, именно все то, что лежало на проезжем тракте с юга России на север, закончила свой опустошительный цикл только летом следующего 1771 года. Особенно упорно болезнь держалась в Нежине, где она свирепствовала по ноябрь 1771 года, и, как выражается официальный документ того времени, «знатное в людях причинила поражение».

Надо было во что бы то ни стало не допустить заразы до Москвы и Петербурга. С этою целью вся московская губерния с юга оцеплена была заставами — около Боровска, Серпухова, Калуги, Алексина, Каширы, Коломны. На заставы посланы были лейб-гвардии офицеры: Булгаков, Све-

чин, Ергольской, Сенденгорст, Толстой, Хомутов. С ними командированы врачи: Штелин, Бергман, Валериан, Коризна, Никитин и Смирнов. Обязанность заставных начальников состояла в том, чтобы пресечь всякое сообщение с югом, всех проезжающих из Малороссии или из армии подвергать карантинному очищению, не пропускать идущих оттуда писем, а, омочив их в уксус и окурив через огонь, списывать с них копии, подлинники же сжигать; в домах обывателей велеть всякое утро на раскаленный кирпич лить уксус; самые заставы окопать рвами, поддерживать около них огни и «куриво»; письма передавать через заставную линию на длинных шестах через огонь или пускать из лука на стрелах; где окажутся больные, там двory и пожитки жечь и вести о появлении болезни давать в другие места посредством сигнальных огней, как это водилось в старой Руси во время нападения на русские земли крымских татар и других хищников.

Но не легко было остановить нового, невидимого хищника: он был опаснее крымца, опаснее половца. В ноябре уже присутствие его оказалось в Москве, только никто не хотел верить, что это была чума. В декабре болезнь появилась уже в московском генеральном сухопутном госпитале, что на Введенских горах, и первыми жертвами ее были госпитальные служители. Старший врач этого госпиталя, генеральный штаб-доктор Шафонский, заметив, что упомянутые служители имели особые какие-то отменные знаки на теле, такие, каких никто из находившихся в госпитале нескольких сот солдат не имел, что служители эти, живя в одном покое, были все до той поры здоровы, а тут стали занемогать один за другим и вскоре один после другого умирать, сообразив наконец, что с армией и Малороссией все-таки Москва имела сношения, несмотря на все предосторожности, — сообщил свои наблюдения московскому штат-физику и члену медицинской конторы Риндеру; но, когда тот, осмотрев два раза указанных ему Шафонским больных и мертвых, не сделал никакого распоряжения, а между тем число больных и умирающих в том же покое стало увеличиваться, Шафонский письменно донес о своих наблюдениях государственной и медицинской коллегии, прося ее предписать находящимся в Москве докторам осмотреть в заведываемом им госпитале всех больных, которые «оказались в сумнительстве к заразной болезни».

Голос Шафонского — это был первый голос, предостерегавший Москву от грозившей ей опасности, и если бы лень

и упрямство, а также невежество других докторов не заглушили этого голоса, то Москва, без сомнения, была бы спасена.

Сначала врачи и согласились было с мнением Шафонского; в общем собрании 22 декабря совет медиков, состоявший из докторов Эрасмуса, Скиадана, Кульмана, Мертенса, фон-Аша, Вениаминова, Зибелина и Ягельского, единогласно утвердил постановление, что она болезнь «должна почитаться за моровую язву» и потому сообщение госпиталя с городом должно быть пресечено, вследствие чего, действительно, по приказанию московского главнокомандующего генерал-фельдмаршала графа Салтыкова госпиталь со всеми находившимися в нем людьми, которых было более тысячи человек, в тот же день был оцеплен военным караулом, и в этой цепи вместе с своим заведением был заперт и Шафонский; однако невежество впоследствии одержало верх и чума свободно начала помечать в Москве свои жертвы.

При всем том в Петербург донесено было, что делается в Москве.

Там серьезнее взглянули на это дело. Как раз накануне нового 1771 года Екатерина издала манифест о грозящей России опасности. Но в манифесте она ни одним словом не упомянула о Москве — казалось еще преждевременным пугать население призраком страшной чумы, когда она была уже не призраком, а существующим фактом. Напротив, в манифесте говорится только о принятии предосторожностей.

«Война, — гласит манифест, — толь неправедно и вероломно со стороны Порты Оттоманской постороннею завистию, коварством и происками против империи нашей вожженная, коея конец да увенчает скорым, прочным и славным миром десница Всевышнего, толь явно оружию нашему донине поборствующая, влечет за собою, по свойственному туркам зверскому и закоренелому о собственной своей целости небрежению, опасность заразительной моровой язвы, в рассуждение соседственных областей и тех граждан, кои по долгу звания своего и из любви к отечеству ополчаются противу их в военном подвиге».

Далее говорится, что болезнь начала было уже прорываться и через русские границы, но что ход ее прерывали на всех пунктах, где она ни появлялась, «ибо, — продолжает манифест, — по тому матернему попечению о покое, тишине, благоденствии и безопасности наших верных подданных, которые мы с самого начала государствования нашего положили за главное и непременно правило всех наших деяний, не

оставили мы распорядить благовременно чрез правительства наши все нужные и в человеческом предусмотрении возможные меры и осторожности вдоль всех наших границ, от Малороссии до Лифляндии, к совершенному и надежному их ограждению. Мы с несумненною верою ожидаем затем от благости всещедрого Бога, что сии наши учреждения учинит достаточными и отвратит от нашего отечества бич гнева своего».

Но вместе с тем императрица говорит в своем манифесте, что, исполняя таким образом «долг царского и матернего предостережения, к полному успокоению верных подданных, дабы каждый из оных беспечно мог оставаться при своем домостроительстве и промысле», она «взаимно требует и желает», чтобы и подданные с своей стороны «воспособствовали ей в том всеми своими силами по долгу присяги». Вследствие этого повелевалось, чтобы никто из проезжающих со стороны Малороссии не провозил тайно таких вещей, которые не были подвергнуты карантинному осмотру, чтобы никто не проезжал мимо кордонов и застав и что «в противном случае, не только везомое при первой заставе и внутри империи огню предано, но и виноватый в том за оскорбителя Божиих и государственных законов почтен и как таковой примерно наказан будет». Вместе с тем подданные успокаивались, что со стороны сената будут приняты меры и относительно того, чтобы на заставах и карантинах, под видом исполнения манифеста, от начальствующих «не могло произойти где злоупотребления, напрасных прицепок и утеснения проезжающих».

«Впрочем, — так заканчивает этот знаменитый манифест Екатерина, у которой все обращения к подданным отличались особой торжественностью, силою выражения и блестящим по тому времени литературным изложением, — впрочем, как все намерение сего нашего повеления идет единственно к пользе и обеспечению империи, то и уверяемся мы, что никто из находящихся в службе или для промысла своего при армиях наших и в Польше, не захочет из побуждения подлой корысти сделаться предателем отечества, но что паче все и каждый будут как истинные граждане усердно стараться и за другими, а наипаче за подчиненными своими, под собственным за них ответом, строжайше наблюдать, дабы кто, и естли не из лакомства, по меньшей мере из простоты и невежества, преступником, а сохрани от того Боже, и виновником общего злоключения учиниться не мог».

С своей стороны сенат опубликовал на все государство, что следующие из Малороссии с товарами купцы могут проезжать через лифляндские рубежи только по выдержании карантина, а едущие из зараженных мест вовсе не будут пропускаемы; если же кто тайно покусится проехать проселочными дорогами, у того товар весь будет сожжен; что те из купцов, которые уже законтраковали иностранные товары, должны тотчас же писать своим корреспондентам, чтоб они или задержали свои товары, или высылали их через порты; что товары, попавшие в карантин, должны каждодневно, при захождении солнца, проветриваться и окуриваться можжевельником, а вместе с товарами — и сам хозяин; чтобы все обыватели доносили на тех, кто будет тайно провозить товары, за что доносителям будут выдаваться награды; что в тех местах, где чума уже показалась, деревенские обыватели не должны сообщаться с горожанами, и наоборот, а что для продажи съестных припасов должны быть учреждены особые рынки; на этих рынках городские обыватели должны быть отделены от сельских двойною преградой шириною в восемь футов; между преградами стоит караул, но ни товаров, ни денег продающие и покупающие не должны брать «из рук в руки»; когда же сойдутся в цене, то продавец кладет товар на землю между преградами, а покупатель деньги в чан, наполненный водою или уксусом; животные моются в воде, а мясо проносится через огонь; по отношению к письмам, приходящим из зараженных мест, должна быть принимаема особая предосторожность: лицо, определенное для распечатывания писем, надевает перчатки из вошанки, потом ножницами разрезывает пакеты, особыми маленькими щипцами раздирает их, конверты сжигает, а письма окуривает в густом дыме. Стол, на котором производится эта операция, должен быть мраморный или деревянный без крышки. Если в письмах сыщется тетрадь, сшитая ниткою или связанная лентою, то нитку и ленту должны разрезать и сжечь. На шее иметь кожаный мешочек с куском камфары. Докторам прикасаться к пульсу больных не иначе, как через развернутый лист табаку, и лист этот бросать после всякого прикосновения к пульсу, и прочее.

Мы считаем лишним приводить другие указания сената относительно принятия мер предосторожностей от заразы. Полагаем, что и приведенного нами достаточно, чтобы видеть, какое потрясающее впечатление должны были произвести на народ манифест и указ сената, из коих он узнал, что страшный мор, о котором ходили темные слухи, не сегодня-завтра на-

chnet пожирать свои жертвы: каждый, конечно, думал, что одною из этих жертв будет и он.

Один только упрямый Риндер, о котором мы упоминали выше, не хотел верить существованию чумы.

Шесть недель, однако, сухопутный госпиталь вместе с доктором Шафонским был оцеплен караулом. Из 27 зараженных за это время умерло 22, а 5 выздоровели. 1 марта 1771 г., по выдержании карантинного срока, госпиталь был открыт вновь, а дом, в котором находились чумные, сожжен.

Всем казалось, что Москва освободилась от чумы. От того дома, где умерли «сумнительные» госпитальные служители, осталась только куча пепла. Правда, ходили слухи, будто страшная болезнь не унеслась вместе с дымом сожженного госпитального дома, что она где-то есть и вне стен госпиталя, а где — никто не знал. Говорили, что раньше этого умерли двое пленных турок, привезенные из Бендер, что умер также какой-то офицер, приехавший из армии, и скрытно погребен, а пользовавший его лекарь, прозектор главного госпиталя Евсеевский, последовал за своим пациентом в третьи сутки. Но уверение доктора Риндера, что чума в Москве невозможна по климату, всех успокаивало.

Однако «ласкательная сия безопасность весьма короткое время продолжалась», говорит современное свидетельство. 1 марта был сожжен госпитальный дом, а 9 марта до сведения полиции дошло, что за Москвою-рекою, у Каменного моста, на Большом Суконном дворе, люди часто умирают и погребаются в ночное время.

Узнав об этом, полиция тотчас же командировала на Суконный двор доктора Ягельского — расследовать обстоятельства дела. Ягельский нашел, что с 1 января по 9 марта из числа всех рабочих на Суконном дворе умерло 130 человек, и что на умерших были черные пятна, «бубоны» и карбункулы — несомненный знак присутствия чумы. Фабричные уверяли, что никогда, с самого начала заведения, на Суконном дворе не было такой смертности. При этом они сообщили, что болезнь на их дворе началась с той именно поры, как один фабричный на праздник Рождества привез к ним одну больную женщину, которая до того времени жила у сторожа церкви Николы, в Кобыльском, что у женщины этой были распухшие железы за ушами и что по привозе на Суконный двор она скоро умерла, а за нею вымерла и вся семья сторожа.

Ясно, что чума уже ходила по городу и хватала жертвы там, где неведение давало ей приют.

Оказалось, однако, что и тут доктор Риндер был виновником того, что ход чумы не был вовремя перехвачен. Риндер осматривал этих фабричных больных, но чумы в них не нашел, а видел только одну гнилую горячку.

Между тем обнаружилось, что не только вымер весь дом вышеупомянутого церковного сторожа, но также опустошен был и соседний с ним дом просвирни.

После этого московский главнокомандующий граф Салтыков вновь созывает медицинский совет. Медики, осмотрев больных на Суконном дворе, единогласно заключают: «сия болезнь есть гниющая, прилипчивая и заразительна, и по некоторым знакам и обстоятельствам очень близко подходит к язве», но и в этом последнем случае докторами не было произнесено слово «чума», не было даже упомянуто слово «морозная язва», как народ называл чуму. При всем том совет докторов положил: вывести с фабричного двора всех больных и здоровых, а самый двор запереть, не выбирая из него никакого имущества и оставив все окна раскрытыми; отделить здоровых от больных; исследовать, не заразились ли от них и другие фабричные, живущие в городе, а если такие окажутся, то их вывести за город; умерших этою болезнью погребать также за городом, в глубоких могилах, а не около церквей, и тела зарывать с платьем.

Больные тотчас же вывезены были в монастырь Николы-на-Угреши.

Но было уже поздно. В то время когда фабричных вывозили из Суконного двора, чтобы поместить отдельно от городского населения и прервать всякое сношение их с горожанами, многие фабричные разбежались по городу. Они-то преимущественно и разнесли чуму по всем концам. И действительно, 16 марта на Пречистенке, на улице, найдено было мертвое тело одного купца. Оказалось, что купец жил в одном доме с фабричным из Суконного двора. Как купец, так и фабричный, оба заболели «перевалкою», как тогда называл народ горячку, и вскоре оба померли.

Ничего другого не оставалось для властей, как разыскивать всех фабричных по городу и вывозить за город. Но разыскивать беглых по Москве, ловить их по бесчисленным закоулкам и в никому неизвестных вертепах — это все равно что ловить каторжника в муромских лесах или — по меткому народному выражению — ловить ветер в поле.

Москве грозила гибель неизбежная. Власти это видели, хотя не пришли еще к сознанию своего бессилия, потому что

не знали пока всей силы опасности, в которой находился город. По распоряжению сената, от полиции объявлено было жителям, чтобы о каждом заболевающем и умирающем в городе немедленно сообщалось было на съезжий двор: этим способом предполагали следить за ходом и состоянием эпидемии, потому что, записывая дни начала и исхода болезни, думали добывать этим путем сведения о том, кто умер от чумы. Вместе с тем из московских докторов составился постоянный совет, который и должен был, изучая ход эпидемии, обо всем доносить сенату для принятия надлежащих мер. В этот совет вошли доктора: Эразмус, Шафонский, Ягельский, Мертенс, Вениаминов, Зибелин, Скиадан, барон фон-Аш, Кульман, Погорецкий и Ладо. Первым делом медицинского совета было вывести из города всех фабричных, которых, кроме переведенных уже за город с Суконного двора 730 человек, осталось еще 1770.

Эпидемия между тем обнаруживала все более и более грозные признаки. Совет докторов вынужден был наконец произнести решительное слово, которое он боялся произнести, и это слово произнесено было только 26 марта, по категорическому настоянию графа Салтыкова — «назвать точным именем оказавшуюся на Большом Суконном дворе болезнь». Совет так формулировал свое решительное мнение об этом предмете: «Медицинский совет ничего к прекращению болезни не упустил, кроме общенародного имени, а как ныне оно от совета точно требуется, то инако оной болезни не называет, как *моровую язву*».

Все доктора подписали это мнение, исключая Кульмана и Скиадана. Первый в пространном, поданном от себя особом мнении старался доказать, почему он оказавшись в Москве болезнь не решается назвать «моровую язву»: ему все казалось, что это только прилипчивая горячка, и при этом он замечает, что прилипчивость горячки легко могла произойти между фабричными «при чрезвычайно худом сих людей содержании в пищи, особливо при ужасно нечистом их образе жизни, где вонь их жилищ почти несмысленным скотам несносна была» (в подлиннике: «da der Gestank in ihren Wohnungen kaum einem unfernunftigen Thire ertraglich gewesen sein soll»). Скиадан также не хочет произнести слова «моровая язва» и также подает особое мнение. Несмотря на то что в это время в Москву прибыл от армии из Хотина штаб-лекарь Граве и вместе с проезжавшим из Ясс доктором Ореусом удостоверял, что в Москве такая же чума, какая тогда свирепствовала в Молдавии и Польше, Кульман и

Скидан стояли на своем: в Москве нет чумы, а только «перевалка»!

«Сие противное их и прочих штаб-лекарей и лекарей приглашение в жителях причинило такое неверие, что большая часть не старалась быть осторожным; а господина доктора Кульмана в том так далеко простиралось старание, что он не только в одной Москве, но и в самом Петербурге письмами многих знатных людей старался в своем вредном и непохвальном мнении уверить», — говорит вышеупомянутое описание «моровой язвы».

Эти споры из-за названия, действительно, были, до некоторой степени, причиною того, что Москва легко сделалась жертвою жесточайшей чумы, существованию которой жители долго не верили. Подобные грустные явления мы часто видим в истории. Так, например, во время нападения Пугачева на Саратов, город этот погиб из-за того, что Державин занимался литературно-канцелярской полемикой с комендантом Бошняком, а Лодыженский доказывал Бошняку, что он, Лодыженский, статский советник, старше его, Бошняка, полковника, и должен, по чину, защищать город, а когда дело дошло до защиты, то статский советник бежал раньше всех коллежских регистраторов.

Споры и пререкания сделали то, что больше чем через месяц после того, как чума уже разбросала свой губительный яд по всей Москве, вздумали запечатать торговые бани, где за это время успела заразиться едва ли не вся масса московского рабочего населения. Спасение для Москвы было невозможно. Страшная болезнь должна была пройти все периферии и только тогда закончить свой естественный цикл, когда смерть сделает свое дело, и эпидемия, как это везде бывает с нею, сама собою издохнет от недостатка жертв.

II

Но правительство все еще надеялось спасти Москву.

25 марта императрица прислала из Петербурга нарочного с именными повелениями к графу Салтыкову и к генерал-поручику Еропкину: Екатерина вручала Москву непосредственному заведыванию Еропкина, но только «под главным надзиранием графа Салтыкова». Им повелевалось принять энергические меры для спасения древней столицы — «все предосторожности и попечения о сохранении столичного города Москвы гораздо усугубить».

31 марта Еропкин принял Москву в свое заведывание. Первым его делом было назначить ко всем четырнадцати частям города особых смотрителей, взятых из разных коллегий и канцелярий. В их распоряжение отдавались полицейские офицеры каждой части, и, кроме того, к каждой части командировался особый доктор. Лично при Еропкине находился сверх того князь Макулов, который «принял добровольно, без всякого жалованья, из усердия к отечеству труд доставлять и снабдевать всем потребным больницы и охранительные дома и иметь особое над всеми военными командами смотрение». На обязанность частных смотрителей возложено было объявить чрез полицейских служителей всем жителям Москвы, чтобы они тотчас же давали знать на съезжий двор о всяком заболевшем в их доме, кто бы он ни был, а особенно о тех, кои заболевают внезапно или же внезапно умирают. Смотритель, получив такое сведение, должен немедленно отправляться в показанный дом с частным доктором, и если по осмотру больной окажется чумным, то о нем тотчас же доносить Еропкину. Еропкин немедленно отправляет затем в показанный дом кого-либо из состоящих при нем докторов — Ягельского или Граве, и если показание частного доктора подтвердится (какая длинная процедура!), то все живущие с больным в одном доме немедленно высылаются в особый покой, а больной вместе с своим платьем и со всем, что «около него в употреблении было», тотчас же отправляется в Угрешский монастырь с определенными для того полицейскими служителями, одетыми в вошаное платье; около дома ставится караул, который никого не пускает со двора, а комната, где находился больной, окуривается можжевеловым дымом.

Но народ, всегда в подобных случаях показывающий недоверие к властям и в особенности к докторам, постарался и в данном случае избегать всяких сношений с властями и докторами и по возможности обходить закон.

Внезапною и сомнительною смертью считалась такая, когда больной умирал раньше четырех дней, если же болезнь продолжалась долее и местный священник давал удостоверение, что он напутствовал умершего, то такого не осматривали. Ввиду этого московские обыватели не только не объявляли на съезжих дворах о своих больных, но и о внезапно умерших говорили, что они хворали долго. Избавляя таким образом свои дома от караулов, а себя от карантина и соединенного с ним расстройства в хозяйстве, москвичи, что называется, настежь растворяли в свои дома двери и окна для чумы.

До 1771 года Москва большею частью хоронила своих мертвецов в городе, около церквей, как это заведено было исстари. Понятно, что такой обычай не мог быть терпим долее, особенно же в чумное время и притом в таком многолюдном и нечистом городе, как Москва, и потому Екатерина именным указом повелела графу Салтыкову назначить вне города особые кладбища, а внутри города мертвых не хоронить. По сношению с московским архиепископом, Салтыков определил для кладбищ десять загородных церквей, расписав по ним весь город, а для погребения «благородных и чиновных людей» назначены были три загородных монастыря — Новодевичий, Спасо-Андрониевский и Донской.

Когда Москва таким образом уже окончательно признана была чумным городом, то нужно было подумать уже о спасении остальной России. Москва всегда считалась сердцем русской земли. Действительно, население и продукты производства всей русской земли притекали к Москве, как кровь к сердцу, равно население и продукты производства самой Москвы расходились, подобно крови от сердца, по всему организму государства. Оставалось одно средство — запретить Москву, изолировать ее от всей остальной России. Но как это сделать? Ни войск для охраны, ни средств для пропитания Москвы, конечно, не доставало бы, если б и признано было полезным всю Москву превратить на время в громадный карантин. Москва должна была кормиться от соседних производительных местностей, и потому окончательно запретить Москву было невозможно. Тогда решено было запретить ее только отчасти: из 18 главных застав, которыми обыкновенно въезжают в Москву и выезжают из нее, оставлены свободными для проезда только семь — Калужская, Серпуховская, Рогожская, Преображенская, Троицкая, Тверская и Дорогомиловская, а остальные одиннадцать — Симоновская, Спасская, Покровская, Пролом, Гоф-интендантская, Лефортовская, Семеновская, Сокольницкая, Миусская, Пресненская и Лужнецкая — закрыты. Кроме того, сверх учрежденных уже от украинской стороны карантинных застав в Боровске, Серпухове, Калуге, Алексине, Кашире и Коломне проведена была вокруг Москвы целая цепь новых застав, но уже не для того, чтобы отнавливать тех, кои ехали в Москву, а тех, напротив, кои из Москвы выезжали: рассадником моровой язвы для России становилась Москва, и от нее следовало прикрыть всю остальную Россию. Таким образом, новые заставы были уч-

реждены — в с. Всесвятском, в д. Лихоборах, в сс. Ростокине и Алексеевском, в д. Щитниковой, в с. Ивановском, в д. Вязовке, в Котлах, в сельце Семеновском, в Никольском, в д. Мазиловой, в с. Хорошове и в Тушине.

Но всего более, конечно, боялись за Петербург. Для того чтоб страшная язва «не могла и в самый город Санкт-Петербург вкратиться», именным указом от 31 марта велено было Еропкину не пропускать никого из Москвы не только прямо в Петербург, но и в местности, лежащие по пути к северной столице, без особого письменного удостоверения, в котором бы точно определено было, что такие отъезжающие из Москвы следуют «из здоровых и неприкосновенных заразительной болезни домов, равно и товары или вещи с ними отправляемые — свободны от заразы». Кроме этих удостоверений, каждый отъезжающий должен был подвергаться освидетельствованию со стороны докторов Граве или Ягельского. Наконец, всем проезжающим через Москву в Петербург запрещено было проезжать через московские заставы, а велено было следовать мимо города особыми дорогами, равно и почтовых лошадей запрещено было переменять в Москве, для чего и почтовые станции назначены были за московскими заставами. Мало того, от Петербурга протянута была особая сторожевая цепь под начальством генерал-поручика графа Брюса. Цепь эта стягивалась к трем центральным заставам: в Твери — под начальством гвардии капитан-поручика Афросимова, в Вышнем Волочке — гвардии капитан-поручика Меркулова и в Бронницах — гвардии капитан-поручика Ушакова. Наконец, поставлены заставы, все для того же ограждения Петербурга, по дорогам старорусской, тихвинской, по старой и новой новгородской и по смоленской.

Но чем энергичнее и настоятельнее принимало меры в данном случае правительство, тем с большим недоверием относится к ним народ. О больных совершенно перестали доводить до сведения полиции, так что в марте и апреле месяцах начальство получило известие только о двух чумных в городе! По-видимому, невероятный факт, но он засвидетельствован официальным документом: ясно, насколько нелестно было доверие населения к оберегающим его властям. Мало того, когда полиция стала жечь остававшиеся после чумных зараженные вещи и когда народ узнал об этом, то еще с большим упрямством стал прятать пожитки, остающиеся от умерших чумных, и таким образом сам разносил по городу или укрывал у себя свою собственную смерть.

Но и это еще не все: боясь властей, боясь полиции и ее «мортусов», этих засмоленных и зашитых в воцанки страшных людей, в ужасных масках рыскавших по улицам и по домам, таскавших длинными крючьями чумные трупы и зачумленное платье, боясь карантинных, как неминуемой смерти, опасаясь наконец за свое жалкое имущество, чтоб его не отняли и не сожгли, — народ стал или выбрасывать трупы умерших на улицы, или тайно зарывать их в землю в городе, в садах, в огородах, в подпольях и погребях!

Нельзя, впрочем, в этом случае безусловно винить бедное население Москвы: народ поступал таким, по-видимому, недостойным и преступным образом потому, что, при вывозе из частных обывательских домов больных в карантин, дома эти и находящееся в них имущество были не безопасны от расхищения. А для бедного глиняный горшок так же дорог, как для богатого севрский фарфор или китайская ваза. В расхищении же имущества бедных откровенно сознаются сами деятели того смутного времени («Описание моровой язвы», стр. 66).

Наступило лето. С жаркими днями увеличилось число чумных жертв. Болезнь, видимо, свирепствовала. Но народ, не веря ни властям, ни докторам, опасаясь и за свою свободу, и за свою жизнь, и за свое имущество, скорее соглашался подвергнуться всем ужасам заразы, чем открыто признать существование в городе чумы. Между тем все, кто мог уехать из города, все «господа и бояре», спешили укрыться в своих далеких поместьях, а те, которые не могли бежать из города, да и те, которым некуда и не с чем было бежать, прятались сами и прятали своих больных и мертвых. Чума избрала местом своего пребывания преимущественно бедные части города — слободы Преображенскую, Покровскую, Семеновскую. Находились дома, где все вымирали разом. Больницы в монастырях Угрешском и Симоновом оказались тесны. «Мортусы» все чаще и чаще таскали больных из города. Чтобы сберечь имущество больных от расхищения, а дома от окончательного разорения, велено было построить около Симонова монастыря особый амбар, куда и сваливали уцелевшие от расхищения пожитки больных и умерших, а мелкие вещи, оставшиеся после этих несчастных, равно предметы, бывшие в употреблении, продолжали сжигать.

Наконец и полиция выбилась из сил. Полицейские фурманчики не в состоянии уже были перевозить всех больных в карантин, да и сами заражались и умирали. Оказалось, что раздевать больных уже некому — «мортусов» и по-

лиции не хватало на это, и потому раздевание больных возложено было на самих обывателей, а вслед за операцией раздевания, по необходимости, надо было и здоровых забирать в карантин. Этих последних свозили в село Троицкое-Голенищево.

Эпидемия между тем не ослабевала. К концу июля московские власти, сознавая свое бессилие и бессилие принятых ими мер, старались объяснить усиление болезни упорством и невежеством народа, доказывая, что принятые ими меры «не могли усиливающейся заразе поставить пределов», что «вместо желаемого успеха и ожидаемого прекращения болезни, она ежедневно и очевидно скорыми и многими смертными поражениями по всему городу стала свирепствовать», но что главная причина этого бедствия — «неверие почти всех, как низкого, так и знатного звания людей, которые все еще обыкновенною гнилою горячкою помянутую болезнь называли и не прикосновению и своей неосторожности, но слепому року и власти Божией таковую приписывали».

В виду такого «злостастия» и «всеобщего ослепления», Еропкин пригласил следовавшего тогда из Молдавии и Киева петербургского штат-физика доктора Лерхе, о котором уже упомянуто было выше, и просил его, осмотрев все больницы, а равно умерших заразою, определить наконец, чума ли поражает Москву, или другая болезнь. Лерхе, по осмотре больных и мертвых, вместе с целым медицинским советом, как выражается официальный акт того времени, — «с ужасом и сожалением признал их всех опасной и заразительной болезнью с знаками, яко то бубонами, карбункулами и пятнами черными подверженных, и без всякого сумнительства оную болезнь за самую действительную моровую язву утвердил». Медицинский совет снова после этого высказывает свое «последнее мнение» о свирепствующей в Москве болезни и, строго обвиняя докторов, разглашающих, что это не чума, просит Еропкина «таковым их вредным и неосновательным уверением не верить, дабы чрез то не привести общество еще в большую оплошность и нерадение в потребных предосторожностях».

Москва пустеет с каждым днем. Бегство еще более усиливается, несмотря на заставы. Все дела и работы останавливаются. «Производство челобитных дел» по всем присутственным местам, вследствие особого высочайшего повеления, также прекращается, а между тем число умерших все увеличивается. В амбарах Симонова монастыря уже нет места для хранения имущества выморочных домов. Строить новые чумные цейхгаузы некогда, да и некому, и потому

велено все после мертвых пожитки оставлять в их собственных домах, окошки и двери запирать и запечатывать, ставя около таких домов караулы. Но и караулов уже не из кого учреждать.

Наступает август, обыкновенно самый страшный во время всяких эпидемий месяц. Мертвые уже валяются по улицам — это тихонько выброшенные из домов. Другой идет, падает — и на улице умирает. «Причина таковому идущим по улицам скорому смертному поражению не та была, — говорится в официальном акте того времени, — чтобы такой умерший, не имев прежде никакой болезни, вдруг якобы от зараженного воздуха умер, но такая смерть от того происходила, что всяк, особливо из простого народа, старался утаивать свою болезнь и всячески, будучи уже действительно заражен, до тех пор перемогался, пока она его по своему лютому качеству скоропостижно умерщвляла». Чтобы трупы эти при продолжительном непогребении, быстро разлагаясь от жары, не могли еще более заражать воздух, велено было таких мертвецов без всякого медицинского осмотра тотчас зарывать в землю. Для этого определены были особые офицеры, которые, разъезжая по городу и находя по улицам трупы, тотчас должны были приказывать убирать их и свозить на чумные кладбища.

Но и трупов уже некому было вывозить, да и подбирать с мостовых некому: полицейские десятские все почти перемерли, а обыватели при виде в своем доме больного разбежались. Пришлось обратиться за помощью к каторжникам, преступникам, осужденным на смерть или имеющим быть приговоренными к смерти розыскною экспедициею. И вот их берут из острогов. Для этих страшных «мортусов» при каждой части построены были особые дома, где и содержались эти «служители смерти» под особым караулом, на коронном содержании, имея в своем распоряжении особую упряжь, лошадей, носилки и крючья для захватывания трупов, а равно смоляную и вошаную одежду, маски и рукавицы.

Сохранилось мастерское описание моровой язвы, свирепствовавшей когда-то в Афинах. Описание это принадлежит знаменитейшему и даровитейшему из историков древнего и нового мира — Фукидиду. Ужас охватывает при чтении этого описания: то была, без сомнения, тоже чума, занесенная в Атику с Востока.

Нам невольно приходит на память картина моровой язвы в Афинах, когда мы читаем следующее место из воспоми-

наний Подшивалова о московской чуме: «Ежедневно тысячами фурманщики в масках и вощаных плащах (воплощенные дьяволы) длинными крючьями таскали трупы из выморочных домов, другие подымали на улице, клали на телегу и везли за город, а не к церквям, где оные прежде похоронялись. У кого рука в колесе, у кого нога, у кого голова через край висит и обезображенная безобразно мотается. Человек по двадцати разом взваливали на телегу. Трупы умерших выбрасывались на улицу, тайно зарывались в садах, огородах и подвалах».

Такие же поразительные картины находим мы в «Кузьме Рощине», романе Загоскина из этого времени.

Как ни старались запретить Москву заставами и караулами от сообщения с окрестностями, чума перебралась и через заставы, и через караулы. Сначала ее вывезли из Москвы и разнесли по деревням, как говорит современное свидетельство, «знатные и должностями не обязанные люди», которые, убегая в свои поместья, или сами увозили туда с собой заразу, или же зараза выносилась их зараженными служителями. Потом зараза невидимо пробиралась через заставы всеми путями, какими только ей можно было пройти: нередко больные, боясь карантин, тайно по ночам уходили из города и в поле умирали; нередко же и здоровые, боясь за целостность своих жилищ, спасали их от огня тем, что тайно от караульных проносили в деревни и там прятали. Об этом московские власти догадались уже тогда, когда чума успела, что называется, испятнать весь московский уезд и почти всю губернию. Тогда велено было всем «благородным», которые уезжали из города в свои деревни, присылать прислугу в частные дома для освидетельствования. Но было уже поздно. Караульные, поставленные на всех выездах у Камер-Коллежского вала, напрасно таким образом сторожили выход из Москвы чумы «по отбытии вечерней зари» — чума свободно ходила уже за Камер-Коллежским валом.

Вот один из тысячи примеров переноса чумы из Москвы в окрестности: по современному отзыву московских властей, «лежащее по троицкой дороге государево село Пушкино от того только заразилось и почти все померло, что один мужик из Рогожской ямской слободы после умерших привез туда жене своей кокошник».

Поздно также московские власти спохватились, что распространению заразы по городу немало способствовали кабаки, где народ особенно любит собираться в смутных обстоятельствах, чтоб запить и свое горе, и свой страх, дер-

жась пословицы, что «на людях и смерть красна». Только в августе сделано было распоряжение — никого внутрь питейных домов не впускать, а производить винную продажу в окна и двери чрез сделанные решетки, опуская при этом деньги в сосуд, наполненный уксусом.

Эти поздние меры были уже, можно сказать, бесполезны: из сердца России чума успела быстро перенестись во все концы государства и уже свирепствовала в губерниях: Смоленской, Нижегородской, Казанской, Воронежской и Белгородской, т.е. захватила половину тогдашней европейской России.

Поздний страх овладел наконец и остальным населением Москвы, тем населением, которое долго не хотело верить, что народ мрет от чумы, а не от «перевалки». Многие дома, закупив для себя съестных припасов, окончательно заперлись; другие же высылали в город для разных надобностей кого-либо одного, как бы обреченного на смерть, и уже не имели с ним никакого сообщения. Заперся и воспитательный дом, который в одном главном своем корпусе, в так называемом «квадрате», вмещал до тысячи человек питомцев с надзирателями, кормилицами и прислугой. Роженицам приходилось бросать детей на улицах, если бы бывшим тогда опекуном воспитательного дома, Алексеем Дурново, не был открыт для рожениц его собственный дом. «Сим богоугодным поступком, — говорит «Описание», — сохранив жизнь тех, которых было по несчастном рождении неминуемая смерть пожрать хотела», Дурново «вручил» воспитательному дому 27 младенцев.

Страшная болезнь посетила наконец и тот дом, в котором жил главный начальник Москвы, Еропкин, потому что этому дому менее всего можно было уберечься от заразы. «Не только его дом и покои, — говорит современное свидетельство, — ежечасно наполнены были разного звания, а особливо подчиненными его людьми, из всех опасных мест приходящими и от него различных приказаний требующими, но и сам он своею особою часто во все места, где самая видимая опасность настояла, не оставлял проезжать, дабы тем унылых и отчаянных жителей ободрить и узнать, все ли по его учреждению исполняется». Зараза появилась сначала между его вестовыми солдатами и писарями, а затем перешла и на прислугу, так что в доме его разом умерли семь человек. Императрица, узнав об этом, «восчувствуя с матерним сожалением во всем пространстве всю народную нужду и уважив опасность», в которой Еропкин находился, назначила ему помощником се-

натора Собакина. Кроме того, в помощь же Еропкину Екатерина определила еще и штат-физика Лерхе.

Но чем дальше, тем безнадежнее казалось положение Москвы и ее населения и тем бессильнее оказывались власти и все их меры, казавшиеся жалкими перед неудержимой силой эпидемии. Полиция решительно сбилась с ног, тем более что каждый день зараза буквально косила все, что ей попадалось на пути, а чаще всего, конечно, попадались ей под руку полицейские и другие служители, обязанные действовать и спасать будто бы других. О больных обыватели совершенно уже перестали сообщать полиции, да не мало оказывалось и таких домов, где некому было и весть подать о том, что там делалось — все вымирали наповал и гнили по домам, ожидая прихода «мортусов» с крючьями. Тогда вследствие особого, состоявшегося при императорском дворе совета велено было в Москве от каждых десяти дворов выбрать своих собственных десятских, которые обязаны были делать именную перепись своим участкам и, ходя всякий день по дворам, производить переключки — кто остался еще жив, кто умер, кто заболел — и больных отвозить в больницы, а трупы убирать и свозить на кладбища. Тогда несчастные москвичи, по своему «развратному и нерассудному понятию», боясь и чумы, и карантин, стали тихонько выбрасывать из своих домов трупы, конечно, обнажая их для того, чтобы смотрители и десятские не могли узнать, из какого дома труп выброшен на улицу.

Ввиду этого Екатерина обратилась к Москве с следующим высочайшим указом из правительствующего сената: «Известно ее императорскому величеству стало, что некоторые обыватели в Москве, избегая докторских осмотров, не только утаивают больных в своих жительствовах, но и умерших потом выкидывают на публичные места. А понеже такое злостное неповиновение навлекает на все общество наибедственнейшие опасности: того для ее императорское величество повелевает отчески, по именному своему указу, строжайшим образом обнародовать во всем городе, чтоб отныне никто больше не дерзал на такое злостное и вредное ее императорского величества законов и установлений похищение. А естьли, не смотря на сие строгое подтверждение, кто в таком преступлении будет открыт и изобличен или же хотя и в сведении об этом будет доказан, таковой без всякого монаршего ее императорского величества милосердия отдается вечно в каторжную работу».

Но ни этот строгий указ, ни высочайший гнев, ни высочайшие соблезнования, ни перспектива вечной каторги — ни что уже не в состоянии было поправить того, что было непоправимо. Народ, давно потерявший доверие к властям и к опытности медиков, потерял наконец и терпение. Надежды не было уже ни на что, не было уже и нравственной сдержки. В народе, как говорит официальный документ того времени, стало наконец «рождаться неудовольствие, роптание и отчаяние». Надо было ожидать взрыва — Москва была накануне бунта. Взрывы уже и проявлялись в конце августа, но это были вспышки, пока единичные, разрозненные, так сказать, спорадические, как предвестники общей грозы. В Лефортовской слободе народ хотел убить доктора Шафонского. Только вмешательство частного смотрителя, лейб-гвардии капитана Волоцкого, спасло несчастного.

Новым рескриптом на имя Еропкина императрица приказывает объявить Москве о неприменном и частом выветривании домов, об употреблении холодной воды для питья и для обмывания тела и об окурировании уксусом. Бедным для этого выдают казенный уксус. Все фабрики, которые еще действовали, велено остановить, а рабочих распустить, казенным рабочим велено выдавать кормовые деньги.

III

Проходил август. Чума усиливалась. Недоставало людей, недоставало рук, недоставало сил, чтоб бороться с бедою. Для вывоза за город мертвых не хватало, наконец, лошадей. «Бог нас забыл», — роптала Москва.

Вместо 14 частей Москву разделили на 20. Из Петербурга прислали новых офицеров гвардии на помощь московским властям. Для раскольников отвели особую больницу — там-то они и покушались убить Шафонского. К делу привлекли всех чиновников из всех закрытых присутственных мест — секретарей, протоколистов, регистраторов, их обязанность состояла в наблюдении за отвозом больных в больницы, а мертвых на кладбища. Кроме того, учредили особый полицейский батальон из вольных и охотных людей с жалованьем по полтора рубля в месяц, с солдатским провиантом и мундиром.

В церквах священники должны были читать и толковать народу особые наставления, сочиненные докторами Лерхе и Ягельским, из коих первое начиналось «наикрепчайше прика-

зять всем, а наипаче подлым людям» и т. д., а последнее называет чуму «проклятою».

Но было уже не до наставлений. Москвичи видели, что им уж и в больницах помещаться негде, а «проклятая» чума продолжала делать свое дело. Оставалось вывозить больных просто за город, где для них и разбивали палатки и лубочные шалаши.

Наступает сентябрь. Время стоит сырое, дождливое. Вместо жары и духоты в домах бедного населения господствует прель, гниль. Но эти дома пустеют. Едва появляется в них один больной, как его тотчас же мортусы везут за город, а всех остальных в этом доме забирают и выводят в шалаши, в карантинны. Если последние и возвращались потом домой, избежав смерти, то находили дома пустыми, ограбленными. Народ выдумывает новую уловку обходить власть и спасать свои дома от разорения: обыватели стали являться в частные дома и всех здоровых записывать больными, с тем расчетом что если по прошествии десяти дней после записки в книге больной умрет чумой, то его не будут уже осматривать как нечумного и дом оставят в покое. Власти узнают об этой выдумке народа только тогда, когда тысячи несчастных сделались уже жертвою своей собственной изобретательности, и чума подряд пожирала и записанных в книги, и не записанных. И вот десятским велят осматривать каждый дом и доносить о действительно больных и мнимобольных: последних, в страх другим, берут и посылают в карантинные дома в работу.

Несмотря на публикации о заразительности прикосновения к больным и умершим без соблюдения известных приемов предосторожности, несмотря на наставления и увещания, читаемые в церквях, народ все еще бродит во тьме: по христианскому обычаю, он все еще продолжает обмывать своих близких мертвецов, все еще целует их «последним целованием», провожает в могилу и вновь заражается. И вот власти запрещают народу целовать своих мертвецов, приказывая класть их в гробы, не раздевая и не обмывая, и тотчас же гвоздями заколачивать эти гробы. С своей стороны Амвросий, архиепископ московский и калужский, издает для священников особое наставление, чтобы, исповедывая больных, они к ним не прикасались, а исповедывали бы через двери или через окна, а равно таким же образом и приобщали бы их; чтобы при крещении детей не брали их в руки и не погружали в воду, а велели бы делать это погружение повивальной бабке, да и волосы бы у кре-

щаемых не постригали; чтобы, наконец, умерших не отпевали ни на дому, ни в церкви и даже не вносили бы их в церковь, а прямо отправляли бы на кладбище.

Распоряжение Амвросия было истолковано чернью, особенно раскольниками, как еретическое, богопротивное. Распоряжение это стоило Амвросию жизни — его растерзала обезумевшая толпа, как мы сейчас это увидим: народ бунтом отвечал на все, что для него же хотели сделать полезного, да не успели.

Пришло наконец время, что уже не доставало ни могил для трупов, ни гробокопателей и могильщиков для погребения чумных.

Скоро и Еропкин, единственный главный начальник, управлявший Москвою в то время, когда главнокомандующий граф Салтыков со страху покинул город, остался без помощника, которым был сенатор Собакин: чума появилась и в его доме, который поэтому и был заперт. Тогда императрица в помощь Еропкину прислала из Петербурга сенатора Похвиснева.

«В каком плачевном состоянии, — говорит Бантыш-Каменский, — находилась в то время древняя российская столица! Опустевшие дома, мертвые трупы, по улицам валявшиеся, печальные жители в виде бледных теней, вдоль и поперек города, ища и не находя нигде себе спасения, бродившие, унылые звуки колоколов, отчаяния матерей, жалкие вопли невинных младенцев — вот несчастная картина того града, в коем незадолго перед тем раздавались радостные клики счастливых обитателей».

В ночь на 16 сентября в Москве вспыхнул бунт.

Россия не первый раз переживала подобные бунты, вызывавшиеся каким-нибудь общественным бедствием, которое доводило народ до отчаяния, до потери гражданской сдержки и благоразумия. Пожары, голод, мор — вот те общественные бедствия, которые доводят народ до отчаяния и затем нередко до проявления необузданного, безумного зверства. Так было в Древней Руси, так было и в новой. Бунты вспыхивали в Великом Новгороде, в Пскове, в Москве и почти охватывали целые области. Во время общественного бедствия, когда люди ниоткуда не видят спасения, отчаяние заставляет их искать причины бедствия в каком-нибудь злоумышлении, и чернь, по каким-нибудь пустым подозрениям, старается отыскивать виновников своего бедствия, «лихих людей» — и всегда, как ей кажется, находит их, особенно при помощи разных толкователей, таких же, как и она сама,

доверчивых и суеверных. На этих-то «лихих людей» и обрушивается вся накопившаяся в народе горечь и злоба. Так, еще в 1024 году, когда в Суздальской области стоял голод и народ дошел до отчаяния, «восстали, — говорит летописец, — волхвы лживые в Суздали и начали избивать старую чадь бабы, сказывая народу, будто старухи держат гобино и жито и попускают на землю голод», такой страшный голод, что мужья отдают своих жен в рабство, чтоб только кормили их. С трудом Ярослав усмирил этот страшный мятеж. Лет через пятьдесят, также во время голода, вспыхнул еще более страшный мятеж на Волге, около Ярославля. Кудесники опять указывали на «лихих баб», посылающих на землю голод, — и народ сам выводил к кудесникам своих жен, дочерей, матерей, и несчастных баб тут же избивали. Такие же мятежи были и после. Во время пожаров народ всегда ищет поджигателей и, заподозрив кого-либо, начинает избивание этих мнимых лихих людей. Во время эпидемии народ всегда ищет отравителей, которые будто бы бросают отраву в воду, в колодцы, в реки, в самый воздух, и большею частью, за неимением отравителей, опрокидывает свое отчаянное исступление на лекарей, на властей и т. д. Такие бунты были в Севастополе, во время чумы 1829—1830 годов, когда взбунтовавшиеся женщины, а за ними и мужья их взяли приступом город, растерзали губернатора и многих из властей города и владели Севастополем как победители несколько дней, и в Петербурге, в холеру 1848 года, когда только неустрашимость императора Николая Павловича спасла столицу от дальнейшего распространения народного мятежа.

В данном случае, во время чумного бунта в Москве, простой народ видел лихих людей прежде всего в архиепископе Амвросии, потом в докторах и затем уже во всех властях города.

Ненависть черни к Амвросию проистекала из разных причин. Отчасти он не пользовался популярностью потому, что москвичи считали его нерусским, иностранцем по происхождению. Предки его были молдаванские дворяне, а мать — малороссиянка. До поступления в монашество он носил фамилию Зертыш-Каменского, которая была в родстве с фамилиею Бантыш-Каменских. Известно, что малороссийское или киевское духовенство со времени Петра, да еще и раньше его, приобрело значительную власть в Великой России, так что высшие духовные лица в конце XVII и в начале XVIII века почти все были из мало-

россиян, т.е. из киевских ученых, начиная от Симеона Полоцкого, Феофана Прокоповича и кончая Амвросием Зертыш-Каменским. Старорусская, особенно московская, партия, не любила их отчасти как иностранцев, отчасти же как новаторов, склонных будто бы к латинской ереси. Ненависть к киевским духовным особенно поддерживали в народе раскольники, которые и святителя Димитрия Ростовского, родом тоже из малороссийской фамилии Туптало, считали еретиком, табачником, латинцем. Затем ненависть к Амвросию усилилась еще более, когда чувство это стали разжигать в народе сами же московские духовные власти, не любившие своего архиепископа уже за то, что он был малороссиянин и строгий блюститель духовного, а не внешнего приличия церкви и духовенства, а потом окончательно возненавидевшие его, когда он отменил и строго воспретил старинный русский обычай церковного наемничества, — обычай, крепко державшийся еще в древнем Новгороде и Пскове. В Москве обычай этот состоял в том, что находившиеся в этом городе священники безместные, к какой бы епархии они ни принадлежали, каждое утро собирались на Лобное место, как на базар, и там у Спасских ворот дожидались, чтобы кто-нибудь нанял их на этот день служить обедню, отправлять панихиду, петь молебен и т. д. Затем, когда священники во время чумы почти каждый день затевали церковные ходы и, способствуя тем постоянному скоплению народа в церквах, на площадях и на улицах, невольно помогали заразе вместе с зараженными переходить из одного конца города в другой, Амвросий запретил и эти сборища священников и прихожан. Священники лишались чрез это доходов, а прихожане, как им казалось, духовного утешения — и вот причина новой ненависти.

«Праздность, — говорит жизнеописатель Амвросия (Бантыш-Каменский), — корыстолюбие и проклятое суеверие прибегло к другому вымыслу. В начале сентября поп Всех Святых что на Кулишках вздумал разглашать о виденном будто во сне одним фабричным чудесном явлении».

Действительно, фабричный рассказывал, что он видел во сне Богородицу, которая будто бы поведала ему, что так как находящемуся у Варварских ворот образу Ее никто не пел вот уже более 30 лет, ни свечи не поставил, то Христос будто бы хотел за это послать на Москву каменный дождь, но что Она, Богородица, умолила сжалиться над Москвою и послать

на нее трехмесячный мор. «Изрядная скука!» — прибавляет Бантыш-Каменский.

Как бы то ни было, но фабричный поместился у Варварских ворот, рассказывал народу свой чудесный сон, и толпы суеверной черни пошли к нему со всей Москвы, как, по-видимому, ни была она опустошена чумою.

— Порадейте, православные, Богоматери на всемирную свечу, — кричал фабричный, разжигая этим криком народные страсти, и без того распалившиеся продолжительным терпением страшного бедствия.

Все повалило к Варварским воротам: больные и здоровые, женщины и дети. Священники побросали свои приходы, расставили у ворот налои — и пошло молебствие от раннего утра до поздней ночи. «Это было торжище, а не богомолие», — поясняет жизнеописатель Амвросия.

Так как икона помещалась высоко над воротами, то, чтоб ставить ей свечи, народ подмостил в воротах лестницу и совершенно загородил проход и проезд.

Амвросий, чтоб положить конец этим соблазнам, думал было сначала снять икону с ворот и перенести ее в ближайшую церковь Кир-Иоанна, а собранные от приношения деньги, которых накопилась немалая сумма в поставленном там сундуке, отдать на богоугодное дело или же внести в кассу воспитательного дома, в котором Амвросий считался опекуном. Но, не решаясь самолично на эту меру, архиепископ посоветовался прежде всего с Еропкиным. Еропкин находил небезопасным брать икону в такое смутное время, а полагал возможным только одно — перенести собранные деньги куда-нибудь в безопасное от расхищения место и для этого запечатать сундук.

Для приведения в исполнение этого плана к Варварским воротам был послан небольшой отряд солдат с унтер-офицером, два подьячих с конторскою печатью и тот именно священник, который и был причиною мнимого чуда — он-то и настроил фабричного рассказывать о видении.

Говорят, что этот священник, бывший в день бунта в консистории для дачи показаний относительно всего происходящего у Варварских ворот, раньше предупредил плац-майора, находившегося у этих ворот, о том, что начальство хочет взять у иконы деньги, и предложил ему не допускать команду до сундука. Плац-майор тотчас же приложил к сундуку свою собственную печать и стал ожидать военную команду с консисторскими подьячими. Между тем при помощи этого же майора и священника, выдумавшего чудо, в народе прошел

слух, что вечером архиерей сам приедет брать Богородицу. Бывшие у Варварских ворот кузнецы тотчас же вооружились чем попало на защиту Богородицы.

Вечером явилась наконец и команда с подьячими. Один из подьячих подошел к сундуку, чтоб приложить печать.

— Бейте их! — раздался крик в толпе, и народ тотчас же напал на команду, которая была избита и перевязана.

— Богородицу грабят! — кричала толпа. — Богородицу грабят!

Ударили в набат в ближайшей церкви. Этому набату отвечал городской набат у Спасских ворот. Набат загудел по всей Москве, и вся Москва, уже и без того наэлектризованная страшными сценами чумного времени, поднялась на ноги как один человек.

Амвросий, услышав набат и общее смятение, понял, что народ, выступив на защиту Богородицы, тем самым протестует против его личных распоряжений, и, боясь народного гнева, тайно сел в карету своего племянника, Бантыша-Каменского, также жившего в покоях Чудова монастыря, и велел ехать к своему другу, сенатору Собакину. Но Собакин оказался больным или, может быть, слег в постель со страху, и тогда Амвросий приказал ехать в Донской монастырь.

Была уже ночь. Москва представляла ужасное зрелище. На улицах громче всех раздавался один крик:

— Грабят Боголюбскую Богородицу!

Вся Москва, казалось, переселилась на улицы, на площади. «Все, — говорит очевидец этого происшествия, ехавший вместе с Амвросием в эту ночь, — все были даже до ребят вооружены! Все, как сумасшедшие, в чем стояли — бежали, куда их стремление к буйству и грабительству влекло».

Мятежники ворвались в Чудов. «Все, — говорит тот же очевидец, — что ни встречалось их глазам, похищаемо, разоряемо и до основания истреблено было. Верхние и нижние архиерейские кельи, экономические, консисторские и все монашеские, также казенная палата со всем, что в ней ни было, разграблены; окна, двери, печи и все мебели разбиты и разломаны; библиотека, картины, образа, портреты, даже и в самой домово́й архиерейской церкви с престола одеяние, сосуды, утварь и самой антиминс в лоскутки изорваны и ногами потоптаны были от такого народа, который, по усердию будто, за икону вооружился».

Там, в монастыре, разъяренная толпа напала на брата архиепископа Амвросия архимандрита Воскресенского монасты-

ря Никона. Несчастный монах от ужаса помешался и через четырнадцать дней умер.

Толпа все рыскала по монастырю, разыскивая Амвросия, но его искали напрасно.

«Наконец, — продолжает очевидец, — какое открылось зрелище! Когда разбиты были чудовские погреба, в наем Птицыну и другим купцам отдаваемые, с французскою водкою, разными винами и английским пивом, не только мужчины, но и женщины приходили туда пить и грабить».

«А между тем помощи ниоткуда нет. Где тогда были полицейские офицеры с командами их?.. — восклицает очевидец. — Где находился полк Великолуцкий, для защищения Москвы назначенный? Где, напоследок, градодержатели? Заключить можешь (пишет очевидец своему другу), что город оставлен был и брошен без всякого призора».

Один из оставшихся еще в Москве начальников, Федор Иванович Мамонов, желая унять волнение, прискакал на место бунта, и, когда потребовал у караульного офицера в помощь себе солдат, офицер не решился дать ему команду, не имея на то приказания. Мамонов сам явился в монастырь с своими людьми. Но толпа тотчас набросилась на него. Мамонов долго защищался от напирającej на него массы, но в него бросали камнями, проломил ему голову, и несчастный едва успел спастись от смерти бегством.

Видя неизбежную гибель, Амвросий наутро послал к Еропкину просить пропускного билета за город, думая спастись в одном из загородных монастырей. Но вместо билета Еропкин прислал для охраны особы архиепископа одного из офицеров конной гвардии, который и должен был проводить преосвященного за город. Офицер просил архиепископа переодеться в простое платье, а сам поспешил вперед, чтоб, не давая подозрения народу, выждать преосвященного у конца сада князя Трубецкого. Но пока закладывали простую кибитку для владыки, пока он одевался, толпа явилась в Донской.

Спасения искать было неоткуда.

Еще издали несчастный старик услышал шум, крик, пальбу. Толпа ломилась уже в ворота. Ворота были выломаны. На монастырском дворе стояла кибитка, ждавшая преосвященного. Но прятаться было уже некуда.

Амвросий, предчувствуя свою гибель, отдал свои часы и деньги племяннику своему, Бантышу-Каменскому, все время находившемуся при нем, и советовал ему искать спасения.

— Возьми часы сии и деньги — они спасут тебя, — сказал он Бантышу (старый архиепископ очень хорошо знал народные страсти!).

Потом, надев простое монашеское платье, архиепископ отправился в церковь, где в то время шла уже литургия.

«Злодеи, — говорит Бантыш-Каменский, — еще в Чудове знали, по единогласному от всех признанию, что владыка со мною и в моей карете уехал. Тут они ее на монастыре увидели. Поверишь ли, любезный друг, что один из подьячих нашей канцелярии (коллегии иностранных дел архива) вместе с ними находился и объявил о моей карете. Кучер и лакей мой смертельно биты были, чтоб об архиерее и обо мне объявили, наконец злодеи сведали, что архиерей скрылся в церкви, а я в бане, ибо мой малой, оставя меня тут, сам ушел и попался к ним в руки; а притом в то время сидели в бане двое монастырских слуг, кои и топили оную. Между тем как изверги ворвались в алтарь и искали там владыку, одна из них шайка нашла меня в бане. Боже мой! В каком был я тогда отчаянии жизни моей! Поднятые на меня смертные удары отражены были часами, табакеркою и двумя империялами дяди моего, тогда при мне находившимися».

Другие толпы, рассеявшись между тем по монастырю, везде искали архиерея. Одна шайка ворвалась в церковь, с дрекольем и оружием в том виде, в каком мятежники рыскали во городе, но, увидев, что идет служба, бунтовщики остановились, боясь нарушить богослужение.

«Преосвященный, — по словам его жизнеописателя, — увидев из алтаря, что народ с орудием и дрекольями вошел в церковь, приблизился к престолу Божию, преклонил колена пред оным и, воздев к жертвеннику руки свои, со слезами произнес сию молитву: «Господи! Остави им, не ведят бо, что творят, не введи их в напасть, но отврати стремление их, и яко же смертию Ионы укротилось волнение моря, тако смертию моею да укротится ныне волнение сего свирепеющего народа».

Затем он исповедался, приобщился Св. Таин и скрылся на хорах позади иконостаса.

Не дождавшись, однако, конца обедни, бунтовщики вломились в алтарь и стали искать свою жертву. Второпях они все перешарили, ни перед чем не останавливались: опрокинули престол, полагая, не там ли спрятался архиепископ.

Увидев замок у двери, ведущей на хоры, они отбили замок и стали там искать владыку. Только его и там не находили.

В это время какой-то мальчик, приметив вверху хоры полу платья несчастного старика, закричал:

— Сюда! Сюда! Архиерей на хорах!

Толпа радостно закричала — жертва их была найдена: было над кем излить долго копившуюся в них злобу.

«Овцы», — говорит жизнеописатель страдальца, — вытащили своего «пастыря» из храма. Кто-то хотел убить его еще в церкви, другие порывались убить на паперти, но толпа помнила, что это будет осквернение храма, и не дозволила убивать несчастного в священном убежище.

Его вывели в задние ворота монастыря, к рогатке.

— Зачем ты хотел снять икону Божьей Матери с Варварских ворот? — спрашивали его одни.

— Зачем не ходил с попами в ходах и молебствиях? — спрашивали другие.

— Для чего велел запечатать бани, учредил карантин, запретил хоронить мертвых при церквях? — спрашивали третьи.

Он на все отвечал. Он говорил при этом, что не своей волей делал распоряжения, о которых его спрашивают, но что на это была воля правительства. Он говорил кротко, с убеждением. Толпа было присмирела. Слова старика тронули многих. Иные уже стали раскаиваться в своем необдуманном порыве, в своих увлечениях, в зверском грабеже монастыря.

Но в это время дворовый человек Раевского, Василий Андреев, выбежав из кабака, кинулся на архиерея с колом в руках.

— Чего глядите на него? — закричал он. — Разве не знаете, что он колдун и морочит вас?

И он колом ударил архиепископа в левую щеку. Достаточно было одного крика, достаточно было слова «колдун», достаточно наконец было удара, чтоб у разгоряченного всеми этими событиями и обезумевшего от страсти и вина народа проснулась вся его необузданность. Кровь всегда вызывает жестокость.

Все бросились на беззащитного старика. Он был мучительно убит.

«Избитое и обагрённое кровию тело нового сего московского мученика лежало на распутии день и ночь целую», — говорит жизнеописатель Амвросия.

Для полноты картины мы не можем не привести здесь современного описания этого бунта и убиения московского архиепископа — описания, принадлежащего перу очевидца

этого события, катехизатора (профессора богословия) в московском университете, протоиерея Петра Алексеева и составленное чрез несколько дней после бунта, еще под свежими впечатлениями этой памятной для Москвы чумной трагедии.

«При всей жестокости моровой язвы, здесь распространившейся сильно в царствующем сем граде грех ради наших, открылося преужасное и слезам достойное кровопролитное позорище, сего месяца 15 числа, т.е. с четвертка на пяток, бунтом от злой черни, от фабричных, холопей, купцов, оставших солдат и других разночинцев учиненным. Во 2-м часу пополудни, когда пришли от архиерея московского посланные к Варварским воротам для счета денег, собранных при образе Пресвятыя Богородицы Боголюбской, что над вратами, и для запечатания оных консисторскою печатью, канцелярист консисторский и семь человек солдат, данных на то от г. Еропкина, и как подьячий снял печать купцову от сундука с деньгами, то и сделался нелепый крик от народа, нароком туда заранее собравшегося и ожидавшего уже не только присыльных от архиерея, но и самого архиерея. Потом били подьячего и солдат, и их перевязали, из коих иные и померли. Между тем бунтовщики послали своих на колокольню церкви Всех Святых что на Кулишках и ударили в набат, также и на других окрестных церквей колокольнях, отчего пошла тревога во всем городе. Но набату, особливо городскому, и трещоткам, на то по тайным давно учиненным от бунтовщиков повесткам, сбежалось бесчисленное множество черни с топорами, кольями, камнями, кистенями и другими разбойническими орудиями, пошли нарядным делом к Чудову монастырю с великим азартом, грозя убить архиерея и каких-то трех енаралов».

Из этого свидетельства видно, что бунт готовился заранее, что бунтовщики «по повесткам» приготавливали, кого следовало, о готовящемся волнении и что народ, — конечно, те, которые были посвящены в это дело, — собрался к Варварским воротам, как говорится в описании Алексеева, «нароком», т.е. с обдуманым уже планом, чтоб убить архиерея.

От Варварских ворот, как мы уже видели, толпа бросилась к Чудову монастырю.

«Туда прибежав в 10-м часу, выломали ворота, что против Ивановской колокольни, и прямо в келии архиерейские вломившись, искали преосвященного, который, узнавши по начавшемуся набату, что там мятеж, куда от него люди посланы, уехал вон из монастыря с племянником Николаем II

(Бантыш-Каменский) в кибитке, а как не нашед архиерея, застали только брата его, воскресенского архимандрита, коего били и допросились, что архиерей поехал в Донской монастырь, а оттуда хотел-де уехать в Воскресенский. Тогда мятежники отряд послали для сыску его. Другие же пошли для распущения людей из карантин, коих и распустили. Оставшие же злодеи грабили монастырь без пощады, особливо в келиях архиерейских растащили что кому попалося, и продолжали оное грабительство целые сутки в виду дрожащего народа, не малым числом на позор сей сбежавшегося в Кремль, с великим буянством, нося оттуда книги, деньги, платье, картины, посуду всякого рода, постели, в том числе и венцы с образов, сосуды священные, панагии, пелены и прочее. И никто из градоначальников не смел им препятствовать».

Так, по свидетельству катехизатора Алексеева, кончилась ночь. Власти не приготовились к нечаянному нападению бунтовщиков на монастыри и потому не смели ничего предпринять. Еропкин даже не показывался совсем в эту ночь к народу. А цель народа, как видно из этого описания, была не только убийство архиерея, но и распущение карантин — ясно, что были причины неудовольствия на карантинные порядки, потому что, как мы видели выше, всякий, попавший в карантин, считал уже себя окончательно ограбленным, ибо если и не умер там, то, возвращаясь домой, ничего не находил уже из своего имущества.

Наступило 16-е число. Власти и за ночь ни к чему не приготовились.

«После обедни, — продолжает о. Алексеев, — по усердию своему приехал верхом с двумя лакеями верховыми Федор Иванович Мамонов к Чудову монастырю с задних ворот (чему я был очевидец) и, оставя с лошадьми одного лакея, с другим пошел в монастырь и, побывши там минут с 5, опроретью выбежал из ворот, а в него метали из монастыря камни и полены. Он сперва оборонялся пистолетами, а потом шпагою, но, увидя превосходную силу, побежал к Никольским воротам, и его били вдогонку чем попало, однако еще с ног не свалили, покамест один бунтовщик не ударил его большим камнем по голове, от которого удару Мамонов упал на землю, и тут лежащего несколько поколотили же. А люди, подхватя полумертвого господина, на руках отнесли за Никольские ворота к гауптвахте, который, сказывали, от тех побой на другой день и умер. А 20-го числа я услышал, что он еще жив».

Затем у Алексеева следует мастерское описание последующих сцен и убийства архиепископа.

«Того же дня во время литургии отделенные бунтовщики, пришед к Донскому монастырю, видно, что по подвоху, взошли во оной и напали, выломав двери южные алтарные, на служащего диакона, и бив его, спрашивали: «Где архиерей?» — и казначея больно же били: «Как тебе-де не знать, где архиерей спрятался, у тебя ключи от церкви». Он показал на племянника архиепископа, в бане скрывшегося, что не знает ли разве он, который, хотя и побит несколько, однако табакерками золотыми и часами их удовольствовал и тем от смерти избавился. А преосвященный до входу их в церковь исповедывался и Святых Тайн на литургии приобщился, и взошел на палаты или хоры, что за иконостасом в алтаре, на четвертый ярус, и за ним Епифаний Могилеанский из Киева, архимандрит, туда же вбежал, и там сидели. Крамольники, обыскивая в алтаре под престолом и под жертвенником, усмотрели дверь у входа на те хоры, запертую замком, и, сбив оной, побежали вверх, и, ощутив сперва Епифания, закричали: «Здесь! Здесь он!» Однако знающие из них оспорили: «Это не он», — и пошли выше на хоры. И один детина лет 12-ти вдруг взвизгнул: «Вот он здесь!» Откуда ругательски его стащили, а как свели в церковь, архиерей и просил, чтоб допустили его приложиться к образу Пресвятыя Богородицы Донской, к чему они и допустили. Потом за волосы потащили из церкви. Выволокли на паперть, один из злой шайки буйной мужик ударил в висок архиерея, но иные из них закричали на того: «Не бей здесь, погоди». А святого владыку допрашивали: «Ты ли послал грабить Богородицу? Ты ли не велел хоронить покойников у церквей? Ты ли присудил забирать нас в карантин? И кто с тобой в этой думе заодно?» А все то ведчи сквернословили неподобно ту особу, которая по сану архипастырскому и по разуму редкому заставляла честных людей взирать на себя с благоговейством. Выволокли же из монастыря сажен десять или больше от ворот, вознеистовали на святителя Христова и своего отценачальника, били смертельно с наруганиями близ двух часов; убивши же до смерти, отступили мало, скверня языками своими воздух; присмотря же, что одна рука правая отмашкою двинулася, с чего принялись паки бить кольями по голове; отступивши же несколько, увидели, что пожался тот священный страдалец раменами, то и третично били, дондеже один какой-то церковник, дьявольской церкви слуга, последним довершил уда-

ром, отрубя несколько от главы, коя часть над глазом, коя часть и осталася висящею. И тако священномученик Амвросий, архиепископ московский, жизнь свою страдальчески скончал месяца сентября в 16 день: бесчеловечно уранено тело его, переломаны кости и измождена глава его несказанным образом. Повержены мощи достойно почитаемого человека на пути, обагренном кровию, близ будки, что у задних монастырских ворот, в жалость приводя всех мимоходящих, кроме тех злодеев, осквернивших нечестивые свои руки убивством архиерея Божия. Однако никто чрез два дни не смел отдать долгу христианского и с соболезнованием об нем выговорить слова явно. Я вчерашнего числа в том монастыре служил обедню по причине отпевания г. Стрешнева Петра Ивановича и удостоился видеть в церкви больницы поднятое тело преосвященного и уже во гробе положенное. Архимандрит донской во время сего случая пролежал в нижней церкви под лавкою и не найден тогда, а только в келье у него растащено много теми злодеями, искавшими архиерея. Ночь на 16 число не можно изобразить, как была страшна всему граду, потому что в набат били беспрестанно бунтовщики у многих церквей, и в Чудове монастыре и в городской, а как не видно нигде пожара, то не знали сперва обыватели на что подумать: иной говорит, что пришли турки, иной сказывает, что Богородицу грабят, и бежали со всех сторон в город злодеи с разбойническим оружием, от чего все обыватели в трепете и отчаянии были. Но тем не кончилась сия трагедия».

IV

Сохранилось несколько современных описаний московского бунта, убийства архиепископа Амвросия и усмирения силою оружия этого волнения. Описания эти все принадлежат очевидцам и в главнейших фактах совершенно сходятся между собою, хотя несколько разнятся в мелких подробностях.

Кроме современного свидетельства о. Алексеева, сейчас нами приведенного, другие современные свидетельства о том же предмете принадлежат: одно — офицеру лейб-гвардии Саблукову, участвовавшему в усмирении бунта, другое — упоминаемому уже нами племяннику убиенного Амвросия, Бантышу-Каменскому, третье — настоятелю одного из московских монастырей.

Все эти четыре описания имеют свои достоинства как показания очевидцев и современников.

Саблуков вместе с другими офицерами лейб-гвардии был прислан императрицею из Петербурга в Москву в начале августа, когда чума особенно сильно свирепствовала в этом городе и грозила перебраться в Петербург. Дело было такой важности, что гвардейским офицерам велено было выехать из Петербурга в три часа и следовать в Москву с «крайним поспешением». Всем им приказано было давать на станциях по пяти подвод.

Саблуков, находясь в Москве в числе частных зрителей, переписывался с отцом, и вот, между прочим, что он пишет отцу 19 сентября, т. е. через два дня после усмирения бунта, «о московских обстоятельствах»:

«Оне состоят в том: дней десять назад как стало здесь известно, что явился на Варварских воротах образ Боголюбской Богородицы, где и сделалось великое богомолье и великая теснота и сбор деньгами; а как болезнь от прикосновения весьма прилипчива, то покойной здешний преосвященный и рассудил в этом случае сделать некоторое распоряжение, а притом, чтоб не была раскрадена, и казну велел запечатать, и как скоро для сего только прислано было 15 числа около вечера, то бывшая тут чернь, не повинаясь сему, тотчас взбунтовала и ударила в набат. И как собралось множество черни, и побив сию присланную команду, пошли ночью на 16 число, разломав железные ворота, в Чудов монастырь, дабы там найти и убить архиерея, который уже тогда потаенным образом и в сером кафтане ушел в Донской монастырь. То она в удовольствии нашла, чтоб разграбить, переломать все в покоях, где он жил, также и в домашней его церкви, ободрав Евангелие, престол, и ризы, и сосуды, и случившиеся там деньги, покров, пошли 16 числа, около обеда, человек с 200 сих бунтовщиков, в Донской монастырь, где и нашли преосвященного и, вытащив его из алтаря на поле, убили его камнем и дубьем до смерти. А в то ж время случившаяся в Кремле чернь разломала в Чудове монастыре купеческие погреба с винами, стала пьянствовать, и Кремль был так страшен от сих пьяных бунтовщиков, что они всех входящих туда солдат побивали камнями».

Бантыш-Каменский также оставил нам описание московского бунта в письмах к другу.

21-го октября он пишет следующее: «Любезный друг! Требуешь, чтоб тебе обстоятельно я уведомил о таком деле, которым растравить должно мои раны и подвигнуть всю внут-

ренною. Внемли. Давно уже писал я к тебе, что по причине усилившейся здесь болезни, все не токмо не привязанные к делу бояре, но и те, коим поручено правление города, разъехались по деревням; на дворах остались одни холопы, и те голодные. Раскольники и чернь негодовали на учреждение карантинных домов, запечатание бань, непогребение мертвых при церквах и на прочие комиссиею учрежденные распоряжения. Попы не столько для святости, сколько для корысти, учредили по приходам, без дозволения на то пастырского, ежедневные крестные ходы; народ от сих ходов и пуще заражался, ибо мешались тут и больные, и зараженные с здоровыми. Попы, увидя напоследок, что от ходов сами зачали умирать, как им от архиерея предсказываемо было, бросили хождение. Что ж!.. Праздность, корыстолюбие и проклятое суеверие прибегли к другому вымыслу. В начале сентября поп у Всех Святых что на Кулишках выдумал чудо с помощью фабричного. На Варварских воротах древний был большой образ Боголюбские Богоматери. Вдруг начались тут молебны и всенощные; чудо выдуманно такое, которое ни с величеством Божиим, ни с верою, ниже с разумом не согласно: будто фабричный пересказывал попу, что видел он во сне Богоматерь, вещающую к нему так: что понеже 30 лет прошло как у Ее на Варварских воротах образа не токмо никто не пел николи молебна, ниже поставлена была свеча, то за сие Христос хотел послать на город Москву каменный дождь, но Она упросила, дабы трехмесячный был мор. Изрядная скука! Не токмо чернь, но и купечество, а особливо женский пол, слушая таковые рассказы фабричного, присядящего у Варварских ворот и собирающего деньги с провозглашением: «Порадейте, православные, Богоматери на всемирную свечу», — взапуски старался изъявить свою набожность. Мерзкие козлы (и попами их грех назвать!), оставив свои приходы и церковные требы, собирались тут с налоями, делая торжище, а не богомолье. Дошло сие до ушей покойного владыки, который по причине оказавшейся в Чудове заразы, высылая больных, взаперти сидел. Он почитал за долг, и регламентом, и монаршими указами подписанный, достигнуть и пресечь сие позорище. Первое его по сему делу было намерение удалить оттуда попов и икону перевезти (ибо в воротах ни проходу, ни проезду не было по причине приставленной лестницы) во вновь построенную с величеством тут же у Вознесенских ворот Кира и Иоанна церковь и собранные там деньги употребить на богоугодные дела, а всего ближе отдать в воспитательный дом, в коем он опекуном был. Требуемые

в консисторию попы не только отрекались идти, но и еще угрожали присланным побитием их камнями. Между тем язва так усилилась в граде, что по 900 слишком умирало, а как по предписанию докторскому запрещено было прикосновение и тесные между народом всякие сборища, то и не мог обойтись преосвященный, чтобы о способах к прекращению у Варварских ворот народного сходбища не посоветоваться с господином Еропкиным, который один только в городе и был начальник. Страх, дабы не обратить на себя простолюдинов, произвел у них таковое по сему делу решение, чтоб оставить до времени перенесение иконы; а дабы собираемые у Варварских ворот деньги чрез фабричных не могли быть расхищены, то приложить к ящикам консисторскую печать; для безопаснейшего же исполнения сего дела обещал господин Еропкин прислать от себя несколько солдат Великолуцкого полка. 15 числа сентября, в 5 часов пополудни, пришла в Чудов реченная команда, из шести солдат и одного унтер-офицера состоящая».

Далее следует известное уже нам описание самого бунта.

Что касается четвертого из названных нами описаний, то оно несколько отличается от прочих трех.

«Сказывал нам, — говорит это описание, — отец архимандрит донской: покойный преосвященный на 16 число в 7 часу прибежал к нему и писал к Еропкину дать билет, чтоб ему бежать в Воскресенский монастырь. Той прислал к нему офицера проводить его до заставы, и сказывал офицер, что Чудов разграблен. Вот преосвященный оробел и не поехал далее, говорил: «Тут-де меня где-нибудь скройте — може-де у них все дороги захвачены караулом». Поутру, сняв с себя панагию, отдал отцу архимандриту и, сняв свое платье, оделся в простое монашеское, выисповедался, пошел к обедне, а во время каноника сказано, что злодеи монастырь окружили и ворота монастырские ломают. Тут зараз причастился Св. Таин и побежал на перила с архимандритом киевским Епифанием, и заперли их там; но вскоча те злодеи в церковь и в алтарь, били ризничего, который и помре после, и спрашивали, где преосвященный. Под жертвенником и везде искали, потом, сбив от перил замок и пошед, там сыскали его, а архимандрита не было. Донской архимандрит в нижней церкви скрылся в алтаре и там сохранился. В келии архимандрита донского пограбили серебряные ложки, чарки, часы и проч. В Чудове у одного купца, прозываемого. Птицын, погреб с напитками разбили на 10 тысяч рублей;

просил графа о милости и сказано: «Разве после, а ныне не до вас мне». Он, бедный, много от них откупался в пяток днем: единой партии даст денег, те и отступят, а другие не получившие приступят, и как напились злодеи и из других погребов, то и его разбили. Штоф пенной водки по 16 к., аглицкого пива бутылку по 2 к. продавали. Видно были и раскольники: в келиях архиерейских картины живописные порезаны, другие части повырезаны, глаза выколаны, а старинные все побраны. На стене написано в келиях: *погибе память его с шумом*. Что-то будут делать с Варварскими воротами? Там и ныне молебствия происходят беспрестанные и денег много собирают, караул приставлен. Будем ожидать: что-то граф Григорий Григорьевич сделает». Это об Орлове, который в это время был прислан в Москву.

Посмотрим теперь, что делалось 16 и 17 числа, после убийения Амвросия.

«16 числа, по свидетельству Саблукова, П. Д. Еропкин, который находился только один из господ в Москве, приказал собрать все военные команды и несколько пушек, дабы сих бунтовщиков разогнать и усмирить, и послал прежде обер-коменданта Грузинского царевича уговаривать их, чтобы они перестали бунтовать, то они чуть также до смерти камнями не убили. Того ради П. Д. Еропкин и решился, чтоб не дать время еще более умножиться бунтовщикам и не делать более столь дерзостных поступков, идти туда и усмирять их вооруженною. И так мы пошли в тот день после полдня, в 5-м часу, и, пришед в Кремль с Боровицкого мосту, нашли там еще от остальных от убежавших на Красную площадь бунтовщиков, коих усмиряли пулями и штыками. А потом я был командирован с пушкой и с несколькими солдатами в Спасские ворота, дабы их очистить, где я и нашел до нескольких сот сих бунтовщиков с кольями и камнем; они, не увидя меня приближающего, покусились было войти в сии ворота с оружием, то я, дав время туда им набраться, выстрелил один раз из пушки картечью и, нескольких убив, остальных тотчас разогнал штыками, и потом несколькими выстрелами очистил от сих бунтовщиков всю Красную площадь, чем и кончилась наша баталия».

«На 17 число, — говорит с своей стороны о. Алексеев, — в память царевны Софии, любившей такие потехи, проклятая чернь паки собралась около Варварских ворот, и как только смерклося, то ударили в набат на колокольнях и пошли многочисленнее прежнего к Кремлю с тем, чтобы убить Еропкина и других кого-то. Какой крик и гам под-

нялся от сей нечестивой скотины, что и набатные колокола заглушить не могли!.. Город, не оправившись еще от прежнего страха, который многих и на тот свет отправил, подумал, что это свету представление, и хозяева не смели из покоев посмотреть, не токмо что из двора сойти для какой-нибудь надобности. Г. Еропкин, не допустя сию злую сонмищу до Лобного места, встретил их против Голичного ряда с командою военною и с пушкою и отправил, сказывают, г. губернатора здешнего наперед их увещевать, а пьяная толпа просила выдать руками Еропкина, а если не будет выдан, то грозили страшными бедами всему столичному городу и потрясением разорительным государству. А как увещание бесчувственным людям стало тщетно, то велено по них стрелять холостыми зарядами, из пушки пыжом, чем злодеи больше рассвирепевши, вдруг бросились на солдат с дубьем и камнем и обратили было в бегство команду, и насилу увезена пушка к Спасским воротам помощью примкнутых штыков. Но подоспевший на ту пору Великолуцкй полк, содержащий здесь караулы, которого большая часть выведена была прежде за 30 верст от Москвы по причине коснувшейся якобы к ним моровой язвы, подкрепил команду и приказано уже стрелять по мятежникам вправду картечами и пулями, чем повалили так много черни, что считают до тысячи одних убитых, да несколько раненых ушли, а до двух сот наловлено разбойников и святотатцев и посажено в погребах кремлевских, а скверных их звонарей от набатных колоколов никак нельзя было оттащить, дондеже солдаты с колоколен на штыках их не снесли, и до такого остервенения дошли, что, будучи безоружны и окружены военною командою, пощады не просили».

С прибытием Великолуцкого полка, видимо, начинает осиливать порядок. Но третий взрыв массы мог быть еще страшнее первых двух.

«На 18 число, — продолжает тот же очевидец, — взяты от градоначальников приличные предосторожности, дабы соблюсти град в безмятежии: у всех кремлевских ворот поставлены большие караулы, и над ними гвардейские офицеры, инде подведены пушки, и никого из шатающейся черни в город не пропускают, обывателей же, созвавши в съезжий двор, увещевали быть во всякой осторожности и приказы полицейские отдали им: ежели случится пожар, то бы с каждого двора бежал человек с чем ему должно быть на пожаре, а другие б того двора люди с пустыми руками туда не ходили. Притом присматривать людей уяз-

вленных на лице или порубленных, коих яко бунтовщиков объявлять, поличное, также из Чудова унесенное и у кого явившееся, подает причину подозревать на того человека в сообщении с злодеями. По улицам черни не скопляться, в противном же случае взяты будут под караул. Мне самому слышать удалось уже на осьмое на девять число в ночи по берегу от идущих с дреколем гурьбою людей: «пойдем на Пресню к царевичу-коменданту, он за чернь идет воевать против Еропкина». Однако предводителя того не нашли, а все то было вранье, ввали злодеи и больше, да писать страшно».

Что это было за «вранье», о котором Алексеев боялся писать — неизвестно. Но можно догадываться, о чем народ спьяна пробалтывался...

В заключение своего описания Алексеев говорит: «Описанным здесь печальным приключениям как не всем я был самовидец (о чем благодарение Богу), но по большей части от слуха принятые положил на бумагу, то и не уверяю вас точно, чтоб все было описано без ошибки, особливо в рассуждении числа людей или обстоятельства мест. Уповательно будет впредь манифест обнародован с подобающею о всем подробностью: там всяк может читать, так как историю о злоумышленном сем бунте, с тою только отменю, что не имеет действительно чувствовать того несказанного страха, каким мы объаты были в то несчастное для Москвы, бесчестное для государства, вредительное и преобидное для церкви российской время».

«P. S. Мне за полчаса времени до начатия бунта случилось ехать из гостей от одного сродника и по дороге заехать к Варварским воротам с женою и с сыном, куда за множеством якобы народа нас не пропустили, и так я, вышед из коляски, подошел для просмотра образа и застал при том несколько куч народа между собою злосовещающих. Из одной шайки злодеев вышел некоторый майор, мною неизвестной, но меня знающий; попрося благословения и назвавши меня по чину, спрашивал: «скоро ли будет сюда преосвященный?» Я отвечивал «не знаю». «У него это и карета подвезена уже к крыльцу». Я и на то ответ дал тот же и, приметя, что это значит, тотчас возвратился к своей коляске, где меня фамилия ожидала. После, как вышло смятение, по приезде моем в дом, благодарение воздал Богу, что на ту пору ничего я не сказал по архиерее или в предосуждение их богомолия умышленного: они бы, может быть, почли бы меня за подосланного от архиерея и убили бы».

Саблуков же, как человек военный и лично принимавший участие в усмирении бунта, несколько иными красками окрашивает описанные у Алексеева события. «17-го числа, — говорит Саблуков, — собралось множество бунтовщиков опять, но от стоящих бекетов их много и переловили. Слышим от них, что вся их претензия была в том: на что их лечат доктора и лекари и на что учреждены лазареты и карантинны, и для чего архиерей приказал запечатать казну. Но теперь, благодаря Бога, все сии беспокойства кончились, и другой день как состоит прежняя тишина и повиновение. Однако ж, в осторожность, по разным местам расставлены бекеты и пушки; а как я живу возле П. Д. Еропкина, то он свои бекеты и артиллерию поручил мне в команду».

В другом письме Саблуков пишет отцу: «Во время сражения я имел в своей дивизии престарелых гвардейских солдат и одну армейскую полковую пушку и с оною-то армиею долженствовал сопротивляться не одной тысяче мятежников; но потом был подкреплен и вместе с капитаном Волоцким пробыл целые двое сутки с оным корпусом на Спасском мосту, не сходя с одного посту ни на минуту, понеже сии мятежники чрез сие время все покушались. Наконец, видя неудачу и то, что в то же время пришел сюда и армейской полк, раздумали более не дурачиться; и в то же время мы сменены были армейскими; сначала же, как мы пошли в Кремль, вся наша армия состояла менее чем во сте человек. П. Д. Еропкин во все двое суток не сходил с лошади и был безотлучно на сражении, а потом объезжал весь город и все карантинны не один раз».

Бунт, таким образом, был усмирен.

18-го же числа Еропкин доносил императрице: «К беспримерному сожалению, ожидание превосходящей бедства и ужаса наполненный случай необходимо обязывает меня, всемилостивейшая государыня, и сверх моего рапорта к генералу-фельдмаршалу графу Петру Семеновичу Салтыкову, как своему собственному командиру, всенижайше представить и от себя о том происшествии, которое подвергало столичный вашего императорского величества город наисовершенному бедствию, состоящий в том, что народ, негодуя доднесь на все в пользу их повеленные от вашего императорского величества мне учреждения о карантинах и других осторожностях, озлились, как звери, и сего месяца 15-го дня сделали настоящий бунт, вбежав в Кремль и разоряя архиерейский дом, искали убить оного, но как съехал сей бедный агнец скрытно в монастырь Донской, то выбежав и туда в безмерном пьянстве злодеи до трех сот, 16-го по утру, убили оного мучитель-

ски до смерти, карантинные учрежденные разорили, выпустя из Данилова монастыря и из другого двора, состоящего на серпуховской дороге, разбив дубьем и камнями стоявшего на карауле офицера, сопротивлявшегося им, как и подлекаря, в одном из тех карантинных находившегося, а другие из злодеев, вбежав в Кремль, пробыли там ночь всю и до половины дня, бив в набат везде, разоряя и дом доктора Меркенса. В злодействе сем находились боярские люди, купцы, подьячие и фабришники, а особливо раскольщики, рассевая плевелы, что они стоят за Богородицу, нашед образ на Варварских воротах сказывая, что он явленный, к которому толпами ходят молиться. Архиерей несчастливой, видя, что от такой молитвы заражаются опасною болезнью, послал своего эконома и секретаря запечатать ящики денежного сбора: и произвело, все милостивейшая государыня, вышеупомянутое смятение. Я, видя злоключительное состояние города, послал тотчас ко всем здесь находящимся гвардии офицерам с командами, объявляя им высочайший вашего императорского величества указ, чтобы они мне повиновались, отправя в то ж самое время нарочного к генерал-фельдмаршалу в подмосковную, который уж и приехал, и Великолуцкий полк ввел в город, дав свою диспозицию обер-полицеймейстеру, в каких местах занять пост для истребления злодеев, потому что я в эту ночь, в которую выгнаны были мною разоряющие Чудов монастырь возмутители, спеша истреблять оных, от одного из сих дерзостных брошенным в меня шестом, а от другого камнем в ногу вытерпел удары, и быв двое сутки безысходно на лошади, объезжая разные места города, совсем ослабел, и не имея чрез все то время ни сна, ни пищи, в крайнее пришел бессилие, получа от того и пароксизм лихорадочный, и наконец теперь принужден уж слечь в постелю, быв здесь в то время один только с губернатором московским, потому что все другие господа сенаторы разъехались. Соединя к командам гвардии за раскомандированием оставших пятьдесят человек Великолуцкого полку и набрав не больше ста тридцати человек, причем были некоторые и из статских для смотра, что с корпусом, мною предводительствуемым, случится, пошел, где не одна тысяча была пьяных, разорывших архиерейский дом и погреба купеческие, под монастырем Чудовым состоящие, производя такую наглость, что в Кремле и проехать никому было невозможно. И хотя увещевал я упорствующих, посылая к ним здешнего обер-коменданта генерал-поручика Грузинского царевича, но они встретили его камнем, как равномерно и бригадира Мамонова, который для того ж увещания

приезжал, чрезвычайно разбили голову и лицо. И так сия дерзость заставила меня, всемилостивейшая государыня, действовать ружьем и сделать несколько выстрелов из пушек и истреблять злодеев мелким ружьем и палашами; их в Кремле пало человек не меньше ста, да взято под караул двести сорок девять человек, из которых несколько находится с стрелеными, и рублеными руками, и хотя они от того устращась разбежались, но и вчерашний день на Варварской улице и против Красной площади несколько шаек народу было, однако ж, на бросание камней и шестов уже отважиться не смели, а только требовали у стоявшего на Спасском мосту подле учрежденного там пикета здешнего губернатора, чтоб отдали им взятых под караул их товарищей, а притом чтоб без билетов хоронить и не вывозить в карантин».

В этом же рапорте Еропкин хвалит офицеров, отличившихся в деле против бунтовщиков: напр., капитана Волоцкого за то, что он «истреблял возмутителей неустрашимо», Загряжского — что этот шел впереди, «поражая злоумышленников», Саблукова — «истреблял возмутителей». Вообще, все чем-нибудь отличились.

Но видно, что Еропкин боится новой грозы — и боится уже за себя лично.

Вслед за первым рапортом императрице он шлет другой. «Сколь, — говорит он, — злоключительны нынешние обстоятельства Москвы, о том вчерашний день на эстафете я всеподданнейше доносил уже вашему императорскому величеству, а сим то еще всенижайше представить не пропускаю, что хотя дерзость, явно произведенная в злодейском убийстве московского архиерея отчасти возмутившегося здешнего народа мною и истреблена, и три дня прошло здесь в желанном спокойстве, но слухи, однако ж, с разных сторон доходящие до меня, всемилостивейшая государыня, одно мне приносят уведомление, что оставшее от злостных совещателей устремление свое во всей силе имеют всю зверскую их жестокость обратить на меня, обнадеживая себя, что они убивством меня и всех докторов скорей получат свободу от осмотров больных, от выводу в карантин, а притом и хоронить будут умерших внутри города, считая, что будто и тому я причиною, смущаясь притом и недозволением в бани ходить, грозясь тем и подполковнику Маколову, у которого карантинные дома состоят в смотре. Ожесточение предписанных злодеев так было чрезвычайно, что они не только кельи архиерейские, но и его домовую церковь, как иконостас, так и всю утварь совсем разграбили. Вышеобъясненные

неудовольствия и угрозы злостных людей, как лютых тигров, от безрассудства их на меня пламенеющие за то одно, что я здесь в сенате и во всем городе один рачительным исполнителем всех тех учреждений, о которых вашему императорскому величеству высочайшими своими повелениями о карантинах предписать мне благоугодно было. Но вся жестокость злонравных людей, каковую по совещанию вкоренили они в свои грубые сердца, не имела силы ни умалить моей прилежности к порученному мне от вашего императорского величества делу, ни ужас, который чрез рассеяние о убийстве меня они во мне поселить старались, не могли поколебать меня от моего пути истинного. Я доказал то сим злодеям выгнанием их из Кремля и взятием не одной сотни человек под караул. Но к несчастию особливому, когда, истощая из своей искренней преданности к вашему императорскому величеству и из совершенного доброжелательства к общему благу последние свои силы, слег в постелью, то сей случай, всемилостивейшая государыня, начинает меня смущать, чтоб толпа злодеев в теперешней моей расслабленности не навлекла участи бедственной и ругательной и мне покойного архиерея. В рассуждении чего, припадая к стопам вашего императорского величества, всеподданнейше просить я обязанность имею о всемилостивейшем увольнении меня от порученной мне комиссии хотя на некоторое время. Я ласкаюсь и тем, всемилостивейшая государыня, что одно отрешение меня от сего дела в состоянии будет покоить волнующихся людей, не имеющих истинного ни на что разумения. Всемилостивейшая государыня! Я ожидаю милосердного и всемилостивейшего вашего императорского величества на сие благоволения, предоставляюсь до последних дней в непоколебимой верности и с рабским усердием...»

Екатерина отвечала на это Еропкину: «Петр Дмитриевич! Подписав по вашему желанию приложенный указ, посылаю его к вам, дабы вы его объявили тогда, когда заблагорассудите, что всегда будет для службы рано, видя ревность вашу, нельзя, чтоб я не так думала. Впрочем, остаюсь к вам доброжелательна».

А через несколько дней, препровождая Еропкину знаки ордена Андрея Первозванного и 20 000 руб. из кабинета, императрица писала: «Патриотическая ревность и мужественный дух, с которым вы столь храбро и благоразумно защитили древнюю нашу столицу от бедственного невежд и пустосвятов возмущения, удостаивают вас перед нами особливо нашего к вам благоволения и признания. В доказательство чего мы с

удовольствием всемилостивейше жалуем вас кавалером нашего первого ордена св. Андрея Первозванного, знаки которого здесь включаются с высочайшим от нас дозволением, чтоб вы оные сами на себя возложя носили. И мы твердо надеемся, что сия вам наша знаменитая отличность будет вам служить новым подвигом в делах патриотических, пребывая, впрочем, вам императорскою нашею милостию благосклонны».

V

Но прежде изъявления согласия на увольнение Еропкина от должности, Екатерина не могла не озаботиться мыслью, на чьи руки передать временное управление Москвою и успокоение этого города в такую опасную пору. Что ее сильно озабочивала эта мысль, видно из того, что она думала даже сама ехать в Москву, но не могла этого исполнить по причине все еще продолжавшейся войны с Турциею, вызывавшей усиленную деятельность со стороны императрицы. Поэтому вместо себя она послала в Москву графа Григория Григорьевича Орлова. Некоторые из современников замечали по этому случаю (у Гезера), что императрица, посылая в Москву Орлова, хотела будто бы от него отделаться, так как он уже давно потерял ее расположение, но предположение это, ни на чем не основанное, едва ли можно принимать на веру, потому что подобный поступок со стороны Екатерины II положительно противоречил бы ее характеру.

По случаю отправления графа Орлова в Москву издан был особый, весьма торжественный манифест. В этом манифесте императрица особенно милостиво обращается к своим подданным. Самому тексту манифеста, вслед за титулом, предшествуют такие слова, которых нет в других манифестах: «Всем и каждому, кому о том ведать надлежит, наше монаршее благоволение».

Затем манифест гласит: «Видя прежалостное состояние нашего города Москвы и что великое число народа мрет от прилипчивых болезней, мы бы сами туда поспешно прибыть за долг звания нашего почли, естли бы сей наш поход, по теперешним военным обстоятельствам, самым делом за собою не повлек знатное расстройство и помешательство в важных делах империи нашей. И тако, не могши делить опасности обывателей и сами подняться отселе, заблагорассудили мы туда отправить особу от нас поверенную, с властью такою, чтобы, по усмотрению на месте нужды и надобности, мог делать

он все те распоряжения, кои ко спасению жизни и достаточному прокормлению жителей потребны. К сему избрали мы, по нашей к нему отменной доверенности и по довольно известной его ревности, усердию и верности к нам и отечеству, нашего генерал-фельдцейхмейстера и генерал-адъютанта графа Григория Орлова, уполномочивая его поступать во всем так, как общее благо того во всяком случае требовать будет, отменять ему тамо то из сделанных учреждений, что ему казаться будет или невместно, или бесполезно, и вновь устанавливать все то, что он найдет поспешествующим общему благу. В чем во всем повелеваем не токмо всем и каждому его слушать и ему помогать, но и точно всем начальникам быть под его повелением, и ему по сему делу присутствовать в сенате московских департаментов, прочие же присутственные и казенные места имеют исполнять по его требованию. Запрещаем же всем и каждому делать какое-либо препятствие и помешательство как ему, так и тому, что от него повелено будет, ибо он, зная нашу волю, которая в том состоит, чтоб прекратить, колико смертных силы достает, погибель рода человеческого, имеет в том поступать с полною властью и без препоны. Приведя все в надлежащий порядок, он имеет возвратиться ко двору нашему».

О бунте — ни слова. Екатерина имела на то свои причины.

26 сентября Орлов прибыл в Москву. С ним вместе прибыли также команды от четырех полков лейб-гвардии с необходимым числом офицеров, затем генерал-поручик Мельгунов, сенатор Волков, обер-прокурор сената Всеволожский, генерал-майор Давыдов, генерал-майор Щербачев, статский советник Баскаков и штат-физик доктор Ореус. Московский же главнокомандующий, генерал-фельдмаршал граф Салтыков, одряхлевший победитель Фридриха Великого, растерявшийся перед московскими фабричными, тотчас же получил увольнение в свои деревни, где вскоре и умер.

По прибытии в Москву, граф Орлов обратился с таким торжественным объявлением: после краткого объяснения словами манифеста цели своего прибытия, Орлов от себя лично прибавляет: «Сей святой долг буду я исполнять по крайней силе и возможности и елико Всевышний подаст мне вразумения. Приступая к сему исполнению, первая мне предлежит должность узнать допряма причины толь великому вдруг сего зла распространению. Целой город будет со мною, уповаю я, согласен, что сие великое зло, вместо скорого пресечения, распространилось толико главнейше от того, что

сперва многие или большая часть жителей по неведению не хотели верить, чтоб болезнь была толь зла и толь прилипчива, почитая умерших оною умершими случайно по неиспытанным судьбам Вышнего» и т. д. Затем он говорит о том, чтобы все дружно встали за себя для своего спасения, что он поможет для этого спасения своими распоряжениями, что спасительна будет и молитва всех, проливаемая перед Богом «яве и келейно» и т. д. «Тогда-то, — заключает он свое объявление, — принятые и приемлемые правительством средства и меры пойдут одно за другим без препятства и с успехом. Тогда-то соединятся всех сердца во едино стремление и снизойдет благодать Вышнего. Тогда правительству утешительно будет разделять общие опасности, видя успех и плоды своих стараний. Тогда мне не останется более как подавать ее императорскому величеству, теперь наши сетования в высшей степени ощущающей, приятные уведомления, и тогда колико радостно будет великодушному и человеколюбивому ее сердцу изливать свои щедроты и благодеяния не на гибнущих и ничего уже не требующих, но на плодоносящих и добродеющих!»

О бунте — опять ни слова...

Орлов, надо заметить, прислан был в Москву уже в такое время, когда чума, совершив свой опустошительный цикл, вместе с наступлением холодов должна была сама собою уменьшаться и наконец совсем прекратиться. Так, уже до прибытия Орлова, Саблуков писал отцу, между прочим: «С великим нетерпением ждем зимы, которая, может быть, лутчее лекарство от чумы», а через несколько дней, вскоре после бунта, пишет: «Господствует прежняя тишина. Погода становится холоднее, то надеемся, что Бог и чуму скоро утишит».

Следовательно, присутствие Орлова в Москве, а тем более императрицы, едва ли уже было необходимо.

Впрочем, прежде чем мы приступим к указанию мер, принятых Орловым для спасения Москвы от чумы, которая сама собой ослабевала, возвратимся к прерванному нами рассказу о последствиях бунта.

В то время когда бунтовщики, захваченные на площадях и на улицах, сидя в погребах, ждали над собой суда, упоминаемый нами игумен одного московского монастыря писал: «Тело покойного преосвященного с дозволения его графского сиятельства и напредь указа погребли, погребено в Донском монастыре по причине, чтоб при погребении в многолюдстве и тесноте по нынешней болезни не приключилось от при-

косновения друг к другу вреда, и по другой причине, что внутри города погребать не велено. Было и мне искушение: в моем монастыре чернь нашла деревенская Боголюбскую Богоматерь, прислали доношение ко мне, чтоб отпустить образ для молебствия. Был с доношением из слободы, из заразительного места, и так я его, не впусая на подворье, чрез попа отказал, да к тому ж велел сказать, что я запрети-тельными указами крестохождения дозволить не могу, к тому ж братия у меня престарелая и ходить некому, да из зара-зительного места тое доношение, а в монастыре молебно-вать не запрещается. Итак, слава Богу, утихло. У меня, слава и благодарение Богу, в монастыре и на дворе тихо, а в подмонастырской слободе обывателей и служителей больше трех сот человек вымерло и ныне умирают. Крестовоздви-женский игумен со всею братиею помер; в монастыре Зна-менском игумен остался с двумя монахами и двумя служителями; в Новоспасском монастыре и Андреевском больше половины монахов померло. Где-то сыщем после мо-нахов в монастыри? Протопопы померли: Иоанн Архангель-ского собора, Иоанн Постников, Спасского — Лев Даниилов, в Успенском соборе — священник Федор Мар-келов и диакон Егор. О morg, mea sors! Правда, что мы от жалости, забыв страх, подняли поверженное тело (Амв-росия?), где иные плакали, а другие на нас зубами своими скрежетали. Старика донского еле уговорили, чтоб тело при-нял в монастырь: боялся, чтоб ему за то не отомстили зло-деи».

Погребение убитого архиерея происходило 4 октября. Вместе с ним хоронили и его брата, Никона, тоже постра-давшего во время бунта. Лучший московский проповедник, префект московской академии Амвросий, при погребении ар-хиепископа сказал замечательное слово, о котором современ-ники отзывались, что «слово сие достойно пера Феофанова».

«Видя вас, печальные слушатели, — возгласал проповед-ник, — с особенным сердцем соболезнованием гробу сему предстоящих, и сам сострадая, что к утешению вашему ска-зать теперь могу я, несчастный в сем случае проповедник? О времена! О нравы! О жизнь человеческая! Океан перемен неизмеримый!»

Потом, обращаясь к гробу и указывая на лежащего в нем, обезображенного толпою старика, проповедник говорит, что его убило суеврие.

«Сего-то проклятого суеверия действием умерщвлен и сей бездыханен лежащий пред очами нашими почтенный старец,

царствующего града архипастырь и истинный всего отечества патриот. Когда он, яко добрый пастырь, предпринимал в пастве своей не наказанных церкви служителей приводить во исправление, тогда рассеваем был против его яд злобы и ненависти. Когда яко истинный христианин, следуя внушению евангельского учения, повинуюсь монаршим повелениям и сообразуясь с самым здравым разумом, не соглашался на бесплодные хотения и дела суеверов; когда тем самым о доставлении пастве и всему обществу безопасности державствующей власти вспомоществовать по долгу и обязанности своей старался: тогда, — о нечувствительности! — тогда силою суеверия пригвожденные к наружным святыням и в них единственно спасения ищущие сердца исполнялись на него ярости, роптания, поношении, клевет, и искали самой его столь полезной для общества жизни; а наконец — о страха и ужаса, неудобовместительного воображения! — наконец обладающему сердцем их идолу принесли его в жертву, излили на него яд злобы и ненависти своея, в крови архипастыря своего обагрили руки, поносно умучили и тело архиерея Божия бесчестно повергли на распутии... О, паки говорю, позорища варварского, зверского, а не человеческого действия!»

Затем проповедник обращается к самим убийцам. «О вы, недостойные имени человеческого злодеи! Неужели и утверждаете в том, что убиением сего толико отечеству послужившего мужа приятную принесли Богу жертву? Не убивает ли паче вас, обличая в неслыханном почти беззаконии, самая ваша совесть? Раны сии и заушения не пронзают ли зверского сердца вашего? Земля, обагрённая от рук ваших кровию, не свидетельствует ли и пред ангелы и пред человеки, что кровь сия пролита невинно и что достойна она была всякого вашего охранения? Лишенные доброго своего пастыря благоверные души и вся российская церковь, не видя уже старейшего и ревностного в правительстве своем служителя, не испускает ли на вас сердечного вопля, проникающего своды небесные и достигающего до престола Божия правосудия. Разграбление не особенного токма, но и общего имения, опустошение обители, раздробление святых икон и потоптание самых освященнейших даров, да где! — во своем отечестве, во граде единые веры и единого исповедания — не проповедуют ли вас худшими язвеников и самых варваров, яко николи же почитаемые собою за свято тако попиравших? Угрожающее наконец казнию вам правительство, или и без того бывшее на вас за злодейство ваше довольное постижение праведного гнева: вся, говорю, сия не доказы-

вают ли, что поступок сей ваш есть пребеззаконный, бесчеловечный и достойный имени диавольского, а не христианского?..» и т. д.

Но еще более замечательное слово сказано было через год после этого, именно в день убиения Амвросия, 16-го сентября 1772 года, когда убийцы его давно уже были казнены, а между тем самая тень замученного народом старика все еще вызывала ненависть к его противникам.

«Не буду я вам говорить, что день сей есть воспоминание плача и рыдания, что в день сей, говорю, особенного рода злорадия и варварство в первопрестольном граде сем свирепели, что упоенный бешенством народ каждому честному гражданину угрожал смертию, что неприятельски была расхищена святая обитель, варварски опустошаемы Божие храмы и что наконец ни совесть, ни страх законов и суда Божия не воспрепятствовали варварам обогреть руки в крови попечительного и доброго своего архипастыря: о сем я не напоминаю, дабы тем не растравить в сердцах верных сынов церкви заживающие от того раны. Но не могу умолчать того, что к сему страдальцу и доднес злорадия в иных продолжается. Вместо того, чтоб сожалеть о несчастном его жребии, иные взирают на оный со удовольствием, вместо того, чтоб с сокрушением сердца раскаиваться, продолжают употреблять всякие злохуления и поношения».

Далее проповедник употребляет истинно ораторский прием, заставляя тень покойника обращаться из гроба к своим недоброжелателям.

«О бесчеловечные души! — говорит он. — Так ли вы приносите покаяние о своем злодействе? Послушайте гласа вашего пастыря, из сего гроба со умилением к вам вопиющего: «Людие паствы моя! — взывает он. — Что сотворих вам, яко тако ожесточиста на мя сердца ваша: сего ли я от вас ожидал воздаяния? Людие паствы моя! Что сотворих вам? Я вас любил, а вы мне ответствовали ненавистию и злобою. Я полагал за вас душу свою, а вы сочли меня своим недоброжелателем и злодеем. Я старался освобождать вас от оков заблуждений, паче же суеверия, а вы представили меня неверным. Я всевозможную ревность оказывал к созиданию храмов Божиих и то в возобновлении, то в написании икон святых, а вы назвали меня иконоборцем. Я обществу и самодержавной власти, сколько сил моих доставало, усердствовал и служил, а вы — о правосудный Боже! — вы признали меня изменником. Я прилагал попечение предохранять вашу жизнь от видимых опасности, а вы у меня мою отняли

мучительно. Я во всем с благодушием вас прощаю, а вы кланете и осуждаете меня навеки. Людие паствы моя! Что сотворих вам? ..» и т. д.

«Не убивает ли вас этот голос?» — спрашивает проповедник. «Убитого нельзя поднять из гроба — зачем же и в гробе тревожить его?» и т. д.

Уже после погребения покойного архиепископа из Петербурга пришел запоздавший синодский указ, повелевавший:

«При погребении убиенного архиепископа быть преосвященному Геннадию, епископу суздальскому.

Погребсти священническим погребением в Чудовом монастыре с его предместниками.

Во время несения тела быть звону у близстоящих церквей, а при погребении — на Ивановской колокольне и во всей Москве.

Сказать надгробную проповедь московской академии префекту Амвросию.

По последнем в церкви возгласении покойному преосвященному «вечная память», возгласить сицевым образом: «Блаженные памяти преосвященного Амвросия, архиепископа московского и калужского, злочестивым убийцам анафема».

Во всех церквях отпеть панихиду, а убийцам возгласить «анафема».

В течение года поминать во все службы, а панихиды петь ежемесячно, а убийцам возгласить «анафема».

Екатерина, в письме к Вольтеру (XCIV, 6/17 октября 1771 года) выражала искреннее сожаление о покойном архиепископе, который когда-то помогал молодому Потемкину, когда тот «нуждался в рублях».

В Воскресенском монастыре есть портрет Амвросия, висящий против портрета патриарха Никона. Под портретом изображено:

Амвросий кончил то, что Никон основал:
Сей Божий дом от них весь блеск воспринял.
Но Никон на пути своем из заточенья,
Амвросий в дни чумы и черни возмущенья
Имели дней своих безвременный конец, —
Зато украсил их страдальческий венец.

Суд над убийцами архиепископа Амвросия и вообще над всеми бунтовщиками продолжался недолго. Приговор над виновными сохранен в Полном Собрании Законов (т. XIX, №№ 13, 695).

«Ее императорское величество, — говорится в приговоре, — именным своим указом от 23 сентября сего 1771 года, данным господину фельдцейхмейстеру графу Орлову, повелеть соизволила: о оскорбительном в Москве происшествии, собрав сенат и синод и присоединя к нему первых пяти классов Персон, учредить особенную генеральную комиссию (так как всегда при чрезвычайных преступлениях особенные следствия и суды производимы бывали), произвести общественное следствие и суд, в силу и по точности настоящих государственных законов, такожде по большинству голосов и по заключенной по тому сентенции приказать без отлагательства, кому надлежит, учинить над осужденными публичное исполнение, дабы весь народ мог увидеть и наипаче удостовериться, что сколь, с одной стороны, неусыпно и неутомленно есть ее императорского величества попечение о его благосостоянии, столь, напротив, ее императорское величество не хочет попускать такому злодейскому возмущению, колеблющему всеобщее спокойство».

В самой сентенции высказываются мотивы, почему приговор над виновными должен быть беспощаден.

«Читанные, — говорит сентенция, — сему собранию показание и признание взятых под стражу узников о учиненных ими в 15-й и 16-й день минувшего сентября преступлениях, содержат в себе такие деяния, взяв каждое порознь и в своей особенности, на которые божескими и гражданскими законами точные от веков положены уже решения, так что и паки взяв убийство преосвященного Амвросия, архиепископа московского и калужского, разграбление в Чудове монастыре, самое осквернение святых и священных мест и сделанное наругание святым иконам, каждое в своей особенности, представляется тотчас, что всякое из сих деяний бесчеловечно, законопреступно и, следовательно, жестокого наказания достойно! Но что сие наказание божескими и гражданскими законами уже предопределено, и не остается более, как только произнести и исполнить законами определенное. Но когда обращаемся к наружным окрестностям толико вдруг учинившихся злодеяний и в сих наружностях ищется прямой того источник, то усматривается ясно, что каждое из сих преступлений становится несравненно величайшим и жесточайшего наказания требующим, что Первопрестольный град, самая середина оного, воззрелище священных мест и монарших чертогов, вместо того, чтоб и самые буйственные сердца приводить в чувство и благого-

вение, были местом сего богомерзкого позорища. Не разбойник и убийца, по совершении своего злодеяния тотчас укрывающийся, и в самом остервенении своем трепещут от одного имени правосудия, здесь предстоит: но толпа злодеев, на спасительные законы восстать дерзающая, и что злее — преступлениями своими, святотатством и священноубийством торжествующая. Свет в недоумении, каким образом в народе, набожном всегда и к государям своим и законам повиновением на толикую степень могущества и славы вознесенном и повсюду победоносном, мгновенно не могли такие чудовища явиться и грозные неприятелям руки обратиться на самоубийство. Отечество требует от законов неистовым своим сынам наказания. Церковь пастырская кровию обогрелая и о мщениии вопиющая. С ужасом смотря на сии наружные окрестности, не меньшее предлежит здесь соблазновение, когда разбирается прямой толикого зла источник не потому, чтоб оный отрыгал всегда подобным ядом, или чтоб таковых же действий паки ожидать надлежало, но единственно по размышлению, коль пагубны роду человеческому вообще слепота и суеверие, корыстолюбием частных и малых людей воспламененные и коль насильственно, но неизбежно самому нежному и человеколюбивому сердцу употреблять строгость, когда под кроткою державою ее императорского величества единая взаимная любовь друг ко другу видимая быть имела б. Здесь представляется лейб-гвардии семеновского полка солдат Савелий Бяков и фабричный Илья Афанасьев, каждый отвергнув свое звание и предавшийся лицемерию и сребролюбию, сделались собирателями стяжания и, по мере приобретения оногo, обратили большее на себя внимание. Некоторые из духовенства, имени сего и своего всеми, впрочем, почитаемого сана недостойные, прозирающие слепоту людскую, с мерзкою пред Всевидящим радостью богослужение в торжище обратили и руки к приятию гнусной мзды простерли» и т. д. — высокопарное и довольно безграмотное изложение вин лиц, способствовавших началу возмущения.

Затем приводятся тогдашние законы, относящиеся к данному случаю.

Из Уложения: «Кто на кого придет скопом и заговором и учнет грабить или побивать, и тех людей, кто так учинит, за то казнить смертию».

Из именного указа 12-го ноября 1721 года: «Разбойников, которые учинили смертное убийство, наказывать смертию».

Из Военного Артикула: «Всякое возмущение и упрямство безо всякой милости имеет быть виселицею наказано».

«Кто на людей на пути и улицах вооруженною рукою нападёт и оных силою пограбит или побьет, поранит и умертвит, или ночью с оружием в дом ворвется, пограбит, поранит, побьет или умертвит, оного, купно с теми, которые при сем были и помогали, колесовать, и на колеса тела их потом положить».

В силу этих статей приговорено: Василия Андреева и Ивана Дмитриева повесить на том самом месте, где совершено убийство.

К виселице же приговорены еще двое: дворовые люди Молчанова — Алексей Леонтьев и Колтовской — Федор Деянов, но виселица должна была достаться одному из них «по жребию».

Остальных более шестидесяти человек — купцов, дьячков, дворян, подьячих, крестьян, дворовых, фабричных, солдат — бить кнутом, вырезать ноздри, заклепать в кандалы и сослать в Рогервик в каторгу.

Захваченных на улице, в толпе бунтующих, малолетних детей — сечь розгами.

Двенадцать человек за оглашение мнимого чуда — сослать навечно на галеры, с вырезанием ноздрей.

Относительно захваченных во время бунта, но не уличенных в преступлении, применен закон: «Гулящих и слонящихся по улицам и переулкам людей и других пьяных, кои кричат и песни поют и ночью в неуказные часы ходят и шатаются, и в них бывают много беглых солдат и матросов и прочих воров, и бывает от них воровство и смертное убийство, и живут больше на кабаках и в торговых банях, на рынках и в харчевнях и в вольных домах и в шинках и в прочих домах — брать под караул и, смотря по вине, наказывать». Таких взято было до девяноста человек.

Так как набатный звон по церквам сильно помог возбуждению народного волнения, то тогда же обнародован был особый указ, которым повелено: «1) Всем духовным правительствам накрепчайшее иметь смотрение, чтоб у колоколен двери были крепкие и у оных замки твердые и надежные, которые всегда запирают и ключи от них иметь священникам у себя. 2) Священникам оные ключи поверять причетникам на то единственно время, когда обыкновенно благовесту или звону к славословию церковному быть должно, а в прочее время отбирать их к себе. 3) Где есть

такие колокольни, что запирать их отнюдь не можно, в таком случае стараться построить оные так, чтоб двери у них против вышеписанного замками запираемы были, а доколе построены не будут, употреблять всевозможные способы и предосторожности к применению законами запрещенных тревог» и т. д.

На том самом месте, где совершено было убийство Амвросия и где потом повешены были его убийцы, воздвигнут был каменный крест, с обозначением на нем года, месяца и числа убиения архиепископа московского. Бантыш-Каменский говорит, что «римский император Иосиф, в бытность свою в Москве в 1780 году, любопытствовал видеть сие место и списал карандашом в книжку свою означенное на кресте. По отъезде сего государя тогдашний московский обер-полицеймейстер того ж дня рассудил приказать вколотить в землю крест сей, что и было тогда же исполнено».

Но возвратимся к Орлову и посмотрим, как исполнил он возложенную на него миссию и как переживала Москва последние месяцы поразившего ее бедствия.

Мы сказали, что Орлов приехал в Москву в то самое время, когда ужасная зараза, как бы утомившись от продолжительного пожирания человеческих жертв, сама начала мало-помалу издыхать, словно отравленный зверь. Начинались холода — они-то и служили отравой для кровожадного зверя. Между тем современное официальное описание этой московской беды говорит, что «приезд его светлости князя Григория Григорьевича Орлова в Москву столь скоро подействовал, что многие пред тем разъехавшиеся жители города возвратились в свои дома, и самый простой народ, вместо робости, уныния и отчаяния, стал приходить о своем неверии и неосторожности в раскаяние, бодрость и отраду, видя, сколь далече матернее ее императорского величества к нему соблезнование и попечение простирается и сколь его о самом себе небрежение и беспечность есть пагубна и Все-вышнего прогневающая».

Первым делом Орлова было, созвав всех находившихся в Москве докторов, отобрать от них мнения о существе болезни, ее ходе, развитии и о средствах противодействия эпидемии. Затем он лично осмотрел карантин, «опасные больницы» и прочие учреждения, вызванные настоящим положением дел. Чтобы руководить дальнейшим ходом этих дел и по возможности урегулировать то, что уже само собой сложилось в московской администрации в виду об-

щественного бедствия, Орлов учредил две особые комиссии — «комиссию для предохранения и врачевания от морской заразительной язвы» и «комиссию исполнительную».

Вот краткий перечень всего, что делалось в Москве за это время.

Объявляя об учреждении комиссий, их цели и круге действий и рисуя картину общественного неурядиства, в котором находилась Москва, говоря, что «вместо крепости и мужества все пришли в робость и уныние», что власти со страху покинули свои места и «отлучились», а подчиненные чрез то «пришли в недейства», следовательно «в ослабление», сенат, 11 октября, призывает всех к исполнению своих обязанностей, запрещает приходить в «неключимость и расслабление», прибавляя, что «всякая неправда, корысть, нападки и мздоимство, всегда пред Богом мерзкие и законами запрещенные, взыщутся ныне как смертные преступления без всякой пощады и лицемерия».

Видя, что «некоторые злостные люди», забыв страх Божий, дерзают входить в вымершие дома и грабить оставшееся после несчастных имущество, императрица, 12 октября, объявляет, что если открыты будут такие «безбожники и враги рода человеческого», то без пощады казнены будут у того самого места, где учинится преступление, «ибо, — прибавляет Екатерина, — в крайних зла обстоятельствах и меры к врачеванию крайние принимаются».

Народ, напуганный уже до крайней возможности всем около него происходившим, зная, что чума легко сообщается чрез зараженное платье, и в то же время боясь властей и карантинных, тайно выбрасывает на улицы оставшееся от умерших платье, и комиссия приказывает мортусам и полицейским служителям немедленно собирать всякую валяющуюся по улицам рухлядь, сгребать ее длинными крючьями в кучи и тотчас же сжигать, надев на себя вошаное платье и стоя от ветра у горящих костров.

Сочиняются и раздаются в народ особые наставления, как вести себя в это чумное время и как себя предохранять от заразы.

Нищих, целыми легионами шатающихся по улицам, высылают в экономические и помещицьи селения, а остальных собирают в Уфимский монастырь и в село Троицкое-Голенищевое и там кормят их казенною пищею и одевают от казны.

Учреждают четыре новые «сомнительные больницы», несколько карантинных и предохранительных домов. Служите-

лям из казенных фабричных, согласившимся принять на себя уход за больными, высочайшим именем обещают полную свободу.

Для большего удобства действий город разделяют на 27 частей.

Обывателям запрещают самим вывозить мертвых на кладбища, тем более, что для вывоза их не хватало наемных лошадей, и город сам обязывается вывозить их, даже без всяких билетов, причем в каждой части должны были иметься в запасе казенные гроба для раздачи безденежно бедным.

Чтобы народ не утаивал больных и не боялся карантинных и больниц, объявлено, что всякому больному, который поступит в больницу и выйдет из нее здоровым, будет даваться вознаграждение — женатым по 10 р., а холостым по 5 р., — и народ начинает охотно идти в карантин, а иные даже притворяются больными, чтоб только получить деньги.

Для оставшихся во множестве сирот и бесприютных, которые помирали голодною смертью, учреждается особый сиротский дом на Таганке.

Для собирания после умерших платья, мортусам велено ежедневно разъезжать по улицам и собирать от каждого дома, где были больные, такое опасное платье и всякую рухлядь и сжигать все это за городом.

Назначаются особые мортусы, которые ловят по улицам всех собак и кошек и убивают их, а потом, вывозя за город, глубоко зарывают в землю.

Всем городским цирюльникам объявляют, чтоб они не смели никому пускать кровь без разрешения доктора.

Для снабжения города хлебом и другими съестными припасами, за Камер-Коллежским валом по всем большим дорогам устраивают особые амбары и торговые места, и т. д.

Но морозы были, по-видимому, самыми искусными врачами. С октября чума, словно полая вода перед летними жарами, сильно пошла на убыль. С 20000 умирающих она вдруг спустилась на 5000, а потом, к концу ноября, и совсем пропала.

Орлову ничего больше не оставалось делать в Москве. 21 ноября, совершив публичную казнь над убийцами Амвросия и над другими бунтовщиками, он выехал в Петербург, чтобы поспеть туда к Екатерину дню, а на его место прислан был князь Волконский.

25 ноября в большом Успенском соборе совершено общенародное благодарственное молебствие о избавлении города от постигшего его бедствия.

«Изыдите, — говорил при этом протоиерей Левшинов, произнесший слово по случаю всеобщего торжества, — изыдите смело на делания ваша, простирайте без роптания шествия ваша, на неже кто из вас зван есть! Преуспевайте в труде и ревности к благоденствию нашего отечества! Уже бо не зрим стенающих в тяжких оковах жестокие известные болезни. Не видим и не слышим насильственной смерти умирающих. Рассыпанное вне воззрелищ сих безопасности общество вновь наполняется народа множеством, слышны радостные приятелей поздравления, чувствуемы их дружеские объятия. Какое их восхищение, что, простившись и, так сказать, заблаговременно погребши себя, встречаются вдруг как из ничтожества воскресшими и из праха преобразованными для прославления величества Божия и для вкушения пользы дружелюбия! Публичные места не трупами поверженными, но народными восклицаниями, достигающими превыспренние мира концы, изъявляющими радость, покрываются. Святыни и благочестия истинные воззрения, божественные, говорю, храмы отверсты, в которых, со благоговением предстоя Господню алтарю, освященный чин с курением благоуханий возвышает молебственные гласы и сердце свое к Богу о украшающих и благочестием веселящих его церковь чинах. Начат суд, страшится злодейство, ободряется невинность. Рукомесленник обливается потом, зря достойную за труды свои плату. «Исчезла, — слышу я вещающий глас, — исчезла смертоносная болезнь и нет более опасности», — так она исчезла! И мы оставлены наслаждаться зрением прекрасного сего творения! Радость сия общая...» и т. д.

Но московским властям предстояло не мало еще работы по случаю очищения города от опасных следов, оставленных в нем ужасною заразою. Оставалась целая масса выморочных домов: их надо было очистить, все, что в них ни уцелело, кроме икон и металлических вещей, сжечь и, наконец, сжечь самые дома, особенно мелкие из них, деревянные. По остальным домам ходили особые артели «курильщиков» и окуривали дома порошками особого состава. Очищались присутственные места, магазины, гостинный двор, церкви. Кто доносил о скрытых зараженных вещах, того награждали деньгами. Очищались фабрики, заводы, товарные склады. По всем дворам разыскивались, посред-

ством мортусов из каторжников, тайно похороненные — то в садах, то в огородах, то в погребах, иные зарыты без гробов, иные просто брошены в каком-нибудь сарае и уже давно сгнили. Все эти трупы подбирались мортусами-каторжниками и вывозились на кладбища, а самые телеги, на которых вывозились трупы, немедленно сжигались. Над самыми чумными кладбищами сделана была особая земляная насыпь вышиною более аршина, составившая площадь более 35000 кв. сажень или около 15 десятин!



Ванька
Кайн

ИСТОРИЧЕСКИЙ
ОЧЕРК

I

На каких исторических эпохах и лицах останавливается народная память. — Причины сопоставления в народной памяти имен Стеньки Разина, Гришки Отрепьева, Маринки-безбожницы, Ивашки Мазепы, Емельки Пугачева и Ваньки Каина. — Анафематствование как источник укрепления в народной памяти некоторых исторических имен.

Все исторические народы, в силу законов нравственной преемственности, в большей или меньшей степени сохраняют память о прошедшем своей страны, о событиях, имевших роковое для нее значение, и о лицах, с именами которых связаны наиболее выдающиеся явления прошлого. Но в этом случае поражает одна неизменная черта у всех народов: народная память почти исключительно останавливается не на светлых рельефах прошлого, а на его тенях, и если классический грек почти всегда главным пунктом отправления для своей обыденной хронологии брал нашествие на Аттику персов или моровую язву, описанную Фукидидом, а римлянин мерил прожитые Римом эпохи от нашествия галлов и от спасения Рима гусями, то и русский народ в разные эпохи своего существования брал началом своего летосчисления то «злую татарщину», то «лихолетье» начала XVII столетия, то московский пожар, то, наконец, «первую холеру» и т.д.

Точно так и по отношению к выдающимся личностям, к более или менее крупным единицам из своего прошлого, народная память относится не менее своеобразно: она большею частью останавливается не на светлых личностях, которых общественная деятельность или личные нерядовые качества, или слепое счастье высоко поднимали над общим уровнем, но большею частью на личностях иного закала или на тех, которых воля, зло направленная, и память по себе оставили недобрую, или на тех, которые своими страданиями купили себе

право на народную память или же заслужили эпические когноменты «несчастненьких».

Особенность эта до того присуща народной памяти, что если бы исторические народы не имели писанной истории, то устная народная история большею частью группировалась бы или вокруг нескольких событий, и непременно таких, которые поразили страну каким-нибудь особенным бедствием, или вокруг нескольких имен, которые страна могла бы лишь оплакивать. Из памяти народа временем вытравливается большею частью все, что приносило ему добро; но то, что приносило зло или само страдало, крепко заседает в народной памяти и не вытравливается ни временем, ни другими событиями: память эта иногда только переносит известные события из других эпох к своим почему-либо излюбленным личностям, и эти личности не герои, не благодетели его, а какой-нибудь «вор Гаврюшенька» или «раз... сын камаринский мужик». В устной народной памяти почему-то еще удержались представления о Владимире и его богатырях, но все остальное, все, что проходило потом по русской земле в течение многих столетий, — все это вычеркнуто из устной народной истории, и удерживается почему-то один Мамай, нечто вроде народа-великана, который оставил по себе память: на земле курганы по всей обширной области русской — это «мамаевы могилы», а на небе — следы своего страшного проследования через русскую землю — это млечный путь, «мамаева дорога», осталось еще кое-где в рассказах имя Ивана Грозного, туманное представление о котором, однако, почти уж вытравлено временем. Из истории смутного времени народом все вычеркнуто — и Годунов, и его красавица дочь Ксения, и Шуйский-царь, и царевич Димитрий, и некогда славный и наиболее любимый народом герой Скопин-Шуйский, а удержались только имена Гришки Отрепьева да Маришки-безбожницы.

Народная память сохранила собственно шесть имен, которые в представлениях народа стоят какую-то отдельную группой, и если упоминается одно из этих имен, то затем немедленно следует представление об остальных пяти, которые в народной памяти, по-видимому, и не могут быть отделяемы одно от другого. Имена эти — Стенька Разин, Ванька Каин, Гришка Отрепьев, Маришка-безбожница, Ивашка Мазепа и Емелька Пугачев. Замечательно, что в эту странную плеяду попало и имя Ваньки Каина. Пишущий это еще в раннем детстве слышал в народных рассказах все эти шесть имен совместно упоминаемыми, и Ванька Каин никогда не

отделяется от имен остальных пяти личностей. К этому, по-видимому необъяснимому, факту мы полагали бы возможным приложить такую историческую конъектуру.

Во все времена против врагов церкви, государства и общественного спокойствия церковь употребляла духовное оружие, наказание — это или отлучение от церкви, или проклятие, анафема. Анафематствование имело место в первые времена христианства, когда враги церкви могли быть особенно опасны тем, что колебали только что входящие в народное сознание христианские вероучения: так был проклят Арий и многие другие противники освященных вселенскими соборами догматов христианства. Анафематствование всегда имело место и в католической церкви, где сохранилось и до сих пор. Анафематствование принято было и православною российскою церковью, которая в разные времена и предавала анафеме таких врагов государства и церкви, как Димитрий Самозванец и ему подобных... Анафеме был предан и Стенька Разин, и Мазепа и другие личности, о которых мы не упоминаем. В прошлом веке, уже во второй его половине, анафеме преданы были убийцы Амвросия, архиепископа московского и калужского, растерзанного возмущившеюся московскою чернью. Анафема обыкновенно возглашалась в церкви, и притом в известные дни, следовательно, при наибольшем стечении народа. Анафема возглашается и в настоящее время, ежегодно в неделю православия. В этот день народ везде с особенным любопытством стремится попасть на архиерейское служение, при котором и совершается анафематствование.

Церковные возглашения всегда имели для народа особенное значение, переходившее в обаяние: кроме анафематствования, в церквях возглашаются манифесты обо всех важных событиях в государстве; в церквях же народ услышал и возглашение о дарованной ему свободе. Все поэтому, что возглашается в церкви с особенною торжественностью, глубоко западает в память народа-младенца. Вот почему, между прочим, он сам особенною торжественностью обставляет свои легендарные рассказы о лицах анафематствованных, о таких, как Стенька Разин или Емелька Пугачев, которых будто бы земля не принимает и которые до сих пор ходят по земле, как еврей Агасфер, «вечный жид», не хотевший помочь Христу нести тяжелый крест на Голгофу; и вот почему народ до сих пор убежден, что в неделю православия проклиняют Стеньку Разина, Григория Отрепьева, Емельку Пугачева, Ивана Мазепу, Маришку-безбож-

нищу и непременно Ваньку Каина, которых земля не принимает на вечное успокоение.

Ванька Каин, собственно, потому, может быть, попал в число помянутых исторических личностей, которых бессмертие в народе отчасти укреплено анафематствованием, что народ, по сходству имен, мешал московского Ваньку Каина с библейским Каином, которого, первого убийцу на земле, за убиение брата Авеля земля не принимала.

А у народа подобные смешения или перенесения исторических имен событий на другие бывают нередко, как, например, он перенес свои языческие понятия о дохристианских богах на имена уже христианских святых, как целиком перенес понятие о боге Велесе на св. Власия, покровителя животных; громовержца Перуна перенес на пророка Илью, и т.д.

II

Каин — тип народного героя, как «удал добрый молодец» и как «несчастненький». — Жизнеописания Каина; число их изданий в прошлом и нынешнем столетии. — Ванька Каин — микрокосм деморализованного историею русского общества, как Дон-Кихот — микрокосм Испании с издыхающим рыцарством.

При всем том нельзя не признать за Ванькой Каином и некоторых других качеств, которыми он завоевал себе народную память: он, действительно, был до некоторой степени героем гольтыбы; вся жизнь его посвящена была воровству и мошенническим проделкам, а гольтыба, сама по необходимости ворующая и вырабатывающая себе свой собственный кодекс нравственности, свои собственные уложения о наказаниях, о правах состояния, о праве собственности, не могла не видеть в Каине героя своего ремесла, личность даровитую с точки зрения гольтыбы, олицетворение беззаветного удалства, эпического молодечества, того молодечества, которым народный эпос обставил и Ермака Тимофеевича, и Стеньку Разина, и «понизовых удалых добрых молодцев», и «воровских казаков», «славных разбойников», и «поволжских бурлаченьков», эту «голь кабацкую».

Нельзя не признать исторической достоверности за фактом, что народ не без уважительных поводов вносит в цикл своего исторического эпоса некоторых избранников, по-видимому, не всегда чистых и безукоризненных, с точки зрения

общепринятого понимания законов человеческой нравственности, но таких, которых деяния, гармонируя с воззрениями гольтыбы, действовали на ее творческое воображение, или которые за что-то пострадали и к которым народ мог приложить любимый свой эпитете «несчастненьких».

Князя Владимира Красно-солнышко он излюбил более других русских князей и единственно его только поставил центром всего своего эпоса потому, может быть, что Владимир, пируя с богатырями Добрынями да Ильями Муромцами, в то же время, по свидетельству летописи, выставлял на улицах и площадях столы с яствами и питьями для «нищей братии», для «калек переходящих», для слепцов и для всей гольтыбе древнерусской.

Другой любимец народа — страшный царь Иван Грозный получил свое место в народном эпосе потому, что, систематически давая своей опричниной княжеские и боярские роды, он тем самым, по народному выражению, на его колеса лил воду и, травя бояр, зашитых в медвежьи шкуры, собаками он, как народу казалось, сам-то лично его не трогал.

Стеньке Разину народ посвятил, можно сказать, целые рапсодии в своем эпосе потому, что этот Стенька в «казацкий круг» не хаживал, с стариками думы не думывал, а думал думушку с гольтыбою, с голью кабацкою», и эту голь повел он на добычу, обещая ей побить всех бояр и сделать всех равными.

Переходя к новому историческому времени, мы находим, что народ обессмертил своим эпическим творчеством уже в XVIII веке Ваню Долгорукова за то, что он был «несчастненький» и, умирая на плахе, золотым перстеньком дарил палача, чтобы он скорее снял с него буйную голову и не портил бы его могучих плеч; обессмертил и «короля прутского» за то, что «разнесчастненький, бесталанненький» король прутской, ничего-то он, король, не знает про свою армянушку, что ушла под француза», а «француз прислал ему газетушки невеселые, под черной печатью»; обессмертил и Захара Григорьевича Чернышева, который тоже сидел в «темной темнице», в «распроклятой заключевнице»; обессмертил и донского генерала Краснощекова, с которого татары с живого кожу содрали, «да души его не вынули».

Ванька Каин в народном сознании подходит под оба эти народных типа — и под тип «удалого доброго молодца», и «разнесчастненькаго»; мало того — как человека, действовавшего иногда прямо в интересах народа, который он защищал от господ, от подьячих, от полиции, от неправильного рекрутства.

Как бы то ни было, народная память, отведя для Каина место в своем эпосе, передает его имя от поколения к поко-

лению, как летописцы передавали от столетия к столетию о событиях, которые без того совершенно утратились бы для истории, и тем обессмертила это имя, возвела его в разряд имен исторических.

Русская история, если не хочет игнорировать внутреннюю жизнь народа, его мировоззрение в известные эпохи, его экономический и общественный быт, его понятия, как она не игнорировала его верований в древнейшие эпохи существования, его мифических воззрений на природу; если русская история желает быть именно тем, чем должна быть история всякого народа, история всякого человеческого общества, а не историей королей, генералов и войн, то она не может и не должна обходить тех личностей, которые не обойдены и народом. Уже знаменитый Новиков, который начинает собой в России, как Лессинг в Германии, эпоху обращения русской мысли и русской науки к изучению основ народной жизни и народного мировоззрения, понял это народно-историческое значение личности Каина и занес в свой сборник песни, которые пел народ, называя их «песнями Каина» или соединяя их с именем этого человека. Еще при жизни Каина ходили по рукам «сказания» об его похождениях, а рассказы о нем, почти легендарные фабулы, наконец, «слова» и «изречения» Каина переходили из уст в уста, как вообще рассказы о личностях, оставляющих по себе следы в истории...

Таким образом, еще при жизни Каина имя его становилось народным, завоевавшим тем себе право на историческое бессмертие, каково бы ни было это бессмертие, почетное или постыдное. Составленное, что называется, по горячим следам жизнеописание Каина, отчасти основанное на его собственном рассказе, уже в прошлом веке имело до десяти изданий — число, до которого не доходило издание жизнеописания ни одной самой крупной исторической личности. Издания эти продолжали повторяться и в нынешнем столетии, так что вместе с изданиями Григория Книжника и г. Бессонова достигли до пятнадцати тиснений. Наконец, имя это занесено в справочные словари и вошло в народную речь как имя нарицательное (словарь Толля).

Что же это была за личность этот Ванька Каин и что выразила собой эта личность такого рельефного и памятного, чтобы так поразить народное воображение и так крепко застыть в памяти масс чем-то историческим, незабываемым?

По-видимому, значение Ваньки Каина до сих пор не понято. А между тем право Каина на историческое бессмертие заключается в том, что он живое отражение всей тог-

дашней России, микрокосм нашего деморализованного общества, которое, начиная от лиц, стоявших у престола, и кончая голью кабацкою, практиковало в широких размерах нравственные и гражданские правила Ваньки Каина — воровало, мошенничало, грабило, доносило: Меншиков ворует казну, грабит народ и, наказываемый исторической дубинкой Петра из рук самого царя, продолжает вновь грабить и, подобно Ваньке Каину, ссылать своих сообщников и доносить на других; Бирон и доносит, и грабит, и казнит; Шувалов грабит и доносит; военачальники грабят и доносят на своих противников; временщики грабят сами, доносят и принимают доносы; сенаторы грабят и доносят; духовные пастыри, как Феофан Прокопович и другие, грабят и доносят; подьячие грабят и доносят. Является Ванька Каин, и в нем, как в фокусе рефрактора, отражается все безобразие русского общества: он тоже весь пропитывается ходячею, практической идеей века — вороват, грабит и доносит. Если кого русские люди половины прошлого века могли назвать «героем своего времени», в постыдном значении этого слова, — так это Ваньку Каина. Ванька Каин, в изворовавшемся и в деморализованном «ненавистным выражением» слово и дело общества, был то же, что и Дон-Кихот в оглупевшей от идей издыхавшего рыцарства Испании: и тот и другой — крайнее выражение ходячей нравственной эпидемии века.

Оттого такие личности, как Ванька Каин в изорвавшейся России и Дон-Кихот в одуревшей Испании, являются народными типами целого века и становятся чем-то пословичным и нарицательным: Дон-Кихот жив до сих пор в применении к жизни известных понятий; Ванька Каин тоже живет до сих пор в народе как что-то «отъемное», с значением «отъемного» входит даже в русский справочный словарь в числе имен нарицательных¹.

Одним словом, Ванька Каин — это известный тип, как такими же типами стали в русской земле создания лучших деятелей русской мысли, Фонвизина, Грибоедова, Гоголя Гончарова: типы Митрофанушек, Скотининых, Молчалиных, князей Тугоуховских, Чичиковых, Ноздревых, Хлестаковых, Подколесинных, Обломовых и т.д. Ванька Каин — тип исторический, широкий тип, соединяющий в себе самые безобразные черты всего тогдашнего русского общества, как Шемяка-судья, тоже унаследовавший историческое бессмер-

¹ В словаре Толля значится: «Ванька Каин — бранное прозвище отбойных (т.е. отъемных) буянов».

тие в народной памяти, выражает собой все безобразие суда, под которым жил русский народ в течение многих столетий: в свое время русская земля проведала, как незаконно и с каким полным презрением прав человечества судили враги князя Димитрия Юрьевича Шемяку, и с тех пор всякий неправильный и возмутительный суд называет «судом Шемякиным»; в свое время народ знал также, с каким искусством и с какой полнотой Ванька Каин выразил собою болезненные стороны всего общественного строя русской жизни, и с тех пор Каин не умирает, хотя, в сущности, его постыдную памятью осуждается вся система государственной и общественной нравственности, а не осуждается сам Каин, к которому народ, вследствие этого, и относится с заметным сочувствием.

III

Происхождение Каина. — Маленького Ваньку привозят в Москву. — Жизнь его в барском доме, у Гостиной сотни купца Филатьева. — Начало развития воровских привычек в мальчике. — Бегство из дома Филатьева. — Знакомство с Петром Камчаткою. — Нападение на дом попа соседа. — Каин и Камчатка под Каменным мостом в воровском притоне.

В одном из старинных жизнеописаний Каина, которое носит заглавие: «Жизнь и похождения российского Картуша, именуемого Каина, известного мошенника и того ремесла людей сыщика, за раскаяние в злодействе получившего от казны свободу, но за обращение в прежний промысел сосланного вечно на каторжную работу, прежде в Рогервик, а потом в Сибирь, писанная им самим, при Балтийском порте, в 1764 году», Каин говорит будто бы от своего имени: «Я родился в 1714 г.»¹; в исследовании же г. Есипова, составленном на основании подлинных документов сыскаго приказа, значит, что Каин роился в 1718 г., в Ростовском уезде, в с. Иванове, в крестьянском семействе, принадлежавшем Гостиной сотни купцу Филатьеву.

Тринадцати лет Ванька привезен был в Москву на господский двор, где, по-видимому, вся обстановка его жизни сложи-

¹ «Во время царствования императора Петра Великого, от подлых родителей».

лась так, чтобы выработать из крестьянского мальчика тип «удалого доброго молодца», только не «понизового разбойничка», не «бурлаченьку вольного Поволжья», а гражданина «матушки каменной Москвы». Жизнь при господском дворе в то время была, можно сказать, исключительно приспособлена к тому, чтобы из дворовых людей вырабатывать будущих «разбойничков» и тем пополнять и без того богатый контингент «понизовой вольницы».

В помянутом жизнеописании Каина он сам рассказывает о причинах и начале своих воровских походов, и рассказывает с свойственными ему оригинальной, чисто народной речи прибаутками, рифмованными пословицами и ловкими загадочными сравнениями, которые так нравятся народу, в устном ли рассказе, или под какими-нибудь лубочными картинками.

«Что до услуг моих принадлежало, — говорит Каин, — то со усердием должность отправлял, токмо, вместо награждения и милостей, несносные от него бои получал». Это — тот же эпический прием рассказа, который мы читаем во всех разбойничьих делах прошлого века, где пойманные разбойники постоянно показывают на допросах, что служил-де он у своего господина с усердием, но только бывал от него неведомо за что жестоко истязаем, а пить-де есть было нечего, обуться-де одеться не во что, отчего-де босиком по морозу хаживал, а для своего прокормления у соседей куски стаскивал, а наконец-де, не стерпя тяжелых побоев, ушел из дому, жил где день, где ночь, питался милостыней и пристал затем к атаману Гавриле Букову или Ивану Брагину, и т.д.

То же сделал и Каин, когда жизнь его у Филатьева стала ему невмочь.

«Чего ради вздумал встать поране и шагнул от двора его подале. В одно время, видя его спящего, отважился тронуть в той же спальне стоящего ларца его, из которого взял денег столь довольно, чтоб нести по силе моей было полно; а хотя прежде оно на одну только соль и промышлял, а где увижу мед, то пальчиком лизал, и оно делал для предков, чтоб не забывал. Висящее же на стене его платье на себя надел и из дому тот же час не мешкав пошел; а более за тем поторопился, чтоб он от сна не пробудился и не учинил бы за то мне зла».

Это — пролог к воровской, полной приключениями жизни Каина. В самом прологе этом слышится эпический прием рассказчика: так поступали все, кому жизнь была тяжела, тем более что выхода из тяжелой обстановки дворовым того времени

не было предоставлено даже законом — крестьяне по закону не могли жаловаться на своих помещиков, «как дети на родителей». Жалоб крестьян на помещиков не принимали, а вместо того самих жалобщиков возвращали помещикам для наказания — «на правеж», сажали под караул, секли плетью, отдавали в солдаты или ссылали в Сибирь. Все это в порядке вещей; в порядке вещей было и то, что сделал Каин, дитя своего времени. Мало того, эпичность обстановки, в которой является вся жизнь Каина, яснее выказывается и в том, что у Каина был уже учитель будущего его ремесла — это солдатский сын Петр Камчатка. С ним он познакомился, как обыкновенно знакомилась «удалые добрые молодцы», в «царевом кабаке», который всегда был неизбежно эпической деталью в жизни каждого доброго молодца: как римский народ решал свои дела на «форум романум», так русская голытьба, за неимением форума и из боязни полиции, о которой римляне не имели понятия, всегда принимала наиболее важные решения своей жизни под эгидою царева кабака. О кабаке с этой точки зрения говорит и одна из известных «удалых» песен, где мать обращается к сыну с такими словами:

Не ходи, мой сын, во царев кабак,
Ты не пей, мой сын, зелена вина,
Не водись, мой сын, со бурлаками,
Со бурлаками с понизовыми,
Со ярыгами со кабацкими,
Потерять тебе, сын, буйну голову.

Камчатка и был таким «ярыгою кабацкою», который объяснил Каину, что жизнь дворового, жизнь под страхом ежедневных побоев и с Сибирью или солдатством в перспективе, жизнь голодная, подневольная может быть заменена жизнью вольною, разгульною, хоть тоже подчас и голодною, и холодною, но по своей воле — это жизнь бродяги, жизнь площадная, уличная.

Камчатка, по уговору, дожидался Каина, когда тот должен был бежать от своего господина. В рассказе о своей жизни Каин говорит, что, уходя из дому помещика, он написал у него на воротах:

«Пей воду, как гусь, ешь хлеб, как свинья,
А работай черт, а не я».

Хотя г. Есипов, пользовавшийся подлинным розыскным делом о Каине, и утверждает, что он не умел писать, однако дело не в том, грамотен ли он был или нет, а опять-таки в эпичности приема, которым обставил народ всякий факт из жизни Каина. Народ в былинах о богатырях Владимирова

цикла заставляет также писать и Илью Муромца. Понизовая вольница, подобно Каину или Муромцу, решаясь напасть на какую-нибудь помещичью усадьбу или сжечь село, тоже молодецки извещает кого следует о предстоящем подвиге и под извещением удалой молодецкой рукой подписывает: «Иван Белый, писал рукой смелой», или «писано в кабаке, сидя на сундуке», и т.д.

Первым подвигом Каина, как и следовало ожидать, было нашествие на дом соседа попа.

Об этом первом своем походе Каин так рассказывает, с свойственным ему юмором и народными прибаутками:

«Пришел к попу (а шел не по большой дороге, а по проселочной, то есть чрез забор), отпер в воротах калитку, в которую вошел товарищ мой Камчатка. В то время усмотрел нас лежащий на дворе человек, который в колокол рано звонит, т.е. церковный сторож, и, вскоча, спрашивал нас, что мы за люди, и не воры ли самовольно на двор взошли? Тогда товарищ мой ударил его лозою, чем воду носят. «Неужели, — ему сказал, — для всякого прихожанина ворота хозяйские запирают, почему некогда ему будет и спать... Потом взошли к попу в покой, но более у него ничего не нашли, кроме попадьи его сарафан да его долгополый кафтан, который я на себя надел и со двора обратно с товарищем пошел».

Как ни беспорядочны в настоящее время улицы Москвы, но сто тридцать лет тому назад они были еще беспорядочнее, а мрак, особенно господствовавший в глухих частях города, делал из Москвы для гулящих людей такое же удобное поприще для походов, как Волга для понизовой вольницы или муромские леса для беглых. Поэтому, для прекращения гулящим людям возможности шататься по ночам и грабить незащищенных обывателей, улицы с вечера заставлялись рогатками и по ночам никому не дозволялось ни ходить, ни ездить, кроме полиции и духовенства.

Ванька Каин поэтому воспользовался поповским кафтаном, чтобы благополучно пробраться по московским улицам между рогатками к тому месту, куда его вел Камчатка. А Камчатка вел его к Каменному мосту, где под самым мостом был притон воров и всякой голи кабацкой.

Но предоставляем Каину самому рассказывать, как он попал в воровское гнездо. Рассказ этот весь пропитан народным юмором и отзывается тою эпичностью, которую мы видим в народных сказках:

«Мы пришли под Каменный мост, где воришкам был погост, кои требовали от меня денег; но я, хотя и отговаривался,

однако дал им 20 копеек, на которые принесли вина, причем напоили и меня. Выпивши, говорили: «Пол да серед сами съели, печь да полати в наем отдаем, а идущим по сему мосту тихую милостыню подаем (т.е. мы-де мошенники), и ты будешь, брат, нашего сукна епанча! (т.е. такой же вор). Поживи здесь в нашем доме, в котором всего довольно: наготы и босоты изнавешены шесты, а голоду и холоду амбары стоят. Пыль да копоть, притом нечего и лопать». Погодя немного, они на черную работу пошли».

IV

Различие между городской «голытьбою» и «понизовою вольницею». — Каин вновь попадает в руки своего господина. — Его привязывают вместе с медведем. — Его наказывают. — Каин произносит «слово и дело» — Каин в тайной канцелярии: допрос, донос на Филатьева и арест этого последнего. — Каина освобождают.

Обстановка, в которую попал Каин, тотчас обнаруживает, что общество, членом которого становился молодой Каин, было далеко не то, с которым познакомили нас архивные разбойничьи дела Поволжья. В обстановке этих последних было что-то поэтическое, напоминающее древнюю Русь с ее княжескими дружинами, потом с новгородскими молодцами «ушкунниками», затем с казаками запорожскими, донскими, яицкими, «воровскими». Понизовая вольница в своих подвигах захватывала шире, чем та шайка воришек, в которую попал Каин: понизовая вольница составляла бродячие отряды, не прятавшиеся где-нибудь под городским мостом, а имевшие свои отдельные притоны, разъезжая вдоль Поволжья то в «косных лодках», то конными отрядами. Понизовая вольница вступала нередко в открытый бой с правительственными отрядами и на воде, и на суше. Вольница имела свою общественную организацию, подчинялась атаманам и есаулам и только по зимам искала приюта в селах и городах.

Не такова была вольница, с которою сошелся Каин, — это были простые городские воришки. В обстановке этих последних не видится ничего поэтического, ничего обаятельного, между тем как в обстановке понизовой вольницы действительно было что-то обаятельное для удалых голов, и это то обаяние составляло, в некотором смысле, нравственную силу понизовой вольницы. Каин чувствовал сам это различие между той мел-

кою ролью, которая выпала ему на долю, и той, какая практиковалась понизовою вольницею, и оттого, желая возвысить свое положение и в своих собственных глазах, и в глазах других, он не чужд был того, чтобы рисоваться перед другими: он хочет изобразить из себя «удалого доброго молодца»; он любит петь удалые песни вроде «Не шуми ты, мати, зеленая дубравушка», или «Не былинущка в поле зашталася», или «Ах, тошно мне, добру молодцу, тошнехонько»; но, при всем том, он не может подняться до той идеальной высоты, на которой, в глазах народа, преимущественно гольтыбы, стояли атаманы понизовой вольницы — Заметаев, Беркут, а еще дальше — Разин, Ермак, Кудеяр, Кольцо и т.д. То были исторические продукты еще не уложившегося в рамки государственного строя беспорядочной жизни русского народа; это, напротив, уже искаженный продукт городской жизни, безобразный нарост на обществе, уже тянувшемся за цивилизацией, но не дотянувшимся до нее. Понизовая вольница — это дитя старой, отживавшей Руси, дитя, бравшее пример с своей исторической матери: понизовая вольница была отражением и удельной Руси, когда князья с своими дружинами, как атаманы с своими шайками, нападали друг на друга и грабили волости своих противников; она была и отражением казачества, которое воевало, смотря по выгодности дела, то с басурманами, то с своими же собратьями-православными. Вольница, с которою слился Каин, — это, напротив, дитя России XVIII века, дитя, тоже бравшее пример с своей матери: как в России все, начиная от верхов до низов, граждански грабило слабого, воровало в казне и потом доносило на других, так и Каин, как мы заметили выше, приняв в себя грязные подонки России XVIII века, ворует, мошенничает и доносит. Каин такой же сын России XVIII века и такой же гражданин ее, каким был, например, Монс: грабя все, с чем только по своему положению ни сталкивался Монс, он при всем том рисовался своею высокою ролью, был большой любезник, сочинитель стихов и акростихов; Каин также воровал все, что плохо лежало, грабил всех, с кем ни сталкивался, и в то же время рисовался своею ролью, любил балагурить, блистать в народе красным словцом, прибауткой, хитрой параболой, понятною для народа и дорогою для него.

После того как Каин приведен был Камчаткой под Каменный мост и новые товарищи его ушли на «черную работу», он так продолжает повествование о своих первых подвигах:

«Я под тем мостом был до самого света и, видя, что долго их нету, пошел в город Китай, где попал мне навстречу того ж

дома господина Филатьева человек и, ничего не говоря, схватя, привел меня обратно к помещику в дом. В то ж время прикован был на дворе медведь, близ которого и меня помещик приковать велел, где я два дня не евши прикованный сидел, ибо помещик кормить меня не велел. Токмо, по счастью моему, к тому медведю девка ходила, которая его кормила, притом, по просьбе моей, и ко мне тихонько приносила, между тем сказала, что помещик наш состоит в беде: ландмилицкой солдат в гостях в холодной избе, т.е. мертвым брошен в колодезь. Потом помещик мой взял меня в покой к себе и, скинув все платье, сечь меня приказал; тогда я ему сказал: «Хотя я тебя ночью, немножко окравши, попугал, и то для того, чтоб подолеть ты спал»; и, не дожидаясь более, тотчас старую песню запел: сказал «слово и дело», отчего он в немалый ужас пришел. В то же время случился при том быть полковник Иван Иванович Пашков, который говорил ему, чтоб более меня не стращал, а куда б подлежит отослал, при чем я ему и еще тою же песню подтверждал, чтоб, не продолжая времени, в «Стуколов монастырь», сиречь в «тайную», где тихонько говорят, отсылал.

По прошествии ночи, поутру, в полицию меня представил, где к той песне еще голосу я прибавил, ибо она для ночи не вся была допета, потому что дожидался света, в тот час драгуны ко мне подбежали и в тот монастырь, куда хотел, помчались, где, по приезде, секретарь меня спрашивал, по которому пункту я за собой сказывал, коему я говорил, что ни пунктов, ни фунтов, ни весу, ни походу не знаю, а о деле моем тому скажу, кто на том стуле сидит, на котором собачки вырезаны (т.е. на судейских креслах). За что этот секретарь бил меня той дощечкой, которую на бумагу кладут (т.е. линейкой). На другой день, поутру, граф Семен Андреевич Салтыков, приехав, приказал отвести меня в замшоную баню (т.е. в застенок, где людей весят, сколько потянет), в которую сам взошел, где спрашивал меня, для чего-де я к секретарю в допрос не пошел и что за собой знаю? Я, ухватя его ноги руками, стал ему говорить, что помещик мой потчевал ландмилицких солдат деревянными кнутами, т.е. цепами, что рожь брюжжат, из которых солдат один на землю упал. То помещик мой, видя, что оный солдат по-прежнему ногами не встал, дождавшись вечера, завернул его в персидский ковер, что соль весят (т.е. в куль), и снесли в сухой колодезь, в который сор высыпают, а секретарю для того не объявил, чтобы он левой рукой Филатьеву не написал, ибо я в доме у своего помещика его часто видал. Граф приказал дать мне, для взя-

тия помещика, пристойное число конвою, с которым я к помещику своему приехал: в то время тот лакей у ворот меня встретил, который, как выше объявлено, к помещику меня привел, и для того конвойным взять его велел. «Ты меня, — сказал я ему, — поймал у Панского ряда днем, а я тебя ночью, так и долгу на нас ни на ком не будет». Пришли к тому колодезю, из которого мертвого ландмилицкого солдата вытащили, почему взяли господина Филатьева и привезли в Стуколов монастырь. Граф спросил меня: «Был ли при том убийстве господин твой?» Я сказал: «Какой на господине мундир, такой и на холопе один. Сидор да Карп в Коломне живет, а грех да беда на кого не живет? Вода чего не поймает, а огонь и попа сожжет».

Неизвестно, чем кончилось пребывание Каина в тайной канцелярии и долго ли он там сидел. В автобиографии его скромно сказано: «После, в скором времени, дано мне было от оной канцелярии для житья вольное письмо, которое я, получая, в Немецкую слободу пошел».

V

*Новые похождения Каина: нападение на дом доктора Ел-
виха; погоня; бегство в Донской монастырь. — Нападе-
ние на дом придворного закройщика Рекса. — Встреча с
первою возлюбленною Каина — с Дуняшею. — Новое на-
падение на дом Филатьева и Шубина. — Дуняша
замужем.*

Теперь начинается для Каина вольная жизнь, полная приключениями. Новичок в этой жизни, он скоро оставляет далеко за собой всех товарищей по ремеслу, своих старых братьев и учителей, и становится их коноводом. У Каина были ум и находчивость, Каин головой выше своих товарищей: это далеко недюжинная личность в ряду обыкновенных, мелких и крупных воров; это было своего рода дарование, которое везде выдвинуло бы Каина на первое место. Подобно Цезарю, он хотел быть первым между мошенниками, чем вторым между честными людьми.

Явившись в Немецкой слободе, он идет туда, куда тянет его инстинкт, в народный клуб — в кабак. Там он находит друга своего, Камчатку, и еще четырех молодцов, с которыми он познакомился в первую ночь после побега, под Каменным мостом. Сочиняется новый план воровской экс-

курсии. Каин идет с товарищами на Яузу, к придворному доктору Елвиху, к самому дворцу. Воры тайно входят в сад, пробираются в беседку. Сторож, заметивший их и спросивший, что они за люди, делается их пленником: его связывают и допрашивают, как им удобнее войти в дом доктора. Сторож указывает окна. Воры вырезают из рамы стекла, отворяют окно и входят прямо в спальню доктора, которого и видят спящего рядом с женою. Коноводит всем Каин. Он взбирается на подоконник и скидает с себя сапоги, чтобы не разбудить спящих, и при этом с эпическим спокойствием прибавляет: «Видя их разметавшихся неопратно, закрыл одеялом, которое сбито было ими в ноги». Это уже удалство мастера, своего рода артистическая дерзость. Из спальни Каин идет в другие комнаты, пробирается в детскую и, найдя там спящую девку, на вопрос ее, зачем они пришли, отвечает: «Пришли в дом купцы для пропалых вещей». За Каином входят в дом товарищи его, вяжут эту девку и кладут на кровать — «в середину того доктора и докторши», а сами между тем приговаривают: «Бей во все, колоти во все, и того не забудь, что и в кашу кладуть».

И действительно, воры ничего не оставляют, забирают с собой всю серебряную посуду несчастного доктора.

Каин снова выходит с своей шайкой на Яузу, переправляется через нее на плоту, но, увидев за собой «погоду», т.е. погоню, как он выражается, обрубает канат, на котором ходит плот, и ведет банду к Данилову монастырю, где у них уже есть заручка — дворник монастырский, который и принимает от них краденые вещи.

Затем готовится новая экспедиция. Каин ведет товарищей в Немецкую слободу, к дворцовому закройщику Рексу — как видно, Каин знает, где лучше пожива, — все практикуется около придворных и притом немцев. Воры подготовили это нападение на Рекса заранее: один из товарищей Каина, Жаров, с вечера забрался в дом Рекса, проскользнул в спальню и засел у него под кроватью. Экспедиция удается как нельзя лучше: Рекса обирают тысячи на три — и уходят. За ними погоня. Воры хватают бегущего за ними человека, ведут к Яузе, связывают, бросают в лодку и читают наставление: «Если станешь много говорить, мы заставим тебя рыбу ловить». Отгалкивают лодку от берега и уходят в безопасное место.

Через несколько дней новая экспедиция, еще более удавшаяся. Шатаясь по Красной площади, Каин встречает давнишнюю свою знакомую, дворовую девку своего помещика, Авдотью, которая когда-то кормила его и медведя, когда они

были привязаны близко один от другого. С этой девушкой Каин и прежде был дружен. Она говорит ему, что у нее на руках барские комнаты с деньгами и пожитками. Каин решается взять все это себе и, спустя несколько дней, приходит на двор какого-то Татищева, который стоял рядом с домом его помещика, и, перекинув через забор нарочно принесенную с собой курицу в огород, стучится в ворота. На вопрос, зачем он стучится, Каин отвечает, что его курица залетела в их огород, и просит пустить его туда для поимки курицы. Его пускают. Ловя курицу, он высматривает местность, откуда удобнее пробраться в комнаты своего помещика, и потом идет к своим товарищам. Ночью они забираются в дом, «трогают бухами сундуки», выбирают из них серебро, деньги, шкатулки и ухарски при этом приговаривают: «Тяп да ляп — клетка, в угол сел — и печка». Делается в доме тревога — «мелкая раструска», как выражается Каин. Воры бегут и около Чернышева моста, где была «великая тина», бросают покраденные вещи в грязь и пробираются к дому генерала Шубина, схватывают из этого дома человека, «что по ночам в доску гремит», т.е. сторожа, говорят ему, что около их дома лежит пьяный, и, когда сторож хочет идти к указанному ими месту, хватают его, заворачивают ему на голову тулуп и завязывают ему рот. Затем входят во двор Шубина, выводят из конюшни лошадей, закладывают их в «берлин» и едут на фабрику Милютина, где берут знакомую им бабу, сажают ее в «берлин», едут к Чистым прудам к одному купцу, пробираются на чердак, достают оттуда женский барский убор, наряжают бабу барыней и снова едут к Чернышеву двору, где брошены ими были в грязь деньги и столовое серебро. Въехав в грязь, скидывают у «берлина» колеса, велят мнимой барыне выйди из «берлина», кричат на них как на слуг, и приговаривать: «Что-де вам дома смотреть было не можно ли, все ли цело!» Барыня кричит, а они таскают в «берлин» из грязи краденые вещи, надевают колеса, снова едут далее и, бросив «берлин» с лошадьми у денежного двора, берут барыню под руки, ведут ее на квартиру к Каину, который жил в то время у «запечного мастера», и, наградив деньгами, отпускают домой.

Полиция, узнавши о пропаже у Филатьева, хватает возлюбленную Каина, Авдотью, допрашивает ее «под битьем кошками», не имела ли она с ворами «подвоху» или какого разговору; но она запирается во всем и получает свободу.

Проходит немало времени. Каин встречается ее уже замужем и отпущенною на волю. Она замужем за рейтаром Нелидовым. Каин ведет ее в питейный дом, приносит туда

шкатулку с драгоценными вещами, украденными у Филатьева в последнее нашествие на его дом, и, предупредив ее, чтобы она берегла тайну — «только и ходу из ворот да в воду», — идет с нею в ее квартиру, знакомится с ее мужем, говорит ему, что он «не вор, не тать, только на ту же стать», гуляет с ними допьяна, потом снова идет на промысел, обирает дом какого-то шорника, возвращается к рейтару, делится с ним деньгами, говоря своей бывшей возлюбленной: «Вот тебе лужковка попова, облуплена готова, знай почитай, а умру — поминай», затем идет домой и задумывает далекое путешествие.

VI

Каин скучает в Москве. — Его тянет на Волгу. — Песни Каина: «Дуняша — любовь Ванюшкина» и др. — Первый поход на Волгу. — Воровская проделка с мужиком. — Шайка в Макарьево. — Грабеж «армянских амбаров». — Каина ловят. — Его спасает Камчатка. — Каин снова взят драгунами и снова спасается.

Москва, видимо, надоела Каину. Надо попытать силы вне Москвы, изведать волюшки на Волге, с понизовой вольницей. Слава понизовой вольницы, видимо, прельщала Каина. Это доказывает содержание его любимых песен.

В сборниках Новикова, Шнора и других, изданных еще в прошлом веке, между «Каиновыми песнями» находятся, между прочим, следующие: «Что пониже было города Царицына», или «Как из славного из царства астраханского», или «Не бушуйте вы, ветры буйные», затем — «Вниз по матушке по Волге», «Ах ты, батюшка, Ярославль-городок», «Собирались у нас, братцы, все на двор бурлацкий» и т.д. В числе песен, соединенных с именем Каина, есть одна, в которой воспевается «Дуняша — любовь Ванюшкина». Дуняша — это та девушка Авдотья, которая вместе с Каином принадлежала одному господину, Филатьеву, и кормила Каина вместе с медведем, а потом вышла замуж за рейтара Нелидова. Песня, как это мы обыкновенно видим в народной поэзии, свободно передергивает факты, не подчиняя их ни месту, ни времени, ни исторической правде, и переносит Каина и Дуняшу в Архангельск.

В Архангельском во граде
Ходят девушки в наряде,
Еще аленьки цветочки —
Горожаночки девочки.

Ах, у нас было на эвوزه
На Буяновой горе,
В Перешлой слободе,
У столба да у версты.
Как стоял тут дворок,
Невысокий теремок...

В этом теремке, конечно, сидят красные девушки и между ними Дуняша. Девушки, по обыкновению, «охочи за окошечко поглядывать, холостых ребят приманивать».

Случается поздно ночью доброму молодцу проходить мимо терема; в тереме, разумеется, окошечко отворяется, а Дуняша-то в окошечке усмешается. Затем случается Дуняше идти за водой, и уж ее непременно встречает парень молодой. Это и есть Ванька Каин.

Идет Дуня с колодца,
Увидала молодца;
Не дошед Дуня к Ванюше,
Поклоняется;
Речи Ваня говорит,
Постоять Дуне велит.
Ах, не в гусельцы играют,
Не свирели говорят —
Говорит красна девица
Со удалым молодцом:
«Про нас люди говорят,
Разлучить с тобой хотят».
— Еще где тому бывать,
Что нам по розну живать?
Еще где же тому стать,
Чтобы нам с тобой расстаться?
На погибель бы тому,
Кто завидует кому!

Как бы то ни было, факты говорят другое. Дуня замужем за конногвардейцем, за рейтаром, а Ваня несет свою буйную головушку на Волгу.

В шайке Каина всего только шесть человек. Они идут из Москвы к Макарьеву, где надеются на богатую поживу во время ярмарочного съезда. Дорогой молодцы, при всяком удобном случае, практикуют свою профессию. Не доходя до города Вязников, они встречают крестьянина с возом соломы. «Где живет воевода?» — спрашивают бродяги. Оказывается, что мужик был «сыр», т.е. пьян, и начинает бранить бродяг. Бродяги хватают его, стаскивают с воза, привязывают к дуге и зажигают солому — чисто разбойничья проказа. Солома вспыхивает. Испуганная лошадь скачет по полям, не разбирая дороги, а разбойники бегут за нею, любуясь, как мотается несчастный мужик, привязанный к дуге. Бедная лошадь освобождается от

преследующего ее пламени тогда, когда воз соскакивает с передка, а она в одних оглоблях является в свою деревню только с передними колесами и привязанным к дуге мужиком.

Но вот шайка в Макарьеве на ярмарке. Каин ведет ее к так называемому «армянскому амбару», где находились товарные склады. Каина влекли туда армянские деньги, про которые он уже успел проведать. Изобретательность московского вора была такова, что поход против армянской кассы скоро увенчался успехом. Утром хозяин амбара уходит на базар за покупкой мяса, а Каин велит одному из своих товарищей следить за ним и, при проходе мимо гауптвахты, закричать «караул!». Караульные солдаты, услышав крик, берут на гауптвахту и армянского купца, и Каинова товарища. Каин с остальными товарищами бегут вновь к амбару, извещают о задержании под стражею армянина его товарища, который оставался при амбаре, и этот последний, заперев амбар, пошел на гауптвахту. Каину оставалось только вломиться в амбар и взять армянскую кассу. Он так и сделал. Деньги тотчас же были зарыты в песок там же, недалеко от амбара. Находчивость Каина не останавливается на этом. Он спешит на пристань, покупает лес и лубья, ставит на том месте, где были зарыты деньги, шалаш, покупает тесемок, «мошенок» и прочей мелочи, развешивает все это в шалаше и изображает из себя купца. Но коммерция его продолжается только до ночи: ночью деньги перетаскиваются на квартиру к товарищам, которые уже успели освободить арестованного на гауптвахте своего соумышленника, а построенная наскоро лавочка бросается на произвол судьбы.

Дерзость Каина не знает пределов. Не довольствуясь армянскою кассою, Каин забирается в гостиный двор. В колокольном ряду он подсматривает, как купцы считают деньги — «серебряные копейки», по ироническому выражению Ваньки, — и потом оставляют их в лавке, покрыв циновкой. Каин прячется под прилавком и, выбрав удобную минуту, вскакивает в лавку, схватывает из-под циновки кулек, воображая, что в нем деньги; оказывается, что в кульке был серебряный оклад. Сидевшая неподалеку от этой лавки торговка пряниками, увидав Каина с кульком, кричит хозяевам лавки, и Каина захватывают с поличным. Каин в плену, но он и тут не покидает своей иронии, когда вспоминает об этом происшествии. Он говорит, что его привели в «светлицу, где купцы пишут», — это он так называет контору. Начинается домашняя расправа. У Каина берут паспорт, самого его раздевают и бьют «железной сутугой». Затем, по выражению самого Каина, накладывают ему на шею «монастырские четки», т.е.

вешают на шею стул, заменявший в то время иногда и кандалы, и орудие пытки. Каин чувствует, что попал в западню и при всей своей находчивости «не может более сыскать себе к избавлению способу». Тогда он прибегает к давно испытанному средству, к средству отчаянному, но для Каина все было ни по чем. Он «запел», как сам выражается, «старинную свою песню» — закричал страшное «слово и дело».

Каина тотчас же отправляют в канцелярию полковника Редькина, который командирован был в Макарьев с особым отрядом по сыскным делам. Каина сажают в «каменный мешок», как он выражается, и участь его должна была решиться трагически.

Но у Каина был старый друг — Камчатка. Камчатка узнает о безвыходном положении своего друга и прибегает к тем средствам для освобождения Каина, которые всегда так успешно практиковались удалыми молодцами. Он выводит его из острога. Для этого Камчатка покупает калачи, несет их в острог под видом раздачи милостыни, оделяет калачами всех колодников, а Каину дает два и шепчет ему при этом на своем воровском языке: «Триока калач ела, стромык сверлюк страктирила», т.е. в калаче ключи для отпираания цепи.

Достав ключи, Каин ловко устраивает план побега. Он посылает часового драгуна «купить товару из безумного ряда», т.е. в кабаке за водкой. Выпивает потом «для смелости красулю», идет в «заход», поднимает там доску, отпирает цепной замок и немедленно скрывается из острога. За беглецом наряжается погоня, «токмо, — дополняет Каин, — за случившимся тогда кулачным боем, от той погони я спасся».

Отчаянный вор не только спасается от тюрьмы, но, благодаря своей редкой находчивости, делает новые блистательные победы в среде своей специальности. Преследуемый погонею, он бежит в татарский табун и находит татарского мурзу спящим в своей кибитке. Даже в ту отчаянную минуту Каин не забывает «сшутить шуточку». Он видит, что у спящего мурзы под головою стоит «подголовок». Каин привязывает ногу мурзы к аркану стоящей при кибитке лошади этого спящего татарина, бьет лошадь колом, и испуганная лошадь во всю прыть убегает с привязанным за ногу татаринком. Каин схватывает «подголовок» и находит, что он полон денег. «Неужели татарских денег в Руси брать не будут?» — спрашивает он сам себя и, однако, уносит деньги с собой. Отыскивает товарищей и снова каламбурит на своем воровском языке: «На одной неделе — четверга четыре, а деревенский месяц — с неделей десять». Это значило, что разбойников везде ищет погоня.

Шайка, как настигаемая собаками стая волков, уходит в поле, на простор. Разбойники переправляются через Волгу, входят в Лысково, переменяют на себе платье и неожиданно натываются на партию драгун. Драгуны бросаются ловить разбойников. Шайка рассыпается, но при этом Камчатка успел перекинуться с своим другом рифмованною фразою:

«Я увижусь с тобой на последнем ночлеге,
Как буду ехать в телеге».

Каин бежит на Макарьевскую пристань, переезжает вместе с народом за Волгу, спешит в торговую баню, раздевается, выходит на двор и снова натывается на драгун. Каин обратно вскакивает в баню, связывает свое платье, бросает его под полук, оставляя на себе только одни портки и в costume прародителя бежит на гауптвахту. Там он заявляет караульному офицеру, что у него в бане украли платье, деньги и паспорт. Офицер, видя перед собою нагую фигуру, приказывает прикрыть Каина солдатским плащом и посылает в сыскную канцелярию Редькина. На вопрос Редькина, кто он такой, Каин говорит, что он московский купец, что в бане он ограблен и потерял свой паспорт, выданный ему из московского магистрата. Каина велют допрашивать формально. «Тебе будет, друг, муки фунта два с походом», — т.е. кафтан с камзолом, шепчет Каин допрашивающему его подьячему и приобретает в нем себе друга.

Но Каину угрожает новая опасность. В сыскную канцелярию является тот солдат, у которого из-под часов уже разбежал Каин. «Я согнулся дугой и стал как другой», — говорит о себе Каин. Солдат не узнает его. Не доверяя, однако, Каину, Редькин приказывает спросить торгующих на ярмарке московских купцов, действительно ли Каин принадлежит к их согласию; но и тут подьячий спасает Каина, отыскав между купцами своего приятеля, который и удостоверяет, что знает Каина как московского купца.

Каин опять на свободе, мало того, у него в кармане двухгодовой купеческий билет, выданный ему из сыскной канцелярии. Он едет в Нижний, где ожидает встретить своих товарищей, но, напротив, встречается с своими врагами — драгунами. Те хватают его «за ворот», называют беглым, несмотря на паспорт сыскной канцелярии, и ведут с собою. Воровская находчивость Каина снова спасает его: проходя мимо одного двора и заметив стоящую у ворот кадку с водою, он вырывается из рук драгун, вскакивает на кадку, с кадки на забор, оттуда на двор, в сад, из саду бежит на Сокол-гору, где и находит своих товарищей.

«Спасибо Петру, что сберег сестру», — каламбурит он, здороваясь с товарищами и велит шайке собираться в путь.

Шайка в сборе. К путешествию приготовлены кибитки, словно бы это были настоящие нижегородские купцы, а не воры-разбойники, — и вот шайка двигается в путь.

VII

Возвращение в Москву. — Новые проделки Каина — с мясником, с греком Зефиром и др. — Каина арестуют. — Каин опять на свободе. — Второй поход на Волгу. — Личность Камчатки. Песня о нем. Прошлое Камчатки. — Шайка Каина в Кашине. — Встреча с цыганами. — Значение Шелкового Затона, где пристаёт шайка Каина. — Встреча с понизовою вольницею и атаманом Зарю. — Каин в шайке Зари. Камчатка — есаул. Нападение на завод. — «Грузинский князек». — Пребывание в Керженских лесах.

Каин снова в Москве. Снова начинается ряд воровских походов: подвижная, даровитая, только зло направленная натура Каина требует постоянной деятельности, и неутомимо изобретательный ум дает разнообразную пищу для этой деятельности. В Нижних Садовниках шайка Каина отыскивает какую-то пустую избу, поселяется в ней и в первую же ночь устраивает в своем импровизированном помещении нечто вроде калашного заведения. Для этого делается из «бумаги оконница», а внутри избы, как только настало утро, удалые молодцы начинают тереть камень о камень, чтобы прохожие думали, что в калашном заведении муку мелют. Камчатка насыпает себе голову мукой, чтобы больше быть похожим на калашника, и высовывается в окно. Увидав проходящего мимо избы мужика с мясом, он подзывает его к себе, покупает у него мясо и, сказав продавцу, что сейчас отдаст ему деньги, передает мясо товарищам, и тотчас же все уходит из избы другим ходом. Мясник остается ни с чем. Соскучившись ждать, он входит в избу и никого в ней не находит. Собирается толпа, мясник сообщает прохожим свое горе, и никто не мог объяснить обманутому продавцу:

Люди ль то были,
Иль дьяволы с ним говорили
И говядины решили.

Ясно, что такие проделки делали имя Каина все более и более популярным, потому что народ не могла не поражать эта

неистошима изобретательность бесшабашного мошенника. Изобретательность эта, действительно, была неистошима. После проказы с мясником шайка Каина идет в греческий монастырь и является в келью грека Зефира. Зефир в это время был в церкви, а в келье оставался только работник, к которому воры обратились как бы от имени его хозяина. Они объявляют работнику, что Зефир приказал ему принести в церковь восковых свечей, и, едва лишь он собрался уходить, воры схватили его и допрашивают:

Не украл ли он те свечи,
А ежели пошутил,
Чтоб откинул от сундуков и ключи.

Каин почти везде объясняется рифмованными каламбурами — в этом его сила, его влияние на товарищей и на массу: гипербола и парабола — самые сильные оружия в руках народных коноводов и пророков, и Каин постоянно и везде побеждает всех этим оружием.

Ограбив келью грека Зефира, Каин взял, в числе прочих вещей, два маленьких пистолета, которые и выдали его. После грабежа шайка отправилась в свой временной притон, который в это время находился у суконщика Нагибина, и отдали Нагибину награбленные вещи для хранения. На другой день жившая у Нагибина работница отправляется с пистолетами на Красную площадь, чтобы продать их там, и прямо попадает в руки грека Зефира. Грек торгует у нее пистолеты, ведет ее в греческий монастырь, связывает ее там и представляет в полицию. По ее указанию, полиция окружает дом Нагибина — арестует Каина и товарища его, Жарова.

И вот Каин снова под арестом. Снова идут допросы, запираательства, очные ставки. На очной ставке Каин прибегает к своему спасительному средству — к воровскому жаргону.

— Овин горит, а молотильщики обеда просят, — говорит он своему товарищу. (Это значит, что следует подкупить секретаря и повытчика.)

Каина кладут и секут плетьюми. Жарова выводят на крыльцо. Таинственные слова, брошенные Каином на допросе, спасают Жарова: он бежит, а Каин остается под караулом.

Три недели сидит Каин под стражей. Три недели друг его Камчатка ищет средств спасти своего атамана — и наконец спасает.

К Каину приходит какая-то старуха и говорит ему:

— У Ивана в лавке по два гроша лапти.

— Чай примечай, куда чайки летят, — отвечает Каин.

Его снова берут к допросу. Допрос идет «пристрастный», под плетью. Каин и под плетью объясняется с начальником полиции метафорически:

— Здесь, в полиции, баня дешева, стойка по грошу, лежанка по копейке, — говорит он, намекая на то, что плети слишком легкая баня, которая не в состоянии вызвать у виновного признания.

Каина ведут в тюрьму. Но верный товарищ его, бесшабашный Камчатка, не дремлет: он подкупает караульного вахмистра; бабу-доносицу отпускают в баню, она переодевается и исчезает, а вместе с нею исчезает и возможность уличить Каина в грабеже.

Каина освобождают и отдают на поруки рейтару Нелидову, мужу известной уже нам Дуняши.

Каин снова на свободе, и его вновь тянет на Волгу, к «широкому раздолью».

В этот новый поход Каин берет с собой товарищей — Столяра, Кувая, Лягая, Жузлу и неизменного своего друга и учителя — Камчатку.

Камчатка — это одна из не менее крупных личностей известного пошиба, как и Каин. Как на Каина, так и на Камчатку упал луч бессмертия — это народная память, народное творчество, которое выразилось в прекрасной песне, не умирающей доньине. Вот как плачется эта песня над участью несчастного Ваньки-Каина:

У Троицы — у Сергия было под горою,
Стояла новая темная темница,
Во той ли во новой во темной темнице
Сидел удаленький, добренький молодчик,
Никто к нему не зайдет, не заедет,
Друзья-братья, товарищи все прочь отступились;
Зашла к нему, заехала матушка родная:
«Дитя ль мое, дитятко, дитя мое милое!
Кому тебя, мое дитятко, будет выручати?»
Друзья-братья, товарищи все прочь отступились,
Семь раз я тебя, мое дитятко, выручала,
Семь тысяч чистых денежек издержала,
Осьмой-то у меня тысячи недостало:
Так, знать, тебе, дитятко, здесь век вековати».

Камчатка — такой же микрокосм России XVIII века, микрокосм деморализованного, изворовавшегося и изъеденного нравственною гангреною общества. Камчатка — это народное, уличное «мирское» прозвище, настоящее его имя — Петр Смирной-Закутин. Камчатка — сын бутырского сол-

дата Смирного. Отец Камчатки умирает рано, и мать его выходит замуж за матроса Закутина — и вот у Камчатки является двойная фамилия: Смирной-Закутин. Маленький Камчатка учится на фабрике и рано приобретает все пороки окружающей его среды. Мошенничество доводит его до Сысского приказа и до плетей. Камчатка наконец солдат. Тяжелая солдатская жизнь доводит его до побега из Казани, где стоял их полк; Камчатка пробирается на родину, в Москву, и снова всасывается в омут бесприютного пролетариата; он добывает себе хлеб тяжким трудом, роет землю; снова попадает в руки властей и определяется на фабричную работу. Не выносит Камчатка подневольной жизни и снова бежит, снова начинает свою бесприютную, волчью жизнь. Эта жизнь сводит его с Каином, который был моложе Камчатки на три года. Впоследствии Каин губит своего друга и учителя, но об этом после.

Отправляясь в новый поход, Каин закупает для своей шайки лошадей. Шайка держит путь по Волге, к Кашину. В Кашине шайка живет без дела, вероятно потому, что московские промыслы обеспечили ее материально. Каин так выражается об этом в своей автобиографии:

Жили в том городе более полугоду,
Токмо не учинили ни к кому походу.

Из Кашина шайка идет к Фролищевой пустыни. На дороге встречается цыганский табор, и Каин снова пускает в ход свою удалую изобретательность. Вот, по словам Каина, что они сделали с цыганами:

Одного сотника их с кибиткой украли,
Отъехавши несколько, того цыгана связали,
А пожитки его себе взяли.

Бросив потом ограбленного цыганского сотника, удалые молодцы едут вниз по Волге, в урочище, лежащее ниже Макарья, —

Что слывет Шелковый Затон,
Где вора́м был не малый притон.

Затон представлял удобное место для грабежа плывущих по Волге судов. Из Затона добрые молодцы едут к Макарью для покупки съестных припасов и по дороге снова «шутят» свои молодецкие «шуточки»; увидав на макарьевском лугу «незнаемо какого звания шесть человек спящих»,

У коих что было отобрали,
Чтоб впредь так крепко не спали.

У Макарья, в «песочном кабаке», Каин сталкивается с настоящей понизовой вольницей, с шайкой добрых молодцов в семьдесят человек, под предводительством атамана Михаила Зари. Шайка Каина сливается с шайкой Зари, и с этой минуты Каин из горожанина превращается в поволжского разбойника. Он меняет ремесло вора на ремесло вольного казака и даже, по примеру прочих товарищей шайки, называет себя «донским казаком».

Шайка вооружается: закупаются ружья и порох. Выбравшись из города, удалые молодцы разделяются на три отряда или, по казацкому выражению, на три «круга». Во всех трех кругах было до ста молодцов. Первое нападение делается на один из винных заводов. Остановившись вблизи завода, разбойники расселись по кругам и стали варить себе кашу, а для рекогносцировки послали на завод «огневщика». Посланный не возвратился. После оказалось, что его поймали на заводе как подозрительную личность и привязали к столбу.

Атаман командует на завод своего есаула, которым избран был Камчатка. Отправляя этого нового посланника, атаман приказывает ему, в случае какого-нибудь несчастья, подать сигнал шайке. Камчатка является на завод, спрашивает заводских людей — для чего они без резону к столбу вяжут? Начальник завода или «наибольший», как его называет Каин, увидев Камчатку «с голдарей», велит и его привязать к столбу. Камчатка дает шайке сигнал — свищет:

Атаман, услыша, закричал,
Чтоб к ружью скоро бросались
И на завод метались;
Тотчас ружья и сабли похватали
И на тот завод побежали.

Шайка быстро овладевает заводом, захватывает заводских людей в «солодовом амбаре» и запирает их там.

Между тем «наибольший» завода приказывает стрелять по разбойникам из ружей, а потом, видя безуспешность сопротивления, запирается в своих покоях. Разбойники берут бревно и, словно тараном, разбивают двери «в щепы» и входят в дом. У «наибольшего» в это время был какой-то «князек», который, защищаясь от разбойников, «задел по шее нашего огневщика саблей», как выражается Каин. Разбойники схватывают «князька», запирают в «заход», говоря при этом: «Тебе опосля будет». Атаман, увидев у «наибольшего» на кафтане звезду, обращается к нему с обыкновенной разбойничьей метафорической речью:

Честь твоя с тобой,
А теперь попал в мои руки, то разделийся со мной,
Торг яма — стой прямо.
Видя яму, не вались, а с ворами не водись,
Незван в пир не ходи.

Разбойники милостиво разделяются с начальником завода и лично его не трогают, а берут только то, что им нужно:

Взяли у него денег без счету,
А посуды без весу,
Которые отослали к лесу.

Князька выводят из заключения и допрашивают, оказывается, что это был «знатный грузинский князь». Отсюда шайка направляется в Керженский лес. Керженец — это, можно сказать, исторический притон всего, что укрывается от «недреманного ока» правительства, от полицейских и судебных властей. В Керженце всегда находили приют раскольники. Керженец служит этим «асylum» для раскола по настоящее время, и Керженец же, с его раскольничьими общинами и их таинственными проделками, дал богатое содержание для известного романа П. И. Мельникова (Андрея Печерского), под заглавием «В лесах». Что делала шайка в Керженских лесах — неизвестно; в автобиографии Ваньки Каина сказано только, что они, «избрав там место, стояли с месяц».

VIII

Возвращение на Волгу. Посещение села Работок, вотчины генерала Шубина, любимца императрицы Елизаветы Петровны. — Переезд через Оку. — Возвращение в Москву. — Новый поход на Волгу. — Нападение на имение Шубина. — Погоня. — Бегство к Мурому. — Возвращение к Избыльцу. — Нападение на армянское судно на р. Суре. — Поимка татарских лошадей. — Возвращение в Москву.

Но Волга, с ее раздольем и идущими по ней караванами, должна была привлекать разбойников больше, чем Керженские лесные чащи. Из Керженца шайка идет на Волгу, в село Работки. Село это, с которым соединено имя Ваньки Каина, около этого времени получило историческое значение. Всем известна любовь императрицы Елизаветы Петровны к Шубину, который пользовался ее расположением, когда Елизавета Петровна была еще великой княгиней. Известно также,

что за эту привязанность к Шубину высокой особы он, простой сержант гвардии, о котором княжна Юсупова на допросе говорила, «что-де был в гвардии сержант Шубин и собою-де хорош и пригож был, а потом-де имелся у государыни-цесаревны ездовым, послан-де в ссылку»; что по воцарении Елизаветы он из ссылки был возвращен и ему пожалованы были разные вотчины, в том числе село Работки, где бывший любимец императрицы и проживал до самой смерти. Известно, наконец, что императрица, прощаясь с своим любимцем, благословила его образом Спасителя и частью ризы Господней, и что сокровища эти до сих пор хранятся в Работках, в местной приходской церкви.

В это-то историческое село является шайка Ваньки Каина из Керженца. Управитель села спрашивает их, что за люди? Каин отвечает, с свойственной ему находчивостью:

Мы донские казаки,
А как увидим деньги, то не подержат их никакие замки.

Уезжая из Работок, разбойники спрашивают случившегося там калмыка, кому принадлежит это село. Получив ответ, что село принадлежит генералу Шубину, разбойники своей воровскою речью дают понять, что они еще навещают вотчину Шубина: «Неужели у него летней одежды нет, а всегда ходит в шубе? Вот будут к вам портные для шитья летних кафтанов».

Из Работок шайка направляется на Оку, к Лосенскому перевозу. Переезжая на пароме через реку, разбойники встречают неизвестного офицера, который спрашивает их, что за люди? Атаман шайки, сойдя с своими товарищами на берег, отвечает офицеру:

— Ты спрашивал нас на воде, а мы спрашиваем тебя на земле: лучше бы ты в деревне жил да овины жег, а не проезжающих спрашивал.

И тотчас же приказывает отобрать у офицера шарф, «знак» и шпагу, а взамен этого дает ему несколько денег.

С Оки шайка отправляется снова в Москву, делится на две партии и располагается по постоянным дворам в Ямской Переславской слободе.

Здесь разбойники живут более полугода и постоянно спрашивают всех приезжающих, не скажется ли кто принадлежащим генералу Шубину. Наконец они находят такого, который называет себя его служителем и притом объявляет, что Шубин наезжает в свою вотчину каждое лето. Это-то и нужно добрым молодцам. Дождавшись весны, они опять пред-

принимают экспедицию на Волгу. Атаман отправляет Ваньку Каина вперед с двумя товарищами, с тем чтобы они ехали в село Избылец на рекогносцировку — осмотрели всю местность и выбрали убежище для притона шайки.

Уходя с товарищами из Москвы, Каин у Лефортовой слободы встречается с двумя неизвестными прохожими, которые ведут женщину, с головою и лицом обернутыми простынею по самую шею, а один идет впереди с мешком.

— Кого ведете? — спрашивает друг Каина Камчатка.

— Ведем бабушку на повой, — отвечают незнакомцы.

— Видно, что в воду головой, — каламбурит Каин.

Прохожих останавливают и осматривают «бабушку». Завязывается ссора. Один из прохожих выхватывает нож, но его удерживают от удара¹. Другой товарищ его, бросив «бабушку», убегает в лес. Прохожего и «бабушку» везут в Лефортово и отдают «у рогатки часовым». Оказывается, что «бабушка» была «девка дому господина Лихарева». Ее сманили прохожие, чтобы, спрятав в мешок, утопить.

Что за ужасное время! Что за ужасные люди! Исполняя поручение атамана, Каин идет с товарищами по владимирской дороге и приходит в село Избылец. Там он находит одного знакомого мужика, с помощью его изготавливает четыре лодки и ожидает прибытия остальной «артели». Артель является, и добрые молодцы едут Волгою к Работкам. Там застают они «торг», но самого Шубина не застают: он на охоте. Добрые молодцы ставят караулы у домов управляющего и приказчика, входят в дом Шубина, берут деньги и пожитки и, взяв с собою управителя и приказчика да захватив, кстати уже, знакомого им калмыка, снова садятся в лодки и выезжают из Работок. За ними посылается погоня. Добрые молодцы приказывают управителю и приказчику остановить погоню: несчастные жертвы кричат, чтобы прекратили погоню, и народ останавливается. Добрые молодцы едут далее и выбрасывают своих пленников на берег, предварительно связав их.

По всему берегу, по обеим сторонам Волги, распространяется тревога. По селам бьют в набат. За добрыми молодцами посылается команда из отряда Редькина. Разбойники бросают лодки, забирают с собою часть пожитков и скрываются в лесах. Пробираясь лесами в течение трех суток, они доходят до Мурома и дают там себе двухдневный роздых. Весть о разбойниках доходит до Мурома, и добрые молодцы снова направляются к Избыльцу, где оставлены были их ло-

¹ Камчатка бьет его «гостинцем», т.е. кистенем.

шади. В Избыльце они посылают разведчиков к знакомому мужику и узнают от него, что для поимки разбойников в кабаке оставлены пять человек солдат и с ними бургомистр.

Добрые молодцы окружают кабак и кричат:

— Шашть на кабак!
Дома ли чумак?
Верит ли на деньги?
Дает ли в долг?

— Когда мас на хас, так и дульяс погас! — кричит атаман. (Это значит — «никто не шевелись!»)

Добрые молодцы распоряжаются в кабаке как дома: бражничают, пьют вино и пиво.

Затем садятся на лошадей и едут к Гороховцу. Атаман приказывает избрать место для роздыха, и местом этим избирают село Языково на реке Суре, где шайка и живет месяца с три в «смирном образе».

Но долго не приходится добрым молодцам жить в «смирном образе». На Суре стоит торговое армянское судно. Надо его пощупать. Добрые молодцы бросаются к судну. Хозяин приказывает стрелять по разбойникам из ружей. «Только тем спасения себе никакого не получил», — объясняет в своем рассказе Каин. Добрые молодцы взбираются на судно. Испуганный хозяин прячется и велит заложить себя товарами; но водолив указывает разбойникам, где спрятан хозяин, и его вытаскивают, обыскивают и допрашивают.

Не найдя у своей жертвы денег, добрые молодцы перевязывают купца поперек тонкой бечевкой и, схватив за руки и за ноги, бросают в Суру, придерживая за бечеву, чтобы тот не утонул. Помучив в воде, несчастного снова вытаскивают на судно и начинают пытать. Для того вздувают «виногор» (огонь), чтобы «сушить», т.е. жечь купца. Пытка развязывает язык пленнику, и он отдает разбойникам деньги, пожитки и часть товаров.

Из Языкова шайка идет на село Барятино. Там добрые молодцы узнают, что за ними выслана погоня, и потому поворачивают к реке Пьяной, в татарские и мордовские селения. В одном селе они заходят к татарскому «Абызу», берут у него лошадей, едут к монастырю Боголюбову, что около Владимира. В монастыре добрые молодцы живут с неделю, на «знакомом дворе» — у них везде знакомые, везде притон и приют! Таково было время...

Из Боголюбова Каина командируют в Москву для прискания квартиры. Каин едет с Камчаткой. В Москве они останавливаются в Кожевниках. Камчатка идет на парусную

фабрику, так как он на службе был матрос, а Каин едет в Ямскую Рогожскую, где и живет у знакомого ямщика до осени.

IX

Перелом в жизни Каина (1741 г.). — Каин является к князю Крапоткину и подает в сыскной приказ челобитную о назначении его «сыщиком». — Челобитная Каина. — Каин с командою отправляется ловить воров и разбойников. — Результаты ловли.

В это время совершается крупный перелом в жизни Каина — перелом, по-видимому, необъяснимый, но, по нашему мнению, совершенно естественный, с исторической точки зрения. Не надо забывать, что это было за ужасное время, в которое жили такие личности, как Каин.

Выше мы говорили, что Каин был истинное дитя своей исторической эпохи и своего общества: служить, грабить, воровать, доносить и дослуживаться до высоких степеней — это были синонимы в каиновское время. Служил, грабил, воровал и доносил Меншиков; служил, грабил и доносил Монс — все служили, грабили и доносили. Каин, дитя своего века, решается идти по стопам других государственных деятелей и поступает в сыщики и доносчики, не бросив в то же время профессии мошенника, вора и разбойника.

«Это было в 1741 году, — говорит Г. В. Есипов в своей богатой архивными данными монографии о Ваньке Каине. — Что делал Ванька до рождественских праздников — осталось неизвестно; но в это время внутреннее ли сознание порочной прошедшей жизни привело его к раскаянию и возбудило в нем желание быть полезным обществу, или он обдумал и решил привести в исполнение особенный способ мошенничать и воровать, только, побуждаемый той или другой причиной, он явился 27 декабря 1741 года в сыскной приказ и предложил себя в сыщики»¹.

Мы полагаем, что наше объяснение правильнее. Сам Каин так говорит об этом переломе в своей жизни: «При том (т.е. осенью 1741 г.) ходил по Москве и проведывал воров и разбойников, где то пристанище имеет, потому что в то время для покупки ружей, пороху и других снарядов в Москву мно-

¹ П. Бартенева, «Осьмнадцатый век» кн. III, 302.

гие партии приезжают, а как о многих сведал, то вздумал о себе, где подлежало, объявить, а помянутых воров переловить. Идучи по дороге из той Рогожской в город, спросил идущих: «кто в Москве набольший командир», коего искать мне велели в сенате. Почему я к сенату пришел, в который в то же время приехал князь Крапоткин, коему подал я приготовленную мною записку, и в ней было написано, что я имею до сената некоторое дело, и хотя от меня та записка и взята была, однако резолюции по ней никакой не получил. По случаю, пришел я на двор того князя и, оставаясь у крыльца, ожидал его. Тогда вышел из покоев его адъютант, которого я просил объявления о себе князю, но адъютант столкнул меня со двора. Однако, не хотя я так оставить, пошел по близости того двора в кабак, в коем для смелости выпил вина и обратно в тот же князя Крапоткина дом пришел. Взошел в сени, где тот же адъютант попал мне навстречу, и я объявил за собою важность, почему приведен был перед того князя, который спрашивал о причине моей важности, и я сказал, что я вор и притом знаю других воров и разбойников не только в Москве, но и в других городах. Тогда князь приказал дать мне чарку водки, и в тот же час надет на меня был солдатский плащ, в коем отвезли меня в сыскной приказ, из которого, как настала ночь, при конвое, для сыску тех людей отправлен я был».

Между тем в статье г. Есипова приведен самый текст челобитной, поданной Каином на высочайшее имя в сыскной приказ, с пояснением мотивов мнимого раскаяния Ваньки. Вот эта челобитная:

«Вначале, как Всемогущему Богу, так и вашему императорскому величеству, повинную я сим о себе доношением приношу, что я забыл страх Божий и смертный час и впал в немалое прегрешение. Будучи в Москве и в прочих городах во многих прошедших годах, мошенничал денно и ночью; будучи в церквах и в разных местах, у господ и у приказных людей, у купцов и всякого звания у людей из карманов деньги, платки всякие, кошельки, часы, ножи и прочее вынимал.

А ныне я от оных непорядочных своих поступков, запятовав страх Божий и смертный час, и уничтожил, и желаю запретить ныне и впредь, как мне, так и товарищам моим, которые со мною в тех погрешениях обще были, а кто именно товарищи и какого звания и чина люди, того я не знаю, и имена их объявляю при сем в реестре.

По сему моему всемирному перед Богом и вашим императорским величеством покаянию от того прегрешения пре-

стал, и товарищи мои, которых имена значат ниже сего в реестре, не только что мошенничают и из карманов деньги и прочее вынимают, но я уже уведомлял, это и вяще воруют и ездят по улицам и по разным местам, всяких чинов людей грабят и платя и прочее снимают, которых я желаю ныне искоренить, дабы в Москве мои товарищи вышеописанных продерзостей не чинили, а я — какого чина человек и товарищи мои и где и за кем в подушном окладе не писаны, о том всяк покажет о себе сам.

И дабы высочайшим вашего императорского величества указом повелено было сие мое доношение в сыскном приказе принять, а для сыску и поимки означенных моих товарищей по реестру дать конвой, сколько надлежит, дабы оные мои товарищи впредь, как господам офицерам, и приказным, и купцам и всякого чина людям таких продерзостей и грабежа не чинили, а паче всего опасен я, чтобы от оных моих товарищей не учинилось смертоубийства, и в том бы мне от того не пострадати»¹.

К челобитной приложен был реестр, в котором поименовано тридцать два мошенника, и в том числе друг Каина — Петр Камчатка.

В сыскном приказе у Каина снимают допрос. Здесь он рассказывает о своем происхождении, о побеге от помещика, о первых своих воровских похождениях в Москве; рассказывает, что для тех же целей четыре раза был на Макарьевской ярмарке, пять раз в Троицко-Сергиевской лавре, два раза в Дмитрове, затем в Кашине, Устюжне, Гороховце, Вязниках, в Нижнем Новгороде и во Владимире. Но при этом показывает, что «на разбоях нигде не бывал и убийств не чинивал». Ясно, что он обманывал сыскной приказ и что цель его была мнимым раскаянием сделать себе блестящую карьеру, не останавливаясь ни перед какими средствами.

И вот, для Каина начинается новая жизнь. В тот же день, 27 декабря, сыскной приказ дает Каину четырнадцать человек солдат и подьячего Петра Донского. Каин — лицо официальное! Он становится грозой для своих прежних товарищей. Сыскной приказ, отправляя его в экспедицию, запрещает только входить «в знатные господские дома».

В первую же ночь Каину приходится немало поработать. Он ведет команду в Зарядье, в тот темный и грязный угол в Китай-городе, где и теперь, говорят, не совсем безопасно ходить одному ночью.

¹ Есипов, 303.

Здесь, в Зарядье, у Москворецких ворот, в доме протопопа (вот в каких домах были притоны!) забирают до двадцати человек воров, вместе с головою их, Яковом Зуевым.

В Зарядье же, в доме ружейного мастера, берут Николая Пиву с товарищами, всего пятнадцать человек.

Близ порохового цейхгауза, в доме дьякона, забирают воров и мошенников до сорока пяти человек.

За Москвою-рекой, в татарских банях, хватают шестнадцать беглых солдат и при них ружья и порох. Эта шайка собиралась идти в Сыромятники — грабить надсмотрщика Абрама Худякова.

Против устья реки Яузы, на стругу, забирают семь человек бурлаков с воровскими паспортами.

Вместе с ворами и разбойниками забирают их хозяев мужчин и женщин, до двадцати человек.

На этом не кончается первая ночная экспедиция. Возвращаясь с поиска, Каин, у самых Москворецких ворот, велит подьячему и солдатам идти к отверстию в берегу или, как тогда называли, к «печуре». Это было тоже воровское гнездо. В «печуре» находят какого-то человека, в лохмотьях, бледного, худого. На плечах у неизвестного накинута нагольный тулуп. Он сидит на земле, а перед ним, на скамье, лежит какая-то бумага: нищий, при свете зажженной лучины, что-то пишет.

— Берите его! — кричит Каин солдатам.

— Эх, Ванька, грех тебе! — говорит обитатель «печуры».

Этот нищий — старый товарищ Каина, беглый солдат Алексей Соловьев. У него страсть вести ежедневно журнал своей воровской деятельности — вот странная жажда бессмертия! Если Цезарь вел свой журнал «De bello galico» или о походах в Германию, то отчего бы товарищу Ваньки Каина не вести своего журнала? Ведь ремесло того и другого — борьба за права человеческие, различно понимаемые людьми.

В записках нового московского Цезаря значилось: «В понедельник взято в всесвятской бане в вечеру 7 гривен... в четверг 50 коп., штаны васильковые; в кузнецкой бане взял в четверг рубаху тафтяную, штаны, камзол китайчатый, крест серебряный, на кожаном мосту 16 алтын...» Таковы «комментарии» московского Цезаря, беглого солдата Соловьева. В «комментариях» находят список мошенников, и между ними значатся Ванька Каин и Камчатка! «Кто знает, — говорит Есипов, — может быть, этот список был подготовлен Соловьевым для доноса, может быть, Ванька, проведав об этом и спасая себя, поспешил выдать своих товарищей».

Но в «печуре» еще кто-то шевелится на полотах.

— Берите уж и Степана, кстати! — кричит Каин солдатам.

С полатей стаскивают человека лет сорока, в одной рубахе, и присоединяют к остальным пленникам.

И вот, невообразимый кортеж перевязанного разнокалиберного народа, окруженный солдатами и предводительствуемый Каином и подьячим Донским, направляется к сыскному приказу. Толпа состоит почти из полутораста человек.

Х

Характеристика арестованных. Захват фальшивых монетчиков. — Поимка шаек атаманов Камазаева и Медведя, Бухтея, Лукьянова, Лебедя и других партий. — Песня «Жалоба на Ивана — Ваньку Каинова».

Г. Есипов прекрасно характеризует эту толпу, на другой день представленную Каином перед присутствующими в сыскном приказе.

«Какой все это был сброд! — говорит он. — Вот купеческий сынок Иван Елисеев Буланов; он остался в малых годах сиротою, не знал, чем кормиться, пошел в солдаты, но не выдержал и двух лет: бежал и приютился в общество мошенников. Ему только еще шестнадцать лет, но за расторопность получил прозвание хорь, хорька.

...Вот еще мальчишка четырнадцати лет, Иван Михайлов, тоже купеческий сын, остался после отца малолетним. Был у него старший брат: они кормились вместе, работая женские серьги, медные и железные; умирает брат, оставляя его без помощи. К счастью, ратуша пришла на помощь: за неплатеж подушных, двенадцатилетнего Ивана посадили в тюрьму; по крайней мере, ходя на цепи с колодниками по улицам, для мирского подаяния, хоть как-нибудь и чем-нибудь кормился бедный мальчишка. Продержали его два года и выпустили. Куда деваться? Судьба натолкнула его на Красной площади на слепого, который нанял Ивашку водить себя. Оказалось, что у слепого Андрея Обухова был сбор мошенников. Ивашка получил должность вожатого и выучился воровству.

...Вот еще мальчик четырнадцати лет — Леонтий Васильев Юдин, сын матроса; отец умер давно; Левку отдали в гарнизонную школу у Варварских ворот. Эта школа была рассадником мальчишек-воришек. Присмотр был плохой,

Красная площадь и Крестцы под боком — мальчишки вместо учения убегали на площадь и тут знакомились с другими мальчишками, пособниками взрослых мошенников; они получали за ловкость награждение, бросали учение и наконец делались полными мошенниками. Мальчишки эти пробивались во всякой толпе и, пользуясь теснотой, вынимали вещи и деньги из карманов и тут же, за пряники и орехи, сбывали краденое бабам и торгашам площадным. Особенно благоприятны для них были крестные ходы; в эти дни в толпе особенно являлось много мальчишек-мошенников — Варварской гарнизонной школы. Между ними были свои учителя, обучавшие, например, как воровать из карманов; они показывали ученикам своим, тут же, с какой ловкостью надо это делать: вынимали у проходящего из кармана табакерку, нюхали табак и клали ее опять назад в карман проходящему, а этот шел, ничего не замечая¹.

Но не все из захваченных оказываются детьми. Тут есть старые, закаленные в боях «дельцы» того ужасного времени, когда люди превращались в зверей, и это превращение шло от боярских и княжеских палат по нисходящей линии до нищенских трупп и «печур». Захваченный в «печуре» Степан оказывается Степаном Болховитиновым. Он уже не раз был пытан в сыском приказе. Одна баба также была не один раз под кнутом. Тут уже были и прежние друзья Каина, гулявшие с ним на Волге: Тимофей Чигов, беглый солдат Жузла, Куваев, Криворотов, Семенников, по прозвищу Голый.

Сенат прощает Каину его прежние преступления, назначает его официальным сыщиком и в бумагах называет «доносителем Иваном Каином». Каину выдается особый указ или открытый лист для ловли преступников. В помощь ему дается особая команда. Во все административные учреждения, в военную и в полицмейстерскую канцелярии, в сыской приказ и в подлежащие команды посылаются «для ведома и вспоможения указы».

Сделавшись официальным лицом, Каин нанимает себе особый дом в Зарядье, близ Мытного двора. Там же, в особом флигеле, он устраивает покой для отдыха — биллиард, «зернь и прочие разные игры».

Каждый день Каин, тайно вспомоществуемый своею командою, ходит по московским площадям и церквам, по торговым рядам и ловит крупную и мелкую вороватую птицу. Он забирается во все труппы, не дает вора́м покоя и в окрестностях Москвы.

¹ Есипов, 306.

В Мещанской берет «денежных мастеров» (фальшивых монетчиков), Якима Холщевникова с шестнадцатью товарищами, забирает их «воровские» деньги и все это сдает в сыскной приказ.

В сорока верстах от Москвы, в дворцовом селе, разбойники грабят старосту, и дворцовая канцелярия предписывает Каину найти грабителей. Каин через несколько дней хватается у Яузских ворот пьяного человека, находит у него четыре фальшивых паспорта и несколько денег и ведет в свой дом. Проспавшийся незнакомец, обманутый ласковыми словами и обещаниями Каина, объявляет, что он принадлежит к шайке, ограбившей дворцовое село, и что товарищи его живут около Покровского монастыря. Каин отправляется туда с командой и захватывает огромную шайку разбойников — в сорок девять человек, с двумя атаманами, Камазаевым и Медведем. Отбирает у них деньги и пожитки, а самих их сдает в приказ. Добрые молодцы вмятятся во многих воровствах и смертных убийствах. Один из них, Савелий Вьюшкин, показывает, что «он бывал во многих партиях до семидесяти разбоев, а смертных убийств учинил сколько числом — того по множеству не упомнит».

Каково время и каковы люди! Поневоле вспоминается при этом рассказ Горбунова о курах...

Затем Каин захватывает разбойничью шайку атамана Михаила Бухтея, и с ним товарищей семьдесят два человека. Добрые молодцы вмятятся в том, что разбили Колотсков монастырь, чинили во многих местах воровства, разбои и смертные убийства...

В Покровском селе, в банях, Каин берет тридцать пять человек разбойников. Эти вмятятся в «разбитии» кашинского помещика Мелистина и во многих других воровствах и разбоях.

Около Васильевского сада захватывает фабричного Андрея Скоробогатого с товарищами — семнадцать человек. Это фальшивые монетчики.

В Тверской Ямской слободе берет вора с образом. Вор вмятятся в том, что обокрал церковь в Старице.

Берет воров — Алексея Журку с товарищами — четырнадцать человек.

Вновь берет четырнадцать человек воров. Эти вмятятся в краже из сибирского приказа казенной рухляди и во многих других воровствах. Из них пять человек казнят смертью.

Берет девять человек, а потом еще пять. Эти вмятятся во многих преступлениях, между прочим, в уводе из Девичьего монастыря монастырской старицы...

В Ямской Дорогомиловской арестует пятьдесят семь человек разбойников, вместе с атаманом Алексеем Лукояновым. Винятся во многих воровствах, разбоях и убийствах.

Арестует на Ордынке атамана Лебеда с шайкою. Берет вора Замчалку с товарищами. Винятся в краже у компанейщика Демидова 5000 рублей.

Берет петербургского вора, обокравшего милютинские лавки, и, по его показанию, арестует других мошенников, виновившихся в воровствах, разбоях и «из разных мест из-под караула в утечках».

Еще берет восемнадцать человек, затем сорок человек. Эти последние оговаривают еще 170 человек.

Ведь это повальное воровство! Грабежом, воровством и убийствами дышит это ужасное общество. Таков был весь строй жизни, и нельзя не удивляться, что бедная Россия до сих пор еще несет на себе тяжесть общественных прегрешений своего невеселого прошлого.

Как отголосок этого прошлого, по настоящее время звучит в устах народа прекрасная, в высокой степени стройная по своему складу песня, связанная с именем Ваньки Каина.

Вот что говорит эта песня:

Ах, тошным-то мне, доброму молодцу, тошнехонько,
Что грустным-то мне, доброму молодцу, грустнехонько,
Мне да ни пить-то, ни есть, доброму молодцу, не хочется!
Мне сахарная сладкая яства, братцы, на ум нейдет;
Мне московское сильное царство с ума нейдет.
Побывал бы я, добрый молодец, в каменной Москве,
Только лих-то на нас, добрых молодцев, новой сыщичек,
Он по имени, по прозвищу Иван Каинов:
Он не даст нам, добрым молодцам, появиться,
И он спрашивает паспортов все печатные,
А у нас, братцы, паспорта своеручные,
Своеручные, паспорта — все фальшивые!

XI

Каин замышляет новый план жизни. — Женильба Каина: арестование гордой невесты, наказание ее кнутом, лечение, «воровское» венчание. — Брачный пир — угощение купцов горохом. — Забавы Каина: «Каинова гора» с игрою о царе Соломоне».

Но эта слава, которую приобрел Ванька Каин между удалыми добрыми молодцами, не удовлетворяла его. Трудовая жизнь сыщика не приносила ему никаких материальных вы-

год. Правда, сыскной приказ ценит таланты своего сыщика: в поощрение Каина, ему выдают 5 рублей награды. Но эта ничтожная сумма могла только раздражить бывшего разбойника, которому нипочем было захватывать у своих жертв сотни и тысячи рублей.

Два года терпит Каин это положение и наконец решается напомнить начальству о своих заслугах. Он обращается в сыскной приказ с просьбой (в ноябре 1743 г.), в которой говорит, что «поймал он разбойника Якова Иванова», что «Иванов дал ему 15 рублей, чтобы он его выпустил, но он, Каин, не хотя корыстоваться, привел его и деньги 15 рублей отдал в сыском приказе» и что «теперь он, Каин, для пропитания забрал по разным харчевням всякого харча и хлеба на 12 р. 40 к. и потому просит сыскной приказ, чтобы ему дали денег на расплату долгов и вперед на пропитание.

Но, к удивлению, сыскной приказ отказывает Каину в награде.

Этот отказ, говорит г. Есипов, заставляет его перейти на другую дорогу, хотя и опасную, но более выгодную. Он обдумывает свое положение: ежедневно ходит он с солдатами по улицам и площадям, ловит мошенников, разбойников и беглых, выдает своих товарищей и друзей, подвергается иногда побоям — и какая же награда? Даже 12 р. 40 к., затраченных на эти служебные поиски, — тех не выдали! Может быть, это происходило оттого, что Ванька Каин не доставлял хлеба подьячим. Ванька задумался. Пройдя через огонь и воду, с головою свежую, с знанием современного народного быта, сметливый, молодой (ему было тогда всего только 25 лет!), он обсудил свое положение и принялся вырабатывать его так, чтобы оно было и почетно, и выгодно.

Эту новую эпоху своей богатой приключениями жизни Каин начинает с того, что женится.

Женитьба эта совершается так же разбойным образом, как и все, что ни делал Ванька Каин.

Близ его квартиры, когда он еще не был сыщиком, жил отставной сержант, у которого была дочка Арина, по батюшке Ивановна¹. Каин был знаком с отцом девушки, а с нею, как он сам выражается, «захотел жити еще поближе». Начинается ухаживание. Каин дарит ее подарками и за эти подарки, как говорится в автобиографии Каина, «попросил у ней нечево, токмо оног от нее получить не мог, кроме

¹ Г.Есипов называл ее солдатскою вдовою, женкою Ариною Ивановною.

как обходились на одних разговорах». Девушка, вероятно, не решалась связать свою судьбу с человеком, ремесло которого ей было, конечно, не безызвестно. Поэтому она и спрашивает своего любезного — какой он человек?

Каин, по обыкновению, отвечает прибаутками:

— Я купец, где что ни увижу, то куплю,
А ежели увижу дешевое, то и ночь не сплю.

Сделавшись сыщиком, Каин возобновляет ухаживания за гордой красавицей. Узнав, что она «имеет охоту идти замуж», Каин приходит к ней и говорит, чтобы она, кроме него, ни за кого не выходила. Но девушка и тут отказала наотрез: о замужестве ее с Каином она «и слышать не хотела, и думать ему о том не велела».

Каин отправляется в сыскной приказ и подговаривает содержащегося там фальшивого монетчика Андрея Скоробогатого, того самого, которого он же поймал, на допросе оговорить гордую невесту, будто бы и она знала прежде о делании фальшивых денег, но не донесла о том. Арину берут в приказ, допрашивают «под жестоким битьем плетьюми», но девушка ничего показать все-таки не может, потому что ничего не знает.

Тогда Каин подсылает к ней одну женщину и велит сказать, если девушка пойдет за него замуж, ее тотчас отпустят на волю. Девушка и тут остается непреклонна. И вот Каин пугает ее пыткой. Девушка не выдерживает и соглашается на все. Каин просит начальство не пытать его невесту, а только наказать кнутом и выпустить на волю, потому-де, что «сколоченная посуда два века живет».

Девушку отдают Каину на поруки «с распискою». Он вручает ее знакомой просвиrne «для излечения», а по излечении назначает день свадьбы.

Но и брачное торжество не может совершиться без разбоя.

Жених и невеста в церкви. Приходит священник. Каин подает ему «венечную память». Оказывается, что «память» фальшивая: Каин сам себе написал ее! Священник отказывается венчать вора и уходит из церкви. Первый раз в жизни Каину становится «стыдно», потому что в церкви много народу — всем хочется посмотреть свадьбу знаменитого Каина, начальника сыскной команды.

Но Каин всегда отличался находчивостью — находчивость не покидает его и тут. Он тотчас же из церкви посылает свою команду «для сыску идущего по улице какого-нибудь священника». Священника ловят, приводят в церковь и обряд венчания совершен!

Пирует Ванька Каин на своей свадьбе — и опять-таки пирует, как удалой добрый молодец. Он высылает на улицу свою команду и велит хватать всех мимо идущих купцов. Команда набирает таких невольных гостей сорок человек и ставит их на дворе Каина. Каин приказывает молодой своей жене насыпать мешок гороху, и с этим свадебным угощением новобрачные выходят к гостям. Купцам подносят на тарелке гороху, и бедные гости должны откупаться от слишком жесткого лакомства...

«Многочисленные похождения, проделки и деяния Каина, частью записанные, частью доселе ходящие в рассказах между народом, таковы, — говорит г. Бессонов, — что обличают в нем не просто обычного вора, мошенника или разбойника, напротив — своего рода артиста, который соединял в себе все эти качества до высшей наглости и дерзости, совмещал в себе и известного чиновника на службе, и весьма народного человека, но ко всему относился с величайшей, ему только свойственной виртуозностью. Он руководился и здесь народным обычаем, обставлял все это обрядностью, от века сложившеюся, украшал красными словами, поговорками и пословицами, разыгрывал песнею. Понятно, что, при всем отвращении, и сам народ относился к нему с невольным любопытством и удивлением: это отношение уцелело в памяти, рассказах, песнях»¹.

Ясно, что такая личность не могла ограничить свое брачное торжество одним кормлением купцов горохом. Каин ищет популярности, шума, народного говора. После свадьбы он устраивает около Мытного двора масленичные горы, которые обессмертили имя Каина в народе и с этой стороны: урочище, где было устроено Каином народное торжество, и до сих пор называется «Каиновой горой».

Каин устроенную им гору украшает елками «болванами» (украшения в виде истуканов) и красным сукном. Всю масленичную неделю народ катается с Каиновой горы.

В последний день масленицы Каин собирает до тридцати человек комедиантов и велит им представить народу «игру о царе Соломоне», что и исполняется «двумя шутами». «Игра о царе Соломоне» — это очень древнее народное представление, перешедшее в русский народ вместе с прежним творчеством романских народов.

Игра заключается в том, что у царя Соломона некий враг Морольф или Морольт крадет жену, а потом Соломон сам ворует жену у другого царя, и т.д. Соломона и Морольфа изо-

¹ «Восемнадцатый век в русских народных песнях после Петра I», стр. 49.

бражают «два шута». Вместо жены у Соломона «нарочно» воруют деньги. Вора-Морольфа ловят. Морольфа изображает «суконщик», нанятый для этого случая Каином. Вора приговаривают к наказанию. Его раздевают, а потом надевают на него деревенскую шапку, на шею галстук, на руки большие рукавицы, к спине привязывают маленького медведя (вероятно, шкуру медведя, как объясняет г. Бессонов) и ведут «сквозь строй» — сквозь ряды двухсот зрителей, вооруженных метлами. При этом бьют в барабан. Экзекуцией заправляет некий «майор» (шуточный, конечно), который ездит по рядам верхом на лошади и понуждает вооруженных метлами зрителей бить по спине суконщика. Его проводят по рядам шесть раз, «избивают до крови»... Народ хохочет — ведь так весело, когда кого-нибудь «избивают до крови»!.. Это такое народное зрелище... История и сама приучила народ к этим зрелищам... Но «суконщику» это нипочем — к розгам не привыкать стать. Зато и получает от Каина «рубль денег» и новую шубу.

XII

Описание дома Каинова, убранство комнат и проч. — Портрет Каина. — Каин освобождает рекрута, похищает из монастыря старицу, нападает на таможенную стражу, забирает фальшивых монетчиков. — Дерзкие проказы Каина: разутый и брошенный на снегу господин; обкраденный компанейщик Колосов и его векселя; скупой Бабкин, и т.д.

Слава Каина растет больше и больше. Имя его гремит по Москве. Уж при жизни он завоевывает себе славу, что редко достается на долю и великих людей: он становится народным героем.

В то же время и экономически он устраивается очень умелым образом: он знает, что за деньги покупается не только уважение, но даже и любовь, конечно, особого сорта, и он приобретает то и другое. Он снова сводит дружбу с своими прежними товарищами-помощниками; сходится и с секретарями, и с подьячими полицмейстерской канцелярии и сысского приказа. Он снова становится «удалым добрым молодцем», только под официальной эгидой «доносителя» сысского приказа.

Накопив денег, Каин покупает себе дом в Китай-городе. В доме этом — две светлицы, которые выходят на улицу. В од-

ной светлице — печь с уступом, украшенная зелеными изразцами; потолок оштукатурен, пол выстлан каменной лещадью. В светлице четыре окна — это помещение для гостей! В другой светлице печь кирпичная, потолок и пол досчатые. Это семейное помещение, терем. Есть и особая спальня — «каморка». Между светлицами сени бревенчатые с двумя чуланами. На дворе особая б л и н н а я изба и конюшня, на улице — лавка. В светлицах образа в серебряных и золоченных окладах. В коморке, в киоте, образ св. Иоанна Милостивого, с серебряными гривенниками, с убрисом, низанным жемчугом и дорогими камнями. На стенах, обитых травчатой клеенкой, — зеркала в золоченых рамах, печатные картинки с портретом Петра I, к которому, по словам Бессонова, Каин, видимо, питал особое уважение. Вдоль стен стулья, обитые черным трипом. Два дубовых стола покрыты персидскими коврами, один — шелковым, другой — триповым.

По отношению к хозяйству, дом у Каина — «полная чаша»: в кладовых — посуда оловянная, бывшая в то время в большом употреблении, и фарфоровая; одних тарелок 18 дюжин; в кладовых же запасы сахару «канарского и чаю жулярского». У жены юбки, балахоны тафтяные и объяринные; душегрейки гарнитуровые с серебряными городками и с золотым позументом. В сундуках хранятся золотые и серебряные вещи: стопы, подносы, чайники, серьги, карманные часы и проч.

Сам Ваня дома щеголяет в суконных сюртуках то макового цвета, то зеленого, в туфлях зеленых, гризетовых, шитых серебром. Есть и портрет Ваньки, перешедший потом в печатные издания: это мужчина средних лет, с густою курчавою бородою, на голове длинные, мягкие, русо-рыжеватые волосы, как гласит предание; лицо худощавое, умное и хитрое, но вообще очень приличное; на лбу морщины — следы дум, страстей и тревог.

У Каина много работы, и он работает неустанно, потому что недюжинная природа этого человека требует дела, требует практического применения богатых сил, к сожалению, зло направленных.

Каждый день гуляет Каин с своею командою по обширной Москве. То он на Красной площади, то на Крестцах, то на стругах на Москве-реке, то около кабаков. Ваньку окружают его старые друзья, люди разгульные, решительные, на все готовые. Они знают Москву вдоль и поперек; они знают, где ловить и крупного, и мелкого зверя — они сами были этим зверем и по следу выслеживают добычу. Добыча ловится почти каждый день, и Каин не ведет ее в приказ, а прежде к себе на дом.

Дома у него свой суд, своя пыточная, своя расправа с палачами. Если пойманный идет на предложенные ему условия, откупается от Каина, его отпускают. Упрямого и бедного преступника, которому нечем задобрить Каина, ведут в приказ. Словно непременный член приказа и полиции, Каин шныряет там между подьячими почти каждый день. Оттуда он идет в харчевню, угощает подьячих, ложных свидетелей и всех нужных людей. Вечером или гуляет у знакомых, или собирает у себя гостей на вечеринки и попойки. Вечеринки идут в «блинной» избе. Пускают в ход карты и нередко фальшивые деньги. Проигравшимся оказывается помощь закладом вещей и платья. Жена помогает Каину во всем.

Вот главные похождения Каина из этой эпохи, как он сам о них рассказывает.

Приходит к Каину один посадский человек и просит избавить его сына от рекрутства. Каин тотчас же является к монастырскому управляющему, у которого был арестован, для сдачи в рекруты, сын посадского, и требует, чтобы его освободили. Управляющий не соглашается, и вот, по знаку Каина, друзья его в «покоях управляющего пошевелились». А между тем Каин велит подать бочку с дегтем, ставит управляющего на колени и окачивает дегтем, приговаривая:

Я и других в такие же старцы постригал,
Кто с нами нечестно поступал.
Простак твой архимандрит —
Давно надлежало тебе старцем быть.
А теперь рекрута мне отдай,
И ежели таковых ловить будешь, то и вперед
Меня к себе ожидай.

Таким образом рекрут освобождается.

Ловит Каин беглого солдата и находит у него выкраденные из сенатской типографии бланки паспортов. Оказывается, что солдат раздает эти билеты «разного звания людям» и сам принимает их от одного помещика. Каин берет и этого помещика: от помещика он узнает, что тот выдал уже разным лицам до 300 таких паспортов и сам получал бланки от сенатского сторожа.

Все это так хорошо рисует эпоху: везде беглые, бродяги, воры, удалые молодцы, везде какая-то круговая порука — подкапываться под общественные порядки, при которых людям жить так ужасно и жить можно только «воровским образом».

После того на Сретенке Каин берет пьяного беглого матроса и узнает, как этот матрос и его товарищи грабили купца

Горского, как одну из его дворовых девок посадили в погреб, а другую убили. Каин ловит и эту шайку.

После беглого матроса ловит беглого рекрута и узнает от него, что он отдан был в рекруты «подложно» и что подлог этот сделан был помещиком Милюковым. Каин отыскивает Милюкова и в сыском приказе он сознается, что также «подложно» им сдано в рекруты до 300 человек!

Каин хватает потом беглого суконщика в «господской ливрее» — и выпытывает у него признание о целом ряде преступлений: воровства, грабежи, разбой — все это так и пестрит в каждом слове признания. Мало того, разбойники производят грабежи, называя себя «посланными из тайной канцелярии».

Трудно даже представить себе, как можно было жить в такое ужасное время, в какое жил Каин, и не быть разбойником. Безобразия этой жизни положительно невероятны, а между тем целая Россия жила в этих ужасающих условиях...

Из Петербурга бегут в Москву двое из служителей компанейщика Замятнина. Они обворовали своего господина и бежали в Москву. Одного ловят и сажают под караул в корчемную контору, а другой является к знаменитому Каину и просит освободить из-под стражи товарища, обещая за это Каину 300 р. Каин берет часть своей команды, едет в корчемную контору, застаёт там спящего подьячего и сечёт его за это плетьюми («напугал» подьячего, как выражается Каин). Затем берет из-под стражи арестанта и вместе с ним часового, везет их на Царицын луг, на Конную площадь, приказывает кузнецу сбить с арестанта цепь и кандалы и, заковав вместо него караульного солдата, отправляет его под стражу в корчемную контору! Арестанта освобождает и получает за это обещанные деньги.

Заходит Каин в питейный дом и встречается там знакомого ему военного писаря Советова и с ним какую-то старицу. Советов и старица «напитки пьют»; подносят также и Каину, и при этом Советов просит Каина «не осудить его за эту вольность». Ловкий Каин отвечает:

— Живите помирнее... А ты, госпожа монахиня, пошла по матери, из чего видно, что из тебя будет путь.

Но беглую старицу скоро ловят и привозят в консисторию. Старица показывает, что она монахиня Страстного монастыря по имени Кинофонтия¹, что ее сманил из монастыря Советов и в селе Черкизове обвенчался с ней.

¹ По другим сведениям — Елизавета.

После допроса ее отсылают «под начало» в Вознесенский монастырь, а Советова требуют в консисторию для ответа. Советов является к Каину и просит помочь ему в этом деле, обещая за помощь 100 руб. Каин не задумывается над трудным делом.

На другой же день надевает офицерское платье, берет с собою несколько человек из своей команды, захватывает также, на всякий случай, сержанта Ноговицына, который играл в его доме, и все едут к Вознесенскому монастырю. Находят, что проезд в монастырь весь заставлен «господскими колясками», и вот Каин приказывает своему сержанту отогнать от ворот экипажи, говоря, что в монастырь должен скоро приехать граф П. И. Шувалов.

Разогнав экипажи, Каин вводит свою команду в монастырь, часть ее из предосторожности оставляет в потаенном месте, а с остальными входит к игуменье в келью и говорит:

— Госпожа игуменья! Что ты долго спишь? У тебя в головах холст, токмо не очень толст.

Вместе с тем он объявляет игуменье, что прислан из тайной канцелярии, с тем чтобы взять старицу Кинофонтию.

Старицу тотчас же отдают Каину. Он сажает ее в сани и привозит к Советову, говоря на прощание: «Ежели и впредь в другой старице будет тебе нужда, то я служить буду».

В гостиный двор рыбный торговец привозит на продажу рыбу. В одном из возов таможенные сторожа находят бочку с вином и везут ее под караул. Торговец прибегает к Каину и просит его, чтобы он, когда секвестрованное вино с его работником повезут в корчемную контору, отбил от солдат и вино, и работника. Каин тотчас же посылает знакомого ему солдата, а с ним своих товарищей — Волка, Барана, Монаха и Тулью, и приказывает им отнять у таможенных солдат и вино, и работника.

Каиновы слуги ловко исполняют поручение. Солдат, забежав вперед, хватается за ворот арестованного таможенными работника и кричит ему:

— Ты в солдаты меня отдал, а теперь сам мне попался!

С своей стороны, суконщики кричат, что у работника будто бы ворованная лошадь, что украдена она у них — хватают таможенных солдат, вяжут их и бросают в сани с вином, отпрягают лошадь и скачут к хозяину получать плату за свою ловкую проделку.

Но это только часть подвигов Каина.

Важно в этом случае то, что подвиги его — не простые мошенничества, а злые насмешки над существующими обще-

ственными порядками, насмешки над властями — и все это делается открыто, среди белого дня, потому что все гармонирует с общим ходом всей государственной жизни. Вот почему Каин — микрокосм всей России XVIII века с ее безобразиями и ужасами.

Приходит к Каину купец из кружевного ряда и говорит, что он отправил из Москвы в Калугу «неявленные товары» (неоплаченные пошлиной), что товары эти, в дороге, на таможенной заставе арестованы и т.д. Каин собирает часть своей неутомимой команды, скачет на заставу, перевязывает караульных солдат — и с товарами возвращается в Москву... Хороша таможенная заставка!

Через несколько дней к Каину является другой купец из кружевного ряда. Он объявляет, что близ Немецкой слободы немцы «тянут заповедное серебро и золото». Каин в ту же ночь скачет с своею командою в указанное место и приказывает суконщику Волку влезть через слуховое окно на чердак того дома, где тянули золото. Один немец, увидав Волка, хватает его за волосы и откусывает одно ухо. Каин велит вышибить дверь бревном, входит в дом, берет все золото и серебро, не забыв захватить с собою и инструменты для делания монеты. Живущий по соседству господин, услышав шум, зовет своих служителей; но ловкий Каин предупреждает его: господина стаскивают с галереи, кладут в сани и, сняв с одной ноги сапог, бросают босого в снег на Гороховом поле. Несчастный остается на морозе, поджав под себя босую ногу, а шайка Каина скачет к купцу и получает за инструменты 300 рублей.

Вскоре после этого Каин ловит медных мастеров на деланьи «воровских денег» и сдает в сыскной приказ: этих мастеров, как повествует Каин, «тогда же в немшоной бане взвесили, и кто из них более тянул — узнали» (т.е. в тайной канцелярии вздернули на дыбу и все от них выпытали).

В троицын день, во время народного гуляния, молодцы из партии Каина «пошевеливают в кармане компанейщика Григория Колосова на 20 000 р. опротестованных векселей». Колосов является к Каину и просит помочь ему в горе. Каин отыскивает векселя у своих молодцов, ночью приносит их в дом Колосова, тихонько запирается на чердак и кладет там векселя за прибитую к стене картину.

На другой день Колосов встречается с Каином и спрашивает его о векселях; Каин отвечает, что векселя уж у него в доме. Идут к Колосову. Каин велит маленькому сыну Колосова пойти на чердак и взять векселя за картиной. Понятно,

что Колосов смотрит на ловкие штуки Каина как на какое-то чудо и выносит ему мешок с деньгами. Каин спрашивает, сколько у него людей и, получив в ответ, что человек шестнадцать, отсчитывает из мешка 16 руб., на каждого по рублю, а остальные берет себе.

Купец Бабкин просит Каина разыскать украденные у него 4700 руб. Каин находит вора и возвращает деньги хозяину. Скупец Бабкин дает Каину за труд 50 рублей; Каин отказывается и заявляет об этом в сыском приказе. Бабкина берут в приказ, где несчастному, как выражается Каин, пришлось «поговорить с присутствующими и секретарями помирнее и со мною против прежнего получше».

Утомительно излагать эту возмутительную эпопею воровства, мошенничества, грабежей, разбоев, убийств... Вместо людей рисуются какие-то кровожадные звери, вместо исполнителей закона — палачи и грабители, вместо закона — явное насилие или омерзительная игра в подьяческую терминологию.

Последующими своими подвигами Каин лучше всего и положительно неопровержимо доказывает это последнее, по-видимому, несколько резкое для историка заключение. Каков государственный и общественный строй — таков и выродок этого строя, законнорожденное дитя «доброе старое времени».

XIII

Возрастание могущества Каина. — План новой деятельности. — Челобитье в сенат. — Сенат обманут Каином. — Инструкция, данная Каину сенатом. — Ванька Каин чуть не диктатор Москвы. — Начало падения Каина. — Неосторожное столкновение Каина с раскольниками. — Истязание племянницы крестьянина Иванова. — Жалоба на Каина. — Каина секут плетью. — Каин грабит струг купца Клепикова.

Со второй половины 1744 года Каин становится личностью всеильною в Москве. Если бы он захотел, то силу его почувствовала бы вся Россия...

Каин знает эту Россию, до костей, если можно так выразиться, изъеденную язвами доноса, повального грабительства, казнокрадства, народоистязания и народной бедности. В умной голове этого чада своего века создается гениальный, с точки зрения вседоносящего и всеворующего общества, план.

В сентябре этого года Каин является в сенат и предъявляет сенаторам следующее:

«Я, Каин, к поимке воров и разбойников крайнее всегда старание прилагаю и впредь питать буду, и о таковых злодеях, где они жительство и пристань в Москве и в других местах имеют, проводываю через таковых же воров и с ними знакомство имею, и для того я с ними принужден знаться, дабы они в том от меня потаены не были, а не имея с ними такого обхождения, таких злодеев сыскивать невозможно. При том я, Каин, такое опасение имею, что когда таковые злодеи по поимке где будут на меня о чем показывать, не приведен бы я был по оговорам их к какому истязанию».

Сенат поддается на уловку Каина, и простой вор превращается в общественную силу.

Сенат торжественно объявляет вору и мошеннику, чтобы он продолжал отыскивать мошенников без всякого опасения, а что если они и покажут на него, «то оное показание за истинное принято не будет и к нему, яко изыскателю тех воров, не токмо какое подозрение причтено быть может, но что он за отыскание воров будет награжден, токмо бы он, Каин, с таковыми злодеям в том, что до их воровства и злодейства касается, ни под каким видом не мешался и никакого к тому умыслу и тем злодеям совету и наставления в таких злодействах не имел и не чинил, и неповинных к тому злодейству не привлекал: ибо ежели он, Каин, в том подлинно явится и доказано будет, то с ним, Каином, яко с злодеем поступлено будет.

Мало того, обманутый сенат поступает так неосмотрительно, что посылает сыскному приказу указ, в котором между прочим, повелевает: «...что ежели в том приказе кто из содержащихся колодников или впредь пойманных злодеев будет на него, Каина, что показывать, того, кроме важных дел, не принимать и им, Каином, по тому не следовать».

Этим распоряжением сената Каин покупает себе нечто равносильное папской непогрешимости: доносы на него товарищей-воров становятся неопасными для Каина; он может теперь действовать очертя голову, и сенат никому не поверит, потому что сам решил никому не верить доносам на Каина; мало того, подьячие сами не должны давать ходу ни одному делу, которое было бы не в пользу Каина — ведь велено давать ход только «важным делам», а эпитет «важный» так неуловим, особенно когда друзья-подьячие, воруящие вместе с Каином, не захотят уловить важности дела, всегда имея возможность свалить вину на свое подьяческое «неуразумение».

Но и этого Каину мало. Он становится ненасытен — обаяние силы толкает его еще дальше, словно Цезаря через Рубикон. И Каин переходит через подъяческий Рубикон.

Через месяц он является в сенат с новым заявлением. Он напоминает сенату, что поймал более пятисот воров и мошенников, что в Москве их еще много, но что, по неимению инструкции о сыске и поимке воров, ему чинится немалое препятствие из тех мест, где оные злодеи имеют свои воровские пристани, а от командующих вспоможения не имеется. Ловкий Каин просит сенат дать ему инструкцию и объявить о том в Москве по командам, «чтобы в сыске и поимке воров ему препятствия не чинили».

И сенат снова попадает на такую грубую уловку — Каину вручают буквально диктатуру над всей Москвой! Сенат дает Каину такое громадное полномочие: «Донositелю Каину для беспрепятственного в поиске и в поимке воров и разбойников и других подобных им злодеев дать из правительствующего сената с прочетом указ, в котором написать, что ежели где в Москве случай допустит ему, Каину, помянутых злодеев ловить и в той их поимке будет требовать от кого вспоможения, то в таком случае всякого чина и достоинства людям, яко верноподданным ее императорского величества, в поимке тех злодеев чинить всякое вспоможение, дабы оные злодеи чрез такой его сыск вовсе могли быть искоренены, и все подданные ее императорского величества по искоренении таковых злодеев с покоем без всякой опасности и разорения впредь остаться могли; а ежели кто при поимке таких злодеев ему, донositелю Каину, по требованию его, вспоможения не учинит и через то такие злодеи упущены и ко умножению их воровства повод подастся и сыщется про то допряма, таковые, яко преступники, жестоко истязаны будут по указам без всякого упущения; о том же в военную коллегию, в главную полицеймейстерскую канцелярию и в сыскной приказ подтвердить, и чтоб по командам в поимке таких злодеев помянутому донositелю Каину всякое вспоможение чинено было; напротив же того и ему, Каину, в поимке под видом таковых злодеев никому посторонним обид не чинить и напрасно не клеветать под таким же истязанием, а военной коллегии учинить о том по сему ее императорского величества указу».

Никакая власть теперь не вправе ослушаться Каина: всякое ослушание становится государственным преступлением, и ослушники должны быть «жестоко истязаны без всякого упущения».

Но именно тут, в зените своего могущества, Каин и теряет все, что успел приобрести его воровской гений. Так всегда бывает с людьми, когда ненасытная жажда чего-либо, постоянно удовлетворяясь, переходит в безумную жадность и ослепляет человека. Каин не понял вовремя, что по одной дороге дальше идти невозможно — и потерял все...

Он столкнулся с другою силою, которая и погубила его. Это та сила, с которою вся Россия сладить не может вот уже более двух веков. Это та сила, которая погубила и не таких исторических деятелей, как Ванька Каин. Сила эта — историческое прошлое России, ее древнерусская традиция, с которою не легко было сладить и такому гению, как Никон, и таким сильным царям, как Алексей Михайлович и Петр Великий. Сила эта — первородный грех русского народа, его невежество. Одним словом, сила эта — раскол.

Каин, обезумевший от власти над бедным народом, над подьячими, над ворами и разбойниками, вздумал пойти против раскола, словно русские богатыри против «силы неведомой», которая превратила их в камни, и камни эти вросли в землю.

Около этого времени (в 1745 г.), вероятно, вследствие появления в Ивановском монастыре особой раскольничьей секты, издан был указ о сыске лжеучителей и еретиков с назначением в Москве особой «раскольничьей комиссии»¹.

Каин находит это обстоятельство очень удобным для расширения своей деятельности и, кроме воров и мошенников, открывает поход против раскольников. Сначала дела его идут удачно.

На основании архивных данных, г. Есипов говорит, что с того времени Каин в своих поисках по городу начинает заходить не только в кабаки и трущобы, но и на дома богатых раскольников, силою отбирает у них детей и отводит к себе на дом. Отцам и матерям арестованных детей приходится выкупать их у Каина.

Раскольники не выносят этого и жалуются на Каина «раскольничьей комиссии». Комиссия, по журнальному постановлению, требует Каина чрез сыскной приказ для допроса; но Каин подкупает подьячих, и бумага из комиссии в приказ

¹ Полное собрание законов, т. XII, стр. 507.

отправляется по прошествии трех лет (в ноябре 1748 года)!

Не довольствуясь целой командой молодцов, которые по знаку Каина идут в огонь и в воду, он входит в стачку еще с двумя ловкими дельцами собственно по раскольничьим делам — с крестьянами Федором Парыгиным и Тарасом Федоровым. Вместе с ними и с другими дельцами он неутомимо рыскает по городу, забирается в дома богатых людей, объявляет о себе, что он сыщик тайной канцелярии и молодцы его — сыщики; при этом обыкновенно требуются деньги, и если получается отказ, то страшают ночным посещением «гостей» из тайной конторы.

Эти рыскания едва не доводят Каина до Сибири; но, как видно, час его еще не пробил.

Каин узнает, что у богатого крестьянина Еремея Иванова племянница состоит в расколе. Надеясь сорвать с раскольников взятку, Каин является к Иванову. Иванов денег не дает. Тогда Каин и товарищи начинают его бить, разбивают лавочный ящик, вынимают из него деньги, берут всякую рухлядь и уводят с собою племянницу Иванова и к дому его ставят караул. Девку отводят не в раскольничью комиссию, а к Каину на дом. Там ее истязали плетью, добиваясь призывания в том, что она раскольница и что дядя ее также придерживается раскола. При этой экзекуции присутствует и супруга Каина, приговаривая:

— Бейте ее гораздо!

Мало того, она советует несчастной повиниться или хоть что-нибудь показать на дядю.

— Скажешь — легче будет, и бить не станут...

Но истязуемая только кричала и ни в чем не сознавалась.

На другой день Каин со своими молодцами опять является в дом Иванова.

— Молись Богу — я племянницу твою Афросинью освобожу, — говорит Каин.

Иванов несет Каину 20 рублей. Афросинья освобождается. Иванова же Каин ведет рассчитывать в харчевню и получает от него деньги при харчевнике.

— Молись Богу, — снова успокаивает Каин свою жертву, — а то бы я твою племянницу и тебя свел в тайную контору.

В опьянении от сознания своей власти, Каин совершенно теряет голову и уже не хоронит концов своих проделок.

Иванов и харчевник доносят об этих проделках тайной конторе, и Каина с Парыгиным и Федоровым арестуют. По-

следние сознаются во всем, Каин — ни в чем. У Парыгина вырезают ноздри и ссылают его в Сибирь, в дальний город, Федорова — в Оренбург в работы.

«Каин и тут выскочил», — добавляет Есипов.

Тайная контора делает о нем такое постановление: «Хотя бы он подлежал жесточайшему наказанию кнутом и дальней ссылке, однако же дабы впредь в сыске разбойников и воров и прочих подозрительных людей имел он крепкое старание, того для оное ему ныне оставить; а дабы те воровства вовсе ему упущены не были и впредь бы от такого его воровства и от прочих тому подобных продерзостей имел он воздержание и предосторожность, учинить ему, Каину, в тайной конторе наказание: бить плетью нещадно и по учинении того наказания объявить ему под страхом смертной казни с подпискою, ежели впредь сверх должности своей явится в каких-либо хотя наималейших воровствах и взятках, то уже поступлено с ним будет в силе указов ее императорского величества без всякого упущения, а чтоб впредь к воздержанию его от всякого воровства и в сыску подозрительных людей невинным разорения не имело быть, иметь над ним, Каином, наблюдательство».

Каина бьют плетью нещадно, т.е. «внушают» ему и велят полиции наблюдать за ним.

«Как же действовали на него внушения тайной конторы?» — спрашивает г. Есипов. — Как с гуся вода! Он отлежался, полечился и взялся за прежнее: в сыскной приказ водил ежедневно пойманных мелких воров и мошенников, а сам между тем с своими товарищами занимался преступным воровством.

Зимой 1747 г. Каин заходит однажды в гости «на струг», что стоял на Москве-реке, к приказчику одного орловского купца, к Осипу Тимофееву. Попили они чаю, поболтали и, выйдя из-под палубы, стали прощаться. В это время через струг проходит на соседнюю барку купец первой гильдии Клепиков.

— Вот он, Клепиков, — говорит приказчик, — и в худом платье ходит, да богат. У него денег пять тысяч — более, а кроме пива, ничего не пьет!

— А где у него деньги? — спрашивает Каин.

— Держит на своем стругу, что с хлебом.

Возвратившись домой, Каин приглашает к себе известного уже молодца своего, Шинкарку, и другого молодца, целовальника Колобова, который часто посещал Каина в игорные вечера. Составляется воровской совет — как бы ограбить

Клепикова. Колобов, по своей кабацкой специальности, предлагает опоить Клепикова пивом с дурманом, испробовать прежде, сколько нужно положить дурману!..

После совета отправляются в погребок, по дороге покупают кувшин, а в погребеке — полведра пива и возвращаются к Каину. После того насыпают в пиво дурману с фунт, замазывают кувшин тестом и ставят в печь.

Когда «снадобье» было готово, кувшин раскупоривают и выпивают по стакану. Наблюдая друг за другом, воры замечают, что снадобье не оказывает никакого действия — все трое остаются в памяти. Принимаются за новый опыт: покупают еще четверть пива и выливают в оставшееся с дурманом пиво. Колобов и Шинкарка выпивают по три стакана и расходятся.

Вечером Шинкарка приводит Колобова в дом Каина «в безумии», да и сам едва доходит до дому. Каин укладывает их спать. Молодцы проспались и встали совершенно здоровые. Тогда решаются действовать по этому плану и только выжидают случая, чтобы опоить снадобьем Клепикова.

Случая не представляется, а между тем Колобову настает крайняя необходимость выехать по делам из Москвы. Каин и Шинкарка подговаривают на задуманное дело другого молодца — матроса парусной фабрики, Антона Коврова. Ковров советует приступить к делу попроще, по военному — просто ограбить струг. Видно, что Ковров знает морские или поволжские порядки: «сарынь на кичку!» — и концы в воду, как делали наши поволжские пираты, понизовая вольница. Но здесь нужно воспользоваться случаем, когда Клепикова не будет в струге. Матрос Ковров поручает своему четырнадцатилетнему сынишке следить за Клепиковым и за стругом, а в помощь к делу берут еще двух фабричных ребятшек — сверстников юного Коврова — Крылова и Соколова. Вскоре мальчишки дают знать, что Клепиков с женою отправился со струга к обедне в церковь Георгия, что в Ендове. Каин спешит в церковь, чтобы выследить, куда Клепиков пойдет после обедни. Клепиков из церкви отправляется на Болото — по соображениям Каина, для покупки хлеба, и, вероятно, останется довольно долго. Каин извещает об этом товарищей, которые, запасшись ломами и топорами, скачут на санях к стругу. Сам Каин наблюдает за ними из «дранишного ряду». Молодцы входят на струг и стучатся в двери.

— Что за стук? — окликивает их работник.

— Письмо нужное из Орла, — отвечают ему.

Дверь отворяется. Молодцы бросают работнику в глаза золы и соли и валят его под лавку. Мигом ломают сундук,

где находились деньги, и наполняют ими мешки, заранее припасенные. В минуту все было покончено.

Замечательно, что все это делается в центре Москвы, у Москворецких ворот, и среди бела дня. Такова была Москва более столетия тому назад и такую отчасти осталась и поныне!

С добычею молодцы скачут в Преображенское к матросу Коврову, прячут у него «поживу», расходятся по домам, а вечером вновь собираются, по разбойничьему выражению, «дуван дуванить». Само собою разумеется, Каин получает львиную долю в дележе (450 руб. рублевиками, полтинами и гривенниками), Ковров и Крылов 200 рублей, юный Ковров — 50 рублей, Соколов — 100 рублей, а Шинкарка — всех меньше, может быть, потому, что он тут же, пока товарищи «дуванили», стащил из общего ворованного фиска связку низанного жемчуга и серьги с жемчугом.

XIV

Московские пожары. — Присылка в Москву генерала Ушакова с войском. — Популярность Каина подрывается Ушаковым. — Каин в переделе у Головина. — Выдача Каином Камчатки, наказание кнутом и ссылка этого последнего. — Недоверие властей к Каину и ограничение его самовластия.

Неудивительно, что Каин, захватив в свои сильные руки гегемонию воровского дела в первопрестольной столице России, становится как бы родоначальником нового разбойного цикла. Вместо уменьшения воров и разбойников, он, напротив, начинает страшно плодить их: подобно хвастливому римскому триумвиру-полководцу, уверявшему, что ему стоит только топнуть ногою, чтобы из земли вышли легионы, Каину стоило только свистнуть своей шайке или хлопнуть в ладоши, чтобы его молодцы «пошевелились». И они, покровительствуемые своим гегемоном, действительно, страшно «шевелились».

С весны 1748 г., помимо повальных грабежей и разбоев, Москва начинает гореть со всех концов. Горят сотни, тысячи домов; горят церкви, монастыри; народ горит сотнями. Москва выбирается из домов и живет за городом лагерями. Загораются сами собой нежилые дома, сарай, даже заборы... Являются подметные письма... Полиция ловит поджигателей...

Паника переходит в Петербург, словно через 23 года, во время страшной чумы. Петербург оцепляют пикетами из гвардейских полков, и особенно императорские дворцы.

В Москву командируют генерал-майора и премьер-майора лейб-гвардии Преображенского полка Ушакова. В Москву вводят войско.

Вот до чего довела воровская гегемония безграмотного Ваньки Каина!

А между тем Ванька продолжает свое дело. Он по-прежнему мошенничает и грабит, но в корне силы его подорваны... Он уже не командует Москвой и всеми ее воинскими командами, как командовал в течение трех-четырех лет. Команды Ушакова его не слушают и таскают всех разбойников и подозрительных людей не к Каину, а к Ушакову. На сцену являются новые деятели, и они даже не знают в лицо Каина.

Мало того, новые команды начинают бить Каина. 10 июня, часов в 10 утра, Каин идет мимо Мытного двора, где находится царев кабак («фортина»). Поравнявшись с окнами «фортины», Каин слышит голос целовальника: «Караул! Караул! Грабят казну!» Каин вбегает в кабак и видит, что солдаты ломают стойку, где хранилась казенная выручка. Каин начинает унимать солдат, а солдаты бросаются на него и бьют. Каин выхватывает у одного из солдат шпагу, защищается ею и убегает в дверь. Из кабака он бежит в караульню и заявляет о происшествии караульному офицеру Головину. Головин выхватывает из рук Каина шпагу, велит солдатам наклонить его за волосы и бьет Каина шпагою по спине. Потом связывает ему назад руки, прикрепляет веревкою за ноги к приказному крыльцу и велит его бить батогами в продолжение часа!

Вот что случилось с всемогущим Каином.

Вырвавшись от Головина, он подает на него жалобу в сыскной приказ. В приказе осматривают пострадавшего Каина: оказалось — он избит был порядочно, спина вся синяя и багровая, плечи, руки все в синих пятнах.

Наконец Каин сам себя губит — он глубоко падает в общественном мнении удалых добрых молодцев. Через месяц после битья его Головиным Каин выдает своего лучшего друга и учителя Петра Камчатку.

Выше уже мы говорили о Камчатке как о крупной личности из того разряда людей, к которым принадлежал Каин. Что заставило последнего предать своего друга — остается неразъяснимым, тем более что Камчатка в последние годы значительно остепенился и добывал себе хлеб работой сначала

на железных заводах Демидова в Калужской губернии, а потом в Москве, «на бережках» и на Балчуге; кормился он также и тем, что скупал в лавках медные кресты и иглы и продавал по деревням.

Каин встретил своего друга на Балчуге, когда тот шел к празднику в Новоспасский монастырь, и представил в сыскной приказ.

Камчатку допрашивали и пытали. Но он не выдал своего бывшего друга, который погубил его.

В декабре 1748 г. Камчатка наказан был кнутом и сослан в Оренбург в вечную работу.

К этому-то, вероятно, времени и относится та тоскливая народная песня, посвященная памяти Камчатки, где мать оплакивает свое дитяtko, говоря, что «знать ему, доброму молодцу, в тюрьме век вековати».

С этого времени Каин теряет доверие и в начальстве, и в кругу своих товарищей, добрых молодцев. Отшатнулись от него и чиновники сысского приказа, и полиции, которых он мог предать так же, как и своего друга.

Во время производства следствия над Камчаткою, сыскной приказ дает дежурному обер-офицеру инструкцию о содержании колодников; в § 12 этой инструкции говорится: «Обер-офицеру, из команды своей, никому караульных не давать и самому не отпускать, ни за чем не отсылать никуда, под опасением военного суда, а посылать по потребностям от секретарей, по наказам и сыскным, и сколько потребно посылать без задержания; тако ж, если доноситель Каин будет объявлять, что ему надлежит для поимки сколько солдат, то спрося присутствующих, а не в бытность их, дежурного секретаря, и дежурному секретарю спросить тайно доносителя, куда идтить и в какие дома и за какими людьми, чтобы в том от него, доносителя, знатым людям каких страхов и бесчинства не нанесено было и не вне ли Москвы; а ежели подлежит той посылке быть, того часа потребное число солдат посылать и с ними унтер-офицера и капрала, с таким наставлением, чтобы на которых он, доноситель Каин, будет показывать, тех брать и содержать, чтобы их не упустить и приводить прямо в сыскной приказ, а окроме сысского приказу тех колодников по домам никуда не водить и к доносителю Каину в дом не водить же, ибо от оногo доносителя многие продерзости явились, и что он перво к себе водит, и то оказывается; в нем, в сыском приказе в том, что ему, доносителю Каину, того

не чинить, взята подписка. Посланному с доносителем команды обер-офицеру приказывать унтер-офицеру, чтоб его, унтер-офицера команда, будучи ему и команде, при взятые тех по указыванию доносителем колодников, в которых домах взяты будут, обид и разорения и грабежа никакого не учинить и доноситель бы во взятых домах грабежа не учинил же; и в тех домах, где взяты будут подозрительные люди, велеть оставлять караул по два человека солдат и смотреть, чтобы из того дому чего вывезено не было; также и доносителю как во взятках и в грабежах и в разорениях не быть послушным, ибо от одного доносителя из дому его караульной явился в подорожном намерении отбое подозрительного человека, потом по следствию в сыском приказе, по повинке его, отослан на военный суд, из чего видны одного доносителя не правдивые поступки, за что и прежде учинено с ним было по указам...»

XV

Столкновение Каина с опасным противником — с скопцами. Роковое значение этих последних для Каина. — Арестование Каином Федосьи Яковлевой (Ивлевой). — Допрос малолетнего Фролова о «немом Андреюшке». — Арестование «Андреюшки».

Такую народную силу, как Каин, выросшую на благодатной почве истории, нелегко было сломить сразу; он, как библейский Самсон с обрезанными волосами, чувствовал в себе настолько силы, чтобы потрясти и разрушить здание, в котором его заключили враги.

У Каина под ногами была, действительно, прочная историческая почва: русская земля, развивавшаяся в известных неблагоприятных условиях, вместо одного крупного Каина, ежегодно рождала сотни, тысячи и сотни тысяч мелких Каинов, которые стоили одного крупного. Зло нельзя было вырывать с корнем, когда корни сидели в почве и в подпочве так глубоко, что и до сих пор эти исторические корни дают русской земле ничем не заглушаемые поросли общественного зла.

Русская земля всегда преизобиловала беглыми и беспаспортными. «Иваны, непомнящие родства» стали историческим типом. Этим «Иванам» покровительствовал Ванька Каин, и

на них все еще опиралась его сила. Особенно много беглых давала московская адмиралтейская фабрика, на которой работали матросы.

Вот один из случаев, обнаруживающий силу Каина между серым, беглым и бесприютным людом.

Начальство парусной фабрики узнает, что Каин скрывает у себя беглого матроса Осипа Соколова с товарищами, и требует его в контору для допроса. Каин не повинуется. Тогда начальство фабрики посылает военную команду схватить Каина и привести силою. Посланные застают Каина дома, читают ему указ и берут силою непокорного сыщика; но едва они отошли несколько сажен от двора, как Каин вырывается из рук караульных, сбрасывает с себя сюртук и шляпу, и, убегая, кричит «незнаемо каким людям: *«Дай дубья!»* Точно из земли являются человек двадцать в «серых кафтанах», бьют подьячего, капрала и солдат «смертным боем», отбивают Каина и исчезают с ним вместе.

Что Каин является чисто народным историческим типом — сквозит в каждом его поступке. Это была беззаветно-отчаянная голова, напоминавшая те исторические типы, первообраз которых кроется еще в богатырях Владимирова цикла и в новгородских «ушкуйниках», а потом в Стеньке Разине, Емельке Пугачеве и в целой массе понизовой вольницы. Для Каина нет ничего невозможного. В нем, действительно, кроется большая сила, хотя зло направленная, но это отблеск той нравственной силы, которая в мифическом Прометее горела «украденным» им с неба огнем.

В Каине, действительно, есть этот огонь, хотя он, к несчастью, освещает только грязные стороны его жизни и деяний, но это потому, что историческая и общественная почва не вызвала его силу на лучшие деяния. Огонь этот — нравственная сила, сила творчества, и она помещается в груди только сильных личностей. Правда, он обманчиво светится и в груди дюжинностей, дюжинностей не простых, а исторических; но это не Прометеев огонь, а простая гнилушка, которая тускло светится только ночью, где-нибудь под забором или в дупле старого дерева и ничего не освещает.

У Каина, напротив, много действительной силы. Из простого комнатного мальчишки, которого кормят тумакami и подзатыльниками, из безграмотного дворового вырастает своего рода грозная сила, заносимая в русскую государственную историю¹ и воспеваемая народом, который немногих исторических деятелей удостаивает этой чести.

¹ «История России» Соловьева, т. XXII, 268.

Вот что народ поет по поводу простой любовной интриги Ваньки Каина:

Как у нас ли в каменной Москве,
Во Кремле во крепком городе,
Что на Красной славной площади,
Учинилась диковинка:
Полюбилась красна девица
Удалому добру молодцу,
Что Ивану ли Осиповичу,
По прозванию Ваньке Каину.
Он сзывал ли добрых молодцев,
Молодцев, все голь кабацкую,
Во един круг думу думати:
Как бы взять им красну девицу?
Как придумали ту думушку,
Пригадали думу крепкую:
Наряжали Ваньку Каина
В парчевой кафтан с нашивками,
В черну шляпу с позументами,
Нарекали его барином,
Подходили с ним к колясочке:
В ней девица укрывалась
(Что в рядах уж нагулялася),
Отца-мать тут, сидя, дожидалася.
Молодец ей поклоняется,
Дьячим сыном называется:
«Ты душа ли, красна девица,
(Говорит ей добрый молодец),
Твоя матушка и батюшка,
С моим батюшкой родимым
К нам пешком они пожалуют:
Мне велели проводить тебя
К моей матушке во горницу, —
Она дома дожидается».
Красна девица в обман далась:
Повезли ее на Мытный двор,
На квартиру к Ваньке Каину:
Там девица обесславилась.

Событие это — не народная фантазия, не простое песенное творчество. Архивные документы, обнародованные г. Есиповым, вот что говорят об этом событии из жизни Каина, следовавшем тотчас после освобождения Каина от фабричной команды неведомыми «серыми кафтанам». За Никитскими воротами, в собственном доме, жил солдат коломенского полка Феодор Тарасов Зевакин. У него была хорошенькая 15-летняя дочка. Девочка ходила иногда на вечеринки к знакомой солдатке Федосье Савельевой, где ее и увидал Каин. Девочка ему понравилась. «С каждым днем или, точнее сказать, с каждою вечеринкою, которые бывали у Федосьи, — говорит г. Есипов, — Каин влюблялся в

девочку все сильнее и сильнее, носил ей лакомства, а чаще всего старался угостить ее пивом или вином». Но девочка отказывалась от всех предложений Каина, а отец ее начал замечать за Каином.

Но вот 17 января 1749 г., в дом отца возлюбленной Каина является знакомая им женка Авдотья Степанова. Это та «Дуняша — любовь Ванюшкина», первая девушка, которую любил Каин и которая, когда он был еще никому неизвестный юноша и был привязан своим господином рядом с домашним медведем, тихонько кормила и медведя, и своего «Ванюшку». Дуняша шепчется о чем-то с дочерью Зевакина — и в этот же день девочка пропадает из дому. Отец бросается к знакомым искать дочери — никакого слуха. Старик вспоминает ухаживания за девушкой Каина и бросается искать этого последнего, разузнавать о нем. Он подсылает к жене Каина двух женщин: те, по знакомству, стараются выпытать у нее, где Каин был накануне, что делал, куда ездил. Женский язык болтлив, замечает г. Есипов, и как ни осторожна была жена Каина, однако проговорилась что слышала, будто муж ее увез какую-то солдатскую дочь от Никитских ворот, но куда — неведомо. Ловкие бабы порасспросили и прислугу: работница Каина рассказала, что солдатскую дочь Каин да банщик Иван Готовцев увезли в село Павилено... «Там девица и обесславилась», как говорит песня.

Обиженный отец заявляет о похищении дочери... На Каина ложится новое обвинение.

Но Сампсон еще не задавил себя, хотя уже и взялся за столбы, поддерживающие здание, в котором заключили его враги.

Столбы эти были — раскольники, о чем мы уже и заметили выше.

Мы сказали, что сила Каина была надломлена другою, еще более неподатливою историческою силою — раскольниками. Это были скопцы, которые и в прошлом, и в нынешнем веке не раз показывали, какой это могучий, хотя невидимый рычаг в общем строе русской жизни. Скопцы стирали с земли и не таких силачей, как Ванька Каин, и даже в нынешнее время дело Плотицына доказало, что сила скопцов, действительно, историческая сила, и она имеет под ногами свою историческую почву, почву, удобренную веками. А с делом веков людям бороться нелегко.

Вот как сам Каин рассказывает о своем столкновении с скопцами.

Попадается ему на улице бесчувственно-пьяная женщина. Баба, под влиянием винных паров, рассказывает за собою «важное дело», и Каин ее арестует. Протрезвившись, женщина объявляет о себе, что она купеческая жена, Феодосья Яковлева, и что ей известны некоторые раскольники, «которые собираются на богомерзкое сборище». Каин берет от купчихи письменную об этом записку, своеручно ею составленную и запечатанную, и в тот же день относит к советнику тайной канцелярии Казаринову. Прочитав записку, Казаринов велит взять Каина под караул, но Каин не только не позволяет арестовать себя, но и напускает на Казаринова своих молодцов. «Мои товарищи, — говорит он, — пошевелились в его покоях так, что в окнах стекло мало осталось». Напуганный Казаринов после этого говорит с Каином уже «посмирнее» и спрашивает его, кто писал эту записку. Каин отвечал: «Я писать не умею, а кто писал, тот в доме у меня остался».

Казаринов немедленно берет с собой Каина и едет к генерал-аншефу и сенатору Василию Яковлевичу Левашову, который управлял тогда Москвою. Поговорив с Левашовым, Казаринов отсылает Каина домой. Но ночью является к нему полковник Ушаков, тайной канцелярии секретарь и два офицера с командою в сто двадцать человек. Начинают стучаться у ворот.

«А у меня, — говорит Каин своим неизменным параболическим языком, тем языком, каким почти всегда говорят личности незаурядные, исключительные, тем языком, о котором в одном месте упоминает и Гейне и которым любил объясняться Суворов, — у меня, — говорит Каин, —

На одной неделе
Четверга четыре,
А деревенский месяц
С неделей десять».

Каин говорит шуточно, что он «пришел в ужас» и принужден был «свою команду потревожить». В один момент у Каина являются сорок пять человек солдат, да сержант, «да черного народу хорошего сукна тридцать».

Отпирают ворота. Ушаков и секретарь входят к Каину. Секретарь берет Феодосью Яковлеву в особливую каморку «дует ей на ухо» и, посадя с собою в «берлин», едет с ней на Покровку, где команда тайной канцелярии арестует купца Григория Сапожникова и отправляет в «стукалов монастырь» (так Каин называет страшную канцелярию). Там говорят с Сапожниковым «против шерсти», и в ту же ночь, по пока-

занию Феодосьи Яковлевой, ставят караулы еще в 20 домах. На другой день берут в Таганке купца Якова Фролова и его малолетнего сына. Сына этого Каин везет к себе на дом, а прочих отправляют в тот же «стукалов монастырь». Каин, по своим соображениям, начинает допрашивать малолетнего Фролова: «Где живет Андреюшка не мой и с кем он говорит?» (раскольник этот выдавал себя за него). Юный Фролов признается, что Андреюшка с теми говорит, «кто их сборищу согласен», а жительство-де имеет за Сухаревой башней. Посланные для арестования Андреюшки узнают, что он, вероятно, унюхав грозу, ускакал в Петербург, куда и отправляют за ним нарочного. Андреюшку привозят в Москву, отправляют в «немшоную баню» (так, по народному выражению, называлась иногда «дыба» или пыточная изба, иногда виселица), «палаты не мшоны и не вершоны». В «немшоной бане» его «взвешивают». «А сколько весу в нем оказалось, того знать мне было не можно», — заключает свой рассказ Каин.

XVI

Андреюшка — знаменитый скопческий расколучитель Андрей Селиванов, он же первый самозванец с именем Петра III. — Его сочинение «Страды». — Акулина Иванова — первая скопческая «богородица». — Песня «Ванька Каин и Лжехрист Андрюшка».

Это-то и было столкновение Каина со скопцами, которое и погубило его.

Лаконический и несколько темный рассказ Каина об этом таинственном деле г. Бессонов интерпретирует очень обстоятельно. Он справедливо замечает, что Каин как разбойник и сам же сыщик, заняв, таким образом, место между государством и народом, очевидно, рассчитывал обмануть и ту, и другую сторону, поочереды их сталкивая и ловя рыбу в мутной воде. Это ему до времени удавалось. Но гибельный толчок вышел тоже из середины, занимавшей место между государством и народом — из раскола, тоже сильной функции народной жизни, — и тогда обе силы, и государственная, и народно-раскольничья, обрушились на Каина.

При императрице Анне, как известно, впервые слишком явно обнаружилась и привлекла внимание государства давнишняя скопческая секта: знаменитое дело сборищ Иванов-

ского монастыря вывело на сцену, между прочим, Акулину Иванову, занимающую первое место в скопческой догматике при расколоучителе Андрее Селиванове и в его сочинении «Страды».

Акулина Иванова — это раскольничья «богородица», родоначальница всех последующих, подобных ей «богородиц».

Сметливый ум Каина тотчас догадался, что для его ловкости здесь открывается новое, обширнейшее и самое плодотворное поле действия; не зная хорошенько всей серьезности этого дела, он поторопился ускорить подозрения властей, начал делать захваты самые наглые, брать с своих жертв выручки самые щедрые, не предчувствуя, что это самое прикосновение к делам раскольничьим, а тем более к скопческим — всего скорее могло и должно было погубить его.

«Немой Андреюшка», о котором говорит Каин, — это и есть знаменитый Андрей Селиванов, тогда только еще «немой убогой», юродивый, а вслед за тем родоначальник нововоскресшего в России скопчества, а потом, по скопческой догматике, он же «государь Петр III Федорович», один из первых самозванцев с именем Петра III и, следовательно, предшественник Пугачева.

Андрей Селиванов во время Каина днем ходил по Москве в образе юродивого, а ночью собирал около себя «сборища людей божьих» и, «действительно, жил за Сухаревой башней, у Николы в Драчах, куда и поныне скопцы ходят на поклонение. Жил он именно у той Федосьи Яковлевой, или Иевлевой, которую Каин поднял на улице в пьяном виде и которая прятала у себя Андреюшку в подполье. В своих «Страдах» сам Андреюшка говорит о ней так: «И жил я в доме у жены мирской, у Федосьи Иевлевой грешницы (она, как мы видели, запивала). У ней в подполье там и жил: она меня приняла, а свои не приняли. И они же и привели к ней в дом... команду солдат...»

Они — это Сапожников и Фролов.

Андреюшку сослали в Сибирь, и он на дороге принял «большое оскопление», а из Сибири с торжеством возвратился снова в Петербург.

Народный эпос, говорит г. Бессонов, овладевший лицом и жизнью Каина, овладел и всем, что к нему привязалось. Народ жадно слушал и читал жизнеописание Ваньки Каина, пел о нем песни, рассказывал чудеса об его подвигах и окончательно обессмертил его, поставив рядом с Гришкою

Отрепьевым, Маринкою-безбожницей, Стенькою Разиным и Ивашкою Мазепою. Равным образом, известная часть народа жадно слушала и читала жизнеописание Андреюшки, или его «Страды», — произведение, современное с жизнеописанием Каина и притом совершенно народное, с тою же игрою слов, как у Каина, с теми же остротами и пословицами, со вставками стихов и пр. Мало того, и Андреюшку, и Каина народное творчество поместило рядом в своем историческом эпосе. Вот, по народной поэзии, эти эпические богатыри¹:

Бес проклятый дело нам затеял:
Мысль картежну в сердца наши всеял,
Ту распространяйте, руки стирайте,
С радостным плеском кричите рест!²
Дверь в трактирах Бахус отворяет,
Полны чаши пуншем наливает:
Тем дается радость, льется в уста сладость;
Дайте нам карты, здесь олухи есть!
Стенька Разин, Сенной Гаврюшка,
Ванька Каин и Лжехрист Андрюшка;
Хотя дела их славны и коль ни удачны,
Прах против наших картежных дел...

Итак, по справедливому замечанию г. Бессонова, столкновение с расколом и особенно с скопчеством, богатым средствами мщения, и столкнуло Каина в пропасть: тут он затрагивал уже не воров только и не мошенников, не одних удалых добрых молодцев и не голь кабацкую, а «граждан», богатых и приличных по всей видимости. Те, которых он не успел захватить, — а таких было больше, чем захваченных, и они были сильнее пострадавших — не могли простить ему и повели верный подкоп под самого Каина, потому что раскольники, как это доказала история, всегда находили средства добираться до самых затаенных и самых сильных пружин государственного механизма. Раскольники, конечно, сделали то, что сначала раскольническая комиссия, за нею сыскной приказ и тайная канцелярия, а наконец, и полиция с воинскими командами, т.е. все представители государственной власти постепенно переходили от недоверия к Каину к ожесточению против него, а потом к преследованию. Тут, конечно, припоминались и страшные

¹ Песня о Каине и Андреюшке явилась прежде в сборнике Новикова 1781 г., а потом в числе «любимых песен» Каина.

² Игорный термин.

пожары, истребившие тысячи домов в Москве, припоминались и поджигатели, бывшие друзья Каина.

И вот в сознании легко поддающихся масс Каин превращается в «окаянного», в проклятого, в анафематствованного. Припоминается и то, что Каин был «страстен до женщин». Полицейский подьячий Будаев доносит на него, что он увез его жену.

Таким образом, к последнему решению судьбы Каина сходятся все женщины, или любившие его, или пострадавшие от него, из них первые естественные соперницы между собою, потому что любили одного мужчину, и, следовательно, оскорбленные мстительницы; последние — мстительницы *ad hoc et propter hoc*. Все это сваливается на умную голову Каина.

XVII

Присылка в Москву генерал-полицеймейстера Татищева. — Арестование Каина и донесение об этом императрице Елизавете Петровне. — Показания Каина на своих соучастников и покровителей, московских чиновных людей — на графа Шереметева, Воейкова, Щербинина, Сытина, Непенина, Аверкиева и других.

К довершению всех зол, из Петербурга присылается в Москву новый генерал-полицеймейстер Татищев. Кто знает, не проведена ли была и сюда тонкая нить мщения скопцов? Полагают, что Федор Тарасов Зевакин, у которого Каин увез дочь, был брат того Тарасова, который ездил за «пророком» Андреюшкой в Сибирь, чтобы освободить его.

Как бы то ни было, но едва Татищев явился в Москву, как тотчас же приказал арестовать Каина по делу о похищении дочери Тарасова и тотчас же донес об этом самой императрице.

Арестованный Каин, все еще не потерявший веры в свою силу, на первом допросе отвечает всякий вздор, думая отделаться по-прежнему. Но Татищев приказывает посадить его в погреб, кормить очень мало и никого к нему не допускать.

В первый раз в жизни Каин не выносит такой муки, особенно когда Татищев приказал подать «кошек». Он кричит ужасное «слово и дело!»

Это было 1 февраля 1749 г.

На этом дне Каин кончает свой рассказ о своей богатой впечатлениями жизни. Он оканчивает этот рассказ так же шуточно, как и начал его. Он говорит, что после того, как он сказал «слово и дело», его отослали в тайную канцелярию, «где посмирнее говорят, в которой учиненные мною после своего раскаяния вышеописанные непорядки в бытность сыщиком графу Александру Ивановичу Шувалову показал, от чего произведена была комиссия, а по окончании оной, отправлен я в Рогервик или Балтийский порт, т.е.

На холодные воды,
От Москвы за семь верст с походом,

где и ныне нахожусь».

Значит, он рассказывает о событиях своей жизни сам, в Рогервике, словно Наполеон I на острове св. Елены.

Но Каин умалчивает о многом горьком в своей жизни, особенно о том ее периоде, когда он уже потерял все свое обаяние и сидел в тюрьме. Об этом горьком досказывают за него архивные дела.

Вот что говорят эти дела, извлеченные г. Есиповым из исторической могилы — архива.

Едва произнесено было «слово и дело», как Каина тотчас же отправляют в контору тайной канцелярии. Там его допрашивают. Каин объявляет, что «слова и дела» за ним никакого нет, что он закричал его из страха умереть от изнурения в сыром и холодном погребе, в который его посадил Татищев. Тогда канцелярия, по принятому порядку, определяет: «За ложное сказывание «слова и дела» Каина бить нещадно плетями, по учинении наказания, для следования и решения в показанных на него из полицеймейстерской канцелярии воровствах, отослать опять туда же.

И вот Каин опять в ненавистных руках Татищева. Татищев снова сажает его под строгий караул. Со всех сторон к Татищеву идут доносы на Каина...

Выхода больше нет, спасения ждать неоткуда: надо было дать последний ответ за всю свою так рано погубленную жизнь. Каину было всего тридцать лет.

Он обещает Татищеву рассказать всю истину. Ему дают немного отдохнуть и полечиться после плетей в тайной канцелярии.

Но вот 24 февраля Каин является к допросу.

Словно Лепорелло разворачивает перед Дон-Жуаном бесконечный свиток его любовных походов, так Каин раз-

вертывает такой же бесконечный свиток своих воровских походов перед Татищевым. Он не щадит никого — ни полиции, ни сыскного приказа, ни раскольничьей комиссии; мелкие, громкие и даже очень громкие имена пестрят на длинном списке участников Каина в его темных похождениях; в числе взяточников стоят советник Воейков, сенатский прокурор Щербинин и граф Сергей Алексеевич Шереметев. Татищев считает необходимым донести об этом императрице Елизавете Петровне и, между прочим, поясняет со слов Каина, что «он то все чинил в надежде на имеющихся в сыском приказе судей и секретарей и протоколиста, которых он за то, чтоб его остерегали, даровал и многократно в домах у них бывал, и, как между приятелей обыкновенно, пивал у них чай и с некоторыми и в карты игрывал»; что, по показанию Каина, «сколько возможность допустила, собрано товарищей его и прочих касающихся до того следствия с о р о к о д и н человек, которых должно расспрашивать, а других сообщников же его и которые о воровствах его ведали, а не доносили, собирать и ими следовать, чего главной полиции за врученными полицейской должности делами по множеству объявленного им, Каином, с товарищами его воровства, производить невозможно, ибо и ныне уже в настоящих полицейских делах учинилась не малая остановка»; но что при этом «сыскому приказу об нем, Каине, и о сообщниках его следовать за вышепоказанным ясным подозрением не только невозможно, но и весьма опасно, чтоб большому воровству и разбоям ему, Каину, с его сообщниками попущения не чинилось».

Ясно, что вся московская администрация заподозрена в сообщничестве с Каином; он всех опутал одной петлей, всю Москву, начиная от крупных и мелких властей и кончая голью кабацкою, как бы заставил признать его своим атаманом. Все это так и сквозит в донесении Татищева Елизавете Петровне.

Чтобы вынуть Москву из этой петли, Татищев предлагает императрице: «По всеподданнейшему моему мнению, наискорее бы его, Каиново, его сообщников воровство исследовано и пресечено быть могло, ежели вы, ваше императорское величество, изволили указать особливую для того комиссию учинить, понеже в повинной его, вора и разбойника Каина, верх того их воровства, показано взятков на посланного от сенатской конторы по требованию его Каина, для осмотра на стругах воров и подозрительных людей, ярославского пехотного полка прапорщика графа Сергея Алексе-

ева сына Шереметева, також сенатской конторы на прокурора Щербинина и на присутствующего в московской полиции советника Воейкова, секретарей и приказных служителей и раскольничьей комиссии на секретаря».

Развернем и мы хотя малую часть этого Каинова покаянного свитка. Проследим, как в этом покаянии он вспоминал и переживал свою загубленную жизнь — ведь это исторический образчик миллионов таких же загубленных жизней, из которых слагалась история русского народа...

«Из компанейской питейной конторы, — кается Каин Тащищеву, — содержащегося под караулом скованного в побеге и в краже денег приказчика, подъехав к той конторе на извозчике, по согласию с тем приказчиком, который тогда у караульных выпросился на двор, якобы для нужды, — увез и, сбив с него железо, отпустил и за то взял с того приказчика пятьдесят рублей.

Товарищ мой суконщик Алексей Шинкарка, по приказанию моему, одного торгующего на Живом мосту незнаемо чьего крестьянина Илью, за непослушание, что оный Илья лодки не подал, бил рукою, который того ж часа и умер.

Московские купцы два человека, пришед ко мне, объявили, что они везли в Москву товары, кои у них остановил доноситель, и притом просили меня, чтоб я каким-нибудь случаем того доносителя захватил в сыскной приказ, чтоб им между тем тот товар убрать. И по той их просьбе, пришел я в тот приказ, присутствующему тогда князю Якову Крапоткину фальшиво доносил, что будто тот доноситель отбил у меня с пушкарями оговорного человека. Почему тот Крапоткине и велел того доносителя сыскать, которого я, сыскав, привел в сыскной приказ, и хотя он в том и не винулся, но по осмотру явился бить кнутом, за что держан был неделю, а потом, по наказании за тот отбой плетью, освобожден, за что вышепоказанные купцы дали мне 50 рублей.

Беглого ссылочного на каторгу, Михаила Цыганова, поймав в кирпичных сараях, отпустил и в надлежащее место не привел, только за отпуск, за бедность, взять было с него нечего.

Усмотрел я в городе ходящего незнаемо какого человека в новой шубе и привел в сыскной приказ, токмо никому еще не объявлял, а по приводе ощупал у его черес (пояс) с деньгами, причем тот человек сказал мне, что он городской купец, и просил, чтоб я его отпустил, за что-де он даст мне из имеющихся у него в чересу денег половину. Чего ради

я его из того приказа выведши и взяв у него из тех денег половину, например, рублей с тридцать, отпустил, а после я об нем уведомился, что он беглый солдат, а потом уже и сам видел его скованного.

Торгующего в епанчовом ряду Кондратя Бачюрина поймал на дороге и говорил ему, что он беглый солдат, который, боясь меня, дал мне 60 рублей, чтоб я впредь его не вербовал.

Товарищи мои, посольского двора ученики, Михайло Наживин и прочие разных чинов, с людей срывали шапки и с пьяных обирали платье и отнимали деньги, — что я все за ними ведал, а нигде не доносил и их закрывал.

В дом свой приваживал бурлаков, когда где поймаю, и бивал, и с кого что возьму, хотя бы и подозрителен был, отпускал, а с кого взять нечего приводил в сыскной приказ».

Каин делал таких признаний десятки, сотни... Память отказывается служить ему в выворачивании наизнанку своего мутного прошлого. Он забывает имена — ведь тысячи имен и лиц прошли по его жизни, по его памяти, а надо все припомнить, все стряхнуть с души... Но в этом выворачивании своего прошлого перед грозным судьей он, видимо, не искренен: он стряхивает с своего прошлого одну мелочь, пыль, а тяжелые камни прошлого не сворачивает с своей памяти — это он оставляет про себя. Он все еще надеется вынырнуть из омута, оставив там других, менее виновных... Он делает оговорку, что «за множеством» этих камней, лежащих на его прошлом, он «сказать не может».

Не говорит Каин в этой покаянной исповеди ни о своем шатании по Волге с шайкой атамана Зари, ни о первых московских похождениях. Но зато, видимо, озлобленный против московских властей, потворствовавших ему из-за взяток и не попавших вместе с ним в погреб, он вносит в свой свиток этих благополучно восседающих на своих судейских и секретарских креслах чиновников, чтобы в последний раз в жизни поблагодарить их и показать, что они его братья по крови и плоти, что они сосали молоко из исторической груди той же общей всем им матери...

«Приказом правительствующего сената послан был, — говорит он, — напольных полков обер-офицер граф Шереметев, по причине пойманных мною разбойников, для осмотра на идущих в Москву судах работных людей, при чем был и я, и несколько человек подозрительных людей нашли в том числе и с воровскими паспортами, которые были у

хозяина армянина Марка Шишкина, кои и отведены в сыскной приказ, токмо оный Шишкин в тот приказ незнаемо для чего был не сыскан. А во время того осмотра оный граф Шереметев брал себе во взятки с каждого струга по два рубли, в том числе с одного орловского купца Семена Уткина взял он, граф Шереметев, кафтан смурый суконный простой, да мне Уткин дал 10 рублей за то, чтоб мы на его стругу бурлаков не осматривали и никакой турбации им не чинили, за что мы с того струга никого и не взяли. Да тогда ж оный Шереметев со струга купца Логина Лепешева за то ж взял барана живого большого...»

От графа Шереметева, берущего и рублями, и кафтанами, и баранами, он переходит к своим друзьям — подьячим, протоколистам, секретарям, членам, советникам, прокурорам.

«При взятии из Ивановского монастыря в раскольничью комиссию стариц, кои явились в расколе, одну старуху, — говорит Каин, — я отпустил. А как я в отпуске той старухи взят был в ту комиссию и держан под караулом, тогда по свободе, пришел к той комиссии секретарю Ивану Шаврову, подарил платком италиянским и просил, чтоб он меня к сыску той же старухи не принуждал; а после того в разные времена прислал к нему рейнского рубли на три, и после того оной старухи от меня не требовано».

За секретарем раскольничьей комиссии следует протоколист сысского приказа Молчанов, большой охотник до краденых «епанечек» и до прочего.

«Содержащаяся в сыском приказе колодница Акулина Леонтьева, призвав меня к себе, — продолжает Каин, — отдала мне краденую епанечку тафтяную алую на заячьем меху, которая у нее была в закладе, и оного приказа протоколист Степан Молчанов оную епанечку взял к себе и отнес в дом свой, о чем известны подьячие Андрей Аверкиев да Иван Коновалов. Да оный же Молчанов, при взятии разбойников, из пожитков огородника, у коего они пристань имели, навязал целый узел и взял к себе. Да и при всех таковых выемках, как секретари, так и подьячие то чинили».

А вот огульная характеристика всего сысского приказа:

«Того ж приказу секретари и протоколист, будучи в приказе, почасту говаривали мне, чтоб я позвал их в питейный погреб и поил рейнским, которых я и паивал и издерживал на то по рублю и больше. За то, когда на меня произойдет в том приказе какая в чем жалоба, чтоб они мне в том помогали и с

теми людьми, не допуская в дальнейшем следствие, мирили, что и самым делом бывало неоднократно. Сверх того, даровал я их шапками, платками, перчатками и шляпами и к вербному воскресенью раскрашенными вербами, а протоколисту и сукна на камзол, да жене его бархату черного аршин да объяри на балахон и на юбку, да три и четыре платка италийских. А один секретарь, Иван Богомол, при осмотре в одном доме где приставали воры, не явится ль воровских пожитков, взял образ маленький, обложен серебром, и отвез в дом свой.

А вот вкусы и привычки судей, которые так любили пытки, дыбу, застенки — и «кенарский сахар», «крашенные вербы», любили играть в картишки с Каином и пр.

«Того ж приказу судья Афанасий Сытин говаривал мне в доме своем, в коем я у него бывал часто и пивал с ним чай, что я мало к ним воров вожу, у него-де нет сахара и чаю. Почему я, купя в городе сахару кенарского полпуда, отнес к нему. И сверх того, он, Сытин, брал меня с собою часто для разных покупок, за которые деньги отдавал не все, а после я доплачивал своими; а иногда посылавал меня для всяких покупок, и одного, только с человеком своим, которое я покупал на свои же деньги. А как я в дом его, Сытина, по призыву его ходить перестал, тогда он, Сытин, и поставленных ко мне для сыску воров солдат из дому свел. Да того ж приказу судье Егору Непенину самому и чрез служителя его передал карт дюжины с две. И в одно время в доме его играл я с ним, Непениным, по приказу его для забавы безденежно в карты, в называемую игру «едну». Да их, Сытина и Непенина, к вербному воскресенью, купя, подарил по крашеной вербе и в той надежде на их, судей, секретарей и протоколиста, я вышепоказанные продерзости и чинил, а без того дарить бы их не из чего. Оные ж секретари и протоколист, что у меня в доме имелась зернь, знали и в бытность у меня в доме и игровиков видали».

Наконец, исповедь Каина знакомит нас и с советником московской полиции Воейковым «с товарищи», из коих Воейкову за освобождение «из цепи» Каин дал 50 рублей, секретарю Захару Фокину 3 рубля, канцеляристу Будаеву 7 рублей, капралу Воейкову штаны замшевые черные, а сыну Воейкова, за «старание» о Каине, подарены «рукавицы бархатные зеленые, обложены галуном золотым, да две шапки круглые бархатные».

Вместе с прочими «лакомился» взятками и прокурор сенатской конторы Щербинин, не брезгуя брать по 10 «рублев», наравне с дворецким графа Петра Шереметева.

Общая покаянная исповедь Каина и ее значение. — Императорский указ о Каине, отрешающий от должностей прежних чиновников. — Каина и его соучастников переводят на Мытный двор. — Воровская свита Каина. — Жизнь в тюрьме, развлечения: игра, пение; пытки.

Наконец исповедь Каина кончается. Ее представляют на усмотрение императрицы и вновь забирают целые массы лиц, на которые указывал Каин в своем покаянном списке.

Но Москва скоро почувствовала, что она потеряла Каина. Началось общее брожение несчастных осадков московского общества: они тоже почуяли, что нет больше Каина. С московской суконной фабрики разом бежало до тысячи человек, которые рассыпались по городу и окрестностям, и каждый из них превратился в маленького Каина.

Тут только почувствовало правительство, что за силы сидели в том невзрачном человечке, которого Татищев засадил в погреб.

25 июня 1749 г. состоялся именной указ за собственноручным подписанием императрицы. В указе, между прочим, повелевалось: «Для искоренения злодеев московскую полицейскую команду усилить солдатами из полевых полков, а вора Каина с его товарищами из полиции со всем его делом передать в сыскной приказ, но определяя судей и приказных служителей бесподозрительных, а подозрительных отрешить, о всем исследовать розыском, и какие его Каинова товарищи покажутся, тех сыскивать и присылаемых из полиции, впредь таких злодеев принимая, расспрашивать и ими разыскивать же, и всякими образы стараться оных до конца искоренять, а кто таким казням подлежать будет, не чиня экзекуции, ее императорскому величеству доносить».

На основании этого указа отрешаются от должностей все прежние заподозренные чины сыскного приказа, а на их места назначаются другие, именно: Богданов, князь Горчаков, Алексей Еропкин, князь Вадбольский, Струков и др. Им велено исследовать дело «розыском», т.е. пыткой.

Самая комиссия по делу Каина помещается на Мытном дворе у Москворецких ворот. Сюда приводится и Каин со всею своею многочисленною свитою: Иван Каин в ручных и ножных железах; за ним, в кандалах, его свита: фабричные — Алексей Шинкарка, Дмитрий Маз, Иван Крылов; матро-

сы — Антон Ковров, Иван Ковров; матросский сын Соколов, отставной солдат Никон Богомоллов, купец Сергей Чижик, фабричный ученик Петр Волк, посольского двора ученики Михайла Наживин, Степан Буслай, Иван Шелковников, несколько купцов, несколько женщин, в числе которых капитанская дочка Марья Петровна Аксакова и жена инженера Авдотья Жеребцова и другие.

Каина помещают в особую палату, в два окна, окна от земли 3 1/2 арш.

Для караулов назначается особая военная команда в пятьдесят человек солдат с унтер-офицером и обер-офицером. Команде дается особая инструкция: «Каина никогда и ни для чего с означенными его товарищами не спускать, также и других колодников никого, никуда и за караулом не отпускать и приходящих к ним и к Каину никого не допускать. Если кто будет приносить пищу, то сперва самому (караульному офицеру) пробовать, кроме вина, и потом отдавать. Вина в милостыню не принимать от приносящих. Приносимые калачи и хлеба осматривать, нет ли в них чего запечного. Смотреть, чтобы между колодниками никаких ссор, непотребств и играния в карты или какие зерни не было. Осматривать, нет ли у колодников ножей или вредных инструментов. Раздавать ежедневно каждому кормовые деньги по 1 копейке. О состоянии колодников и караула ежедневно подавать рапорт».

XIX

Перевод Каина в новую тюрьму. — Последняя песня Каина. — Ссылка. — Каин — историческая личность.

Перевод арестантов в новое помещение состоялся 1 июля, а 15-го числа караульные заметили, что колодники Андрей Пичкала и Иван Ковров с кем-то разговаривали в окно. Хватают уличного переговорщика. Узнают: «Зовут его Василием Алексеевым, по прозванию Чижик, суконщик, от роду 40 лет. Отец его — Галкин. Подходил к окну, потому что колодники кликнули его поднять денежку, брошенную каким-то проезжим; денежку он не нашел, а свою подал». Оказалось, что в числе колодников, товарищей Каина, есть тоже Чижик, купец, но не родня пойманному.

24-го колодник Осип Соколов показал, что к Каину приходила жена его Арина Иванова и ночевала с ним две ночи, что сержант Подымов выпускает Каина в другую палату, где сидят его товарищи, и каждый день сержант с Каином, Антоном Ковровым, Шинкаркою, с Петром Волком и другими едят, пьют и играют в кости и в карты на деньги, что для этой игры жена Каина приносила деньги, что прежде он проиграл шубу.

Колодники, действительно, не скучали, говорит г. Есипов, и этим они обязаны были сержанту Подымову, который с своими дежурными солдатами проводил день и ночь в палатах, где сидели колодники. Да и где же ему было проводить время? При доме, где помещались колодники и комиссия, особой караульной не было устроено. Сержант и солдаты должны были стоять под открытым небом. Что же удивительно, что Подымов проводил время в колоднической и при том очень приятно. День и ночь он пировал с арестантами — пили, пели, играли в карты или в зернь. Но все дело испортили женщины, которые носили мужьям деньги; а отсюда — азартные игры и доносы со стороны обыгранных.

Виновных секут плетью, и следствие идет своим порядком. Допросы продолжаются каждый день, работы палачам по горло.

«Читая журналы и протоколы следственной комиссии, — продолжает г. Есипов, — невольно удивляешься нравственному складу людей того времени.

Члены комиссии, как записано в протоколах, нередко начинали пытку с 10-го часа пополудни и оканчивали ее только в половине 3-го пополудни.

Какие нужны нервы, чтобы 5 1/2 часов сряду смотреть на страдания пытаемых, слушать их вопли, — и это повторялось на другой день, как дело вполне законное, необходимое и справедливое!»

Более шести лет сидел Каин в «темной темнице». В прежней палате, где он содержался, «стены расселись», и его перевели в «нижнюю палату» без окон. В железной двери для свету прорубили окошко.

К этому грустному для Каина периоду жизни относят песню, помещенную в первом издании «Каиновых песен», а потом перепечатанную у Новикова и др., под названием «Последняя песня Ивана Осиповича, по прозванию Ваньки-Каина».

Вот эта прекрасная, всем известная песня, доселе любимая народом:

Не шуми, мати, зеленая дубравушка,
Не мешай мне, добру молодцу, думу думати.
Что завтра мне, доброму молодцу, в допрос ийти,
Перед грозного судью — самого царя.
Еще станет государь-царь меня спрашивать:
— Ты скажи, скажи, детинушка, крестьянский сын,
Уж как с кем ты воровал, с кем разбой держал,
Еще много ли с тобой было товарищей?
— Я скажу тебе, надежа, православный царь,
Всю правду скажу тебе, всю истину,
Что товарищей со мной было четверо:
Еще первый мой, товарищ — то темная ночь,
А другой-то мой товарищ — был булатный нож,
А как третие-т товарищ — то мой тугий лук,
А четвертый мой товарищ — то мой добрый конь,
Что рассылщики мои — то калены стрелы. —
Что взговорит надежа православный царь:
— Исполать тебе, детинушка, крестьянский сын!
Что умел ты воровать, умел ответ держать,
Я за то тебя, детинушка, пожалую —
Среди поля хоромами высокими,
Что двумя ли столбами с перекладною.

Для того чтобы нас не обвиняли в идеализации такой личности, как Каин, и возведении простого вора в тип народного героя, мы позволяем себе привести слова г. Бессонова в доказательство того, что ту песню, действительно, мог петь Каин в темнице и что песню эту народ приписывал, действительно, Каину. Каин, документально известно, в заключении своем пел (по документам г. Есипова): пел с товарищами, пел, конечно, и один. Всю жизнь любя песни и играя в них роль, он не мог не петь: должен был петь теперь, когда дела сводились к развязке, и серьезной. Не дрогнуть, не задуматься, не погоревать нельзя было; для этого не нужно было присесть и сочинить — были песни готовые, принесенные издали, слышанные вокруг. Момент, может стать, лучший в жизни Каина, перед смертью вызвал в памяти и душе его лучший образец творчества, лучшую и старшую песню. Весь вопрос идет к тому: точно «применил» ли к себе песню Каин, или «специализировал» ее, чтобы общее достояние народа сделалось его собственным и после опять возвратилось в народ с его личным образом или именем? С этой стороны, всего важнее начало:

Не шуми, мати, зеленая дубравушка,
Не мешай мне, доброму молодцу, думу думати.

Положительно утверждаем, что в истории нашего народного творчества ни прежде Каина не встречается песни с этим началом, ни после не попадаетея другой с

тем же началом, ни сама она, приписанная Каину, никогда не имеет начала другого... Весь народ наш целиком, где ни поет и где мы его ни слышим, единственно эту песню называет всегда Каиновой и постоянно ему приписывает: его песня и об нем; о Каине поет только с этим началом, не знает начала другого и с тем же началом не поет ни о ком другом. И напев везде в народе одинаков... Нужды нет, что, по основе, песня эта старше, что образы и выражения ее не применяются прямо ко внешней действительности Каина; нужды нет, что песня выше, лучше, подлиннее, народнее всего Каинова прошлого: народ входит в его положение перед казнью, народ признает, что в этом настроении Каин был народнее, подлиннее, лучше, выше, даже старше самого Каина, ближе к древнему и высшему, творческому типу народному. В эту минуту преступник для нашего народа становится только «несчастливым». А кто знает? Может статься, на эту страшную и высокую минуту, и хоть только на минуту, народу вспоминались из прошлого Каина те труды, которые в ряду преступлений отдавал он защите крестьян, крепостных и рекрутов! А эти труды бывали. Как бы ни было, относительно песни общее предание гласит то же: отступя от слоев «простонародных», слои общественные всегда были и остаются того же убеждения. Не можем забыть впечатлений нашей ранней молодости, как старик Д. Н. С-в, человек в высокой степени почтенный, лучших сфер нашего общества, семейный, литературный, богатый, певал нам эту «Каинову» песню одушевленным и растроганным голосом, с пылавшими взорами... Мы и после встречали то же самое чувство, и глубину взволнованной души, и безотрадную грусть, и некоторую восторженность напева от многих других: многие вовсе не знали при этом «действительного» Каина, как знаем его по документам, — все одинаково знали и сознавали творческого.

Только в июне 1755 г. кончилось сложное дело Каина.

Ему было в это время 37 лет: лучшие годы, годы полного развития съедены тюрьмою; годы самой ранней молодости, до 20—23 лет, отданы «Волге-матушке, широкому раздолью». Последние годы жизни съела каторжная работа.

Суд приговорил Каина к смертной казни: колесовав, отрубить голову.

Но сенат, по представлению юстиц-коллегии, смягчил постановление суда.

Вор Каин и товарищ его Алексей Шинкарка наказаны кнутом, вырезаны им ноздри и с знаками на лбу и на щеках ВОР сосланы они на «тяжкую работу».

В этой-то «тяжкой работе», конечно, в минуты роздыха, рассказана им и записана досужими слушателями повесть о богатой событиями жизни этого странного человека. Напечатана эта повесть в первый раз в 1775 г.; но лучшее ее издание считается то, которое вышло под заглавием: «Жизнь и похождения российского Картуша» и т.д.

Все изложенное нами выше едва ли допускает сомнение в том, может ли быть имя Каина внесено в список имен исторических. Оно самим народом внесено в этот список, и если народный голос имеет какой-либо вес в русской истории, то голос этот присуждает Каину историческое бессмертие. Помимо этого, личность Каина сама собою является личностью крупною, историческою: не дело истории выбрасывать эту личность из летописи русской земли, какова бы ни была деятельность этой личности, как история не выбросила из мировой летописи ни Герострата, ни Нерона за то, что они были поджигатели. А Каина нельзя выбросить из истории, потому что бессмертие дано ему народом — и по праву.

Мы совершенно согласны с неизвестным автором заметки, помещенной в 1859 г. в «Русском Слове» по поводу издания г-м Геннади (Григорием Книжником) жизнеописания Ваньки Каина. Автор заметки называет Каина «своеобразным героем», как С. М. Соловьев, упоминая о нем в XXII томе «Истории России», смотрит на Каина как на историческую личность, «типическую в своем роде». Автор заметки «Русского Слова» справедливо говорит, что к личности Каина лежали симпатии современников, а его автобиография обличает в нем далеко недюжинную натуру. Он говорит, что в автобиографии Каина «рассказ веден с удивительною простотою и спокойствием: человек ведь не аффектируется здесь нисколько, не становится на ходули и не самоуничижается, что сделала бы всякая мелкая натурашка, — нет, он проходит мимо всего этого с каким-то пренебрежением — все это ниже его, все это мелко; для него подлость, зло, обман, благородство, добро — вещи несуществующие, так что о них и думать не стоит... А ведь в самом деле, как взглядеться глубже в эту личность, так невольно как-то представляется еще один, совершенно оригинальный экземпляр из разряда широких натур, которыми так обильна наша русская земля»... Мы скажем даже больше: без Каина для нас не вполне понятна была бы внут-

ренняя жизнь и история русского народа первого полустолетия XVIII века, когда Россию насильно повернули лицом к Западу так круто, что едва не сломили у ней позвоночный столб, забывая, что ноги ее и туловище, и сердце, и самый череп вросли в неблагоприятную историческую почву так глубоко, как мощи Иоанна Многострадального. Каин — это громадный рефрактор, в котором отразилась вся подпочвенная историческая Русь, доселе не выбравшаяся еще вполне на Божий свет.



Один из Лже-
Константинов

ИСТОРИЧЕСКИЙ
ОЧЕРК

I

Историческое прошлое русского народа вообще не богато светлыми воспоминаниями. Вследствие ли того, что все историческое коллективное существование народа, обставленное вообще неприветливою обстановкою, в течение тысячи лет не представляло для него ничего рельефно выдающегося или поражало взор одними лишь темными рельефами; вследствие ли того, что светлые стороны исторической жизни этого народа, которых у него вообще сравнительно было не в меру мало, всегда менее глубоко врезаются в народную память, чем стороны темные, — только у народа осталось свое деление истории на периоды, несогласные с делением историков, именно деление «по бедам». Период от периода своей истории он помечает пояснениями вроде того, что такая-то беда случилась до голодного или после голодного года, что такое-то горестное событие совершилось до или после моровой язвы. Оттого народ занес на страницы своей неписаной истории преимущественно такие эпохи, как «злая татарщина», «юрьев день», пугачевщина, черная немочь, кровавые войны последнего времени, первая и вторая холера, голодные годы, поголовное бегство на Яик и на Дарью-реку для искания воли и льгот, потом бегство в Анапу и за Кавказ — тоже для спасения от лиха.

Такие исключительные факты из своей исторической жизни он вносил в свою скудную фактами историю, подобно тому как древние летописцы заносили в свои хроники преимущественно печальные сведения о войнах, о моровых поветриях, о повсеместных пожарах, о набегах половцев, об явлении на небе «хвостатых» звезд или звезд «копейным образом», об истечении крови и слез из глаз икон, об явлении на небе огненных шаров, кровавых солнцев, о засухах и неурожаях, о разных чудесных знамениях, затем что всеми этими знамениями по преимуществу предвещались народные бедствия.

У народа, таким образом, составила своя собственная история, весьма однообразная и бедная содержанием, часто

до утомительности монотонная, заключенная в узкие рамки собственно народного неширокого мировоззрения. Оттого, как есть у народа свое деление истории на периоды «по бедам», так есть у него свои любимцы, свои герои, свои исторические деятели, оценка которых самим народом нередко положительно расходится с оценкою их, историею писанною. У народа есть свои громкие имена, свои великие люди, и в силу того, что у него есть свои исторические деятели, народ, по-видимому, не знает и знать не хочет великих людей нашей писаной истории, может быть, потому, что наши великие люди для него лично, непосредственно ничего не сделали, а если и сделали что-либо хорошее, то это хорошее, вследствие сцепления разных неблагоприятных исторических условий, еще не дошло до народа.

До настоящего времени наши знания народной истории были обратно пропорциональны нашим познаниям в истории политических интриг других государств, в летописях династических перемен, нескончаемых кровавых войн между королями и бескровных войн между дипломатами, стоивших тоже крови, в летописях успехов и неудач разных полководцев — одним словом, всего, что делается вообще помимо народа, хотя не без тяжкого давления на народ.

У русского народа есть, кроме того, любимые приемы коллективных действий, выработанные в нем историческими условиями, а также известные любимые приемы в его коллективных движениях, когда он желает выразить этими движениями свой протест или существующему порядку, или ходу исторической жизни, для него невыносимому.

К таким приемам, которые составляют как бы историческую черту в русском народе, принадлежит самозванство, к коему русский народ прибегал во все смутные или тяжелые эпохи своего исторического существования. Явление это, редко замечаемое у других народов, объясняется особым складом нашей государственной жизни, при котором протест существующему порядку или нестерпимому злу мог исходить из народа не от имени этого самого народа, как бы отрицавшего в себе историческое право протеста, но от имени другой силы, признававшей за собою право протеста. Оттого всякий раз, когда народ протестовал, он как бы не имел своего знамени, а шел за знаменем силы, в идее солидной и тождественной с тою силою, против которой он протестовал. В XVII веке он шел за знаменем убитого царевича и его именем требовал признания своих

прав, равно как в XVIII веке он шел за знаменем умершего императора и от его имени требовал облегчения своей участи.

Были у народа и избранные имена царские, и только к этим избранным именам приурочивалось самозванство, тогда как других царских имен самозванцы не принимали. Целый ряд самозванцев носил имя царевича Димитрия. Другой ряд самозванцев — Степан Малый, черногорский царь, Богомолов, Кремнев, Пугачев, Ханин и еще некоторые — принимали на себя имя императора Петра III, тогда как других царских имен они не принимали. И на это у народа были свои причины: он принимал, через своих самозванцев, царское имя только такой особы, кончина которой почему-либо казалась для него или сомнительною, или покрытою чем-либо таинственным.

В нынешнем веке таким именем в истории русского народа является имя великого князя Константина Павловича. Связанные с именем этого великого князя декабрьские происшествия 1825 года, сомнения, возбужденные декабристами относительно прав вступления на престол великих князей Константина или Николая Павловича, и другие связанные с этими событиями обстоятельства, известия о коих проникали в народ в извращенном виде, были, без сомнения, причиною того, что имя великого князя Константина Павловича явилось тем знаменем, под которое обыкновенно становился народ в сомнительных случаях своей исторической жизни и особенно в то время, когда обстоятельства вынуждали его к тому или другому протесту.

Таким образом, в нынешнем веке русские самозванцы стали принимать имя великого князя Константина Павловича, как в XVIII или в XVII веке они принимали имена или императора Петра III, или царевича Димитрия.

В августовской книжке «Вестника Европы» за 1869 г. помещена статья г. Середы, в которой, на основании одного архивного дела и народных преданий, рассказывается о появлении в Оренбургской губернии, в 1845 году, Лже-Константина. Крестьянские волнения в этом крае, усмирённые жестоким наказанием виновных, породили в народе убеждение, что для расследования правоты крестьян непременно должен приехать «царев сродник», и, действительно, в скором времени появилась там таинственная личность в простой солдатской шинели, которая и выдавала себя за великого князя Константина Павловича. Хотя принятые местным начальством меры и остановили волнение

в самом начале и хотя Лже-Константин скрылся, однако в народе осталась уверенность, что Константин жив и, рано ли, поздно ли, примет деятельное участие в судьбе бедных крестьян.

Такая уверенность крестьян не была местным явлением и не составляла принадлежности крестьян одной Оренбургской губернии. Напротив, убеждение в том, что Константин-князь жив и придет на спасение угнетенных, так глубоко засело в уме народа, что он лелеял его до самой крестьянской реформы, именно до 19 февраля 1861 года, так что перед самым своим освобождением стал уже смешивать в своем понятии два одинаковых имени — великого князя Константина Павловича и великого князя Константина Николаевича.

Действительно, перед самой крестьянской реформой в Саратовской губернии взята была местною полициею неизвестная личность, которая называла себя великим князем Константином Николаевичем. Это был молодой парень, который ходил по деревням и сообщал крестьянам за тайну, что он послан от «брата» своего приготовить народ к свободе, что «брат» давно порешил «ослобонить вчистую своих любезных мужичков», но дабы «глупые мужички напрасно не обижали господ», которые для его «брата» такие же «дети, как и мужички», он приказал своему меньшому брату под рукою вразумить народ и подготовить его к мирному освобождению от помещичьей власти. Эта странная личность взята была за бесписьменность как бродяга, потому что все внешние признаки говорили в пользу того, что разгласитель вестей о свободе был из разряда тех горемык, которые бродят по миру неведомыми путями, кормятся неведомыми средствами, и когда попадаютя в руки властей, то называют себя непомнящими родства. Взятый в Саратовской губернии самозванец далеко не был настолько искусен, чтобы поставить себя в такие отношения к крестьянам, в какие стал оренбургский самозванец, сведения о котором сообщает г. Серeda: по донесению местной полиции, саратовский самозванец ходил в нагольном тулупе, в лаптях и имел другие принадлежности костюма самые бедные, чем, по-видимому, и возбуждал во всех еще большие подозрения.

Но, оставляя в стороне этого новейшего самозванца, о котором мы упомянули лишь для того, чтобы показать, что самозванство, которое составляет как бы историческую черту в русском народе, перешло через всю его историю

и едва ли заключило свой исторический цикл с великим актом освобождения крестьян, мы обратимся к другому самозванцу, который является предшественником оренбургского и сведения о котором мы почерпнули из архива города Петровска.

В 1826 году, во время рождественских святок, в селе Ошметовке появилась неизвестная личность, с которою находились два солдата. По селу стали ходить слухи, что личность эта называет себя «непозволительным именем» и что находящиеся при ней солдаты «всех в том уверяют». Таинственная личность также одета была в солдатское платье, но находящиеся при ней солдаты, видимо, оказывали ей «великое почтение, какое подобает высокому лицу». В селе стали говорить, наконец, что таинственный человек, одетый в солдатское платье, был «сам царевич» и что другие солдаты были переодетые генералы. Приехали они из соседнего села на тройке, и привезший их ямщик, на вопросы крестьян, кого он привез, отвечал: «Я привез вам благодать: ежели сумеете заслужить, то вам великое добро будет». Крестьяне из любопытства стали толпиться около той избы, в которой остановились приезжие, и все село встревожилось странными слухами, ходившими насчет приезжих. Сельские власти, недоумевая, как им действовать, и в то же время боясь ответственности в случае какого-либо недосмотра на другой день отправились к приезжим. Те сидели в это время в избе и пили чай. Когда староста вошел в избу, его пригласили сесть и угостили чаем. Староста долго не смел приступить в расспросам. Наконец он решился коснуться этого щекотливого дела стороной, боясь навлечь подозрение или «каким своим неумыслим» обидеть приезжих, в случае если они «точно знатные лица, как об этом сказывали».

— Кто вы такие будете? — спросил староста.

— Кто мы будем, про то Бог ведает, а кто мы были, об том знают в Петербурге, — отвечал один из солдат, но только не тот, который «от них за кого-либо иного почитаем был».

Этот «иной» сидел молча и читал какую-то книгу. После оказалось по следствию, что это были «святцы церковной печати».

Староста между тем дал понять таинственным гостям, что с него начальство очень строго взыщет, если он по своей «крестьянской темноте» сделает что-либо не так, как закон велит.

— Я вам дам другие законы — легкие, — сказал тот, который читал книгу, а потом спросил: — Кто у вас губернатор?

Староста назвал фамилию губернатора.

— Вашего губернатора я знаю, — сказал читавший книгу проезжий, — он у меня бывал во дворце, в Петербурге.

Так показывали на следствии, при допросах, сельские власти названного села. Десятский же Архипов показал, что дело происходило не совсем так. Когда староста спросил приезжих: «Кто вы такие?» — те отвечали:

— Не вам нас спрашивать и не нам вам отвечать.

Когда же староста настаивал на том, чтобы они сказали о себе правду, а иначе он будет отвечать перед начальством и губернатором, тот, которого считали главным между приезжими, сказал:

— Я вашего губернатора в бараний рог согну.

В другой раз на какое-то замечание десятского о губернаторе он высказал «с сердцем»:

— У меня в Петербурге такие, как ваш губернатор, у порога стоят и, стоя на одной половине, руки по швам держат.

Понятно, что все это ставило сельские власти в большое недоумение, и «от робости» они не знали, что им делать, как потом показывали на допросах. Хотя они не вполне верили словам проезжих, однако не могли, да и не смели уличать их в обмане, во-первых, потому что не знали, как это сделать, а во-вторых, потому, что по своей «крестьянской темноте» могли предполагать в проезжих, действительно, что-либо важное. Они боялись настойчиво требовать от них доказательства того, кто они такие, и в то же время сообщали, что если эти люди приехали свободно из соседнего села и если в том селе не только их не остановили, но привезший их ямщик говорил даже, что «привез благодать», то, быть может, и в самом деле тут кроется какая-нибудь «благодать». Самовольным же задержанием или арестованием неизвестных людей они, как им казалось, могли навлечь на себя великую беду, когда проезжие, не стесняясь, говорили, как власть имеющие, что им ничего не стоит согнуть в бараний рог губернатора и что губернаторы у них в Петербурге дальше порога ступить не смеют.

Как бы то ни было, сельские власти села Ошметова не приняли никаких мер к задержанию подозрительных людей и вообще, как видно, не обратили на это обстоятельство особенного внимания. Однако, как оказалось впо-

ледствии, крестьяне довольно горячо приняли известие о том, что к ним в село приезжал царевич, хотя, тем не менее, понимали, что это важное для них событие следует до поры до времени хранить в тайне, как это им и приказано было от мнимого царевича. Когда на двор начали приходить любопытствующие крестьяне, мнимые генералы объявили им, что о приезде «великой особы» они не должны разглашать, чтобы о том не дошло до начальства и в особенности до губернатора, так как «великая особа» разъезжает теперь тайно, с целью лично узнать на месте, каким обидам от начальников подвергается простой народ, чтобы потом всех «неправых» начальников, а также и губернатора, сменить и наказать. Когда же вследствие этого некоторые из крестьян, по своей «простоте и глупости», как сами потом признавались следственному чиновнику, стали заявлять мнимым генералам свои жалобы «на бедность», последние отвечали им, что находящаяся с ними великая особа пришлет к ним «верных чиновников, которые и разберут все по-божески».

К вечеру того же дня мнимый царевич вместе с своими двумя спутниками выехал из Ошметова. Хозяину, у которого он останавливался, подарил он полтинник, и, когда тот отказывался от денег, мнимый царевич сказал, что за его хлеб-соль он наградит хозяина милостиво, когда придет время ему «открыться перед всеми», но что пока оставляет гостеприимному хозяину этот полтинник, с тем чтобы мужик его помнил и молился об его здравии. Выехал самозванец из Ошметовки на обывательских лошадях, и с тех пор ни его самого, ни его спутников никто в Ошметовке не видел.

II

Так прошло более полугода, и слухи о царевиче замолкли. Знали ли местные губернские власти о появлении и исчезновении самозванца, принимали ли какие-либо меры к отысканию его — из имеющихся у нас сведений не видно. Можно только полагать с достоверностью, что из Ошметовки ни до одного города, ни до губернского, ни до уездного, не дошли официальным путем вести о событии, которое, по-видимому, и крестьяне стали мало-помалу забывать.

Между тем летом следующего года взбунтовалось одно большое село Балашовского уезда, населенное малороссия-

нами, именно Романовка. Село это всегда отличалось неповиновением властям. Сначала бунт имел совершенно пассивный характер: крестьяне уклонялись и от работ в пользу помещика, и от всякого оброка. Между тем они имели постоянные сходки и таинственные совещания, на которые не допускались сельские власти. Так как за прежнее время на них накопилась значительная недоимка, то они добивались разными уловками, чтобы эта недоимка была с них сложена. Для этого они тайно требовали от экономического конторщика, чтобы он отдал им экономические конторские книги или уничтожил их, но, когда он этого не сделал, некоторые из крестьян ночью забрались в контору и, связав конторщика, требовали от него выдачи книг. Конторщик и в этом случае остался непреклонным и не сказал крестьянам, где у него спрятаны книги.

Тогда один из бунтовщиков сказал своим товарищам:

— Зачем мы его связали? Пускай он подавится своими книгами, а мы денег платить не станем.

Другой из бунтовщиков говорил при этом:

— Нам старых книг не надо: у нас скоро будут новые книги, белые.

Когда же конторщик сказал, что за неповиновение и ночной грабеж бунтовщиков сошлют в Сибирь, то первый из упомянутых крестьян отвечал:

— Мы вашей Сибири не боимся: теперь от нас государь ближе, чем от вас губернатор.

— Какой государь? — спросил конторщик, которого удивили последние слова крестьянина. — Государь император в Петербурге и вашего дела не знает.

— Был государь в Петербурге, а теперь в Романовке, — отвечал крестьянин.

Конторщик впоследствии показывал, что он не обратил внимания на последние слова крестьянина, полагая, что они сказаны им «спьяну и с глупости».

При всем том о неповиновении крестьян и о нападении на конторщика доведено было до сведения местной полицейской власти. Но пока исправник прибыл в Романовку, крестьяне еще более ожесточились, и бунт пассивного сопротивления перешел к угрозе, а сходки начали происходить открыто. Одни из крестьян настаивали на том, чтобы выбрать из своей среды ходоков и послать в Петербург; другие утверждали, что в Петербург посылать незачем, что «закон сам к ним придет»; третьи, наконец, требовали отправления гонца к губернатору, чтобы уведомить его о том, что если

он не примет сторону крестьян, то ему «на месте не усидеть». Однако ни ходоков, ни гонцов никуда не отправили, а продолжали шуметь дома и, по-видимому, не решались ни на какие меры. Впрочем, никого из сельских экономических начальников не обижали, может быть, собственно, потому, что и начальники их не трогали.

Через несколько дней прибыл исправник. Крестьяне встретили его мирно, и, когда оповестили сходку, на сходку явилось почти все село. Хотя собрание было шумно, но беспорядков и буйств никто не затевал, только при появлении исправника крестьяне, видимо, не хотели снимать шапок.

Исправник спросил стоявших впереди стариков:

— Вы чем недовольны?

— Мы всем довольны, — отвечали старики.

— По какому же поводу вы не повинуетесь начальникам?

— Начальников мы слушаем, а что они не по закону приказывают, того исполнять не хотим, — говорили крестьяне.

— Что же они не по закону вам приказывают? — спросил исправник.

— Они делают неправильные начеты, — говорили одни.

— У них фальшивые книги, — кричали другие.

В толпе слышны были крики: «Они воруют у нас дни!.. Они утаивают наш оброк!»

Исправник обещал разобрать дело и обнаружить злоупотребления, если они действительно существовали. Но недовольные, прикрываясь в толпе друг другом, начали «свистать и уськать на г. исправника, как на собаку», по выражению полицейского правления, а некоторые кричали:

— Поздно разбирать дело! Мы его сами давно разобрали.

Старики, которые стояли впереди круга, составлявшего крестьянскую сходку, обращались назад к недовольным крикунам и просили их не шуметь. Но крикуны облаяли самих стариков, выговаривая им укоризненно: «Есть бы вам лучше кашу, а в громадское дело не мешаться».

Обиженные этими возгласами, старики приняли сторону исправника. К ним присоединились и другие крестьяне, менее раздраженные, и таким образом вся громада разделилась на две партии. Исправник, который начал было терять при-

сутствие духа и не знал, как ему благополучно выбраться из громадского круга, ободрился разногласием громады и требовал, чтобы недовольные выступали вперед для объяснения своих претензий. Этим способом он намеревался узнать имена коноводов движения, чтобы, записав их, поступить с бунтовщиками по закону. Но крестьяне поняли уловку исправника и не выдали своих зачинщиков и советников.

— Кто из вас хочет говорить со мною? — спрашивал исправник. — Выходи вперед!

— Никто не хочет с тобою говорить, — слышались голоса из толпы, — мы знаем, с кем говорить.

Тогда исправник приказал согласно с ним партии силою ввести в круг зачинщиков. Но крестьяне не решались выдавать своих товарищей, и, когда исправник взял с собой двух полицейских служителей и одного крестьянина, который должен был указать в толпе на зачинщиков смуты и на крикунов, крестьяне сомкнулись в густые ряды и исправник не мог выйти из громадского круга. Однако и в этом случае крестьяне действовали осторожно, с полным сознанием того, что бунтовать не следует, т.е. опять-таки бунтовали, так сказать, пассивно, как это почти всегда делается во время крестьянских смут, когда бунтовщики еще не выведены из своей спокойной самоуверенности какою-либо слишком резкою мерою или ошибкою начальства, вроде превышения власти, забывчивости в пылу спора и т.п. Когда полицейские служители силились протиснуться в толпу, чтобы взять там крикуна, которого движение или задирчивый голос они заприметили, крестьяне стояли как вкопанные в землю и ни один из них даже не оттолкнул от себя полицейского. Только когда полицианты хватали намеченную ими личность за руки и старались притащить к исправнику, прочие крестьяне держали эту жертву сзади, не позволяя ей двинуться с места, или расступались, давая ей возможность укрыться за своими спинами, и таким образом всякий раз полицейские встречали в толпе пассивное сопротивление, но на буйство и насилие не могли пожаловаться.

При всем том, хотя со стороны крестьян не было ни буйства, ни насилия, однако положение исправника становилось в высшей степени щекотливым. От крестьян он не мог ничего добиться, и, таким образом, проезд его должен был казаться ему самому или неуместным или по малой мере бесполезным. Крестьяне, по-видимому, и не бунтовали, но в то же время не хотели и говорить с ним о том деле, по которому собственно и приехал к ним представитель уездной власти. Кре-

стьяне не хотели даже, чтобы исправник вмешивался в их дело, говоря: «Поздно разбирать дело: мы его сами давно разобрали». Но как бы то ни было, представитель местной власти, по своей прямой обязанности, должен был непременно разобрать дело на месте и, по возможности, уладить эти серьезные столкновения крестьян с их экономическим начальством, тем более что от неповиновения крестьян страдала владельческая экономия, а между тем ходили смутные слухи, что в этом начинающемся бунте виновато чье-то тайное подстрекательство, что даже не крикуны были действительными зачинщиками смуты, а кто-то другой, о котором крестьяне умалчивали, хотя два-три голоса неосторожно выкрикнули на сходке, что, не желая говорить с исправником, они «знают, с кем говорить». С кем же? Исправник слышал эти возгласы, но почему-то не спросил крестьян, к о г о именно разумеют они под тем, с кем намерены говорить о своем деле: или он не нашелся что сказать, или считал небезопасным заговаривать с раздраженными крестьянами о таком предмете, который, как, вероятно, и он сам догадался, может быть затронут только тогда, когда местная власть будет чувствовать себя более сильною. Конечно, напуганный исправник не мог не догадаться, что крестьяне, державшие себя до сих пор довольно тихо, могли разразиться взрывом, и тогда для исправника не было никакого спасения.

Так, по крайней мере, мы должны понимать его действия в этой смуте, не имея других, более определенных указаний. В бумагах же, относящихся к этой смуте, мы нашли только голые факты и краткие, иногда разноречивые показания той и другой стороны. Впрочем, из бумаг видно, что до сих пор никем еще не было упомянуто имени самозванца, кроме разве того, что во время позднего нападения на квартиру конторщика крестьяне, связавшие этого последнего и старавшиеся вынудить его отдать им конторские книги, проговорились, что «государь теперь — в Романовке». Но конторщик сделал это показание уже гораздо позже, а может быть, и сам выдумал его, когда все заговорили о самозванце.

Но, как ни было опасно положение исправника, тем не менее он должен был так или иначе действовать, чтобы не дать крестьянам заметить унижения, в которое он был поставлен. Обращаясь к старикам, он сказал, что рассмотрит конторские книги и отберет показания как от крестьян, так и от экономической конторы. Но крестьяне не дали ему договорить и «с азартом» закричали:

— Вы заодно с конторой плутуете!

— Тебе контора кума: ты с нею всех наших гусей и индюшек перевел¹.

— Поезжай с Богом домой, пока цел, — шумели прочие крестьяне.

Таким образом, первая поездка полицейских властей в Романовку не привела ни к каким положительным результатам. Власти могли только донести по начальству, что крестьяне упорствуют в своем неповиновении, что исправника почти силой вынудили уехать из села и что даже самая жизнь его подвергалась опасности, если бы старики не остановили бунтовщиков.

Но о самозванце и теперь еще ничего не было сказано в бумагах, хотя все это было его дело, как окажется впоследствии.

Все эти обстоятельства вынуждали местное начальство принять энергические меры для подавления крестьянского волнения в Романовке, так как оно непременно должно было отразиться подобными же волнениями и в прочих местах, как только распространился бы в сельском населении слух о романовских смутах. Крестьянские волнения вообще заразительны, и, как бы из подражания, целые местности начинают волноваться потому только, что из какого-нибудь села выйдет слух, будто крестьяне зарывают живыми в землю за то, что они не хотят сеять картофель², или что какой-нибудь льготный указ припрятали становые по единомыслию с господами и не объявляют о нем крестьянам. Эти явления весьма обыкновенны в истории народных движений как прошлого, так и нынешнего века.

Военная команда прибыла в Романовку в самое рабочее время. Крестьяне большею частью находились на полях, и потому солдаты свободно расположились квартирами в селении и, по обыкновению того доброго старого времени, стали истреблять не только крестьянских гусей и индеек, но кур и баранов. Крестьяне, по-видимому, были сильно смущены появлением в их селе военной силы, тем более что все они чувствовали себя виновными перед местными властями. Тотчас же оповещено было, чтобы все крестьяне собирались на сходку. Испуганные крестьяне медлили сбором. Некоторые из

¹ Во время следствия некоторые показали, что это обвинение (будто исправник вместе с экономической конторою поели всех крестьянских гусей и индеек) сказано было отставным солдатом Грищенкой, а не крестьянами.

² Так называемым крестьянским «картофельным бунтам» мы намерены посвятить особое исследование.

них, остававшиеся в селе во время вступления в него команды «с барабанным боем», до того упали духом, что побросали свое хозяйство, дома, детей и бежали из села, думая скрываться до тех пор, пока не кончится дело, принявшее такой крутой оборот, и пока солдаты со всеми прочими властями не оставят Романовки. Другие же, возвращаясь с полей и находя у себя на дворе солдат, тихонько опять возвращались в поля. Третьи, наконец, хотя и не прятались, но на сходку неохотно собирались. Тогда оповещено было, что всех не явившихся на сходку запишут по домам и тогда поступлено будет с ними, как с прямыми ослушниками указов и бунтовщиками.

Ввиду таких угроз, крестьяне должны были повиноваться. Но, как и следовало ожидать, на сходку явились только те, которые считали себя или вовсе невинными, или сравнительно мало виновными; те же, которые сами понимали, что на них обрушится вся тяжесть обвинения, или те, которые более всего кричали во время последней сходки в присутствии исправника, уклонились от сходки, иные из них долго скрывались в окрестностях, третьи пустились в бега, а были и такие, которые пропали без вести, по крайней мере, этих пропавших долго разыскивали и не могли отыскать.

Когда сходка собралась и исправник вместе с начальником военной команды, чиновником, присланным от губернатора и несколькими солдатами с барабанщиком вступили в громадский круг, крестьяне сняли шапки, и некоторые из них перекрестились. Исправник требовал, чтобы крестьяне указали на зачинщиков смуты. Крестьяне говорили, что они не виноваты.

— Выдавайте зачинщиков, — повторил губернаторский чиновник.

— У нас нет зачинщиков, — отвечали крестьяне.

— Выдавайте, — настаивал чиновник, — в противном же случае вас всех пересекут

— Секите — ваша воля, а мы не виноваты.

Когда чиновник распорядился, чтобы подвезли розги, которыми наполнена была телега, стоявшая на конторском дворе, некоторые из крестьян бросились бежать.

— Стойте! — кричал начальник команды. — Закон повелевает стрелять в ослушников, и я прикажу стрелять в вас.

Испуганные старики просили громаду остановиться, потому что бегством они всех погубят. Но крестьяне продолжали быстро расходиться, и начальник команды приказал барабанщику бить сбор.

Едва раздался бой барабана, как крестьяне, прежде столь робкие, но теперь увлекаемые чувством самосохранения, бро-

сились к ближайшим плетням и в мгновение разобрали их, выдергивая колья и вооружаясь ими. Иные кричали: «У нас у самих есть ружья — и мы тоже будем стрелять». Быстро двигались к месту собрания солдаты и, по команде офицера, старались оцепить крестьян. В то время на колокольне раздался набатный колокол, в который ударили бежавшие с сходимки крестьяне, вероятно, желая набатом вызвать в село всех, кто был в поле или скрывался. Начальник команды приказывал крестьянам, чтоб они побросали колья. Те не слушались. Он грозил, что сейчас скомандует к ружью. Крестьяне продолжали держать колья.

Тогда начальник скомандовал, и солдаты подняли ружья. Он скомандовал к прицелу. Минута была решительная. Некоторые из крестьян побросали колья. Другие кричали: «Стреляй, душегуб!» Видно было, что некоторые из ожесточенных крестьян готовы были броситься или на солдат, или на начальников («с своей стороны вознамерились атаковать их», как говорится в бумагах). Оставалось только сказать последнее слово команде или махнуть платком.

Старики упали на колени и просили пощады и за себя, и за других провинившихся. Со всех сторон сбегались женщины и дети с плачем. Солдаты продолжали стоять с поднятыми ружьями, целясь в крестьян и ожидая команды. Но команды, к счастью, не последовало; а, напротив, по условному знаку, данному командиром, солдаты опустили ружья. Крестьяне, с своей стороны, начали бросать колья и подвигаться к полукругу, образованному стариками и другими крестьянами около начальства.

Первый пыл прошел, и настала более спокойная разборка дела. Крестьяне говорили, что они не виноваты ни в чем; но когда начальники опять стали требовать или выдачи, или указания зачинщиков и подстрекателей, крестьяне уверяли их, что с ними нет ни зачинщиков, ни подстрекателей, что если они и были, то теперь они никого из них не видят на сходке, что они, вероятно, скрылись. Крестьяне доказывали свою невинность тем, что они не прятались, а сами пришли в громаду, а что, в противном случае, если бы они действительно были бунтовщики, то вышли бы на сходку вооруженные кто чем мог и встретили бы солдат тоже с ружьями, «коих в селе у крестьян, производящих охоту на зверей и птиц, имеется значительное количество».

Как бы то ни было, по указанию конторы взяты были некоторые из крестьян и на сходке, при всем народе, висечены. Но и при этом они продолжали выражать жалобы, что началь-

ство экономическое (помещичьи приказчики и конторщики) притесняет их и вообще обременяет излишними работами и незаконными поборами; что отдача в рекруты из их села производится неправильно; что бреют бедных и одиночек, а богатых оставляют дома и освобождают от солдатства помимо всякой очереди; что не позволяют пахать для посева удобную землю, а отдают крестьянам неудобную, тайно от владельца уступая посторонним арендаторам и другим съемщикам те земли, которые, по праву, должны бы быть запаханы романовскими крестьянами, и что, наконец, оброчные конторские книги ведутся неправильно, к явному притеснению крестьян. Для удовлетворения крестьянских претензий приняты были надлежащие меры, но привели ли эти меры к искомому крестьянами результату, ниоткуда этого не видно, а всего скорее надо полагать, что ни к чему не привели, так как и по настоящее время в Романовке крестьянские смуты не прекращаются, несмотря на энергические меры местных губернских властей к успокоению умов обитателей этого беспокойного села¹.

Самый бунт, однако, был усмирен, и волнение не имело серьезных последствий. Это легкое, без пролития крови, усмирение бунта, который мог кончиться весьма печальным образом, зависело от тайных, одним крестьянам известных причин, которые мы намерены выяснить по возможности с доступною нам полнотью.

III

Мы сказали выше, что, когда три неизвестные личности, из которых одну называли «царевичем», скрылись из села Ошметовки, никто не мог сказать, куда они девались. Ош-

¹ Так, еще недавно, именно в 1868 году, по случаю недоразумения между крестьянами этого села и владельческой экономией относительно земельного надела, для усмирения Романовки посылались военные команды. Замечательно, что, когда началось волнение в Романовке, крестьяне, до прибытия туда губернатора, обвиняли одного из служителей владельческой экономии в том, будто он утаил какую-то важную бумагу, и, когда он запирался, его заставляли есть землю и лошадиный кал, в доказательство того, что он невинен. Этот народный суд напоминает древние ордалии или суд Божий, когда обвиняемого заставляли брать голою рукой раскаленное железо, вынимать голою рукой из кипятка какую-нибудь вещь или со связанными руками и ногами бросали в воду, и если обвиняемый не погружался в воду, то считался виновным (по «Русской Правде» — это суд «железом» и «водой»). Этот суд был у всех младенствующих народов, в том числе у славян и русских.

метовский ящик, с которым они выехали из этого села, показывал, что они оставили его в селе Сердобе среди базара. По собранным же потом справкам, в Сердобе их никто не видал, а может быть, и многие видели, но во время следствия признаваться в том боялись.

Таким образом, следы самозванцев были на время потеряны.

Но в конце Великого поста 1827 года, на самой Страстной неделе, в Романовке появились три солдата, которые, по всем видимостям, были те же самые, что своим появлением наделали шуму в Ошметовке и встревожили местные сельские власти. За кого выдавали они себя и как вошли в доверие к крестьянам — неизвестно, но следует предполагать, что в Романовке они действовали гораздо осторожнее, чем в Ошметовке, и тем отвлекли от себя преждевременные подозрения. В Романовке они, как видно, не тотчас же разгласили, что между ними находится «высокая особа», что сам «царевич» разъезжает тайно по России, чтобы секретно ознакомиться с нуждами, с тяготами своего народа для избавления этого народа от нужды и для защиты от притеснения сильных, богатых и начальствующих людей. Так, по крайней мере, можно судить по тому, что романовские власти ничего не знали о пребывании в их селе мнимого царевича и таких важных гостей, как его самозванные генералы, тогда как в Ошметовке, в первый же день приезда их, народ уже толковал, что к ним в село наехала «благодать», и толпился около двора, где остановились бродяги.

Со времени прибытия самозванца в Романовку сначала не заметно было никакого волнения между крестьянами; но в мае месяце уже начались беспокойства, и с тех пор дерзость крестьян возрастала с каждым днем. Тут же начались и таинственные крестьянские сходки, но не на улице, не около конторы, а по домам, без ведома экономических властей. Оказалось, что крестьян мутили прибывшие в село три солдата, проживавшие там тайно от властей. Они сначала говорили стороной, что находящаяся с ними особа имеет власть всех миловать и казнить и что они, видя притеснения, делаемые крестьянам, намерены «подумать с ними» об их деле, узнать всю правду и потом решит это дело так, чтобы «правого не обидеть». Но когда крестьяне спрашивали их, кто они такие, они отвечали, что им «заказано говорить» это от того третьего лица, которое находится вместе с ними, пока из Петербурга не дадут ему знать, что «настал час открыться всей России, кто он есть и для чего он теперь не на своем месте». Самозванец же в это время нигде не показывался и почти не выходил из пустой хибарки остав-

ного солдата Дениса Руденкова, где он проживал, проводя большую часть времени в чтении священных книг. Затем мнимые генералы открыли Руденкову под глубочайшею тайной, что у него проживает сам великий князь Константин Павлович, который будто бы по случаю бывшего в Петербурге бунта должен на короткое время скрываться, так как враги его намерены были погубить великого князя и для этого подучили поляков; что великий князь, проживавший до того времени в Польше, уехал оттуда тайно и намерен воротиться в Петербург, когда можно будет «открыться всей России».

Руденков пожелал видеть самозванца, и был введен к нему в хибарку.

— Ты где служил, любезный? — спросил его самозванец.

— В Петербурге, в павловском полку, — отвечал Руденков.

— Так ты нашу царскую фамилию часто видел?

— Когда на карауле стоял, то сподобился видеть.

— Так ты меня признаешь? — спросил самозванец.

Руденков молчал.

— Я — великий князь Константин Павлович. Признал ты меня?

— Теперь признаю, ваше высочество, — отвечал Руденков, который «от робости не знал, что говорить»¹.

Самозванец объявлял о себе то же, что говорили и его мнимые генералы, и запрещал доносить по начальству. Между тем некоторые из крестьян проведали, может быть, от самих же спутников самозванца или от Руденкова, что в их селе находится великий князь, и с тех пор в Романовке начались беспокорства, о которых мы говорили выше. Некоторые из крестьян были допущены к самозванцу, говорили с ним и от него самого слышали, что «скоро он всех их отберет от помещиков», что с государем они, «давно обдумали» это дело, но приведут его в исполнение так, чтобы помещики не могли «помешать» им в этом.

Вследствие этого крестьяне, полные надежд, начали смелее относиться к своим сельским начальникам, отказывались исполнять их требования, не выходили на работы, когда того требовал наряд, приостановили взнос оброков и, наконец, дошли

¹ Когда следственный чиновник спрашивал впоследствии Руденкова, почему он в свое время не объявил о самозванце по начальству, тот отвечал, что «сделал то от великой робости, ибо великого князя в лицо не помнит, а потому опасался донести ошибочно, при том же названный человек (самозванец) ему настрого запретил объявлять о себе».

до явного бунта, когда на сходке укоризненно относились к исправнику и ругали его в глаза.

В то время когда исправник в первый раз приезжал в Романовку, самозванец, как оказывается, был еще в этом селе. Его присутствие, без сомнения, и побуждало крестьян действовать дерзко и грозить своим властям. Оттого они говорили, что от них «государь ближе, чем губернатор», что они «знают, с кем говорить» им о своем деле. Но приезд исправника вместе с тем имел важные последствия. Когда самозванец увидел, что положение его становится небезопасным, что когда крестьяне, ободренные обещаниями самозванца, обошлись так дерзко с исправником, что тот чуть не бежал со сходки, — он не мог не сообразить, что на этом дело не остановится, что вслед за исправником может явиться для усмирения Романовки губернатор, что могут нагрянуть и военные силы для подавления мятежа, и тогда, рано ли, поздно ли, присутствие самозванца в этом селе по необходимости откроется. Он не мог не видеть, что роль его кончается, и долее оставаться на месте было бы слишком рискованно. Вследствие этих соображений, ему во что бы то ни стало следовало выбраться из Романовки, и если можно — под благовидным предлогом. И он, как оказывается, выбрался оттуда не только под благовидным предлогом и вполне благополучно, но даже с большими выгодами для себя.

Для этого самозванец прибег к уловкам, свойственным подобного рода искателям приключений, и обманул не только правительственные власти, ускользнул из рук правосудия, но обманул и крестьян, которые ему верили и на него полагались. Так, по крайней мере, мы можем объяснять его действия по отрывочным фактам, найденным нами в бумагах.

Мнимые генералы его, после отъезда из Романовки исправника, освистанного на сходке, видя, что некоторые из крестьян начали опасаться дурных последствий за свои буйства перед исправником, а может быть, и обнаруживали уже сомнения насчет самозванца и его подозрительных спутников, стали успокаивать крестьян, что им бояться нечего, что великий князь не даст их никому в обиду. Для этого, говорили они, он намерен уведомить государя о стеснениях, делаемых крестьянам, и тогда государь немедленно защитит их от обиды, выслав к великому князю свой указ с «фельдъегерем». Они прибавляли, что великий князь мог бы защитить крестьян своим именем, но пока он не должен никому открывать своего настоящего звания, до тех пор и не может действовать самовластно. Они объявили, что великий князь намерен послать

одного из них с письмом к государю, и потому для этой поездки необходимы деньги, которых у великого князя было немного, так как, разъезжая по России тайно, в одежде простого солдата, он не мог возить с собою значительной суммы, а брал, что ему нужно было, в любом казначействе по предъявлении «бумаги от министра финансов».

Крестьяне, на которых, как видно из истории всех самозванств, в подобных случаях нападает какое-то потемнение, поверили нелепым выдумкам мнимых генералов, подобно тому как они, например, верили Пугачеву, когда тот, показывая им у себя на груди золотушные шрамы, говорил, что это «царские знаки», или как, во время гайдаматчины, верили они, будто императрица Екатерина II прислала им ножи, которыми они должны, окропив эти ножи святою водою, резать поляков. Романовские крестьяне тотчас же собрали довольно значительную сумму («а сколько именно сот рублей, того ни в каких документах, а тем паче в расписках не значится») и вручили ее солдатам.

Но в следующую затем ночь мнимый великий князь и мнимые его генералы исчезли из Романовки. О побеге их не знал даже Руденков, у которого в хибарке жил самозванец. Крестьяне узнали о своем несчастье только на следующий день, и только тогда в уме их родилось подозрение, что они обмануты¹.

Вот почему они так упали духом когда, вскоре после того прибыла к ним для усмирения волнения военная команда, и вот почему бунт, которого не могли не опасаться местные власти, был потушен так легко и без всякого кровопролития.

Что приезжавшие в Ошметовку три неизвестных солдата были тождественны с теми лицами, которые находились потом в Романовке, это подтверждается показаниями крестьян, видевших их в том и другом селе, и одинаковыми приметами. Все они имели, поверх полушубков, солдатские шинели. Тот, которого называли царевичем, был высокого роста, гораздо выше обоих своих товарищей, имел серые глаза, на голове русые волосы с небольшою лысиною от лба и во время разговора заикался. Один из его спутников был рябой («лицо шадроватое»), а у другого на щеке большая родинка («родимое пятно величиною в крупную горошину»). Самозванец имел при себе книгу, которую часто читал и которую оставил потом в Романовке. В Ошметовке крестьяне видели эту книгу. Впрочем, на след-

¹ В хибарке, в которой жил самозванец, после его побега нашли только оставленные им святцы.

ствии никто из романовских крестьян не сознавался ни в том, что между ними жил самозванец, ни в том, это они для него собирали деньги. Они говорили, что деньги начали было собирать для того, чтобы послать ходоков в Саратов к губернатору, а если губернатор для них ничего не сделает, то намеревались послать в Петербург стариков с просьбою, чтобы они «дошли до государя императора». Когда же Руденков сознался, что у него действительно проживал неизвестный солдат, которого он принял к себе «по христианству, как сам будучи солдатом», то крестьяне говорили, что они ничего не знают, и называл ли себя тот солдат «недозволенным именем», они тоже о том не слыхали, тем более что у них в селе, столь многолюдном, всегда прохожего и проезжего народу много. Когда же им поставили на вид показание конторщика о том, что, когда на него ночью напали трое из бунтовщиков, двое из них — Омельченко и Сорока — похвалялись, что теперь «до государя ближе, чем до губернатора», и что государь теперь в Романовке, крестьяне отвечали, что были ли ночью «наглым образом» в конторе Омельченко и Сорока — они не знают, а равно похвалялись ли тем, что им «до государя ближе, чем до губернатора» и что сам государь теперь в Романовке — им тоже неизвестно, самих же Омельченка и Сороки давно в Романовке нет и куда они отлучились, о том должна ближе всего знать экономическая контора.

Омельченко и Сорока были, как видно, коноводами возмущения и потому скрылись из Романовки раньше всех, чувствовавших себя виновными. По крайней мере, в то время когда в село явилась военная команда для экзекуции, их уже никто не видел в Романовке. Вообще присутствие самозванца в Романовке подтверждал один только Руденков; другие же крестьяне, бывавшие у него и у самозванца в хибарке, говорили, даже на очных ставках, что бывали у Руденкова «по соседству и видывали у него неизвестного им солдата, в разговоре с коим у них «никакого касательства о предметах неподлежащих не было» и об «августейшей фамилии ими не говорено ничего пустого, а говорили о государе императоре и августейшей фамилии, как подобает верноподданным, с должным благочинием, и за его императорского величества здравие каждодневно и в церкви, и дома молятся».

Руденков, с своей стороны, показывал, что он потому раньше не донес о самозванце и бывших с ним неизвестных солдатах, что все они ничего «неприличного или ко вреду его императорского величества клонящегося» не говорили, а между тем Руденков, который не мог быть положительно уверен,

похожа ли личность, выдававшая себя за великого князя, на того, за кого себя выдавала, чистосердечно сознавался в своей «ошибке» и со слезами¹ говорил, что он не донес о самозванце единственно из боязни, так как его не покидало сомнение, что, быть может, таинственная личность и в самом деле не кто иной, как великий князь, который объявлять о себе на- строго запретил².

IV

Только после всего этого местные власти узнали, что волнение в Романовке происходило не вследствие обыкновенного недовольства крестьян своим положением, а потому, что их подстрекал к бунту самозванец и его соумышленники, хотя крестьяне не сознавались в этом. Во всяком случае, местные власти не могли не быть убеждены, что смута произошла не без внушений со стороны неизвестных бродяг. Надо было принимать меры к розыску неизвестных возмутителей, приметы которых были более или менее известны. Но отыскивать бродяг вообще не легко, а таких, у которых в кармане довольно значительная сумма, еще труднее, потому что бродяги могли выбраться в другую губернию или в землю донского войска, и тогда розыск был положительно невозможен и, во всяком случае, бесполезен. В то время средства уездных полиций были слишком скудны, чтобы успевать следить за всем, что делалось в губернии, особенно в глухих и степных уездах, где несколько лет тому назад целые разбойничьи шайки, правильно организованные и вооруженные, с атаманами и есаулами, пропадали бесследно, несмотря на то, что для ловли их учреждены были особые «разъездные» или «сыскные команды».

Таким образом, тогдашняя администрация, особенно уездная, могла разыскивать самозванца только с помощью своих десятских, сотских и сельских начальников. Неизвестно даже, были ли разосланы куда следует сыскные повестки о самозванце, как это делается в настоящее время, при более правильной и широкой организации сыскной полицейской части, и было ли о бродягах доведено до сведения губернского начальства, так

¹ Во все время следствия «плакал и громко Богу молился».

² Впрочем, чистосердечно ли было сознание Руденкова — это еще сомнительно, так как солдат, служивший в гвардии и долго живший в Петербурге, едва ли мог быть до такой степени прост, каким он старался показаться.

как губернаторский чиновник, бывший при усмирении Романовки, успел, кажется, тотчас же уехать из этого села; и из дела не видно, чтобы о самозванце особо писано было в Саратов. Может быть, уездные власти взглянули на это дело как на простой розыск бродяг и подозрительных людей, и ограничились только местными мерами.

Но когда о розыске самозванца оповещено было по соседним уездам и весть о том дошла до села Ошметова, оттуда дано было знать в стан, что в прошлом году в Ошметово действительно приезжали неизвестные подозрительные люди, которые говорили о себе «разные нелепые речи», но «за принятыми старостою мерами, неизвестно куда скрылись»¹. Приметы их подходили к тем, которые имели и романовские самозванцы.

По этому известию уездные полицейские власти тотчас явились в село Ошметово. Начались допросы. К допросам призваны были и сельские власти, и крестьянин Савельев, у которого останавливался самозванец, и ямщик, который отвез его с двумя другими солдатами в Сердобу, и некоторые из крестьян Ошметова. Все эти привлеченные к следствию лица показали то, что мы уже знаем. Ямщик добавил только, что дорогой, когда он их вез, они между собой разговаривали о том, как в Петербурге, при восшествии на престол государя Николая Павловича, некоторые полки взбунтовались, потому что не хотели «обижать наследника цесаревича, коему на верность присягнули их командиры», и при этом, по показанию ямщика, оба спутника самозванца относились к нему как к «настоящему цесаревичу», говоря, что они ему еще раз будут присягать «перед миром». Когда же ямщик осмелился спросить их, куда они намерены ехать, один из спутников самозванца сказал:

— Наведаемся в Саратов к вашему губернатору, каков он человек, а оттоль поедем куда Бог приведет.

Другой из них говорил:

— Что-то теперь делается в Петербурге — ждут ли нас?

Самозванец же, между прочим, заметил дорогой:

— Донские казаки очень удивятся, когда я к ним приеду. Они всегда меня любили.

— Вас все любят, ваше высочество, — сказал ему на это один из спутников.

Между прочим, самозванец спросил ямщика:

¹ Мы выше видели, как и в ошметовским старостою «приняты были меры».

— Каков человек ваш губернатор, и довольны ли вы начальниками?

— Мы всеми довольны, и за губернатора, а равно и за своих начальников Бога благодарим.

— Вы должны их слушаться и ничего худого не делать, — прибавил самозванец.

— Мы слушаемся их: они наши отцы, — говорил ямщик.

Последнего разговора у ямщика, может быть, и не было с самозванцем, но он счел необходимым сам присочинить его, для того чтобы угодить становому, которого и называл будто бы «отцом и благодетелем». А может быть, самозванец продолжал и дорогой играть роль, принятую им на себя, а потому говорил со своими спутниками о декабрьских происшествиях в Петербурге, о любви некоторых полков к цесаревичу и о том, что он едет к донским казакам. Естественно было, поддерживая свою роль, заговорить с ямщиком о губернаторе и о прочих местных начальниках, чтобы еще более отуманить простого мужика.

Когда старосту, десятского и ямщика спрашивали, почему они в свое время не объявили о бывших у них подозрительных людях и о «неприличных разговорах» их, те оправдывали себя тем, что не верили тем неприличным речам, полагая, что они «болтают по пустому»; но что если они не поступили с ними как с бродягами и не допросили их, то потому, что не видели в них бродяг, а без всякого повода и без дозволения начальства арестовать их не осмелились; не смели даже настаивать на том, чтоб проезжие показали свои виды, потому что боялись по ошибке сделать что-либо противозаконное.

Между тем, когда шли допросы в Ошметове и Романовке, розыски самозванца продолжались, но безуспешно. Наконец только в половине октября попали на следы бродяг, которые, как оказывается, не выезжали из Саратовской губернии. Дерзость их дошла до того, что они явились даже в Петровске, где их присутствие и было открыто на основании примет, которые известны были местной полиции. Полицейский служитель увидел их на базаре, но пока успел позвать людей, чтобы задержать бродяг, двое из них успели скрыться, и таким образом схвачен был один только солдат. Самозванец и его спутники были уже в крестьянском платье. Несмотря на самые тщательные поиски по городу, захватить их никоим образом не могли, потому что они, без сомнения, тотчас же успели скрыться из города,

Из допросов схваченного солдата выяснилась вся предыдущая история самозванца, имеющая, впрочем, много темных сторон и много недосказанного, как и история прочих само-

званцев, действовавших как в прошлом, так отчасти и в нынешнем веке.

Схваченный солдат был бессрочно-отпускной рядовой московского полка Корнеев. В декабре 1825 года, во время известного «петербургского бунта», когда гвардейцы не хотели присягать государю императору Николаю Павловичу, по той причине, что раньше присягали наследнику цесаревичу Константину Павловичу, Корнеев не «бунтовал», и, когда многие из его полка «по приказу командиров» стреляли в «несогласных с ними», он, Корнеев, «не стрелял и других от того бунта удерживал». На верность государю императору присягал вместе с прочими. В штрафах не бывал и вообще никаким наказаниям не подвергался. В 1826 году уволен в бессрочный отпуск по билету, который им, Корнеевым, неизвестно где потерял. Дорогой, во время похода через Москву, встретился он с сослуживцем своим, московского же полка рядовым Карповым, и уговорились с ним вместе идти «на побывку» вплоть до Рязани. Перед отходом из Москвы Карпов «по секрету» открыл ему, что состоит в доверии у важной особы, и если Корнеев согласен быть с ним заодно, то он и ему «предоставит великое благополучие», прибавив к тому, что «худова в их деле ничего не будет», что он «зовет его не на разбой и не на воровство, а на службу царскую». Когда Корнеев согласился действовать с ним заодно (может быть, потому больше, что Карпов дал ему денег и обещал «большую денежную награду»), Карпов привел его на какое-то монастырское подворье¹, где и нашел он, в «монастырской горенке», ту неизвестную личность, которая выдавала себя за великого князя Константина Павловича.

— Хочешь служить брату государеву? — спросил этот неизвестный.

— Ежели по присяге, то я должен, а против присяги я не пойду, — отвечал Корнеев.

Тогда этот неизвестный стал говорить Корнееву, что он поступит хорошо, соблюдая присягу, и что такого-то именно «верного» человека и нужно.

— Я старший брат государя, — говорил он, — и изменников не люблю. Карпов говорил мне, что на тебя положиться можно. Я тебя беру с собой, и за то ты ни перед государем, ни передо мной в убытке не останешься, твоя служба за нами не пропадет. Только держи в великой тайне, кто я.

¹ «...а как то подворье называется и на какой улице, он, Корнеев, не знает и указать не может».

Корнеев на допросах утвердил, что он не сразу поверил словам самозванца, сомневаясь, «точно ли он истинный государев брат, Константин Павлович», так как великому князю, по его мнению, не от кого было скрываться, «если он не намерен делать худова»¹.

— Не сомневайся, мой друг, — говорил ему на это самозванец, — после ты узнаешь.

Корнеев, как показывал на допросе (может быть и ложно, стараясь по возможности смягчить свою вину), все еще продолжал сомневаться, «помня присягу». Тогда самозванец спросил его:

— Ты гвардеец?

— Гвардеец, — отвечал Корнеев.

— Был ли ты в Петербурге, когда гвардия бунтовала?

Корнеев отвечал, что был и товарищей своих от бунта отговаривал.

— Гвардейцы хотели, чтобы я был государем, — продолжал самозванец, — я же от престола отказался для брата, поелику видел, что брат мой способнее меня, и тем нажил много врагов и себе, и брату своему, благополучно ныне царствующему государю и императору. Сие и заставляет меня укрываться от врагов моих, дабы оные не проведали, где я².

В таких ли действительно выражениях говорил самозванец с Корнеевым и так ли именно, как записаны ответы Корнеева, говорил этот последний, или редакция его выражений принадлежит допрашиваемому его чиновнику — об этом судить трудно. Может быть даже, весь этот разговор выдуман самим подсудимым, чтобы выгородить себя в глазах правосудия тем, будто только уверенность в том, что самозванец действительно великий князь, заставила его поддаться обману неизвестного ему человека. При том подсудимый долго, как видно, не открывал ни своего звания, ни своей солидарности с самозванцем, и только вследствие очных ставок с ошметовскими сельскими

¹ «...и он Корнеев показывает, будто он тому, называющему себя великим князем, говорил, что если он ничего худова делать не намерен, то по какой причине о своем звании запрещает сказывать».

² В подлинных показаниях Корнеева записаны с значительными пометками. Иногда записывающий его показания чиновник, как видно, писал о Корнееве в третьем лице, иногда, видимо, сбивался с этого порядка и писал в первом лице. Некоторые показания перечеркнуты, как это бывает во всех черновых допросах. Мы выбрали из них только оставленные не перечеркнутыми.

властями и с солдатом Руденковым он перестал называть себя не помнящим родства.

Что он утаил большую часть своих походов, видно из той краткости, с которою он делал дальнейшие показания. Равным образом, он большею частью отзывался незнанием мест, в которых они с самозванцем появлялись заведомо, как в Ошметове, или укрывались, как в Романовке, Петровске и даже в Саратове. Обыкновенно в таких случаях фраза была: «а как то село» или «тот город называется, он, Корнеев, не знает», или «не помнит», или «отозвался незнанием».

В Москве они пробыли недолго, оставаясь на вышеупомянутом «монастырском подворье», где самозванец виделся с какими-то «старцами», и о чем говорил с ними, он, Корнеев, не слышал. Только когда они уезжали из Москвы, то бывшие на подворье старцы говорили ему и Карпову, что им «на Киргизах¹ будут рады». Выехав из Москвы, они нигде надолго не останавливались, а если и проживали в каком-либо селе, то не более дня или двух дней. Ни воровства, ни разбоя нигде не делали, потому что самозванец, как видно, имел свои деньги, а откуда он их получил, этого Корнеев не мог объяснить. В Рязани были только проездом и останавливались там для закупки провизии. В одном городе, ниже Рязани, где они останавливались на ночь и где хозяин постоялого двора спросил у них виды, они показывали ему свои виды; а в том числе показывал свой вид и самозванец, который, как видно, разъезжал под паспортом какого-то унтер-офицера, а под какой фамилией — Корнеев не знает, потому что самого паспорта не видал и самозванца об этом не спрашивал. В одном селе, в Тамбовской губернии, где самозванец говорил о себе крестьянам, что он великий князь и что «скоро придет им с курьером волю», его было хотели задержать, но он успел с своими спутниками скрыться, откуда они и дошли пешком до города Кирсанова. В Кирсанове останавливались в гостинице недалеко от базара, но никаких «нелепых толков не разглашали», а только ходили на базар, где самозванец купил себе медный образок «складной». В Тамбовской же губернии, в каком-то большом селе, они заходили в церковь, «весьма старую», когда там шла обедня, но обедни не достояли. Когда вышли из церкви, самозванец спросил своих спутников:

¹ Вероятно, «на Иргизах», где находились в то время знаменитые раскольничьи скиты, уничтоженные в сороковых годах.

— Слыхали, как августейшую фамилию за обедней поми-
нали?

— Слыхали, — отвечали солдаты, — и молились при
том о здравии государя императора и всего царствующего
дома.

— А за меня молились? — спросил он.

Солдаты отвечали, что молились и за великого князя. При
этом самозванец добавил:

— А в церкви никто же не знал, что я сам тут был.

Корнеев показывал, что самозванец был человек «набож-
ный» и даже иногда заставлял его с товарищем молиться¹.
Относительно своего пребывания в Саратовской губернии,
особенно же в селе Ошметове и Романовке, он показал то,
что нам уже известно, хоть и уверял, что романовских кре-
стьян никто из них к бунту не подстрекал, но что им кре-
стьяне сами жаловались на то, что их начальники «скоро по
миру пустят». Впрочем, добавил он, бунтовал ли Романовку
самозванец и как разглашал толки о своей особе, он досто-
верно не знает, потому что он нередко сам говорил с кре-
стьянами, без них. А что в Романовке, будто бы по их
наущению, крестьяне делали сбор, чтобы отправить кого-ли-
бо курьером в Петербург, то от этого Корнеев отпирался,
говоря, что денег от крестьян они никаких не получали, и
когда романовцы начали бунтовать, то, опасаясь в том от-
вета, ушли из Романовки тайно «по приказанию называю-
щего себя великим князем».

Что заставляло самозванца оставаться в Саратовской гу-
бернии в продолжение десяти месяцев и затем он появился в
Петровске, где его приметы были известны полиции, из от-
ветов Корнеева не видно.

Как бы то ни было, самозванца все-таки не могли пой-
мать, и Корнеев не мог даже предположительно указать, куда
он должен уйти из Петровска.

Но пока шли допросы и тянулась канцелярская переписка,
Корнеев опасно занемог. Уже совсем слабый он попросил по-
зволения исповедоваться и, увещиваемый священником, под-
твердил только то, что показывал на допросах, но ни в чем
больше не сознался.

В конце ноября Корнеев умер, и с его смертью оконча-
тельно потеряна была надежда на открытие следов и звания
самозванца.

¹ Впрочем, подсудимый говорил, что сам у исповеди и св. причастия
бывал каждый год.

Кто был настоящий самозванец, какие цели он имел, принимая на себя такую опасную роль, сам ли он был творцом этой роли, или его подготовили другие руки — все это остается необъяснимым. Но как из истории всех известных нам самозванцев прошлого и нынешнего века, так и из действий этого последнего видно, что все они выдвигались на сцену известными обстоятельствами данной исторической минуты и как бы старались выразить в себе то, чего хотел бы для себя народ в данный исторический момент. Все самозванцы более или менее подделываются под народные желания, и, затрагивая слабые струны в этом народе, пользуются его доверчивостью для известных целей. Так действовал Пугачев и все его предшественники и последователи — Богомолов, Кремнев, Ханин: они пользовались настроением народа, враждебным тогдашним владельческим классам, и, благодаря этому настроению, поднимали народ. Но чтобы поставить себя в возможность действовать на народ, они должны были брать на себя имя, имеющее право располагать судьбами народа, и таким именем, конечно, было имя царское. В нынешнем веке известные нам самозванцы принимали на себя имя великого князя Константина Павловича и являлись тогда именно, когда можно было взволновать народ какими-либо обещаниями.

Нет ничего удивительного, что народ верил этим обещаниям, часто положительно нелепым, потому что он желал исполнения известных своих чаяний и верил мало-мальски подходящим к его чаяниям обещаниям, принимая их на веру, без критики. Где народом руководило сильное желание, переходившее в страсть, там критика его была обыкновенно очень слаба. Неудивительно, что народ верил странным обещаниям самозванцев в прошлом веке и в двадцатых годах нынешнего века: еще так недавно он верил бóльшим даже несообразностям, чем те, которые разглашали самозванцы Пугачев, Богомолов, Ханин и их сторонники, тогда как горький исторический опыт мог бы, кажется, уже научить этот доверчивый народ принимать к сердцу всякие льстивые обещания осмотрительнее. Еще в 1859 году, когда в России распространились толки о том, что в разных местах устроились общества трезвости, народ серьезно верил, что «велено разбивать кабаки», и действительно начал разбивать их в некоторых селах, тогда как в других селах он, с духовенством во главе, и не только в селах, но и в городах, как, например, в Балашове, выходил на площади, поднимал из церкви иконы и хоругви и,

благословляемый духовенством, зарекался пить водку. Этим настроением народа воспользовались такие личности, какие в другое время были бы самозванцами, и, действительно, явились самозванцы, которые, как власть имеющие, говорили народу, что надо разбивать кабаки. В этом последнем случае самозванцы начали принимать на себя или имя великого князя Константина Николаевича, или неизвестных флигель-адъютантов. Так, по одной из юго-восточных губерний разъезжал мнимый великий князь в каком-то странном костюме, с нитяными эполетами и с орлом на груди (кажется, сделанным из посеребренного клейма на сахарных головах завода Берта). В другом месте разъезжал мнимый флигель-адъютант и по-своему толковал народу предстоящее освобождение от крепостного права. Конечно, все эти возмутители не могли причинить много зла, как они могли это сделать прежде, однако народ волновался, и волнение это могло повести к серьезным результатам, если бы у самозванцев не отнималась возможность действовать.

Самозванство, таким образом, перешло через всю историю русского народа. Кроме того, неизвестного бродяги, который выдавал себя за великого князя Константина Николаевича и потом бежал из-под ареста в Аткарске¹ еще в 1869 году, в одной из юго-восточных губерний, явилась личность, которая говорила о себе, что «когда он проходил должности губернаторов и министров», то он действовал так-то и что такого-то *«губернатора он раздавит как муху»*. Хотя этому господину мало верили, однако он рассчитывал на доверие народа, исторически доказавшего свою доверчивость, и продолжал ораторствовать, пока его не арестовали. Оказалось, что этот господин, «проходивший должности губернаторов и министров» и имевший власть «давить губернаторов как мух», подговаривался, нет ли где малярной работы при церквях, и оказался чуть ли не маляром.

Как ни пусты, по-видимому, эти случаи, но они имеют историческое значение. Самозванство не раз колебало Россию. История доказывает, что самозванцы не один раз играли важную роль в судьбе народов: были Лже-Смердисы, Ивонии (в Молдавии), Лже-Димитрии — и владели целыми государствами. Явление самозванцев доказывает, что исторические причины для появления их еще не миновали и что историческая

¹ В бумаге, по которой этот самозванец разыскивался, он был, сколько нам помнится, одет в нагольный тулуп и притом вывороченный шерстью наружу. В таком виде он был взят.

почва, на которой вырастают личности самозванцев, имеет еще в себе такие элементы, которые в состоянии производить эти явления.

Для того чтобы принять на себя известное имя, самозванцы обыкновенно пользовались какой-либо народной молвой, ходившей об этом имени. Такой молвой воспользовались и самозванцы, выдававшие себя за великого князя Константина Павловича. Уже спустя много лет после смерти великого князя, в народе ходила молва, что он жив. Вследствие чего составилось это странное убеждение, по-видимому, ни на чем логическом не основанное, трудно объяснить, — однако убеждение это было так упорно, что в народных рассказах личность этого великого князя стала как бы легендарною, мифическою. Конечно, народ имел свои основания верить так, как он верил, хотя основания эти шли положительно в разрез с исторической правдой. Так, были у народа свои основания для веры в то, что царевич Димитрий жив, когда его тело давно стояло в храме, где похоронен был убитый царевич, и долго эта вера не могла поколебаться. Были также свои основания у народа для веры в то, что жив император Петр III, тогда как прошло уже много лет после его кончины, — и опять эту веру не могли поколебать никакие ни логические, ни фактические доводы. Такая же вера долго жила в народе и относительно того, что жив великий князь Константин Павлович, в то время, когда он уже скончался, и что, рано ли, поздно ли, великий князь «придет».

В большинстве случаев самозванцы принимали имя известного царственного лица уже после его кончины. Даже черноморский самозванец Степан Малый, правивший несколько лет Черногории под именем императора Петра III, принял это имя после смерти Петра Феодоровича. Но чем руководствовался самозванец, с которым мы теперь познакомились, когда принимал на себя имя великого князя Константина Павловича, на что он рассчитывал или на что рассчитывали те, которые его выдвинули, зная, что самозванец будет немедленно изобличен самим великим князем, который был жив и о котором очень хорошо знала вся Россия, — это остается необъяснимым.

Во всех случаях, когда какое-либо царственное имя делалось, так сказать, предметом похищения, причины появления самозванцев этого имени всегда заключались в том, что у народа рождалось почему-либо сомнение в действительности тех фактов, которые ему, так сказать, объявлялись официально. Загадочная смерть царевича Димитрия, о которой ничего положительного не знали самые даже высшие лица в государстве, как Годунов, естественно должна была родить в на-

роде сомнение: действительно ли он умер и не подменен ли кем-либо другим для целей, смутно сознаваемых народом? И вот, явилась вера в то, что царевич жив, а эта вера и вызвала самозванцев. Скоропостижная смерть императора Петра III, последовавшая, как объявлял высочайший манифест, «от геморроидальных колик», и другие обстоятельства, смутные слухи о которых доходили до народа нередко в извращенном виде, также породили в народе сомнение в действительности этой смерти. Этого было достаточно, чтобы явились похитители имени покойного императора. Добровольное отречение великого князя Константина Павловича от престола в пользу своего младшего брата и последовавшие, отчасти вследствие этого отречения, отчасти же вследствие заговора декабристов, декабрьские события в Петербурге также вызвали в народе сомнение относительно действительности совершившихся фактов, о которых ему объявляли официально. Сомнение это вызвало, в свою очередь, толки, которые были тем нелепее, чем менее предавались гласности как эти самые толки, так и опровергающие их известия, и вследствие этого имя великого князя Константина Павловича стало предметом похищения еще при жизни великого князя, а после смерти стало чем-то мифическим, не переставая быть в то же время и предметом похищения. Между самозванцем, назвавшим себя именем великого князя в 1826 году, и между другим самозванцем (оренбургским), явившимся в 1845 году, уже после смерти великого князя, лежит почти двадцать лет, и в продолжение этих двадцати лет народ не отказался от своих нелепых верований, родившихся в нем вследствие декабрьских происшествий и продолжавших жить даже тогда, когда великого князя давно уже не было на свете.

Вообще народное верование в то, что великий князь Константин Павлович «придет», продолжало упорно жить в народе более тридцати лет, и едва ли и теперь не представляется он чем-то почти бессмертным. Это упорное народное верование почему-то связывало с именем великого князя то величайшее событие в истории русского народа, которое последовало 19 февраля 1861 года. Народная молва постоянно гласила, что великий князь, как-то почти невидимо ни для кого, ходит по земле, но что время его еще не настало, и оттого он является людям только в самых редких случаях, но что когда настанет это время, он явится как освободитель народа от всего, что только есть тяжелого в его жизни. Народ рассказывает, что некоторые видели эту странствующую по земле таинственную личность и что она говорила с ними и обнадеживала их. Таких

рассказов весьма много ходило в народе вплоть до самого освобождения крестьян, — и особенно рассказы эти, сколько нам известно, распространены были на юго-востоке России.

Укажем на некоторые из этих рассказов, чтобы видеть, какие тайные народные чаяния ласкало верование в появление великого князя и почему появление самозванцев его имени имело успех в народе до великого акта освобождения крестьян.

В один летний жаркий день работали в поле крестьяне на барских нивах. Тяжела была работа под знойным солнцем, и крестьяне жаловались, что мало дают им отдыха, все гоняют на барские нивы, тогда как на их крестьянских нивах зрелая рожь, не убранная, от солнца высыпается. В это время едет по дороге тяжелый «берлин» и останавливается около работающих. Оттуда выходит человек, одетый «попростому», но «с золотым пером за ухом», и говорит крестьянам:

— Здравствуйте, добрые люди. Помогите вам Бог работать.

— Спасибо тебе, добрый барин.

— Вы на кого работаете? — спрашивает незнакомец с золотым пером за ухом.

— На господ, — отвечали крестьяне.

— А тяжело работать на других? — спрашивает он.

— Тяжело, — отвечают они, — так тяжело, как на себя могилу копать.

— А свой хлеб еще не убирали? — спрашивает.

— Не убирали, — отвечают, — рожь давно на нивах высыпается.

— Не долго же вам работать на других, — говорит он, — я давно прошу за вас государя, и уже на половине упросил — скоро выйдет вам воля.

Сказал это, сел в «берлин» и уехал. Это и был сам великий князь Константин Павлович «такой худой, да не бритый».

Другой слышанный нами рассказ имеет следующее содержание.

Однажды шли богомольцы в Воронеж и в степи, у дороги, сели отдохнуть. По той же дороге, навстречу им, шли два странника и, поздоровавшись с богомольцами, сели около их группы. Разговор коснулся крестьянских нужд, тяжестей крепостного права, рекрутчины и воли.

— Я видел волю, — сказал один из странников, — она по свету ходит.

— А какая она? — спросил богомолец.

— Со мною лицом схожа, — отвечал странник.

— А кто видит эту волю? — спрашивали богомольцы.

— Теперь вы видите, а скоро и все ее увидят, — снова отвечал странник.

Когда богомольцы силились уразуметь таинственный смысл слов странника, он сказал им:

— Я та самая воля, что вы ждете. Я — Константин Павлович. Много лет хожу я по земле и смотрю, как живут и маются добрые люди. Пока не исхожу всей земли и не увижу, как люди живут и как маются, не видать вам воли. Много я исходил — теперь уже меньше осталось.

Странники, после этих слов, встали и пошли своей дорогой.

В обоих этих рассказах видны эпические приемы народного творчества, которое окружило почему-то особенно любимое народом царственное имя всеми атрибутами фабулезности. В других рассказах великий князь является во главе многочисленного войска и сражается с врагами русского народа¹.

Для более ясного понимания истории русского народа необходимо обстоятельное исследование этих явлений. Увлечение в известные эпохи известными историческими именами было не без важных причин, собственно с точки зрения народа. Отрешенный обстоятельствами от знакомства с действительными историческими фактами из нашего исторического прошедшего, также мало знакомый с важнейшими событиями современности, народ создавал свою политическую историю России на основании тех смутных, часто извращенных слухов, которые доходили до него кривыми путями, и, таким образом, ум его обращался в сфере чисто легендарной, но тем не менее на легендах этих он основывал свои ожидания и сообразно своим ожиданиям действовал, когда выходил из своей обычной жизни.

Вот почему для уразумения истории русского народа историк, кроме официальных писанных источников, должен пользоваться источниками, так сказать, чисто народными, а без знания этих источников невозможно будет объяснить то или другое историческое явление в

¹ До чего распространено было в народе убеждение, что великий князь тайно ходит по России, видно и из таких случаев, какой был с одним из наших известных собирателей памятников устного народного творчества. В одном селе, в Малороссии, когда он расспрашивал народ о разных исторических воспоминаниях, к нему подходит один старичок и таинственно спрашивает: «А скажите, будьте ласковы, чи вы не царевич?»

жизни русского народа. Такими чисто народными историческими источниками могут быть названы не только материалы, свидетельствующие о том, как народ активно проявлялся в истории, как действовали на историческом поприще личности, выходявшие из среды народа, но и устное свидетельство народа как о своем прошлом и важнейших событиях этого прошлого, так и воззрение народа на свою собственную историческую жизнь. Исторических сведений, сообщаемых о прошлой судьбе народов древнего классического мира Геродотом и Фукидидом слишком недостаточно было бы для уразумения этой истории. Если картина классической жизни выступает перед нами рельефно, если мы вполне уразумели и прагматическую, и героическую, и мифическую сторону жизни древних народов, то лишь благодаря тому, что знакомимся с нею не по одним официальным, так сказать, источникам, не по Геродоту и Фукидиду только, но воспользовались всею суммою сведений о народной жизни древнего мира, о народном мировоззрении и народными рассказами об исторических событиях древнего классического мира и о лицах, по последнему воззрению, руководивших этими событиями. Перед нами рельефно выступает персидский царь, враг греков, не на основании только тех официальных сведений, которые могли сообщить источники древнего мира о персидских войнах, а более на основании народных исторических сказаний, из коих мы видим, как персидский царь, в безумстве царской самоуверенности, сечет кнутом непослушное море и прорывает каменные горы для прохода своих кораблей. От этого история классического мира, столь чаровавшая умы всего человечества и продолжающая чаровать, больше народная, чем история новейшая, почерпающая свои сведения преимущественно из официальных источников, хотя из этого не следует, чтобы можно было сожалеть о том, что новейшая история имеет более шансов говорить официальные истины, чем могла их говорить история древняя. Притом не все официальные истины свободны от исторической лжи: часто бывает, что в официальной речи какого-нибудь двигателя европейских политических дел более лжи против исторической правды, чем в народном рассказе об явлении неизвестного человека «с золотым пером за ухом». Политический деятель официально говорит, что даст Европе мир и дает кровопролитную войну. Народный же рассказ говорит, что неизвестный странник ходит по свету, чтобы посмотреть, как тяжело жить людям, и потом обещает, что воля придет — и воля действительно приходит.

Во всяком случае, для достижения полноты и правдивости своих исторических изысканий, историк должен одинаково пользоваться и официальной ложью, и народными заблуждениями, в основании которых всегда лежит хоть малейшая частица исторической правды.

VI

Историческое явление, которому мы посвятили настоящий очерк, выражает, таким образом, собою известную сторону народных стремление данной эпохи. Вся история русского народа показывает, что когда в народе начинают бродить еще неопределенные слухи о возможности появления таких личностей, какие появлялись в начале XVII века, во второй половине XVIII и во второй четверти нынешнего столетия, если, наконец, народные слухи оправдываются и ожидаемые личности являются, то это верный признак, что народ ищет выхода из гнетущих его обстоятельств и возлагает все свои надежды на лицо, созданное и вызванное к исторической деятельности им самим, его собственными, долго сдерживаемыми стремлениями и его собственным творчеством. Так, еще до появления Лже-Дмитрия, народ уже создал его в своем воображении, потому что обстоятельства того времени и вся обстановка жизни были так тяжки, что народу нужно было успокоение, и он сначала искал его в создании своей фантазии, а когда созданный им призрак появлялся воочию, он шел за его знаменем, почти не рассуждая. Равным образом, еще до появления Пугачева народ уже создавал его, и Пугачев являлся в разных видах, в лице Богомолова и Кремнева, пока наконец народные стремления не выразились в одном лице, за которым и пошли народные массы, потому что обстоятельства того времени были столь невыносимы для народа, что он не мог более оставаться в том страдательном положении, в какое его поставил тяжелый для него ход государственной жизни.

Точно так же народ создал и Лже-Константинов по той же исторической необходимости.

Уже в двадцатых годах нынешнего столетия крепостное право изживало свои последние моменты, хотя, вследствие искусственных причин, еще, по-видимому, прочно держалось на юридической почве. Но народ смотрел на дело не с юридической, а с нравственной точки зрения, и исторический факт, юридически лежавший в основе государственного строя, казался ему вопиюще несправедливостью. Народ искал вы-

хода из своего положения и, не находя этого выхода реальным путем, впал как бы в исторический мистицизм, создавая в своем воображении такие личности, которые должны были вывести его из тяжкого положения.

Но и для создания известной личности необходим материал, необходимы какие-нибудь исторические основания, и эти основания народ находит в тех, доходящих до него, часто в искаженном виде, современных государственных событиях, которые он, на основании разного рода случаев, истолковывал в свою пользу. Так, народ на основании доступных ему данных выработал себе не убеждение, а верование, что великий князь Константин Павлович должен был непременно действовать исключительно в интересах народа, как, по его мнению, в XVIII веке должен был действовать император Петр III. В силу этого убеждения создана была личность, которая должна была явиться, и личность действительно я в и л а с ь . Вследствие этого, когда появлялась подобная личность, народ употреблял даже для этого известное подходящее выражение, что вот-де «проявился» такой-то, и личности эти он называл «явленными», как он привык выражаться об явлении чудотворных икон или мощей угодников.

Таким образом, по народному выражению, Лже-Константины должны были непременно являться — и они действительно являлись.

Лже-Константин, которому мы посвятили настоящую заметку, был одним из первых этого имени самозванцев, явление его было не случайное, а как продукт исторической необходимости. Народные чаяния об облегчении участи масс, о скором уничтожении крепостного права должны были выразиться в известном стремлении, и стремление это должно было иметь точку опоры: все это и разрешалось, таким образом, явлением самозванцев.

Из рассматриваемого нами дела о первом известном нам Лже-Константине видно, что он, подобно прочим, разглашал в народе облегчение его участи; но каким образом — ни самозванец этого не высказывал ясно и определенно, ни народ не мог себе выяснить, в какой форме последует это облегчение. Самозванец, называя себя братом царствовавшего тогда государя, не выражал (на что необходимо обратить особенное внимание) враждебных, по-видимому, отношений к высочайшей власти, а только заявлял вражду против лиц начальствующих. Как видно, в самом начале его походов мы встречаемся с ним в Москве, на каком-то монастырском «подворье», где он, по всем вероятностям, скрывался и где в его

судьбе, как оказывается, принимали участие какие-то «старцы». Есть основания думать, что «старцы» играли тут не последнюю, хотя очень тайную роль. Неизвестные «старцы», надо полагать, поддерживали, а может быть и вывели на свет Божий эту личность. «Старцы» давали ему средства действовать, и эти же «старцы» почему-то направляли самозванца на Иргизы, как мы видим это из показаний Корнеева. Иргизы в прошлом веке играли не последнюю роль в судьбе другого самозванца, более крупного, чем описываемый нами: именно на Иргизах созрели первые начатки интриги, которая разразилась пугачевщиной. Иргизские монастыри с их раскольниками-отшельниками принимали тайное участие во всем, что каким-либо образом становилось в антагонизм с правительством и подлежащими властями. Монастыри эти давали приют беглым, а нередко и разбойникам. Все Поволжье нравственно тянулось к Иргизам, и Иргизы в состоянии были привести в движение народные массы. И преступник, и самозванец, и другой народный агитатор могли свободно укрыться или в кельях самих монастырей, или в их уединенных скитах, или в густых лесах, принадлежащих Иргизам и росших по берегам рек этого имени. Равным образом и следы других преступлений легко могли быть скрываемы в Иргизах. Когда в сороковых годах уничтожались эти монастыри (надо прибавить, не без жестокости и варварства, потому что непослушных обливали из пожарных труб водой на трескучем морозе), из озер, лежащих около этих скитов, неводом вытаскивали человеческие трупы, брошенные когда-то в воду, и человеческие кости.

В эти-то монастыри, неизвестно по каким соображениям и для каких целей, как видно из рассматриваемых нами материалов, направлялся и Лже-Константин 26-го года, руководимый «старцами». Из этого обстоятельства само собою вытекает предположение, что раскол не чужд был появлению самозванца с именем великого князя Константина Павловича, как он не чужд был появлению Пугачева, которому раскольники дали мысль назваться именем умершего императора и которого раскольники же поддерживали и советами, и денежными средствами как в начале его походов, так и во все время пугачевщины. Но какую ближайшую мысль имели раскольники, пуская в народ Лже-Константина, как они пустили Лже-Петра, на это нет ни прямых, ни косвенных указаний в наших материалах. Давая народу Лже-Петра, раскольники положительно высказались, что желают этим облегчить свое положение в

России, так как, по их словам, на людей старой веры воздвигнуто было «великое гонение». Но когда появился самозванец, народ пристал к нему, имея свои ближайшиe цели, хоть в основании сходные с целями раскольников: он также искал в самозванце облегчения своей участи. Без сомнения, ту же цель преследовали раскольники, выдвигая на сцену и Лже-Константина: они продолжали быть недовольными своим положением, потому что оно, действительно, было положением волка на травле.

Для нас незнакомы только причины, почему самозванец не прямо отправился на Иргизы, а так долго коптел по Саратовской губернии. Это мы можем объяснить только тем, что на пути он воспользовался остановками для того, чтобы пропагандировать в народе свое появление и подготавливать его умы к открытому принятию самозванца. Однако явился ли он открыто или в какой-либо другой местности был схвачен, об этом сведении мы не имеем. Знаем только, что в 1848 году в Оренбургской губернии явился Лже-Константин, заметки о котором помещены г. Середою в «Вестнике Европы» за 1869 год. Но как саратовскому, так и оренбургскому Лже-Константину не удалось развернуться в своих действиях. Видно, что пора самозванцев уже прошла в истории русского народа, а с уничтожением крепостного права едва ли даже и мыслимы какие-либо серьезные волнения в народе, который мало-помалу выходит из своего полудикого состояния и для которого теперь возможность развития, при сравнительно лучших экономических условиях, становится хотя сколько-нибудь мыслимою.

СОДЕРЖАНИЕ

САМОЗВАНЦЫ И ПОНИЗОВАЯ ВОЛЬНИЦА

*Историческая монография
в двух частях*

5

ЧУМА В МОСКВЕ

Исторический очерк

311

ВАНЬКА КАИН

Исторический очерк

373

ОДИН ИЗ ЛЖЕ-КОНСТАНТИНОВ

Исторический очерк

455

**ДАНИИЛ ЛУКИЧ
МОРДОВЦЕВ**
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В 14 ТОМАХ
ТОМ 5

Редактор
И. Шурыгина
Художественный редактор
И. Сайко
Технический редактор
Н. Привезенцева
Корректоры
В. Антонова, М. Александрова,
В. Рейбекель

ЛР № 030129 от 02.10.91 г. Подписано в печать 20.09.95.
Уч.-изд. л. 29,88

Издательский центр «ТЕРРА», 109280,
Москва, Автозаводская, 10, а/я 73.

Оригинал-макет и диапозитивы подготовлены
ТОО «Макет». 141700, Московская обл., г. Долгопрудный,
ул. Первомайская, 21.

Д.Л. МОРДОВЦЕВ

